

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА



Scan Kreyder - 25.08.2018 - STERLITAMAK







ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ

ПОТОП

РОМАН

Перевод с польского

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА, 1970

II(Пол)
С 31

Примечания
И. МИЛЛЕРА

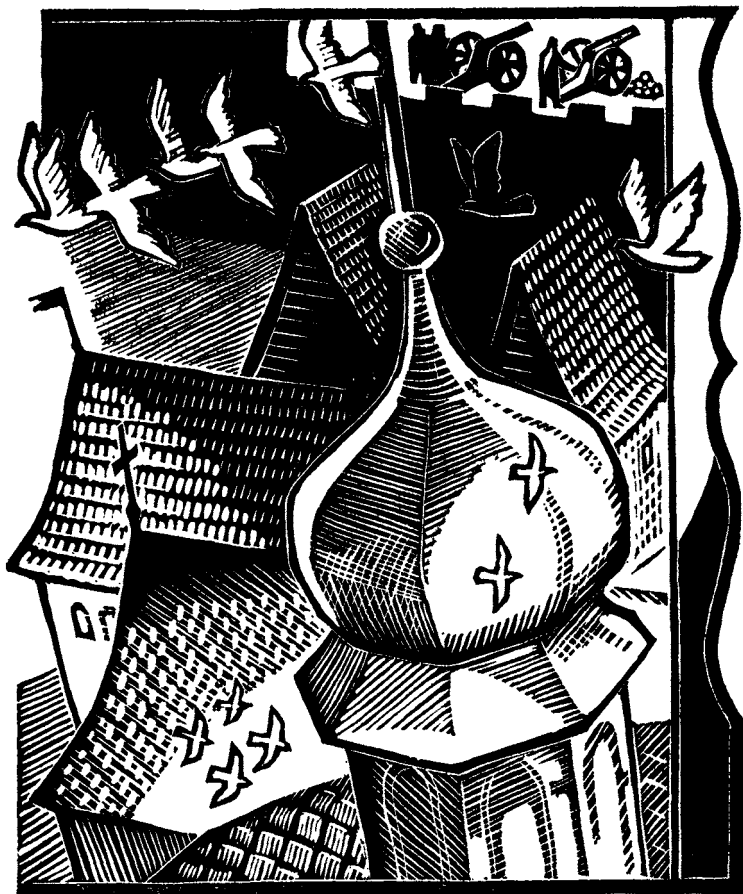
7-3-4

176-69



*Перевод
Е. Егоровой*

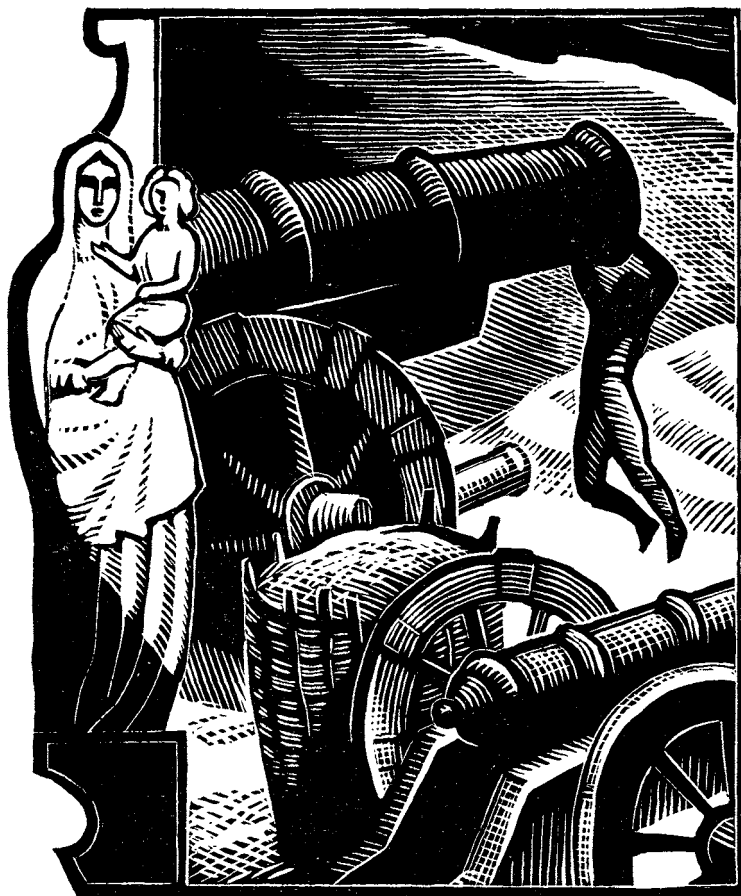




ГЛАВА XVIII

Что же случилось с паном Анджеем и как удалось ему исполнить свой замысел?

Выйдя из крепости, он некоторое время спускался с горы уверенным, хоть и осторожным шагом. У самого подножия приостановился и прислушался. Тихо было кругом, даже слишком тихо, так что снег явственно скри-



пел под ногою. По мере того как пан Анджей удалялся от стен, он ступал все осторожней. Снова останавливался и снова прислушивался. Боясь поскользнуться и при падении подмочить свою драгоценную ношу, он вынул из ножен рапиру и стал на ходу опираться на ее острие. Идти стало гораздо легче.

Нащупывая острием дорогу, он через полчаса услышал прямо перед собой легкий шорох.

«Так! Стоят на страже! Вылазка научила их осторожности!» — подумал он.



И пошел дальше уже очень медленно. Он рад был, что не сбился с дороги,— темно было так, что он не мог различить острие рапиры.

— Тот шанец гораздо дальше, стало быть, я верно иду! — шепнул он про себя.

Он надеялся, что впереди шанца людей не застанет,— ведь им там нечего делать, особенно ночью. Разве только часовые стоят в какой-нибудь сотне шагов друг от друга; но он надеялся, что в такой темноте ему легко удастся проскользнуть мимо них.

На душе у него было весело.

Он был не только отважен, но и дерзок. Мысль о том, что он взорвет мощную кулеврину, радовала его до глубины души не только потому, что это будет подвиг, не только потому, что он окажет памятную услугу осажденным, но и потому, что это будет жестокая шутка, которую он подшутит над шведами. Он представлял себе, как они испугаются, как Миллер будет скрежетать зубами, как беспомощно он будет смотреть на монастырские стены, и минутами его душил злорадный смех.

И как сам он уже говорил, не испытывал он никакой тревоги, никакого страха и волнения, ему и в голову не приходило, какой страшной опасности он подвергается. Он шел так, как школяр идет в чужой сад за яблоками. Припомнились ему старые времена, когда он ходил на Хованского и с двумя сотнями таких же, как сам, забияк, прокрадывался ночью в тридцатитысячный стан.

Пришли ему на память и друзья: Кокосинский, великан Кульвец-Гиппоцентаврус, рябой Раницкий, который был из сенаторского рода, и другие; с грустью вздохнул он, вспомнив о них.

«Пригодились бы сейчас, шельмецы! — подумал он.— За одну ночь мы бы шесть пушек взорвали».

Сжалось тут его сердце от чувства одиночества, но лишь на одно короткое мгновение. Он тотчас вспомнил свою Оленьку. С небывалою силой пробудилась в нем любовь. Он растрогался. Если бы Оленька могла его увидеть, как возрадовалось бы ее сердце! Она, может, все еще думает, что он служит шведам. Вот как он им служит! Такое сейчас сотворит, что не поздоровится им! Что-то будет, как дознается она обо всех его дерзких предприятиях? Что она подумает? Подумает, верно: «Сорвиголова, но коль дойдет до дела, такое совершит, чего никто другой не совершит, и туда пойдет, куда никто другой не пойдет! Вот каков он, этот Кмициц!»

— Я и не то еще совершу! — сказал про себя пан Анджей и совсем возгордился.

Несмотря на все эти мысли, не забыл он, где находится, куда идет, что намерен предпринять, и начал он красться теперь, как волк в ночную пору крадется к стаду. Раз, другой оглянулся. Ни костела, ни монастыря. Все окутала густая, непроглядная темнота. Однако по

времени он рассудил, что зашел уже далеко и шанец должен быть совсем близко.

«Любопытно мне, стоит ли стража?» — подумал он.

Но не успел он сделать и двух шагов, как впереди неожиданно раздался мерный топот шагов и сразу несколько голосов в разных местах спросило:

— Кто идет?

Пан Анджей остановился как вкопанный. Его бросило в жар.

— Свой, — отозвались другие голоса.

— Пароль?

— Упсала!

— Отзыв?

— Корона!

Пан Анджей сообразил, что это сменяется стража.

— Дам я вам и Упсалу и корону! — проворчал он.

И обрадовался. Это было очень удачное для него обстоятельство, так как во время смены стражи, когда шаги солдат заглушат его собственный шаг, он легко может миновать сторожевые посты.

Так он и сделал без труда и смело дошел за возвращавшимися солдатами до самого шанца. Там солдаты свернули в сторону, чтобы обойти шанец, а он торопливо подобрался ко рву и укрылся в нем.

Тем временем немного посветлело. Пан Анджей и за это возблагодарил небеса, потому что ощупью, впотьмах, он не смог бы обнаружить вожделенную кулеврину. Теперь, подняв голову изо рва и напрягая зрение, он увидел над собой черную линию, обозначающую край шанца, и такие же черные очертания корзин с землей, между которыми стояли пушки.

Он мог даже различить пушечные жерла, несколько выдавшиеся надо рвом. Медленно подвигаясь по рву, он обнаружил наконец свою кулеврину. Тогда он остановился и стал прислушиваться.

На валу был слышен шорох. Видно, пехота стояла у пушек в боевой готовности. Но вал закрывал пана Анджея, так что шведы могли его услышать, но не могли увидеть. Теперь он думал только о том, сумеет ли снизу достать до жерла пушки, которое высоко поднималось над его головой.

По счастью, стенки рва были не очень круты; кроме того, насыпь сделали, видно, недавно или поливали

водой, и земля не успела замерзнуть, так как с некоторых пор стояла оттепель.

Сообразив это, Кмициц стал осторожно делать в скате рва выемки и медленно подбираться по ним к пушке.

Через четверть часа ему удалось ухватиться за жерло, еще через минуту он повис в воздухе. Благодаря обыкновенной силе он продержался так до тех пор, пока не заткнул в жерло пороховой рукав.

— На тебе, песик, колбаски! — проворчал он. — Смотри не подавись!

С этими словами он снова спустился вниз и стал искать конец шнура, прицепленного к наружному концу рукава и свисавшего в ров.

Через минуту он нащупал его рукой. Теперь наступила самая трудная минута: надо было высечь огонь и поджечь шнур.

На минуту Кмициц остановился, выжидая, когда солдаты зашумят на шанце.

Наконец он стал легонько ударять огнивом о кремень. В ту же минуту над его головой раздался вопрос на немецком языке:

— Кто это там во рву?

— Это я, Ганс! — не задумываясь, ответил Кмициц. — Шомпол у меня черти в ров унесли, высекаю огонь, поискать надо.

— Ладно, ладно! — ответил пушкарь. — Счастье твое, что мы не стреляем, не то бы тебе воздухом голову оторвало.

«Эге! — подумал Кмициц. — Стало быть, кулеврина, кроме моего заряда, начинена и своим собственным. Тем лучше!»

В эту минуту пропитанный серой шнур загорелся, и легкие искорки побежали вверх по его поверхности.

Время было бежать. Не теряя ни минуты, Кмициц стремглав пустился вдоль рва, не обращая больше внимания на шум, который он при этом поднял. Но когда он отбежал на каких-нибудь двадцать шагов, любопытство превозмогло в нем чувство страшной опасности.

«А что, если от сырости шнур погас!» — мелькнуло у него в голове.

И он остановился. Оглянувшись назад, он увидел искорку на шнуре, но уже гораздо выше.

«Ох, не слишком ли близко я?» — сказал он про себя, и страх его обнял.

Он снова бросился бегом вдоль рва, споткнулся вдруг о камень и упал. Но тут страшный грохот потряс воздух, земля заколебалась, мимо просвистели разметанные взрывом куски дерева и железа, камни, глыбы льда, комья земли, и на этом кончились все его ощущения.

Затем раздались новые взрывы. Это от сотрясения взлетели на воздух пороховые ящики, стоявшие неподалеку от кулеврины.

Но этого Кмициц уже не слышал, он лежал во рву недвижимо, как труп.

Не слышал он и того, как после минутной немой тишины раздались стоны, крики и призывы на помощь, как к месту происшествия сбежалась половина шведских и союзных польских войск, как затем в сопровождении целого штаба прискакал Миллер.

Долго не смолкали шум и смятение, пока из сбивчивых показаний шведский генерал не выяснил, что кто-то умышленно взорвал кулеврину. Было приказано тотчас начать поиски. Под утро солдаты, производившие поиски, обнаружили во рву Кмицица.

Оказалось, он был только оглушен и от сотрясения на какое-то время перестал владеть руками и ногами. Весь следующий день длилось у него это недомогание. Лечили его весьма усердно. Вечером он почти совсем оправился.

Миллер приказал немедленно его привести.

Сам генерал на своей квартире занял за столом главное место, по бокам разместились князь Гессенский, Вжещович, Садовский, все высшие шведские чины, а из поляков Зброжек, Калининский и Куклиновский.

Увидев Кмицица, Куклиновский позеленел, глаза его загорелись, как угли, усы встопорчились. Не ожидая, пока генерал начнет допрос, он сказал:

— Я эту птицу знаю! Он из ченстоховского гарнизона. Зовут его Бабинич!

Кмициц молчал.

Он был бледен и, казалось, утомлен; но взор его был тверд и лицо спокойно.

— Ты взорвал кулеврину? — спросил Миллер.

— Я! — ответил Кмициц.

— Как ты это сделал?

Кмициц коротко рассказал, ничего не утаив. Офицеры в изумлении переглянулись.

— Герой! — шепнул Садовскому князь Гессенский.

А Садовский нагнулся к Вжещовичу.

— Ну как, граф Вейгард? — спросил он. — Возьмем мы эту крепость при таких защитниках? Как по-вашему, сдадутся они?

Но Кмициц сказал:

— Не один у нас защитник сыщется, готовый на такой подвиг. Не знаете вы, когда пробьет ваш час!

— Но и в нашем стане не одна веревка сыщется! — ответил Миллер.

— Это мы знаем. Но не взять вам Ясной Горы, покуда там останется хоть один человек!

Наступила минута молчания. Затем Миллер продолжал допрос.

— Тебя зовут Бабинич?

Пан Анджей подумал, что после того, что он совершил, нет больше надобности скрывать перед лицом близкой смерти свое настоящее имя. Пусть забудут люди грехи и злодеянья, связанные с этим именем, пусть теперь, когда он готов пожертвовать жизнью за родину, воссияет оно в венце славы.

— Не Бабинич я, — ответил он с гордостью, — зовут меня Анджей Кмициц, я был полковником собственной хоругви в литовском войске.

Едва услышав эти слова, Куклиновский как полоумный сорвался с места и, вытаращив глаза, раскрыв рот, хлопнул себя по ляжкам.

— Генерал, — вскричал он, — дайте мне слово сказать! Генерал, дайте мне слово сказать! Сию же минуту! Сию же минуту!

Ропот пробежал по рядам польских офицеров, а шведы внимали ему с удивлением, так как имя Кмицица ничего им не говорило. Однако они тотчас сообразили, что перед ними не простой солдат, когда Зброжек встал и, приблизясь к узнику, произнес:

— Пан полковник! Я ничем не могу помочь тебе в беде, но прошу, дай мне пожать твою руку!

Но Кмициц поднял голову и раздул ноздри.

— Я не подаю руки изменникам, которые служат врагам отчизны! — ответил он,

Зброжек побагровел.

Калинский, который шагнул было за ним, попятился; их тотчас окружили шведские офицеры и стали расспрашивать, что это за Кмициц, чье имя произвело на них такое впечатление.

Между тем в соседнем покое Куклиновский, прижав Миллера к окну, решительно к нему приступил:

— Генерал, вам имя Кмицица ничего не говорит, а ведь это первый солдат и первый полковник во всей Речи Посполитой. Все его знают, всем известно его имя! Когда-то он служил Радзивиллу и шведам, теперь перешел, видно, на сторону Яна Казимира. Нет ему равного среди солдат, кроме разве меня. Он только и мог совершить такой подвиг: пойти одному и взорвать пушку. По одному этому можно его узнать. Он такой урон наносил Хованскому, что за его голову назначили цену. После шкловского поражения он один воевал со своим отрядом в две-три сотни солдат, куда и другие не опомнились и, последовав его примеру, не стали учинять набегов на врага. Это самый опасный человек во всей стране.

— Что ты тут славу ему поешь? — прервал Куклиновского Миллер. — Что он опасен, в этом я сам убедился, — урон он нам нанес непоправимый.

— Генерал, что вы думаете с ним делать?

— Я бы приказал его повесить, но я сам солдат и умею ценить отвагу и мужество. К тому же он знатный шляхтич. Я прикажу сегодня же его расстрелять.

— Генерал! Не мне учить славнейшего воителя и державного мужа новых времен; но я позволю себе заметить, что этот человек снискал себе великую славу. Если вы это сделаете, хоругви Зброжека и Калинского в лучшем случае в тот же день уйдут от вас и встанут на сторону Яна Казимира.

— Если так, я прежде велю искрошить их! — крикнул Миллер.

— Генерал, за это отвечать придется. Трудно будет утаить истребление двух хоругвей, а как только об этом пройдет слух, все польские войска оставят Карла Густава. Вы сами знаете, генерал, они и без того ненадежны. На гетманов и то нельзя положиться. А ведь на стороне нашего государя Конецпольский с шестью тысячами отборной конницы. Это не шутка! Избави бог, коль и они обратятся против нас, против его величества. А тут еще

эта крепость упорно обороняется, да и нелегкое это дело искрошить хоругви Зброжека и Калинского, ведь тут и Вольф с пехотой. Они могут связаться с гарнизоном крепости...

— Сто чертей! — прервал его Миллер. — Чего ты хочешь, Куклиновский? Чтобы я даровал ему жизнь? Не бывать этому!

— Я хочу, — ответил Куклиновский, — чтобы вы отдали его мне.

— А что ты с ним сделаешь?

— Я? С живого шкуру спущу!

— Да ты настоящего его имени и то не знал, стало быть, не был знаком с ним. Что ты имеешь против него?

— Я с ним только в Ченстохове познакомился, когда вы второй раз послали меня туда.

— У тебя есть повод для мести?

— Генерал, я хотел склонить его перейти в наш стан. А он воспользовался тем, что я говорил с ним не как посол, а как особа приватная, и оскорбил меня, Куклиновского, так, как никто в жизни меня не оскорблял.

— Что он тебе сделал?

Куклиновский затрясся и заскрежетал зубами.

— Лучше об этом не рассказывать! Отдайте мне его, генерал! Все равно ждет его смерть, а мне бы хотелось прежде потешиться над ним. Тем более что это тот самый Кмициц, перед которым я благоговел и который так мне отплатил. Отдайте мне его, генерал! И для вас это будет лучше! Если я его убью, Зброжек, Калинский, а с ними все польские рыцари не на вас обрушатся, а на меня, ну а уж я как-нибудь с ними справлюсь. Не будет ни зла, ни обиды, ни бунта. Будет мое приватное дельце об шкурке Кмицица, которой я велю обтянуть барабанчик.

Миллер задумался; по лицу его пробежала внезапно тень подозрения.

— Куклиновский, — сказал он, — уж не хочешь ли ты спасти его?

Куклиновский тихо рассмеялся; но так страшен и непритворен был этот смех, что Миллер перестал сомневаться.

— Может, это и дельный совет! — сказал он.

— За все мои заслуги я прошу только этой награды!

— Что ж, бери его!

Они пошли в покой, где собрались остальные офицеры.

— За заслуги полковника Куклиновского,— обратился к ним Миллер,— я отдаю ему пленника.

На минуту воцарилось молчание; затем Зброжек, подбоченясь, спросил с презрением в голосе:

— А что пан Куклиновский собирается делать с пленником?

Куклиновский, обычно сутуливший спину, выпрямился вдруг, губы его растянулись в зловещей усмешке, ресницы задрожали.

— Если кому не понравится, что я сделаю с пленником, он знает, где меня можно найти,— ответил он.

И тихо звякнул саблей.

— Слово, пан Куклиновский! — сказал Зброжек.

— Слово, слово!

И Куклиновский подошел к Кмицицу:

— Пойдем, золотко, со мной, пойдем, знаменитый солдатик! Ослаб ты, братец, немножко, надо тебя подлечить. Я тебя подлечу!

— Ракалия! — ответил Кмициц.

— Ладно, ладно, гордая душенька! А куда пойдем!

Офицеры остались в покое, а Куклиновский вышел на улицу и вскочил в седло. С ним было трое солдат; одному из них он приказал накинуть Кмицицу на шею аркан, и все они направились в Льготу, где стоял полк Куклиновского.

Всю дорогу Кмициц жарко молился. Он видел, что смерть его близка, и предавал душу богу. Он так погрузился в молитву и размышления о своей горькой участи, что не слышал, что говорил ему Куклиновский, не заметил даже, долог ли был путь.

Они остановились наконец подле маленькой риги, пустой и полуразрушенной, стоявшей особняком в чистом поле, неподалеку от стоянки полка Куклиновского. Полковник приказал ввести Кмицица в ригу, а сам обратился к одному из солдат.

— Езжай в полк за веревками,— распорядился он,— да прихвати лагунку горячей смолы.

Солдат поскакал во весь дух и через четверть часа примчался назад еще с одним товарищем. Они привезли все, что требовал полковник.

— Раздеть этого молодчика донага,— сказал Куклиновский,— связать веревкой назади руки и ноги и подтянуть к балке!

— Ракалия! — повторил Кмициц.

— Ладно, ладно, мы еще поговорим, время у нас есть!

Тем временем один из солдат влез на балку, а остальные сорвали с Кмицица одежду. Раздев рыцаря, три палача положили его на землю ничком, длинной веревкой связали ему руки и ноги, затем, обернув его туловище, бросили другой конец солдату, сидевшему на балке.

— Теперь поднять его вверх, а ты там наверху закрути да завяжи веревку,— велел Куклиновский.

Приказ в минуту был выполнен.

— Отпустить! — раздался голос полковника.

Веревка скрипнула, и пан Анджей повис плашмя в нескольких локтях от тока.

Тогда Куклиновский сунул помазок в лагунку с пылающей смолой, подошел к пленнику и сказал:

— Ну как, пан Кмициц? Говорил я, что только два полковника есть в Речи Посполитой, только два: я да ты! А ты не хотел с Куклиновским компанию свести, пинка ему дал? Ну что ж, золотко, ты был прав! Не про твою честь компания Куклиновского, он получше тебя будет! Ох, и славен полковничек Кмициц, да в руках он у Куклиновского, и Куклиновский ему бочка припечет!..

— Ракалия! — в третий раз повторил Кмициц.

— Вот так... бочка припечет! — закончил Куклиновский. И ткнул Кмицица пылающим помазком в бок, а затем прибавил:— Я не очень, легонько, у нас есть еще время!

Внезапно у дверей риги раздался конский топот.

— Кого там черт несет? — крикнул полковник.

Двери скрипнули, и вошел солдат.

— Пан полковник,— обратился он к Куклиновскому,— генерал Миллер тотчас требует тебя.

— А, это ты, старина! — сказал Куклиновский.— Что за дело? За каким дьяволом мне к нему ехать?

— Генерал просит тотчас явиться к нему.

— Кто был от генерала?

— Шведский офицер, он уж уехал. Чуть коня не загнал!

— Ладно! — сказал Куклиновский.

Затем он обратился к Кмицицу:

— Жарко тебе было, золотко, поостынь теперь малость, я скоро ворочусь, мы с тобой еще потолкуем!

— А что с ним делать? — спросил один из солдат.

— Оставьте его так. Я мигом ворочусь. Один из вас со мной поедет.

Полковник вышел, а вслед за ним и тот солдат, что сидел на балке. Осталось только трое; но вот в ригу вошло трое новых.

— Можете идти спать, — сказал тот, который доложил Куклиновскому о приказе Миллера, — полковник нам велел постеречь пленника.

Кмициц вздрогнул, услышав этот голос. Он показался ему знакомым.

— Мы лучше останемся, — ответил один из солдат, — хочется поглядеть, ведь такого дива...

Он внезапно оборвал речь.

Какой-то странный нечеловеческий звук вырвался у него из горла, похожий на крик петуха, когда его режут. Он раскинул руки и упал, как громом сраженный.

В то же мгновение крик: «Лупи!» — раздался в риге, и два других вновь пришедших солдата, как рыси, бросились на двоих, оставшихся в риге. Закипел бой, страшный, короткий, освещаемый отблесками пылавшей лагунки. Через минуту оба солдата рухнули на солому, минуту еще слышался их предсмертный хрип, затем раздался тот самый голос, который показался Кмицицу знакомым.

— Пан полковник, это я, Кемлич, с сынами! Мы с утра все не могли время улучить! С утра все стерегли! — Тут старик обратился к сыновьям: — А ну, шельмы! Отрезать пана полковника, да мигом мне!

Не успел Кмициц понять, что творится, как около него появились две косматые чуприны Косьмы и Дамиана, похожие на две огромные кудели. Узлы мигом были разрезаны, и Кмициц встал на ноги. В первую минуту он покачнулся. Еле выговорил пересохшими губами:

— Это вы? Спасибо!

— Это мы! — ответил страшный старик. — Матьер божия! Да одевайся же, пан полковник! Живо, шельмы!

И он стал подавать Кмицицу одежду.

— Кони у дверей, — говорил он. — Отсюда дорога свободна. Стража стоит, и сюда, может, никого не пустили

бы, а выпустить — выпустят. Мы знаем пароль. Как ты себя чувствуешь, пан полковник?

— Бок он мне припек, но не сильно. Ноги вот у меня подкашиваются.

— Хлебни горелки, пан полковник.

Кмициц с жадностью схватил манерку, которую подал ему старик, и, выпив половину, сказал:

— Озяб я. Теперь мне получше.

— В седле, пан полковник, разогреешься. Кони ждут.

— Теперь мне получше,— повторил Кмициц.— Только бок немного горит. Ну, да это пустое. Мне уж совсем хорошо!

И он сел на край закрома.

Через минуту он и в самом деле совсем оправился и уже в полной памяти смотрел на зловещие лица троих Кемличей, освещенные желтыми язычками пылающей смолы.

Старик подошел к нему.

— Пан полковник, надо торопиться! Кони ждут!

Но в пане Анджее уже проснулся прежний Кмициц.

— Ну уж нет! — неожиданно воскликнул он.— Теперь я подожду этого изменника!

Кемличи переглянулись в изумлении, но ни один слова не пикнул, так слепо с давних пор привыкли они повиноваться своему предводителю.

Жилы вздулись у пана Анджея на лбу, глаза в темноте светились, как угли, такой горели они яростью и жаждой мщенья. То, что он делал теперь, было безумием, за которое он мог поплатиться жизнью. Но вся его жизнь была цепью таких безумств. Бок жестоко болел, так что время от времени он невольно хватался за него рукой, но думал он только о Куклиновском и готов был ждать его хоть до утра.

— Послушайте,— сказал он,— что, Миллер и впрямь вызывал его?

— Нет,— ответил старик.— Я все выдумал, чтобы легче было справиться с солдатами. С пятерыми нам троим было бы труднее, кто-нибудь из них мог бы шум поднять.

— Вот и отлично. Он либо один сюда воротится, либо в компании. Коли будет с ним несколько человек, вы сразу на них ударьте! А его оставьте мне. Потом по коням! Есть у кого пистолет?

— У меня,— ответил Косьма.

— Давай! Заряжен? Порох насыпан?

— Да.

— Ладно. Коль один воротится, вы, как только он войдет, бросайтесь на него и кляп ему суньте в рот. Можете засунуть хоть его же шапку.

— Слушаюсь! — ответил старик.— Пан полковник, позволь нам теперь обыскать этих? Мы, худародные...

С этими словами он показал на трупы, лежавшие на соломе.

— Нет! Надо быть наготове. Что найдете при Куклиновском,— то ваше!

— Коль один он воротится, я ничего не боюсь. Стану за дверями, а придет кто, скажу, полковник не велел пускать.

— Ладно. Береги!

Конский топот долетел снаружи. Кмициц вскочил и встал у стены в тень. Косьма и Дамиан заняли места у самого входа, точно два кота, подстерегающих мышь.

— Один! — сказал старик, потирая руки.

— Один! — повторили Косьма и Дамиан.

Топот раздался совсем близко и вдруг стих, за дверью послышался голос:

— Эй, выйди который коня подержать!

Старик бросился вон.

На минуту воцарилась тишина, после чего до слуха оставшихся в риге долетел следующий разговор:

— Это ты, Кемлич? Что за черт, ты что, сбесился или одурел? Ночь. Миллер спит. Стража не хочет пускать, говорят, никакой офицер не выезжал! Что все это значит?

— Пан полковник, офицер ждет здесь, в риге. Он приехал сразу же после отъезда твоей милости... говорит, разминулся, вот и ждет.

— Что все это значит? А пленник?

— Висит.

Двери скрипнули, и Куклиновский вошел в ригу; но не успел он сделать и шагу, как две железные руки схватили его за горло и задушили крик ужаса. Косьма и Дамиан с ловкостью настоящих разбойников бросили Куклиновского наземь, прижали ему коленями грудь так, что затрещали ребра, и в мгновение ока сунули кляп.

Тогда вперед вышел Кмициц, посветил ему сперва помазком в глаза, а потом сказал:

— Ах, это ты, пан Куклиновский! Теперь я с тобой потолкую!

Лицо у Куклиновского посинело, жилы вздулись так, что казалось, вот-вот лопнут; вытарашенные, налившиеся кровью глаза застыли от ужаса и изумления.

— Раздеть его и на балку! — крикнул Кмициц.

Косьма и Дамиан с таким рвением бросились раздевать Куклиновского, точно вместе с одеждой хотели содрать с него кожу.

Через четверть часа он висел уже, как гусиный полотно, на балке, связанный по рукам и ногам.

Подбоченился тут Кмициц и давай куражиться.

— Ну как, пан Куклиновский, — говорил он, — кто лучше: Кмициц или Куклиновский?

Он схватил пылающий помазок и подступил ближе.

— Ведь в твой стан отсюда стрела долетит, только кликни, и тысяча твоих злодеев прискачет! Чуть подале генерал твой шведский, а ты вот висишь на той самой балке, на которой вздумал меня припекать! Знай же, каков он, Кмициц! Ты хотел с ним равняться, в компанию к нему втереться, состязаться с ним? Ты, подлый грабитель! Ты, пугало для старых баб! Ты, плюгавый выполозок! Ты, пан Шельмовский из Шельмова! Ты, враль коротый! Ты, хам! Ты, невольник! Да я бы мог приказать ножом тебя, как каплуна, прирезать, но уж лучше живьем припеку, как ты меня хотел...

С этими словами он прижал помазок к боку несчастного, но держал подольше, пока запах горелого мяса не разнесся по риге.

Куклиновский скорчился так, что закачалась веревка. В глазах его, устремленных на Кмицица, читалась адская боль и немая мольба о пощаде, из заткнутого кляпом рта вырывались жалобные стоны; но сердце Кмицица ожесточилось в войнах, и не было в нем жалости, особенно к изменникам.

Отняв наконец помазок, он на минуту прижал его к носу Куклиновского, опалил усы, ресницы, брови, затем сказал:

— Дарую тебе жизнь, чтобы ты мог еще подумать о Кмицице. Повисишь здесь до утра, а теперь моли бога, чтобы люди нашли тебя, прежде чем ты успеешь замерзнуть!

Тут он повернулся к Косьме и Дамнани.

— По коням! — крикнул.

И вышел из риги.

Спустя полчаса перед четырьмя всадниками простерлись тихие холмы, безмолвные, пустые поля. Свежий воздух, не пропахший пороховым дымом, вдыхали они в грудь. Кмициц ехал впереди, Кемличи за ним. Старик и сыновья тихо разговаривали между собою, пан Анджей молчал, вернее, читал про себя утренние молитвы, так как близился уже рассвет.

Время от времени хрип, даже легкий стон вырывался у него из груди, так сильно болел обожженный бок. Но в то же время он чувствовал, что свободен, что едет верхом на коне, а мысль о том, что он взорвал самую большую кулеврину и к тому же вырвался из рук Куклиновского и отомстил ему, наполняла его такой радостью, что ничем была боль по сравнению с нею.

Между тем тихий разговор превратился у Кемличей в громкую ссору.

— Кошелек, это ладно! — брюзжал старик. — Ну, а перстни где? Перстни были у него на пальцах, один с камнем ценою в добрых двадцать дукатов.

— Я позабыл снять! — ответил Косьма.

— Чтоб вас бог убил! Я, старик, должен обо всем думать, а у вас, шельмы, на грош разума нет! Это вы-то, разбойники, про перстни забыли? Брешете, как собаки!

— Так воротись, отец, и погляди! — проворчал Дамиан.

— Брешете, шельмы, думаете зубы заговорить! Старика отца обижаете? Нет, каковы сынки! Да лучше бы мне не родить вас! Без благословения умрете!

Кмициц придержал коня.

— Ко мне! — приказал он.

Ссора затихла. Кемличи мигом поравнялись со своим полковником, и все четверо продолжали путь уже в одной шеренге.

— Дорогу до силезской границы знаете? — спросил пан Анджей.

— Ох, ох! Матерь божия! Как не знать, знаем! — ответил старик.

— На шведские отряды не наткнемся по дороге?

— Нет, все они под Ченстоховой стоят. Разве только на одиночек можно наткнуться, ну да этих дай бог встречать!

На минуту воцарилось молчание.

— Так вы у Куклиновского служили? — снова спросил Кмициц.

— Да, но мы думали, что коль будем поблизости, так и святым отцам, и твоей милости сможем послужить. Мы против крепости не боролись, избави бог! И жалованья не брали, разве что при шведах найдем.

— Как так при шведах?

— Мы ведь и за стенами монастыря хотели служить богородице... вот и ездили по ночам вокруг стана, а случалось, и днем, как бог даст, ну а попадался когда швед один, мы его и... того... Всех скорбящих радость!.. Мы его и того...

— Лупили! — закончили Косьма и Дамиан.

Кмициц улыбнулся.

— Хорошие же слуги были у Куклиновского! — сказал он. — А он-то знал об этом?

— Дознавались там, доискивались... он-то знал и велел нам — ну не вор ли! — платить ему по талеру с головы. Иначе выдать грозился... Этакий разбойник! Бедных людей обижал! Мы тебе остались верны, пан полковник. Ну что это за служба была! Ведь ты, пан полковник, свое нам отдашь, а он с нас по талеру с головы, это за наши труды-то, за нашу работу! Да ну его совсем!

— Щедро вознагражу я вас за то, что вы сделали! — ответил Кмициц. — Не ждал я этого от вас.

Но тут далекий гром пальбы прервал его слова. Видно, шведы открыли огонь с первым же проблеском зари. Через минуту пальба стала сильнее. Кмициц придержал коня: ему казалось, что он различает голоса крепостных и шведских пушек; он сжал кулак и погрозил в сторону вражеского стана:

— Стреляйте, стреляйте! Где ваша самая большая кулеврина?!

ГЛАВА XIX

Взрыв крупной кулеврины совсем удручил Миллера, все надежды возлагал он на это орудие. И пехота уже готова была пойти на приступ, и лестницы приготовлены, и горы фашин, а теперь надо было оставить всякое помышление о приступе.

Попытки взорвать монастырь с помощью подкопа тоже кончились ничем. Правда, пригнанные из Олькуша рудокопы долбили скалу, подбираясь наискось под монастырь; но работа продвигалась медленно. Несмотря на все предосторожности, рудокопов разили монастырские ядра, земля кругом была усеяна трупами, и люди работали неохотно. А многие предпочитали смерть, только бы не стать виновниками гибели святыни.

Миллер чувствовал, что сопротивление растет с каждым днем; войско и без того пало духом, а от морозов теряло последние остатки мужества; день ото дня в его рядах ширилось смятение и росла уверенность в том, что не в силах человеческих покорить эту святыню.

В конце концов Миллер и сам начал терять надежду, а после взрыва кулеврины просто пришел в отчаяние. Им овладело чувство полного бессилия и беспомощности.

На следующий день, рано утром, он созвал совет, но, видно, только затем, чтобы сами офицеры сказали, что надо отступить.

Офицеры стали собираться, утомленные все, угрюмые. Глаза у них не горели уже надеждой и воинственной отвагой. Молча сели они за стол в просторном и холодном покое; лица их мгновенно заслонил пар из уст, и глядели они из-за него, словно из-за тучи. Все чувствовали усталость и изнеможение, и каждый говорил себе в душе, что нечего ему посоветовать, разве только такое, что лучше не соваться вперед со своими мыслями. Все ждали, что скажет Миллер, он же первым делом распорядился принести побольше гретого вина, надеясь, что оно развяжет языки, и он скорее выведает у этих молчаливых людей их истинные мысли, услышит от них, что надо отступить.

Решив наконец, что вино уже оказало свое действие, он обратился к офицерам со следующими словами:

— Вы заметили, господа, что на совет не явились польские полковники, хотя я всем послал вызов?

— Да вы, генерал, верно, знаете, что польские солдаты во время рыбной ловли нашли монастырское серебро и передрались из-за него с нашими солдатами. Человек двадцать зарублено насмерть.

— Знаю. Часть серебра, притом большую, я вырвал у них из рук. Оно тут, у меня, я вот раздумываю, что с ним делать.

— Полковники потому, наверно, и сердятся. Они говорят, что, раз поляки нашли серебро, оно принадлежит полякам.

— Вот так резон! — воскликнул Вжещович.

— А по-моему, есть в том резон,— вмешался в разговор Садовский,— и когда бы, граф, вы нашли серебро, думаю, тоже не сочли бы нужным делиться не то что с поляками, но даже со мною, хоть я и чех.

— Прежде всего я не разделяю ваших добрых чувств к врагам нашего короля,— мрачно отрезал Вжещович.

— Но по вашей милости мы принуждены разделять с вами стыд и позор, которые пали на нас оттого, что мы бессильны покорить эту крепость, куда вы изволили нас привести.

— Так вы, стало быть, потеряли уже всякую надежду?

— А у вас она еще осталась? Что ж, разделите ее с нами!

— Вы угадали, и знайте, что господа офицеры охотнее разделят со мною мою надежду, нежели с вами ваш страх.

— Уж не хотите ли вы сказать, что я трус?

— Я не смею думать, что храбрости у вас больше, нежели вы сами изволили выказать.

— Я же смею думать, что у вас ее меньше, нежели вы силитесь выказать.

— Ну а я,— прервал их Миллер, с неприязнью глядя на Вжещовича, вдохновителя неудачной осады,— решил отослать серебро в монастырь. Может, добром да лаской мы большего добьемся у этих упрямых монахов, нежели пулями да пушками. Пусть поймут, что мы хотим завладеть не их богатствами, а крепостью.

Офицеры с удивлением посмотрели на Миллера,— они никак не ждали от него такого великодушия.

— Лучше ничего не придумашь! — сказал наконец Садовский.— Ведь мы тем самым заткнем рот польским полковникам, которые зарятся на это серебро. Само собою, и на монахов это сильно подействует.

— Сильней всего на них подействует смерть этого Кмицица,— возразил Вжещович.— Надеюсь, Куклиновский уже содрал с него шкуру.

— Думаю, что он уже мертв,— промолвил Миллер.— Но это имя снова напомнило мне о нашей невознагради-

мой потере. Взорвано самое крупное орудие во всей артиллерии его величества. Не скрою, господа, на него я возлагал все мои надежды. Брешь уже была пробита, тревога ширилась в крепости. Еще каких-нибудь два дня, и мы бы пошли на приступ. Теперь все рассыпалось прахом, пропали все труды, все усилия. Стену они починят за один день. А те орудия, которые у нас еще остались, не лучше крепостных, их легко разбить. Тяжелых взять неоткуда, их нет и у маршала Витгенберга. Господа! Чем больше я думаю о нашем поражении, тем ужаснее оно мне представляется! И подумать только, что нанес его нам один человек! Один дьявол! Один пес, черт бы его побрал!

В припадке бессильного и поэтому совершенно необузданного и дикого гнева Миллер ударил кулаком по столу.

Помолчав с минуту времени, он вскричал:

— А что скажет его величество, когда до него дойдет весть об этой потере?!

И еще через минуту:

— Что же делать? Не зубами же грызть эту скалу! Чтоб их громом убило, этих уговорщиков, что заставили меня осадить крепость!

С этими словами он в сердцах так хватил об пол хрустальную чашу, что хрусталь разбился в мелкие дребезги.

Офицеры молчали. Недостойное поведение генерала, которое больше приличествовало мужику, а не военачальнику, занимающему столь высокий пост, восстановило всех против него, офицеры совсем помрачнели.

— Давайте же советоваться, господа! — крикнул Миллер.

— Советоваться можно только спокойно, — возразил князь Гессенский.

Миллер засопел и в гневе раздул ноздри. Через некоторое время он успокоился, обвел глазами присутствующих, как бы вызывая их на откровенность, и сказал:

— Прошу прощения, господа, но нельзя удивляться моему гневу. Не стану вспоминать все города, которые я покорил, приняв начальство после Торстенсона, ибо не хочу я пред лицом нынешнего поражения хвастаться старыми успехами. Все, что творится у стен этой крепости, выше человеческого понимания. Но посоветоваться нам

надо. За тем я вас и позвал. Давайте же обсудим дело, и что решим мы большинством голосов, то я и исполню.

— Генерал, скажите, о чем мы должны советоваться? — спросил князь Гессенский. — О том ли только, как покорить нам крепость, или о том, не лучше ли снять осаду?

Миллер не хотел ставить вопрос так недвусмысленно и, уж во всяком случае, не хотел первым произнести роковые слова, поэтому он сказал:

— Говорите, господа, откровенно все, что вы думаете. Все мы должны печься о благе и славе его величества.

Но никто из офицеров не хотел выступить первым с предложением снять осаду, поэтому снова воцарилось молчание.

— Полковник Садовский! — сказал через минуту Миллер голосом, которому он постарался придать ласковость и приятность. — Вы всегда более откровенны, нежели прочие, ибо ваша слава хранит вас от всяких подозрений...

— Я думаю, генерал, — ответил полковник, — что этот Кмициц был одним из величайших воителей нашего времени и что положение наше отчаянное.

— Ведь вы, сдается, полагали, что нам надо снять осаду?

— Позвольте, генерал, я был только за то, чтобы не начинать осады. А это совсем другое дело.

— Что же вы теперь советуете?

— Теперь я уступаю слово господину Вжещовичу.

Миллер грубо выругался.

— Господин Вейгард ответит за эту злополучную осаду! — сказал он.

— Не все мои советы были исполнены, — дерзко возразил Вжещович, — и я тоже смело могу снять с себя ответственность. Нашлись такие, которые отвергли их. Нашлись такие, которые, питая поистине странную и непостижимую приязнь к монахам, убеждали вас, генерал, отказаться от всех решительных средств. Я советовал повесить посланных к нам монахов, и уверен, что, когда бы это было сделано, ксендзы в страхе открыли бы нам ворота этого курятника.

Вжещович обратил при этом взор на Садовского; но не успел тот возразить, как в разговор вмешался князь Гессенский.

— Не называйте, граф, эту твердыню курятником! — сказал он. — Чем больше преуменьшаете вы ее значение, тем больше увеличиваете наш позор.

— И тем не менее я советовал повесить послов. Страх и ещё раз страх, вот что повторял я с утра до вечера; но полковник Садовский пригрозил уйти со службы, и монахи ушли отсюда целыми и невредимыми.

— Ступайте же, граф, нынче в крепость, — ответил Садовский, — и взорвите порохом самую большую их пушку, как сделал Кмициц с нашей кулевриной, и я ручаюсь, что это пробудит большой страх, нежели разбойничье убийство послов!

Вжещович обратился к Миллеру:

— Генерал, я полагаю, мы собрались сюда не на забаву, а на совет!

— У вас есть что сказать, кроме пустых упреков? — спросил Миллер.

— Да, невзирая на веселость этих господ, которые могли бы приберечь свои шуточки для лучших времен.

— О, Лаэртид, славный своими уловками! — воскликнул князь Гессенский.

— Господа! — обратился Вжещович к офицерам. — Всем известно, что не Минерва ваша божественная покровительница, а поскольку Марс не оправдал ваших надежд и вы отказались от слова, позвольте сказать мне.

— Ну, захохла гора, сейчас покажется мышиный хвостик! — съязвил Садовский.

— Прошу соблюдать тишину! — строго остановил его Миллер. — Говорите, граф! Помните только, что доселе ваши советы давали горькие плоды.

— А мы, невзирая на зиму, должны есть их, как плесневелые сухари! — подхватил князь Гессенский.

— То-то вы так пьете, сиятельный князь! — отрезал Вжещович. — Оно конечно, вино не может заменить прирожденной остроты ума, однако помогает вам превесело переваривать даже позор. Но довольно об этом! Я хорошо знаю, что в монастыре есть люди, которые давно хотят сдать, и лишь наша слабость с одной стороны и неслышанное упорство приора — с другой держат их в узде. От нового страха эти люди еще больше осмелеют, поэтому нам надо сделать вид, что мы не придаем никакого значения потере кулеврины, и штурмовать крепость еще сильнее.

— И это все?

— Даже если бы это было все, полагаю, мой совет более отвечает чести шведского солдата, нежели пустые насмешки за чарой да беспробудный сон после пьянства. Но это не все. Среди наших и особенно среди польских солдат надо рассеять слух, будто рудокопы, что подвоят сейчас мину под крепость, открыли старый подземный ход, который ведет под самый монастырь и костел.

— Вот это вы, граф, правильно рассудили, это дельный совет! — сказал Миллер.

— Когда этот слух распространится между нашими и польскими солдатами, сами поляки будут уговаривать монахов сдать, они ведь, как и монахи, хотят, чтобы это гнездо суеверий уцелело.

— Неплохо сказано для католика! — проворчал Садовский.

— Служил бы туркам, так и Рим назвал бы гнездом суеверий! — подхватил князь Гессенский.

— Тогда поляки непременно пошлют к монахам своих послов, — продолжал Вейгард, — и противники ксендза Кордецкого, которые давно хотят сдать, усилят свои старания и, как знать, не принудят ли приора и его сторонников открыть ворота крепости.

— «Погибнет град Приама от коварства божественного Лаэртида...» — продекламировал князь Гессенский.

— Клянусь богом, совершенно троянская история, а ему сдается, будто он придумал что-то новое! — подхватил Садовский.

Но Миллеру совет понравился, да он и был неплох. Кучка противников приора, о которой говорил Вжешович, действительно существовала в монастыре. К ней принадлежали даже некоторые слабодушные монахи. Смятение можно было вызвать и в рядах гарнизона, даже среди тех солдат, которые хотели защищаться до последней капли крови.

— Попытаемся, попытаемся! — говорил Миллер, который, как утопающий, и за соломинку хватался и легко переходил от отчаяния к надежде. — Но согласятся ли Калинский или Зброжек пойти послами в монастырь, поверят ли они, что найден этот подземный ход, захотят ли рассказать о нем монахам?

— Ну, Куклиновский согласится, — ответил Вжешович. — Но лучше, чтобы и он поверил, что ход существует.

Внезапно у крыльца раздался конский топот.

— А вот и Зброжек приехал,— сказал князь Гессенский, выглянув в окно.

Через минуту в сенях зазвенели шпоры, и в покой вошел, вернее, ворвался Зброжек. На нем лица не было; не успели офицеры спросить, что случилось, как он крикнул в совершенном смятении:

— Куклиновский погиб!

— Как погиб? Что вы говорите? Что случилось? — встревожился Миллер.

— Дайте дух перевести! — ответил Зброжек. — Вы представить себе не можете, что я видел!..

— Говорите же скорее! Что, его убили? — вскричали все сразу.

— Кмициц! — ответил Зброжек.

Офицеры повскакали с мест и усталились на Зброжска, как на безумца, он же, выдыхая из уст целые облака пара, стал захлебываясь рассказывать:

— Я сам видел и глазам своим не верил,— это дьявольское наваждение. Куклиновский мертв, трое солдат убиты, Кмицица и след простыл. Я знал, что это страшный человек. Молва о нем шла по всей стране. Но чтобы связанный пленник не только вырвался из рук, но и солдат поубивал, и Куклиновского замучил,— нет, такого человек не мог совершить. Он дьявол!

— Такого и впрямь отродясь не бывало! Просто поверить трудно! — прошептал Садовский.

— Показал этот Кмициц, на что он способен! — заметил князь Гессенский. — Ведь вот не верили мы вчера полякам, когда они говорили нам, что это за птица, думали, прибавляют, по своему обычаю.

— С ума можно сойти! — воскликнул Вжещович.

Миллер сжал руками голову и не говорил ни слова. Когда он поднял наконец глаза, гневен и подозрителен был его взгляд.

— Полковник Зброжек,— сказал он,— будь этот Кмициц не человек, а сам сатана, без посторонней помощи, без предательства он бы этого не мог совершить. Были тут поклонники у Кмицица, были враги у Куклиновского, и вы принадлежали к их числу!

Зброжек был солдат в полном смысле слова отчаянный; услышав, какое обвинение ему предъявляют, он

побледнел еще больше, сорвался с места и, шагнув к Миллеру, посмотрел на него в упор.

— Вы что, генерал, подозреваете меня? — спросил он.

Наступило тягостное молчание. Никто из присутствующих не сомневался, что, если Миллер даст утвердительный ответ, неминуемо произойдет нечто страшное, нечто неслыханное во всей истории войн. Все руки легли на рукоятки рапир. Садовский свою даже вынул из ножен.

Но в эту минуту офицеры увидели в окна, что двор наполнился польскими конниками. Солдаты, видно, тоже привезли вести о Куклиновском и в случае столкновения, несомненно, встали бы на сторону Зброжека. Увидел их и Миллер и, хотя побледнел от бешенства, однако совладал с собою и, притворясь, будто не заметил вызывающего поведения Зброжека, попросил его совершенно натуральным голосом:

— Расскажите подробней, как все случилось.

Зброжек еще минуту стоял, раздувая ноздри; однако и он опомнился, к тому же в покой вошли вновь прибывшие его товарищи, и мысли полковника приняли другое направление.

— Куклиновский погиб! — повторяли они.

— Куклиновский убит!

— Его отряд разбегается! Солдаты шумят!

— Позвольте, господа, сказать полковнику Зброжеку, он ведь первый принес эту новость! — воскликнул Миллер.

Через минуту все затихли, и Зброжек начал свой рассказ:

— Вы знаете, на последнем совете я вызвал Куклиновского, и он дал мне слово кавалера, что будет драться со мной. Да, я преклонялся перед Кмицицем, но ведь и вы, хоть и враги его, не можете не признать, что не всякий может совершить такой подвиг, какой он совершил. Отвагу надо ценить и во враге, потому я и протянул ему руку; но он не подал мне своей руки и назвал меня изменником. Ну я и подумал: пусть Куклиновский делает с ним, что хочет. Мне одно только было важно, чтобы Куклиновский не поступил с ним противно рыцарской чести, так как позор пал бы тогда на всех поляков, а вместе с ними и на меня. Потому-то я непременно хотел драться с Куклиновским и сегодня утром, прихватив с собою двоих хорунжих, поехал в его стан. Приезжаем на

квартиру, нам говорят: «Нет его!» Посылаю сюда — нет его! На квартире говорят, что он и не ночевал, но они не беспокоились, думали, он остался у вас, генерал. А тут один солдат говорит нам, будто ночью Куклиновский увез Кмицица в поле, там в риге он хотел его пытать огнем. Еду туда, двери риги настезь. Вошел, вижу: висит на балке голое тело. Подумал, Кмициц, но когда глаза пригляделись к темноте, вижу, кто-то тощий висит, костлявый, а тот был суший Геркулес. Что за диво, думаю, как это он мог иссохнуть так за ночь? Подхожу ближе — Куклиновский!

— На балке? — спросил Миллер.

— Да! Перекрестился я. Уж не колдовство ли, думаю, не мерещится ли мне? Только когда троих солдат убитых увидел, все стало ясно. Этот страшный человек убил солдат, а Куклиновского подвесил к балке, огнем пытал его, как палач, а потом ушел!

— До силезской границы рукой подать! — заметил Садовский.

На минуту воцарилось молчание.

Всякое подозрение в том, что это могло быть делом рук Зброжека, отпало. Но само событие смутило и потрясло генерала и наполнило его душу какой-то неясной тревогой. Чудилось ему, что обступают его отовсюду опасности, вернее, грозные тени их, и не знает он, как с ними бороться; чувствовал он, что захлестывает его цепь неудач. Перед глазами его лежали первые звенья этой цепи, остальные тонули во мраке. Им овладело такое чувство, точно живет он в доме, который дал трещины, и потолок вот-вот рухнет ему на голову. Неизвестность придавила его несомною тяжестью, и вопрошал он сам себя: как же быть?

Но тут Вжещович хлопнул себя по лбу.

— Господи! — воскликнул он. — Со вчерашнего дня, как увидел я этого Кмицица, все мне чудится, что я его знаю. Вот и сейчас я опять вижу его лицо, вспоминаю звук его голоса. Верно, повстречал я его в темноте, вечером, и встреча была короткой. Вертится в голове... вертится...

Он потер лоб рукой.

— Что нам до этого? — сказал Миллер. — Пушку, граф, вы все равно не склеите, даже если вспомните его, да и Куклиновского не воскресите! — Тут генерал обра-

тился к офицерам: — Господа, кто желает, может поехать со мной на место происшествия!

Все выразили желание поехать, любопытство было возбуждено.

Подали лошадей, и офицеры тронулись рысью с генералом во главе. Подъехав к риге, они увидели подле нее, на дороге и в поле с полсотни польских конников.

— Что за люди? — спросил у Зброжека Миллер.

— Наверно, Куклиновского. Я говорил вам, генерал, совсем эта голь взбунтовалась.— Зброжек поманил пальцем одного из солдат.— Эй, ко мне! Да живо!

Солдат подъехал.

— Вы из хоругви Куклиновского?

— Да.

— А где все остальные?

— Разбежались. Говорят, против Ясной Горы больше служить не хотим.

— Что он говорит? — спросил Миллер.

Зброжек перевел.

— Спросите, полковник, куда они ушли,— попросил генерал.

Зброжек повторил вопрос.

— Кто его знает! — ответил солдат.— Одни в Силезию ушли. Другие толковали, что к самому Кмицицу пойдут служить, потому другого такого полковника нет ни у поляков, ни у шведов.

Когда Зброжек перевел Миллеру и эти слова, генерал призадумался. Люди у Куклиновского служили такие, что не колеблясь могли уйти к Кмицицу. Но тогда они стали бы опасны для войск Миллера, во всяком случае для подвозных дорог и связи.

Собрались в вышине тучи над генералом и заслонили совсем заколдованную крепость.

Зброжек, наверно, подумал о том же; словно отвечая на мысль Миллера, он сказал:

— Что говорить, поднимаются люди в нашей Речи Посполитой. Стоит только Кмицицу бросить клич, и к нему слетятся сотни и тысячи, особенно после того, что он совершил.

— Да что он может сделать? — спросил Миллер.

— Не забудьте, генерал, что этот человек довел до отчаяния Хованского, а людей у князя было с казаками в шесть раз больше, нежели у нас. Ни один обоз не прой-

дет к нам без его воли, а ведь деревни опустошены, и у нас начинается голод. Кроме того, Кмициц может соединиться с Жегоцким и Кулешей, и тогда на его клич поднимется несколько тысяч сабель. Опасный это человек и может стать *molestissimus*¹.

— Полковник, а вы уверены в своих солдатах?

— Я больше уверен в них, нежели в себе самом,— с жестокой откровенностью ответил Зброжек.

— Как это больше?

— Сказать по правде, вот где сидит у нас эта осада!

— Я верю, что она скоро кончится.

— Да вот вопрос: чем? Впрочем, сейчас что взять эту крепость, что снять осаду — одинаково потерпеть поражение.

Тем временем они доехали до риги. Миллер соскочил с коня, за ним спешили офицеры, и все вошли внутрь. Солдаты уже сняли Куклиновского с балки и, покрыв ковриком, положили навзничь на остатках соломы. Трупы троих солдат лежали рядом, друг подле друга.

— Этих ножами прикончили,— шепнул Зброжек.

— А Куклиновского?

— У Куклинского ран нет, только бок обожжен да усы опалены. Он либо замерз, либо задохнулся; собственная шапка до сих пор торчит у него в зубах.

— Открыть его!

Солдат приподнял угол коврика, и на свет показалось страшное, распухшее лицо с вывалившимися из орбит глазами. Остатки опаленных, покрытых копотью усов заиндевели, и сосульки торчали, как клыки изо рта. Зрелище это было настолько отвратительно, что Миллер, как ни привык он ко всяким ужасам, содрогнулся.

— Закройте поскорей! — распорядился он.— Ужас! Ужас!

В риге наступила мрачная тишина.

— И зачем только нас сюда принесло? — сплюнул князь Гессенский.— Я теперь весь день до еды не дотронусь.

Внезапно Миллера охватила неистовая, граничащая с безумием ярость. Лицо его побагровело, зрачки расширились, зубы заскрежетали. Дикая жажда крови, мести овладела им. Повернувшись к Зброжеку, он крикнул:

¹ Самым докучным, тягостным (*лат.*).

— Где тот солдат, который видел, что Куклиновский был в риге? Давайте его сюда! Это сообщник!

— Не знаю я, тут ли еще этот солдат,— ответил Зброжек.— Все люди Куклиновского разбежались, как волы, стряхнувшие ярма.

— Поймать его! — в бешенстве заорал Миллер.

— Сами ловите! — с таким же бешенством крикнул Зброжек.

И снова над головами поляков и шведов на тонкой паутинке повисла опасность роковой вспышки. Поляки толпою стали обступать Зброжека, топорщить грозно усы, бряцать саблями.

Но тут снаружи донесся шум, отголоски стрельбы, конский топот, и в ригу вбежал рейтарский офицер.

— Генерал! — крикнул он.— Вылазка! Рудокопы, что вели подкоп, перебиты все до единого! Отряд пехоты рассеян!

— Я с ума сойду! — взревел Миллер, хватаясь за свой парик.— По коням!

Через минуту все вихрем мчались к монастырю. Только комья снега летели из-под копыт. Сотня конницы Садовского под начальством его брата присоединилась к Миллеру и тоже неслась на помощь своим. По дороге всадники видели отряды пехоты, бегущей в смятении и беспорядке, так пали уже духом несравненные когда-то шведские солдаты. Они покидали даже шанцы, хотя там им вовсе не грозила опасность. Человек двадцать было растоптано мчавшимися во весь опор офицерами и рейтарами. Наконец всадники подскакали к крепости, но лишь для того, чтобы на горе, как на ладони, увидеть благополучно возвращавшийся к себе отряд противника. Песни, радостные клики и смех долетали до слуха Миллера.

Некоторые солдаты даже останавливались и грозили штабу окровавленными саблями. Поляки, скакавшие рядом со шведским генералом, узнали самого Замойского; серадзский мечник лично руководил вылазкой и теперь, завидев штаб, остановился и важно кланялся, помахивая шапкой. Не удивительно! Он чувствовал себя в безопасности под охраной крепостных орудий.

Но вот на валах взвился дым, и железные птицы с ужасающим свистом полетели мимо офицеров. Кое-кто из рейтар пошатнулся в седле, и стон был ответом на свист.

— Мы под огнем, назад! — крикнул Садовский.

Зброжек схватил под уздцы коня Миллера.

— Генерал! Назад! Здесь смерть!

Миллер точно впал в оцепенение, не ответив ни слова, он позволил вывести своего коня из поля обстрела. Вернувшись к себе на квартиру, он заперся и весь день никого не хотел видеть.

Верно, размышлял о своей славе Полиоцертеса.

Тем временем Вжешович взял всю власть в свои руки и с небывалой энергией стал готовиться к приступу. Рыли новые шанцы; солдаты после гибели рудокопов продолжали долбить скалу, чтобы подвести мину. Во всем шведском стане царило лихорадочное движение, казалось, новый дух вселился в сердца или прибыли свежие подкрепления.

Через несколько дней по шведскому и польскому союзническому стану разнеслась весть, будто рудокопы нашли подземный ход, который ведет под самый костел и монастырь, и что теперь достаточно только пожелать генералу и вся крепость взлетит на воздух.

Неописуемая радость овладела солдатами, которых совсем изнурили морозы, голод и напрасный труд.

Крики: «Ченстхова наша! Взорвем этот курятник!» — раздавались в стане. Загуляло, запировало войско.

Вжешович был вездесущ, он ободрял солдат, поддерживал в них веру, сто раз в день подтверждал весть о том, что найден подземный ход, поощрял пьянство и гульбу.

Отголоски этого ликования дошли наконец и до крепости. Весть о подведенных под монастырь и готовых взорваться минах с быстротой молнии разнеслась по валам. Испугались даже самые отважные. Женщины со слезами стали осаждать жилище приора; когда он показывался на минуту, они протягивали к нему детей и кричали:

— Не губи невинных! Кровь их падет на тебя!

И тот, кто был трусливей всех, тот храбрее всех приступал к нему, требуя, чтобы он не подвергал столь грозной опасности святыню, обитель пресвятой девы.

Для непреклонной души героя в монашеском одеянии наступили столь тяжкие и столь мучительные минуты, каких он еще не изведal. А тут шведы прекратили пальбу, чтобы тем очевиднее показать осажденным, что не

нужны им больше ни ядра, ни пушки, что для них довольно поджечь пороховую нить. По этой самой причине росло смятение в монастыре. Глухой ночью трусам чудились шорохи, движение под землей, им казалось, что шведы уже под самым монастырем. В конце концов пали духом и многие монахи. Во главе с отцом Страдомским они направились к приору, чтобы потребовать немедленно начать переговоры о сдаче. С ними пошла большая часть солдат и кое-кто из шляхты.

Тогда ксендз Кордецкий вышел на монастырский двор и вот что сказал толпе, окружившей его плотным кольцом:

— Разве не дали мы клятву друг другу защищать святую обитель до последней капли крови? Истинно говорю вам: коль взорвут нас порохом, на воздух взлетит лишь немощная наша плоть, лишь бранные останки падут снова на землю, а души уже не воротятся!.. Небеса разверзнутся над ними, и внидут они в веселие и блаженство, как в море без границ. Иисус Христос примет их и приснодева, и, как золотые пчелы, сядут они на ризу ее и в сиянии будут взирать на лик господень...

Озарился тут этим сиянием лик самого приора, устремил он горé вдохновенные очи и продолжал с неземным покоем и благодатью:

— Господи, владыка небесный, ты зришь мое сердце и ведаешь, что не лгу я малым сим, когда говорю, что, если бы жаждал я лишь собственного блаженства, я бы руки простер к тебе и возопиял из глубины души моей: «Господи! Да свершится сие! Пусть будет порох, пусть взорвется он, ибо искуплю я такую смертью содеянные прегрешения, ибо в ней вечный покой, а раб твой изнурен трудами и весь изнемог. Кто не пожелал бы такой награды за смерть без мучений, краткую, как мгновение ока, как молния, сверкнувшая в небе, после коей вечность неизменная, блаженство безграничное, радость бесконечная!..

Но ты повелел мне хранить обитель твою, и не волен я уйти; ты поставил меня на страже и влил в меня силу свою, и ведаю я, господи, и зрю и чую, что когда бы вражеская злоба достигла даже порога костела сего, когда бы весь порох и всю смертоносную селитру сложили под ним, довольно мне осенить их крестом, дабы не взорвались они...

Тут он обратился к собравшимся и продолжал:

— Бог дал мне силу сию, и вы изгоните страх из ваших сердец! Дух мой проник сквозь землю и говорит вам: лгут ваши враги, нет под костелом порохового змея! Вы, люди робких сердец, вы, в ком страх заглушил веру, не заслужили того, чтобы еще сегодня войти в царство блаженства и покоя, стало быть, нет пороха под стопами вашими! Господь хочет спасти обитель сию, дабы, как Ноев ковчег, носилась она над потопом бедствий и невзгод, и именем бога в третий раз говорю я вам: нет пороха под костелом! А коль я говорю его именем, кто посмеет перечить мне, кто отважится еще сомневаться?

Он умолк и смотрел на толпу монахов, шляхты и солдат. И такой непоколебимой верой, надеждой и силой дышал его голос, что и толпа молчала, никто не промолвил ни слова. Бодрость влилась в сердца, и один из солдат, простой крестьянин, сказал наконец:

— Да будет благословенно имя господне! Вот уж три дня толкуют они, что взорвут крепость, что же она не взрывается?

— Слава пресвятой деве! Что же она не взрывается? — повторили несколько голосов.

И тут всем было дивное знамение. Неожиданно шум крыльев раздался вокруг, и целые стаи зимних птиц появились на монастырском дворе, и все новые вереницы их летели из окрестных голодных деревень: серые хохлатые жаворонки, золотогрудые овсянки, убогие воробьи, зеленые синички, красные снегири усеяли гребни крыш, углы, косяки и карнизы костела; иные, трепеща крыльшками и жалобно щебеча, пестрым венцом кружили над головою ксендза Кордецкого и словно милостыни просили, нимало не пугаясь людей. Изумились все, увидев это зрелище, ксендз же минуту молился, а потом сказал:

— Вот и пташки лесные слетаются под крыло богородицы, а вы усомнились в ее могуществе?

Бодростью и надеждой преисполнились тут сердца, и монахи, бия себя в грудь, направились в костел, а солдаты на стены.

Женщины вышли посыпать корму пташкам, и те стали жадно клевать зерна.

Все решили, что появление маленьких лесных обитателей сулит им добро, а врагу — худо.

— Глубокие, знать, снега лежат, коль пташка, не глядя на выстрелы и рев пушек, жметя к жилью,— толковали между собою солдаты.

— Почему бегут они к нам от шведов?

— А потому, что самая убогая тварь и та разум имеет и может отличить врага от своего.

— Да нет! — возразил другой солдат.— Ведь и в шведском стане есть поляки. Просто голодно уже там и корма нет для лошадей.

— Что ж, оно и лучше! — промолвил третий.— Выходит, всё врут про порох.

— Как так? — хором спросили солдаты.

— Старики рассказывают,— ответил им товарищ,— что когда дом должен обвалиться, ласточки и воробьи, что весною свили гнезда под крышей, за два-три дня улетают прочь: такие они разумные твари, что наперед угадывают опасность. Вот и выходит, что не прилетели бы к нам птицы, когда бы под монастырем был порох.

— Смотри ты, неужто правда?

— Как аминь, что молитву вершит!

— Слава пресвятой богородице! Стало быть, плохи дела шведов!

В эту минуту у юго-западных ворот слышались звуки рожка, и все бросились поглядеть, кто это явился.

Это был шведский трубач, который привез из стана письмо.

Монахи тотчас собрались в советном покое. Письмо было от Вжещовича; граф предупреждал, что, если крепость не сдастся до наступления следующего дня, шведы взорвут ее.

Но даже те, кого прежде трепет клонил вниз, не поверили теперь этой угрозе.

— Пустые страхи! — кричали хором монахи и шляхта.

— Напишем, чтоб не жалели нас. Пускай взрывают!

Монахи и в самом деле дали Вжещовичу такой ответ.

Тем временем солдаты окружили трубача и смеялись в ответ на его угрозы.

— Ладно! — говорили они.— Чего вам жалеть нас! Скорее дух наш примут небеса!

А тот, кто вручал посланцу ответное письмо, сказал:

— Не тратьте попусту времени и слов! Вам самим есть нечего, а у нас, слава богу, всего вдоволь. Даже птицы бегут от вас.

Так кончилась ничем последняя хитрость Вжещовича.

А когда минул еще один день, стало уж вовсе ясно, что напрасны были все страхи осажденных, и спокойствие снова воцарилось в монастыре.

На следующий день ченстоховский мещанин Яцек Бжуханский опять подкинул монахам письмо, в котором предупредил их о новом штурме, но вместе с тем и о том, что Ян Казимир выехал уже из Силезии и вся Речь Посполитая встает на шведов. Да и самый штурм, по слухам, которые распространились за стенами монастыря, должен быть последним.

Это письмо Бжуханский подкинул с мешком рыбы для монахов на рождественский сочельник; к крепостным стенам он подобрался, переодевшись шведским солдатом.

К несчастью, его узнали и схватили. Миллер приказал поднять его на дыбу; но во время пыток старик имел небесные виденья и улыбался сладко, как дитя, и не боль, а неизъяснимая радость читалась на его лице. Генерал сам присутствовал при пытке, но не вырвал у мученика признаний, только убедился с отчаянием, что ничто этих людей не поколеблет, ничто не сломит, и совсем пал духом.

Тем временем к шведам явилась старая нищенка Костуха с письмом от ксендза Кордецкого, смиренно просившего не штурмовать крепость во время службы на рождество. Стража и офицеры на смех подняли такого посла, глумились над старухой, но она решительно ответила им:

— Больше никто не захотел пойти, потому вы с послами как разбойники обходитесь, а я за кусок хлеба взялась. Недолго мне жить-то осталось, вот и не боюсь я вас, а не верите, что ж, я в ваших руках.

Однако ничего дурного ей шведы не сделали. Мало того, Миллер попытался еще раз найти путь к миру и согласился исполнить просьбу приора; он принял даже выкуп за Яцека Бжуханского, которого шведы не успели замучить, отослал и часть серебра, найденного шведскими солдатами. Сделал он это назло Вжещовичу,

который после своей последней неудачи снова впал в немилость.

Пришел наконец рождественский сочельник. С первой звездой огни и огонечки затеплились во всей крепости. Ночь была тихая, морозная и ясная. Шведские солдаты, костенея на шанцах от холода, глядели снизу на черные стены неприступной крепости и вспоминали теплые, ухищенные мохом скандинавские хижины, жен, детей, елки с горящими свечками, и не одна железная грудь тяжело вздыхала от сожалений, тоски и отчаяния. А в крепости, за столами, покрытыми сеном, осажденные преломляли облатки. Тихой радостью пылали лица, ибо все предчувствовали, уверены были, что скоро уже минует година невзгод.

— Завтра еще штурм, но уже последний,— повторяли монахи и солдаты.— Кому богом назначена смерть, пусть возблагодарит создателя за то, что позволит он ему перед смертью у обедни помолиться и тем вернее раскроет перед ним врата рая, ибо кто в день рождества Христова положит душу за веру, внидет в царство небесное.

Они желали друг другу удачи, долгих лет жизни или царства небесного, и такое это всем принесло облегчение, будто беда уже миновала.

Но рядом с приором стоял пустой стулец, а перед ним на столе тарелка, на которой белели облатки, перевязанные голубою ленточкой.

Когда все расселись и никто не занял этого места, мечник сказал:

— Сдается, преподобный отче, у тебя, по старому обычаю, и для нежданных гостей припасено место?

— Не для нежданных оно гостей,— ответил ксендз Августин,— а в память о рыцаре, которого мы все как сына любили и душа которого с радостью взирает теперь на нас, потому вспоминаем мы его с благодарностью.

— Боже, боже,— воскликнул серадзский мечник,— лучше ему теперь, нежели нам! Да, мы по справедливости должны быть ему благодарны!

У ксендза Кордецкого слезы стояли на глазах, а Чарнецкий сказал:

— Не о таких героях и то пишут в хрониках. Коли, даст бог, останусь жив и кто-нибудь потом спросит меня,

кто среди вас был воин, равный старинным богатырям, я скажу: Бабинич!

— Не Бабиницем его звали,— сказал ксендз Кордецкий.

— Как не Бабиницем?

— Давно уж я знал настоящее его имя, но под тайной исповеди открыл он мне его. И только уходя во вражеский стан, чтобы взорвать кулеврину, сказал мне: «Коль погибну я, пусть узнают все мое имя, дабы доброю славой было оно покрыто и забыты были старые мои грехи». Ушел он, погиб, и теперь я могу сказать вам: это был Кмициц!

— Тот самый знаменитый литовский Кмициц?! — схватился за голову Чарнецкий.

— Да! Так по милости господней меняются людские сердца!

— О, боже! Теперь я понимаю, что он мог решиться на такое дело, понимаю, откуда бралась у него эта удаля, эта отвага, которой он превзошел всех нас! Кмициц, Кмициц! Тот самый страшный Кмициц, о котором слух идет по всей Литве!

— Отныне не слух, но слава пройдет о нем не только по всей Литве, но и по всей Речи Посполитой.

— Это он первый сказал нам о Вжещовиче!

— Спасибо ему, что вовремя мы закрыли врата и приготовились встретить шведов!

— Он подстрелил из лука первого врага!

— А сколько перебил их из пушки! А кто уложил де Фоссиса?

— А эта кулеврина! Кто виновник того, что мы не боимся завтрашнего штурма?

— Пусть же всяк добром его помянет и прославит, где только можно, имя его, дабы восторжествовала справедливость,— сказал ксендз Кордецкий.— А теперь: «Упокой, господи, душу его!»

— «Где праведные упокоятся!» — подхватил хор голосов.

Но Чарнецкий долго не мог успокоиться, и мысли его все время возвращались к Кмицицу.

— Было в нем, скажу я вам, что-то такое,— говорил он,— что хоть служил он простым солдатом, а как-то само собой получалось, что он начальствовал над всеми. Я прямо диву давался, как это люди невольно начинают

слушаться такого мальчишки. По сути дела, на нашей башне он был начальником, и я сам ему подчинялся. Знать бы тогда, что это Кмициц!

— Однако же странно мне,— заметил серадзский мечник,— что не стали шведы кричать об его смерти.

Ксендз Кордецкий вздохнул.

— Верно, порохом его разнесло на месте.

— Я бы руку дал себе отрубить, только бы он остался жив! — воскликнул Чарнецкий.— Но чтоб он да так оплошал!

— Он отдал за нас свою жизнь! — прервал его ксендз Кордецкий.

— Что говорить! — молвил мечник.— Когда бы эта кулеврина стояла на валу, не думал бы я так весело о завтрашнем дне.

— Завтра бог пошлет нам новую победу,— сказал ксендз Кордецкий,— ибо Ноев ковчег не может погибнуть в потопе!

Такой разговор вели они между собою в сочельник, а потом разошлись кто куда: монахи в костел, солдаты на тихий отдых или на стражу у врат и на стенах. Но излишней была эта бдительность, ибо и в шведском стане царил невозмутимый покой. И шведы предались отдыху и размышлениям, и для них приближался самый торжественный праздник.

Ночь была также торжественна. Мириады звезд светились в небе, мерцая красным и синим огоньком. Лунное сияние окрасило в зеленый цвет снежную пелену между крепостью и вражеским станом. Не веял ветер, и такая стояла тишина, какой не бывало у монастырских стен с самого начала осады.

В полночь шведские солдаты услышали мягко льющиеся с высоты звуки органа, к которым присоединились вскоре человеческие голоса, звон колоколов и колокольчиков. Весельем, бодростью и покоем дышали эти звуки, и тем большим сомнением стеснилась грудь шведов, и сердце в них упало.

Польские солдаты из хоругвей Зброжека и Калинского, не спрашивая позволения, подошли к самым крепостным стенам. Их не пустили в монастырь, опасаясь засады в ночной темноте, но позволили стоять у самых стен. Собралась целая толпа. Одни преклонили колена на снегу, другие жалостно качали головами, сокру-

шаясь над собственной долей, или били себя в грудь, давая себе слово исправиться, и все с восторгом и со слезами на глазах внимали звукам органа и песнопениям, которые пелись по древнему обычаю.

Между тем запела и стража на стенах, чтобы вознаградить себя за то, что не может она быть в костеле, и вскоре по всем стенам из конца в конец разнеслась колядка:

В яслях лежит,
Кто прибежит
Славить младенца...

На следующий день пополудни рев пушек снова заглушил все иные голоса. Шанцы сразу окутались дымом, земля содрогалась; по-прежнему летели на крышу костела тяжелые ядра, и бомбы, и гранаты, и факелы в оправе из труб, которые лили потоки расплавленного свинца, и факелы без оправы, и канаты, и пакля. Никогда еще не был так неумолчен рев, никогда еще не обрушивался на монастырь такой шквал огня и железа; но не было среди шведских пушек той кулеврины, которая одна могла сокрушить стену и пробить бреши для приступа.

Да и так уже привыкли защитники к огню, так хорошо знал каждый из них, что должен он делать, что оборона и без команды шла обычным своим чередом. На огонь отвечали огнем, на ядро — ядром, только целились лучше, потому что были спокойны.

Под вечер Миллер выехал посмотреть при последних лучах заходящего солнца, что же дал этот штурм, и взор его приковала башня, спокойно рисовавшаяся в небесной синеве.

— Этот монастырь будет стоять до скончания века! — воскликнул он в изумлении.

— Амины! — спокойно ответил Зброжек.

Вечером в главной квартире снова собрался совет; угрюмы все были больше обыкновенного. Открыл совет сам Миллер.

— Сегодняшний штурм, — сказал он, — ничего не принес. Порох у нас кончается, половина людей погибла, прочие пали духом и не победы ждут, а поражения. Запасы кончились, подкреплений ждать неоткуда.

— А монастырь стоит нерушимо, как в первый день осады! — прибавил Садовский.

— Что же нам остается?

— Позор!

— Я получил приказ,— продолжал генерал,— немедленно взять крепость или снять осаду и направиться в Пруссию.

— Что же нам остается? — повторил князь Гессенский.

Все взоры обратились на Вжещовича.

— Спасать нашу честь! — воскликнул граф.

Короткий, отрывистый смех, похожий на скрежет зубов, сорвался с губ того самого Миллера, которого звали Полиоцетесом.

— Граф Вжещович хочет научить нас воскрешать мертвых! — сказал он.

Вжещович сделал вид, что не слышит.

— Честь свою спасли только убитые! — прибавил Садовский.

Миллер начал терять самообладание.

— И он все еще стоит, этот монастырь? Эта Ясная Гора, этот курятник?! И я не взял его?! И мы отступаем? Сон ли это или явь?

— Этот монастырь, эта Ясная Гора все еще стоит,— как эхо повторил князь Гессенский,— и мы отступаем, разбитые!

Наступила минута молчания; казалось, военачальник и его подчиненные находят дикое наслаждение в мыслях о собственном позоре и унижении.

Но тут медленно и раздельно заговорил Вжещович.

— Во всех войнах,— сказал он,— не однажды случалось, что осажденная крепость давала выкуп за снятие осады, и тогда войска уходили как победители, ибо тот, кто дает выкуп, тем самым признает себя побежденным.

Офицеры, которые сперва слушали графа с надменным презрением, вдруг насторожились.

— Пусть монастырь даст нам какой-нибудь выкуп,— продолжал Вжещович,— тогда никто не посмеет сказать, что мы не могли его взять, скажут, что просто не пожелали.

— Но согласятся ли на это монахи? — спросил князь Гессенский.

— Ручаюсь головой,— ответил Вейгард,— более того, своей солдатской честью!

— Что ж, все может случиться! — сказал вдруг Садовский. — Вконец измучила нас эта осада, но ведь их тоже. Генерал, что вы на это скажете?

Миллер обратился к Вжещовичу:

— Много тяжелых минут принесли мне, граф, ваши советы, самых, пожалуй, тяжелых во всей моей жизни, но за этот совет спасибо вам, век буду помнить.

Все вздохнули с облегчением. И в самом деле, речь могла идти уже только о том, чтобы уйти с почетом.

Назавтра, в день святого Стефана, офицеры собрались все до единого, чтобы выслушать ответ ксендза Кордецкого на посланное утром письмо Миллера, в котором монахам предлагалось внести выкуп.

Долго пришлось ждать офицерам. Миллер притворялся веселым; но на лице его читалось принуждение. Никто из офицеров не мог усидеть на месте. Тревожно бились сердца.

Князь Гессенский и Садовский стояли у окна и вполголоса вели между собой разговор.

— Как вы думаете, полковник, согласятся они? — спросил князь.

— Всё как будто за то, что должны согласиться. Кто бы не согласился избавиться от такой, что ни говорите, грозной опасности ценою каких-нибудь двух десятков тысяч талеров; да и то надо принять во внимание, что для монахов не существуют ни мирская гордость, ни солдатская честь, во всяком случае, не должны существовать. Я вот только боюсь, не потребовал ли генерал слишком много.

— А сколько он потребовал?

— Сорок тысяч талеров от монахов и двадцать тысяч от шляхты. Ну, на худой конец они, может, захотят поторговаться.

— Ах, боже мой, уступать надо, уступать! Да если бы я знал, что у них нет денег, я бы предпочел ссудить их, только чтоб осталась хоть видимость почета.

— Должен вам сказать, князь, что на этот раз совет Вжещовича, сдается мне, хорош, я уверен, что монахи дадут выкуп. Мочи нет терпеть, уж лучше десять приступов, чем это ожидание.

— Уф! Вы правы. Однако этот Вжещович может далеко пойти.

— Да пусть себе идет хоть на виселицу.

Собеседники не угадали. Графу Вейгарду Вжещовичу уготована была участь, горшая даже виселицы.

Между тем рев пушек прервал дальнейший разговор.

— Что это? В крепости стреляют? — крикнул Миллер.

Он сорвался и как оглашенный выбежал вон.

За ним последовали остальные и стали слушать. В самом деле из крепости долетали пушечные залпы.

— Ради бога, что бы это могло значить? Дерутся они там, что ли?! — кричал Миллер. — Ничего не понимаю!

— Генерал, я вам все объясню, — сказал Зброжек. — Нынче день святого Стефана, именины обоих Замоиских, отца и сына, это салютуют в их честь.

Из крепости долетели приветственные клики, а за ними новые залпы салюта.

— Да, пороха у них много! — угрюмо заметил Миллер. — Вот новый знак для нас.

Но еще одного знака, гораздо более чувствительного, не пожалела для генерала судьба. Шведские солдаты так уже отчаялись и пали духом, что при звуках крепостных залпов целые отряды их в смятении бежали из ближних шанцев.

Миллер видел, как целый полк отборных смаландских стрелков укрылся в замешательстве у самой его квартиры, слышал, как офицеры при виде бегущих солдат повторяли:

— Пора, пора сниматься!

Понемногу, однако, все успокоилось, осталось только тягостное впечатление. Вместе со своими подчиненными генерал снова вошел в дом, и снова все ждали, ждали с нетерпением, так что даже на неподвижном лице Вжещовича изобразилось беспокойство.

Наконец в сенях раздался звон шпор, и вошел трубач, раздурявшийся с мороза, с заиндевелыми усами.

— Ответ из монастыря! — сказал он, вручая генералу большой пакет, завернутый в цветной платок и перевязанный шнурком.

У Миллера руки тряслись, он не стал развязывать пакет, а прямо разрезал шнурок кинжалом. Десятки глаз уставились на сверток, офицеры затаили дыхание.

Генерал отвернул один конец платка, затем другой, все торопливей развертывал он пакет, пока на стол не упала наконец кучка облаток.

Он побледнел, и хотя никто не требовал объяснений, произнес:

— Облатки!..

— И больше ничего? — спросил кто-то в толпе.

— И больше ничего! — как эхо повторил генерал.

Наступила минута молчания, прерываемая только тяжелым дыханием да порою скрежетом зубов или звонком рапиры.

— Граф Вжещович! — страшным, зловещим голосом сказал наконец Миллер.

— Его уж нет! — ответил один из офицеров.

И снова наступило молчание.

Ночью движение поднялось во всем стане. Едва погасло дневное светило, раздалась команда, промчались большие отряды конницы, слышались отголоски марша пехоты, конское ржание, скрип повозок, глухой стук орудий, лязг железа, звон цепей, шум, гомон и гул.

— Новый штурм, что ли, завтра? — говорила стража у врат.

Но ничего разглядеть она не могла, так как небо с вечера заволокло тучами и повалил снег.

Густые хлопья его заслонили свет. Около пяти часов утра стихли все отголоски, только снег валил все гуще и гуще. На стенах и зубцах башен он насыпал новые стены, новые зубцы. Одел пеленою весь монастырь и костел, словно хотел укрыть их от взоров захватчиков, оградить, защитить от огнеметных снарядов.

Уже стало светать и колокольчик зазвонил к утрени, когда солдаты, стоявшие на страже на южной башне, услышали фыркание лошади.

У врат обителю стоял крестьянин, весь заметенный снегом; позади него на въезде виднелись низенькие деревянные санки, запряженные худой, облезлой лошадкой.

Чтобы разогреться, крестьянин бил в ладони, переступал с ноги на ногу.

— Эй, люди, отворите! — кричал он.

— Кто там? — спросили со стен.

— Свой, из Дзбова! Дичины привез отцам.

— Как же тебя шведы пропустили?

— Какие шведы?

- Да что костел держат в осаде.
- Эге, да тут никаких шведов уж нет!
- Всякое дыхание да хвалит господа! Ушли?
- И след за ними замело!

Но вот толпы мещан и мужиков появились на дороге; одни ехали верхом, другие шли пешком, были среди них и бабы, и все еще издали кричали:

- Нету шведов! Нету!
- В Велюнь ушли!
- Отворяйте! В стане ни души!
- Шведы ушли! Шведы ушли! — закричали на стенах, и весть молнией разнеслась по крепости.

Солдаты кинулись на звонницу и ударили во все колокола, словно сполох забили. Все, кто жив, выбегал из келий, домов и костела.

Весть все еще переходила из уст в уста. Двор наполнили монахи, шляхта, солдаты, женщины и дети. Звуки ликований раздавались кругом. Кто вбегал на стены, чтобы поглядеть на пустой стан, кто раздражался смехом или рыданием.

Некоторые все еще не хотели верить; но в монастырь стекались все новые и новые толпы мужиков и мещан.

Люди шли из Ченстоховы, из окрестных селений и из ближних лесов, шумно, весело, с песнями. Приносили новые вести; все видели отступавших шведов и рассказывали, куда они уходили.

Спустя несколько часов на склоне горы и внизу под горой было полно народу. Врата монастыря растворились настезь, как всегда были растворены они до войны; только колокола звонили, звонили, звонили, и ликующие их голоса летели вдаль, и слышала их вся Речь Посполитая.

А снег все заметал следы шведов.

В этот день в полдень народу в костел набилось битком, только головы виднелись, вплотную одна к другой, словно булыжники на мощеной городской улице. Сам ксендз Кордецкий служил благодарственный молебен, а людям чудилось, это белый ангел служит. И чудилось им еще, что всю душу выпоет он в песнопении или ввысь унесется она с фиммиамом кадилниц и растает во славу божию.

Рев пушек не потрясал больше ни стен, ни стекол в окнах, не засыпал пылью людей, не прерывал ни молитв, ни той благодарственной песни, которую среди восторгов и рыданий запел святой приор:

Te Deum laudamus!..¹

ГЛАВА XX

Кони быстро несли Кмицица и Кемличей к силезской границе. Всадники ехали осторожно, чтобы не наткнуться на какой-нибудь шведский разъезд; хоть у Кемличей и были «пропуска», выданные Куклиновским и подписанные Миллером, однако шведы обычно допрашивали даже солдат, имевших такие документы, а допрос мог плохо кончиться для пана Анджея и его спутников. Потому-то и торопились они пересечь поскорее границу и углубиться в пределы Священной Римской империи. Рубежи тоже не были безопасны, там хозяйничала шведская «вольница», а порою в Силезию вторгались целые шведские отряды, чтобы хватать тех, кто пробирался к Яну Казимиру. Но Кемличи под Ченстоховой недаром промышляли охотой на отбившихся от стана шведов,— они знали все окрестности, все приграничные дороги, тропы и переходы, где охота бывала у них самой богатой, и ехали теперь, как по родным местам.

По дороге старый Кемлич рассказывал своему полковнику, что слышно в Речи Посполитой; пан Анджей, который столько времени провел в крепостных стенах, жадно слушал старика и о боли забыл, так неблагоприятны были для шведов все новости и такой близкий сулили они конец их владычеству в Польше.

— Надоело уж войску и на шведское счастье глядеть, и дружбу с ними водить,— говорил старый Кемлич.— Прежде солдаты грозились гетманов убить, коль они не присоединятся к шведам, а теперь сами хлопочут и гонцов к пану Потоцкому шлют, чтоб вызволял из ярма Речь Посполитую, и клянутся стоять с ним насмерть. Есть и такие полковники, что на свой страх стали нападать на шведов.

¹ «Тебя, бога, хвалим!..» (лат.)

— Кто же первый начал?

— Пан Жегоцкий, бабимостский староста, с паном Кулешей. Они первые поднялись в Великой Польше и крепко бьют там шведов; но и по всей Речи Посполитой много уже есть отрядов, да вот трудно узнать, кто у них предводители: с умыслом скрывают они свои имена, чтобы семьи и имение уберечь от мести шведов. В войске первым поднялся тот полк, где начальником полковник Войниллович.

— Габриэль? Родич он мой, хоть и незнаком я с ним!

— Храбрый солдат! Это он истребил ватагу изменника Працкого, что шведам служила, и его самого расстрелял, а теперь вот ушел в горы высокие, за Краков, шведов там изрубил и вызволил горцев, что стонали под ихним ярмом.

— Стало быть, и горцы уже бьют шведов?

— Они первые напали на них; но ведь мужики, глупый народ, вздумали с топориками идти освобождать Краков, ну генерал Дуглас их и разогнал, потому на ровном месте драться они не привычны. Но из отрядов, что шведы послали вдогонку за ними в горы, ни один человек не воротился. Теперь вот пан Войниллович помог этим мужикам, а сам ушел в Любовлю к пану маршалу, соединился там с его войском.

— Так и маршал Любомирский стоит против шведов?

— Всякое о нем говорили, будто склонялся он то на ту, то на другую сторону, но как стали все у нас садиться на конь да выступать против шведов, так и он против них ополчился. Силен он, много может им навредить! Один и то бы мог воевать против шведского короля. Толкуют еще люди, будто до весны ни одного шведа не останется в Речи Посполитой...

— Даст бог, так оно и будет!

— Ну, а как же иначе, пан полковник! Ведь за осаду Ченстоховы все против них ополчились. Войско бунтует, шляхта уже их бьет, мужики в ватаги собираются, а тут и татары идут, сам хан идет, что Хмельницкого и казаков побил и сулился их всех стереть с лица земли, разве только они на шведов двинутся.

— Но ведь у шведов еще много сторонников среди шляхты и магнатов?

— Их только те держатся, кому податься некуда,

да и те ждут только поры. Один виленский воевода всей душой им предался, вот дело для него плохо и кончилось.

Кмициц даже коня придержал и в ту же минуту схватился за бок от острой боли.

— Да говори же ради бога, что с Радзивиллом! — вскричал он, подавляя стон.— Неужто он так все и сидит в Кейданах?

— Господи боже мой! — воскликнул старик.— Я ведь только то знаю, что люди толкуют, а они бог весть что толкуют. Одни говорят, будто князь воевода уж помер, другие — будто обороняется еще от пана Сапеги, но уж на ладан дышит. Похоже, сразились они в Подляшье, и пан Сапега одолел его, потому шведы не могли ему помочь. А теперь толкуют, осадил его пан Сапега в Тыкоцине, и все уж будто кончено.

— Слава богу! Честные люди побеждают изменников! Слава богу! Слава богу!

Кемлич посмотрел исподлобья на Кмицица, не зная, что и подумать. Ведь вся Речь Посполитая знала, что если и усмирил Радзивилл на первых порах свое войско и шляхту, которая не хотела покориться шведам, то только потому, что Кмициц ему помог со своими людьми.

Однако старик не выдал полковнику своих мыслей, и они в молчании продолжали путь.

— А что с князем конюшим? — спросил наконец пан Анджей.

— Ничего я про него не слышал, пан полковник, — ответил Кемлич.— Может, он в Тыкоцине, а может, у курфюрста. Там теперь война, и сам шведский король двинулся в Пруссию, а мы вот нашего короля ждем. Дай-то бог, чтобы воротился он! Ведь стоит ему только показаться, и все до единого за него встанут и войско тотчас покинет шведов!

— Верно ли?

— Я, пан полковник, только то знаю, что солдаты говорили, которые под Ченстоховой стоят со шведами. Несколько тысяч наберется там отборной конницы полковника Зброжека, полковника Калинского и прочих. Осмелюсь сказать, пан полковник, ни один человек там по доброй воле не служит, разве только разбойники Куклиновского, что на ясногорские богатства зарятся. Все, как один, там честные солдаты, все жаловались, все

кричали: «Что мы, иуды? Довольно с нас этой службы! Пусть только ступит король на нашу землю, мы тотчас обратим сабли на шведов! Но что делать нам, покуда нет его, куда податься?» Вот как они сетовали, а в тех полках, что под начальством гетманов, и того хуже. Я это доподлинно знаю, люди от них приезжали к пану Зброжеку, уговаривали его, по ночам тайно совет с ним держали, про что Миллер не знал, хоть и чуял он, что недоброе в стане творится.

— А князь воевода виленский сидит в Тыкоцине в осаде? — спросил пан Анджей.

Кемлич снова с беспокойством поглядел на Кмицица, подумал, не горячка ли у полковника, что он по два раза об одном и том же спрашивает, хотя только что был об этом разговор, однако повторил:

— В осаде!

— Справедлив суд божий! — промолвил Кмициц.— Он, что силою мог с королями равняться, сидит в осаде! Никого при нем не осталось?

— В Тыкоцине шведский гарнизон. А при князе, сдается, только несколько человек придворных осталось, самых верных.

Грудь Кмицица наполнилась радостью. Он боялся, что страшный магнат выместит ему на Оленьке, и хоть думалось ему, что предупредил он эту месть своими угрозами, а все же его постоянно терзала мысль, что Оленьке и всем Биллевичам легче и безопасней было бы жить в львином логове, чем в Кейданах, под рукою князя, который никому ничего не прощал. Но теперь, после его падения, противники могли торжествовать победу: лишенный силы и значенья, обладавший теперь одной лишь слабой крепостцей, где он защищал собственную жизнь, князь не мог помышлять о мести, рука его не тяготела больше над врагами.

— Слава богу! Слава богу! — повторял Кмициц.

И так предался он мыслям о перемене в судьбах Радзивиллов, о событиях, происшедших за все время пребывания его в Ченстохове, о той, которую полюбил он всем сердцем и не знал, где она и что с нею случилось, что в третий раз спросил Кемлича:

— Так, говоришь, сокрушен князь?

— Вконец сокрушен, — ответил старик.— Да не болен ли ты, пан полковник?

— Бок только горит. Пустое! — ответил Кмициц.

И снова они в молчании продолжали путь. Притомленные кони замедляли понемногу бег, пока не пошли шагом. Однообразное движение усыпило смертельно уставшего пана Анджея, и он долго спал, покачиваясь в седле. Разбудил его только ясный утренний свет.

С удивлением огляделся пан Анджей по сторонам, в первую минуту ему показалось, что все происшедшее ночью было лишь сном.

— Это вы, Кемличи? — спросил он наконец. — Мы из Ченстоховы едем?

— Да, пан полковник!

— Где же мы?

— Ого! Уже в Силезии. Шведам нас уже не достать!

— Это хорошо! — сказал Кмициц, совсем придя в себя. — А где живет наш король?

— В Глогове.

— Мы поедem туда и в ноги ему поклонимся, службу нашу предложим. Но только вот что, старик!

— Слушаю, пан полковник!

Однако Кмициц задумался и заговорил не сразу. Не знал, видно, на что решиться, колебался, раздумывал.

— Иначе никак нельзя! — пробормотал он наконец.

— Слушаю, пан полковник!

— Ни королю, ни придворным и словом не обмолвиться, кто я! Зовут меня Бабинич, едем мы из Ченстоховы. Про кулеврину и про Куклиновского можете рассказывать. Но имени моего не упоминать, чтобы замыслы мои никто не истолковал в дурную сторону и не принял меня за изменника, ибо в ослеплении своем служил я виленскому воеводе и помогал ему, о чем могли слышать при дворе!

— Пан полковник! После подвига твоего под Ченстоховой...

— А кто подтвердит, что это правда, покуда монастырь в осаде?

— Будет исполнено, пан полковник!

— Придет время, и правда наружу выйдет, — как бы про себя сказал Кмициц, — но сперва король должен сам убедиться. Тогда и он все подтвердит!

На этом разговор оборвался. Тем временем и день уже встал. Старый Кемлич запел утреннюю молитву, Косьма и Дамиан стали вторить ему басами. Дорога

была трудная, мороз трещал на дворе, к тому же встречные то и дело останавливали путников, о новостях спрашивали, особенно об том, стоит ли еще Ченстохова. Кмициц отвечал: стоит, мол, и устоит, но расспросам не было конца. Дороги были забиты проезжими, придорожные корчмы переполнены. Кто уходил в глубь Силезии с приграничных земель Речи Посполитой, чтобы укрыться от шведского ига, кто подъезжал поближе к границе, чтобы разузнать, что творится на родине; то и дело путников нагоняли шляхтичи, которые, ополчась против шведов, направлялись, как Кмициц, к королю-изгнаннику, чтобы предложить ему свою службу. Попадались порой магнаты с вооруженной челядью, порой большие и маленькие отряды тех войск, что добровольно или по договору со шведами перешли границу, как сделали это, например, войска киевского каштеляна. Вести с родины пробудили надежды в сердцах этих изгнанников, и многие из них уже готовились вернуться домой с оружием в руках. Вся Силезия как котел кипела, особенно Рациборское и Опольское княжества: гонцы мчались с посланиями к королю, а от короля к киевскому каштеляну, к примасу, к канцлеру Корицинскому, к краковскому каштеляну Варшицкому, первому сенатору Речи Посполитой, который ни на минуту не оставил дела Яна Казимира.

По согласию с великой королевой, которая тверда осталась в беде, эти сановники договаривались теперь друг с другом, сносились с родиной и с лучшими ее людьми, о которых было известно, что они рады снова верно служить законному государю. Слали гонцов и коронный маршал, и гетманы, и войско, и шляхта, готовая взяться за оружие.

Это был канун всеобщей войны, которая уже вспыхнула в некоторых местах. Оружием, топором палача подавляли шведы восстания; но огонь, потушенный в одном месте, тотчас вспыхивал в другом. Страшная туча собралась над головами скандинавских захватчиков, сама земля, хоть и покрытая снегом, горела у них под ногами, опасность, месть подстерегали их на каждом шагу, и они пугались уже собственной тени.

Как во сне они ходили. Смолкли на их устах недавние победные песни, в величайшем изумлении вопрошали они себя: «Ужели это тот самый народ, который еще вче-

ра изменил своему государю, сдался нам без боя?» Да! Магнаты, шляхта, войско сами перешли на сторону победителя, чему история не знала примера; города и замки открывали перед ним ворота, страна была в его руках. Никогда еще ни одна земля не была покорена ценою столь малой крови и сил. Сами шведы, дивясь легкости, с какой им удалось занять могущественную Речь Посполитую, не могли скрыть своего презрения к побежденным. Ведь стоило сверкнуть первому шведскому мечу, и они отреклись от короля и отчизны, только бы жить и мирно пользоваться своими богатствами, а то и приумножить их во всеобщем смятении. То, что в свое время Вжещович говорил цесарскому послу Лисоле, повторяли шведский король и его генералы: «Нет у этого народа отваги, нет постоянства, нет порядка, нет ни веры, ни любви к родине! Он должен погибнуть!»

Они забыли, что у этого народа было еще одно чувство, то чувство, земным воплощением которого стала Ясная Гора.

И в этом чувстве таилось его возрождение.

Рев пушек у стен святой обители отозвался в сердце каждого магната, каждого шляхтича, каждого горожанина и мужика. Крик ужаса прокатился от Карпат до Балтики, и великан воспрянул, как ото сна.

— Это другой народ! — с изумлением говорили шведские генералы.

И все они, начиная с Арвида Виттенберга и кончая комендантами отдельных замков, стали слать находившемуся в Пруссии Карлу Густаву послания, полные страха.

Земля уходила у них из-под ног; вместо прежних друзей они встречали повсюду недругов, вместо покорности — сопротивление, вместо страха — неукротимую, на все готовую отвагу, вместо кротости — жестокость, вместо терпения — месть.

А тем временем во всей Речи Посполитой ходил по рукам в тысячах списков манифест Яна Казимира, который давно уже был выпущен в Силезии, но прежде не будил эха. Теперь его видели в замках, не захваченных врагом. Всюду, где только не властвовал швед, шляхта собиралась кучами и кучками и била себя в грудь, слушая возвышенные слова короля-изгнанника, который, указывая на грехи и ошибки, повелевал не терять надежды и подниматься на спасение Речи Посполитой.

«Сколь далёко ни продвинулся враг,— писал Ян Казимир,— а все не упущено еще время, любезные сенаторы, верная наша шляхта и преподобные отцы, и в наших силах вновь обрести провинции и города, кои мы потеряли, и вновь воздать богу должную хвалу, и оскверненные святыни напоить вражеской кровью, и восстановить исконные ваши вольности и права и старопольские установления, только бы вновь воротилась ваша старопольская доблесть и древних ваших предков *observantia*¹ и любовь к своему государю, коею дед наш, Сигизмунд Первый, перед прочими гордился народами. Час приспел, отвратясь от преступных деяний, выйти на поле доблести. Вставайте же на шведа все, для кого бог и святая вера превыше всего. Не ждите полководцев и воевод, ни того порядка, что записан в законе, ибо все смешал теперь враг; но присоединяйтесь один к другому, к двоим третий, к троиим четвертый, к четверым пятый и так *reg consequens*², и всяк со своими холопами, а сошедшись, давайте, где можно, отпор врагу. Тогда только выберите себе полководца. Собирайтесь в кучу, а как составится боевое войско и выберете вы себе славного полководца, ждите нас, нанося, буде случай представится, урон врагу. Мы же, любезные сенаторы, верная наша шляхта и преподобные отцы, услышав о готовности вашей и покорности нам, тотчас прибудем и жизнь нашу положим, коль требовать того будет защита неделимой нашей отчизны».

Универсал этот читали даже в стане Карла Густава, даже в замках, где стоял шведский гарнизон, и повсюду, где только были польские хоругви. Обливаясь слезами над каждым королевским словом, жалела шляхта о добром своем государе и на распятых, иконках богоматери и ладанках клялась исполнить его волю. Чтобы доказать свою готовность, многие, пока пыл не охладел в сердцах и не обсохли слезы, садились, не долго думая, на конь и «сгоряча» бросались рубить шведов.

Стали гибнуть, пропадать небольшие шведские отряды. Было так в Литве, в Жмуди, в Мазовии, в Великой и Малой Польше. Не однажды шляхта, собравшись безо всяких воинственных намерений к соседу на крестины или

¹ Уважение, почтение (лат.).

² Последовательно (лат.).

именины, на свадьбу или масленичную потеху, кончала тем, что, подвыпив, вихрем налетала на ближайший шведский гарнизон и рубила всех до последнего. После этого масленичный поезд, подбирая по дороге всех, кто изъявлял желание «поохотиться», мчался с песнями и криками дальше, обращаясь в толпу, жаждавшую крови, а там и в повстанческую «ватагу», которая начинала уже настоящую войну с врагом. Крепостные мужики и дворовые люди целыми толпами присоединялись к потехе; другие доносили о шведах-одиночках или небольших отрядах, неосторожно расположившихся в деревнях. Масленичных поездов и «ряженных» с каждым днем становилось все больше. Присущим народом весельем и удачью полна была эта потеха.

Люди охотно рязались татарами, одно имя которых в трепет повергало шведов; удивительные легенды и слухи ходили среди них о дикости, страшной и жестокой отваге этих сынов крымских степей, с которыми скандинавы доньше никогда не встречались. А так как все уже знали, что хан со стотысячной ордой идет на помощь Яну Казимиру и шляхта бунтует, учиня нападения на гарнизоны, во вражеских рядах поднялось небывалое замешательство.

Решив, что татары и впрямь уже пришли, многие полковники и коменданты стремительно отступали в большие крепости и станы, сея повсюду ложные слухи и смуту. В тех местах, откуда они уходили, шляхта свободно вооружалась, и беспорядочные толпы ее обращались в боевое войско.

Но еще опаснее масленичных поездов, да и самих татар, было для шведов крестьянское движение. Давно уже, с первого дня осады Ченстоховы, заволновался народ, смирные доселе и долготерпеливые пахари стали там и тут подниматься на врага, хвататься за косы и цепи и помогать шляхте. Те шведские генералы, которые умели предвосхищать события, наибольшую опасность видели именно в этой туче, ибо, разразившись, она могла обратиться в настоящий потоп и поглотить захватчиков без остатка.

Устрашение непокорных казалось шведам главным средством для подавления в зародыше грозной опасности. Карл Густав еще осыпал милостями польские хоругви, которые отправились с ним в Пруссию, еще заискивал

перед ними. Он расточал льстивые речи хорунжему Конецпольскому, знаменитому полководцу, герою Збаража. Конецпольский перешел на его сторону с шестью тысячами несравненной конницы, которая при первом же столкновении с курфюрстом так устрашила пруссаков и внесла такое опустошение в их ряды, что курфюрст, прекратив сопротивление, поспешил вступить в переговоры.

Слал еще шведский король гонцов к гетманам, магнатам и шляхте с милостивыми посланиями, полными посулов и призывов хранить ему верность. Но в то же время он уже отдавал приказы своим генералам и комендантам огнем и мечом подавлять всякое сопротивление внутри страны, особенно же беспощадно истреблять крестьянские ватаги. Так началась в стране власть железного солдатского кулака. Враг сбросил личину. Огонь и меч, грабеж, притеснение пришли на смену прежнему притворному благоволению. Для преследования масляничных поездов из замков были посланы сильные отряды конницы и пехоты. Целые деревни сровняли они с землею, жгли шляхетские усадьбы, костелы, дома ксендзов. Шляхту, захваченную в плен, отдавали в руки палачей, мужикам рубили правую руку и одноруких отпускали домой.

Особенно зверствовали эти отряды в Великой Польше, которая первой покорилась врагу, но и первой поднялась против иноземного ига. Комендант Стейн приказал однажды отрубить правые руки сразу тремстам мужикам, схваченным с оружием в руках. В городках были поставлены виселицы, и каждый божий день на них вздергивали новые жертвы. Магнус де ла Гарди учинял такие же расправы в Литве и Жмуди, где за оружие взялись сперва застянки, а затем и крестьяне. А так как во всеобщем смятении шведам трудно было отличить своих сторонников от врагов, то они не щадили никого.

Но огонь, поддерживаемый кровью, вместо того чтобы потухнуть, разгорался с новою силой, и началась война, в которой обе стороны не искали уже побед, не думали о захвате замков, городов или провинций, а дрались не на жизнь, а на смерть. Зверства усиливали ненависть, и люди не сражались, а уничтожали друг друга безо всякой пощады.

Эта война на уничтожение еще только начиналась, когда совсем больной Кмициц после трудного для него путешествия добрался с троими Кемличами до Глоговы. Приехали они ночью. Город был переполнен войсками, магнатами, шляхтой, королевской и магнатской челядью, а корчмы до того набиты народом, что старый Кемлич насилу нашел пану Анджею квартиру у сучильщика, жившего за городом.

Весь день пан Анджей пролежал в жару, жестоко страдая от ожога. Минутами ему казалось, что он заболел тяжело и надолго. Но железная натура победила. На следующую ночь ему стало легче, а на рассвете он уже оделся и отправился в приходский костел, чтобы возблагодарить создателя за свое чудесное избавление.

Мглистое и снежное зимнее утро едва рассеяло мрак. Город еще спал; но в отворенные двери костела уже виден был свет перед алтарем и лились звуки органа.

Кмициц вошел внутрь. Ксендз перед алтарем совершал литургию; в костеле было еще мало молящихся. Между скамьями, укрыв лица в ладонях, стояло на коленях несколько человек, а когда глаза пана Анджея привыкли к темноте, он увидел, кроме них, еще фигуру, лежащую ниц перед самым амвоном на коврике, посланном на полу. Позади стояли на коленях два румяных, как херувимы, мальчика. Человек лежал недвижимо, и только по тяжелым вздохам, вздымавшим его грудь, можно было понять, что не спит он, что молится жарко, всей душой. Кмициц тоже стал усердно молиться; но когда он кончил читать свои благодарственные молитвы, взор его снова невольно обратился на человека, лежащего ниц, и он, как зачарованный, не мог уже отвести от него глаз. От вздохов, подобных стону, явственно слышных в тишине костела, сотрясалось все тело незнакомца. В желтом отблеске свечей перед алтарем, мешавшемся с дневным светом, который лился в окна, фигура его все отчетливей выступала из тьмы.

По одежде пан Анджей тотчас догадался, что перед ним кто-то из сановников, да и остальные молящиеся, и сам ксендз, совершавший литургию, смотрели на него с почтением и трепетом. Незнакомец был в черном бархате на соболях, только на плечи был откинут белый

кружевной ворот, из-под которого выглядывала золотая цепь; черная шляпа с такими же перьями лежала рядом, а один из пажей, стоявших позади на коленях, держал перчатки и шпагу, покрытую голубой финифтью. За складками коврика Кмициц не мог разглядеть лица незнакомца, да и букли необыкновенно пышного парика, рассыпавшись вокруг головы, заслоняли его совершенно.

Пан Анджей приблизился к самому амвону, чтобы посмотреть на незнакомца, когда тот встанет с колен. Литургия между тем подходила к концу. Ксендз пел уже «*Pater noster*»¹. Толпа народа, желавшего помолиться у поздней обедни, текла через главный вход. Костел постепенно наполнился людьми с подбритыми чуприной головами, в плащах, солдатских бурках, шубах, кафтанах золотой парчи. Стало довольно тесно. Кмициц дотронулся до локтя стоявшего рядом шляхтича и шепнул:

— Прости, вельможный пан, что мешаю тебе молиться, но уж очень мне любопытно знать, кто это?

И он показал глазами на человека, лежавшего ниц.

— Ты, милостивый пан, видно, издалека приехал, коль не знаешь, кто это,— ответил шляхтич.

— Это правда, приехал я издалека, потому и спрашиваю, надеюсь, человек учтивый не откажется мне ответить.

— Это король.

— О, боже! — воскликнул Кмициц.

Но в эту минуту ксендз начал читать Евангелие, и король поднялся с колен.

Пан Анджей увидел осунувшееся, желтое и прозрачное, как церковный воск, лицо. Глаза короля были влажны, веки покраснели. Словно судьбы всей страны отразились на этом благородном лице, такая чувствовалась в нем боль, такое страданье и тоска. Бессонные ночи, которые король проводил в печали и молитве, жестокие разочарования, скитальческая жизнь, униженное величие этого сына, внука и правнука могущественных королей, горечь, которой так щедро напоили его собственные подданные, неблагодарность отчизны, за которую он готов был отдать свою жизнь, все это, как в книге, читалось в его лице. Но оно дышало не только решимостью, обретенною в вере и молитве, не только величием короля

¹ «Отче наш» (лат.).

и помазанника божия, но и столь необыкновенной, неиссякаемой добротой, что казалось, довольно самому подлому, самому злему отступнику простереть руки к нему, своему отцу, и он примет его, простит и забудет свои обиды.

Когда Кмициц поглядел на короля, будто кто железной рукой сдавил его сердце. Жалость закипела в пылкой душе молодого рыцаря. Сокрушеньем, трепетом и тоской стеснилась его грудь, от сознания собственной вины подкосились ноги, он весь задрожал, и внезапно новое, неведомое чувство проснулось в его душе. В одно короткое мгновение полюбил он венценосного страдальца, почувствовал, что нет для него на всем свете никого дороже отца и государя, что готов он кровь пролить за него, пытки стерпеть, все на свете. Он хотел броситься к его ногам, обнять его колени и просить о прощении. Шляхтич, дерзкий смутьян, умер в нем в это короткое мгновение и родился ярый приверженец короля, всей душою преданный ему.

— Это наш государь, наш несчастный государь! — повторял он, словно вслух хотел подтвердить то, что видели его глаза и чуяло сердце.

Между тем Ян Казимир после Евангелия снова опустился на колени, воздел руки, устремил очи горé и погрузился в молитву. Уж и ксендз ушел, и движение поднялось в костеле, а король по-прежнему не вставал с колен.

Шляхтич, к которому обратился Кмициц, толкнул теперь в бок пана Анджея.

— А ты кто будешь, милостивый пан? — спросил он.

Не сразу понял Кмициц, о чем его спрашивают, и не вдруг ответил он шляхтичу, настолько сердце его и ум были поглощены королевской особой.

— А ты кто будешь, милостивый пан? — снова спросил шляхтич.

— Шляхтич, как и ты, вельможный пан, — ответил пан Анджей, словно пробудившись ото сна.

— А как звать тебя?

— Как звать? Бабиничем зовут меня, а родом я из Литвы, из Витебска.

— А я Луговский, королевский придворный. Так ты едешь из Литвы, из Витебска?

— Нет, я еду из Ченстоховы.

От удивления Луговский на минуту онемел.

— Ну коли так, привет тебе, пан, привет, ты ведь новости нам расскажешь! Наш король чуть с тоски не пропал,— вот уж три дня нет оттуда вестей. Ты что, из хоругви Зброжека, или, может, Калинского, или Куклиновского? Под Ченстоховой был?

— Да не под Ченстоховой я был, а в Ченстохове, прямо из монастыря еду!

— Да ты не шутишь ли? Ну как же там? Что слышно? Стоит ли еще Ченстохова?

— Стоит и стоять будет. Шведы вот-вот отступят!

— Господи! Да король озолотит тебя! Так ты говоришь, из самого монастыря? Как же шведы тебя пропустили?

— А я у них позволения не спрашивал! Прости, однако, милостивый пан, не могу я в костеле подробно тебе обо всем рассказывать.

— Правда, правда! — промолвил Луговский.— Боже милостивый! С неба ты грянул к нам! А в костеле и впрямь неудобно рассказывать. погоди! Король сейчас встанет, завтракать поедет перед обедней. Нынче воскресенье. Пойдем со мною, мы станем в дверях, и я у входа представлю тебя королю. Пойдем, пойдем, время не терпит.

С этими словами он направился к выходу, а Кмициц последовал за ним. Не успели они стать в дверях, как показались оба пажа, а вслед за ними из костела медленно вышел Ян Казимир.

— Государь! — воскликнул Луговский.— Вести из Ченстоховы!

Восковое лицо Яна Казимира сразу оживилось.

— Что? Где? Кто приехал? — спросил он.

— Вот этот шляхтич! Говорит, будто едет из самого монастыря.

— Неужто монастырь уже пал? — воскликнул король.

Но пан Анджей повалился тут ему в ноги.

Ян Казимир нагнулся и стал поднимать его за плечи.

— Потом! — восклицал он.— Потом! Вставай, пан, ради Христа, вставай! Говори скорее! Монастырь пал?

Кмициц вскочил со слезами на глазах и крикнул с жаром:

— Не пал, государь, и не падет! Шведы разбиты! Самая большая пушка взорвана! Страх обнял их души, голод у них, беда! Отступать они думают.

— Слава, слава тебе, владычица! — воскликнул король.

С этими словами он повернулся к дверям костела, снял шляпу и, не заходя внутрь, преклонил колена на снегу у дверей. Опершись головою о каменный косяк, он погрузился в молчание. Через минуту грудь его сотряслась от рыданий.

Все были растроганы. Пан Анджей ревел, как зубр.

Помолясь и выплакавшись, король встал успокоенный, с просветленным лицом. Он спросил Кмицица, как его зовут, а когда тот назвался своим вымышленным именем, сказал:

— Пан Луговский проводит тебя к нам. Мы и есть не станем, коль за завтраком ты не расскажешь нам про оборону!

Спустя четверть часа Кмициц очутился в королевском покое перед высоким собранием. Король ждал только королевы, чтобы сесть за утреннюю похлебку; через минуту появилась Мария Людвика. Увидев ее, Ян Казимир вскричал:

— Ченстохова устояла! Шведы отступают! Вот пан Бабинич, он приехал оттуда и привез нам эту весть!

Королева устремила испытующий взор на молодого рыцаря, и черные глаза ее прояснились при виде его открытого лица; он же, отвесив низкий поклон, смело смотрел на нее, как умеют смотреть только правда и невинность.

— Боже всемогущий! — воскликнула королева. — Сколь тяжкое бремя снял ты с наших плеч, милостивый пан. Даст бог, это будет началом перемены в нашей судьбе. Так ты был под Ченстоховой, едешь прямо оттуда?

— Не под Ченстоховой он был, а в самом монастыре, он один из защитников! — воскликнул король. — Бесценный гость. Вот бы каждый день таких! Дайте же, однако, ему слово сказать! Рассказывай, брат, рассказывай, как вы оборонялись и как хранила вас десница господня.

— Истинная правда, ваши величества, только десница господня хранила нас да чудеса пресвятой богородицы, кои мы всякий день зрели своими очами.

Кмициц хотел уже начать свой рассказ, но тут в покой стали входить новые сановники. Пришел папский нунций; затем примас Лещинский; за ним ксендз Выджга, златоуст, он был сперва канцлером королевы, потом

епископом варминским, а еще позже примасом. Вместе с ним вошел коронный канцлер Коряцинский и француз де Нуайе, придворный королевы; вслед за ними входили один за другим прочие сановники, что не оставили в беде своего государя и предпочли разделить с ним горький хлеб изгнания, но не изменить присяге.

Королю не терпелось узнать новости, и он, то и дело отрываясь от еды, повторял:

— Слушайте, слушайте гостя из Ченстоховы! Добрые вести! Слушайте! Он прямо из Ченстоховы!

Сановники с любопытством устремляли взоры на Кмицица, который стоял, как перед судилищем; но, смелый по натуре, привыкший иметь дело со знатью, не утрашился он при виде стольких вельмож и, когда все они расселись по местам, повел свой рассказ об осаде.

Правда дышала в его словах, и речь была ясной и внятной, как у солдата, который сам все видел, все испытал, все пережил. О ксендзе Кордецком он говорил, как о святом пророке, до небес превозносил ЗамоЙского и Чарнецкого, прославлял прочих отцов, никого не пропустил, кроме себя; но защиту святыни приписал одной только пресвятой деве, ее милосердию и чудесам.

В изумлении внимали ему король и сановники.

Архиепископ устремлял горé слезящиеся глаза, ксендз Выджга торопливо переводил слова Кмицица нуцию, другие сановники за голову хватались, слушая гостя, иные молились, бия себя в грудь.

Когда же Кмициц дошел до последних штурмов, когда стал он рассказывать о том, как Миллеру доставили из Кракова тяжелые пушки и среди них кулеврину, перед которой не устояли бы не то что ченстоховские, но никакие стены в мире, стало так тихо, хоть мак сей, и все взоры приковались к его устам.

Но пан Анджей, словно бы задохнувшись, оборвал внезапно речь, ярким румянцем залилось его лицо и брови нахмурились, он поднял голову и гордо промолвил:

— Надо мне теперь о себе слово молвить, хоть и предпочел бы я умолчать... Но коль молвлю я слово, то не похвальбы ради, бог свидетель, и не ради наград, не нужны они мне, ибо высшая награда для меня пролить кровь за королевское величие...

— Говори смело, мы верим тебе! — сказал король. — Что же с этой кулевриной?

— Кулеврина на воздух взлетела! Ночью выкрался я из крепости и взорвал ее порохом!

— О, боже! — воскликнул король.

Тишина наступила после этого, все слушатели замерли в изумлении. Как зачарованные, смотрели они на молодого рыцаря, а он стоял, сверкая очами, с пылающим лицом и гордо поднятой головой. И так ужасен был он в эту минуту, полон такой дикой отваги, что все невольно подумали, что этот человек мог совершить такой подвиг.

— Да, он мог на такое отважиться! — промолвил после минутного молчания примас.

— Как же ты это сделал? — воскликнул король.

Кмициц рассказал все как было.

— Ушам своим не верю! — воскликнул канцлер Корицынский.

— Милостивые паны,— торжественно промолвил король,— не знали мы, кто перед нами! Жива еще надежда, что не погибла Речь Посполитая, коль родит она таких рыцарей и граждан.

— Он может сказать о себе: «*Si fractus illabatur orbis, impravidum ferient ruinae!*»¹ — сказал ксендз Выджга, который любил по всякому поводу цитировать древних авторов.

— Прямо не верится! — снова вмешался в разговор канцлер.— Скажи же нам, рыцарь, как спас ты жизнь свою и как пробился сквозь шведов?

— Гром оглушил меня,— ответил Кмициц,— и только на следующий день нашли меня шведы: как труп бездыханный, лежал я у окопа. Суду меня предали, и Миллер приговорил меня к смерти.

— А ты бежал?

— Некий Куклиновский выпросил меня у Миллера; черную злобу таил он против меня и сам хотел со мной расправиться.

— Известный это смутьян и разбойник, слышали мы тут о нем,— сказал каштелян Кшивинский.— Да, да! Это его полк стоит с Миллером под Ченстоховой.

— Он послом приходил в монастырь от Миллера и однажды, когда я провожал его к воротам, стал склонять

¹ «Если обрушится, расколовшись, мир, то и под его обломками я останусь неустрашимым» (лат.— Г о р а ц и й).

меня к измене. Я дал ему пощечину и ногами пнул. За это он и взъярился на меня...

— Да этот шляхтич, я вижу, огонь огнем! — воскликнул, развеселясь, король. — Такому поперек дороги не становись! Так Миллер отдал тогда тебя Куклиновскому?

— Да, государь! В пустой риге заперся Куклиновский со мной и с несколькими своими солдатами. Там привязал меня веревками к балке и стал огнем пытаться, бок мне опалил.

— О, боже!

— Но тут его к Миллеру позвали, а тем временем пришли трое шляхтичей, солдат его. Они раньше у меня служили, Кемличами звать их.

— И ты бежал с ними. Теперь все ясно! — сказал король.

— Нет, государь. Мы подождали, покуда Куклиновский воротится. Я приказал тогда привязать его к той самой балке и сам огнем его пытал, да посильней.

Кмициц снова покраснел, увлекшись воспоминаниями, и глаза его блеснули, как у волка.

Но король, который легко переходил от печали к веселью, от строгости к шутке, хлопнул ладонями по столу и крикнул со смехом:

— Так ему и надо! Так ему и надо! Лучшего такой изменник и не заслужил!

— Я его живым оставил, — сказал Кмициц, — но к утру он, пожалуй, замерз.

— Ишь ты какой, обид не прощаешь! Побольше бы нам таких! — восклицал король, совсем уже развеселясь. — А сам с теми солдатами сюда явился? Как звать их?

— Кемличи, отец и двое сыновей.

— *Mater mea de domo Кемличей est*¹, — с важностью сказал канцлер королевы, Выджга.

— Видно, есть Кемличи большие и малые, — весело ответил Кмициц, — ну а эти не то что малые, а просто разбойники, но храбрые солдаты и преданы мне.

Канцлер Корицинский уже некоторое время все что-то шептал на ухо архиепископу гнезненскому.

— Много к нам таких приезжает, — сказал он наконец, — что похвальбы ли, награды ли ради басни тут вся-

¹ Мать моя из дома (лат.).

кие рассказывают. Вести привозят ложные и нелепые, а наушают их часто враги.

На всех как будто вылили ушат холодной воды. Кмициц побагровел.

— Я, вельможный пан, твоего звания не знаю,— сказал он,— но видно, оно высокое, не хочу я поэтому оскорблять тебя; однако же думаю, нет такого звания, чтобы можно было позволить себе безо всякого повода обвинить шляхтича во лжи.

— Милостивый пан, ты говоришь с великим коронным канцлером! — остановил его Луговский.

Но Кмицица взорвало.

— Тому, кто меня во лжи обвиняет, будь он хоть сам канцлер, я одно скажу: легче во лжи обвинять, нежели голову подставлять под пули, легче воском бумаги припечатывать, нежели собственной кровью запечатлеть верность отчизне!

Но Корицынский совсем не прогневался, он только сказал:

— Я тебя, пан, во лжи не обвиняю, но коли правда то, что ты говорил, бок у тебя должен быть обожжен.

— Так выйдем, ясновельможный пан канцлер, и я тебе его покажу! — рявкнул Кмициц.

— Нет в том нужды,— возразил король,— мы и так тебе верим!

— Нет, нет, государь! — воскликнул пан Анджей.— Я сам этого хочу и прошу, как милости, дозвожь показать, чтобы никто, хоть самый что ни на есть достойный, не делал из меня лжеца! Плохая была бы мне это награда за муки! Не хочу я награды, хочу, чтобы верили мне, так пусть же Фома Неверующий коснется моих ран!

— Я тебе верю! — сказал король.

— В словах его одна правда,— прибавила Марья Людвики.— Я в людях не ошибаюсь.

Но Кмициц и руки сложил с мольбою.

— Ваше величество, пусть же выйдет кто-нибудь со мною, ибо тяжело мне оставаться под подозрением.

— Я выйду,— сказал Тизенгауз, молодой королевский придворный.

С этими словами он повел Кмицица в соседний покой, а по дороге вот что сказал ему:

— Не потому я пошел с тобою, что не верю тебе, нет, я верю, а потому, что хотел поговорить с тобою. Видал

я тебя где-то в Литве. Но вот имени твоего не припомню, может статься, мы с тобою были тогда еще подростками.

Кмициц отвернулся, чтобы скрыть внезапное смущение.

— Может, где-нибудь на сеймике. Покойный отец часто брал меня с собою, чтобы присматривался я, как шляхта вершит дела.

— Может статься, что и так... Лицо твое мне знакомо, хоть тогда не было у тебя этого шрама. Но ты смотри, сколь *memoria fragilis est*¹, что-то мне сдается, что и звали тебя тогда иначе?

— Года все изглаживают в памяти,— ответил пан Анджей.

Тут они вошли в соседний покой. Через минуту Тизенгауз предстал перед лицом короля.

— Как на вертеле его жарили, государь! — сказал он.— Весь бок сожгли!

Когда вернулся и Кмициц, король встал, обнял его и сказал:

— Мы никогда не усомнились бы в том, что ты говоришь правду, и заслуга твоя и страдания не будут забыты.

— В долгу мы перед тобою,— прибавила королева и подала ему руку.

Пан Анджей преклонил колени и почтительно поцеловал руку, а королева, как мать, погладила его по голове.

— Ты уж на пана канцлера не гневайся,— снова сказал король.— Ведь тут у нас и впрямь немало побывало изменников и вралей, что плели всякие небылицы, а долг канцлера правду *publicis*² показать.

— Что для такого великого человека гнев худородного шляхтича! — ответил пан Анджей.— Да и не посмел бы я роптать на достойного сенатора, что являет пример верности отчизне и любви к ней.

Канцлер добродушно улыбнулся и протянул Кмицицу руку.

— Ну, давай мириться! Ты вон тоже как дерзок на язык, вишь, что мне про воск сказал! Только знай, и Ко-

¹ Память слаба (*лат.*).

² Обществу (*лат.*).

рыцинские не только воском бумаги припечатывали, но и кровью не однажды запечатлели верность свою отчизне,

Король совсем развеселился.

— Уж очень нам по сердцу пришелся этот Бабиниц,— сказал он сенаторам.— Мало кто был нам так люб. Не отпустим мы тебя больше и, даст бог, в скором времени вместе воротимся в милую отчизну.

— О всепресветлейший король! — в восторге воскликнул Кмициц.— Хоть и сидел я в осаде, однако же от шляхты, от войска, даже от тех, кто служит под начальством Зброжека и Калинского и осаждают Ченстохову, знаю, что все ждут не дождутся того дня и часа, когда ты воротись. Только явись, государь, и в тот же день Литва, Корона и Русь все, как один человек, грудью встанут за тебя! Шляхта пойдет за тобой, даже подлые холопы пойдут, чтобы со своим государем дать отпор врагу. Войско гетманское рвется в бой против шведов. Знаю я, что и под Ченстохову приезжали от него посланцы, чтобы Зброжека, Калинского и Куклиновского поднять на шведов. Государь, перейди ты сегодня рубеж, и через месяц не останется у нас ни одного шведа,— только явись, только явись, ибо мы там, как овцы без пастыря!

Глаза Кмицица сверкали огнем, когда говорил он эти слова: в страстном порыве он упал посреди залы на колени. Сама отважная и неустрашимая королева, которая давно уговаривала короля вернуться, была захвачена этим порывом.

Обратившись к Яну Казимиру, она сказала решительно и твердо:

— Весь народ говорит устами этого шляхтича!

— Да, да, милостивая королева, мать наша! — воскликнул Кмициц.

Между тем внимание канцлера Корыцинского и короля привлекли некоторые слова Кмицица.

— Мы всегда готовы пожертвовать жизнью,— сказал король,— и ждали только, когда раскаются наши подданные.

— Они уже раскаялись,— сказала Мария Людвика.

— *Majestas infracta malis*¹,— с благоговением глядя на нее, произнес ксендз Выджга.

— Важное это дело,— прервал его архиепископ

¹ Величие сокрушает зло (лат.).

Лещинский.— Ужель и в самом деле посланцы от гетманских войск приезжали под Ченстохову?

— Я это от моих людей знаю, от Кемличей! — ответил пан Анджей.— У Зброжека и Калинского все об этом не таясь говорили и не глядя на Миллера и шведов. Кемличи не сидели в осаде, они с людьми встречались, с солдатами, шляхтой. Я могу привести их, и они сами расскажут, что весь край как котел кипит. Гетманы только по принуждению присоединились к шведам, ибо злой дух вселился в войско, а теперь оно само хочет снова служить своему королю. Шведы грабят и бьют шляхту и духовенство, они глумятся над исконными вольностями, что же удивительного, что всяк только кулаки сжимает да на саблю свирепо поглядывает.

— И у нас были вести от войск,— промолвил король,— и тайные посланцы были, говорили они нам, что все снова хотят служить нам верой и правдой.

— Стало быть, и тут наш гость говорит правду,— заметил канцлер.— Но коль полки шлют друг к другу посланцев, это уже большое дело, стало быть, созрел уже плод, не пропали даром наши труды, все готово, и пришла пора...

— А Конецпольский? — прервал его король.— А многие другие, что все еще стоят на стороне захватчика, в глаза ему умильно засматривают и клянутся в верности?

Все умолкли при этих словах, а король нахмурился вдруг, и как весь свет сразу мрачнеет, когда набежит туча и скроется солнце, так помрачнело его лицо.

Вот что молвил он через минуту:

— Бог зрит наши сердца, он видит, что мы хоть сегодня готовы двинуться в поход и удерживает нас не могущество шведов, но злополучная переменчивость нашего народа, что, подобно Протею, всякий раз новую надевает личину. Можем ли мы поверить, что искренне он раскаялся, что не мнимо его желанье, не ложна готовность? Можем ли мы положиться на народ, что предал нас недавно и со столь легким сердцем вступил в союз с захватчиком против собственного короля, против собственной отчизны, против собственных вольностей? Сердце сжимается у нас от муки, стыдно нам за наших подданных! Где в истории можно найти тому примеры? Кто из королей изведал столько измен и вражды, был так предан народом? Вспомните только, любезные сенаторы,

что среди нашего войска, среди тех, кто должен был кровь проливать за нас, мы не были уверены в своей безопасности и — страшно сказать! — боялись даже за свою жизнь. И не из страха перед врагом покинули мы отчизну и принуждены были искать здесь убежища, но дабы наших подданных, наших детей уберечь от страшного злодейства, от цареубийства и отцеубийства.

— Государь! — воскликнул Кмициц. — Тяжко провинился наш народ, грешен он, и справедливо карает его десница господня; но клянусь, не сыскался среди этого народа и, даст бог, вовек не сыщется предатель, который осмелился бы поднять руку на священную особу помазанника божия!

— Ты не веришь этому, ибо сам честен, — возразил король, — но у нас письма есть и свидетельства. Черной неблагодарностью отплатили нам Радзивиллы за благодеяния, которыми мы осыпали их; но хоть и предатель Богуслав, а пробудилась в нем совесть, и он не только не пожелал покуситься на нашу жизнь, но и первый донес нам о том, что на нас готовится умысел.

— Какой умысел? — воскликнул в изумлении Кмициц.

— Он донес нам, — отвечал король, — что сыскался предатель, который за сотню дукатов предложил ему похитить нас и живым или мертвым доставить шведам.

Все затрепетали при этих словах, а Кмициц насилу выговорил:

— Кто это был? Кто это был?

— Некий Кмициц, — ответил король.

Кровь бросилась в голову пану Анджею, в глазах у него помутилось, сжав руками виски, он ужасным, неистовым голосом крикнул:

— Это ложь! Князь Богуслав лжет, как пес! Милостивый король, государь мой, не верь этому изменнику! Он с умыслом сделал это, чтобы опозорить своего врага, а тебя утратить, государь! Изменник он! Кмициц не решился бы на такое!

Ноги подкосились у пана Анджея, он пошатнулся. Силы оставили его, изнуренного осадой, ослабевшего после взрыва кулеврины и пытки, которой подверг его Куклиновский, и он без памяти повалился к ногам короля.

Его подняли, и королевский лекарь стал в соседнем покое приводить его в чувство. В толпе сановников по-

нять не могли, отчего слова короля так поразили молодого шляхтича.

— То ли честен он так, что сама мерзость поступка сокрушила его, то ли родич он Кмицицу,— заметил краковский каштелян.

— Надо бы его расспросить,— прибавил канцлер Коруцинский.— Они там в Литве все в родстве между собою, как и мы в Короне.

— Государь! — обратился к Яну Казимиру Тизенгауз.— Я ничего дурного не хочу сказать об этом шляхтиче, избави бог! Но не надо слишком ему доверять. Это верно, что он служил в Ченстохове, бок у него обожжен, чего монахи не могли сделать, ибо, будучи слугами господними, они должны быть милосердны к пленникам и даже к предателям. Но не выходит у меня из головы одна мысль, и не дает мне она поверить ему до конца. Встречал я его когда-то в Литве еще мальчишкой, то ли на сеймике, то ли на масленичном гулянье, не помню...

— Ну и что из этого? — спросил король.

— Все мне сдается, что не Бабиничем его звали.

— Не говори глупостей! — прервал его король.— Ты молод и рассеян, просто мог все перепутать. Бабиниц он или не Бабиниц, почему же мне не верить ему? Искренность и прямотушние читаю я в его лице, а сердце у него, видно, золотое. Да я бы самому себе перестал верить, когда бы не поверил солдату, что кровь проливал за нас и отчизну.

— Он более достоин доверия, нежели письмо князя Богуслава,— сказала королева.— Примите во внимание, любезные сенаторы, что в письме нет, может, ни слова правды. Биржанским Радзивиллам, наверно, очень жалалось, чтобы мы совсем пали духом, а князь Богуслав, может статья, врага хотел погубить, да и лазейку оставить себе на случай перемены судьбы.

— Когда бы не привык я к тому, что устами твоими, милостивая королева, сама мудрость глаголет,— произнес примас,— я бы удивился пронизательности сих слов, достойных самого искушенного державного мужа.

— «...curasque gerens, animosque viriles...»¹ — прервал его вполголоса ксендз Выджга.

¹ «...обремененная заботами и наделенная мужеством, что под стать мужу» (лат.— В е р г и л и й).

Воодушевленная этими словами, королева поднялась с кресла и такую сказала речь:

— Не биржанские Радзивиллы смущают меня, ибо еретики они и легко могли внять нашептаниям врага рода человеческого, и не письмо князя Богуслава, что преследует, быть может, корыстные цели. Больше всего терзают мою душу горькие слова короля, господина моего и супруга, о нашем народе. Кто же пощадит его, коли собственный король его осуждает? А меж тем озираю я свет и тщетно себя вопрошаю, где сыщешь другой народ, в коем издревле пребывала бы в чистоте и умножалась слава господня? Тщетно гляжу я, где другой народ, в коем обитала бы такая простота души, где держава, в коей никто и не слыхивал бы о кощунствах столь сатанинских, злодействах столь жестоких и злобе столь непримиримой, коими полны иноземные хроники. Пусть же укажут мне люди, сведущие в истории, другое такое королевство, где бы все короли почили в мире своею смертью. Нет здесь ни ножей, ни отразного зелья, нет протекторов, как у англичев. Правда, государь мой, тяжко провинился этот народ, согрешил по причине легкомыслия и своеволия. Но где же сыщешь народ, что никогда не заблуждался бы, и где сыщешь народ, что так скоро покаялся бы, стал исправлять и искупать свою вину? Люди уже опомнились, бия себя в грудь, они прибегают уже к твоему величию, готовы уже пролить за тебя свою кровь, отдать свою жизнь и свое достояние. Так ужели ты оттолкнешь их? Ужели не простишь кающихся, не поверишь искупающим вину и исправляющимся? Блудным сынам не воротишь отцовской любви? Верь им, государь, ибо тоскуют уже они по тебе, по своей ягеллоновской крови и по отеческим твоим браздам! Поезжай к ним! Я, женщина, не боюсь измены, ибо вижу любовь, ибо вижу сожаление о грехах и покаяние и возрождение королевства, на чей трон ты призван был после отца и брата. И помыслить нельзя о том, что господь может обречь гибели великую Речь Посполнтую, в коей пылает свет истинной веры. На краткий час наслал он свой бич, дабы не погубить, но покарать чада свои, и в скором времени защитит их владыка небесный и утешит по отчету своему милосердию. Не пренебрегай же ими, государь, и не страшись довериться сыновней их преданности, ибо только так зло обратится в добро, горе в радость, поражение в победу.

С этими словами королева опустилась в кресло; очи ее сверкали, грудь волновалась, и все с благоговением взирали на нее, а канцлер Выджга стал читать громовым голосом:

Nulla sors longa est, dolor et voluptas
Invicem cedunt.
Ima permutat brevis horasummis...¹

Но никто не слушал его, ибо воодушевленная речь отважной королевы отозвалась во всех сердцах. Сам король вскочил с кресла с румянцем на пожелтевшем лице и воскликнул:

— Не потеряно еще для меня королевство, коль такая у меня королева! Пусть же исполнится воля ее, ибо в пророческом наитии вещала она. Чем скорее выеду я и *inter regna*² пребуду, тем лучше!

— Не стану я противиться воле моих повелителей,— произнес торжественно примас,— и отговаривать их от предприятия, в коем опасность таится, но, быть может, и спасение. Но разумным почел бы я еще раз собраться в Ополе, где пребывает большая часть сенаторов, и выслушать их, ибо они еще лучше и обстоятельней могут обдумать и рассудить все дело.

— Итак, в Ополе! — воскликнул король.— А там в путь, и что бог даст!

— Бог даст счастливое возвращение на родину и победу! — сказала королева.

— Аминь! — сказал примас

ГЛАВА XXII

Как раненый вепрь, метался пан Анджей по своему покою. В иступление привела его дьявольская месть Богуслава. Мало того что князь ушел из его рук, людей ему перебил, едва не лишил жизни его самого, он так его обесчестил, что под тяжестью такого позора спокон веку не стонал не только никто у них в роду, но ни один поляк.

¹ «Недолг наш удел, печаль сменяется радостью. Краткий миг все изменяет» (лат.).

² В пределах государства (лат.).

Были минуты, когда он хотел отказаться ото всего: от славы, которая перед ним открывалась, от королевской службы — и скакать и мстить этому магнату, которого он готов был растерзать живым.

Но как ни бушевал он, как ни ярился, а все на ум ему приходила мысль, что, покуда князь жив, месть не уйдет, лучший же способ, единственное средство разоблачить ложь и показать все бесстыдство взведенной на него клеветы — это королевская служба, ибо, служа своему государю, он может всему миру явить, что не только не умышлял на священную его особу, но что вернее слуги королю не сыскать среди всей шляхты Короны и Литвы.

И все же он скрежетал зубами, кипел досадой, рвал на себе одежду и долго, долго не мог успокоиться. Он тешил себя мыслью о мести. Снова видел он князя в своих руках, памятью отца клялся добыть его, пусть даже ждут его за это муки и смерть. И хоть князь Богуслав был могущественным магнатом, которого нелегко могла настичь месть не то что простого шляхтича, но и самого короля, однако он не спал бы спокойно и не раз содрогнулся бы, когда бы знал неукротимую душу Кмицица и те клятвы, что давал себе молодой рыцарь.

А ведь пан Анджей не знал еще, что князь не только покрыл его позором и отнял у него не одну только честь.

Между тем король, которому сразу очень понравился молодой шляхтич, в тот же день прислал за ним Луговского, а на следующий день повелел ему ехать с собою в Ополе, где сенаторы на своем генеральном собрании должны были держать совет о возвращении короля на родину. Им и впрямь было о чем подумать; коронный маршал прислал еще одно письмо, в котором доносил королю, что страна готова ко всеобщей войне, и просил ускорить возвращение. Кроме того, распространился слух о союзе, который будто бы составили шляхта и войско для защиты короля и отчизны; об этом союзе давно помышляли в Польше, но составился он, как оказалось, несколько позже и назван был Тышовецкой конфедерацией.

А пока все умы были поглощены этими слухами. Сразу же после торжественного богослужения король с сновниками направился на тайный совет, куда с его со-

изволения был допущен и Кмициц, так как он привез новости из Ченстоховы.

Сановники на совете пустились рассуждать о том, ехать ли королю немедля или лучше отложить отъезд до той поры, когда войско не на словах, а на деле оставит шведов.

Ян Казимир положил конец всем этим разговорам.

— Не об отъезде моем надлежит держать совет, любезные сенаторы,— сказал он,— и не о том, лучше ли или не лучше еще помедлить, ибо о сем я уже сам посоветовался с господом богом и пресвятой девой. Что бы ни ждало нас, объявляю вам, что в самые ближайшие дни мы непременно уедем. Вам же надлежит, не скупясь на советы, рассудить, как лучше и безопаснее исполнить сие наше намерение.

Всякие высказывались тут сужденья. Одни толковали, что не следует слишком доверять коронному маршалу, который однажды уже поколебался и оказал неповиновение, отвезя короны на сохранение не цесарю, как повелел король, а в Любовлю. «Велики гордыня его и спесь,— говорили сенаторы,— и когда в замке у него будет пребывать сам король, как знать, что он предпримет, чего потребует за помощь и не захочет ли захватить в свои руки всю полноту власти, дабы возвыситься надо всеми и стать протектором не только всей страны, но и короля».

Они советовали Яну Казимиру выждать, когда шведы отступят, а тогда направиться в Ченстохову, где стране ниспослано было благословение господне и откуда началось ее возрождение. Но были сенаторы, которые высказывали совсем иные мысли.

— Ведь шведы еще стоят под Ченстоховой, и хоть велик бог милостию и не взять им ее, но свободного пути туда нет. Все окрестные города в руках шведов. Враг занял Кшепицы, Велюнь, Краков, в приграничной полосе также стоят большие силы. А в горах, на венгерском рубеже, где лежит Любовля, нет других войск, кроме как маршала, и шведы никогда туда не заходили, ибо недостает им на то ни людей, ни отваги. К тому же от Любовли ближе до Руси, которую не захватил враг, и до Львова, который не перестал хранить верность королю, и до татар, которые, по слухам, идут нам на помощь и ждут там решения короля.

— Quod attinet¹ пана маршала,— говорил епископ краковский,— то он со своей гордынею будет тем удовлетворен, что первый примет тебя, государь, в своем Спижском старостве и первый окружит тебя заботами. Власть останется в твоих руках, государь, а пан маршал тем будет утешен, что может оказать тебе столь великие услуги; когда же пожелает он превзойти всех своей верностью, то останется он верен тебе из спеси или из любви, все едино величию твоему немалая от того будет корысть.

Эта мысль достойного и искушенного епископа показала всем самой справедливой, и было решено, что король направится в Любовлю, а оттуда во Львов или туда, куда укажут обстоятельства.

Советовались сенаторы и о том, на какой день назначить отъезд; но ленчицкий воевода, возвратившийся от цесаря, к которому он был послан с просьбой о помощи, заметил, что лучше точного срока не назначать, предоставив решить дело самому королю, дабы не было огласки и никто не мог предупредить врага о дне отъезда. Постановили только, что король выедет с тремя сотнями отборных драгун под начальством Тизенгауза, который, хоть и молод был еще, однако снискал уже славу великого воителя.

Но едва ли не самой важной была другая часть совета, когда единодушно было принято решение, чтобы после прибытия короля в страну вся власть и военачалие перешли в его руки, а шляхта, войско и гетманы во всем ему повиновались. Говорили сенаторы и о будущем, и о причинах тех неожиданных бед, что тучей нахлынули на страну и залили всю ее, как потоп. Сам примас признавал, что первая тому причина — смута, отсутствие повиновения и попрание королевской власти и величия.

Его слушали в глубоком молчании, ибо все понимали, что речь идет о судьбах Речи Посполитой и о великих, невиданных переменах, которые могли бы вернуть ей былую мощь и к которым давно стремилась мудрая королева, любившая свою новую родину.

Подобно громам, слетали слова с уст достойного князя церкви, а души слушателей открывались навстречу им, как цветы открываются навстречу солнцу.

¹ Что касается (лат.).

— Не против исконных вольностей восстаю я,— говорил примас,— но против своеволия, что своей рукою вонзает нож в сердце отчины. Поистине забыта уже в нашей стране разница между вольностью и своеволием, и как страданье приносит чрезмерная роскошь, так неволю принесла необузданная вольность. Как далеко зашли вы в своем безумии, граждане преславной Речи Посполитой, коль скоро лишь того почитаете защитником вольности, кто подымает шум, разгоняет сеймы и противится королевской власти не тогда, когда надо, а тогда, когда король стремится спасти отчину? Дно сундука видно в нашей казне, солдатам мы не платим, и они ищут денег у врага, сеймы, единая опора Речи Посполитой, расходятся, ничего не решив, ибо один своевольник, один злокозненный обыватель может корысти ради помешать совету. Что же это за вольность, которая одному позволяет противостоять всем? Разве эта вольность для одного не неволя для всех? И куда зашли мы с этой вольностью, какие благие *fructa*¹ принесла она? Что один слабый враг, над которым наши предки одержали столько славных побед, теперь *sicut fulgur exit ab occidente et paret usque ad orientem*². Никто не дал ему отпора, изменники еретики помогли ему, и он все захватил, веру преследует, костелы оскверняет, а когда вы толкуете ему о ваших вольностях, он показывает меч! Вот чем кончились ваши сеймики, ваши вето, ваше своеволие и попрание на каждом шагу королевской власти! Короля, прирожденного защитника отчины, вы сперва лишили сил, а потом стали жаловаться, что он не защищает вас! Вы не хотели своего правленья, а теперь вами правит враг! И кто же, спрашиваю я вас, может помочь нам подняться, кто может вернуть многострадальной Речи Посполитой былой блеск, как не тот, кто, не ведая покоя, отдал ей уже столько сил, когда внутренние распри с казаками раздирали ее, как не тот, кто подвергал свою священную особу таким опасностям, каких в наше время не испытал ни один монарх, как не тот, кто под Зборовом, под Берестечком и под Жванцем дрался, как простой солдат, нес ратный труд и нужду

¹ Плоды (*лат.*).

² Подобно молнии появляется на западе и непрестанно стремится на восток (*лат.*).

терпел, невзирая на свой королевский сан. Так предадимся же сегодня ему, облечем его по примеру древних римлян всей полнотою власти, а сами посоветуемся о том, как в будущем уберечь отчизну от внутреннего врага, от распутства, своеволия, смуты и безнаказанности и должное значенье вернуть власти предрержащей и королевскому величию.

Так говорил примас, и никто слова не сказал против, ибо бедствия и испытания последнего времени переродили слушателей и всем было ясно, что либо королевская власть будет укреплена, либо Речь Посполитая неминуемо погибнет. Стали сенаторы толковать о том, как исполнить советы примаса, а королевская чета жадно и радостно внимала им, особенно королева, которая с давних пор трудилась над тем, чтобы учинить порядок в Речи Посполитой.

Веселый и довольный возвращался король в Глогову; там он призвал к себе нескольких верных офицеров, в их числе и Кмицица, и сказал им:

— Нет моей мочи, совсем истерзался я в этом краю и хоть завтра готов тронуться в путь, а потому призвал я вас, дабы вы, люди военные, искушенные опытом, подумали, как поскорее исполнить наш замысел. Жаль нам терять попусту время, ибо наше присутствие может ускорить всеобщую войну.

— Коль такова твоя воля, государь,— ответил королю Луговский,— чего же тогда мешкать? Чем скорее, тем лучше!

— Покуда не распространился еще слух об отъезде и враг не удвоил бдительности,— прибавил полковник Вольф.

— Враг уже начеку, и на дорогах, где только можно, устроил засады,— сказал Кмициц.

— Как так? — воскликнул король.

— Государь, да ведь твой отъезд для шведов не новость! Чуть не каждый день по всей Речи Посполитой разносится слух, что ты уже в пути, а то и *inter regna*. Поэтому надо принять все меры предосторожности и пробираться тайком, окольными путями, ведь дороги стерегут разъезды Дугласа.

— Самая лучшая предосторожность — это триста верных драгун,— глядя на Кмицица, сказал Тизенгауз,— и коль скоро государь вверил мне начальство над ними,

я доставлю его целым и невредимым, даже если придется потоптать все разъезды Дугласа.

— Доставишь, милостивый пан, коль встретишь разъезд в триста, шестьсот, ну даже в тысячу сабель, но что может статься, коль наткнешься на большую засадку?

— Я потому о трехстах сказал,— возразил Тизенгауз,— что о трехстах шел разговор. А коль этого мало, можно взять пятьсот, а то и побольше!

— Боже упаси! Чем больше отряд, тем больше шуму! — воскликнул Кмициц.

— Постой! — остановил его король.— Ведь коронный маршал со своими хоругвями выйдет, я думаю, нам навстречу.

— Не выйдет пан маршал нам навстречу,— возразил Кмициц.— Времени он не будет знать, а и будет знать, так мало ли что может статься в пути и задержать нас,— дело обыкновенное, всего не предусмотреть...

— Вот это речь воина, истинного воина! — сказал король.— Видно, не внове для тебя война.

Кмициц улыбнулся, вспомнив о своих набегах на Хованского. Кто же лучше его мог знать это дело! Кому верней всего было поручить сопровождать короля?

Но Тизенгауз, видно, иного был мнения, он насупил брови и сказал язвительно Кмицицу:

— Что ж, ждем твоего мудрого совета!

Неприятнь почувствовал Кмициц в этих словах; устремив взор на Тизенгауза, он ответил:

— Я так думаю, что нам легче будет проскользнуть, если отряд будет поменьше.

— Как же быть тогда?

— Государь! — сказал Кмициц.— В твоей воле поступить так, как ты пожелаешь; но мне рассудок вот что велит: чтобы отвлечь на себя врага, пан Тизенгауз должен двинуться вперед с драгунами, умышленно разглашая повсюду, что это он сопровождает тебя. Его дело ускользнуть от врага и целым уйти из западни. А через день-другой тронемся мы с небольшим отрядом и с тобой, государь; внимание врага будет отвлечено, и мы легко проберемся до самой Любавли.

Король в восторге захлопал в ладоши.

— Сам бог послал нам этого солдата! — воскликнул он.— Соломон и тот не рассудил бы лучше! Я свое

votum¹ всецело отдаю за эту мысль, и быть по сему! Они будут ловить короля между драгунами, а король проскользнет у них под самым носом. Право же, лучше ничего не придумаешь!

— Государь, это шутка! — вскричал Тизенгауз.

— Солдатская шутка! — ответил король. — Нет, будь что будет, а я от своего не отступлюсь!

У Кмицица глаза горели, так он был рад своей победе; но Тизенгауз сорвался с места.

— Государь! — сказал он. — Я отказываюсь вести драгун. Пусть их кто-нибудь другой ведет!

— Это почему? — спросил король.

— Государь, коль едешь ты без охраны, коль отдан будешь во власть судьбы, и станешь ее игралищем, и будут грозить тебе всякие беды, то и я хочу состоять при твоей особе, грудью прикрыть тебя в бою и жизнью за тебя пожертвовать.

— Спасибо за благое намерение, — ответил Ян Казимир, — но успокойся, ибо меньше всего мы будем подвергаться опасности, когда поступим так, как советует Бабинич.

— Пусть за эти свои советы пан... Бабинич, или как там его звать, сам отвечает! Может статься, ему только того и надо, чтобы ты, государь, заблудился в горах без охраны... Беру бога и товарищей в свидетели, что я, как мог, отговаривал тебя от этого!

Не успел он кончить, как Кмициц сорвался с места, подскочил к нему и, глядя ему прямо в лицо, спросил:

— Что ты, милостивый пан, хочешь этим сказать?

Но Тизенгауз надменно смерил его взглядом.

— Не тянись, шляхтишка, не тебе со мною тягаться!

На это Кмициц, сверкая очами:

— Как знать, стал ли бы ты тягаться со мною, когда бы...

— Когда бы что? — бросил на него быстрый взгляд Тизенгауз.

— С такими тягался я, что не тебе чета!

Тизенгауз рассмеялся.

— Где ты их сыскал?

— Замолчите! — нахмурился вдруг король. — Не смей затевать тут ссоры!

¹ Голос (лат.).

Ян Казимир внушал всем такое уважение, что оба молодца тотчас притихли, смущенные тем, что невесть чего наговорили друг другу при короле.

— Никто не смеет чваниться перед рыцарем, который взорвал кулеврину и ушел от шведов,— сказал Ян Казимир,— пусть даже его отец жил в застынке; а я вижу, что он не застынковый шляхтич, ибо сокола знать по полету, а кровь по делам. Забудьте о своих обидах.— Тут король обратился к Тизенгаузу:— Коли хочешь, оставайся при нашей особе. Не годится нам тебе в том отказывать. Драгун поведет Вольф или Денгоф. Но и Бабинич останется при нашей особе, и мы последуем его совету, ибо нам этот совет по душе.

— Я умываю руки! — сказал Тизенгауз.

— Только держите все в тайне. Драгунам сегодня же выступить в Рацибор и тотчас рассеять слух, что мы едем с ними. А там быть начеку, ибо не знаем мы, когда пробьет наш час! Тизенгауз, иди и отдай приказ капитану драгун!

Тизенгауз вышел, ломая руки в гневе и обиде, а вслед за ним разошлись и остальные офицеры.

В тот же день по всей Глогове разнесся слух, что его королевское величество, Ян Казимир, уже направился к границам Речи Посполитой. Даже многие вельможи думали, что король в самом деле уехал. Умышленно разосланные гонцы повезли новость в Ополе и на пути, ведущие к границе.

Хоть Тизенгауз и объявил, что умывает руки, однако не почел себя побежденным; как королевский придворный, он всегда имел доступ к монарху; в тот же день, уже после ухода драгун, он предстал перед лицом Яна Казимира, вернее королевской четы, ибо Мария Людовика также при этом присутствовала.

— Явился за приказами,— сказал он.— Когда тронемся в путь?

— Послезавтра еще затемно,— ответил король.

— Много народу поедет?

— Поедешь ты, Бабинич, Луговский с солдатами. Пан каштелян сандомирский также отправляется со мною; я просил его взять поменьше народу, но человек двадцать все-таки у него наберется, солдаты это все верные, стреляные. Да, сопровождать меня хочет еще святейший нунций; его участие придаст важности всему

предприятию, и все, кто верен истинной церкви, будут растроганы. Он не задумался подвергнуть опасности свою священную особу. Ты последи, чтобы было не больше сорока сабель, так советовал Бабинич.

— Государь! — воскликнул Тизенгауз.

— Чего тебе еще?

— На коленях прошу еще об одной милости. Все уже кончено, драгуны ушли, мы едем без охраны, и первый же разезд может нас захватить. Приклони же слух, государь, к мольбе слуги, который, видит бог, верен тебе, и не полагайся так во всем на этого шляхтича. Ловкий это человек, коль скоро за короткий час сумел вкрасься к тебе в доверие и милость, но...

— Неужто ты уже завидуешь ему? — прервал король Тизенгауза.

— Не завидую я ему, государь, и в прямой измене не хочу его обвинить, но готов поклясться, что не Бабиничем звать его. Почему же скрывает он свое настоящее имя? Почему мнется, когда спросишь, что делал он до Ченстоховы? Почему так настаивал, чтобы драгуны ушли вперед и ты, государь, ехал без охраны?

Ян Казимир, задумавшись, стал, по своему обыкновению, надувать губы.

— Будь тут разговор со шведами, — сказал он наконец, — что значили бы тогда три сотни драгун? Что это за сила и что за защита? Стоило бы только Бабиничу дать знать шведам, посадили бы они по дороге в засаду несколько сотен пехоты и поймали бы нас, как в тенета. Ну ты сам посуди, можно ли тут говорить об измене? Ведь Бабинич наперед должен был бы знать, когда мы выезжаем, и располагать временем, чтобы загодя упредить в Кракове шведов, а как же может он это сделать, коль мы послезавтра уже трогаемся в путь? Да и не мог он предугадать, что мы последуем его совету, мы ведь могли и тебя послушать, и кого-нибудь другого. Ведь решено было сперва ехать с драгунами, стало быть, изменив решение, мы бы ему все карты спутали, ему снова пришлось бы посылать гонцов к шведам. Тут и спорить не приходится. Да и не настаивал он вовсе на своем, как ты толкуешь, а просто, как все прочие, сказал, что думает. Нет, нет! Правду читаю я в его лице, да и бок у него обожжен, а это свидетельство того, что он готов и пытку снести.

— Государь прав,—неожиданно сказала королева.— Спорить тут не приходится, и совет Бабинича был и остается хорошим.

Тизенгауз по опыту знал, что уж если королева скажет свое слово, короля не переубедишь, так верил он ее уму и пронизательности. Молодой шляхтич желал только, чтобы король принял необходимые меры предосторожности.

— Не пристало мне перечить вашим величествам,— ответил он.— Но коль скоро выезжаем мы послезавтра, пусть уж лучше Бабинич не знает об этом до самого отъезда.

— Что ж, так тому и быть! — ответил король.

— А в пути я сам послезу за ним, и ежели, избави бог, что случится, не уйдет он живым из моих рук!

— Не будет в том надобности! — возразила королева.— И вот что скажу я тебе: не ты, не Бабинич, не драгуны и не силы земные будут хранить в дороге короля от беды, измены и вражеской западни, но всевидящее око, что неустанно зрит на пастырей народов и помазанников божиих. Оно будет хранить его, оно его уберезет и благополучно приведет к цели, а в случае нужды такую пошлет ему помощь, что вы с вашей верой в одни только силы земные и представить себе не можете.

— Всепресветлейшая королева,—ответил Тизенгауз,— верю и я, что без воли божьей волос не упадет с головы человека, а что за короля беспокоюсь и потому страшусь изменников, так это не грех.

Мария Людвика милостиво улыбнулась.

— Но ты сразу готов всех заподозрить и бросаешь тень на весь народ, а ведь сам Бабинич говорил, что не сыскался еще в народе такой, кто посягнул бы на жизнь своего короля. Не дивись же, что даже после того, как нас предали с королем и тяжко нарушили присягу в верности нам, я все же говорю тебе, что на столь страшное злодеяние не отважится никто даже из тех, кто сегодня еще служит шведам.

— А письмо князя Богуслава?

— Письмо неправду говорит! — решительно возразила королева.— Коль есть в Речи Посполитой человек, готовый изменить даже королю, так это, пожалуй, только сам князь конюший, ибо он поляк только по названию.

— Короче, не подозревай Бабинича,—сказал ко-

роль.— Ведь даже с его именем ты что-то путаешь. Можно было бы, конечно, допросить его, но как ему об этом сказать? Как спросить его: «Коль не зовешься ты Баби-ничем, то как же звать тебя?» Такой вопрос тяжело может оскорбить честного человека, а я голову даю на отсечение, что он честен.

— Не хотел бы я, государь, такой ценой убедиться в его честности.

— Ну довольно, довольно! Спасибо тебе за заботу. Завтрашний день посвятим молитве и покаянию, а послезавтра в дорогу! В дорогу!

Тизенгауз ушел, вздыхая, и в тот же день в величайшей тайне стал готовиться к отъезду. Даже вельможи, которые должны были сопровождать короля, не все были предупреждены о времени выезда. Слугам только было велено держать коней наготове, так как в самое ближайшее время придется ехать с господами в Ра-цибор.

Весь следующий день король нигде не показывался, даже в костеле не был, у себя в покое он до самой ночи лежал, постился и молил царя царей о помощи не себе, но Речи Посполитой.

Мария Людвика вместе со своими придворными дамами тоже творила молитвы.

Ночь укрепила силы усталых, и когда еще затемно колокол глоговского костела заблаговестил к утрени, пробил час разлуки.

ГЛАВА XXIII

Отряд миновал Рацибор, покормив только там лошадей. Никто не узнал короля, никто не обратил особого внимания на отряд, общее любопытство было привлечено к проехавшим недавно драгунам, среди которых, по слухам, находился польский монарх.

А меж тем в отряде было около полусотни сабель, так как короля сопровождали сановники, и одних епископов было пять человек, в том числе сам нунций, не побоявшийся разделить с королем тяжести опасного путешествия. Впрочем, в пределах Священной Римской империи дорога никакой опасности не представляла. В Одерберге, недалеко от впадения Ольши в Одру, отряд вступил в пределы Моравии.

День был хмурый, мело так, что в двух десятках шагов нельзя было различить дорогу. Но король был весел и полон надежд, так как имел знамение, которое все сочли за самый добрый знак и тогдашние историки не преминули отметить в своих хрониках. В ту самую минуту, когда король выезжал из Глоговы, перед конем его появилась белая-белая птица и стала виться над головой короля, то уносясь в вышину, то с веселым щебетом и чириканьем падая вниз. Все вспомнили, что такая же птица, но только черная, носилась над королем, когда в свое время он уходил из Варшавы от шведов.

Эта белая пташка была схожа с ласточкой, что еще больше всех удивило, ибо стояла глубокая зима и ласточки не думали еще о прилете. Но все обрадовались, а король в первые дни только и говорил, что об этой пташке, суля себе самое счастливое будущее. В самом начале пути обнаружилось, какой разумный совет дал Кмициц, предложив ехать отдельно от драгун.

В Моравии повсюду рассказывали о недавнем проезде польского короля. Многие твердили, что видели его собственными глазами, в полном вооружении, с мечом в руке и короной на голове. Всевозможные слухи ходили уже и о войске, которое вел он с собой, и число драгун выросло до сказочных размеров. Нашлись такие, что видели чуть не десять тысяч и конца не могли дожидаться проходившим мимо шеренгам, коням, людям, знаменам и значкам.

— В пути их, наверно, встретят шведы,— толковали они,— но справится ли враг с такой силой, это как сказать.

— Ну что? — говорил король Тизенгаузу.— Не прав ли был Бабинич?

— Мы еще не дошли до Любовли, государь,— отвечал молодой магнат.

Бабинич был доволен собой и путешествием. Вместе с троими Кемличами он держался обычно впереди королевской свиты, высматривая дорогу, порой же ехал вместе со всеми и развлекал короля рассказами об осаде Ченстоховы, которых Ян Казимир не мог наслушаться. Час от часу больше нравился королю развеселый этот и удалой молодец, похожий на молодого орлика. Время король проводил в молитве, набожных размышлениях о вечной жизни, разговорах о будущей войне и о помощи,

которой ждали от цесаря, а то смотрел на рыцарские забавы, которыми воины, сопровождавшие его, старались коротать долгие часы пути. Натура у Яна Казимира была такая, что он легко переходил от строгости к шутке, от тяжелых трудов к забавам, и уж если на него находило, веселился напропалую, точно никакие заботы, никакие невзгоды не сокрушали его никогда.

Воины соревновались, кто в чем был искусен: молодые Кемличи, Косьма и Дамиан, потешали короля своей неуклюжестью и великанским ростом да тем, что подковы гнули, как тростинки; за каждую подкову он приказывал давать им по талеру, хоть и пуст был королевский кошелек, ибо все деньги, даже драгоценности и «вено» королевы пошли на войско.

Пан Анджей метал тяжелый топорик; подкинув его так высоко, что он был едва виден, подлетал на своем коне и на лету хватал за рукоять. Король даже в ладоши хлопал.

— Видал я,— говорил он,— как пан Слушка, свояк подканцлера, топорик мечет, но куда ему, он и наполовину этой высоты не метнет.

— У нас в Литве это в обычае,— говорил пан Анджей,— а когда упражняешься сызмальства, так откуда и ловкость берется.

— А откуда у тебя этот рубец через всю щеку? — спросил однажды король, показывая Кмицицу на шрам.— Ишь как тебя саблей полоснули.

— Не от сабли это, а от пули, государь. Стреляли в меня, приставя дуло к самому лицу.

— Враг или свой?

— Свой, но враг, и я еще с ним поквитаюсь; но куда мы с ним не квиты, не годится мне толковать об этом.

— Так ты лют?

— Не лют я вовсе, государь, ведь вот на голове у меня побольше дыра от сабли, чуть душа из меня вон через нее не вышла; но полоснул меня человек достойный, и не держу я на него обиды.

С этими словами Кмициц снял шапку и показал королю глубокий рубец с заметными беловатыми краями.

— Не стыжусь я этой раны,— сказал он,— потому рубака меня полоснул, что другого такого не сыщешь во всей Речи Посполитой.

— Что же это за рубака такой?

— Пан Володыёвский.

— Господи, да ведь я же его знаю! Он под Збаражем чудеса творил. А потом я был на свадьбе его товарища, Скшетуского, что первый привез мне вести из Збаража. Славные это рыцари! С ними еще один был, так того все войско славил как величайшего из рыцарей. Толстый такой шляхтич, а уж шутник, мы на свадьбе прямо катались со смеху.

— Это пан Заглоба,— сказал Кмициц.— Помню! Он не только храбрец, но и на уловки куда как хитер.

— Что они теперь поделявают, не знаешь?

— Володыёвский у князя виленского воеводы над драгунами начальствовал.

Король нахмурился.

— И вместе с князем воеводой служит теперь шведам?

— Он? Шведам? У пана Сапеги он. Я сам видел, как после измены князя воеводы он бросил к его ногам булаву.

— О, доблестный это воитель!— воскликнул король.— От пана Сапеги были у нас вести из Тыкоцина, он осадил там князя воеводу. Дай бог ему счастья! Когда бы все были на него похожи, шведы уже пожалели бы о своем предприятии.

Тизенгауз, который слышал весь разговор, неожиданно спросил:

— Так ты, пан, был в Кейданах у Радзивилла?

Кмициц смутился и стал подкидывать свой топорик.

— Был.

— Да оставь ты свой топорик,— продолжал Тизенгауз.— Что же ты поделявал при княжеском дворе?

— Гостем был,— нетерпеливо ответил Кмициц,— и хлеб княжеский ел, покуда не опротивел он мне после измены.

— А почему же ты вместе с другими достойными воителями не ушел к пану Сапеге?

— Обет я дал в Ченстохову отправиться. Ты меня скорее поймешь, коль скажу я тебе, что нашу Острую Брамму московиты захватили.

Тизенгауз покачал головой и губами почмокал, так что король обратил наконец на это внимание и испытующе посмотрел на Кмицица.

Потеряв терпение, тот повернулся к Тизенгаузу и сказал:

— Милостивый пан! Почему я у тебя не выпытываю, где ты был и что делал?

— А ты спроси,— ответил Тизенгауз.— Мне скрывать нечего.

— Да и я не перед судом стою, а коль придется когда-нибудь стать, так не ты будешь моим судьей. Оставь меня в покое, а то как бы у меня терпенье не лопнуло.

С этими словами он так стремительно метнул свой топорик, что тот едва виден стал в вышине; король поднял глаза, следя его полет, и в эту минуту ни о чем не думал, кроме одного,— схватит Бабинич на лету топорик или не схватит.

Бабинич вздыбил коня, подскочил и схватил.

Но Тизенгауз в тот же вечер сказал королю:

— Государь, все меньше и меньше нравится мне этот шляхтич.

— А мне все больше и больше! — надул губы король.

— Слышал я нынче, как один из его слуг назвал его полковником, он только грозно на него поглядел и мигом утихомирил. Что-то тут неладно!

— И мне порой сдается, что не хочет он всего рассказывать,— заметил король,— но его это дело.

— Нет, государь! — с жаром воскликнул Тизенгауз.— Не его это дело, а наше, всей Речи Посполитой! Ведь если он предатель и погибель готовит тебе или неволю, то вместе с тобою погибнут все те, что поднимают сейчас оружие на врага, погибнет вся Речь Посполитая, которую ты один можешь спасти.

— Так я его завтра сам спрошу.

— Дай бог, чтобы был я лжепророком, но ничего хорошего не читаю я в его глазах. Уж очень он проворен, уж очень смел и решителен, а такие люди на все могут отважиться.

Король огорчился.

На следующий день, когда отряд тронулся в путь, он поманил к себе Кмицица.

— Где ты был полковником? — спросил он внезапно.

На минуту воцарилось молчание.

Кмициц боролся с самим собою: он горел желанием соскочить с коня, упасть королю в ноги и, открыв ему всю

правду, раз навсегда сбросить со своих плеч бремя, которое он влачил.

Но он снова с ужасом подумал о том, какое страшное впечатление может произвести его имя, особенно после письма князя Богуслава Радзивилла.

Как же он, когда-то правая рука виленского воеводы, он, помогший князю сохранить на своей стороне перевес и разбить непокорные хоругви, он, соучастник измены, заподозренный и обвиненный к тому же в самом страшном злодеянии — в покушении на свободу монарха, — сможет теперь убедить короля, епископов и сенаторов, что он раскаялся, что он переродился, что он кровью искупил свою вину. Чем сможет он доказать, что чисты его помыслы, какие доводы приведет, кроме голых слов?

Преследуют его старые грехи неотступно и неумолимо, как разъяренные псы в чаще преследуют зверя!

Он решил обо всем умолчать.

Но невыносимо мерзко и гадко было ему изворачиваться и лгать. Разве мог он отводить глаза своему государю, которого любил всем сердцем, разве мог он обманывать его всякими баснями?

— Всемиловитейший король! — заговорил он после долгого молчания. — Придет время, и, может статься, недолго уж осталось ждать, когда, как ксендзу на исповеди, смогу я открыть тебе всю свою душу. Хочу я, чтоб не голые слова, но дела за меня свидетельствовали, за искренность моих помыслов, за верность мою тебе и любовь. Грешил я, государь, грешил против тебя и отчизны, но мало еще сделал я, чтобы вину свою искупить, и ищу потому такой службы, чтобы легче мне было исправиться. Да и то сказать, кто без греха? Сыщется ли во всей Речи Посполитой хоть один такой, кому не надо бить себя в грудь? Может статься, больше прочих я провинился, но ведь и опомнился раньше. Ни о чем не спрашивай меня, государь, покуда на нынешней службе меня не испытаешь, не спрашивай, ибо ничего не могу я сказать тебе, дабы не закрыть себе пути к спасению; но бог свидетель и пресвятая дева, владычица наша, что не солгал я, когда говорил тебе, что последнюю каплю крови готов отдать за тебя! — Увлажнились тут слезами глаза пана Анджея, и такая неподдельная скорбь изобразилась на его лице, что оно само было лучшей защитой ему, чем

слова.— Видит бог мои помыслы,— продолжал он,— и на суде мне их зачтет. Но коль не веришь ты мне, государь, прогони меня прочь, удалиться вели. Я поодаль поеду вслед за тобой, дабы в трудную минуту явиться, пусть даже без зова, и голову сложить за тебя. И тогда, государь, ты поверишь, что не изменник я, но один из тех слуг, каких немного у тебя даже среди тех, кто на других возводит подозрения.

— Я и сегодня верю тебе,— промолвил король.— Оставайся по-прежнему при нашей особе, не измена говорит твоими устами.

— Спасибо тебе, государь! — сказал Кмициц.

И, придерживав коня, вмешался в последние ряды свиты.

Но не одному королю рассказал Тизенгауз о своих подозрениях, и все косо стали поглядывать на Кмицица. Громкий разговор смолкал при его приближении, люди начинали шептаться. Они следили за каждым его движением, взвешивали каждое его слово. Заметил это пап Анджей, и худо стало ему среди них.

Даже король, хоть и не отказал ему в доверии, но не глядел уже на него так приветливо, как прежде. Приуныл молодой рыцарь, помрачнел, горькая обида камнем легла на сердце. Привык он в первых рядах красоваться на своем коне, а теперь тащился позади, в сотне шагов, понуря голову и предавшись мрачным мыслям.

Но вот перед всадниками забелели наконец Карпаты. Снег лежал на их склонах, тяжелые громады туч клубились на вершинах, а когда выдавался ясный вечер, горы на закате одевались в пурпур, и глаза слепил нестерпимый блеск, пока во мраке, окутывавшем весь мир, не гасли зори. Глядел Кмициц на эти чудеса природы, которых доселе отроду не видывал, и хоть очень был огорчен, забывал от восторга о своих огорчениях.

С каждым днем все выше и могучей становились горы-исполины. Королевская свита доехала наконец до них и углубилась в ущелья, которые, словно врата, неожиданно открылись перед нею.

— Граница, должно быть, уже недалеко,— с волнением произнес король.

В эту минуту показалась телега, запряженная одной лошадью, которой правил крестьянин. Королевские люди тотчас его остановили.

— Что, мужичок,— спросил Тизенгауз,— мы уже в Польше?

— Вон за той скалою да за речкою цесарская граница, а вы уже на королевской земле.

— Как проехать нам в Живец?

— Прямо езжайте, там дорога будет.

И горец хлестнул лошаденку. Тизенгауз подскакал к стоявшей неподалеку свите.

— Государь,— воскликнул он в восторге,— ты уже *inter regna*, ибо от этой речушки начинаются твои владения!

Король ничего не ответил, только движением руки велел подержать коня, сам спешил и бросился на колени, воздев руки и устремив к небу глаза.

Видя это, спешили все остальные и последовали его примеру, а король-изгнанник пал ниц на снегу и стал целовать свою землю, такую любимую, такую неблагодарную, что в минуту невзгоды отказала ему в крове, так что негде ему было приклонить королевскую главу.

Тишина наступила, и лишь вздохи смущали ее.

Вечер был морозный и ясный, пламенели горы и вершины ближних елей; потом они полиловели, и лишь дорога, на которой лежал ниц король, все еще переливалась красками, будто лента алая и золотистая, и блеск струился на короля, епископов и вельмож.

Но вот ветер поднялся на вершинах гор и, неся на крыльях снежные искры, слетел в долину. Ближние ели стали клонить заснеженные свои верхушки и кланяться своему господину и зашумели громко и радостно, словно старую песню запели: «Здравствуй, здравствуй, государь наш милый!»

Тьма уже разлилась в воздухе, когда королевская свита тронулась дальше. За ущельем открылась широкая долина, терявшаяся вдали. Отблески потухали кругом, лишь в одном месте небо все еще алело.

Король начал читать «*Ave Maria*»¹, прочие усердно повторяли за ним слова молитвы.

Родная земля, которую они давно не видали, горы, которые окутывала ночь, гаснущие зори, молитва — все это настроило сердца и умы на торжественный лад, и, кон-

¹ «Богородице, дево, радуйся!» (лат.) — начальные слова молитвы.

чив молиться, в молчании продолжали свой путь король, вельможи и рыцари.

Затем ночь спустилась, только на востоке все больше рдело небо.

— Поедем на эти зори,— молвил король,— странно мне только, что они все еще горят.

Но тут подскакал Кмициц.

— Государь, это пожар! — крикнул он.

Все остановились.

— Как пожар? — удивился король.— А мне сдается, это заря!

— Пожар, пожар! Я не ошибся! — кричал Кмициц.

Уж он-то и впрямь был с этим знаком лучше всех спутников короля.

Сомнений больше не было, над мнимой зарею, то светлея, то снова темнея, поднималась, клубясь, багровая туча.

— Да не Живец ли это горит?— воскликнул король.— Враг, может, бесчинствует там!

Не успел он кончить, как послышались голоса, и в темноте перед свитой замаячило человек двадцать всадников.

— Стой! Стой! — закричал Тизенгауз.

Те остановились, не зная, что делать.

— Люди! Кто вы такие? — спросили из свиты.

— Свои мы! — раздались голоса.— Свои! Из Живца ноги уносим! Живец шведы жгут, людей убивают!

— Да постойте же, ради бога! Что вы это толкуете? Откуда они там взялись?

— Нашего короля они подстерегали. Тьма их, тьма! Храни его бог и пресвятая дева!

Тизенгауз на минуту совсем потерял голову.

— Вот что значит ехать с небольшим отрядом! — крикнул он Кмицицу.— Чтоб тебя бог убил за твой совет!

Но Ян Казимир начал сам расспрашивать беглецов.

— Где же король? — спросил он у них.

— Король в горы ушел с большим войском, два дня назад проезжал он Живец, ну они его и настигли,— где-то там, под Сухой, бой был. Не знаем мы, захватили они короля, нет ли, но только сегодня под вечер воротились в Живец и жгут, убивают!

— Езжайте, люди, с богом! — сказал Ян Казимир.

Беглецы торопливо миновали свиту.

— Вот что ожидало нас, когда бы мы поехали вместе с драгунами! — воскликнул Кмициц.

— Государь! — обратился к королю епископ Гембицкий. — Впереди враг! Что делать?

Все окружили короля, словно своими телами хотели защитить его от внезапной опасности; но он все глядел на зарево, которое отражалось в его глазах, и молчал; никто не порывался заговорить первым, так трудно было что-нибудь посоветовать.

— Когда покидал я отчизну, светило мне зарево, — промолвил наконец Ян Казимир, — воротился — другое светит...

И снова воцарилось молчание, только было оно еще дольше.

— Кто может дать совет? — спросил наконец епископ Гембицкий.

Тут раздался голос Тизенгауза, звучавший горькой насмешкой.

— Пусть же тот даст теперь совет, кто не задумался подвергнуть опасности особу короля, кто уговаривал его ехать без охраны!

В эту минуту из круга выехал всадник, это был Кмициц.

— Ну, что ж! — сказал он.

И, встав в стременах, повернулся к стоявшей неподалеку челяди и крикнул:

— Кемличи, за мной!

И пустил коня вскачь, а за ним во весь дух понеслись три всадника.

Крик отчаяния вырвался из груди Тизенгауза.

— Это заговор! — сказал он. — Изменники дадут знать врагу! Спасайся, государь, покуда есть еще время, ибо шведы скоро закроют выход из ущелья! Спасайся, государь! Назад! Назад!

Но Ян Казимир потерял терпение, глаза его сверкнули, он выхватил внезапно шпагу из ножен и крикнул:

— Уйти еще раз со своей земли, да боже упаси! Будь что будет, с меня довольно!

И он вздыбил шпорами коня, чтобы тронуться вперед; но сам нунций схватил коня за узду.

— Государь, — сказал он сурово, — судьбы отчизны и католической церкви в твоих руках, и не волен ты подвергать себя опасности.

— Не волен! — повторили епископы.

— Клянусь богом, не ворочусь я в Силезию! — ответил Ян Казимир.

— Государь! Выслушай просьбу твоих подданных! — сложил с мольбою руки сандомирский каштелян. — Коль не хочешь ты воротиться в цесарские земли, так хоть отсюда надо уйти, проехать к венгерской границе или вернуться назад, чтобы нам не перерезали путь. У выхода из ущелья мы и подождем. Придет враг, одна тогда надежда на коней останется, но хоть не запрет он нас, как в мышеловке.

— Что ж, быть по-вашему! — смягчился король. — Не презираю я разумного совета, но по чужим землям скитаться больше не стану. Коли там нельзя будет пробиться, пробьемся в другом месте. И потом, я все-таки думаю, что зря вы пугаетесь. Коль скоро шведы искали нас среди драгун, как рассказывали эти люди из Живца, стало быть, не знают они о нас, и никакой измены, никакого заговора не было. Поймите же это, ведь вы люди опытные. Не стали бы шведы трогать драгун, выстрела бы по ним не дали, когда бы им донесли, что мы едем вслед за драгунами. Успокойтесь же! Бабинич разведать поехал со своими людьми и, наверно, скоро воротится.

С этими словами король повернул коня назад, к ущелью, за ним последовали его спутники. Они остановились там, где проезжий горец показал им границу.

Прошло четверть часа, полчаса, час.

— Вы замечаете, — промолвил вдруг ленчицкий воевода, — что зарево становится меньше?

— Гаснет, гаснет на глазах, — раздались голоса.

— Это добрый знак, — заметил король.

— Возьму я человек двадцать и проеду вперед, — сказал Тизенгауз. — Мы остановимся в полуверсте от того места, где стояли, и, коль шведы станут подступать, будем задерживать их, покуда костями не ляжем. У вас хоть будет время подумать о том, как спасти его величество.

— Оставайся со всеми! — приказал король. — Я запрещаю тебе ехать!

— Государь, велишь потом расстрелять меня за послушание, а сейчас я поеду, ведь в опасности твоя жизнь!

И, кликнув десятка два надежных солдат, он тронулся с ними вперед.

Они остановились у выхода в долину и стояли тихо, держа наготове ружья и прислушиваясь к малейшему шороху.

Долго ждали они в молчании, наконец до слуха их долетел скрип снега под копытами лошадей.

— Едут! — шепнул один из солдат.

— Не отряд это вовсе, лошадей, слышь, немного, — подхватил другой. — Пан Бабинич едет!

Между тем всадники приблизились в темноте, они были уже в нескольких десятках шагов.

— Кто там? — крикнул Тизенгауз.

— Свои! Не стрелять! — раздался голос Кмицица.

В ту же минуту он появился перед Тизенгаузом и, не узнав его в темноте, спросил:

— Где же король?

— Там, позади, у входа в ущелье! — ответил, успокоившись, Тизенгауз.

— Кто это говорит? Не разгляжу впотьмах.

— Тизенгауз! А что это за штука большая такая перед седлом у тебя?

С этими словами он показал Кмицицу на темный предмет, переброшенный через седло.

Но пан Анджей ничего не ответил, проехал мимо. Доскакав до королевской свиты, он узнал короля, так как у входа в ущелье было гораздо светлей.

— Государь! — крикнул он. — Путь свободен!

— Шведов уже нет в Живце?

— Они отошли к Вадовицам. Это был отряд немецких наемников. Да вот один из них тут у меня, допроси его сам, государь!

И пан Анджей неожиданно с такой силой швырнул наземь переброшенный через седло предмет, что стон пошел в ночной темноте.

— Что это? — удивился король.

— Это? Рейтар!

— Господи! Да ты и языка привез? Как же ты его добыл? Рассказывай!

— Государь! Когда ночью волк крадется за отарой овец, одну овцу ему легко унести. Да сказать по правде, не впервой это мне.

Король руками развел.

— Вот это солдат так солдат! Нет, вы только подумайте! Да с такими слугами я могу хоть в самую гущу шведов ехать!

Тем временем все окужили рейтара, который не поднимался с земли.

— Допроси его, государь,— не без кичливости сказал Кмициц.— Хоть не знаю я, сможет ли он отвечать, придушили мы его немного, да и попытать тут его нечем.

— Влейте ему горелки в глотку,— приказал король.

Это лекарство лучше всякого огня помогло, рейтар мигом пришел в себя и обрел дар речи. Прижав ему к горлу острие рапиры, Кмициц велел говорить чистую правду.

Пленник показал, что он состоит в полку полковника Ирлегорна, что они узнали о проезде короля и напали на драгун под Сухой, но, получив сокрушительный отпор, вынуждены были отступить в Живец, а уж оттуда, согласно полученному приказу, направились на Вадовицы и Краков.

— А в горах нет других шведских отрядов? — спрашивал по-немецки Кмициц, сильнее прижимая острие к горлу рейтара.

— Может, и есть,— прерывистым голосом отвечал рейтар.— Генерал Дуглас разослал повсюду разъезды, но все они отступают, на них в ущельях нападают мужики.

— А под Живцем вы одни были?

— Одни.

— И вы знаете, что польский король уже проехал?

— Он проехал с теми драгунами, что столкнулись с нами в Сухой. Мы его видали.

— Почему же вы его не преследовали?

— Горцев боялись.

Кмициц обратился к королю на польском языке:

— Государь, путь свободен, да и ночлег в Живце найдется, шведы сожгли только часть домов.

Но Тизенгауз, человек недоверчивый, вот что говорил в это время войничкому каштеляну:

— Либо великий он воитель с сердцем чистым, как золото, либо коварнейший изменник. Ведь с этим языком, вельможный пан, может статья, все одно притворство, начавши с того, что достал он будто бы его,

и кончая этим допросом. А что, если все это подстроено? Что, если шведы притаились в Живце? Что, если король поедет туда и попадет в западню?

— Оно бы лучше проверить,— промолвил войницкий каштелян.

Тизенгауз повернулся к королю и громко сказал:

— Позволь мне, государь, сперва съездить в Живец и проверить, правду ли говорят пан Бабиниц и этот немец.

— Ну, что ж! Позволь ему съездить, государь! — воскликнул Кмициц.

— Поезжай,— приказал король,— но мы тоже потихоньку тронемся, а то холодно.

Тизенгауз помчался во весь опор, а королевская свита стала медленно подвигаться за ним. Король повеселел, снова был в хорошем расположении духа и через некоторое время сказал Кмицицу:

— С тобой, как с соколом, можно на шведов охотиться, бьешь на лету!

— Так оно и было,— ответил пан Анджей.— Коль пожелаешь, государь, поохотиться, сокол всегда готов.

— Расскажи, как ты его достал?

— Пустое это дело, государь! В походе человек двадцать всегда плетется в хвосте, а этот отстал на добрую сотню шагов. Подъехал я поближе, а он думал, это свой, не поостерегся, ну, ахнуть не успел, как я его схватил, зажавши рот, чтоб не кричал.

— Ты говорил, не впервой тебе это. Неужто и раньше случалось?

Кмициц рассмеялся.

— Э, государь, и не такое бывало! Ты только прикажи, я снова подскачу, догоню их,— кони-то у них притомились,— и еще одного достану, да и Кемличам прикажу схватить.

Некоторое время они ехали в молчании; но вот раздался конский топот, и к ним подскакал Тизенгауз.

— Государь! — сказал он.— Путь свободен, и ночлег готов.

— Ну не говорил ли я?! — воскликнул Ян Казимир.— Зря вы все растревожились! А теперь едем, едем, пора уж нам и отдохнуть!

Все весело тронулись резвой рысью, и через час усталый король уснул мирным сном на собственной земле.

В тот же вечер Тизенгауз подошел к Кмицицу.

— Ты уж меня прости,— сказал он,— я ведь от любви к королю тебя подозревал.

Но Кмициц не подал ему руки.

— Нет, нет! — ответил он.— Изменником и предателем ты выставлял меня.

— Я бы и не то сделал, просто пулю в лоб тебе пустил бы,— ответил ему Тизенгауз.— Но уверился я, что ты человек честный и любишь короля, вот и подаю тебе руку. Хочешь, подай и ты мне свою руку, не хочешь, не надо! Соперничать с тобою я бы хотел только в любви к королю. Но и в другом не побоюсь стать твоим соперником.

— Вот ты как думаешь? Гм! Может статься, ты и прав. Да вот беда, сердит я на тебя.

— Так перестань сердиться. Прямой ты богатырь! Ну давай поцелуемся, чтоб ко сну не отойти с ненавистью в сердце.

— Ин быть по-твоему! — сказал Кмициц.

И они упали друг другу в объятия.

ГЛАВА XXIV

Король со свитой добрался до Живца поздней ночью и в местечке, перепуганном недавним налетом шведов, отряд почти совсем не привлек к себе внимания. В замок, давно уже разоренный и полусожженный шведами, король не стал заезжать, остановился у местного ксендза. Кмициц пустил слух, что это посол цесаря следует из Силезии в Краков.

На другой день отряд направился к Вадовицам и, только отъехав довольно далеко от Живца, свернул на Сухую. Оттуда он должен был проехать через Кшечонов до Иорданова, затем до Нового Тарга и дальше до самого Чорштына, если только в окрестностях его не окажется шведских разъездов; если же они окажутся в Чорштыне, решено было свернуть в Венгрию и по венгерской земле добираться до самой Любовли. Король надеялся, что великий коронный маршал, располагавший такими силами, каких не было и у иного владетельного князя, обезопасит дороги и сам выедет ему навстречу. Одно только могло помешать маршалу: он не

знал, по какой дороге поедет король; но среди горцев было немало верных людей, которые всегда были готовы доставить ему секретные слова. Их и в тайну не надо было бы посвящать, стоило только сказать, что речь идет о службе королю, и они охотно пошли бы. Народ этот душой и телом был предан королю; бедный, полудикий, совсем почти не возделывавший своей тощей земли и живший скотоводством, он был, однако, набожен и ненавидел еретиков. Когда разнесся слух о взятии Кракова и осаде Ченстоховы, куда горцы обычно хаживали на богомолье, они первые схватились за длинные рукояти своих топориков и двинулись с гор. Правда, генерал Дуглас, прославленный воитель, у которого были и пушки и ружья, легко рассеял их на равнине, где они не привыкли сражаться, но сами шведы с большой опаской отваживались заходить в их горные селенья, где настичь их было немыслимо, зато легко было потерпеть поражение. Несколько небольших отрядов, рискнувших неосмотрительно углубиться в лабиринт горных ущелий, исчезли без следа.

И теперь весть о проезде короля с войском сделала свое дело: все горцы, как один, поднялись на его защиту, положив сопровождать его со своими топориками хоть на край света. Если бы только Ян Казимир открыл им, кто он, его в одну минуту окружили бы тысячи полудиких «газд»¹, но он справедливо рассудил, что молва об этом тотчас разнесется по всей округе и шведы могут послать навстречу ему крупные силы, а потому предпочел пробираться вперед, не узнанный даже горцами.

Однако отряд везде находил надежных проводников, которым довольно было сказать, что вести надо епископов и панов, бегущих от мести шведов. Через снега и скалы, стремнины и перевалы вели горцы отряд им одним известными тропами, такими крутыми и недоступными, что, казалось, и птица не пролетит.

Не однажды лежали тучи у ног короля и вельмож, а если небосвод был безоблачен, их взор устремлялся в безбрежный, одетый снежной пеленою простор, ка-

¹ Хозяев (*польск. и укр.*).— Так в Карпатах и Подгалье называют крестьян, владельцев дворов.

залось, такой же широкий, как широка была вся страна; не однажды углублялись они в заметенные снегами, темные ущелья, где разве только дикий зверь мог найти приют. Но они обходили таким образом места, доступные врагу, и сокращали свой путь; случалось, селенье, до которого они думали дойти разве через полдня, выросло внезапно у их ног, а там, пусть в курной хате, пусть в черной избенке, ждали их приют и отдых.

Король был по-прежнему весел, ободрял других, чтобы легче было им переносить небывалые тяжести путешествия, и ручался, что, пробиваясь вперед по таким дорогам, они наверняка столь же благополучно, сколь и неожиданно доедут до Любовли.

— Пан маршал и не чаёт, а мы нагрнем как снег на голову,— повторял он.

А нунций говорил:

— Что значит возвращение Ксенофонта по сравнению с нашим странствием в тучах?

— Чем выше мы поднимемся, тем ниже упадет шведское счастье,— твердил король.

Тем временем они доехали до Нового Тарга. Кажется, все опасности уже позади; но горцы твердили, что какое-то чужое войско рыщет в окрестностях Чорштына. Король подумал, что это, может, немецкие наемники коронного маршала, у которого было два рейтарских полка, а может, горцы принимают за вражеский разъезд и собственных его драгун, высланных вперед? В Чорштыне стоял гарнизон краковского епископа, и голоса поэтому разделились: одни хотели ехать по большой дороге до Чорштына, а оттуда вдоль самой границы пробираться до Спижской земли: другие же советовали все-таки свернуть в Венгрию, которая вдавалась тут клином в польские земли, доходя до самого Нового Тарга, и снова пробираться по скалам и ущельям с проводниками, которые знали даже самые опасные перевалы.

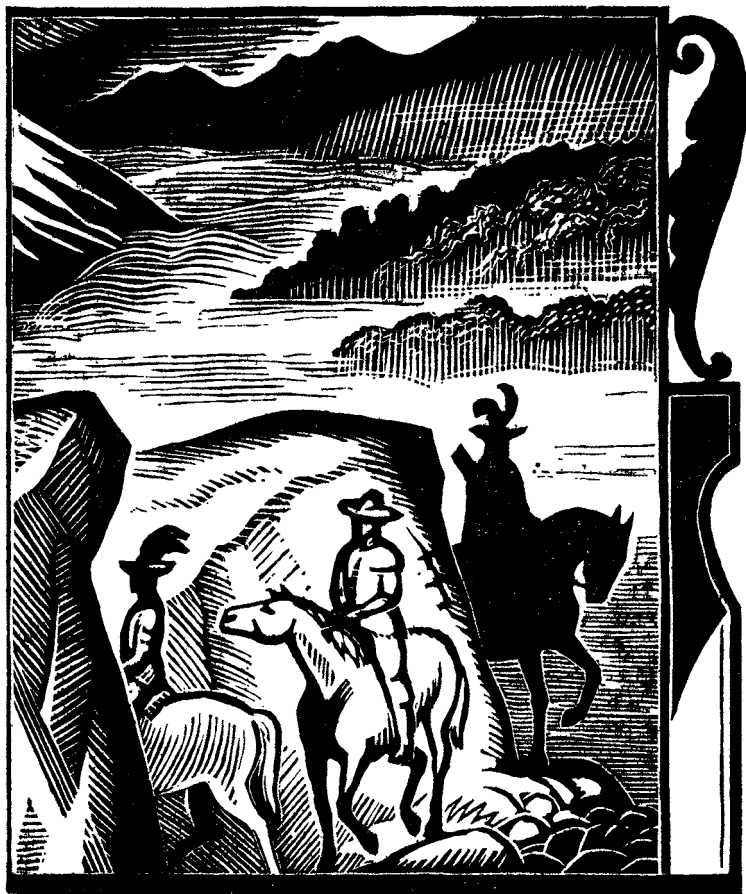
Победили последние, ибо в этом случае почти исключалась возможность встречи со шведами, да и королю нравилась «орлиная» тропа сквозь тучи и пропасти.

Выйдя из Нового Тарга, отряд отклонился несколько на юго-запад, оставив по правую руку Белый



Дунаец. Сперва дорога шла по довольно открытой и широкой местности, но по мере того, как отряд двигался вперед, горы все сходились и долины становились все тесней. Лошади едва подвигались вперед. Порою приходилось спешиваться и вести их под уздцы, но и тогда они упирались, прядали ушами, раздували дымящие храпы и вытягивали шеи к пропастям, откуда, казалось, глядела сама смерть.

Горцам, привычным к крутизне, часто казались хорошими такие тропы, где у людей непривычных



все плыло перед глазами и шумело в голове. Отряд вступил наконец в скалистое ущелье, длинное, прямое и такое узкое, что три человека с трудом ехали рядом.

Как бесконечный коридор, тянулось это ущелье. Две высокие горы поднимались справа и слева. Кое-где гребни их как бы расступались, и склоны занесенные сугробами, окаймленные вверху темным бором, уже не были так круты. Ветром вымело снег со дна этой стремнины, и конские копыта цокали по каменистому ложу. Но в эту минуту ветра не было и такая немая царила тишина, что

от нее звенело в ушах. Только в вышине, там, где между лесистыми гребнями проглядывала синяя полоса неба, порою с криком пролетали, хлопая крыльями, черные птицы.

Отряд остановился на отдых. Пар шел от потных коней, да и люди были утомлены.

— Это Польша или Венгрия? — спросил через минуту король у проводника.

— Это еще Польша.

— А почему мы не свернули сразу в Венгрию?

— Нельзя. Подальше будет поворот, потом водопад, а уж за водопадом тропа выведет нас на большую дорогу. Там мы свернем, пройдем еще одно ущелье, и тогда уж будет венгерская сторона.

— Вижу я, лучше было нам сразу поехать по большой дороге, — сказал король.

— Тише! — крикнул внезапно горец.

И, подскакав к скале, приложил к ней ухо.

Все впились в него глазами, он же мгновенно переменялся в лице.

— За поворотом войско идет от потока. Боже! Уж не шведы ли? — воскликнул он.

— Где? Как? Откуда? — посыпались со всех сторон вопросы. — Ничего не слышно!

— Там снег лежит. Господи! Да они уж близко! Вот-вот покажутся!

— А может, это люди пана маршала? — произнес король.

Кмициц в ту же минуту тронул коня.

— Поеду погляжу! — сказал он.

Кемличи с места взяли за ним, как охотничьи собаки за ловцом; но не успели они тронуть лошадей, как на повороте, в сотне шагов, показались всадники.

Кмициц поглядел... и затрепетал от ужаса.

Это были шведы.

Они появились так близко, что отступить было поздно, тем более что кони королевской свиты уже притомились. Оставалось только либо пробиться, либо погибнуть или сдаться в плен. Мгновенно понял это отважный король и схватился за рукоять шпаги.

— Прикрыть короля и назад! — крикнул Кмициц.

Тизенгауз с двумя десятками людей мигом вынесся

вперед; но Кмициц вместо того, чтобы присоединиться к ним, мелкой рысцой тронулся навстречу шведам.

На нем был тот самый шведский мундир, который он надел, уходя из монастыря, поэтому шведы не догадались, кто он. Увидев, что навстречу подвигается всадник в таком наряде, они, верно, весь отряд приняли за шведский разъезд и не прибавили шагу, только капитан, который вел их, выехал вперед.

— Что за люди? — спросил он по-шведски, глядя на грозное и бледное лицо приближающегося рыцаря.

Кмициц наехал на него, так что они чуть не тронули друг друга коленями, и, не ответив ни слова, выпалил ему в самое ухо из пистолета.

Крик ужаса вырвался из груди рейтар, но его заглушил голос пана Анджея:

— Бей!

И как обвал, сорвавшись с горы и катясь в пропасть, крушит все на своем пути, так обрушился он на первую шеренгу, смерть неся врагу и погибель. Два молодых Кемлича, словно два медведя, ринулись вслед за ним в свалку. Как молоты, застучали их сабли по шлемам и панцирям, и в ответ тотчас раздались стоны и крики.

В первую минуту испуганным шведам показалось, что это три великана напали на них в диком горном ущелье. Первые тройки отпрянули в замешательстве от грозного рыцаря, а так как последние шеренги только выезжали из-за поворота, середина отряда была расстроена и смята. Кони кусались и становились на дыбы. Солдаты из дальних троек не могли стрелять, не могли прийти на помощь передним, погибавшим под беспощадными ударами трех великанов. Напрасно пытались они сомкнуть ряды, напрасно наставляли остря, — великаны ломали сабли, опрокидывали людей и лошадей. Кмициц вздыбил своего коня так, что копыта его повисли над головами рейтарских скакунов, а сам в неистовстве рубил, колол. Кровь залила ему лицо, глаза сверкали, все мысли в нем погасли, осталась только одна, что погибнет он, но шведов задержит. В диком порыве силы его утроились, движения стали подобны движениям рыси, неистовы, молниеносны. Нечеловеческими ударами сабли крушил он людей, как буря крушит деревца. Молодые Кемличи шли следом за ним, а старик, поотстав, то и дело совал между сыновьями рапи-

ру, быстро, как змея высовывает жало, и выдергивал ее окровавленную.

Тем временем суматоха поднялась около короля. Как и под Живцем, нунций держал за повод его коня, за другой повод схватился краковский епископ, и они изо всей силы тянули скакуна назад, а король шпорами посылал его вперед, так что конь вставал на дыбы.

— Пустите! — кричал король. — Ради бога, пустите! Мы прорвемся!

— Король, подумай об отчизне, — кричал краковский епископ.

И Ян Казимир не мог вырваться из их рук, тем более что впереди дорогу ему преграждал молодой Тизенгауз со всеми своими людьми. Он не пошел на помощь Кмицицу, решил пожертвовать им, только бы спасти короля.

— Ради Христа! — кричал он в отчаянии. — Те полягут сейчас! Спасайся, государь, куда есть еще время! Я шведов тут задержу!

Но король был упрям и в гневе ни с кем и ни с чем не считался. Еще сильнее вздыбив шпорами скакуна, он не пятился назад, а, напротив, подвигался вперед.

Время между тем уходило, и каждая минута промедления была смерти подобна.

— Я хочу погибнуть на своей земле! Пустите! — кричал король.

К счастью, по причине тесноты лишь немногие шведы могли сшибаться с Кмицицем и Кемличами, и те все еще держались. Но силы их слабели. Уже несколько рапир вонзилось в Кмицица, он истекал кровью. Глаза его застилал туман. Дыхание замирало в груди. Он почувствовал приближение смерти и хотел только дорожке продать свою жизнь. «Ну же еще хоть одного!» — повторял он про себя и обрушивал острое железо на голову или плечо ближайшего рейтара и снова поворачивался к другому. А шведам, видно, после первых минут испуга и замешательства стыдно стало, что четыре человека так долго сдерживают их натиск, и они навалились с яростью; одним напором отбросили они храбрцов и теснили их все стремительнее и сильнее.

Но тут конь Кмицица пал, и волна накрыла всадника.

Кемличи еще некоторое время бросались на шведов, подобно пловцам, которые, видя, что тонут, селятся

все же держать голову над морскою хлябью; но вскоре и они погрузились в пучину....

Тогда шведы вихрем понеслись к королевской свите.

Тизенгауз со своими людьми бросился на них, и они сшиблись так, что гром прокатился по горам.

Но что могла значить горсточка Тизенгауза против сильного разезда, насчитывавшего около трехсот сабель!

Сомнений больше не было: час гибели или плена неминуемо пробьет для короля и его свиты.

Предпочтя, видно, гибель, Ян Казимир, высвободил наконец поводья из рук епископов и поскакал к Тизенгаузу.

Внезапно он остановился как вкопанный.

Случилось нечто необычайное. Казалось, сами горы пришли на помощь законному королю и государю.

Неожиданно сотряслись стены ущелья, словно заколебалась земля, словно бор, росший в вышине, пожелал принять участие в бою, и стволы деревьев, льдины и снежные глыбы, камни и обломки скал с ужасающим треском и грохотом покатались на шведские шеренги, зажатые на дне стремнины, и в ту же минуту нечеловеческий вой раздался в вышине с обеих сторон ущелья.

Внизу, во вражеских рядах, смятение поднялось неопишное. Шведам показалось, что это горы обрушились и валятся на них. Послышались стоны и вопли раздавленных, отчаянные крики о помощи, визг лошадей, грохот и пронзительный звон скальных обломков от ударов о панцири.

В тесную кучу смешались наконец и покатались люди и кони, обезумев от ужаса, стоная и давя друг друга.

И всё крушили их камни и обломки скал, неумолимо валясь на бесформенную уже грудку тел.

— Горцы! Горцы! — закричали в королевской свите.

— В топоры их, собачьих детей! — слышались голоса сверху.

И в ту же минуту на гребнях скал показались длинноволосые головы в круглых кожаных шляпах, затем корпусы, и сотни странных фигур ринулись вниз по заснеженным склонам.

Темные и белые бурки, поднимаясь на плечах, придавали им сходство со страшными хищными птицами. В мгновение ока сбежали они со склона; свист топори-

ков зловеще вторил теперь диким их крикам и стонам добываемых шведов. Сам король хотел остановить резню, немногие, оставшиеся в живых рейтары падали на колени и, поднимая безоружные руки, молили о пощаде. Ничто не помогло, ничто не удержало мстительных топоров, и спустя час в ущелье не осталось ни одного живого шведа.

Неумолимые горцы побежали тогда к королевской свите.

С изумлением глядел нунций на этих неведомых ему людей, рослых, сильных, одетых порой одними овечьими шкурами, залитых кровью и потрясающих своими еще дымящими топориками.

При виде епископов горцы обнажили головы. Многие встали на снегу на колени.

Краковский епископ возвел горé увлажнившиеся слезами глаза.

— Вот помощь, ниспосланная богом, вот промысл господень, хранящий короля.— Затем он обратился к горцам и спросил: — Кто вы такие?

— Мы здешние! — ответили в толпе.

— Знаете ли вы, кому пришли на помощь? Вот король ваш и повелитель, которого вы спасли!

Крик поднялся в толпе при этих словах: «Король! Король! Господи Иисусе! Король!» Верные горцы стали тесниться, пробиваясь к королю. Со слезами окружили они его, со слезами целовали ему ноги, стремяна, даже копыта его коня. Такая буря восторга поднялась, такой крик и рыдания, что епископы, опасаясь за королевскую особу, принуждены были укротить порыв горцев.

А король стоял среди верного своего люда, как пастырь среди овец, и крупные, светлые, как жемчуг, слезы катились по его лицу.

Но вот лицо его прояснилось, словно какая-то перемена внезапно произошла в его душе, словно новая мысль, рожденная самим небом, блеснула в его уме, и он манием руки показал, что хочет говорить, а когда все затихли, сказал громовым голосом, так что вся толпа услышала его:

— Боже, руками простых людей спасение мне ниспославший, клянусь тебе страстями и смертью сына твоего, что отныне я им буду отцом!

— Аминь! — повторили епископы.

И некоторое время длилось торжественное молчание, потом раздался новый взрыв радости. Все стали спрашивать горцев, откуда взялись они в этом ущелье, как посчастливилось им в самую пору прийти на помощь королю.

Оказалось, крупные разъезды шведов рыскали подле Чорштына и, не занимая замка, все как будто кого-то искали и выжидали. Слыхали горцы и о том, что шведы дали бой какому-то войску, в котором будто бы находился сам король. Тогда-то и положили они заманить шведов в засаду, подослали им своих проводников, и те умышленно завлекли шведский отряд в это ущелье.

— Мы видели,— рассказывали горцы,— как четыре рыцаря ударили на этих псов, хотели на помощь прийти, да побоялись прежде времени спугнуть собачьих детей.

Тут король схватился за голову.

— Матерь божия! — крикнул он.— Найти мне Бабинича! Надо хоть похоронить его с честью! И этого человека, первым пролившего за нас кровь, почитали изменником!

— Виноват, государы! — сказал Тизенгауз.

— Найти, найти его! — кричал король.— Я не уеду отсюда, покуда не взгляну в его лицо и не прощусь с ним!

Солдаты бросились с горцами туда, где завязался бой, и вскоре из-под груды конских и человеческих трупов извлекли пана Анджея. Лицо его было бледно и все залито кровью, сгустки застыли на усах, глаза были закрыты; панцирь весь искорежен ударами мечей и копыт. Но он-то и спас молодого рыцаря, не дал его растоптать. Солдат, который поднял пана Анджея, услышал тихий стон.

— Боже! Да он жив! — воскликнул он.

— Снять с него панцирь! — закричали другие.

Тотчас перерезали ремни.

Кмициц вздохнул глубже.

— Дышит! Дышит! Жив! — повторило несколько голосов.

Некоторое время пан Анджей лежал недвижимо, затем открыл глаза. Тотчас один из солдат влил ему в рот немного водки, другие приподняли его за плечи.

В эту минуту подскакал сам король, до слуха которого донесся общий крик.

Солдаты подтащили к нему пана Анджея, который валился у них из рук. Однако при виде короля память на мгновение вернулась к нему, детская улыбка озарила его лицо, и бледные губы явственно прошептали:

— Государь, король мой, ты жив... ты свободен...

И слезы блеснули у него на ресницах.

— Бабинич! Бабинич! Чем вознагражу я тебя! — кричал король.

— Я не Ба-би-нич, я Кми-циц! — прошептал рыцарь.

И с этими словами как мертвый повис на руках у солдат.

ГЛАВА XXV

Горцы заверили короля, что на дороге в Чорштынский замок не слышно больше ни о каких шведских разъездах, и королевская свита, свернув к этому замку, вскоре выехала на большую дорогу, где путешествие не было уже таким тяжелым и утомительным. Ехали под песни горцев, при кликах: «Король едет! Король едет!» По дороге к ним присоединялись все новые толпы, вооруженные цепями, косами, вилами и ружьями, так что вскоре Ян Казимир выступал уже во главе крупного отряда; не беда, что люди были необученные, зато они готовы были в любую минуту двинуться с ним на Краков и пролить за него свою кровь. Под Чорштыном короля окружало уже свыше тысячи «газд» и полудиких пастухов.

Стали прибывать и шляхтичи из Нового и Старого Сонча. Они донесли, что в то же самое утро польский полк под начальством Войнилловича разбил под Новым Сончем большой шведский разъезд и шведы почти все погибли или утонули в речке Каменной и в Дунайце.

Так оно на самом деле и было, ибо вскоре на большой дороге замелькали значки, а затем подъехал сам Войниллович с полком брацлавского воеводы.

С радостью приветствовал король славного рыцаря, которого давно уже знал, и среди общего шума и ликования тот последовал с королевской свитой на Спиж. А тем временем гонцы умчались вперед дать знать маршалу, что король приближается и надо приготовиться к приему.

Весело и шумно протекало дальнейшее путешествие. Прибывали все новые и новые толпы. Выезжая из Силезии, нунций боялся и за собственную жизнь, и за жизнь короля, а теперь, когда миновали опасности, встретившие их в начале пути, он был вне себя от радости, ибо уверился в том, что король, а с ним и церковь будут торжествовать победу над еретиками. Епископы разделяли его радость, а светские сановники твердили, что весь народ от Балтики до Карпат готов, так же как эти вот толпы, взяться за оружие. Войниллович уверял, что большая часть страны уже поднялась.

Он сообщил королю новости, рассказал о том, какого страху задали поляки шведам, которые теперь не смеют нос показать из крепостных стен, оставляют и жгут даже небольшие замки, а сами укрываются в сильных крепостях.

— Войско одной рукой в грудь себя бьет, каючись, а другой уже шведов бить начинает,—говорил он.—Вильчковский, поручик гусарского полка вашего величества, уже поблагодарил шведов за службу, да как: под Закшевом порубил отряд полковника Аттенберга, чуть не всех искрошил. Я с божьей помощью прогнал шведов из Нового Сонча, и большую победу бог мне послал, потому не знаю, унес ли кто из них ноги. Пан Фелициан Коховский с навоёвской пехотой очень мне помог; так мы отплатили им за тех драгун, которых они два дня назад потрепали.

— Каких драгун? — спросил король.

— Да тех, что ты, государь, из Силезии выслал вперед. Шведы внезапно напали на них и хоть не смогли рассеять, потому драгуны стойко держались, но сильный нанесли им урон. А мы чуть со страху не умерли, думали, ты, государь, с ними, и боялись, как бы с тобой не приключилась беда. Сам бог осенил тебя, что выслал ты вперед драгун. Шведы тотчас о них прознали и заняли все дороги.

— Слышишь, Тизенгауз? — сказал король.— Это говорит искушенный воитель.

— Слышу, государь,—ответил молодой рыцарь.

— Ну а еще что? — обратился король к Войнилловичу.— Что еще? Рассказывай!

— Да уж что знаю, того скрывать не стану. В Великой Польше Жегоцкий и Кулеша бьют шведов. Пан Вар-

щицкий выгнал Линдорма из Пилецкого замка, Данков устоял, Лянцкорона в наших руках, в Подляшье, под Тыкоцином, пан Сапега что ни день собирает новые силы. Гибель грозит уже шведам в Тыкоцинском замке, а с ними погибнет и князь воевода виленский. Гетманы из Сандомира уже двинулись в Люблинское воеводство, открыто показав, что они порывают со шведами. С ними и черниговский воевода, и все собираются к ним, в ком душа жива и кто может держать саблю в руках. Толкуют, будто должны они заключить союз против шведов, а руку к тому и пан Сапега приложил с киевским каштеляном.

— Стало быть, и киевский каштелян сейчас в Люблинском воеводстве?

— Да, государь! Но он нынче здесь, завтра там! Мне тоже к нему надо идти, да вот не знаю, где искать его.

— Слух о нем повсюду пройдет,— промолвил король,— не надо будет тебе дорогу спрашивать.

— И я так думаю, государь,— сказал Войниллович.

В таких разговорах коротали они путешествие. Небо тем временем совсем прояснело, ни одна тучка не омрачала окоем, снег сверкал в лучах солнца. Спижские горы рисовались перед всадниками, величественные и радостные, и сама природа, казалось, улыбалась своему господину.

— Дорогая отчизна! — воскликнул король.— Когда б я мог вернуть тебе мир, прежде чем кости мои лягут на вечный покой в твою землю!

Всадники поднялись на высокий холм, с которого взорам их открылся далекий вид, ибо у подножия простиралась обширная равнина. Далеко-далеко увидели они словно бы движущийся человеческий поток.

— Войско пана маршала идет! — крикнул Войниллович.

— А что, если шведы? — сказал король.

— Нет, государь! Не могут шведы идти с юга, со стороны Венгрии. Я вижу гусарские значки.

Через минуту лес копий показался в голубой дали, пестрые значки колыхались, как цветы на ветру; повыше, словно языки пламени, сверкали копейные жала. Солнце играло на панцирях и шлемах.

Радостные клики раздались в толпе, сопровождавшей Яна Казимира; их слышали издалека, и кони, всадники, знамена, бунчуки и значки понеслись быстрее,— видно,

люди пустились вскачь, и все явственней рисовались полки и росли на глазах с непостижимой быстротой.

— Остановимся здесь, на этом холме! Тут подождем пана маршала! — сказал король.

Свита остановилась; навстречу все быстрее неслись всадники.

Минутами они скрывались из глаз за поворотом дороги или за невысокими холмами и скалами, рассеянными по равнине, но вскоре снова вырастали перед глазами, словно змея с чудной переливчатой чешуей. Вот они уже подскакали к холму и в нескольких сотнях шагов убавили ходу. Уж и взором их можно было окинуть, насладиться зрелищем. Впереди шла гусарская хоругвь в богатых доспехах, собственная хоругвь маршала, такая великолепная, что любой король мог бы ею гордиться. Одна горская шляхта служила в этой хоругви, молодцы как на подбор, в панцирях ясного железа с насечкою желтой меди, с ченстоховской божьей матерью на нагрудных знаках, в круглых шлемах с гребнями и железными наушниками; за плечами ястребиные и орлиные крылья, на плечах, по обычаю, тигровые и леопардовые, а у начальников волчьи шкуры.

Лес зеленых с чернью значков колыхался над ними; впереди ехал поручик Виктор, за ним янычарская капелла с колокольцами, литаврами, бубнами и пищалками, дальше стена закованных в броню солдат и коней.

Умиллось сердце короля при виде этой великолепной картины. Вслед за гусарами текла легкая хоругвь, еще более многочисленная, с саблями наголо и луками за спиной; затем три сотни пестрых, как маки в цвету, надворных казаков, вооруженных копьями и самопалами; за ними две сотни драгун в алых колетах; а там челядь магнатов, прибывших уже в Любовлю, разряженная, как на свадьбу: драбанты, скороходы, гайдуки, стремянные и янычары, личные слуги высоких особ.

Переливаясь всеми цветами радуги, с шумом и гамом ехало это войско под ржание коней, лязг оружия, гром барабанов, грохот бубнов, звон литавр и при таких громких кликах, что казалось, снег от них обрушится с гор. За войском виднелись кареты и коляски, в которых ехали, видимо, светские и духовные сановники.

Но вот войско построилось в два ряда по обочинам дороги, а посредине показался на белом как кипень

коне сам коронный маршал Ежи Любомирский. Вихрем летел он вдоль этой улицы, а за ним, сияя в золоте, двое стремянных. Подъехав к холму, маршал соскочил с коня, бросил поводья одному из стремянных, а сам пеший стал подниматься на холм к стоявшему там королю.

Шапку он снял и, надев ее на рукоять сабли, выступал с обнаженной головой, опираясь на длинный топорик, весь осыпанный перлами. На нем был польский бранный доспех: на груди литого серебра панцирь, по краям тоже осыпанный самоцветами и отполированный так, что казалось, маршал несет на груди солнце; пурпурный плащ венецийского бархата с лиловым отливом был переброшен через левое плечо. У горла стянут он был шнуром на брильянтовых застежках и весь был расшит брильянтами; такой же брильянтовый султан колыбался на шапке, и так сверкали, играя и переливаясь, камня, что маршал шествовал словно в сиянии и блеском слепил глаза.

Муж это был в цвете лет, с величественной осанкой. Голова его была подбрита чуприной, редкие, седоватые волосы прядями уложены на лбу, тонкие кончики усов цвета воронова крыла свисали вдоль щек. Высокий лоб и римский нос были красивы; но толстые щеки и маленькие красные глазки портили впечатление. Важность необыкновенная читалась в этом лице, но вместе с тем суетность и неслыханная спесь. Легко было угадать, что одно лишь желанье владеет этим магнатом: вечно приковывать к себе взоры всей страны, мало того, всей Европы. Так оно на самом деле и было.

Везде, где только Любомирскому не удавалось занять самое выдающееся место, где славу и заслуги он мог только разделить с другими, уязвленная его гордыня готова была восстать и погубить, разрушить все начинания, даже если речь шла о спасении отчизны.

Это был удачливый и искусенный воитель, но и в военном искусстве многие превзошли его, да и все таланты маршала, пусть и незаурядные, никак не отвечали спеси его и честолюбию. Потому-то вечно снедала его душу тревога, потому-то родилась в ней та подозрительность и та зависть, которые позже довели его до того, что для Речи Посполитой он стал опаснее даже страшного Януша Радзивилла. Дух тьмы, обитавший в Януше, был вместе с тем великим духом, не отступавшим ни

перед чем и ни перед кем. Януш жаждал короны и сознательно шел к ней по трупам и обломкам отчизны. Любомирский принял бы корону из рук шляхты, когда бы та возложила ее на его главу; но душа у него была мелкая, и не смел он ясно и недвусмысленно потребовать этого. Радзивилл был одним из тех, кого неудачи низводят в ряды злодеев, успех же делает полубогом; Любомирский был великим смутьяном, всегда готовым во имя своей уязвленной гордыни разрушить дело спасения отчизны, ничего взамен не создав; он даже себя вознести не смел и не умел. Радзивилл умер, совершив большой грех, он же — причинив большой вред.

Но теперь, когда, весь в золоте, бархате и самоцветах, он шествовал навстречу королю, спесь его была удовлетворена полною мерой. Это он первым из магнатов принимал своего короля на своей земле; он первым брал его как бы под свое покровительство, он должен был возвести его на поверженный трон, он должен был изгнать врага, на него король и вся страна возлагали все надежды, к нему были прикованы все взоры. Когда верная служба тешила его гордыню и льстила его самолюбию, он и впрямь готов был на жертву и на подвиг, готов был переступить всякие границы в изъявлении верноподданнических чувств. Дойдя до середины склона, он сорвал с рукояти шапку перед стоявшим на холме королем и с поклонами стал мести снег брильянтовым султаном.

Король тронул своего коня и, спустившись немного по склону, придержал его, желая спешиться и поздороваться с маршалом. Видя это, Любомирский подбежал к нему, чтобы подержать стремя, и в ту же минуту сорвал плащ со своих плеч, чтобы, по примеру английских придворных, бросить его к ногам повелителя.

Растроганный король раскрыл объятия и как брата прижал маршала к груди.

Минуту они оба слова не могли вымолвить; все войско, шляхта и простой народ зашумели, увидев эту величественную картину, и тысячи шапок взлетели на воздух; грянули разом мушкеты, самопалы, пищали, далекими басами взревели пушки в Любовле, так что горы задрожали и пробудилось эхо, и гулкие отзвуки его отдались в горах, отразившись от темной стены лесов, от скал и стремнин, и полетели с вестью к дальним горам, к дальним скалам.

— Пан маршал! — воскликнул король.— Тебе мы будем обязаны возрождением королевства!

— Государь! — отвечал Любомирский.— Достояние мое, жизнь мою и кровь, все слагаю я к твоим ногам!

— *Vivat! Vivat Joannes Casimirus rex!*¹ — гремели клики.

— Да здравствует король, наш отец!—кричали горцы.

Тем временем сановники, ехавшие с королем, окружили маршала; но он не дал им подойти к королю. После первых приветствий Ян Казимир снова сел на коня, а маршал, не зная, как еще выказать свое радушие и какие еще почести оказать королю, схватил под уздцы коня и, при оглушительных кликах, пеший повел его между рядами войск к раззолоченной карете, запряженной восьмеркой серых в яблоках, и усадил короля в карету вместе с папским нунцием Видоном.

Епископы и вельможи расселись по другим каретам, и поезд медленно тронулся в Любовлю. Маршал ехал у окна королевской кареты, надменный и самодовольный, будто его провозгласили уже отцом отечества.

С двух сторон плотными рядами шли войска и пели песню:

Бей же шведов, бей,
Крови не жалей,
Головы им с плеч
Сноси, взявши меч.

Ты пытай, пытай,
На кол их сажай,
Огнем припеки
И секи, секи.

Ты круши, круши,
Всех их сокруши,
И руби, руби,
Всех перегуби.

Будет им конец,
Коль ты молодец².

Увы, во всеобщем ликовании и восторге никто и не думал, что со временем те же войска Любомирского, под-

¹ Да здравствует! Да здравствует Ян Казимир, король! (*лат.*)

² Эту песню, под названием «Припевка панам французам», пели под Монтвами.— *Прим. автора.*

няв мятеж против законного своего короля и повелителя, будут петь эту же песню, заменив в ней только шведов французами.

Но до этого было еще далеко. В Любовле ревели пушки, салютуя королю так, что башни и зубцы стен окутались дымом; колокола звонили, как на пожар. Двор замка, где король вышел из кареты, крыльцо и ступени дворца были устланы красным сукном. В вазах, привезенных из Италии, курились восточные благовония. Большую часть сокровищ Любомирских, золотую и серебряную утварь, шпалеры, гобелены и ковры, искусно вытканные руками фламандцев, статуи, часы, выложенные камнями поставцы, перламутровые и янтарные столики,— маршал давно уже вывез в Любовлю, чтобы спасти их от алчных шведов; теперь все эти сокровища, расставленные и развешанные, как на погляденье, слепили глаза, преобразив замок в истинное жилище чародея. С умыслом расточил маршал у ног короля все эти богатства, достойные самого султана, он желал показать, что хоть король возвращается как изгнанник, без денег, без войска, и нет у него даже перемены платья, все же он могущественный властелин, коль есть у него столь могущественные и столь верные слуги. Постигнул король этот умысел, и сердце его преисполнилось благодарностью, он то и дело заключал маршала в объятия, сжимал его голову и выражал свою признательность. Как ни привык к роскоши нунций, однако же и он громогласно хвалил пышность убранства, и все слышали, как он говорил графу Апотингену, что доселе понятия не имел, сколь могуществен польский король, и только теперь видит, что ему лишь на время изменило счастье и что вскоре все переменится.

Когда после отдыха начался пир, король воссел на возвышении, и маршал сам стал прислуживать ему, никому не позволяя заменить себя. Справа от короля занял место нунций Видон, слева примас Лещинский, далее по обе стороны разместились церковные и духовные сановники: епископы краковский и познанский, архиепископ львовский, за ним епископы луцкий, пшемысльский и хелминский, архидиакон краковский; далее коронные канцлеры и воеводы, коих собралось восемь человек, каштеляны и референдарии; из офицеров за пиршественный стол сели Войниллович, Виктор, Стабковский и Бальдвин Щурский, полковник легкой хоругви Любомирских.

В другой зале накрыли стол для шляхты попроще, а в обширном арсенале — для простого люда, ибо в день прибытия короля все должны были веселиться.

За всеми столами только и разговору было, что о возвращении короля, о страшных происшествиях, которые случились с ним в пути и в которых десница господня хранила его. Сам Ян Казимир заговорил о битве в ущелье и стал прославлять рыцаря, который первым сдержал натиск шведов.

— Как он там? — спросил король маршала.

— Лекарь от него не отходит, головой ручается за его жизнь, да и придворные панны взяли рыцаря под свою опеку и, верно, не дадут душе его покинуть немощную плоть, ибо молод он и красив! — весело ответил маршал.

— Благодарение создателю! — воскликнул король.— Такие слова слышал я из его уст, что и повторять их не стану, ибо и самому мне сдается, что ослышался я, а может, и в горячке он их сказал; но коль подтвердятся они, все вы диву дадитесь.

— Только бы ничего такого не было, — сказал маршал, — что могло бы огорчить тебя, государь.

— Нет, нет! Напротив, мы были очень обрадованы, ибо открылось, что даже те, кого мы имели все основания почитать нашими злейшими недругами, готовы пролить за нас кровь.

— Ваше величество! — воскликнул маршал.— Пришел час искупления, но в этом доме вы среди тех, кто даже в мыслях никогда не согрешил против вашей монаршей власти.

— Да, да! — ответил король.— И вы, пап маршал, в первую очередь!

— Смирный раб вашего величества!

Шум за столом все возрастал. Начались разговоры о делах политических, о помощи цесаря, которой доньше тщетно ожидали, о татарских подкреплениях и о будущей войне со шведами. Все снова возликовали, когда маршал объявил, что посол, отправленный им к хану, вернулся два дня назад и донес, что сорокатысячная орда стоит в боевой готовности, а когда король вступит во Львов и заключит с ханом договор, на помощь могут прийти все сто тысяч. Тот же посол донес, что казаки, уstraшенные татарами, снова усмирились.

— Обо всем вы, пай маршал, подумали так,— молвил король,— что мы сами лучше бы не подумали! — Он поднял чашу и воскликнул:— За здоровье пана коронного маршала, нашего хозяина и друга!

— Нет, нет, ваше величество! — крикнул маршал.— Ни за чье здоровье нельзя здесь пить, покуда мы не поднимем чары за вас.

Все придержали свои наполовину поднятые чары, а Любомирский, ликующий, потный, кивнул дворецкому.

По этому знаку слуги, которых полно было в зале, снова бросились разливать мальвазию, черпая ее золочеными ковшами из бочки чистого серебра. Все еще больше развеселились и ждали только, когда маршал поднимет задравную чару.

Дворецкий тем временем принес две чаши венецианского хрустала такой дивной работы, что их можно было счесть восьмым чудом света. Как алмаз, искрился хрусталь, который до тонкости гранили и полировали, быть может, целыми годами; над оправой трудились итальянские мастера. Из золота были выточены крошечные фигурки, представлявшие въезд победителя в Капитолий. По дороге, вымощенной брильянтиками, схал в раззолоченной колеснице полководец. За ним шли пленники со связанными руками, какой-то император в мантии, выточенной из одного смарагда; дальше тянулись легионеры со знаменами и орлами. Более пятидесяти фигурок умещалось на ножке чаши, крошечных, величиною с орешек, но так чудно исполненных, что можно было различить черты и угадать чувства героев: гордость победителей и уныние побежденных. Золотые филигрны соединяли ножку с чашей, тонкие, как волоски, изогнутые с удивительным искусством в виноградные листья, грозди и всякие цветы. Обвивая хрусталь, филигрны образовали сверху круг, представлявший край чаши, осыпанный семицветными камнями.

Одну такую чашу, наполненную мальвазией, дворецкий подал королю, другую маршалу. Тогда все встали со своих мест, а маршал поднял чашу и крикнул во весь голос:

— *Vivat Joannes Casimirus rex!*

— *Vivat! Vivat! Vivat!*

В эту минуту снова грянули пушки, так что задрожали стены замка. Шляхта, пировавшая в другой зале, вбежа-

ла со своими чарами; маршал хотел сказать речь, но все было напрасно, слова потонули в общем крике: «Vivat! Vivat! Vivat!»

Такая радость овладела тут маршалом, такой восторг, что глаза его дико сверкнули, и, выпив залпом свою чашу, он крикнул так, что даже в общем шуме все услышали:

— Ego ultimus! ¹

С этими словами он так хлопнул себя по голове бесценной чашей, что хрусталь разлетелся в мелкие дребезги, со звоном упавшие на пол, а виски магната облились кровью.

Все остолбенели, а король сказал:

— Пан маршал, не чаши, а головы жаль нам! Очень мы в ней нуждаемся!

— Что мне сокровища и самоцветы,— воскликнул маршал,— коль имею я честь принимать в доме моем ваше королевское величество! Vivat Joannes Casimirus rex!

Дворецкий подал другую чашу.

— Vivat! Vivat! Vivat! — неумоимо, неумолчно гремели клики.

Звон стекла мешался с кликами. Одни только епископы не последовали примеру маршала,— им запрещал это духовный сан.

Папский нунций, который не знал обычая бить об голову стекло, наклонился к сидевшему рядом познанскому епископу и сказал:

— Господи! Я просто поражен! Ваша казна пуста, а за одну такую чашу можно выставить и прокормить два хороших полка!

— У нас всегда так,— покачал головой познанский епископ,— коль развеселятся, удержу не знают!

А гости веселились все больше. В конце пира яркое зарево ударило в окна замка.

— Что это? — спросил король.

— Государь! Прошу потеху смотреть! — промолвил маршал.

И, пошатываясь, подвел короля к окну. Чудное зрелище поразило их взоры. Двор был залит светом, как днем. С мостовой смели снег, усыпали ее иглами горных елей, и десятки смоляных бочек бросали теперь на нее

¹ Я последний! (лат.)

бледно-желтые отблески. Кое-где пылали бочонки оковитой, бросая голубые отсветы; в некоторые подсыпали соли, чтобы светили они красным огнем.

Началось игрище: сперва рыцари рубили турецкие головы, затем состязались друг с другом, на всем скаку поддевали копьями перстни; затем липтовскими овчарками травили медведя; затем горец, суший Самсон гор, метал мельничный жернов и хватал его на лету. Только полночь положила конец этой потехе.

Такую пышную встречу устроил королю коронный маршал, хотя шведы еще были в стране.

ГЛАВА XXVI

Окруженный толпами вельмож, шляхты и рыцарей, которые все прибывали в замок, не забыл добрый король среди пиров о своем верном слуге, который в горном ущелье так отважно подставил свою грудь под шведские мечи, и на следующий же день после прибытия в Любавлю навестил раненого пана Анджея. Он застал его в памяти, веселым, хоть и смертельно-бледным, ибо, не получив по счастливой случайности ни одной тяжелой раны, рыцарь все же потерял много крови.

Увидев короля, Кмициц приподнялся и сел на своем ложе и, несмотря на все уговоры, ни за что не хотел прилечь.

— Государь! — говорил он. — Дня через два я и в седло сяду, и с тобою, коль будет на то твоя воля, дальше поеду, сам я чувствую, ничего такого со мною не случилось.

— Тебя, наверно, тяжело изранили. Неслыханное это дело одному ударить на стольких врагов...

— Не однажды доводилось мне это делать, я ведь так считаю, что в опасности сабля и отвага — первое дело! Ах, государь, и на воловьей шкуре не спишешь тех ран, что на моей зажили. Такое уж мое счастье!

— Ты на счастье не пеняй, сам, знать, лезешь напролом туда, где не то что от ран, от смерти не оборонишься. С каких же это пор ты воюешь? Где раньше храбро сражался?

Легкий румянец окрасил бледное лицо Кмицица.

— Государь! Ведь это я учинял набеги на князя

Хованского, когда у всех уже руки опустились, он и цену за мою голову назначил.

— Послушай,— молвил вдруг король,— ты мне там, в ущелье, одно странное слово сказал, но я тогда подумал, что горячка у тебя и ум мутится. А теперь вот ты опять толкуешь, что набеги учинял на Хованского. Кто же ты? Ужель и впрямь не Бабинич? Мы знаем, кто учинял набеги на Хованского!

На минуту воцарилось молчание; наконец молодой рыцарь поднял осунувшееся лицо и сказал:

— Да, государь! Не горячка у меня, правду я говорю: я налетал на Хованского, и с той войны имя мое прогремело на всю Речь Посполитую. Я Анджей Кмициц, хорунжий оршанский!

Тут Кмициц закрыл глаза и побледнел еще больше; но король молчал, потрясенный, и пан Анджей продолжал:

— Я, государь, тот самый изгнанник, что богом и людьми проклят за убийства и своеволие, я служил Радзивиллу и вместе с ним изменил тебе, государь, и отчизне, а теперь вот, исколотый рапирами, растоптанный конскими копытами, лежу немощен, и бью себя в грудь, и твержу: «*Mea culpa! Mea culpa!*»¹— и, как отца, молю тебя о милосердии. Прости, государь, ибо сам я проклял свои злодеянья и давно сошел с пути грешников.

Слезы покатались тут из глаз рыцаря, и дрожащими руками он стал искать руку короля. Ян Казимир руки не отнял, но нахмурился и сказал:

— Милостив должен быть тот, кто носит корону в этой стране, и всегда готов отпустить вину. Вот и тебя готовы мы простить, особенно потому, что верой и правдой, не щадя живота, служил ты нам в Ченстохове и в дороге...

— Прости же, государь! Успокой мою муку!

— Одного только не могу простить я тебе: не замарал доныне наш народ своей чести, не посягал он отроду на помазанника божия, ты же предлагал князю Богуславу похитить меня и живым или мертвым отдать в руки шведов.

Хоть за минуту до этого Кмициц сам говорил, что немощен он лежит, однако тут сорвался с ложа, схватил

¹ *Моя вина! (лат.)*

висевшее над ним распятие и с лицом в красных пятнах от жара, с горящими глазами заговорил, тяжело дыша:

— Клянусь спасением души отца моего и моей матери, ранами распятого на кресте, это ложь! Коль повинен я в этом грехе, пусть поразит меня бог внезапною смертью и вечным покарает огнем! Государь мой, коль не веришь ты мне, я сорву эти повязки! Лучше кровью мне изойти, что оставили еще шведы в моих жилах! Отродясь я этого не предлагал. И в мыслях такого не было! За все царства мира никогда не совершил бы я такого злодеянья! Клянусь на этом распятии! Аминь! Аминь!

И он весь затрясся от жара и негодования.

— Стало быть, князь солгал? — в изумлении спросил король.— Зачем же ему это понадобилось? К чему?

— Да, государь, он солгал! Это дьявольская месть за то, что я ему сделал.

— Что же ты ему сделал?

— Похитил на глазах у всего его двора и всего его войска и хотел связанного бросить к твоим ногам, государь.

Король провел рукою по челу.

— Странно мне это! Странно! — сказал он.— Я тебе верю, но не могу понять! Как же так? Ты служил Янушу, а похитил Богуслава, который не был так виновен, как брат, и связанного хотел привезти ко мне?..

Кмициц хотел было ответить, но король в эту минуту увидел, как бледен он и измучен, и сказал:

— Отдохни, а тогда все с самого начала расскажешь. Мы тебе верим, и вот тебе наша рука!

Кмициц прижал к губам руку короля и некоторое время молчал, дыхание у него захватило, и он только с невыразимой любовью смотрел на своего повелителя; наконец, собравшись с силами, начал он свой рассказ:

— Я все расскажу с самого начала. Воевал я с Хованским, но и своих не жалел. Принужден я был людей обижать, брать у них все, что понадобится; но отчасти поступал так по своеволию, кровь играла во мне. Товарищи мои были все достойные шляхтичи, но не лучше меня. То, смотришь, зарубишь кого, то красного петухапустишь, то батожками прогонишь по снегу. Шум поднялся. В тех местах, куда враг еще не дошел, обиженные подавали на меня в суд. Проигрывал я заочно. Пригово-

ры сыпались один за другим, а я знать ничего не хотел, мало того, дьявол меня искушал, нашептывал мне, чтоб перещеголял я самого пана Лаща, который приговорами ферязь себе подшить приказал, а ведь вот же все его славили и доныне имя его славно.

— Покаялся он и умер в страхе божием,— заметил король.

Передохнув, Кмициц продолжал свой рассказ:

— Между тем полковник Биллевич,— знатный род в Жмуди эти Биллевичи,— оставив брENNую плоть, переселился в лучший мир, а мне отписал деревню и внучку. Не нужна мне эта деревня, в постоянных набегах богатую взял я добычу и не только вернул все, что потерял, когда враг захватил мои поместья, но и приумножил свои богатства. Столько еще осталось у меня в Ченстохове, что и две такие деревни я бы мог купить, и ни у кого не надо мне просить хлеба. Но когда моя ватага урон понесла, поехал я на зимний постой в лауданскую сторону. И так приглянулась мне девушка-сиротина, что позабыл я обо всем на свете. Так невинна она и добра, что стыдно мне было перед нею за старые мои грехи. Да и она, с плен питая отвращенье к греху, стала настаивать, чтобы оставил я прежнюю жизнь, людей успокоил, за обиды вознаградил и начал честную жизнь...

— И ты внял ее совету?

— Какое, государь! Правда, хотел, видит бог, хотел! Но преследуют меня старые грехи. Сперва в Упите солдат моих поубивали, за что я предал город огню...

— О, боже! Да ведь это преступление! — воскликнул король.

— Это бы еще ничего, государь! Потом товарищей моих, достойных рыцарей, хоть и смутьянов, изрубила лауданская шляхта. Не мог я не отомстить и в ту же ночь напал на застянок Бутрымов и огнем и мечом покарал их за убийство. Но они меня одолели, потому пропасть их там, этих сермяжников. Скрываться мне пришлось. Девушка уж и глядеть на меня не хотела, сермяжнички-то эти по духовной были отцами ее и опекунами. А так она меня к себе приворожила, что хоть головой об стену бейся! Не мог я жить без нее, собрал новую ватагу и силком увез ее с оружием в руках.

— Да что это ты! Это ведь только татары девок крадут!

— Сознаюсь, разбойничье было дело! Вот и покарал меня господь рукой пана Володыёвского. Собравши шляхту, вырвал пан Володыёвский у меня девушку, а самого так саблей рубнул, что едва не отдал я богу душу. Стократ лучше было бы это для меня, потому не связался бы я тогда с Радзивиллом, тебе и отчизне на погибель. Да что поделаешь! Новый суд начался. Злодейство такое, что плаха меня ждала. Я уж и сам не знал, что делать, когда виленский воевода сам вдруг пришел мне на помощь...

— Он взял тебя под защиту?

— Через того же пана Володыёвского он мне грамоту прислал на набор войска, и стал я ему подсуден и мог не бояться судов. Якорем спасения явился мне тогда воевода. Тотчас собрал я хоругвь из одних забияк, на всю Литву славных. Лучше хоругви во всем войске не было. Повел я ее в Кейданы. Как родного сына, принял меня там Радзивилл, о родстве нашем с Кишками вспомнил, под защиту взять посулил. У него уже были виды на меня. Ему нужны были люди отчаянные, готовые на все, а я, простак, как на приманку лез. Когда замыслы его еще не вышли наружу, велел он мне на распятии дать ему клятву, что не покину я его ни при каких обстоятельствах. Думал я, о войне со шведами или московитами речь, и с охотой дал ему клятву. Но вот начался тот страшный пир, на котором был подписан кейданский договор. Явной стала измена. Другие полковники бросали к ногам гетмана булавы, а меня клятва, как пса на цепи, держала, не мог я от князя отречься...

— А разве все те, что потом оставили нас, не присягали нам на верность? — с грустью заметил король.

— Но я хоть и не бросил булавы, не хотел, однако, руки марать об измену. Один бог только знает, какие принял я муки! словно бы кто живым огнем меня жег, так я терзался! Ведь и девушка моя, хоть и помирились мы уже с нею после увоза, назвала меня изменником, отвернулась от меня, как от мерзкой гадины. А я ведь клятву дал, я клятву дал не покидать Радзивилла! О, государь, хоть женщина она, но умом своим мужа затмит, а тебе предана, как никто другой.

— Да благословит ее бог! — промолвил король.— Я люблю ее за это!

— Она думала переделать меня, думала, я стану твоим приверженцем и за отчизну буду сражаться, а когда прахом пошли все ее труды, прогневалась на меня так, что сколько прежде любила, столько стала теперь ненавидеть. Между тем Радзивилл призвал меня к себе и стал ублажать. Выходило по его, как дважды два — четыре, что по справедливости он поступил, что только так и мог он спасти погибающую отчизну. Я и пересказать не могу, что он мне толковал, такие это были великие мысли и такое счастье сулили они отчизне! Да он бы сто-крат мудрого убедил, а что я, простой солдат, против такого державного мужа! Говорю тебе, государь, обеими руками ухватился я за эти его мысли, сердцем принял их, думал, все слепые, один князь правду видит, все грешники, один он чист перед богом. Я бы за него в огонь прыгнул, как теперь за тебя, государь, ибо не умею я ни наполовину служить, ни наполовину любить.

— Я это вижу! — заметил Ян Казимир.

— Большую оказал я ему услугу, — угрюмо продолжал Кмициц. — Не будь меня, никаких ядовитых плодов не принесла бы эта измена, собственное войско зарубило бы князя саблями. Дело к тому клонилось. Уже драгуны поднялись, венгерская пехота и легкие хоругви, уже рубили они саблями его шотландцев, когда прискакал я со своими людьми и искрошил их в мгновение ока. Но оставались еще хоругви, что стояли на постое. Я и их истребил. Один только пан Володыёвский ушел из подземелья и чудом вывел своих лауданцев в Подляшье, чтобы присоединиться там к пану Сапеге. Много собралось там тех, кому посчастливилось уцелеть, но один бог знает, сколько по моей вине погибло добрых солдат. Винюсь в том, как на духу винюсь. По дороге к пану Сапеге схватил меня Володыёвский и не хотел пощадить мою жизнь. Еле ушел я тогда из его рук, да и то только потому, что нашлись при мне письма, из которых открылось, что, когда он сидел в подземелье и князь хотел его расстрелять, я горячо за него заступился. Отпустил он тогда меня, воротился я к Радзивиллу и снова служил ему. Но горько было мне, содрогалась душа моя от поступков князя, ибо нет у него ни веры, ни чести, ни совести, а собственное слово для него то же, что для шведского короля. Непокорен я стал и дерзок с ним. Гневался он на меня за мою дерзость. И услал наконец с письмами.

— Очень важно все то, что ты тут рассказываешь,— промолвил король,— мы теперь от очевидца, который *raġ magna fuit*¹, будем знать, как было дело.

— Правда, что *raġ magna fui*²,— ответил Кмициц.— С радостью уехал я с письмами, не мог усидеть в Кейданах. В Пильвишках встретил я князя Богуслава. Дай-то бог, чтоб попался он мне в руки, все силы я к тому приложу, чтоб настигла его моя месть за поклеп, который он взвел на меня! Ничего я ему там не предлагал, бесстыдная все это ложь, мало того,— именно там встал я на правый путь, там узнал всю подноготную и воочию убедился в бесстыдстве этих еретиков.

— Говори же скорее, как было дело, а то нам тут все так представили, будто князь Богуслав лишь по принуждению помогал брату.

— Он, государь? Он хуже Януша! Да в чьей же голове раньше всего созрел предательский умысел? Да разве не он первый стал соблазнять князя гетмана короной? Суди его бог! Князь Януш хоть личину надевал и *вопо publico*³ прикрывался, а Богуслав, решив, что я из него-де яв негодяй, всю душу открыл мне. И повторить страшно, что он мне сказал. «К черту, говорит, полетит ваша Речь Посполитая; но она как бы штука красного сукна, и мы не только не приложим рук для ее спасения, но и сами рвать будем, чтоб у нас в горсти клок побольше остался. Литва, говорит, нам должна достаться, а после смерти брата Януша я великокняжью шапку надену, женившись на его дочери».

Король закрыл руками глаза.

— О, боже! — воскликнул он.— Радзивиллы, Радзеёвский, Опалинский... Как же было не стать тому, что случилось! Корона им нужна была, пусть даже пришлось бы разъединить то, что бог соединил!

— И меня обнял страх, государь! Водю голову я обливал, чтоб с ума не сойти. Но в единый миг переменилась душа моя, словно гром ее оглушил. Сам я собственных дел утратился. Не знал, что делать: Богуслава или себя пырнуть ножом? Как дикий зверь, я выл,— в такую попался сеть! Не служить Радзивиллу хотел я,

¹ Принимал большое участие (*лат.*).

² Я принимал большое участие (*лат.*).

³ Общим благом (*лат.*).

но мести жаждал! И тут меня словно осенило: отправился я со своими людьми на квартиру князя Богуслава, увез его за город, схватил там и к конфедератам хотел отвезти, чтобы ценою его головы к ним и к тебе на службу вкупиться.

— Я все тебе прощаю! — воскликнул король.— Ибо обманут ты был, но отплатил изменникам! Один только ты мог на такое отважиться, больше никто. Все я тебе за это прощаю и от всего сердца отпускаю тебе твои вины, только поскорее рассказывай дальше, сгораю я от любопытства: что ж он, ушел?

— На первом же привале вырвал он у меня пистолет из-за пояса и выстрелил мне в лицо. Вот шрам! Сам один людей моих перебил и ушел. Великий он рыцарь, тут ничего не скажешь; но мы еще встретимся с ним, пусть это даже будет мой последний час!

Тут Кмициц стал теревить одеяло, которым был укрыт; но король тотчас прервал его.

— И это из мести взвел он поклеп на тебя в письме?

— И это из мести послал он письмо. Рана у меня поджила в лесу; но хуже болела душа. К Володыёвскому, к конфедератам я не мог пойти, лауданцы саблями бы меня изрубили. Знал я, что князь гетман замыслил против них поход, и упредил их, чтоб они вместе держались. Это и было мое первое доброе дело, потому Радзивилл перебил бы им хоругвь за хоругвью, а теперь вот они его одолели и держат, как я слышал, в осаде. Да поможет им бог, а на него кару нашлет, аминь!

— Может, оно так уж и случилось, а нет, так станется наверняка,— сказал король.— Что же ты потом делал?

— Не мог я, государь, служить тебе у конфедератов и положил пробиваться прямо к тебе и верною службой искупить свою вину. Но как было мне пробиться? Кто бы принял Кмицица? Кто бы ему поверил? Кто бы его не окричал изменником? Потому принял я имя Бабинича и, проехав из конца в конец всю Речь Посполитую, добрался до Ченстоховы. Так ли уж велики мои заслуги, пусть про то ксендз Кордецкий скажет. День и ночь думал я об одном: как бы урон возместить, что нанес я отчизне, кровь за нее пролить, вернуть свою славу и честь. Остальное ты сам знаешь, сам видел, государь. И коль твоё доброе отцовское сердце склоняется к моим мольбам, коль новая моя служба превысила меру старых грехов или

хоть сравнялась с ними, будь же ко мне милосерд, государь, и призри меня в своем сердце, ибо все от меня отступились и никто меня не утешит, только ты один! Ты один видишь мое раскаянье и мои слезы! Я изгнанник, я изменник, я клятвопреступник, но, государь, я люблю отчизну и твое миропомазанное величие и, видит бог, хочу служить вам обоим!

Обильные слезы полились тут из глаз молодого рыцаря, и горько он разрыдался, а король, добрый отец, обнял его, стал в лоб целовать и успокаивать:

— Ендрек, люб ты мне, как сын родной! Что я тебе говорил? Что согрешил ты в ослеплении, а сколько грешит с умыслом? От всего сердца прощаю тебе все, ибо искупил ты уже свою вину. Успокойся, Ендрек! Ей-же-ей, не один был бы рад похвалиться такими заслугами, как твои! И я прощаю тебе, и отчизна прощает, и в долгу мы еще перед тобою! Ну, будет тебе голосить!

— Пусть бог тебя вознаградит, государь, за твое состраданье! — со слезами говорил рыцарь.— А я еще на том свете должен понести кару за клятву, что дал Радзивиллу. Не знал я, в чем клялся, а все едино клятва есть клятва.

— Не осудит тебя за нее господь,— ответил король,— ибо половина Речи Посполитой угодила бы тогда в преисподнюю, все, кто нарушил нам присягу.

— И я, государь, думаю, что не ужогу в преисподнюю, в том мне и ксендз Кордецкий ручался, хоть и не был уверен, минует ли меня чистилище. Тяжелое это дело в огне гореть сотню лет! Ну да уж ладно! Человек все может вытерпеть, когда светит ему надежда на вечное спасение, да и молитвы много могут помочь и сократить муки.

— Ты только про то не думай! — сказал Ян Казимир.— Я самого нунция попрошу, чтобы он отслужил службу за твое спасение. При таких заступниках не придется тебе много мук терпеть. Верь в милосердие божие! Кмициц улыбнулся сквозь слезы.

— Вот, даст бог, выздоровею,— сказал он,— так не из одного шведа душу выну, и будет от того не только заслуга в небе, но и добрая слава на земле.

— Уповай на бога,— сказал король,— и не думай прежде времени о славе. Слово мое в том порукой, что не минует тебя то, что тебе положено. Придет пора поспокойней, сам вознагражу я тебя за заслуги,— они ведь

и без того немалые, а будут, верно, еще больше. И на сейме, даст бог, повелю обсудить твое дело, и снова ты будешь в чести.

— Да, государь, ведь только утихнет брань, а может, и того раньше, начнут меня по судам таскать, и уж тут и ты своей королевскою властью не сможешь меня спасти. Но довольно об этом! Не дамся я, покуда жив, покуда саблю держу в руках! Вот с девушкой горе. Оленькой звать ее, государь! Ах, сколько уж времени не видал я ее! Сколько выстрадал я без нее и из-за нее, и хоть порою хочу выбросить ее из сердца вон и с любовью борюсь, как с медведем, все напрасно, не отпускает такая-сякая — и конец!

Ян Казимир весело и добродушно рассмеялся.

— Чем же я тут тебе, бедняге, могу помочь?

— А кто же мне поможет, коль не ты, государь?! Отчаянная она твоя приверженка, и никогда не простит она мне кейданских дел, разве только ты за меня заступишься и засвидетельствуешь, что не тот уж я, что снова служу я тебе и отчизне, и не по принуждению, не потому, что приманили меня всякими благами, но по собственной воле, сокрушаясь о содеянном мною...

— Коль за этим дело стало, заступлюсь я за тебя, а коль такая она моя приверженка, как ты тут толкуешь, так и заступничество мое будет успешным. Только бы девушка свободна была да беды какой с ней не случилось, — в военное время всякое бывает.

— Ангелы ее будут хранить!

— Она того стоит. Чтоб по судам тебя не таскали, ты вот что сделаешь: мы теперь будем спешно набирать войско; не могу я дать тебе грамоту на набор как Кмицицу, коли пало на тебя, как ты говоришь, бесчестье, но Бабиничу дам, станешь и ты войско набирать, а через то и отчизне будет польза, ибо вижу я, отважный ты воитель и искушен опытом. В поход пойдешь под начальством киевского каштеляна, в его войске легче всего и голову сложить, и славу добыть. А надо будет, так и на свой страх станешь учинять набеги на шведов, как учинял на Хованского. С той поры, как назвался ты Бабиничем, стал ты исправляться и добро творить. Зовись же так и дальше, вот и суды не станут тебя трогать. А когда воссияет слава твоя, как солнце, когда слух о твоих заслугах пройдет по всей Речи Посполитой, пусть узнают тогда люди,

кто преславный сей витязь. Многие тогда устыдятся таскать по судам столь великого рыцаря. Иные за это время погибнут, других ты сам смягчишь. Много приговоров вовсе пропадет, а я еще раз тебе обещаю, что до небес превознесу тебя за твои заслуги и на сейме к награде представлю, ибо в глазах моих ты уже сейчас этого достоин.

— Государь мой! Чем заслужил я такую милость?

— Ты ее больше заслужил, нежели многие из тех, что думают, будто имеют на то право. Ну-ну, не унывай же, милый мой приверженец, ибо уверен я, что и приверженка моя от тебя не уйдет, и, даст бог, в скором времени, вы мне еще больше народите приверженцев!

Хоть и болен был Кмициц, однако же сорвался со своего ложа и ниц пал перед королем.

— Ради бога, что ты делаешь?— воскликнул король.— Кровь у тебя пойдет! Ендрек! Эй, сюда!

Вбежал сам маршал, который давно уже искал короля по всему замку.

— Святой Ежи, покровитель мой, что я вижу?!— крикнул он, увидев, как король собственными руками поднимает Кмицица.

— Это пан Бабинич, мой самый дорогой солдат и самый верный слуга, который вчера спас мне жизнь,— сказал король.— Помогите мне, пан маршал, перенести его на постель.

ГЛАВА XXVII

Из Любовли король поехал в Дуклю, Кросно, Ланцут и Львов; сопровождали его коронный маршал, множество епископов, вельмож и сенаторов со своими надворными хоругвями и слугами. И как в могучую реку, что течет через весь край, вливаются малые реки, так в королевскую свиту вливались все новые и новые отряды. Шли магнаты и вооруженная шляхта, солдаты, поодиночке и кучками, и толпы вооруженных крестьян, которые ненавидели шведов особенно лютой ненавистью.

Движение становилось всеобщим, пришлось вводить военные порядки. Появилось два грозных универсала, помеченных Сончем: один Константина Любомирского, маршала рыцарского круга, другой Яна Велёпольского, войницкого каштеляна, призывавшие шляхту краковского

воеводства во всеобщее ополчение. Было уже известно, где собираться, за неявку грозила кара по законам Речи Посполитой. Королевский универсал дополнил эти воззвания и поставил на ноги даже самых равнодушных.

Но в угрозах не было надобности, ибо небывалое воодушевление охватило все сословия. Садились на конь старики и дети. Женщины отдавали драгоценности, одежду; иные сами рвались в бой.

В кузницах цыгане дни и ночи били молотами, перековывая на мечи мирные ораля. Опустели города и деревни, мужчины ушли на войну. С гор, уходивших вершинами в поднебесье, день и ночь спускались толпы дикого люда. Силы короля росли с каждой минутой.

Навстречу ему выходило духовенство с крестами и хоругвями, еврейские кагалы с раввинами; огромному триумфальному шествию был подобен его поход. Вести приходили самые лучшие, словно сам ветер приносил их отовсюду.

Народ рвался к оружию не только в той части страны, которая не была захвачена врагом. Повсюду, в самых отдаленных землях и поветах, в крепостях, деревнях, селеньях, дремучих лесах, поднимала огненную главу ужасная война расплаты и мести. Сколь низко пал раньше народ, столь высоко поднимал он теперь голову, переродился, крепнул духом и в самозабвении, не колеблясь, раздирает даже собственные засохшие раны, дабы очистить от яда свою кровь.

Все громче кричали повсюду о могучем союзе шляхты и войска, возглавить который должны были великий гетман, старый Ревера Потоцкий, и польный гетман Ляницкоронский, воевода русский, а также киевский каштелян Стефан Чарнецкий, витебский воевода Павел Сапега, литовский кравчий князь Михал Радзивилл, могущественный магнат, который хотел снять бесчестье, что навлек на их род Януш, черниговский воевода Кшиштоф Тышкевич и многие другие сенаторы, вельможи, военачальники и шляхта.

Каждый день сносились магнаты с коронным маршалом, который не желал, чтобы столь славный союз был заключен без его участия. Сперва только ходили упорные слухи, а там уж и верная весть разнеслась, что гетманы, а с ними и войско, оставили шведов и на защиту короля и отчизны встала Тышовецкая конфедерация.

Король давно знал о конфедерации; немало потрудился он с королевой над ее созданием, немало писем слал и гонцов, хоть и находился вдали от родины; не имея возможности лично принять участие в конфедерации, он с нетерпением ждал теперь акта об ее учреждении и универсала. Не успел он доехать до Львова, как к нему прибыли Служевский и Домашевский из Домашевицы, луковский судья, они привезли от конфедератов акт на утверждение и заверения в том, что союз их будет служить ему верой и правдой.

Король читал акт на общем совете с епископами и сенаторами. Сердца всех преисполнились радости, и все возблагодарили создателя, ибо памятная эта конфедерация возвестила о том, что народ, о котором еще недавно иноземный захватчик мог сказать, что нет у него ни веры, ни любви к отчизне, ни совести, ни порядка, ни одной из тех доблестей, на коих зиждутся державы и народы, не только опомнился, но и переродился.

Свидетельство всех его доблестей лежало теперь перед королем в виде акта конфедерации и ее универсала. В этих документах говорилось о вероломстве Карла Густава, нарушении им клятв и обещаний, жестокости его генералов и солдат, учинявших зверства, каких не знали даже самые дикие народы, осквернении костелов, гнете, мздоимстве, грабежах, пролитии невинной крови, и война объявлялась скандинавским захватчикам не на жизнь, а на смерть. Универсал, грозный, как труба архангела, сзывал ополчение не только рыцарей, но всех сословий и народов Речи Посполитой. «Даже все *infames*¹, — говорилось в универсале, — *banniti*² и *proscripti*³ должны идти на эту войну». Рыцари должны были садиться на конь, грудью встать за родину, да и пеших солдат поставить, кто побогаче — побольше, кто победней — поменьше, по силе возможности.

«Понеже в державе сей аеque bona⁴ и mala⁵ принадлежат всем, то и опасности должно разделить всем. Всяк, кто шляхтичем зовется, оседлым или неоседлым, буде у него и много сынов, обязан идти на войну против врага

¹ Лишенные чести (лат.).

² Приговоренные к изгнанию (итал.).

³ Объявленные вне закона (лат.).

⁴ Равно блага (лат.).

⁵ Недостатки (лат.).

Речи Посполитой. Поелику все мы — шляхтичи, и худородные и великородные, ab omnes prerogativas¹ на чины, звания и милости отчизны saraces², то и в том aequales³ будем, что все одинаково встанем на защиту отечественных свобод и beneficium⁴.

Так толковал универсал шляхетское равенство. Король, епископы и сенаторы, которые давно лелеяли в сердце мысль о возрождении Речи Посполитой, убедились с радостью и удивлением, что и народ созрел для возрождения, что готов он стать на новый путь, омыться от плесени и тлена и начать новую, достойную жизнь.

«Открываем при сем,— гласил универсал,— поприще всякому человеку plebeiae conditionis⁵, дабы мог он benemerendi in Republica⁶, и провозглашаем, что отныне всяк может быть жалован чинами, достигнуть почестей, прав и beneficium, коими gaudet⁷ сословие шляхетское...»

Когда на совете у короля прочитали эти слова, воцарилось глубокое молчание. Те сенаторы, которые вместе с королем горячо желали открыть доступ к шляхетским правам людям низших сословий, думали, что немало придется им для этого преодолеть препон, немало претерпеть и немало потрудиться, что годы пройдут, прежде чем можно будет поднять голос за такое дело, а между тем шляхта, которая доселе так ревниво оберегала свои преимущества и была так нетерпима, сама открывала дорогу для черного люда.

Поднялся примас и как бы в пророческом наитии сказал:

— Вечно будут славить потомки сию конфедерацию за то, что оный punctum⁸ вы поставили, а коль пожелает кто время наше почесть временем упадка старопольской чести, в споре с ним на вас ему укажут.

Ксендз Гембицкий был болен и не мог говорить, трясущейся от волнения рукою он только благословлял акт и послов.

¹ Всеми правами (лат.).

² Способны, можем пользоваться (лат.).

³ Равны (лат.).

⁴ Прав, преимуществ (лат.).

⁵ Простого звания (лат.).

⁶ Послужить республике (лат.).

⁷ Пользуется (лат.).

⁸ Пункт (лат.).

— Вижу я уже врага, со стыдом покидающего сей предел,— сказал король.

— Дай-то бог, да чтоб поскорее! — воскликнули оба посла.

— Вы с нами во Львов поедете,— обратился к ним король,— мы тотчас утвердим там конфедерацию, а к тому же, не мешкая, новую учредим, такую, что силы адовы не одолеют ее.

Переглянулись послы и сенаторы, словно вопрошая друг друга, о какой же это могучей силе говорит король: но тот молчал, только лицо его сияло: снова взял он в руки акт и снова читал и улыбался.

— А много ли было противников? — спросил он вдруг.

— Государь,— ответил Домашевский,— с помощью панов гетманов, пана витебского воеводы и пана Чарнецкого unanimitate¹ учредили мы нашу конфедерацию; никто из шляхты не воспротивился, так все ополчились на шведов и такой любовью воспылали к отчизне и твоему величеству.

— Мы загодя постановили,—прибавил Служевский,— что не будет это сейм, что pluralitas² все будет решать; и, стало быть, ничье veto³ не могло испортить нам дело, мы бы противника саблями изрубили. Все говорили, что надо кончать с этим liberum veto⁴, а то от него одному воля, а многим неволя.

— Золотые слова!—воскликнул примас.— Пусть только поднимется Речь Посполитая, и никакой враг нас не устрасит.

— А где витебский воевода? — спросил король.

— Подписавши акт, пан воевода в ту же ночь уехал к своему войску под Тыкоцин, где он держит в осаде изменника, виленского воеводу. Теперь он, верно, захватил уже его живым или мертвым.

— Так уверен он был, что захватит его?

— Как в том, что на смену дню ночь придет. Все оставили изменника, даже самые верные слуги. Только ничтожная горсть шведов обороняется там, и помощи им ждать неоткуда. Пан Сапега вот что говорил в Тышов-

¹ Единодушно (лат.).

² Большинство (лат.).

³ Буквально: запрещаю (лат.).

⁴ Свободным вето (лат.).

цах: «Хотел было я на один день опоздать, к вечеру покончил бы тогда с Радзивиллом! Да тут дела поважней, а Радзивилла и без меня могут взять, одной хоругви для этого хватит».

— Слава богу! — сказал король. — Ну а где же пан Чарнецкий?

— Столько к нему шляхты привалило, да все самых доблестных рыцарей, что и дня не прошло, а уж он стал во главе отборной хоругви. Теперь тоже двинулся на шведов, ну а где он сейчас, мы про то не знаем.

— А паны гетманы?

— Паны гетманы твоих повелений ждут, государь, а сами держат совет, как вести войну, да с калушским старостой, паном Замойским, сносятся. А покуда что ни день снег валит, и полки к ним валят.

— Все уже покидают шведов?

— Да, государь! Были у гетманов посланцы и от войск пана Конецпольского, что все еще стоят в стане Карла Густава. Но и они, сдается, рады воротиться на службу к законному королю, хоть Карл и не скупится на посулы и осыпает их милостями. Говорили посланцы, что не могут тотчас *recedere*¹, надо время улучить, но что уйдут непременно, потому опротивели уж им и пиры его, и милости, и подмигиванья, и рукоплесканья. Мочи нет больше терпеть.

— Отовсюду покаянные речи, отовсюду добрые вести,— промолвил король. — Слава пресвятой богородице! Это самый счастливый день в моей жизни, другой такой, верно, тогда наступит, когда последний вражеский солдат покинет пределы Речи Посполитой.

Домашевский при этих словах хлопнул по кривой своей саблице.

— Не приведи бог до такого дожить! — воскликнул он.

— Что это ты говоришь? — удивился король.

— Чтоб последний немчура да на своих ногах ушел из Речи Посполитой? Не бывать этому, государь! Для чего же у нас тогда сабли на боку?

— Ну тебя совсем! — развеселился король. — Вот это удаль так удаль!

¹ Отойти, отступить (*лат.*).

Но Служевский не желал отстать от Домашевского.
— Клянусь богом,— вскричал он,— нет на то нашего согласия, я первый наложу свое veto! Мало нам того, что они уйдут прочь, мы за ними следом пойдем!

Примас покачал головой и добродушно засмеялся:

— Ну, села шляхта на конька и скачет и скачет! Боже вас благослови, но только потише, потише! Враг-то еще в наших пределах!

— Недолго уж ему гулять! — воскликнули оба конфедерата.

— Дух переменился, переменится и счастье,— слабым голосом сказал ксендз Гембицкий.

— Вина! — крикнул король.— Дайте мне выпить с конфедератами за наше счастье!

Слуги принесли вина; но вместе с ними вошел старший королевский лакей и сказал:

— Государь, приехал пан Кшиштопорский из Ченстоховы, челом бьет вашему величеству.

— Сюда его, да мигом! — крикнул король.

Через минуту вошел высокий, худой шляхтич; глядел он, как козел, исподлобья. Сперва земно поклонившись королю, а потом не очень почтительно сановникам, он сказал:

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков! — ответил король.— Что у вас слышно?

— Мороз трескучий, государь, инда веки смерзаются!

— Ах ты, господи! — воскликнул Ян Казимир.— Ты мне не про мороз, ты про шведов говори!

— А что про них толковать, государь, коль нет их под Ченстоховой! — грубовато ответил Кшиштопорский.

— Слыхали уж мы про то, слыхали,— ответил обрадованный король,— да только то молва была, а ты, верно, прямо из монастыря едешь. Очевидец и защитник?

— Да, государь, участник обороны и очевидец чудес, что являла пресвятая богородица...

— Велики ее милости! — возвел очи горé король.— Надо новые заслужить!

— Навидался я всего на своем веку,— продолжал Кшиштопорский,— но столь явных чудес не видывал, а подробно, государь, доносит тебе обо всем ксендз Кордецкий в этом вот письме.

Ян Казимир поспешно схватил письмо, которое подал ему Кшиштопорский, и стал читать. Он то прерывал чтение и начинал молиться, то снова принимался читать. Лицо его менялось от радости; наконец он снова поднял глаза на Кшиштопорского.

— Ксендз Кордецкий пишет мне,— сказал он шляхтичу,— что вы потеряли славного рыцаря, некоего Бабинича, который порохом поднял на воздух шведскую кулеврину?

— Жизнь свою отдал он за всех, государь! Но толковали люди, будто жив он, и еще бог весть что о нем рассказывали; не знали мы, можно ли верить этим толкам, и не перестали оплакивать его. Не соверши он своего рыцарского подвига, плохо бы нам пришлось.

— Коли так, то перестаньте его оплакивать: жив пан Бабинич, у нас он. Это он первый дал нам знать, что не могут шведы одолеть силы небесные и помышляют уже об отступлении. А потом оказал нам столь великие услуги, что не знаем мы, как и вознаградить его.

— Как же ксендз Кордецкий обрадуется! — с живостью воскликнул шляхтич.— Но коль жив пан Бабинич, то, верно, пресвятая дева особо до него милосердна... Но как же ксендз Кордецкий обрадуется! Отец сына не может так любить, как он его любил! Позволь же и мне, государь, приветствовать пана Бабинича, ведь другого такого храбреца не сыщешь в Речи Посполитой!

Но король снова стал читать письмо.

— Как? — вскричал он через минуту.— Шведы после отступления снова пытались осадить монастырь?

— Миллер как отошел, так больше уж не показывался; один Вжещович явился неожиданно у монастырских стен, видно, надеялся найти врата обители открытыми. Они и впрямь были открыты, да мужики с такой яростью набросились на шведов, что тут же обратили их в бегство. Отроду такого не бывало, чтоб мужики в открытом поле так храбро сражались с конницей. Потом подошли пан Петр Чарнецкий с паном Кулешей и разбили Вжещовича наголову.

Король обратился к сенаторам:

— Смотрите, любезные сенаторы, как убогие пахари встают на защиту отчизны и святой веры!

— Встают, государь, встают! — подхватил Кшиштопорский.— Под Ченстоховой целые деревни пусты, му-

жики с косами ушли воевать. Война повсюду жестокая, шведы кучей принуждены держаться, а уж если поймают мужики которого, то такое над ним чинят, что лучше бы ему прямо в пекло! Да и кто нынче в Речи Посполитой не берется за оружие. Не надо было собачьим детям Ченстохову брать в осаду! Отныне не владеть им нашей землей!

— Отныне не стонать под игом тем, кто кровь свою за нее проливает,— торжественно провозгласил король,— так, да поможет мне господь бог и святой крест!

— Аминь! — заключил примас.

Но Кшиштопорский хлопнул себя по лбу.

— Помутил мороз мне mentem¹, государь! — сказал он.— Совсем было запамятовал рассказать тебе еще об одном деле. Толкуют, будто этот собачий сын, познанский воевода, скоропостижно скончался.— Спихватился тут Кшиштопорский, что великого сенатора при короле и вельможах «собачьим сыном» назвал, и прибавил в смущении: — Не высокое звание, изменника хотел я заклеить.

Но никто не обратил внимания на его слова, все смотрели на короля.

— Давно уж назначили мы познанским воеводою пана Яна Лещинского,— сказал король,— еще когда жив был пан Опалинский. Пусть же достойно правит воеводством. Вижу, суд божий начался над теми, кто привел отчизну к упадку, ибо в эту минуту и виленский воевода, быть может, дает ответ высшему судие о своих деяниях...— Тут он обратился к епископам и сенаторам:— Время нам, однако, подумать о всеобщей войне, и желаю я знать, любезные сенаторы, ваше об том сужденье.

ГЛАВА XXVIII

Словно в пророческом наитии вещал король в ту минуту, когда говорил, что виленский воевода предстал уже, быть может, перед судом всевышнего, ибо судьба Тыкоцина в ту минуту была уже решена.

Двадцать пятого декабря витебский воевода Сапега был уже настолько уверен в том, что Тыкоцин падет, что

¹ Ум (лат.).

уехал в Тышовцы, поручив Оскерко дальнейшую осаду замка. С последним штурмом он велел подождать скорого своего возвращения. Собрал высших офицеров, вот что сказал им воевода:

— Дошли до меня слухи, что умышляет кое-кто из вас по взятии замка князя виленского воеводу зарубить саблями. Так вот объявляю вам, что коль замок падет в мое отсутствие, я строго-настрого запрещаю посягать на жизнь князя. Я, сказать правду, от таких особ получаю письма, что вам и во сне не снилось, и требуют от меня сии особы, чтобы, захвативши князя, не пощадил я его жизни. Но не хочу я слушать таких приказов, и вовсе не из жалости к изменнику, ибо он того не стоит, а потому, что я в нем не волен и за благо почту представить его сейму на суд в назидание потомкам, дабы ведали они, что ни знатность рода, ни звания не могут оправдать такую измену и спасти злодея от публичной казни.

Вот что сказал воевода, только речь его была куда пространней, ибо сколь доблестен он был, столь же великую и слабость имел, витию себя мнил и витийствовать любил по всякому поводу, сам себя, бывало, заслушивался, даже глаза закрывал в особо красивых местах.

— В воду мне, что ли, сунуть правую руку,— промолвил Заглоба,— страх как она у меня раззуделась... Одно только скажу, что когда бы я попался в лапы Радзивиллу, он бы, пожалуй, не стал ждать до захода солнца, чтобы голову мне срубить с плеч. Уж он-то хорошо знает, кто больше всего повинен в том, что войско его оставило, хорошо знает, кто его даже со шведами поссорил. Зато я вот не знаю, почему я должен иметь к нему большее снисхождение, нежели он имел бы ко мне?

— А потому, что не ты тут начальник, милостивый пан, и слушать меня должен,— сурово сказал воевода.

— Что слушать я должен, это верно, но не мешало бы иногда и Заглобу послушать. Я и про то смело скажу, что, послушай меня Радзивилл, когда я воодушевлял его встать на защиту отчизны, был бы он нынче не в Тыкоцине, а на поле боя, во главе всех литовских войск.

— Уж не сдастся ли тебе, милостивый пан, что булавка в плохие руки попала?

— Не годится мне это говорить, потому я сам ее вложил в эти руки. Всемилодивейший король наш Joannes

Casimirus должен только утвердить мой выбор, не более того.

Улыбнулся тут воевода, любил он Заглобу и его шуточки.

— Пан брат,— сказал он,— ты Радзивилла сокрушил, ты меня гетманом сделал,— все это твоя заслуга. Позволь же мне теперь спокойно уехать в Тышовцы, чтобы и Сапега мог хоть чем-нибудь послужить отчизне.

Подбоченился Заглоба и задумался на минуту, словно взвешивая, следует или не следует позволить, наконец глазом подмигнул, головою качнул и сказал с важностью:

— Поезжай, пан гетман, спокойно.

— Спасибо за позволение! — со смехом сказал воеводѣ.

Засмеялись и все офицеры, и воевода в самом деле стал собираться в путь,— карета уж стояла под окнами,— прощаться стал со всеми и каждому давал указания, что делать в его отсутствие; подойдя, наконец, к Володыёвскому, сказал ему:

— Коли замок сдастся, ты, пан, в ответе будешь за жизнь воеводы, тебе я это поручаю.

— Слушаюсь! Волос не спадет с его головы! — ответил маленький рыцарь.

— Пан Михал,— обратился к Володыёвскому Заглоба после отъезда воеводы,— любопытно мне, что это за особы насаждают на нашего Сапежку, чтобы, захвативши Радзивилла, не пощадил он его жизни?

— Откуда мне знать! — ответил маленький рыцарь.

— Ты хочешь сказать, что коль никто тебе на ухо не скажет, так собственный умишко ничего не подшепнет. Это верно! Но, видно, значительные это особы, коль могут воеводе приказывать.

— Может, сам король?

— Король? Да если его собака укусит, он тут же ее простит и сальца велит ей дать. Такое уж у него сердце!

— Не стану спорить с тобой; но толковали, будто на Радзеёвского он очень прогневался.

— Первое дело, всяк может прогневаться, *exemplum*¹, мой гнев на Радзивилла, а потом, как же это прогневался,

¹ Пример (лат.).

коль тут же стал опекать его сыновей, да так, что и отец лучше бы не смог! Золотое у него сердце, и я так думаю, что это скорей королева посягает на жизнь Радзивилла. Достойная у нас королева, ничего не скажешь, но нрав у нее бабий, а уж коль баба на тебя прогневется, так ты хоть в щель меж половицами забейся, она иглой тебя выковырнет.

Вздохнул Володыёвский и говорит:

— И за что они на меня прогневались, я ведь отродясь ни одной не поддел!

— Но рад бы, рад! Ты и на тыкоцинские стены потому пеший прешься без памяти, хоть сам в коннице служишь, что думаешь, там не только Радзивилл сидит, а и панна Билевич. Знаю я тебя, шельму! Что же это ты? Еще не выбросил ее из головы?

— Одно время совсем уж было выбросил; сам Кмициц, будь он здесь, признал бы, что как истинный рыцарь я поступил, не неволил ее и об отказе постарался забыть; но не стану таить: коль она в Тыкоцине и, бог даст, вызволю я опять ее, то теперь усмотрю в том явную волю провиденья. На Кмицица мне нечего оглядываться, ни в чем я перед ним не виноват и тешу себя надеждой, что коль он от нее по доброй воле ушел, так и она до этой поры успела его забыть и не сбудется уж того, что стало когда-то со мной.

Ведя такой разговор между собою, дошли они до квартиры, где застали обоих Скшетуских, Роха Ковальского и арендатора из Вонсоши.

Не таил витебский воевода от войска, зачем едет в Тышовцы, и рыцари радовались, что столь доблестный союз составляется для защиты отчизны и веры.

— Другим ветром повеяло уж во всей Речи Посполитой,— сказал пан Станислав,— и, слава богу, дует он шведам в глаза.

— А повеяло со стороны Ченстоховы,— подхватил пан Ян.— Вчера были вести, что монастырь все еще стоит и отбивает все более жестокие приступы. Не пропусти же, пресвятая богородица, чтобы враг осквернил твою обитель!

Тут и Жендзян со вздохом сказал:

— Мало того что святыня была бы поругана, сколько бесценных сокровищ попало бы в руки врага! Как подумаешь об этом, кусок в горло нейдет.

— Войско рвется на приступ, трудно удержать людей,— сказал пан Михал.— Вчера хоругвь пана Станкевича самовольно двинулась, без лестниц; покончим, говорят, с изменниками и на помощь Ченстохове пойдём. Стоит только кому-нибудь вспомнить про Ченстохову, все зубами скрежещут и бряцают саблями.

— Да и зачем тут столько наших хоругвей стоит, когда для Тыкоцина и половины хватило бы? — молвил Заглоба.— Заупрямился пан Сапега, вот и все. Не хочет он меня слушать, хочет показать, что и без моих советов обойдется, а вы сами видите, что когда столько народу осаждает одну крепостишку, они только мешают друг дружке, всем-то места нету, чтобы к ней приступиться.

— Боевой опыт говорит твоими устами,— подхватил пан Станислав.— Тут уж ничего не скажешь.

— А что? Есть у меня голова на плечах?

— Есть, дядя! — воскликнул вдруг пан Рох и, встопорщив усы, стал поглядывать на присутствующих так, точно искал смельчака, который вздумал бы ему возразить.

— Но у пана воеводы тоже есть голова на плечах,— возразил Ян Скшетуский,— и столько хоругвей стоит тут потому, что опасаются, как бы князь Богуслав не пришел на помощь брату.

— Так опустошить тогда курфюрсту Пруссию! — сказал Заглоба.— Послать парочку легких хоругвей да охотников кликнуть из черного люда. Я бы первый пошел попробовать прусского пива.

— Не годится пиво зимой, разве что гретое,— заметил пан Михал.

— Так вина дайте, а нет, так горелки иль меду,— потребовал Заглоба.

Другие тоже изъявили желание выпить; арендатор из Вонсоши занялся этим делом, и вскоре несколько сулеек стояло уже на столе. Возвеселились сердцем рыцари при виде их и стали себе попивать, то и делу поднимая за здравные чары.

— Выпьем же немчуре на погибель, чтобы нам тут больше хлеба не жрала! — сказал Заглоба.— Пусть себе шишки в Швеции жрет!

— За здоровье их величеств короля и королевы! — провозгласили Скшетуские.

— И тех, кто остался верен им! — прибавил Володыёвский.

— А теперь за наше здравие!

— За здравие дяди! — рявкнул пан Рох.

— Спасибо! Да залпом пей до дна! Не совсем еще постарел Заглоба! Друзья мои, вот бы выкурить поскорей из норы этого барсука да двинуться под Ченстохову!

— Под Ченстохову! — рявкнул Рох. — На помощь пресвятой деве!

— Под Ченстохову! — закричали все.

— Ясногорские сокровища защищать от этих нехристей! — подхватил Жендзян.

— От этих бесстыдников, что только для отвода глаз притворяются, будто в Иисуса веруют, а на самом деле, как я уж говорил, на луну, как собаки, воют, и вся ихняя вера в том только и состоит.

— И они покушаются на ясногорские богатства!

— Ты в самую точку попал, когда об ихней вере говорил, — обратился к Заглобе Володыёвский. — Я сам слышал, как они на луну выли. Потом толковали, будто это ихние псалмы лютеранские; но одно верно, что такие псалмы и собаки поют.

— Как же это? — спросил пан Рох. — Неужто они сплошь собачьи дети?

— Сплошь! — с глубоким убеждением подтвердил Заглоба.

— И король у них не лучше?

— Король хуже всех. Он с умыслом поднял эту войну, чтобы в костелах вволю надругаться над истинной верой.

Встал тут пан Рох, — а был он уже под хмельком, — и говорит:

— Раз так, то не будь я Рох Ковальский, коль в первой же битве не брошусь прямо на шведского короля! Пусть в самой гуще будет он стоять, ничего! Либо он меня, либо я его, а таки наеду я на него с копьём! Дурак я буду, коль этого не сделаю!

С этими словами он сжал кулак и хотел грохнуть им по столу. Перебил бы он и чары и сулейки, да и стол бы расколол, когда бы Заглоба не схватил его поспешно за руку и не сказал ему следующие слова:

— Садись, Рох, и успокойся! И знай, что не тогда мы тебя дураком посчитаем, когда ты этого не сделаешь, а

только тогда дураком считать перестанем, когда ты это сделаешь. Невдомек вот только мне, как ты бросишься на короля с копьем, коль не служишь в гусарах?

— Так я стремянных и слуг раздобуду и впишусь в хоругвь к князю Полубинскому. Мне и отец в этом поможет.

— Отец Рох?

— Ну а как же!

— Так пусть он прежде тебе поможет, а покуда не бей стекло, не то я первый голову за это тебе разобью. Об чем, бишь, мы толковали? Да! Об Ченстохове! *Luctus*¹ меня сгложет, коль мы вовремя не придем на помощь святыне. *Luctus* меня сгложет, говорю я вам! А все этот изменник Радзивилл да пан Сапега со своими пустыми разговорами.

— Ты, милостивый пан, про воеводу такого не говори! Достойный это человек! — прервал его маленький рыцарь.

— Зачем же он тогда двумя сетями прикрыл Радзивилла, когда и одной бы хватило? Чуть не десять тысяч самой отборной конницы и пехоты стоит под этой конурой. Скоро уж во всей околице сажу вылижут в трубах, ведь что было в печах, уж съели.

— Нам рассуждать не положено, мы должны выполнять приказы.

— Тебе, пан Михал, не положено, а мне положено, потому меня половина прежнего радзивилловского войска полководцем выбрала, и я бы уж за десятую околицу выгнал Карла Густава, когда б не несчастная моя скромность, что велела мне вложить булаву в руки пану Сапеге. Довольно уж он тут промешкал, пусть теперь смотрит в оба, а то как бы не отобрал я назад, что дал ему.

— Напился ты, вот и стал храбёр! — сказал Володьёвский.

— Ты так думаешь? Ну что ж, посмотрим! Я еще сегодня пойду по хоругвям и кликну клич: кто со мной под Ченстохову хочет, чем локти да коленки об тыкоцинскую известку вытирать, за мной! Кто выбрал меня полководцем, кто дал мне в руки власть, кто верит, что все, что я ни сделаю, послужит на пользу отечеству и вере, ста-

¹ Печаль, скорбь (лат.).

новись рядом со мной! Хорошее дело изменников карать, но стократ прекрасно пресвятую деву спасти, мать нашу и державы нашей покровительницу от гнета избавить, вызволить из еретического ярма.

Тут Заглоба, у которого давненько шумело в голове, сорвался с места, вскочил на лавку и давай кричать, как перед собранием:

— Кто католик, кто поляк, кому жаль пресвятой девы, за мной! На помощь Ченстохове!

— Я с тобой! — вскричал, вставая, Рох Ковальский.

Заглоба минуту поглядел на присутствующих и, увидя изумленные немые лица, слез с лавки и сказал:

— Я Сапезку научу уму-разуму! Да будь я подлец, коль до завтра не уведу отсюда половину войска и не двину людей под Ченстохову!

— О, боже! Одумайся, отец! — воскликнул Ян Скшетуский.

— Будь я подлец, говорю тебе! — повторил Заглоба.

Друзья и впрямь испугались, как бы он этого не сделал, с него могло стать. Во многих хоругвях роптали люди, недовольные затянувшейся осадой Тыкоцина, и все поголовно скрежетали зубами при мысли о Ченстохове. Достаточно было искры, чтобы разгорелось пламя, особенно если эту искру заронил бы такой упрямый человек и такой прославленный рыцарь, как Заглоба. Большая часть войск Сапегги состояла из новичков, не привыкших к воинской дисциплине и всегда готовых к самочинству, уж они-то все, как один, пошли бы за Заглобой под Ченстохову.

Испугались оба Скшетуские, а Володыёвский воскликнул:

— Сколько труда положил воевода, чтобы собрать хоть какое-нибудь войско, хоть какую-нибудь силу для обороны Речи Посполитой, а уж нашлись смутьяны, готовые разбить хоругви, сеять раздоры. Дорого бы дал Радзивилл за такие советы, потому на его это мельницу воду здесь льют. Ну не стыдно ль тебе, милостивый пан, даже говорить о таком деле!

— Подлец я буду, коль не сделаю этого! — отрезал Заглоба.

— Дядя это сделает! — прибавил Рох Ковальский.

— Да помолчи ты, глупая башка! — прикрикнул на него пан Михал.

Пан Рох вылупил глаза, закрыл рот и сразу вытянулся в струнку.

Володыёвский снова обратился к Заглобе:

— А я подлец буду, коль хоть один человек из моего полка уйдет с тобой, а станешь людей нам смущать, так я первый ударю на твоих охотников!

— Нехристь ты, турок бесстыжий! — закричал Заглоба.— Как? Ты готов ударить на рыцарей девы Марии? Ну-ну!.. Впрочем, мы тебя знаем! Вы думаете, его войско заботит, дисциплина? Как бы не так! Он пронюхал, что за тыкоцинскими стенами панна Биллевич. Ради частных своих дел ты, своевольник, не задумаешься правое дело предать! Ты бы рад жеребцом ржать перед девкой, да с ноги на ногу переминаться, да любовью млеть! Только ничего из этого не выйдет! Даю голову на отсечение, что найдутся получше тебя, хоть бы тот же Кмициц, уж он-то никак не хуже.

Володыёвский обвел взглядом присутствующих, словно призывая их в свидетели обиды, какую ему наносят. Затем нахмурился, и все уж решили, что сейчас разразится буря, но был он тоже под хмельком и вдруг расчувствовался.

— Вот она, награда! — воскликнул он.— С малых лет служу я отчизне, сабли из рук не выпускаю! Ни кола у меня, ни двора, ни жены, ни деток, сам один, как копьё, что торчит над головою. Самые достойные о себе думают, а я, кроме ран, никаких наград не получил, и меня же еще обвиняют в корысти, называют чуть не изменником.

С этими словами стал он слезы ронять на желтые свои усы, а Заглоба сразу смягчился и вскричал, раскрывая объятия:

— Пан Михал! Тяжко я тебя обидел! Палачу меня надо отдать за то, что такого испытанного друга срамил!

Они упали друг другу в объятия, стали целоваться и друг друга к груди прижимать, а потом снова сели пить мировую, а уж когда гнев их совсем остыл, Володыёвский сказал:

— Ну не будешь нам войско смущать, не будешь своевольничать, дурной пример подавать?

— Не буду, пан Михал! Ради тебя не стану!

— А коль возьмем, даст бог, Тыкоцин, так кому какое дело, чего я там ищущу? Чего тут надо мною потешаться, а?

Ошеломил этот вопрос Заглобу, стал он уе кусать, а потом и говорит:

— Нет, пан Михал, как ни крепко люблю я тебя, но только панну Билевич ты выбрось из головы.

— Это почему же? — удивился Володыёвский.

— Красавица она, assentior¹, — сказал Заглоба, — и стать хороша, да ведь рост-то какой! Никакого нет между вами соответствия. Тебе разве только на плечо ей садиться, как кенарю, да сахарок клевать из уст. Ну еще могла бы она носить тебя, как сокола, на рукавичке и на недруга выпускать, ибо хоть и мал ты, но ядовит instar² шершня.

— Ты опять начинаешь? — остановил его Володыёвский.

— Но уж коль начал я, так позволь же мне и кончить: одна только есть для тебя девица, ну прямо бог ее для тебя сотворил, эта вот малюточка... как, бишь, звать-то ее? На ней еще покойный Подбипента хотел жениться?

— Ануся Борзобогатая-Красенская! — воскликнул Ян Скшетуский. — Да ведь она старая любовь пана Михала!

— Вся с гречишное зернышко, но хороша, бестия, как куколка, — причмокнул губами Заглоба.

Завздыхал тут пан Михал и стал все то же твердить, что всегда твердил, когда при нем вспоминали Анусю:

— Как она там, бедняжечка? Ах, кабы нашлась она!

— Так ты бы уж ее из рук не выпустил! И хорошо бы сделал, потому при твоей влюбчивости может и такое стать, что поймает тебя первая встречная коза и козлом оборотит. Клянусь богом, за всю свою жизнь не встречал я никого, кто бы так был слаб до женского пола. Тебе петухом надо было родиться, под завалиной грестись да «ко-ко-ко!» кричать, скликаая хохлаток.

— Ануся! Ануся! — разнежился Володыёвский. — Кабы бог мне ее послал! А может, ее и на свете уж нет или замуж вышла да деток растит...

— И чего было ей выходить! Молода, зелена была еще, когда я ее видал, а потом, хоть и созрела, может, и по сию пору в девушках. Не выходить же ей было за какого-нибудь молокососа, это после пана-то Лонгина! Да

¹ Согласен (лат.).

² Наподобие (лат.).

и то надо сказать, мало кто в военное время помышляет о женитьбе.

А пан Михал в ответ ему:

— Ты, милостивый пан, мало ее знал. Просто удивительно, как она была добродетельна. Но такая у нее была натура, что никого не могла она пропустить, чтоб не покорить его сердца. Такой уж ее господь сотворил. Даже людей низшего сословия не пропускала, ехемплин лекарь княгини Гризельды, итальяшка, который влюбился в нее без памяти. Может, она уж вышла за него и он увез ее за море.

— Не болтай глупостей, пан Михал! — возмутился Заглоба. — Лекарь, лекарь!.. Это чтоб шляхтянка, благородная девица, да пошла за человека такого подлого звания? Я уж тебе как-то говорил: быть этого не может!

— Я и сам на нее обижался: что это, думал я себе, совсем она меры не знает, уж и лекаришек с ума сводит.

— Я тебе говорю, ты ее еще увидишь, — сказал Заглоба.

Дальнейший разговор прервало появление Токажевича, который раньше служил в радзивилловском полку, а после измены гетмана покинул его и был теперь в полку Оскерко знаменосцем.

— Пан полковник, — обратился он к Володыёвскому, — мы петарду хотим взрывать.

— Пан Оскерко уже готов?

— Он еще в полдень был готов и не хочет ждать, потому ночь обещает быть темной.

— Ладно, — сказал Володыёвский. — Пойдем поглядим, да и мушкетерам я прикажу быть наготове, а то как бы шведы из ворот не вырвались. Пан Оскерко сам взорвет петарду?

— Да, сам. С ним и охотников много идет.

— Пойду и я! — сказал Володыёвский.

— И мы! — крикнули оба Скшетуские.

— Какая жалость, что старые глаза ничего не видят впотьмах, — промолвил Заглоба, — а то бы я вас одних не отпустил. Да что поделаешь! Как стемнеет, так я уж и саблей не могу рубиться! Днем, днем, при солнечном свете, люблю я, старик, еще выйти на поле боя. Шведов давайте мне тогда одних силачей, но только в полдень!

— Я тоже пойду! — сказал, подумав, арендатор из Вонсоши. — Когда ворота взорвут, войско, наверно, тол-

пой пойдет на приступ, а там, в замке, может статься, пропасть утвари дорогой да каменье.

Все вышли, потому что на дворе уже смеркалось; один только Заглоба остался; с минуту он прислушивался, как хрустит снег под стопой уходящих, потом стал поднимать сулейки и смотреть на свет, пылавший в очаге, не осталось ли в какой винца.

А друзья его в сумерках направлялись к замку; ветер поднялся с севера и дул все сильнее, выл и бушевал, неся тучи снежной пыли.

— Хороша ночь для взрыва петарды! — сказал Володыёвский.

— Но для вылазки тоже, — заметил Скшетуский. — Надо быть начеку и мушкетеров держать наготове.

— Вот бы дал бог, — сказал Токажевич, — чтоб под Ченстоховой еще сильнее мело. Что ни говори, нашим в стенах тепло. А вот шведов бы на страже замерзло, вот бы замерзло! Чтоб им пусто было!

— Страшная ночь! — сказал пан Станислав. — Слышите, как воеет ветер, словно татары по воздуху в атаку летят!

— Или черти Радзивиллу *requiem*¹ поют, — прибавил Володыёвский.

ГЛАВА XXIX

А спустя несколько дней великий изменник глядел в замке, как сумрак ложится на снежный саван, и слушал вой бури.

Медленно догорал светильник его жизни. В полдень князь еще ходил, еще смотрел со стен на шатры и деревянные шалаши войск Сапеги, а через два часа разнемогся так, что его пришлось унести в покои.

С тех кейданских времен, когда гетман посягал на корону, он изменился до неузнаваемости. Волосы на голове побелели, под глазами легли красные круги, лицо обвисло и распухло, отчего казалось еще больше, это было уже лицо полутрупа, сплошь в синих пятнах, страшное от адских мук, которые изображались на нем.

Считанные часы оставалось гетману жить; но так долг был его путь, что пережил он не только веру в себя

¹ Реквием, заупокойное песнопение. По первому слову: *requiem aeternam* (лат.) — вечный покой.

и в свою счастливую звезду, не только все свои надежды и замыслы, но и такое глубокое падение, что когда он глядел на дно пропасти, в которую скатился, то самому себе не хотел верить. Все его обмануло: события, расчеты, союзники. Он, кому мало было того, что он был самым могущественным польским магнатом, князем Священной Римской империи, великим гетманом и виленским воеводой, он, кому всей Литвы было мало, чтобы удовлетворить честолюбивые стремленья и насытить алчность, он был заперт в тесной крепостце, где ждали его только смерть или неволя. Всякий день ждал он, которая из двух страшных богинь взойдет в дверь, чтобы унести его душу и тело, наполовину ставшее уже добычею тленья.

Еще недавно из его земель, из его поместий и вотчин, можно было образовать владетельное княжество, а теперь он не был господином даже в тыкоцинских стенах.

Еще несколько месяцев назад он вел переговоры с соседними королями, а сегодня только один шведский капитан с презреньем и нетерпением слушал его приказы и смел навязывать ему свою волю.

Когда его покинули войска, когда из магната и властелина, который в трепет повергал всю страну, он превратился в бессильного нищего, который сам нуждался в помощи и спасении, Карл Густав пренебрег им. Он превознес бы до небес сильного приспешника, но надменно отвернулся от просителя.

Как разбойник Костка Наперский был некогда осажден в Чорштыне, так теперь он, Радзивилл, осажден был в Тыкоцинском замке. И кем? Сапегой, самым заклятым своим врагом!

Когда они схватят его, то на суд повлекут хуже, чем разбойника, ибо он изменник.

Его оставили родные, близкие, друзья. Войска захватили его поместья, расточились как прах сокровища и богатства, и этому властелину, этому князю, который некогда роскошью удивлял и ослеплял французский двор, который некогда принимал на пирах тысячные толпы шляхты, который некогда держал, поил, кормил и одевал по десять тысяч собственного войска, нечем было теперь поддержать собственные слабеющие силы, и — страшно сказать! — он, Радзивилл, в последние минуты своей жизни, в годину смерти, был голоден!

В замке давно уже не хватало припасов; из скудных остатков шведский комендант выдавал скупые доли, а князь не хотел его просить.

Если бы жар, что снедал его, отнял у него и памяти! Нет! Грудь его дышала все тяжелей, дыхание обращалось в хрип, стыли опухшие ноги и руки; но сознание, несмотря на минуты бреда, несмотря на страшные призраки и виденья, которые носились перед его взором, большую часть времени оставалось ясным. И видел князь, как низко он пал, как убог и унижен он, видел прежний непобедимый полководец, какое потерпел он поражение, и столь безмерны были его страданья, что сравниться с ними могли разве только его грехи.

Ибо, как Ореста эринии, терзали его к тому же упреки совести, и нигде во всем мире не было обители, куда мог бы он скрыться от них. Они терзали его днем, терзали ночью, на поле битвы и под кровом; гордость не могла ни устоять перед ними, ни отогнать их прочь. Чем глубже было его падение, тем жесточе они терзали его. Бывали такие минуты, когда он готов был разодрать на себе ризы. В то время, как враги отовсюду вторглись в отчизну, в то время, как чужие народы скорбели об ее злополучном уделе, о страданьях ее и пролитой крови, он, великий литовский гетман, вместо того чтобы выйти на поле битвы, вместо того чтобы отдать за нее последнюю каплю крови, вместо того чтобы потрясти весь мир, как Леонид или Фемистокл, вместо того чтобы последний кунтуш заложить, как Сапега, связался с одним из врагов и на родину-мать, на собственного государя поднял святоотатственную руку и обагрил ее родной, дорогой ему кровью! Он все это свершил, а теперь стоит на пороге не только позора, но и смерти, и близок уж час расплаты там, в ином мире... Что ждет его там?

Волосы вставали у него дыбом, когда он думал об этом. Ибо, когда он поднял руку на отчизну, он самому себе представлялся великим по сравнению с нею, теперь же все изменилось. Теперь он умалился, Речь же Посполитая возвысилась, восстав из крови и пепла, и казалась ему все выше, окутанная таинственным ужасом, полная священного величия, страшная. И все росла она в его глазах, становилась все неприступней. Прах и пепел был он перед нею и как князь, и как гетман, и как Радзивилл. Он не мог постигнуть умом, что сие означает. Словно не-

ведомые волны вскипали вокруг, неслись на него с ревом и шумом и, нахлынув, все страшной громоздились одна на другую, и он понимал, что они неминуемо поглотят его, что эта пучина поглотила бы сотню таких, как он. Но почему же не видел он раньше этой грозной и таинственной силы, почему, безумец, посягнул на нее? Когда эти мысли кипели в его уме, страх обнимал его перед матерью-родиной, перед Речью Посполитой, ибо не узнавал он лика ее, прежде столь кроткого и незлобного.

Дух его был сокрушен, и ужас обитал в груди. Минутами он думал, что вокруг него совсем другая страна, другие люди. Сквозь осажденные стены проникал слух обо всем, что творилось в осажденной Речи Посполитой, а дела творились в ней удивительные, необычайные. Начиналась война не на жизнь, а на смерть со шведами и изменниками, война, тем более страшная, что никто ее не предвидел. Речь Посполитая начала карать. Был это как бы гнев божий за оскорбленное величие.

Когда сквозь стены проникла весть об осаде Ченстоховы, кальвинист Радзивилл испугался, и страх не покинул уже больше его души, ибо тогда он и увидел впервые те таинственные волны, которые, поднявшись, должны были поглотить шведов и его; тогда нашествие шведов показалось ему не нашествием, но святотатством и кара неизбежной. Тогда впервые спала пелена с его глаз, и он увидел изменившийся лик отчизны, уже не матери, но карающей владычицы.

Все, кто остался ей предан и служил ей верой и правдой, в гору пошли и возвышались все больше, кто согрешил против нее — падали все ниже.

«Стало быть,— говорил себе князь,— никому нельзя помышлять ни о собственном возвышении, ни о возвышении своего рода, но ей отдать надлежит жизнь, силы и любовь?»

Однако для него все было поздно, ему нечего было отдать, ничего не было у него впереди, разве только загробная жизнь, призрак которой повергал его в трепет.

Со времени осады Ченстоховы, когда общий страшный крик вырвался из груди великой страны, когда как бы чудом нашлась в ней дивная и поныне непостижимая и неведомая сила, когда внезапно словно таинственная потусторонняя рука поднялась на ее защиту, новые

сомнения стали терзать душу князя, ибо не мог он отогнать прочь страшную мысль, что это сам бог стоит за дело отчизны и за ее веру.

А когда в голове его носились такие мысли, он начал сомневаться в собственной вере, и отчаяние его переходило тогда даже меру его грехов.

Падение на земном поприще, падение духовное, тьма, ничтожество — вот до чего дошел он, до чего дослужился, служа самому себе.

А ведь в начале похода из Кейдан в Подляшье он был еще полон надежд. Правда, его бил Сапега, военачальник гораздо менее искушенный, правда, его покидали остатки хоругвей, но он еще тешил себя надеждой, что на помощь ему вот-вот придет Богуслав. Прилетит молодой радзивилловский орленок во главе прусских, лютеранских полчищ, которые не последуют примеру литовских хоругвей и не перейдут к папистам, и тогда они вдвоем раздавят Сапегу, уничтожат его силы, уничтожат конфедератов и лягут на труп Литвы, как два льва на труп лани, и одним рыком отпугнут тех, кто вздумал бы вырвать ее у них.

Но время текло, войска Януша таяли; даже иноземные полки передавались грозному Сапеге; уходили дни, недели, месяцы, а Богуслав не являлся.

Наконец началась осада Тыкоцина.

Шведы, горсть которых осталась с Янушем, защищались геройски, ибо, совершив жестокие злодеяния, они знали, что, даже сдавшись, не спасутся от карающей руки литвинов. В начале осады князь еще надеялся, что, может, в такой беде сам шведский король двинется ему на помощь или Конецпольский, который находился в стане Карла с шестью тысячами коронной конницы. Но напрасны были его надежды. Никто о нем не думал, никто не приходил на помощь.

— Богуслав! Богуслав! — повторял князь, расхаживая по тыкоцинским покоям.— Коль не хочешь ты брата спасти, спаси же хоть Радзивилла!

Наконец, в порыве отчаяния князь решился на шаг, против которого восставала вся его гордость: он попросил помощи у князя Михала из Несвижа.

Однако письмо перехватили по дороге люди Сапеги, и витебский воевода в ответ переслал ему письмо князя кравчего, которое получил за неделю до этого.

Князь Януш прочел в нем, между прочим, следующие строки:

«Если до тебя, вельможный пан, дойдет слух, будто я собираюсь идти на помощь моему родичу, князю виленскому воеводе, не верь, вельможный пан, ибо с тем только я держусь заодно, кто жаждет сохранить верность отчизне и нашему королю и возродить давние вольности преславной Речи Посполитой. Не таков я, чтобы укрывать изменников от справедливой и заслуженной кары. Богуслав тоже не придет князю на помощь, ибо, как я слышал, курфюрст больше о себе думает и не хочет распылять свои силы: *quod attinet* Конецпольского, так останься княгиня, супруга Януша, вдовою, он, верно, к ней присватается, стало быть, и ему на руку, чтобы князь восвода поскорее угас».

Это письмо, адресованное Сапеге, лишило несчастного Януша последней надежды, и ничего другого не осталось больше ему, как ждать, когда свершится приговор судьбы.

Близился конец осады.

Слух об отъезде Сапеги мгновенно проник через стены; но недолгой была надежда на то, что с отъездом воеводы прекратятся враждебные действия, напротив, в пехотных полках замечено было небывалое движение. Впрочем, несколько дней прошло сравнительно спокойно, так как попытка взорвать ворота петардой кончилась ничем; но наступило тридцать первое декабря, и стало очевидно, что готовится если не приступ, то, уж во всяком случае, новый пушечный обстрел поврежденных стен и помешать этому может теперь только надвигающаяся ночь.

День клонился к закату. Князь лежал в так называемой «угловой» зале, расположенной в западной части замка. Целые смолистые корневища сосен горели в огромном камине, бросая живой отблеск на белые и голые стены. Князь лежал навзничь на турецкой софе, которую нарочно выдвинули на середину покоя, чтобы до него доходило тепло от огня. Ближе к камину спал в тени на коврике паж; подле князя дремали в креслах пани Якимович, когда-то в Кейданах надзиравшая за придворными дамами, второй паж, лекарь, он же княжеский астролог, и Харламп.

Харламп не покинул князя, хотя из всех прежних офицеров едва ли не он один остался при нем. Тяжела была

его служба, ибо сердцем и душою старый солдат был за стенами Тыкоцинского замка, в стане Сапеги, и все же он хранил верность старому своему военачальнику. От голода и лишений иссох бедный солдат, стал совсем скелетом, один нос от него остался, и тот казался еще больше, да усищи, как мочала. Он был в полном вооружении: в панцире, наплечниках и мисюрке с железной сеткой, ниспадавшей на плечи. Блестели на руках и железные налокотники, ибо вернулся Харламп со стен, куда ходил поглядеть, что творится в стане Сапеги, и где каждый день искал смерти. Теперь он задремал от усталости, хотя князь так страшно хрипел, точно умирать собрался, и ветер выл и свистел снѣружи.

Внезапно короткие судороги стали потрясать огромное тело Радзивилла, он перестал хрипеть. Тотчас пробудились все, кто его окружал, посмотрели на князя, переглянулись.

Но он сказал:

— Точно тяжесть свалилась у меня с груди: полегчало мне! — Затем повернул голову, пристально поглядел на дверь и наконец позвал:— Харламп!

— Слушаю, ясновельможный князь.

— Чего надобно тут Стаховичу?

Ноги затряслись у бедного Харлампа, ибо столь же суеверен он был, сколь и храбр в бою; он поспешно огляделся и сказал сдавленным голосом:

— Нет тут Стаховича. Ясновельможный князь, ты велел расстрелять его в Кейданах.

Князь закрыл глаза и не ответил ни слова.

Некоторое время слышалось только протяжное и жалобное завывание бури.

— Плач людской слышится мне в вое бури,— снова промолвил князь, в полном сознании открывая глаза.— Но это не я, это Радзеёвский привел шведов.

Никто ему не ответил, и через минуту он прибавил:

— Он больше моего в том повинен, больше моего, больше моего.

И словно бодрость влилась в его грудь, так обрадовала его мысль о том, что нашелся человек, который был виновней его.

Но, видно, тут же тяжелая дума обуяла князя, лицо его потемнело, и он несколько раз повторил:

— Иисусе! Иисусе! Иисусе!

И снова стал задыхаться и хрипеть еще страшнее, чем раньше.

Тем временем с улицы донеслись отголоски мушкетерских выстрелов, сперва редких, потом все более частых; но в снежной метели и в вое бури они показались не очень громкими, так, будто кто-то стал упорно стучаться в ворота.

— Бьются! — сказал княжеский лекарь.

— Как всегда! — ответил Харламп. — Люди мерзнут в метель, вот и бьются, чтобы разогреться.

— Шестой уж день эта снежная вьюга, — сказал лекарь. — Великие перемены произойдут в королевстве, ибо небывалое это явление.

— Дал бы бог! — ответил ему Харламп. — Хуже все равно быть не может.

Дальнейший разговор прервал князь, которому снова стало полегче.

— Харламп!

— Слушаю, ясновельможный князь.

— От болезни мне это мерещится, или Оскерко и впрямь дня два назад хотел взорвать петардой ворота?

— Хотел, ясновельможный князь, да шведы выхватили петарду, самого Оскерко легко ранили и отбили сапегинцев.

— Коль легко его ранили, он снова попытается взорвать... А какой нынче день?

— Последний день декабря, ясновельможный князь.

— Боже, буди милостив ко мне, грешному! Не доживу уж я до нового года. Давно мне пророчили, что каждый пятый год смерть стоит у меня в головах.

— Бог милостив, ясновельможный князь.

— Бог с паном Сапегой, — глухо ответил Радзивилл.

Вдруг он стал озираться.

— Холодом от нее на меня пашет! — сказал он. — Не вижу я ее; но чую, тут она.

— Кто, ясновельможный князь?

— Смерть!

— Во имя отца, и сына, и святого духа!

Наступила минута молчания, слышно было только, как пани Якимович шепчет молитвы.

— Скажите, — прерывистым голосом снова заговорил князь, — вы в самом деле верите, что тем, кто не вашей веры, нет спасенья?

— И в смертный час можно отречься от еретической прелести,— ответил Харламп.

В эту минуту отголоски пальбы стали еще чаще. От рева пушек задребезжали стекла, жалобным звоном отвечая на каждый залп.

Некоторое время князь слушал спокойно, потом поднялся на изголовье, глаза его медленно стали расширяться, зрачки заблестели. Он сел, минуту сжимал руками голову и вдруг крикнул, словно в припадке безумия:

— Богуслав! Богуслав! Богуслав!

Харламп как оглашенный бросился вон.

Весь замок дрожал и сотрясался от рева пушек.

Внезапно послышался гул нескольких тысяч голосов, ужасающий грохот сотряс стены, так что из камина посыпались на пол головни и уголья, и в ту же минуту Харламп снова вбежал в покой.

— Сапезинцы взорвали ворота! — крикнул он.— Шведы бежали на башню! Враг сейчас будет здесь, ясно-вельможный князь!..

Слова замерли у него на губах. Радзивилл сидел на софе, глаза его вышли из орбит; раскрытыми губами он ловил воздух, зубы у него оскалились, руками он раздирал софу и, с ужасом глядя в глубь покоя, кричал, вернее хрипел между вздохами:

— Это не я! Это Радзеёвский!.. Спасите!.. Что вам надо?! Возьмите корону!.. Это Радзеёвский!.. Спасите, люди добрые! Иисусе! Иисусе! Дева Мария!

Это были последние слова Радзивилла.

Жестокая икота поднялась у него, глаза еще ужасней вышли из орбит, он весь напрягся, упал навзничь и остался недвижим.

— Кончился! — сказал лекарь.

— Деву Марию звал, слышали? А ведь кальвинист! — промолвила пани Якимович.

— Подбросьте дров в огонь! — приказал Харламп испуганным пажам.

Сам же подошел к покойнику, закрыл ему глаза, затем снял с панциря позолоченный образок богородицы, который носил на цепочке, и, сложив Радзивиллу руки на груди, вложил в ладони образок.

Огонь отразился в золотых ризах образка, отблеск упал на лицо воеводы, и посветлело оно так, что казалось, никогда не было таким спокойным.

Харламп сел рядом с покойником и, опершись локтями на колени, закрыл ладонями лицо.

Только рев пушек прерывал молчание.

Внезапно случилось нечто ужасное. Сперва все страшно озарилось кругом, словно весь мир обратился в пламя, и почти одновременно раздался такой грохот, точно земля провалилась под замком. Стены заколебались, потолок раскололся с оглушительным треском, все рамы посыпались на пол и стекла разбились на сотни осколков. В то же мгновение тучи снега ворвались в пустые проемы, и буря угрюмо завывала в углах залы.

Все, кто был в покое, пали ниц, все онемели от ужаса.

Первым поднялся Харламп и тотчас бросил взгляд на покойника; но воевода лежал спокойно и прямо, только золотой образок чуть склонился в ладонях.

Харламп перевел дух. Он был уверен, что это тьмы бесов ворвались в залу, чтобы унести тело князя.

— Слово стало плотью! — произнес он. — Это шведы, наверно, взорвали порохов башню и себя вместе с нею.

Но с улицы не долетало ни звука. Видно, люди Сапеги остановились в немом изумлении, а может, испугались, подумали, что замок весь заминирован и порох будет взрываться и дальше.

— Подбросьте дров в огонь! — приказал пажам Харламп.

И снова покой озарился ярким, неровным светом. Смертельная тишина стояла кругом, только дрова трещали, только буря выла да в пустые проемы окон все гуще валил снег.

Но вот раздался слитный шум голосов, затем послышался звон шпор и топот многочисленных шагов; дверь распахнулась настежь, и в залу ворвались солдаты.

Все осветилось кругом от обнаженных сабель, и рыцари в шлемах, колпаках и высоких меховых шапках толпою хлынули в дверь. Многие из них держали в руках фонари и светили, осторожно ступая, хотя в зале и без того было светло от огня.

Наконец из толпы выбежал маленький рыцарь, весь в финифтяных латах, и крикнул:

— Где виленский воевода?

— Здесь! — ответил Харламп, показывая на тело, лежавшее на софе.

Володыёвский взглянул и сказал:



— Он умер!

— Он умер! Он умер! — пробежал шепот по зале.—
Он умер, этот изменник и предатель!

— Да,— угрюмо сказал Харламп.— Но коль оскверните вы его прах и разметете саблями, злое дело сделаете, ибо перед смертью взывал он к пресвятой богородице и образок ее держит в руках!

Слова эти всех поразили. Крики смолкли.

Солдаты шагнули к софе, стали обходить ее кругом, глядеть на покойника. Те, у кого были фонари, светили



ему прямо в лицо, а он лежал огромный, мрачный, с гетманским величием и холодным спокойствием смерти на лице.

По очереди подходили к нему солдаты, а с ними и офицеры. Станкевич приблизился, с ним оба Скшетуские, за ними Гороткевич, Якуб Кмициц, Оскерко, Заглоба.

— Правда! — тихим голосом произнес Заглоба, точно опасаясь разбудить князя. — Образок богородицы держит в руках, и сияние падает на его лицо...

При этих словах старик снял с головы свой колпак. В ту же минуту обнажили головы и остальные. Все благоговейно смолкли.

— Да! — со вздохом прервал молчание Володыёвский. — Он стоит уже перед судом всевышнего и не причастен людям. — Тут он повернулся к Харлампу: — Но ты, несчастный, почему ты ради него предал отчизну и государя?

— Сюда его! — раздались голоса.

Харламп встал и, вынув из ножен свою саблю, со звоном кинул ее наземь.

— В вашей я власти, рубите! — сказал он. — Не ушел я с вами от него, когда могуч он был, как король, так не пристало мне покидать его, когда был он в беде и никого с ним не осталось. Эх, не нагулял я жиру на этой службе, вот уж три дня маковой росинки не было во рту, и ноги подо мною подламываются. Но в вашей я власти, рубите, потому и в том я должен признаться... — тут у Харлампа задрожал голос, — ...что любил его.

Он пошатнулся при этих словах и, наверно, упал бы, если бы Заглоба не подхватил и не поддержал его.

— О, боже! — вскричал старый рыцарь. — Дайте же ему есть и пить!

Все были потрясены; рыцари подхватили Харлампа под руки и увели из залы. Набожно крестясь, стали расходиться и солдаты.

По дороге на квартиру Заглоба все что-то раздумывал, колебался, покашливал, наконец дернул Володыёвского за полу.

— Пан Михал! — окликнул он его.

— Чего тебе?

— Не держу я больше зла на Радзивилла. Что подедаешь, покойник — он и есть покойник! Хоть грозился мне голову срубить, но прощаю я это ему ото всего сердца.

— Перед судом всевышнего он! — ответил Володыёвский.

— Вот-вот! Кабы знал я, что это ему поможет, так бы и на службу дал за его душу, потому видится мне, плохи там его дела.

— Бог милостив!

— Милостив-то он милостив, да небось на еретиков тоже без омерзения смотреть не может. А ведь Радзивилл не только еретик, но и изменник. Вот оно дело какое!

Тут Заглоба задрал голову и стал смотреть вверх.

— Боюсь я,— сказал он через минуту,— как бы из тех шведов, что взорвали себя порохом, на голову мне который не свалился, на небесах-то их как пить дать не приняли!

— Храбрые солдаты!— с уважением сказал пан Михал.— Предпочли погибнуть, но не сдаться. Мало таких на свете!

Они в молчании продолжали свой путь; вдруг пан Михал остановился.

— Панны Билевич не было в замке,— сказал он.

— А ты откуда знаешь?

— Пажей спрашивал. Богуслав увез ее в Тауроги.

— Ну-ну!— сказал Заглоба.— Это ведь все едино, что козу отдать волку стеречь. Но тебя это не касается, тебе та малютка назначена.

ГЛАВА XXX

После прибытия короля Львов стал настоящей столицей Речи Посполитой. В одно время с королем сюда со всех концов страны съехалась большая часть епископов и все те сановники, которые не служили врагу. Изданные *Lauda*¹ призвали к оружию шляхту Русского и соседних с ним воеводств, а так как шведы в тех краях вовсе не бывали, явилось ее множество и во всеоружии. Люди не могли нарадоваться, глядя на это ополчение; ничем не напоминало оно той великопольской шляхты, которая под Уйстем оказала врагу столь слабое сопротивление. Сюда прибывала грозная и воинственная шляхта, вскормленная в седле и на поле брани, за время постоянных набегов татарских орд привыкшая к кровопролитию и пожарам и саблей владевшая лучше, нежели латынью. Война с Хмельницким, которая длилась непрерывно все последние семь лет, тоже многому ее научила, так что в ополчении не было человека, который не побывал бы в огне по меньшей мере столько раз, сколько было ему лет. Все новые и новые рои шляхты прибывали во Львов. Одни двигались с крутых склонов Бещад, другие с бере-

¹ Буквально: похвалы (лат.).— В Речи Посполитой так называли постановления сеймиков земель, поветов, воеводств.

гов Прута, Днестра и Серета; кто жил на извилистых притоках Днестра, кто жил на широком Буге, кто на Синюхе не был стерт с лица земли крестьянским восстанием, кто остался цел на татарских рубежах, все по зову короля направлялись теперь во град Льва, чтобы оттуда двинуться на неведомого еще врага. Валом валила шляхта с Волыни и из воеводств еще более отдаленных, такую ненависть разожгла во всех душах страшная весть о том, что под Ченстоховой враг поднял святотатственную руку на покровительницу Речи Посполитой.

КазакИ не смели чинить шляхте препоны, ибо растрогались сердца даже самых закоренелых, да и татары принуждали их слать к королю послов и челом бить ему и в сотый раз приносить присягу на верность. Грозное для врагов короля татарское посольство под водительством Субахази-бея находилось во Львове; от имени хана оно предлагало в помощь Речи Посполитой стотысячную орду, из которой сорок тысяч могли немедленно двинуться в поход из-под Каменца.

Кроме татарского посольства, прибыли послы из Смиградья для ведения переговоров о наследнике престола, которые были начаты с Ракоци; находился во Львове и посол цесаря, был там и папский нунций, приехавший вместе с королем; что ни день являлись посланцы от коронных и литовских войск, от воеводств и земель, свидетельствуя свою верность королю и свое желание грудью встать на защиту отчизны от вражеского нашествия.

Фортуна благоприятствовала королю; всем народам и временам на удивление воочию поднималась Речь Посполитая, которая совсем еще недавно покорствовала врагу. Жаждой войны и возмездия и в то же время бодростью переполнились души людей. Все не только желали победы, но и верили в нее. И как весною обильный теплый дождь растопляет снега, так великая надежда растопила все сомнения. Из уст в уста передавались все новые добрые вести, хоть случалось, что бывали они и ложными. Люди упорно рассказывали об отбитых замках, о битвах, в которых безвестные полки под водительством безвестных дотоле полководцев громили шведов, о несметных толпах мужиков, которые, как туча саранчи, поднимались на врага. Имя Стефана Чарнецкого было у всех на устах.

Неверны бывали подробности; но в самих этих слухах, вместе взятых, как в зеркале, отражалась картина событий, происходивших во всей стране.

Во Львове словно каждый день был праздник. Когда приехал король, город торжественно встречал его: духовенство трех вероисповеданий, городские советники, купечество, цехи. На площадях и улицах, куда ни кинь глазом, реяли белые, синие, пурпурные и золотые хоругви. Победоносно поднимали львовяне своего золотого льва на голубом поле, с гордостью вспоминая об отраженных недавно набегах казаков и татар. Кликами встречали короля толпы народа при каждом его появлении, а улицы теперь были всегда полны.

Жителей во Львове стало за эти дни вдвое больше. Кроме сенаторов и епископов, кроме шляхты, в город хлынули толпы крестьян, привлеченных молвою о том, будто король замышляет улучшить крестьянскую участь. Сермяги и бурки смешались с желтыми кафтанами мещан. Предприимчивые смуглолицые армяне раскинули палатки с товарами и оружием, которое раскупала съехавшаяся в город шляхта.

С посольствами было много и татар, и венгерцев, и валахов, и молдаван, множество было народу, множество войск, множество разных лиц, множество удивительных, пестрых и ярких одежд, множество панской челяди: высоченных гайдуков и янычар, красавцев казаков, скороходов, одетых на иноземный манер.

На улицах с утра до ночи гомон, то проезжают хоругви постоянного войска, то отряды конной шляхты, крики, команда, блеск оружия и обнаженных сабель, конское ржание, грохот пушек и песни, полные угроз и проклятий шведам.

А колокола в польских костелах, в армянских и православных церквах звонили неумолчно, возвещая всем, что король во Львове и что Львов первой из столиц, к вящей своей славе, принял короля-изгнанника.

Везде, где только показывался король, люди падали на колени, бросали в воздух шапки, и клики «vivat!» оглашали улицы; кланялись люди и каретам епископов, благословлявших толпы из окон, кланялись и сенаторам и их встречали кликами, отдавая тем самым дань уважения за верность королю и отчизне.

Так кипел весь город. Даже по ночам на площадях жгли костры, и у огня грелись те, кто из-за крайней тесноты не мог найти приют под крышей и, невзирая на зиму и мороз, остался на улице.

Король все дни проводил на советах с сенаторами. Он принимал иноземные посольства, посланцев земель и войск. Изыскивались средства для пополнения пустой казны; все меры принимались, чтобы раздуть пожар войны повсюду, где она еще не пылала.

Летели гонцы в большие города, во все концы Речи Посполитой до самой Пруссии и святой Жмуди, в Тышовцы, к гетманам, к Сапеге, который, разрушив Тыкоцин, большими переходами шел со своим войском на юг; скакали гонцы и к великому хорунжему Конецпольскому, который все еще оставался в стане шведов. Туда, где в том была надобность, посылали деньги, равнодушных поднимали манифестами.

Король одобрил, освятил и утвердил Тышовецкую конфедерацию и сам вступил в нее, взяв все бразды в свои неутомимые руки; он работал с утра до ночи, полагая, что благо Речи Посполитой важнее отдыха и здоровья.

Но на этом он не остановился: от своего имени и от имени сословий положил он заключить союз, который не могли бы одолеть никакие силы на земле и который в будущем мог бы послужить делу возрождения Речи Посполитой.

Наконец наступила эта минута.

Видно, шляхта прознала обо всем от сенаторов, а уж от шляхты и черный народ, ибо с самого утра все говорили о том, что во время обедни важное произойдет событие, что король будет давать торжественные обеты. Говорили об улучшении крестьянской участи, о союзе с самим небом; но кое-кто твердил, что дело это небывалое и нет тому примера в истории; так или иначе, любопытство было возбуждено, и все чего-то ждали.

День был морозный, ясный; в воздухе искрясь крутились тоненькие снежные блески. Перед кафедральным собором длинными шпалерами, с мушкетами к ноге, стояла пехота из крестьян Львовской земли и Жидачовского повета, в синих полушубках с золотым позументом, да половина венгерского полка; перед солдатами, как пастухи перед стадом, прохаживались офицеры с камышо-

выми тростями в руках. Между шпалерами рекой текли в костел пестрые толпы народа. Впереди шляхта и рыцари; за ними городской сенат с золотыми цепями на шеях и свечами в руках, во главе с бургомистром, славным на все воеводство лекарем в черной бархатной мантии и берете; за сенатом шествовали купцы, среди которых было много армян в зеленых, затканых золотом шапочках и просторных восточных халатах. Хоть и были они другой веры, шли, однако, со всеми, представляя купеческое сословие. За купечеством следовали цехи со знаменами: мясники, пекари, сапожники, золотых дел мастера, оловянщики, слесари, оружейники, сафьянщики, медовары,—каких только не было там мастеров! Представители каждого цеха шли со своим знаменем, которое нес знаменосец, самый красивый и видный из всех мастеров. А уж за цехами валом валили всякие братства и толпы черни в холщовых кафтанах, в тулупах, армяках, сермягах, обитатели предместий, мужики. Всех пускали в костел, покуда не набился он битком людьми всякого звания и обоего пола.

Стали, наконец, подкатывать и кареты; но, минуя паперть, они останавливались поближе к главному алтарю, у особого входа для короля, епископов и вельмож. Солдаты то и знай делали на караул, потом опускали мушкеты к ноге и дули на озябшие руки, и тогда виден был пар, выходивший из их уст.

Подъехал король с нунцием Видоном, затем архиепископ гнезненский с епископом, князем Чарторыйским, затем епископ краковский, архиепископ львовский, великий коронный канцлер, много воевод и каштелянов. Все они исчезали в боковых дверях, а кареты их, придворная челядь, кучера и прочие слуги образовали как бы новое войско, стоявшее сбоку костела.

Обедню вышел служить апостольский нунций Видон в белой, шитой золотом и жемчугом ризе поверх красной мантии.

Аналой для короля поставили на амвоне, между главным алтарем и седалищами каноников; перед аналоем простлали турецкий ковер. Седалища заняли епископы и светские сановники.

Проникая сквозь витражи окон и сливаясь с блеском свечей, от которых алтарь словно пылал огнем, разноцветные лучи падали на лица вельмож, скрытые в тени

седалищ, на белые бороды и величественные фигуры, на золотые цепи, бархат и пурпур одежд. Казалось, это римский сенат восседает, столь важны и величавы были старцы; лишь кое-где мелькнет среди седых голов лицо сенатора-военачальника или светлая голова юноши; все взоры обращены на алтарь, все молятся; мерцает и колеблется пламя свечей, дым камильниц струится и вьется в сиянии их. Позади амвона народу полным-полно, и хоругви над головами, как радуга, как цветы, красками переливаются на солнце.

По обычаю, ниц повергся его величество Ян Казимир, смиряясь пред величием божием. Но вот нунций взял чашу из дарохранительницы и приблизился к аналою. С просветленным ликом встал с колен король, раздался голос нунция: «Ессе Agnus Dei...»¹, и Ян Казимир причастился.

Некоторое время стоял он со склоненною главою на коленях, наконец поднялся, устремил очи горè и воздел руки.

В костеле наступила вдруг такая тишина, что не слышно стало дыхания толпы. Все поняли, что пришла торжественная минута, что король принесет сейчас какой-то обет; все напрягли слух, а король все стоял с воздетыми руками; наконец взволнованным, но звучным, как колокол, голосом он стал говорить:

— О, приснодева, великая мать бога во плоти! Я, Ян Казимир, милостью сына твоего, царя царей и моего владыки, и милостью твоею король, припадая к святым твоим стопам, с тобою сей союз заключаю: тебя избираю я ныне покровительницей моею и владычицей моего королевства. Себя, королевство мое Польское, Великое княжество Литовское, Русское, Прусское, Мазовецкое, Жмудское, Лифляндское и Черниговское, войско обоих народов и простой люд вверяю особой опеке твоей и защите, о милосердии твоем в горе, постигшем ныне королевство мое, и о помощи против врага смиренно молю...

Тут король упал на колени и молчал с минуту времени, а в костеле тишина стояла мертвая. Поднявшись с колен, продолжал король:

— Памятуя великое твое милосердие и долгом своим почитая и впредь служить тебе ревностно, обет приношу

¹ «Се агнец господень...» (лат.)

тебе от своего имени и от имени епископов, сенаторов, шляхты и простого люда поспешествовать тому, чтобы во всех землях королевства Польского люди сыну твоему Христу, Спасителю нашему, поклонялись и хвалу ему воздавали, и, коль сжалится он над рабом своим и победу ниспошлет мне над шведами, все силы приложить к тому, чтобы в державе моей до скончания века торжественно праздновал народ годовщину победы и славил милость Божию и твою, приснодева!

И снова прервал король свою речь и опустил на колени. Шепот пробежал по костелу, но тотчас стих, ибо снова раздался голос короля, дрожавший теперь от волнения и скорби, но еще более громкий:

— С великим сокрушением в сердце моем сознаю, что по справедливости более прочих карает меня господь, вот уже семь лет насылая всякие бедствия на королевство мое за то, что стонет в ярме убогий пахарь и обиды терпит от солдатства, и обет даю, заключивши мир, все силы приложить вкуче с сословиями Речи Посполитой, дабы с той поры люд не терпел никаких утеснений, а поелику, милосердая мать, владычица моя и царица, ты меня на сие вдохновила, внемли гласу моему и по благодати своей моли сына твоего, дабы помог мне исполнить сей обет.

Внимали этим королевским словам духовенство, сенаторы, шляхта, черный народ. Великое рыдание поднялось в костеле; но первый стон вырвался из мужицкой груди, мужики взрыдали первыми, а уж тогда плач стал всеобщим. Все воздели руки к небу, повторяя с рыданием в голосе: «Аминь! Аминь Амины!» — и тем свидетельствуя, что и они присоединяют к королевскому обету свои сердца и свои голоса. Горé вознеслись сердца, и все побратались в эту минуту, объединенные любовью к Речи Посполитой и ее покровительнице. Радость неопишемая, словно чистое пламя, зажглась на всех лицах, ибо во всем костеле не осталось теперь никого, кто усомнился бы в том, что бог поразит шведов.

А король по окончании службы под гром мушкетов и пушек и при громких кликах: «Победа! Победа! Да здравствует король!» — проследовал в замок и там союз сей с небом утвердил вместе с Тышовецкой конфедерацией.

ГЛАВА XXXI

После этих торжеств, словно крылатые птицы, стали слетаться во Львов разные вести. Были они и старыми и свежими, и очень и не очень радостными, но все воодушевляли народ. Прежде всего как пожар охватила страну Тышовецкая конфедерация. Все, в ком душа жива, присоединялись к ней, и шляхта и крестьянство. Города поставляли повозки, ружья, пехоту, евреи — деньги. Никто не смел противиться ее универсалам, даже самые ленивые садились на конь. Пришел также грозный манифест Виттенберга, направленный против конфедерации. Огнем и мечом грозил маршал тем, кто вступал в союз. Но манифест его подействовал так, как если бы кто вздумал гасить огонь, засыпая его порохом. Чтобы еще больше ополчить народ на шведов, множество списков манифеста, верно, не без ведома короля, было раскидано по Львову, и просто не поддается описанию, что народ творил с этими бумажками; довольно того, что ветер носил по львовским улицам срамно измаранные ключья, а школяры в вертепах показывали, на радость всем, «Виттенбергову конфузию» и пели при этом песню, которая начиналась словами:

Виттенберг, старичишка,
Удирай, как зайчишка,
За свое море!

Как дадим тебе туза,
Потеряешь рейтузы,
На свое горе!

Как бы во исполнение этих слов Виттенберг сдал в Кракове команду отважному Вирцу, а сам поспешил в Эльблонг, где пребывал шведский король с королевой, проводя время в пирах и радуясь в душе тому, что стал властителем столь славной державы.

Пришли во Львов и донесения о том, что Тыкоцин пал, и возрадовались умы. Достоинно удивления, что толки о падении замка начались еще до прибытия гонцов. В одном только не соглашались люди: одни уверяли, что виленский воевода умер, другие — что попал в неволю; но все твердили, что Сапега во главе крупных сил ушел уже из Подляшья и вступил в Люблинское воеводство, чтобы соединиться с гетманами, что по дороге бьет он шведов и силы его растут с каждым днем.

Прибыли, наконец, посланцы и от самого Сапеги, и много их явилось, не более и не менее, как целую хоругвь прислал воевода в распоряжение короля, желая тем самым почет оказать государю, охранить особу его ото всяких случайностей, а может статься, и себя тем самым возвысить в его глазах.

Привел эту хоругвь молодой полковник Володыёвский, которого хорошо знал король. Ян Казимир тотчас повелел ему явиться, обнял его и сказал:

— Здравствуй, славный солдат мой! Много воды утекло с той Норы, как потеряли мы тебя из виду. Пожалуй, под Берестечком видали мы тебя в последний раз, и весь ты был обагрён тогда кровью.

Пан Михал склонился к ногам короля и ответил:

— И в Варшаве был я потом, государь, в замке, с нынешним киевским каштеляном.

— И все служишь по-прежнему? Не хочется дома отдохнуть от трудов?

— В беде была Речь Посполитая, да и имянье мое пропало в нынешней смуте. Негде голову мне приклонить, государь! Но я об том не тужу, думаю, что служба твоему королевскому величию и отчизне — это первый мой долг.

— Побольше бы нам таких, побольше! Не бесчинствовал бы тогда у нас враг. Бог даст, придет время и для наград, а теперь рассказывай, что сделали вы с виленским воеводой?

— Виленский воевода пред судом всевышнего. Мы на последний приступ шли, когда он испустил дух.

— Как же это было?

— Вот донесение витебского воеводы,— ответил пан Михал.

Король взял послание Сапеги, стал было читать, но тут же прервал чтение.

— Пишет мне пан Сапега,— сказал он,— что великая литовская булава *vacat*¹, ошибается он, не *vacat*, ибо ему мы ее отдаем.

— Нет никого более достойного, чем воевода,— промолвил пан Михал,— и до самой твоей смерти все войско будет благодарить за это тебя, государь.

¹ Свободна (лат.).

Улыбнулся король солдатскому этому простодушью и продолжал читать.

Через минуту он вздохнул.

— Самой прекрасной жемчужиной мог бы стать Радзивилл в нашей короне, когда бы не иссушили душу его гордыня и ересь, в коей он коснел. Свершилось! Пути господни неисповедимы! Радзивилл и Опалинский почти в одно и то же время... Суди же их, господи, не по грехам их, но по милосердию твоему.

Наступило молчание, затем король снова стал читать письмо.

— Спасибо пану воеводе,— сказал он, кончив читать,— за то, что прислал он нам целую хоругвь и самого доблестного, как он пишет, рыцаря. Но я тут в безопасности, а такие рыцари более всего на поле брани надобны. Отдохнете немного, а там я пошлю вас на подмогу пану Чарнецкому, ибо на него шведы направят главный удар.

— Довольно уж мы под Тыкоцином отдохали, государь! — с жаром воскликнул маленький рыцарь.— Нам бы теперь только коней покормить, и мы еще сегодня можем тронуться в путь, чтобы с паном Чарнецким упиться вражеской кровью! Великое это счастье лик твой зреть, государь, но и на шведов спешим мы ударить.

Лицо короля прояснилось. Отеческой добротой засветилось оно, и, глядя с удовольствием на неукротимого маленького рыцаря, король сказал:

— Это ты первый бросил свою полковничью булаву к ногам покойного князя воеводы?

— Не первый я ее бросил, государь, а в первый и, даст бог, в последний раз нарушил воинскую дисциплину.— Запнулся тут пан Михал и прибавил через минуту: — Нельзя было иначе!

— Верно! — подтвердил король.— Тяжелые это были времена для тех, кто знает, что такое воинская дисциплина; но и в покорстве надо знать границы, ибо, преступив их, можно совершить грех. Много ли офицеров осталось с Радзивиллом?

— В Тыкоцине мы из офицеров нашли одного только пана Харлампа,— не ушел он сразу от князя, а потом в беде не захотел его оставить. Одна только жалость удерживала его, ибо сердцем был он с нами. Еле мы его выходили, такой уж был у них голод, а он еще у себя

ото рта отымал, чтобы князя покормить. Сюда, во Львов, приехал он теперь о милосердии молить ваше величество, да и я челом бью за него, государь, ибо человек он заслуженный и храбрый солдат.

— Пусть придет ко мне,— сказал король.

— Должен он, государь, важную весть тебе объявить, а слышал он ее от князя Богуслава в Кейданах. Жизни и безопасности священной для нас твоей особы весть эта attinet.

— Уж не о Кмицице ли?

— Да, государь!

— А ты знавал его?

— Знавал и дрался с ним, но где он сейчас, не знаю.

— Что ты о нем думаешь?

— Государь, коль отважился он на такое, нет таких мук, которых этот человек был бы достоин,— он исчадие ада.

— Вот и неправда! — сказал король.— Поклеп взвел на него князь Богуслав. Но не будем говорить об этом, скажи мне, что ты знаешь об его прошлом?

— Всегда это был великий воитель, несравненный в ратном искусстве. Другого не сыщешь такого, кто был бы способен с несколькими сотнями учинять такие набегии, как он учинял на Хованского, страху задавши всему его войску. Это просто чудо, что шкуру с него не содрали и барабан ею не обтянули! Дай тогда кто-нибудь Хованскому самого князя в руки, он не был бы так рад, как если бы ему Кмицица поднесли в подарок. Ведь до того дело дошло, что Кмициц на серебре Хованского едал, на его ковре спал, на его санях и на его коне еживал. Но потом стал он и своих утеснять, страх как своевольничал, instar пана Лаща мог приговорами епанчу себе подшить, а в Кейданах вовсе пал.

Тут Володыёвский подробно рассказал обо всем, что произошло в Кейданах.

Ян Казимир слушал его со вниманием, а когда пан Михал стал описывать, как Заглоба сперва сам бежал из плена, а потом и товарищей всех освободил, король так и покатился со смеху.

— *Vir incomparabilis! Vir incomparabilis!*¹ — повторял он.— А он тут с тобою?

¹ Муж несравненный! (лат.).

— Готов явиться по твоему приказу, государь! — ответил Володыёвский.

— Улисса превзошел этот шляхтич! Приведи же его к столу, пусть потешит нас, да заодно и Скшетуских пригласи, а теперь рассказывай дальше, что ты еще знаешь про Кмицица?

— Из писем, что нашли мы при Рохе Ковальском, узнали мы, что в Биржи везли нас на смерть. Князь преследовал нас, окружить пытался, да не удалось ему нас захватить. Ускользнули мы благополучно. Мало того, неподалеку от Кейдан Кмицица поймали, и я его тотчас приговорил к расстрелу.

— Ого! — сказал король. — Вижу, у вас там в Литве скоро дело делалось!

— Но пан Заглоба велел прежде его обыскать, посмотреть, нет ли при нем каких писем. Вот и нашлось при нем письмо гетмана, и узнали мы, что, когда бы не он, не стали бы нас в Биржи везти, а тут же в Кейданах на месте и расстреляли.

— Вот видишь! — прервал его король.

— Нехорошо было после этого посягать на его жизнь. Отпустили мы его. Что он делал потом, я не знаю, но Радзивилла он тогда еще не оставил. Бог его знает, что это за человек! Об ком угодно можно себе сужденье составить, но только не об этом сумасброде. Остался он с Радзивиллом, а потом взял да куда-то и уехал. И ведь опять нас упредил, что князь в поход на нас идет из Кейдан. Что говорить, великую оказал он нам этим услугу, ведь, не остереги он нас, виленский воевода стал бы нападать на наши хоругви, что и не подозревали об опасности, и истребил бы их по одиночке. Я и сам не знаю, что думать. Коль поклеп взвел на него князь Богуслав...

— А вот мы это сейчас увидим, — сказал король. И хлопнул в ладоши. — Кликни пана Бабинича, — велел он пажу, который показался на пороге.

Паж исчез, а через минуту дверь королевского покоя растворилась, и на пороге показался пан Анджей. Володыёвский сперва не узнал его, так осунулся и побледнел молодой рыцарь, — никак не мог оправиться он после боя в ущелье. Смотрел на него пан Михал и не узнавал.

— Удивительное дело! — воскликнул он. — Когда б не эта худоба лица да ты бы, государь, другое имя не назвал, я бы сказал, что это пан Кмициц.

Улыбнулся король и говорит Кмицицу:

— Рассказывал мне тут этот маленький рыцарь об одном страшном смутьяне, которого звали так, но я очевидно ему показал, что ошибся он в своем приговоре, и уверен, что ты, пан Бабинич, подтвердишь, что я прав.

— Государь,— поспешно сказал Бабинич,— одно твое слово скорей очистит этого смутьяна, нежели мои самые тяжкие клятвы!

— И голос тот же,—с возрастающим удивлением продолжал маленький полковник,—только вот этого шрама на лице не было.

— Милостивый пан,— ответил ему на эти слова Кмициц,— шляхетская голова тот же реестр, на котором всякий раз пишет саблей новая рука! Но есть на этой голове и твоя отметина, узнаешь?

Он нагнул при этих словах свою подбритуую голову и пальцем показал на длинную белесую полосу у самого чуба.

— Моя рука! — крикнул Володыёвский.— Это Кмициц!

— А я тебе говорю, ты Кмицица не знаешь! — прервал его король.

— Как не знаю, государь?

— Ты знал великого воителя, но своевольника и припешника Радзивилла, соучастника измены. А перед тобою ченстоховский Гектор, которому Ясная Гора после ксендза Кордецкого больше всего обязана спасеньем, перед тобою защитник отчизны и мой верный слуга, который собственной грудью меня прикрыл и жизнь мне спас, когда в ущелье я к шведам попал, все равно как в стаю волков. Вот он каков этот новый Кмициц! Знакомься же с ним и люби его, он того стоит!

Володыёвский только усы желтые топорщил, не зная, что и сказать, а король прибавил:

— И знай, он не только ничего не обещал князю Богуславу, но первый на нем отомстил Радзивиллам за козни, увез его и хотел отдать в ваши руки.

— И нас о виленском воеводе предостерег! — воскликнул маленький рыцарь.— Какой же ангел обратил тебя, милостивый пан?

— Обнимитесь же! — сказал король.

— Ты, милостивый пан, сразу мне полюбілся! — сказал Кмициц.

Они упали друг другу в объятия, а король глядел на них и губы от удовольствия надувал, по своему обыкновению. Кмициц так сердечно тискал в объятиях маленького рыцаря, что даже вверх его поднял, как котенка, и не скоро снова поставил на ноги.

После этого король ушел на ежедневный совет, тем более что во Львов прибыли оба коронных гетмана, чтобы войско собрать и повести его потом на помощь Чарнецкому и конфедератским отрядам, которые под предводительством разных военачальников носились по всей стране.

Рыцари остались одни.

— Пойдем ко мне на квартиру,— предложил Володыёвский.— Ты найдешь там Скшетуских и пана Заглобу. Они рады будут услышать, что рассказал мне король. Там и пан Харламп.

Но на лице Кмицица изобразилось страшное беспокойство.

— Много ли людей нашли вы при князе Радзивилле? — спросил он маленького рыцаря.

— Из офицеров при нем был один только Харламп.

— Господи! Да не про военных я спрашиваю! Из женщин кого вы нашли?

— Я догадываюсь, о ком ты хочешь спросить,— покраснел маленький рыцарь.— Панну Билевич князь Богуслав увез в Тауроги.

Кмициц на глазах изменился в лице: он побледнел как пергамент, снова вспыхнул и снова стал еще бледней. Слова не мог он вымолвить, только ноздри раздувал, видно, дух у него совсем занялся. Потом сжал обеими руками виски и в неистовстве заметался по покою.

— Горе мне, горе мне, горе! — повторял он без конца.

— Пойдем, Харламп тебе поподробней обо всем расскажет, он был при этом,— сказал Володыёвский.

ГЛАВА XXXII

Выйдя от короля, оба рыцаря шагали в молчании. Володыёвский не хотел, а Кмициц не мог говорить, такая мука терзала его и душила злоба. С трудом протискивались они сквозь толпу народа, который запрудил все

улицы, привлеченный слухом о прибытии отряда татар из числа тех, которых хан обещал прислать королю; отряд уже подошел и должен был вступить в город, чтобы явиться к королю на поклон. Маленький рыцарь шагнул впереди. Кмициц, как оглашенный, летел за ним, надвинув на глаза колпак, толкая по дороге людей.

Только когда стало посвободней, пан Михал схватил его за руку и сказал:

— Опомнись, пан Анджей! Не надо отчаиваться! Этим делу не поможешь!

— Я не отчаиваюсь,— ответил Кмициц,— я крови его жажду.

— Будь уверен, ты найдешь его между врагами отчизны!

— Тем лучше! — с жаром сказал пан Анджей.— Но если я даже в костеле найду его...

— Ради Христа, не кощунствуй! — прервал его маленький полковник.

— Этот изменник доведет меня до греха!

На минуту они умолкли.

— Где он теперь? — нарушил молчание Кмициц.

— Может статься, в Таурогах, а может, и нет. Харламп лучше знает.

— Идем же!

— Да тут уж недалеко. Хоругвь за городом стоит, а мы здесь, и Харламп с нами.

Но Кмициц стал вдруг задыхаться, точно они взбирались на крутую гору.

— Очень я еще слаб,— заметил он.

— Тем более надо тебе сохранять спокойствие, ведь с каким рыцарем придется иметь дело.

— Я уж однажды имел с ним дело, вот что он мне оставил на память!

С этими словами Кмициц показал на рубец через все лицо.

— Расскажи, как было дело, а то король об этом только вскользь упомянул.

Кмициц начал рассказывать, и хоть зубами скрежетал и даже колпаком оземь хлопнул, однако отвлекся от мыслей о своей беде и немного успокоился.

— Знал я, что ты человек отчаянный,— сказал маленький рыцарь,— но чтоб отважиться Радзивилла увезти из его же хоругви, этого я и от тебя не ждал.

Тем временем они дошли до квартиры. Оба Скшетуские, Заглоба, арендатор из Вонсоши и Харламп смотрели как раз крымские тулупчики, что принес показать торговец-татарин. Харламп, который лучше всех знал Кмицица, признал его с первого взгляда.

— Господи Иисусе! — крикнул он, уронив тулупчик.

— С нами крестная сила! — вскричал и арендатор из Вонсоши.

Не успели они опомниться, а Володыёвский и говорит:

— Позвольте представить вам ченстоховского Гектора и верного королевского слугу, что за веру, отчизну и короля проливал свою кровь.

Тут все еще больше изумились, а достойный пан Михал с жаром стал рассказывать все, что слышал от короля о заслугах Кмицица и от самого Кмицица о похищении князя Богуслава.

— Стало быть, — кончил он свой рассказ, — все это неправда, что наговорил об этом рыцаре князь Богуслав! Мало того, нет у князя злее врага, чем пан Кмициц; князь и панну Биллевич увез из Кейдан, чтобы так ли, этак ли отомстить ему.

— А нам этот кавалер спас жизнь и конфедератские хоругви предупредил, что князь воевода идет на них! — воскликнул Заглоба. — Да при таких заслугах все старые грехи должны быть забыты! Но боже ты мой, как хорошо, что не один он пришел, а с тобой, пан Михал, как хорошо, что и хоругвь наша за городом, ведь страх как люты на него лауданцы, не успел бы он рот раскрыть, а уж они бы его подняли на сабли.

— От всей души приветствуем тебя, милостивый пан, как брата и будущего соратника! — сказал Ян Скшетуский.

Харламп за голову хватался.

— Да он никогда не пропадет! — говорил он. — Из любой пучины на берег выплывет, да еще со славой!

— Ну не говорил ли я вам! — кричал Заглоба. — Я, как увидал его в Кейданах, сразу подумал: вот это воитель, это удалец! Помните, мы ведь тотчас стали с ним целоваться. Моих это рук дело, что разбит Радзивилл, но и его, и ведь это меня бог осенил в Биллевичах, что не дал я его расстрелять! Друзья мои, что за толк в сухой беседе, гость-то какой у нас, чего доброго, он подумает, что мы вовсе ему и не рады.

Услышав такие речи, Жендзян тотчас отослал татарина с тулупчиками, а сам со слугою стал готовить угощение.

Но Кмициц об одном только думал: как бы разузнать у Харлампа, нельзя ли вызволить Оленьку.

— Ты был при этом, милостивый пан? — спрашивал он.

— Да я почти что и не выезжал из Кейдан, — ответил носач. — Приехал князь Богуслав к нашему князю воеводе. К ужину так разоделся, что прямо ослепил нас, и видно было, что панна Биллевич очень ему приглянулась, только что не мурлыкал он от удовольствия, как кот, когда его гладят по шерстке. Но о коте говорят, будто и он богу молится, а князь Богуслав коль и маливался, так разве что одному сатане. А уж как он к ней подольщался, как за нею увивался, как мелким бесом рассыпался...

— Оставь! — сказал Володыевский. — Не видишь разве, что сердце ему растравляешь.

— Нет, нет! Говори, милостивый пан, говори! — воскликнул Кмициц.

— Толковал он тогда за столом, — продолжал Харламп, — будто и самим Радзивиллам не зазорно на шляхтянках жениться, будто и сам бы он предпочел на шляхтянке жениться, чем на какой-нибудь там принцессе, из тех, что сватали ему французские король и королева; фамилий ихних я не упомянул, такие они были чудные, будто кто тебе в лесу на гончих порскал...

— Ну что ты об этом толкуешь! — остановил его Заглоба.

— Ясное дело, для того это он говорил, чтоб прельстить панну Биллевич. Мы тотчас это смекнули, переглядываться да перемигиваться стали, справедливо рассудив, что хочет он на невинность ее покушаться.

— А она? Что же она? Что же она? — лихорадочно спрашивал Кмициц.

— Ну, она шляхтянка, благородная девица, знает, как держать себя, и виду не подала и не глянула на него, но когда он о тебе заговорил, тут она так и впилась в него глазами. А как сказал он, будто ты посулился ему за сколько-то дукатов похитить короля и живым или мертвым доставить шведам, страх что тут сделалось с нею. Мы уж думали, помрет; но так она на тебя разгневалась, что превозмогла женскую слабость. А как начал он рас-

писывать, с каким презрением отверг твои посулы, тут уж она превозносить его стала и с благодарностью на него поглядывать, а потом уж и руки не отняла, как повел он ее из-за стола.

Кмициц закрыл руками глаза.

— Спасите, спасите, кто в бога верует! — твердил он. И вдруг сорвался с места. — Прощайте!

— Как? Куда ты? — преградил ему путь Заглоба.

— Король меня отпустит, и я поеду и разыщу его! — ответил Кмициц.

— Ах ты, господи! Да погоди же ты! Ты еще толком обо всем не узнал, а чтоб разыскать его, у тебя еще довольно времени. Да и с кем ты поедешь? Где его разыщешь?

Кмициц, быть может, и не стал бы слушать старика, но так ослаб он от ран, что силы совсем оставили его, он упал на скамью и, привалившись спиною к стене, закрыл глаза.

Заглоба дал ему чару вина, он схватил ее дрожащими руками и, проливая вино на бороду и грудь, осушил ее залпом.

— Ничего ты еще не потерял, — сказал ему Скшетуский, — осторожность только тут нужна, потому славен он и знатен. Станешь действовать сгоряча, опрометчиво, и панну Биллевич можешь погубить, и себя.

— Выслушай же Харлампа до конца, — сказал Заглоба.

Кмициц стиснул зубы.

— Не знаю я, по доброй ли воле уезжала панна Биллевич, — продолжал Харлампа, — не был я при этом. Знаю, что россиенский мечник не хотел ехать, его сперва уговаривали, потом в арсенале заперли и, наконец, позволили беспрепятственно уехать в Биллевичи. Что греха таить, в плохих руках девушка, — ведь о молодом князе рассказывают, что и басурман не охоч так до женского пола, как он. Коль ему какая приглянется, так, будь она хоть замужем, он и на то не посмотрит.

— Горе мне! Горе! — повторил Кмициц.

— Вот шельма! — крикнул Заглоба.

— Мне только то удивительно, что князь воевода так вот сразу и отдал ее Богуславу! — заметил Скшетуский.

— Не искушен я в этих делах, — ответил ему Харлампа, — могу только вам повторить, что офицеры говори-

ли, верней сказать, Ганхоф, который знал все агсапа¹ князя. Собственными ушами слышал я, как кто-то крикнул при нем: «Нечем будет Кмицицу поживиться после молодого князя!» А Ганхоф и говорит: «Больше политики во всем этом деле, нежели любви. Ни одной, говорит, девки князь Богуслав не пропустит; но коль даст ему панна Биллевич отпор, в Таурогах он ничего не сможет ей сделать, потому шум поднимется, а там княгиня с дочкой, и Богуслав на них очень должен оглядываться, жениться он хочет на молодой княжне. Тяжело, говорит, будет ему добродетельным прикидываться, но в Таурогах придется».

— Ну, теперь у тебя должен камень с души свалиться! — воскликнул Заглоба. — Не грозит, видно, девушке беда.

— Так зачем он ее увез? — взревел Кмициц.

— Хорошо, что ты ко мне обратился с этим вопросом, — ответил ему Заглоба, — потому я мигом соображу там, где другой год целый будет голову ломать. Зачем он ее увез? Не стану отрицать, наверно, она ему приглянулась; но увез он ее для того, чтобы всех Биллевицей держать в узде, — род это сильный и многочисленный, и боялись Радзивиллы, чтобы не вздумал он бунтовать против них.

— Может статься, что и так! — промолвил Харламп. — Но я одно только могу сказать: в Таурогах князю придется уняться, и не сможет он там *ad extrema*² отважиться.

— Где он сейчас?

— Князь воевода говорил в Тыкоцине, что он, верно, у шведского короля в Эльблонге, за подмогой должен он был туда поехать. В Таурогах его сейчас нет, это точно, гонцы его там не нашли. — Тут Харламп обратился к Кмицицу: — Хочешь, милостивый пан, послушать простого солдата, так скажу я тебе, что я обо всем этом думаю: коль постигла панну Биллевич беда иль сумел князь любовь в ней пробудить, незачем тебе туда ехать; а коль ничего с нею не случилось, так уедет она вместе с княгиней в Курляндию, а там всего безопасней, и лучше места для девушки ты в Речи Посполитой

¹ Тайны (лат.).

² На крайности (лат.).

не сыщешь,— ведь все наши земли полыхают в огне войны.

— Коль такой ты смельчак, как люди толкуют и как сам я считаю,— вмешался в разговор Скшетуский,— надо тебе сперва Богуслава схватить, а будет он в твоих руках, ты тогда свое возьмешь.

— Где он сейчас? — снова спросил Кмициц у Харлампа.

— Я уж тебе говорил,— ответил носач,— да ты так убит горем, что себя не помнишь. Думаю, в Эльблонге он и, верно, двинется с Карлом Густавом в поход на пана Чарнецкого.

— Тогда тебе лучше всего двинуться с нами к пану Чарнецкому, там ты с Богуславом можешь очень скоро встретиться,— сказал Володыёвский.

— Спасибо вам за добрый совет! — воскликнул Кмициц.

И он стал торопливо со всеми прощаться; никто его не удерживал, все понимали, что, если человек удручен, до беседы ли тут за чарой. Один только Володыёвский сказал:

— Провожу-ка я тебя до дворца архиепископа, а то на тебе лица нет, чего доброго, упадешь на улице.

— Я тоже тебя провожу! — сказал Ян Скшетуский.

— Тогда пойдемте все! — предложил Заглоба.

Рыцари пристегнули сабли, надели теплые бурки и вышли. Народу на улицах было еще больше. То и дело встречались отряды вооруженной шляхты, толпы солдат, магнатской и шляхетской челяди, армян, евреев, украинских мужиков из предместий, сожженных во время двух набегов Хмельницкого.

Купцы стояли у дверей своих лавок; в окнах домов видны были головы любопытных. Все говорили, что татары уже прибыли и скоро пойдут через город на поклон к королю. Очень всем любопытно было поглазеть на них,— невиданное это было зрелище, чтоб татары да мирно проезжали по улицам города. Не такими видал раньше Львов этих гостей, а верней, видал он их только за городскими стенами и то несметные полчища, а кругом пылающие предместья и деревни. Теперь татары должны были въехать в город как союзники в войне со шведами. Наши рыцари с трудом прокладывали себе дорогу в толпе. То и дело из улицы в улицу пробегал крик: «Едут!

Едут!» — и тогда люди сбивались такой плотной толпой, что шагу нельзя было ступить.

— А давайте-ка построим! — сказал Заглоба. — Давай, пан Михал, вспомним недавнее время, когда мы с тобой не со стороны, а прямо в бельма глядели этим разбойникам. Я у них и в неволе побывал. Говорят, будущий хан похож на меня как две капли воды. Ну да что вспоминать старые проказы!

— Едут! Едут! — снова раздались крики.

— Добру наставил бог собачьих детей, — продолжал Заглоба, — что на помощь они нам идут, а не опустошать здешние земли. Это просто чудо! Говорю вам, когда бы за каждого басурмана, которого эта старая рука послала в пекло, да прощался один грех, так меня б уже к лику святых причислили и вам пришлось бы поститься в канун моего дня, а то прямо на небо вознесся бы я на огненной колеснице.

— А помнишь, милостивый пан, как мы с Валадинки, из Рашкова в Збараж ехали?

— Как не помнить! Там еще дерево выворотило, так ты в яму упал, а я гнался за ними сквозь чащу до самой дороги. А как воротились мы за тобой, все рыцари диву дались, потому под каждым кустиком по басурману лежало.

Володыёвский помнил, что все было как раз наоборот, от удивления у него и язык отнялся; но тут в толпе чуть не в сотый раз закричали:

— Едут! Едут!

Поднялся общий крик, потом все стихло и все головы обратились в ту сторону, откуда должны были появиться татары. Но вот издали послышалась оглушительная музыка, толпа раздалась, стала жаться к стенам, и в конце улицы показались первые татарские наездники.

— Смотрите, да у них и музыка с собой, небывалое это дело у татар!

— Хотят себя показать! — заметил Ян Скшетуский. — А впрочем, и у них бывают музыканты, они играют, когда войско где-нибудь надолго становится табором. Однако же, конница, должно быть, отборная.

Наездники приблизились тем временем и стали проезжать мимо. Впереди на пегом коне ехал смуглый, словно в дыму прокопченный татарин с двумя пищалями во рту. Откинув назад голову и закрыв глаза, он перебирал пальцами по своим дудкам, извлекая из них звуки рез-

кие, пронзительные и такие частые, что ухо едва могло их уловить. За ним ехали два татарина, неистово гремя медными бубенцами, насаженными на набалдашники палиц; вслед за ними несколько человек оглушительно били в медные тарелки; другие выбивали дробь на литаврах, а иные, по казацкой моде, играли на торбанах, и все, кроме одних только дудочников, пели, верней, завывали дикую песню, сверкая при этом глазами и ворочая белками. За этой нестройной и дикой капеллой, которая двигалась мимо жителей Львова, словно те звери в сказке, что все сорвались вдруг с места и с ревом устремились вперед, выступал по четыре человека в шеренге целый конный отряд примерно в четыреста сабель.

Это и впрямь ехал в распоряжение польского короля отборный, как на погляденье, отряд легкой конницы, присланный ханом в почет королю и как залог. Командовал отрядом Акба-Улан, из добруджских татар, в битве самых могучих, старый и искушенный воитель, которого чтили в улусах за отвагу и жестокость. Ехал он теперь посредине, между музыкантами и самим отрядом, наряженный в алого бархата шубу на вытертом куньем меху, порядком уже обляпавшую и слишком тесную для мощной его фигуры. На животе держал он пернач, какой носили казацкие полковники. Кирпичное его лицо посинело от холодного ветра; слегка покачиваясь в высоком седле, он время от времени поглядывал по сторонам или оборачивался к своим татарам, точно не совсем был уверен, выдержат ли они при виде толп народа, женщин, детей, отворенных лавок с дорогими товарами, не бросятся ли с диким криком на все эти чудеса.

Но они ехали смиренно, как собаки на своре, что боятся арапника, и только по угрюмым и жадным взглядам можно было догадаться, что творится в душах этих варваров. Толпа народа смотрела на них с любопытством, но и с неприязнью, — так велика была в этих землях Речи Посполитой ненависть к басурманам. Время от времени в толпе кричали: «Ату! Ату их!» — точно на волков. Были, однако, такие, что возлагали на татар большие надежды.

— Очень шведы боятся их, и солдаты между собою всякие страсти про них рассказывают, а от этого еще больше трясют, — говорили они, глядя на татар.

— И не зря! — подтверждали другие. — Не рейтарам Карла воевать с татарами, особенно с добруджскими,

тем и против нашей конницы случается выстоять. Тяжелый рейтар оглянуться не успеет, как татарин его заарканит.

— Грех басурман звать на помощь! — слышались голоса в толпе.

— Грех грехом, а небось пригодятся!

— Хорош отряд! — заметил Заглоба.

Татары в самом деле были хорошо одеты: в белых, черных и пестрых тулупах шерстью наружу, за плечами черные луки покачиваются и колчаны, полные стрел, да и сабля у каждого, что даже в больших татарских отрядах не всегда бывало, ибо кто победней, не мог позволить себе такую роскошь и в рукопашном бою пользовался конской челюстью, привязанной к палице. Но прислал их хан, как уже было сказано, напоказ, так что кое у кого и самопал висел в войлочном чехле, и сидели все они на добрых конях, правда, низкорослых, худых, вислошеих и долгогривых, но в беге несравненных.

Посредине отряда шли четыре вьючных верблюда; люди думали, что во вьюках дары королю от хана; но они ошибались, хан предпочитал не давать, а принимать дары, и помощь Речи Посполитой посулил не даром.

— Дорого обойдутся нам эти *auxilia*¹, — заметил Заглоба, когда отряд проехал мимо. — Вроде бы союзники, но сколько земель они нам разорят! После них да после шведов ни одной целой крыши не останется в Речи Посполитой.

— Да, тяжел этот союз, — подтвердил Ян Скшетульский. — Уж мы-то их знаем!

— Я еще по дороге сюда слышал, — вмешался в разговор пан Михал, — будто наш король заключил такой договор, что к каждым пяти сотням ордынцев будет придан наш офицер, он-то и будет начальником, и право карать будет за ним. Иначе эти друзья и впрямь оставят только небо да голую землю.

— А как этот отряд? Что с ним сделает король?

— Этот отряд хан прислал в распоряжение короля, ну как бы в дар ему, и хоть за него тоже деньги возьмет, но с ним король властен делать, что хочет. Наверно, отошлет вместе с нами к пану Чарнецкому:

— Ну, пан Чарнецкий сумеет держать их в узде.

¹ Подкрепления (лат.).

— Разве только жить будет среди них, а то они тут же у него за спиной станут пошаливать. Наверно, и к ним тотчас приставят офицера.

— И он у них будет начальником? А что будет делать этот толстый ага?

— Коль не нападет на дурака, то будет исполнять приказы.

— Будьте здоровы, друзья, будьте здоровы! — закричал вдруг Кмициц.

— Куда это ты так заторопился?

— Хочу королю челом бить, чтобы вверил мне начальство над этим отрядом!

ГЛАВА XXXIII

В тот же день Акба-Улан явился к королю на поклон и вручил ему письма от хана, в которых тот подтверждал свое обещание двинуться со стотысячной ордою на шведов, когда ему будет уплачено вперед сорок тысяч талеров, да и первая трава покажется в полях, без чего в опустошенной стране трудно прокормить столько лошадей. Что ж до отряда, то хан посылал его теперь в знак любви своей к «дорогому брату», чтоб и казаки, которые все еще умышляли мятеж, увидели в этом явное свидетельство того, что любовь эта неизменна и что хан, как только слуха его коснется первая же весть о бунте, на все казачество обрушит гнев свой и месть.

Король милостиво принял Акба-Улана, чудного скакуна ему пожаловал и объявил, что в скором времени отошлет к пану Чарнецкому, ибо желает, чтобы и шведы убедились в том, что хан оказывает помощь Речи Посполитой. У татарина глаза загорелись, когда он услышал, что будет служить под начальством Чарнецкого, которого он помнил еще по давним украинским войнам и почитал, как и все прочие татарские аги.

Зато куда меньше ему понравилось то место в письме хана, где тот просил короля дать отряду офицера, который хорошо бы знал страну, вел бы отряд и не давал людям, да и самому Акба-Улану, грабить население и бесчинствовать. Уж конечно, Акба-Улан предпочел бы обойтись без такого покровителя; но такова была воля хана и короля, поэтому он только еще раз ударил челом королю, стараясь скрыть свое недовольство, а может, обе-

щая себе в душе, что не он будет кланяться покровителю, а покровитель ему.

Не успел удалиться татарин, не успели выйти из покоя сенаторы, как Кмициц, который во время аудиенции стоял сбоку, упал к ногам короля.

— Государь! — сказал он. — Недостоин я милости, о которой прошу тебя, но жизни она мне дороже. Позволь мне, милостивый отец мой, принять начальство над этими ордынцами и с ними тотчас двинуться в поход.

— Не могу я отказать тебе в этом, — промолвил удивленный Ян Казимир. — Лучше начальника, чем ты, мне для них не сыскать. Рыцарь тут надобен храбрый и смелый духом, чтоб умел держать их в узде, а то они тотчас и наших примутся палить да убивать. Я только решительно не согласен, чтобы ты завтра ехал, — не зажили у тебя еще раны от шведских рапир.

— Чую я, что только меня в поле обдует ветерком, и сразу вся слабость пройдет, и сила снова воротится, что ж до татар, то уж как-нибудь я с ними справлюсь, мягче воска они у меня станут.

— Но чего это ты так торопишься? Куда хочешь идти?

— На шведа, государь! Нечего мне тут больше сидеть, все, чего добивался, я уж получил: и милость твою снискал, и старые грехи ты мне простил. Пойду я к пану Чарнецкому; вместе с Володыёвским, а нет, так один, буду набеги учинять на врага, как, бывало, на Хованско-го, и верю, ждет меня удача.

— Не сомневаюсь! Но не по одной этой причине ввешься ты в поход.

— Как отцу родному, признаюсь тебе, государь, всю душу открою. Не удовольствовался князь Богуслав поклепом, что взвел на меня, увез он вдобавок из Кейдан мою девушку и держит ее в Таурогах в темнице, а может статья, и того хуже: покушается на невинность ее, на девическую честь. Государь! Ум у меня мутится, как подумаю я, в чьих руках она, бедняжка! Клянусь богом, меньше мучают меня эти раны! Да и девушка по сию пору думает, что я этому презренному псу сулил руку поднять на тебя, и последним выродком меня почитает! Нет моей мочи терпеть, государь, должен я схватить его, должен вырвать ее из его рук. Дай мне этих татар, а я поклянусь тебе, что не только об одних своих делах буду думать,

но и столько шведов уложу, что весь этот двор можно будет вымостить их головами.

— Успокойся! — сказал король.

— Когда б хотел я, государь, ради своих дел службу оставить, о защите королевского величия и Речи Посполитой забыл, стыдно было бы мне просить тебя; но тут ведь все вместе сошлось. Приспела пора шведов бить? Так я ничего другого и делать не буду! Приспела пора изменника преследовать? Так я его до самой Лифляндии, до Курляндии буду преследовать, а коль укроется он у московитов или даже за морем, в Швеции, и туда пойду за ним!

— Пришли вести, будто Богуслав вот-вот двинется с Карлом из Эльблонга.

— Так я пойду навстречу им!

— Это с таким-то отрядом? Да они шапками тебя закидают.

— У Хованского восемьдесят тысяч было, да не закидал.

— Все верное войско с паном Чарнецким. Они на пана Чарнецкого ante omnia¹ ударят!

— Вот я к пану Чарнецкому и пойду. Раз такое дело, ему спешно надо помощь послать.

— К пану Чарнецкому ты пойдешь, а вот в Тауроги с такой горстью людей не пробьешься. Все замки в Жмуди князь воевода отдал врагу, всюду шведские гарнизоны стоят, а Тауроги, сдается, на самой прусской границе, неподалеку от Тильзита.

— На самой границе, государь, но на нашей стороне, а от Тильзита в четырех милях. Отчего же не дойти? Дойду и людей не потеряю, мало того, по дороге набегит ко мне тьма храбрецов. Ты и то, государь, прими во внимание, что повсюду, где только я покажусь, все люди окрест будут садиться на конь, вставать на шведов. Я первый подниму Жмудь, коль никто другой этого не сделает. Как не доехать, когда весь край что котел кипит. Я уж привык в самое пекло лезть.

— Ты и про то не подумал, что татары, может стать, откажутся идти с тобой в такую даль?

— Ну-ка! Попробуй у меня откажись! — говорил Кмициц, сжимая зубы при одной мысли об этом. — Че-

¹ Прежде всего (лат.).

тыре сотни, что ли, их там, так все четыре прикажу вздернуть! Деревьев хватит! Попробуй только у меня взбунтуйся!

— Ендрек! — воскликнул король и, развеселясь, стал надувать губы. — Клянусь богом, не сыскать мне лучше пастыря для этих овечек! Бери их и веди, куда тебе вздумается!

— Спасибо, государь, добрый отец мой! — сказал рыцарь, обнимая колени короля.

— Когда ты хочешь ехать? — спросил Ян Казимир.

— Господи, да завтра же!

— Может статься, Акба-Улан не захочет, скажет, кони в пути притомились?

— Так я велю привязать его к моему седлу на аркане, и пешком он пойдет, коль коня ему жалко.

— Вижу я, ты с ними справишься. Но куда можно, ты с ними ладь. Ну, Ендрек, поздно уж, но завтра я хочу еще тебя повидать. А куда возьми вот этот перстень, скажи моей приверженке, что король тебе его дал и повелел ей всей душой любить верного своего слугу и защитника.

— Коль суждено мне погибнуть, — со слезами на глазах говорил молодой рыцарь, — дай бог за тебя голову сложить, государь!

Было уже поздно, и король удалился в покои, а Кмициц пошел к себе на квартиру готовиться в дорогу да подумать о том, с чего же начать, куда первым делом направить свой путь.

Вспомнил пан Анджей слова Харлампа, который уверял, что, если в Таурогах нет Богуслава, Оленьке лучше всего там оставаться: Тауроги лежат на самой границе, и в случае нужды оттуда легко бежать в Тильзит и укрыться под крыло курфюрста. Бросили шведы в беде князя виленского воеводу, авось вдову его не оставят, и если Оленька останется под ее покровительством, ничего худого с девушкой не может случиться. А в Курляндию они уедут — так и того лучше.

— Да и я со своими татарами не могу в Курляндию ехать, — рассудил пан Анджей, — ведь это уж другое государство.

Ходил он взад и вперед и обдумывал свой замысел. Время текло час за часом, а он и не вспомнил об отдыхе, и так воодушевила его мысль о новом походе, что хоть

утром он был еще слаб, чувствовал, однако, теперь, что силы к нему возвращаются и готов он хоть сейчас садиться в седло.

Слуги кончили вязать торока и собрались идти спать, когда кто-то вдруг стал скрестись в дверь.

— Кто там? — крикнул Кмициц. Затем приказал слуге: — Ступай погляди!

Тот вышел, поговорил с кем-то за дверью и тут же вернулся.

— Какой-то солдат немедленно хочет видеть тебя, пан полковник. Говорит, Сорокой звать его.

— Впусти его, да мигом! — крикнул Кмициц.

И, не ожидая, пока слуга выполнит приказ, сам бросился к двери.

— Здорово, милый мой Сорока, здорово!

Войдя в покой, Сорока первым делом хотел в ноги упасть своему полковнику, потому что был он ему скорее другом, верным и сердцем преданным слугою; но победила солдатская дисциплина, вытянулся Сорока в струнку и сказал:

— К твоим услугам, пан полковник!

— Здравствуй, милый товарищ, здравствуй! — с живостью говорил Кмициц. — А я уж думал, зарубили тебя в Ченстохове!

И он обнял Сороку, а потом и руки стал ему трясти, не роняя этим особенно своего достоинства, так как Сорока родом был из мелкой, застянковой шляхты.

Тут уж и старый вахмистр обнял колени своего господина.

— Откуда идешь-то? — спросил Кмициц.

— Из Ченстоховы, пан полковник.

— Меня искал?

— Так точно.

— От кого же вы там узнали, что я жив?

— От людей Куклиновского. Ксендз Кордецкий на радостях благодарственный молебен отслужил. Потом, когда разнеслась весть, что пан Бабинич провел короля через горы, я уж знал, что не кто иной это, как ты, пан полковник.

— А ксендз Кордецкий здоров?

— Здоров, пан полковник, только не вознесут ли его ангелы живым на небо, святой он человек.

— Это верно. Откуда же ты узнал, что я приехал с королем во Львов?

— Подумал я, пан полковник, что коль скоро ты короля провожал, то, верно, при нем должен быть, одного только опасался, не ушел ли ты уже в поход, не опоздаю ли я.

— Завтра уйду с татарами!

— Вот и хорошо, что поспел я вовремя, а то ведь я, пан полковник, денег тебе привез два полных пояса: тот, что на мне был, да твой, и самоцветы прихватил, что мы у бояра с колпаков сняли да что взял ты с казною Хованского.

— Доброе было время, когда мы эту казну захватили; но, верно, там уж немного осталось, я ведь и ксендзу Кордецкому добрую пригоршню оставил.

— Не знаю я, сколько там; но ксендз Кордецкий говорил, что две большие деревни можно за них купить.

С этими словами Сорока подошел к столу и стал снимать с себя пояса с деньгами.

— А камушки тут, в жестянке, — прибавил он, положив рядом с поясами солдатскую манерку.

Не говоря ни слова, Кмициц вытряхнул из пояса в пригоршню кучу дукатов и, не считая, протянул вахмистру:

— На вот тебе!

— Кланяюсь в ноги, пан полковник! Эх, будь у меня в дороге хоть один такой дукатик!

— А что? — спросил рыцарь.

— Совсем ослаб я от голода. Поди сыщи теперь человека, который дал бы тебе кусок хлеба, все боятся, так что к концу я уж еле тащился.

— Боже мой, да ведь все эти деньги были при тебе!

— Не посмел я взять без позволения, — коротко ответил вахмистр.

— Держи! — сказал Кмициц, подавая ему еще одну пригоршню. Затем кликнул слуг: — Эй, вы там! Дать ему поесть, да мигом, не то головы оторву!

Слуги со всех ног бросились исполнять приказание, и вскоре перед Сорокой стояла большущая миска копченой колбасы и фляга с водкой.

Солдат так и впился в еду жадными глазами, губы и усы у него затряслись, однако сесть при полковнике он не осмелился.

— Садись, ешь! — приказал Кмициц.

Не успел он кончить, как сухая колбаса захрустела на крепких зубах Сороки. Слуги и глаза вытаращили.

— Пошли прочь! — крикнул Кмициц.

Парни опрометью бросились вон, а Кмициц, чтобы не мешать верному слуге, стал в молчании быстрым шагом ходить по покою. А Сорока, наливая себе чару горелки, всякий раз искоса поглядывал, не супит ли полковник бровь, и только тогда, отворотясь к стене, опрокидывал чару.

Ходил, ходил Кмициц, пока сам с собой не начал разговаривать.

— Только так! — бормотал он. — Надо его послать туда! Велю передать ей... Нет, ничего из этого не выйдет! Не поверит она! Письмо читать не станет, я ведь для нее изменник и пес. Пусть лучше не показывается он ей на глаза, пусть только высмотрит, что там творится, и даст мне знать. Сорока! — окликнул он внезапно солдата.

Тот так стремительно вскочил, что чуть было не опрокинул стол, и вытянулся в струнку.

— Слушаюсь, пан полковник!

— Ты человек верный и в беде не растеряешься. В дальнюю дорогу поедешь, но уж голода не будешь терпеть.

— Слушаюсь, пан полковник!

— В Тауроги поедешь, на прусскую границу. Панна Биллевич живет там... у князя Богуслава. Узнаешь, там ли князь... и за всем будешь следить. На глаза панне не лезь, разве все само собой устроится. Тогда скажешь ей и клятву в том дашь, что это я проводил короля через горы и что состою я при его особе. Не поверит она тебе, надо думать, потому очернил меня князь, сказал, будто покушался я на жизнь короля, а это все ложь, достойная собаки!

— Слушаюсь, пан полковник!

— На глаза, говорю тебе, ей не лезь, потому все едино она тебе не поверит. Но коль случай выйдет, скажи все, что знаешь. А сам смотри да слушай. Да берегись князя, если там он, а то признает тебя он сам или кто-нибудь из его двора, на кол тебя посадят!

— Слушаюсь, пан полковник!

— Я бы старого Кемлича послал, да он на том свете, зарубили его в ущелье, а сыны больно глупы. Со мной они пойдут. Ты бывал в Таурогах?

— Нет, пан полковник.

— Поедешь в Щучин, а оттуда вдоль прусской границы до самого Тильзита. Тауроги прямо против Тильзита лежат, в четырех милях от него, на нашей стороне. Оставайся в Таурогах, покуда все не выведаешь, а потом воротись назад. Найдешь меня там, где я буду в ту пору. Татар спрашивай да пана Бабинича. А теперь ступай к Кемличам спать! Завтра в путь!

После этих слов Сорока ушел, а пан Анджей еще долго не ложился, пока наконец не сморила его усталость. Бросился он тогда на постель и уснул крепким сном.

На следующий день он встал освеженный и бодрый. Весь двор был уже на ногах, все занялись обычными повседневными делами. Пан Анджей отправился сперва в канцелярию за назначением и грамотой, а потом навестил Субахазн-бей, начальника ханского посольства во Львове, и имел с ним долгий разговор.

Во время этого разговора дважды запускал пан Анджей руку в свою калиту. Зато, когда он уходил, Субахазн-бей обменялся с ним колпаками и вручил ему пернач из зеленых перьев и несколько локтей такого же зеленого шелкового шнура.

Забрав подарки, молодой рыцарь пошел к королю, который только что приехал от обедни, и еще раз упал к его ногам, после чего вместе с Кемличами и челядью направился прямо за город, где стоял со своим отрядом Акба-Улан.

При виде его старый татарин прижал руку ко лбу, губам и груди, но когда узнал, кто он такой и с чем явился к нему, сразу нахмурился, насупился и принял надменный вид.

— Коль скоро король прислал тебя проводником ко мне, — сказал он Кмицицу на ломаном русинском языке, — будешь мне дорогу показывать, хоть я и без тебя попаду, куда надобно, а ты человек молодой и неопытный.

«Это он загодя хочет место мне указать, — подумал Кмициц, — ну да ладно, покуда дело терпит, буду разводить учтивости».

— Акба-Улан, — сказал он вслух, — не проводником прислал меня к тебе король, а начальником. И вот что я тебе скажу: тебе же лучше будет, коль не станешь ты противиться королевской воле.

— Не король у татар владыка, а хан! — возразил татарин.

— Акба-Улан, — повторил с ударением пан Анджей, — хан подарил тебя королю, как подарил бы ему собаку иль сокола, так что ты не противься, а то, неровен час, посадят тебя, как собаку, на цепь.

— Аллах! — в изумлении воскликнул татарин.

— Ну, не гневи же меня! — сказал Кмициц.

Но глаза татарина налились кровью. Некоторое время он слова не мог выговорить; жилы на затылке у него вздулись, рукой он схватился за кинжал.

— Заколю! Заколю! — крикнул он сдавленным голосом.

Но и пан Анджей, человек по натуре очень горячий, хоть и дал себе слово ладить с татариним, тоже потерял терпенье. Он вскочил как ужаленный, всей пятерней ухватил татарина за жидкую бороденку и, задрвав ему голову так, точно хотел показать что-то на потолке, процедил сквозь зубы:

— Слушай, ты, козий сын! Ты бы хотел, чтоб над тобой не было начальника, ты бы хотел жечь, грабить и резать! Ты желаешь, чтобы я проводником был у тебя! Вот тебе проводник! Вот тебе проводник!

И стал бить его головой об стенку.

Когда он наконец отпустил его, татарин совсем уж очумел и за нож больше не хватался. Дав волю буйному своему нраву, Кмициц невольно открыл наилучший способ убеждения восточного человека, привыкшего к рабству. В разбитой голове татарина, при всей злобе, которая душила его, тотчас сверкнула мысль, что, наверно, этот рыцарь могучий властелин, коль так с ним обошелся, и он трижды повторил окровавленными губами:

— Багадыр! ¹ Багадыр! Багадыр!

Кмициц тем временем надел на голову колпак Субахази-бея и выхватил из-за пояса зеленый пернач, который нарочно заткнул за пояс сзади, за спиной.

— Взгляни сюда, раб! — сказал он. — И сюда!

¹ Богатырь (*татарск.*).

— Аллах! — в ужасе воскликнул Улан.

— И сюда! — прибавил Кмициц, вынимая из кармана шнур.

Но Акба-Улан уже лежал у его ног и бил челом.

Спустя час татары длинной вереницей тянулись по дороге, ведущей из Львова к Великим Очам, а Кмициц на чудном игренем коне, подаренном ему королем, оббегал весь отряд, как овчарка оббегает отару овец. Со страхом и удивлением смотрел Акба-Улан на молодого рыцаря.

В воителях татары хорошо разбирались, с первого же взгляда они поняли, что под водительством этого молодца немало прольют крови и немалую захватят добычу, и шли охотно, с песнями и музыкой.

А у Кмицица ретивое взыграло, когда окинул он взор этих людей, что казались лесными зверями в своих вывороченных наизнанку тулупах и верблюжьих кафтанах. В лад с конским бегом покачивалась волна диких голов, а он считал эти головы и размышлял о том, что же можно будет предпринять с такой силой.

«Отряд особенный, — думал он, — словно бы волчью стаю ведешь; но с этими волками всю Речь Посполитую можно пройти и всю Пруссию потоптать копытом. Погоди же, князь Богуслав!»

Обуяли тут его хвастливые мысли, ибо великий он был охотник похвастать.

«Не обидел меня бог умишком, — говорил он себе. — Вчера было у меня всего двое Кемличей, а нынче сотни скачут за мной. Ты мне только дай пуститься в пляс, — тысяча, а то и две будут у меня таких разбойников, что их и старые товарищи не постыдились бы. Погоди же, князь Богуслав! — Однако через минуту он прибавил для успокоения совести: — К тому же отчизне и королю сослужу я немалую службу!»

И он совсем развеселился. Очень его потешало, что при виде его войска шляхта, евреи, мужики, даже поряточные кучки ополченцев в первую минуту не могли скрыть своего ужаса. А тут еще на улице таяло, и сырой туман стоял в воздухе. То и дело какой-нибудь путник, подъехав поближе к отряду и заметив внезапно, кто движется на него из мглы, вскрикивал:

— Слово стало плотью!

— Господи Иисусе Христе! Мать пресвятая богородица!

— Татары! Орда!

Однако татары спокойно проезжали мимо бричек, груженых телег, табунов и путников. Не так бы все это было, когда бы позволил начальник; но самовольничать они не смели, потому что в минуту отъезда собственными глазами видели, как сам Акба-Улан держал начальнику стремя.

Между тем и Львов уж растаял в туманной дали. Татары перестали петь, и отряд медленно подвигался вперед в облаках пара, поднимавшегося от лошадей. Вдруг позади послышался конский топот.

Через минуту показались два всадника. Один из них был Володыёвский, другой — арендатор из Вонсоши. Оба они, минуя отряд, скакали прямо к Кмицицу.

— Стой! Стой! — кричал маленький рыцарь.

Кмициц придержал коня.

— Это ты, пан Михал?

Володыёвский тоже осадил коня.

— Здорово! — сказал он. — Письма от короля! Одно тебе, другое витебскому воеводе.

— Да я ведь не к пану Сапеге, я к пану Чарнецкому еду.

— А ты сперва прочитай письмо!

Кмициц взломал печать и стал читать:

«От гонца, что прибыл сейчас от пана витебского воеводы, узнали мы, что пан воевода не может идти в Малую Польшу и вновь принужден воротиться в Подляшье по той причине, что князь Богуслав не остается при шведском короле, а с великою силой замыслил ударить на Тыкоцин и пана Сапегу. *Magna pars*¹ своих сил пан Сапега принужден держать в гарнизонах, а посему повелеваем тебе идти со своим татарским отрядом на помощь пану воеводе. Понеже отвечает сие и твоему желанию, нет нужды нам приказывать тебе торопиться. Другое письмо вручишь пану воеводе; в нем поручаю я верного нашего слугу пана Бабинича милости воеводы, но прежде всего покровительству всевышнего. *Ян Казимир, король*».

— О, боже! О, боже! — воскликнул Кмициц. — Какая добрая весть! Право, не знаю, как и благодарить мне за нее короля и тебя, пан Михал!

¹ Большую часть (лат.).

— Я сам вызвался поехать, — сказал маленький рыцарь. — Видел я, как ты мучаешься, и жаль мне стало тебя, да и хотел я, чтобы письма наверняка попали в твои руки.

— Когда же прискакал гонец?

— Мы у короля на обеде были, я, оба Скшетуские, пан Харламп и пан Заглоба. Ты и представить себе не можешь, что вытворял за обедом пан Заглоба, как расписывал беспомощность Сапеги и свои собственные заслуги. Король хохотал до слез, а оба гетмана прямо катались со смеху. И вдруг вошел слуга с письмом, король тотчас на него крикнул: «Пооди прочь, может, это худые вести, не порти мне удовольствия!» Но как узнал, что гонец от пана Сапеги, тотчас стал читать письмо. Вести и впрямь оказались худые, подтвердился слух, который давно уж носился: курфюрст нарушил все присяги и окончательно соединился с шведским королем против законного монарха.

— Вот еще один враг, точно и без того было их мало! — воскликнул Кмициц. И сложил молитвенно руки. — Великий боже! Коли пан Сапега на одну только неделю отпустит меня в Пруссию, к курфюрсту, и явишь ты мне свою милость, до десятого колена будут помнить пруссаки меня и моих татар!

— Может статься, вы туда и поедете, — сказал пан Михал, — но сперва придется вам бить Богуслава, — ведь ему после измены курфюрста дали людей и позволили выступить в поход в Подляшье.

— Стало быть, встретимся мы с ним, как бог на небе, встретимся! — сверкая очами, говорил Кмициц. — Да когда бы ты привез мне грамоту, что назначен я виленским воеводой, и то бы больше меня не обрадовал!

— Король тоже сразу вскричал: «Вот и поход для Ендрека готов, теперь довольна будет его душенька!» Он слугу хотел послать вдогонку, но я говорю ему: сам, мол, поеду, вот и прошусь еще с ним.

Кмициц перегнулся на коне и схватил маленького рыцаря в объятия.

— Родной брат столько бы для меня не сделал! Дай бог как-нибудь отблагодарить тебя!

— Ну-ну! Я ведь хотел тебя расстрелять!

— А я лучшего и не заслуживал. И толковать не

стоит! Да пусть меня в первой же битве зарубят, коль среди всех рыцарей я люблю кого-нибудь больше тебя!

Тут они снова стали обниматься, а на прощанье Володыёвский сказал:

— Берегись же, берегись Богуслава! С ним шутки плохи!

— Одному из нас уже смерть на роду написана!

— Ладно!

— Эх, вот если бы ты, лихой рубака, да открыл мне свои секреты! Что поделаешь! Недосуг мне! Но помогут мне и без того ангелы, и увижу я его кровь, разве только раньше закроются навек мои очи.

— Бог в помощь! Счастливого пути! Задайте же там жару изменникам пруссакам! — сказал Володыёвский.

Он махнул рукой Жендзяну, который расписывал Акба-Улану прежние победы Кмицица над Хованским, и они оба поскакали назад, во Львов.

Кмициц же повернул на месте свой отряд, как возница поворачивает телегу, и направился прямо на север.

ГЛАВА XXXIV

Хоть и умели татары, особенно из Добруджи, сразиться в открытом поле с мужами битвы, однако всего милее было им убивать безоружных, брать в ясыр женщин и мужчин и прежде всего грабить. Несносно томителен был поэтому путь для отряда, который вел Кмициц, ибо под железной его рукой дикие воины вынуждены были обратиться в покорных овец, держать ножи в ножнах, а погашенные труты и свернутые арканы в заплочных мешках. На первых порах роптали татары.

Под Тарногородом человек двадцать отстали умышленно, чтобы в Хмелевске «пустить петуха» да потешиться с бабами. Но Кмициц, который подошел уже к Томашову, увидев первый же отсвет пожара, воротился назад и приказал виновным перевешать друг друга. Он так подчинил уже своей воле Акба-Улана, что тот не только не оказал сопротивления, но торопил осужденных, чтобы скорее вешали они друг друга, не то «багадыр» будет гневаться. С того времени шли «овечки» спокойно и по деревням и местечкам сбивались плотной толпой, чтобы, упаси бог, не пало на кого-ни-

будь из них подозрение. Как ни жестоко расправился с виновными Кмициц, не пробудил он, однако, у татар ни неприязни к себе, ни ненависти; такое уж было его счастье, что люди, ему подвластные, всегда одинаково и любили своего предводителя, и страшились его неукротимого нрава.

Правда, пан Анджей и татар не давал в обиду. Незадолго до этого Хмельницкий и Шереметев подвергли этот край опустошительному набегу, и на предновье трудно было тут с кормами; но для татар все было вовремя и всего было вдоволь, а когда в Криницах жители стали оказывать сопротивление и не захотели дать никаких кормов, пан Анджей несколько человек приказал сечь кнутом, а подстаросту с маху рассек своим топориком.

Очень это привлекло к нему сердца ордынцев; слушая со злорадством, как кричат под кнутом криничане, они говорили между собою:

— Э, сокол наш Кмита не даст своих овечек в обиду!

Одно можно сказать, люди и кони не то что не похудали, а, напротив, нагуляли тело. Старый Улан, у которого еще больше выросло брюхо, со все большим удивлением поглядывал на молодого рыцаря и только языком щелкал.

— Вот если б аллах сына мне дал, хотел бы я такого иметь. Не пришлось бы на старости с голоду помирать в улусе! — твердил он.

Кмициц время от времени тыкал его кулаком в брюхо и приговаривал:

— Слушай, кабан! Коль не распорют тебе шведы пузо, все кладовые в него упрячешь!

— Где они тут, эти шведы? Арканы у нас истлеют, луки иструхляеют, — отвечал ему Улан, стосковавшийся по войне.

Они и в самом деле сперва ехали по таким местам, куда не ступала нога шведа, а потом по таким, где вражеские гарнизоны уже были выгнаны конфедератами. Зато везде им встречались отряды шляхты, большие и маленькие, которые с оружием в руках шли в разных направлениях; такие же отряды крестьян не однажды грозно преграждали им путь, и часто трудно было втолковать людям, что перед ними друзья и слуги польского короля.

Наконец отряд дошел до Замостья. Татары поразились, увидев эту могучую крепость, нечего говорить, как велико было их изумление, когда они узнали, что она выдержала осаду всего войска Хмельницкого.

Ян Замойский, владетель майората, в знак великой милости и благоволения позволил им войти в город. Их пропустили через Щебжешинские ворота, которые иначе назывались Кирпичными, ибо двое других были сложены из камня. Сам Кмициц не ждал найти что-либо подобное, он не мог прийти в себя от удивления при виде широких улиц, вытянувшихся по итальянскому образцу в ровную линию, при виде великолепного собора, академии, замка, стен, мощных пушек и всякого крепостного «вооружения». Мало кто из магнатов мог равняться с внуком великого канцлера и мало какая крепость — с Замостьюем.

Но больше всего восхитились ордынцы, когда увидели армянскую часть города. Они жадно вдыхали запах сафьяна, который шел от больших сафьяновых заводов, открытых предприимчивыми пришельцами из Каффы, а взоры их манили пряности, восточные ковры, пояса, сабли с насечкой, кинжалы, луки, турецкие чары и всякие драгоценности.

Сам коронный чашник очень понравился Кмицицу. Он и впрямь был настоящим царьком в своем Замостье, этот красавец в самой поре, хоть и несколько потрепанный оттого, что в годы первой молодости не очень смирял свои страсти. Всегда любил он прекрасный пол, но здоровье все-таки не настолько расстроил, чтоб и на лице пропала веселость. По сию пору не был он женат, и хоть самые знатные дома в Речи Посполитой рады были бы с ним породниться, уверял, что ни в одном из них не может найти себе невесту, чтоб была достаточно хороша собою. Нашел он красавицу позже, молодую француженку, которая хоть и любила другого, польстилась на богатство и без колебаний отдала руку магнату, не предполагая, что тот, кем она пренебрегла, возложит некогда королевский венец на свою и ее главу.

Остротою ума хозяин Замостья не отличался, — ровно столько было ему его отпущено, сколько самому было надобно, не более того. Чинов и званий не искал, — они сами плыли ему в руки, а когда друзья упрекали его за то, что нет у него честолюбия, он отвечал им:

— Это неправда, больше его у меня, нежели у тех, что на поклон ходят. Зачем мне обивать королевские пороги? В Замостье я не просто Ян Замойский, а Себепан Замойский.

Потому и звали его повсюду Себепаном, а он этим прозвищем был очень доволен. Охотно прикидывался он простаком, хотя получил тонкое воспитание и молодость провел в путешествиях по чужим странам. Сам называл себя простым шляхтичем и любил поговорить об убожестве своего «сословия», то ли для того, чтобы другие ему возражали, то ли для того, чтобы не заметили собственного его убожества. Но в общем был он человек достойный и, не в пример многим другим, верный сын Речи Посполитой.

Понравился он Кмицицу, но и Кмициц ему по душе пришелся, пригласил он молодого рыцаря к себе в замок, в покой, и принимал радушно, потому что любил, чтобы славил его и за гостеприимство.

В замке пан Анджей познакомился со многими знатными людьми, прежде всего с княгиней Гризельдой Вишневецкой, сестрой Замойского и вдовой великого Иеремии, в свое время самого богатого магната во всей Речи Посполитой, который, однако, все свои несметные владения утратил во время казацких набегов, так что вдова его жила в Замостье у брата из милости.

Но столь надменна, величественна и добродетельна была княгиня Гризельда, что Замойский первый не знал, как ей угодить, а уж боялся ее пуще огня. Не бывало случая, чтобы не исполнил он ее воли или без ее совета предпринял какой-нибудь важный шаг. Придворные болтали, что это она правит Замостью, войском, казною и своим братом старостой; но вдова не желала воспользоваться своим преимуществом, всецело предавшись безутешной скорби и воспитанию сына.

Сын ее недавно приехал на короткое время из Вены, где находился при дворе, и теперь гостил у матери. Это был юноша в самой весенней поре; но тщетно искал Кмициц на его челе тех примет, что должен был бы иметь сын великого Иеремии.

Наружность у князя была самая располагающая: полное круглое лицо, робкий взгляд выпуклых глаз, толстые, влажные, как у всех лакомок, губы, густые, цвета воронова крыла волосы до плеч. Только и уна-

следовал он от отца что эти черные волосы да смуглость лица.

Кто знал его ближе, уверяли Кмицица, что человек он благородной души и больших способностей, обладает замечательной памятью и может изъясняться на многих языках и только некоторая неповоротливость, медлительность ума да прирожденная неумеренность в еде составляют недостатки этого в других отношениях незаурядного юноши.

Побеседовав с молодым князем, пан Анджей убедился, что он не только понятлив и рассудителен, но и имеет дар привлекать к себе людей. После первого же разговора он полюбил юношу любовью, исполненной сострадания. Дорого дал бы он за то, чтобы вернуть сироте тот блистательный удел, который должен был быть предназначен ему по праву и рождению.

Но за первым же обедом он убедился и в том, что не зря болтают люди об обжорстве Михала. Молодой князь, казалось, ни о чем больше не думал, кроме как об еде. Его выпуклые глаза беспокойно следили за каждой переменной кушанья, а когда ему подносили блюдо, он накладывал себе на тарелку огромные куски и ел, чавкая с той жадностью, с какой едят одни только обжоры. Облако еще большей печали повисло в эту минуту на мраморном лице княгини. Кмицицу стало так неловко, что он отвернулся и устремил взор на Замойского.

Но калушский староста не смотрел ни на князя Михала, ни на своего гостя. Кмициц проследил его взгляд, и из-за плеча княгини Гризельды взору его явилось истинно волшебное виденье, которого до сих пор он не замечал.

Это была девичья головка с личиком белым, как кипень, румяным, как роза, и прелестным, как картинка. Локоны сами вились у панны на лбу, быстрыми глазками она так и стреляла по офицерам, сидевшим рядом со старостой, не минуя при этом и самого Себепана; наконец она остановила свой взор на Кмицице и смотрела на него с такой игривостью и с таким упорством, словно хотела заглянуть в самую глубину его сердца.

Но Кмицица нелегко было смутить; он тут же сам стал предерзко смотреть в ее глазки, затем толкнул в бок сидевшего рядом с ним Щурского, поручика надворной панцирной хоругви Замойского, и спросил вполголоса:

— Что это за птичка такая синичка с пышным хвостом?

— Осторожней, милостивый пан, коль не знаешь, о ком говоришь! — резко оборвал его Щурский. — Никакая это не синичка, это панна Анна Борзобогатая-Красенская! И ты иначе ее не зови, а то как бы не пришлось тебе пожалеть о своей *grubianitatis* ¹.

— А ты разве не знаешь, что долгохвостая синичка прехорошенькая пташка, и нет потому ничего зазорного в этом прозвании, — засмеялся Кмициц. — Однако и осерчал же ты, влюблен, знать, по уши!

— А кто тут в нее не влюблен? — сердито проворчал Щурский. — Сам пан староста все глаза проглядел, вертится как на шиле.

— Вижу я, вижу!

— Что ты там видишь! Пана старосту, меня, Грабовского, Столонгевича, Коноядского, драгуна Рубецкого, Печингу, всех она с ума свела. И тебя сведет, коль подольше тут побудешь. Ей для этого двадцати четырех часов хватит!

— Э, сударь! Меня и за двадцать четыре месяца не сведешь!

— Как так? — возмутился Щурский. — Ты что, железный?

— Нет! Но если у тебя украли из кармана последний талер, тебе нечего бояться воров...

— Ну разве что так! — промолвил Щурский.

А Кмициц вдруг приуныл, собственные вспомнил печали и перестал обращать внимание на черные глазки, которые все упорней глядели на него, словно вопрошая: «Как звать тебя и откуда взялся ты тут, молодой рыцарь?»

А Щурский ворчал:

— И не смигнет! Вот так и меня пронзала, покуда не пронзила в самое сердце! А теперь и смотреть в мою сторону не хочет!

Кмициц встряхнулся от задумчивости.

— Чего же, черт бы вас побрал, никто из вас не женится на ней!

— Друг дружке мешаем!

¹ Шляхтич на латинский лад переименовал польское слово «grubianstwo», то есть «грубость».

— Ну, этак девка и вовсе может маком сесть! А впрочем, грушка-то, пожалуй, еще с белыми зернышками.

Щурский глаза на него вытаращил; наклонясь, он с самым таинственным видом шепнул ему на ухо:

— Толкуют, ей уж все двадцать пять, клянусь богом! Еще до набега этих разбойников казаков она стояла при княгине Гризельде.

— Скажи на милость! А я бы ей больше шестнадцати не дал, ну от силы восемнадцать!

А меж тем «чаровница» догадалась, видно, что об ней идет разговор, потому что опустила ресницы и только бочком, осторожно стреляла на Кмицица глазками, все будто спрашивая: «Кто ты такой, красавчик? Откуда взялся?»

А он и ус стал неволью крутить.

После обеда калушский староста, который, видя тонкое обхождение Кмицица, и сам обходился с ним не как с обычным гостем, взял молодого рыцаря под руку.

— Пан Бабинич,— обратился он к нему,— ты говорил мне, что ты из Литвы?

— Да, пан староста.

— Скажи мне, не знаешь ли ты в Литве Подбипент?

— Знать я их не знаю, потому их никого и на свете уж нет, по крайней мере тех, что звались Зервикаптуарамми. Последний под Збаражем голову сложил. Это был самый великий рыцарь из всех, что дала нам Литва. Кто не знает у нас Подбипент!

— Слышал про то и я, а спрашиваю вот почему: тут у моей сестры одна панна живет, зовут ее Борзобогатая-Красенская. Девушка благородная. Она невестой была пана Подбипенты, убитого под Збаражем. Сирота круглая, без отца, без матери, и сестра ее очень любит, да и я, будучи опекуном сестры, тем самым и эту девушку опекаю.

— Милое дело! — прервал его Кмициц.

Калушский староста улыбнулся, и глазом подмигнул, и языком прищелкнул.

— Что? Марципанчик, розанчик, а?

Однако тут же спохватился и принял важное выражение.

— Изменник! — сказал он полушутя, полусерьезно.— Ты на удочку хотел меня поймать, а я чуть было не выдал свою тайну.

— Какую? — спросил Кмициц, бросив на него быстрый взгляд.

Тут Себепан окончательно понял, что в остроте ума ему не сравниться с гостем, и повернул разговор на другое.

— Этот Подбипента, — сказал он, — фольварки ей отписал в ваших краях. Не помню я их названий, чудные какие-то: Балтупе, Сыруцяны, Мышьи Кишки, словом, все, что у него было. Право, всех не припомню... Пять или шесть фольварков.

— Не фольварки это, а скорее поместья. Подбипента был очень богат, и коль заполучит эта панна когда-нибудь все его состояние, сможет держать собственный двор и мужа искать себе среди сенаторов.

— Что ты говоришь? Ты знаешь эти деревни?

— Я знаю только Любовичи и Шепуты, они лежат рядом с моими поместьями. Рубежи одних только лесных угодий тянутся мили на две, а земель да лугов еще на столько же.

— Где же это?

— В Витебском воеводстве.

— Ну это далеко! Дело выеденного яйца не стоит, ведь тот край в руках врага.

— Выгоним врага и до поместий дойдем. Но у Подбипент и в других краях есть поместья, особенно большие в Жмуди, я это хорошо знаю, у меня самого там клочок земли.

— Вижу, и ты не пустосум, состояньице немаленькое.

— Никакого теперь от него толку. Но чужого мне не надобно.

— Дай же совет, как поставить девушку на ноги.

Кмициц рассмеялся.

— Да уж коль давать, так лучше об этом, не об чем другом. Самое лучшее попросить помочь пана Сапегу. Ежели примет он в девушке участие, то как витебский воевода и первый человек в Литве много может для нее сделать.

— Он бы мог разослать трибуналам письма, что имения отписаны Борзобогатой, чтобы родичи Подбипенты не зарились.

— Так-то оно так, но ведь трибуналов сейчас нет, да и у пана Сапеги голова другим занята.

— Можно было бы отвезти к нему девушку и опеку передать над нею. Будет она у него на глазах, так он для нее скорее что-нибудь сделает.

Кмициц с удивлением посмотрел на старосту.

«Что это он решил от нее избавиться?» — подумалось ему.

Староста между тем продолжал:

— В стане жить у воеводы, в его шатре, ей не пристало, но он мог бы оставить ее со своими дочками.

«Что-то мне невдомек,— снова подумал Кмициц.— Да в опеке ли тут дело?»

— Вся беда в том, что время нынче беспокойное, трудно отсылать ее в те края. Пришлось бы несколько сот людей с нею отправить, а я не могу оголять Замостье. Найти бы кого, кто доставил бы ее целой и невредимой. Вот ты бы, к примеру, мог это сделать, все едино ведь едешь к пану Сапеге. Я бы дал тебе письма, а ты бы мне дал слово рыцаря, что доставишь ее целой и невредимой.

— Мне везти ее к пану Сапеге? — удивился Кмициц.

— Разве это так уж неприятно? Пусть бы даже в дороге дело у вас дошло до любви!

— Эге-ге! — сказал Кмициц.— Любовью-то моей уж другая владеет и хоть ничем мне за нее не платит, а все менять ее я не думаю.

— Тем лучше, тем спокойней я вверю ее твоему попечению.

Наступила минута молчания.

— Ну как? Не возьмешься? — спросил староста.

— С татарами я иду.

— Мне говорили, что эти татары боятся тебя пуще огня. Ну как, не возьмешься?

— Гм!.. Отчего не взяться, отчего же, вельможный пан, не сослужить тебе службу. Да вот...

— Знаю! Ты думаешь, надо чтоб княгиня дала на то свое согласие. Она позволит, как пить дать позволит! Ведь она, представь себе, подозревает меня...

Тут староста что-то долго шептал Кмицицу на ухо, а вслух закончил:

— Страх как она на меня за это разгневалась, а я и вовсе присмирел, потому чем с бабами воевать, так уж лучше, чтоб шведы под Замостью стояли. Но теперь у нее будет лучший довод, что ничего дурного я не замышляю, коль скоро сам хочу услать девушку. Удивится она,

да, очень! Ну, так при первом же удобном случае я поговорю с нею.

С этими словами староста отошел, а Кмициц поглядел ему вслед и пробормотал:

— Расставляешь ты, пан староста, какие-то сети, и хоть цель мне неясна, однако западню я хорошо вижу, потому и ловец из тебя страх какой неискусный.

Староста был доволен собой, хотя понимал, что сделана только половина дела; оставалась другая, такая трудная, что при одной мысли о ней он просто трусил и сомненье брало его: надо было получить позволение княгини Гризельды, а сурового нрава ее и пронизательного ума староста очень боялся.

Однако, раз начав дело, он хотел поскорее довести его до конца, поэтому на следующий день после обедни, завтрака и смотра наемной немецкой пехоты направился в покои княгини.

Он застал сестру за вышиванием ризы для собора. Ануся за спиной у нее мотала развешанный на двух стульцах шелк; другой моток розового цвета она повесила себе на шею и, бегая вокруг стульцев, быстро свивала нить, так что только ручки мелькали.

У старосты глаза замаслились при виде ее; однако он тотчас придал своему лицу важное выражение и, поздоровавшись с княгиней, словно бы вскользь сказал:

— А пан Бабинич, что приехал сюда с татарами, литвин. Человек, видно, богатый и очень учтивый, а уж рыцарь прямо прирожденный. Ты заметила его, сестра?

— Ты же сам мне его и представил,— равнодушно уронила княгиня.— Лицо у него приятное, и с виду он храбрый рыцарь.

— Я его о поместьях расспрашивал, что панне Борзобогатой завещаны. Он говорит, что это состояние, равное чуть ли не радзивилловскому.

— Дай бог Анусе получить это наследство! Легче ей будет сиротство переносить, а потом и старость,— ответила княгиня.

— Вот только одно *regiculum*, как бы дальняя родня не завладела им. Бабинич говорит, что витебский воевода, если захочет, может этим делом заняться. Достойный он человек и к нам весьма расположен, я бы ему и родную дочь не побоялся доверить... Надо только, чтобы он письмо послал в трибуналы да объявил об опеке. Но Ба-

бинич уверяет, что для этого панне Анне самой придется туда поехать.

— Куда? К пану Сапеге?

— Или к его дочкам, но самой придется, чтобы про форма¹ утвердиться в правах на наследство.

Это «утверждение в правах про форма» воевода просто выдумал, справедливо полагая, что княгиня примет фальшивую монету за настоящую.

Подумав с минуту времени, она сказала:

— Как же ей сейчас ехать, когда по пути всюду шведы?

— Я получил весть, что из Люблина они ушли. Весь край по эту сторону Вислы свободен.

— Да кто же отвезет Ганку к пану Сапеге?

— Да хоть бы тот же Бабинич.

— С татарами? Побойся бога, брат, ведь это дикий и жестокий народ!

— Я совсем не боюсь,— сделала реверанс Ануся.

Но княгиня Гризельда уже поняла, что брат явился к ней с каким-то готовым умыслом; она услала Анусию и испытующе на него посмотрела.

— Эти ордынцы,— сказал он словно бы про себя,— трепещут перед Бабиничем. Он их вешает за малейшее неповиновение.

— Не могу я дать согласие на такую поездку,— объявила княгиня.— Девушка она честная, но ветрена и влюбляет в себя походя. Ты сам это прекрасно знаешь. Никогда бы я не вверила ее попечению молодого и к тому же неизвестного человека.

— Ну там-то его знают, да и кто не слышал о Бабиничах, людях родовитых и достойных! — (Первый пан староста о них и не слыхивал!) — В конце концов,— продолжал он,— ты бы могла дать ей для сопровождения какую-нибудь степенную женщину, вот и decorum² был бы соблюден. За Бабинича я ручаюсь. К тому же невеста у него в тех краях, и влюблен он в нее, по его же словам, смертельно. А кто влюблен, тому проказы нейдут на ум. Все дело в том, что другой такой случай вряд ли скоро представится, а у девушки состоянье может пропасть, и на старости она может остаться без крова.

¹ По форме (лат.).

² Приличие (лат.).

Княгиня перестала вышивать, подняла голову и снова устремила на брата пронизательный взгляд.

— Почему тебе так хочется услатить ее отсюда?

— Почему мне хочется? — опустил староста глаза.— Да вовсе мне не хочется!

— Ян! Ты уговорился с Бабиничем покуситься на ее честь?

— Вот тебе на! Этого только недоставало! Да ты сама прочтешь письмо, которое я напишу пану Сапеге, и свое приложишь. А я одно только тебе обещаю, что шагу не ступлю из Замостья. Наконец, ты сама поговоришь с ним, сама попросишь взяться за это дело. Раз ты меня подозреваешь, знать ничего не хочу.

— Почему же ты настаиваешь, чтобы она уехала из Замостья?

— Потому что добра ей желаю и богатства. Наконец, так и быть, откроюсь тебе! Надо мне, чтоб уехала она из Замостья. Надоели мне твои подозрения, не нравится мне, что вечно ты хмуришься, вечно на меня косишься. Надеялся я, что посодействую отъезду девушки и наилучшее *argumentum*¹ представлю против твоих подозрений. Право, с меня довольно! Не школяр я и не повеса, что ночью крадется под окно возлюбленной. Скажу тебе больше: офицеры передрались из-за нее готовы, саблями друг другу грозятся. Ни покоя, ни порядка, ни надлежащей службы. С меня довольно! Ну что ты на меня уставилась? Коли так, поступай как знаешь, а за Михалом сама следи, это уж не моя, а твоя забота.

— За Михалом? — изумилась княгиня.

— Я про девушку ничего не могу сказать. Кружит она ему голову не больше, чем прочим, но коль ты не видишь, что он глаз с нее не сводит, что влюблен в нее по уши, одно скажу тебе: Купидон не ослепляет так, как материнская любовь.

Княгиня нахмурилась и побледнела.

Увидев, что он попал наконец в самую точку, староста хлопнул себя по коленям и сказал:

— Вот оно дело какое, сестра! А мне-то что. Пусть себе Михалек помогает ей мотать шерсть, пусть млеет, пусть томится, пусть подглядывает в замочную скважину! Мое дело сторона! Да и то сказать, состояние большое,

¹ Довод (лат.).

родом она шляхтянка, а я выше шляхты себя не ставлю... Что ж, твоя воля! Летами вот только он не вышел, да и это не моя забота.

С этими словами староста встал, весьма учтиво поклонился сестре и собрался уходить.

У княгини кровь прилила к лицу. Гордая дама во всей речи Посполитой не видела партии, достойной Вишневецкого, а за границей разве только среди австрийских принцесс. Как раскаленное железо, обожгли ее слова брата.

— Ян! — сказала она. — Погоди!

— Сестра, — ответил калушский староста, — я хотел, *primo*¹, дать тебе довод, что ты напрасно меня подозреваешь, *secundo*², что подозревать надо кое-кого другого. Теперь поступиай как знаешь, мне больше сказать нечего.

С этими словами Замойский поклонился и вышел.

ГЛАВА XXXV

Калушский староста не прилгнул, когда сказал сестре о любви князя Михала: как и вся молодежь, вплоть до придворных пажей, князь тоже был влюблен в Анусю. Но не такой уж пылкой была эта любовь и уж вовсе не предприимчивой, так, род сладкого томленья, а не тот порыв страсти, когда сердце жаждет вечного обладания предметом любви. Для такой жажды у Михала было слишком мало энергии.

И все же это чувство очень испугало княгиню Гризельду, мечтавшую о блестящей будущности для сына.

В первую минуту она просто поразились, когда узнала, что староста договорился вдруг об отъезде Ануси; теперь же душа ее была настолько потрясена грозящей сыну опасностью, что она об этом и думать забыла. Разговор с сыном, который бледнел и дрожал и ударился в слезы, еще не успев ни в чем ей признаться, утвердил ее в мысли, что опасность над ним нависла грозная.

Однако не сразу усыпила она совесть, и только тогда, когда Ануся, которой хотелось свету повидать и людей посмотреть, а может, и голову вскружить красавцу ры-

¹ Во-первых (лат.).

² Во-вторых (лат.).

царю, упала к ее ногам и стала молить позволить ей уехать, княгиня не нашла в себе сил, чтобы отказать ей.

Правда, Ануся слезами обливалась при мысли о разлуке со своей госпожой, заменившей ей мать; но хитрая девушка сразу смекнула, что, прося о разлуке, она тем самым отводит от себя всякие подозрения в том, будто она с каким-то заранее обдуманном намерением кружит голову молодому князю или даже самому старосте.

Желая убедиться, не в сговоре ли брат с Кмицицем, княгиня велела пану Анджею явиться к ней. Обещание старосты шагу не ступить из Замостья несколько ее успокоило, и все же она пожелала поближе познакомиться с человеком, который будет сопровождать Анусю.

Разговор с Кмицицем успокоил ее совершенно.

Серые глаза молодого шляхтича глядели так открыто и правдиво, что нельзя было в нем сомневаться. Он сразу признался княгине, что любит другую и потому нет у него охоты до шалостей. Наконец, он дал ей слово кавалера, что охранит девушку от любой опасности, разве только прежде сам сложит голову.

— Благополучно доставлю я ее к пану Сапеге, потому староста говорит, что враг уже ушел и из Люблина. Ну а там и думать о ней не хочу. И не потому, что отказываюсь я служить твоей милости, нет, я всегда готов пролить свою кровь за вдову величайшего из воителей, гордости всего народа. А потому, что свои у меня там нелегкие дела и не знаю, цел ли я останусь.

— Да больше ничего и не надобно,— ответила ему княгиня, — только доставить ее к пану Сапеге, а уж пан воевода не откажет мне в том, чтобы взять ее под свое покровительство.

Она протянула рыцарю руку, которую он поцеловал весьма почтительно, и сказала ему на прощанье:

— Будь же осторожен, пан, будь осторожен! Не смотри на то, что врагов нет в этом краю.

Последние слова смутили Кмицица; но некогда было ему подумать над ними, потому что его тут же поймал староста.

— Что ж, дорогой мой,— весело сказал он ему,— увозишь из Замостья его главное украшеньё?

— Да, но по вашей воле,— возразил Кмициц.

— Стереги же ее хорошенько. Лакомый это кусочек! Всяк бы рад отбить ее!

— Попробуй только! Сунься! Я дал княгине слово кавалера, а слово для меня вещь святая!

— Ну, это я только так, в шутку сказал! Нечего тебе бояться и соблюдать особую осторожность.

— И все-таки я попрошу у тебя, вельможный пан, какую-нибудь крытую карету, обшитую железом.

— Да хоть две тебе дам! Но ведь не сейчас же ты едешь?

— Нет, нет, я тороплюсь! И так уж тут засиделся.

— Тогда отправь сперва своих татар в Красностав. А я нарочного туда пошлю, чтобы там для них все приготовили, а тебе своих солдат дам, они проводят тебя до самого Красностава. Ничего дурного тут с тобой не может случиться, мои это земли. Отборных немецких драгун дам тебе, народ это смелый, и места здешние они знают. Да и дорога до самого Красностава прямая, как стрела.

— А зачем мне тут оставаться?

— Подольше с нами побудешь, гость ты у нас желанный, я бы год целый рад тебя не отпускать. К тому же за табунами послал я в Переспу, может, и для тебя найдется скакун, что не выдаст, поверь мне, в бою!

Кмициц быстро взглянул старосте в глаза, затем, словно приняв вдруг какое-то решение, сказал:

— Спасибо, я остаюсь, а татар ушлю вперед.

И он тотчас отправился отдать распоряжения.

— Акба-Улан! — сказал он татарину, отведя его в сторонку. — Надо вам в Красностав идти по дороге прямой, как стрела. Я останусь здесь и в путь двинусь завтра с солдатами старосты. Послушай же, что я тебе скажу: в Красностав вы не ходите, а в ближнем лесу, недалеко от Замостья, притаитесь так, чтобы живая душа о вас не прознала, а как услышите выстрел на дороге, тотчас бросайтесь ко мне. Какую-то пакость хотят мне тут устроить.

— Твоя воля! — ответил Акба-Улан, прижав ладонь ко лбу, губам и груди.

«Я тебя, пан староста, насквозь вижу, — сказал про себя Кмициц. — В Замостье ты сестры боишься, вот и хочешь похитить девушку да поселить где-нибудь поблизости, а из меня сделать *instrumentum*¹ своих страстей и,

¹ Орудие (лат.).

кто тебя знает, может, и жизни лишить. Погоди же! Не на такого напал! Я похитрей! Тебя самого захлопнет западня, которую ты устроил!»

Вечером поручик Щурский постучался к Кмицицу. Он тоже что-то знал, о чем-то догадывался, а так как любил Анусю, то предпочитал, чтобы она уехала, только бы не попала в лапы старосты. Однако открыто говорить он не решался, а может, не доверял Кмицицу; он только удивлялся, как это Кмициц согласился отослать вперед татар, убеждал его, что дороги не так уж безопасны, что всюду бродят вооруженные шайки, которые всегда готовы учинить насилие.

Но пан Анджей решил делать вид, что он ни о чем не догадывается.

— Да что со мной может случиться? — говорил он. — Ведь пан калушский староста дает мне в сопровождение своих собственных солдат!

— Да! Но ведь это немцы!

— А разве они люди ненадежные?

— Этим собачьим детям никогда нельзя верить. Случалось, что, сговорившись в дороге, они перебежали к врагу.

— Но ведь шведов нет по эту сторону Вислы.

— Да в Люблине они, собаки! Это неправда, что они ушли. От души тебе советую, не отсылай ты татар, ведь с большим отрядом ехать безопасней.

— Жаль, что ты мне этого раньше не сказал. Один у меня язык, и не отменю я приказа, раз уж дал его.

На следующий день татары ушли. Кмициц должен был выехать к вечеру, чтобы на первый ночлег остановиться в Красноставе. Тем временем ему вручили два письма Сапеге: одно от княгини, другое — от старосты.

Очень хотелось пану Анджею вскрыть письмо старосты, но не посмел он этого сделать, посмотрел только письмо на свет и увидел, что внутри вложена чистая бумага. Это окончательно убедило его в том, что и девушку и письма в пути хотят у него похитить.

Тем временем пригнали табун из Переспы, и староста подарил молодому рыцарю чудо-скакуна, а пан Анджей, приняв подарок с благодарностью, подумал в душе, что уедет на этом чудо-скакуне дальше, чем надеется староста. Вспомнил он и про своих татар, которые уже, верно, залегли в лесу, и веселый смех стал его разбирать. Но и

зло его брало, и давал он себе обещание хорошенько прочить пана старосту.

Наступило наконец время обеда, который прошел очень уныло. У Ануси глаза были красные, офицеры хранили немое молчание; один только староста был весел и все приказывал подливать вина, а Кмициц осушал чары одну за другой. Когда наступило время уезжать, не много народу пришло проститься с отъезжающими, так как староста разослал офицеров по делам службы.

Ануся повалилась в ноги княгине, и ее долго нельзя было от них оторвать; на лице княгини читалась явная тревога. Быть может, упрекала она себя молча за то, что в такое смутное время, когда Анусю на каждом шагу могла подстеречь беда, позволила верной своей девушке уехать. Но, услышав громкий плач Михала, который ревел, как школяр, прижимая к глазам кулаки, гордая княгиня утвердилась в своем намерении подавить в самом зародыше это юношеское чувство. Да и тешила она себя надеждой, что в семье Сапеги девушка найдет покровительство, безопасный приют и, наконец, то богатство, которое должно было обеспечить ее на всю жизнь.

— Чести твоей, храбрости и отваге вверяю ее,— сказала она еще раз Кмицицу,— а ты помни, что клятву мне дал целой и невредимой доставить ее к пану Сапеге.

— Как стекло буду везти, надо будет — в очесья, как стекло, оберну, потому я слово дал, и одна только смерть может помешать мне сдержать его,— ответил рыцарь.

И подал руку Анусе, которая зла была на рыцаря, потому что он и не глядел на нее, и обходился с нею небрежно; надменно отворотясь, подала девушка ему свою руку.

Жаль было ей уезжать и страшно уж стало, но отступить было поздно.

Пришла минута отъезда, сели все,— она в карету со старой панной Сувальской, он на коня,— и тронулись. Двенадцать немецких рейтар окружили карету и повозку с коробьями Ануси. Когда заскрипели наконец, опускаясь, решетки Варшавских ворот и раздался стук колес по разводному мосту, Ануся расплакалась в голос.

Кмициц нагнулся к карете.

— Не бойся, панна, я тебя не съем!

«Грубиян!» — подумала Ануся.

Некоторое время они ехали мимо домов, стоявших за

крепостными стенами, направляясь к Старому Замостью, затем выехали в поля и углубились в лес, который в те времена тянулся по одну сторону дороги с холма на холм до самого Буга и дальше, за Буг, а по другую шел, прерываясь деревнями, до самого Завихоста.

Ночь уже спустилась, ясная, впрочем, и очень погожая, впереди виднелась серебряная лента дороги; только стук кареты нарушал тишину да топот рейтарских коней.

«Тут уж где-то мои татары должны, как волки, таиться в зарослях», — подумал Кмициц.

— Что это? — спросил он у офицера, который командовал рейтарами.

— Топот слышен! Какой-то всадник за нами скачет! — ответил офицер.

Не успел он кончить, как к ним подскакал на взмыленном коне казак.

— Пан Бабинич! Пан Бабинич! — кричал он. — Письмо от пана старосты!

Отряд остановился. Казак подал Кмицицу письмо.

Кмициц взломал печать и при свете фонаря, укрепленного у козел кареты, прочел следующее письмо:

«Любезный друг наш, пан Бабинич! Вскоре после отъезда панны Борзобогатой-Красенской дошла до меня весть, что шведы не только не оставили Люблин, но намерены ударить на мое Замостье. Посему неразумно было бы урочный продолжать путь. Взвесили мы *regisula*, которым панна Борзобогатая может подвергнуться в дороге, и желаем, чтобы воротилась она назад, в Замостье. Привезут ее к нам те же рейтары, ибо ты, милостивый пан, поспешаешь по своим делам и мы тебя *fatigare*¹ не станем. Объявляя нашу волю, просим, милостивый пан, сообразно отдать рейтарам приказ согласно с сим нашим желанием».

«Все-таки хватило у него совести на жизнь мою не посягать, хочет только дураком меня сделать, — подумал Кмициц. — Ну, мы это мигом узнаем, нет ли тут какой ловушки!»

Между тем Ануся высунулась в окно кареты.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего! Пан калушский староста еще раз поручает тебя моему попечению. Только и всего.

¹ Обременять (лат.).

— Вперед! — приказал он затем кучеру и рейтарам. Однако офицер, командовавший рейтарами, осадил коня.

— Стой! — крикнул он кучеру.

Затем обратился к Кмицицу:

— Как так «вперед»?

— А чего же нам еще в лесу стоять? — притворился дурачком Кмициц.

— Да ведь ты, милостивый пан, получил какой-то приказ.

— А тебе какое до этого дело? Получил, потому и приказываю: вперед!

— Стой! — крикнул офицер.

— Вперед! — повторил Кмициц.

— Что случилось? — снова спросила Ануся.

— Мы шагу не сделаем, покуда я не увижу приказа! — решительно заявил офицер.

— Приказа ты не увидишь, потому что не тебе его прислали!

— Коль ты не хочешь подчиниться приказу, я его выполню! Езжай себе с богом в Красностав, да смотри, как бы мы тебе на дорогу не всыпали, а мы с панной возвращаемся назад.

Кмицицу только того и надо было: офицер выдал, что знает приказ, все оказалось заранее обдуманной хитростью.

— Езжай с богом! — грозно повторил офицер.

В ту же минуту рейтары без команды выхватили из ножен сабли.

— Ах вы, собачьи дети, вы бы хотел. не в Замостье девушку увезти, а где-нибудь на отшибе ее устроить, чтобы староста на свободе мог предаваться любовным утехам. Ну нет, не на такого напали!

С этими словами он выпалил вверх из пистолета.

При звуке выстрела в глубине леса раздался такой ужасающий вой, точно этот выстрел разбудил целые стаи волков, спавших поблизости. Рев послышался спереди, сзади, с боков, в ту же минуту раздался конский топот, треск сучьев, ломаемых копытами, и на дороге показались толпы всадников, которые приближались с нечеловеческим воем и визгом.

— Господи Иисусе! Мать пресвятая богородица! — взвизгнули перепуганные женщины в карете.

Тем временем тучей подскакали татары; однако Кмициц троекратным возгласом остановил их, а сам повернулся к испуганному офицеру и давай похваляться:

— Что, узнал теперь, на кого напал! Пан староста хотел из меня дурака сделать, слепое свое *instrumentum!* А тебе поручил сводником быть, и ты, пан офицер, пошел на это ради милостей господина. Кланяйся же пану старосте от Бабинича и скажи ему, что панна благополучно прибудет к пану Сапеге!

Офицер повел испуганными глазами и увидел дикие лица, хищно глядевшие на него и рейтар. Было ясно, что они ждут одного только слова, чтобы броситься на них и растерзать на части.

— Милостивый пан, ты все, что хочешь, можешь сделать с нами, против силы не попрешь,— ответил он дрожащим голосом,— но пан староста сумеет отомстить.

— Пусть на тебе отомстит, ведь не выдай ты себя, не покажи, что знаешь приказ, не воспротивься мне, я бы не уверился в том, что все это ловушка, и тут же, в Красноставе, отдал бы вам панну. Вот и скажи пану старосте, чтобы поумней себе сводников выбирал.

Спокойный голос Кмицица обнадежил офицера, что хоть смерть не грозит ни ему, ни рейтарам, он вздохнул с облегчением.

— Что же нам, ни с чем воротиться в Замостье? — спросил он.

— Почему же ни с чем? — возразил Кмициц.— С моим письмом воротитесь, а выписать его я велю каждому на собственной его шкуре.

— Милостивый пан...

— Бери их! — крикнул Кмициц.

И сам схватил офицера за шиворот.

Вокруг кареты поднялась суматоха, закипела свалка. Крики татар заглушили призывы на помощь и пронзительные вопли женщин.

Однако схватка была недолгой, не прошло и минуты, как рейтары уже лежали связанные рядышком на дороге.

Велел тут Кмициц сечь их сыромятными плетями, но не слишком усердно, чтобы могли они пешими вернуться в Замостье. Солдатам дали по сто плетей, а офицеру полторы сотни, невзирая на мольбы и заклинания Ануси, которая, не понимая, что творится, и решив, что она попала

в чьи-то страшные лапы, сложила на груди руки и со слезами на глазах молила сохранить ей жизнь.

— Сжался, рыцарь! Чем я перед тобой провинилась? Сжался! Пощади!

— Помолчи, панна! — рявкнул Кмициц.

— В чем я перед тобой провинилась?

— Ты, может, и сама с ними в сговоре?

— В каком сговоре? Господи, помилуй?

— Так разве ты не знаешь, что пан староста только для отвода глаз позволил тебе уехать, чтобы с княгиней тебя разлучить, а по дороге похитить и в каком-нибудь пустом замке покушаться на твою честь?

— Иисусе Назарейский! — крикнула Ануся.

Так неподделен был этот возглас, что Кмициц сказал уже помягче:

— Как? Стало быть, ты не в сговоре с ними? Да может ли это быть!

Ануся закрыла руками лицо, она слова не могла вымолвить, только повторяла:

— Господи Иисусе! Пресвятая богородица!

— Ну перестань же! — сказал еще мягче Кмициц.— Поедешь спокойно к пану Сапеге, потому не сообразил пан староста, с кем имеет дело. Вон те люди, которых там секут, должны были похитить тебя. Я дарю им жизнь, чтобы они могли рассказать пану старосте, каково им пришлось.

— Так ты защитил меня от позора?

— Да, хоть и не знал, рада ли ты будешь.

Вместо того чтобы отвечать или оправдываться, Ануся схватила вдруг руку пана Анджея и прижала ее к своим побелевшим губам.

Огонь пробежал у него по жилам.

— Да оставь же, панна, ради бога! Что это ты? — крикнул он.— Садись в карету, а то ножки промочишь! И не бойся! У родной матери не было бы тебе спокойней!

— Теперь я с тобой хоть на край света поеду!

— Ты мне, панна, таких речей не говори!

— Бог тебя вознаградит за то, что защитил ты мою честь!

— Первый раз такое со мною случилось,— ответил ей Кмициц.

А про себя тихонько прибавил:

«Защитил я досель девической чести, что кот заплакал!»

Тем временем ордынцы перестали сечь рейтар, и пан Анджей приказал гнать их, голых и окровавленных, по дороге в Замостье. Они пошли, проливая горькие слезы. Коней, оружие и одежду Кмициц подарил своим татарам, и отряд быстро двинулся вперед, ибо медлить было опасно.

По дороге молодой рыцарь не мог удержаться, все в карету заглядывал, а верней, в быстрые глазки и чудное личико девушки. Всякий раз он спрашивал, не надобно ли ей чего, удобна ли карета, не утомительна ли быстрая езда.

Она с благодарностью отвечала, что так ей хорошо, как никогда не бывало. Страх ее пропал. Сердце переполнилось доверием к защитнику.

«Не такой уж он бирюк, — думала она в душе, — не такой уж грубиян, как мне сперва показалось!»

«Эх, Оленька, какие муки терплю я ради тебя! — говорил про себя Кмициц. — Ужель ответишь ты мне неблагодарностью? Кабы прежнее время... Ух!»

Тут вспомнились ему собутыльники и всякие проказы, что строили они вместе, и, желая отогнать искушение, он стал читать молитву за упокой души усопших.

Прибыв в Краснастав, Кмициц решил, что лучше не ждать вестей из Замостья и тотчас двинуться дальше. Однако перед отъездом он написал и отослал старосте следующее письмо:

«Вельможный пан староста, милостивец наш и благодетель!

Кого бог великим сотворил, того и разумом наделил щедро. Я тотчас смекнул, вельможный пан староста, что ты только испытать меня хочешь, посылая приказ отправить назад панну Борзобогатую-Красенскую, и тем легче сие уразумел, что рейтары сами выдали, что знают приказ, хоть письма я им не показывал, а ты, вельможный пан староста, пишешь, будто решение принял уже после нашего отъезда. Не могу надивиться твоей предусмотрительности, для вящего же спокойствия заботливого опекуна вновь даю обещание, что ничто не сможет помешать мне выполнить возложенную на меня обязанность. Но солдаты твои, видно, плохо поняли твой умысел, оказались изрядными грубиянами и осмелились даже угрожать моей жизни, и я думаю, что угадал бы твою волю, когда бы велел их повесить. За то, что не сделал этого,

прощенья прошу, вельможный пан староста: но батожками я их все-таки велел хорошенько посесть, а коль сочтешь ты, что мало я их наказал, то по воле своей можешь и прибавить. Лыщу себя надеждой, что заслужил я, вельможный пан староста, доверие твое и благодарность, а посему остаюсь преданный и покорный слуга твой — Бабинич».

Поздней ночью доташившись до Замостья, драгуны не смели на глаза показаться калушскому старосте, так что о происшествии он узнал только из письма, которое на следующий день привез красновоставский казак.

На три дня заперся староста, получив это письмо, и из придворных никого к себе не допускал, кроме одних лакеев, что носили ему поесть. Слышно было, как ругался он по-французски, что делал обычно только в совершенном неистовстве.

Однако буря понемногу улеглась. На четвертый и пятый день староста был еще очень молчалив; все о чем-то думал и ус свой дергал и только через неделю, совсем развеселясь и подвыпив за столом, стал не дергать, а уж крутить свой ус и сказал княгине Гризельде:

— А знаешь, сестра, все-таки я осторожен. Дня два назад с умыслом испытал я шляхтича, что взял с собой Анусю, и могу теперь заверить тебя, что целой и невредимой доставит он ее к пану Сапеге.

И месяца после этого не прошло, а пан староста обратил уже свое благосклонное внимание на другой предмет, да и сам утвердился в мысли, что все сбылось по его воле и с его ведома.

ГЛАВА XXXVI

Значительная часть Люблинского воеводства и почти все Подляшское находились в руках поляков, то есть конфедератов и Сапег. Шведский король все еще оставался в Пруссии, где вел переговоры с курфюрстом. Чувствуя, что они не в силах усмирить всеобщее восстание, которое ширилось с каждой минутой, шведы не смели покидать города и замки, а через Вислу переправляться и подавно, ибо по правую ее сторону собралось больше всего польских войск. Именно в Люблинском и Подляшском воеводствах создавалась та немалая и крепкая бое-

вая сила, которая могла бы сразиться с постоянным шведским войском. В поветовых городах учили пехоту; в людях не было недостатка, так как крестьяне сплошь взялись за оружие; надо было только узду наложить на беспорядочные их ватаги, представлявшие часто опасность для собственной страны, и преобразовать их в боевое войско.

Этим занимались поветовые ротмистры. Кроме того, король дал множество грамот старым и опытным воителям, и те во всех землях набирали войско; ратного люда там было немало, и конные хоругви составлялись отборные. Одни уходили за Вислу, чтобы и там раздуть пожар войны, другие шли к Чарнецкому, третьи к Сапеге. Столько народу подняло оружие, что войско Яна Казимира числом превзошло уже шведское.

Страна, недавно поражавшая своей слабостью всю Европу, явила теперь пример силы, которой не подозревали в ней не только враги, но даже собственный король, даже верные сыны, чье сердце несколько месяцев назад надрывалось от горя и муки. Нашлись и деньги, и героизм, и отвага; даже те, кто совсем уж было отчаялся, убедились в том, что нет таких обстоятельств, нет такого упадка, нет такой слабости, от которой нельзя было бы воспрянуть, и что там, где рождаются дети, не может умереть надежда.

Кмициц беспрепятственно подвигался вперед, собирая по дороге мятежные души, которые охотно присоединялись к его отряду, надеясь, что в союзе с татарами им удастся побольше крови пролить и пограбить. Пан Анджей легко превращал их в исправных и усердных солдат, ибо имел дар внушать страх подчиненным и приводить их к повиновению. Завидев молодого рыцаря с татарами, люди всюду радостно его приветствовали. Они воочию убеждались в том, что хан и в самом деле идет на помощь Речи Посполитой. Ясное дело, разнесся слух, что на помощь пану Сапеге валят *auxilia*, целых сорок тысяч отборного татарского войска. Чудеса рассказывали о «кротости» этих союзников, о том, что по дороге не чинят они никаких насилий и убийств. Их ставили в пример собственным солдатам.

Сапега временно стоял в Белой. Силы его состояли примерно из десяти тысяч регулярного войска, конницы и пехоты. Это были пополненные новыми людьми остатки

литовского войска. Конница, особенно некоторые хоругви, стойкостью и выучкой превзошла шведских рейтар; но пехота была плохо обучена, не хватало ружей и особенно пороха. Мало было и пушек. Витебский воевода надеялся захватить их в Тыкоцине; но шведы, взорвав себя порохом, уничтожили при этом и все замковые орудия.

В окрестностях Белой, неподалеку от этого войска, стояло около двенадцати тысяч мужиков изо всей Литвы, Мазовии и Подляшья; но воевода на мужиков не возлагал особых надежд, так как с ними было множество повозок, которые мешали в походе, а стан обращали в такое нестройное скопище, что его трудно было поднять с места. Когда Кмициц въезжал в Белую, одна только мысль сверлила ему голову. Столько литовской шляхты, столько радзивилловских офицеров, старых его знакомых, служило у Сапеги, что он опасался, как бы его не признали, а признав, не зарубили саблями, прежде чем успеет он ахнуть. Ненавистным было его имя во всей Литве и в стане Сапеги, ибо свежа еще была память о том, как, служа Радзивиллу, истреблял он хоругви, которые восстали против гетмана и выступили на защиту отчины.

Однако пан Анджей ободрился, когда вспомнил, как сильно он изменился. Прежде всего худ он был страшно, затем у него появился шрам от пули Богуслава, наконец, он носил теперь довольно длинную козлиную бородку на шведский манер и усы зачесывал вверх, так что больше смахивал на какого-нибудь Эриксона, нежели на польского шляхтича.

«Только бы сразу шум не поднялся, а после первой же битвы они ко мне переменятся»,— думал он, въезжая в Белую.

Въезжал он уже в сумерки, объявил, кто такой, откуда едет, сказал, что везет королевские письма, и тотчас попросил, чтобы его допустили к воеводе.

Воевода принял его милостиво, ибо король с горячей похвалой отзывался о молодом рыцаре и просил о нем позаботиться.

«Посылаем вам самого верного нашего слугу,— писал он воеводе,— коего со времени осады преславной святыни зовут ченстоховским Гектором; жертвуя собственной жизнью, спасал он нашу свободу и нашу жизнь, когда переправлялись мы через горы. Вверяем его особому вашему попечению, дабы солдаты не нанесли ему обиды.

Мы знаем подлинное его имя, знаем и то, по какой причине служит он под вымышленным именем, и никто за сие не смеет возводить на него подозрения и винить его в злокозненных умыслах».

— А нельзя ли узнать, по какой причине носишь ты вымышленное имя? — спросил воевода.

— Приговорен я к изгнанию и под собственным именем не мог бы набирать войско. Король дал мне грамоту, и как Бабишич я могу кликнуть охотников.

— Зачем же тебе еще охотники, коль у тебя татары?

— Не помеха нам и большая сила.

— А за что осудили тебя на изгнание?

— Должен я, вельможный пан, как родному отцу тебе открыться, потому служить пришел к тебе и прошу твоего покровительства. Настоящее мое имя: Кмищиц.

Воевода отпрянул.

— Тот самый Кмищиц, что сулился Богуславу живым или мертвым похитить нашего короля?

С присущей ему страстностью рассказал Кмищиц, как все случилось, как служил он, обманутый, гетману Радзивиллу, как, услышав из уст Богуслава об истинных намерениях князей, похитил его и тем самым навлек на себя неумолимую месть.

Воевода поверил ему, да и не мог не поверить, тем более что и королевские письма подтверждали, что Кмищиц говорит правду. Да и душа воеводы так радовалась в эту минуту, что он бы самого заклятого врага прижал к сердцу, тягчайший простил бы грех. А радость принесло ему следующее место из королевского письма:

«Хоть великая литовская булава, свободная по смерти виленского воеводы, по закону, лишь на сейме может быть вручена новому гетману, однако же, почли мы за благо в нынешних чрезвычайных обстоятельствах пренебречь сим порядком и, памятуя великие ваши заслуги, вам, любезному нашему другу, вручаем сию булаву на благо Речи Посполитой, справедливо полагая, что коль принесет нам господь успокоение, ни один голос не поднимется на будущем сейме противу нашей вели и повеление наше единодушно будет одобрено».

Санега, который, как тогда говорили в Речи Посполитой, «последний кунтуш заложил и продал последнюю серебряную ложку», не из корысти служил отчизне и не ради почестей. Однако даже самый бескорыстный че-

человек радуется, когда видит, что заслуги его ценят, что благодарностью платят ему, воздают должное. Потому-то так сияло теперь суровое его лицо.

Этот акт королевской воли новым блеском приукрасил род Сапег, а к этому никто из тогдашних князей не оставался равнодушен, хорошо еще, коль не стремился рег пefas¹ к возвышению. Вот и готов был Сапега сделать сейчас для короля все возможное и невозможное.

— Коли гетман я,— сказал он Кмицицу,— ты мне подсуден и найдешь во мне покровителя. Много тут шляхты в ополчении, стало быть, в любую минуту может она поднять шум, не лезь ты ей на глаза, покуда не растолкую я ей, что клевету взвел на тебя Богуслав, и не сниму с тебя клеймо позора.

Кмициц от души поблагодарил Сапегу и заговорил об Анусе, которую он привез с собой в Белую. Сапега стал ворчать, но был он в таком хорошем расположении духа, что и ворчал весело.

— Клянусь богом, рехнулся Себепап! — говорил он.— Сидят они себе с сестрой за стенами Замостья, как у Христа за пазухой, и думают, что всяк может отвернуть полы кунтуша, стать у печки да погреть себе спину. Знал я Подбицент, сродни они Бжостовским, а Бжостовские мне. Имение богатое, что говорить, но хоть попритихла на время война с московитами, они все же стоят еще в той стороне. Куда сунешься с этим делом, где теперь суды, где власти? Кто будет утверждать девку в правах наследства, вводить во владение? Совсем они там с ума посходили! У меня Богуслав на плечах, а я обязанности войскового должен исполнять, с бабами вожжаться!

— Не баба она, а вишенка,— сказал Кмициц.— Но мое дело сторона! Велели везти -- привез, велели отдать — отдаю!

Старый гетман взял тут Кмицица за ухо.

— А кто тебя знает, разбойник, какую ты ее привез! Избави бог, станут болтать, что горой ее дует от опеки Сапеги, как мне, старику, в глаза тогда людям смотреть, сраму-то не оберешься! Ну-ка, что вы там на стоянках делали? Говори сейчас же, нехристь ты этакий, не перенял ли ты от своих татар басурманских обычаев?

¹ Преступным путем (лат.).

— На стоянках? — весело переспросил Кмициц. — На стоянках я приказывал слугам плетью себе спину полосовать, чтоб изгнать греховные помыслы, кои под кожей имеют обиталище и, confiteor¹, как слепни меня жалили.

— Вот видишь! Хорошая ли девка-то?

— Э, коза! Но очень пригожа, а уж ласкова...

— Это ты уж успел узнать, нехристь ты этакий!

— Какое там! Добродетельна она, как монашенка, тут уж ничего не скажешь. Ну а коль горой дуть ее станет, так это скорей от опеки пана Замойского может приключиться.

Кмициц рассказал Сапеге всю историю. Гетман со смехом похлопал его по плечу.

— Ну и дока же ты! Не зря про Кмицица столько рассказывают. Но ты не бойся! Пан Ян не злой человек и друг мой. Остынет первый гнев, и он сам еще посмеется и тебя вознаградит.

— Не нуждаюсь я в его наградах! — прервал Кмициц Сапегу.

— Это хорошо, что гордость есть у тебя и людям в руки не смотришь. Ты вот так же усердно помоги мне бить Богуслава, не гридется тебе тогда приговоров бояться.

Сапега взглянул на Кмицица, и его просто поразило лицо молодого воителя, за минуту до этого такое открытое и веселое. При одном упоминании имени Богуслава Кмициц побледнел и оскалился, как злая собака, готовая укунить.

— Чтоб этому изменнику собственной слюной отравиться, только бы перед смертью он еще раз попал мне в руки! — сказал он угрюмо.

— Не удивительно мне, что так ты на него злобишься! Помни только, не теряй в гневе рассудка, с Богуславом шутики плохи. Хорошо, что король прислал тебя сюда. Будешь набегу учинять на Богуслава, как когда-то на Хованского.

— Такие набегу буду учинять, что не тем чета! — так же угрюмо ответил Кмициц.

На том разговор кончился. Кмициц уехал к себе на квартиру поспать, он очень утомился от дороги.

¹ Сознаюсь (лат.).

В войске между тем разнеслась весть о том, что король прислал любимому военачальнику великую булаву. Радость, как пламя, обняла тысячи людей.

Шляхта и офицеры из разных хоругвей стали толпами собираться у квартиры гетмана. Город пробудился ото сна. Зажглись огни. Прибежали знаменосцы со знаменами. Запели трубы, загремели литавры, грянули залпы из пушек и мушкетов, а Сапега роскошный устроил пир, и на пиру всю ночь кричали «виват!» и пили за здоровье короля и гетмана и за грядущую победу над Богуславом.

Пана Анджея, как уже было сказано, на пиру не было.

За столом гетман завел разговор о Богуславе; ни словом не обмолвился он о том, что за офицер прибыл с татарами и привез булаву, а заговорил о коварстве князя.

— Оба Радзивилла, — говорил он, — строили козни; но князь Богуслав превзошел своего покойного брата. Вы, верно, помните Кмицица или слышали о нем. Представьте же себе, князь Богуслав распустил о нем слух, будто сулил он руку поднять на нашего короля и повелителя, а оказалось, все это ложь!

— Но Кмициц помогал Янушу истреблять доблестных рыцарей.

— Да, помогал, но и он спохватился, а спохватясь, не только оставил Януша, но, будучи человеком смелым, попытался похитить Богуслава. Худо пришлось молодому князю, еле вырвался он живым из рук Кмицица.

— Кмициц был великий воитель! — раздались многочисленные голоса.

— Из мести взвел на него князь Богуслав такой страшный поклеп, что душа от него содрогается.

— Сам дьявол хуже не выдумал бы.

— Знайте же, есть у меня свидетельства, черным по белому они написаны, что месть это была за то, что Кмициц стал на правый путь.

— Такое бесчестье нанести человеку! Один Богуслав на это способен.

— Бтоптать в грязь такого воителя!

— Слышал я, — продолжал гетман, — будто Кмициц, видя, что делать ему тут больше нечего, бежал в Ченстохову и там великие оказал отчизне услуги, а потом собственной грудью заслонил государя.

Те самые офицеры, которые за минуту до этого изрубил бы Кмицица саблями, стали с приятною о нем отзываться.

— Кмициц ему этого не простит, не такой он человек, он и на Радзивилла не побоится напасть!

— Все рыцарство князь конюший опозорил, бросивши такую тень на одного из нас!

— Своевольник был Кмициц, изверг, но не предатель!

— Он отомстит, он отомстит!

— Мы раньше за него отомстим!

— Коль ясновельможный гетман честью своею за него поручился, стало быть, так оно и было!

— Так и было! — подтвердил гетман.

— За здоровье гетмана!

Еще немного, и на пиру стали бы пить за здоровье Кмицица. Правда, раздавались и негодующие голоса, особенно среди старых радзивилловских офицеров.

— А вы знаете, почему я вспомнил про этого Кмицица? — сказал гетман, услышав эти голоса. — Бабинич, королевский гонец, очень на него похож. Я сам в первую минуту обознался. — Суровым стал тут взгляд Сапеги, и заговорил он уже построже: — А когда бы и сам Кмициц сюда приехал, то, раз он раскаялся, раз с беззаветной отвагой защищал святыню, как-нибудь сумел бы я охранить его своею гетманскою властью, а потому, кто бы ни был этот гонец, прошу никакого шума не поднимать. Помните, что приехал он по поручению короля и хана. Панов ротмистров ополчения особо прошу это запомнить, с дисциплиною у вас дела плохи!

Когда Сапега держал такие речи, один только Заглоба осмеливался, бывало, ворчать себе под нос, все остальные сидели смирным-смирнехонько. Так было и теперь; но вот лицо гетмана снова прояснилось, и все тоже повеселели. Чары все чаще двигались по кругу, пир горой шел, и весь город шумел до утра, так что стены ходили ходуном, а дым от салютов, как после битвы, окутал весь город.

На следующий день утром Сапега отослал Анусю с Котчицем в Гродно. Из Гродно уже давно ушел Хованский, и там жила семья воеводы.

Вскружил-таки голову бедной Анусе красавец Бабинич, и прощалась она с ним очень нежно; но он холоден был и только в минуту прощанья сказал:

— Не будь одного лиха, что как заноза в сердце сидит, влюбился бы я в тебя, панна, по уши.

Анusia подумала про себя, что нет такой занозы, которую, запасаясь терпением, нельзя было бы вытащить иглой; но робела она Бабиница, поэтому ничего не сказала в ответ, тихо вздохнула и уехала.

ГЛАВА XXXVI

После отъезда Ануси с Котчицем стан Сапеги еще неделю простоял в Белой. Кмициц с татарами тоже отдыхал неподалеку, в Рокитном, куда был послан подкормить лошадей после долгого путешествия. Приехал в Белую и сам владетель, князь кравчий, Михал Казимеж Радзивилл, богатый магнат из несвижской линии, которая, по слухам, после одних только Кишков получила в наследство семьдесят городов да четыреста деревень. Ничем не походил Михал Казимеж на биржанских своих родичей. Только кичлив, может, был так же, как они; но иной он был веры и, будучи горячим патриотом и приверженцем законного короля, с жаром присоединился к Тышовецкой конфедерации и всемерно ее поддерживал. Огромные его поместья были, правда, сильно разорены в последней войне с москвитами, и все же войско у князя было еще немалое, и привел он гетману крупные подкрепления.

Но чашу весов в этой войне могло перетянуть не столько число солдат князя кравчего, сколько то, что Радзивилл поднялся тут на Радзивилла и тем самым действия Богуслава утратили последнюю видимость законности, стали явно изменническими.

Вот почему Сапега с радостью встретил в своем стане князя кравчего. Теперь он был уверен, что одолеет Богуслава, ибо превосходил его силами. Но замысел свой он, по обыкновению, обдумывал медленно, колебался, взвешивал и вызывал на советы офицеров.

На этих советах бывал и Кмициц. Он так возненавидел самое имя Радзивиллов, что, увидев в первый раз князя Михала, затрясся от гнева и злобы; но у Михала было такое красивое и приятное лицо, что одним своим видом он располагал к себе; к тому же великие доблести, тяжкие дни, которые он недавно пережил, защищая

страну от Золотаренко и Серебряного, неподдельная любовь к отчизне и королю, все делало его одним из самых достойных рыцарей своего времени. Само присутствие его в стане Сапеги, врага дома Радзивиллов, свидетельствовало о том, что молодой князь ради общего блага умеет жертвовать личным. Все, кто знал Михала, любили его неизменно. И хоть пан Анджей в первую минуту отнесся к нему неприязненно, но и он с его пылкой душой, не мог устоять.

Окончательно князь покори́л его сердце своими советами.

А советовал он не только идти, не теряя времени, в поход на Богуслава, но и не вступать с князем ни в какие переговоры, а прямо ударить на него и не давать ему отвоевывать замки, ни отдыху, ни сроку ему не давать, воевать с ним его же средствами. В этом решении видел князь Михал залог скорой и верной победы.

— Не может быть, чтобы и Карл Густав не двинулся в поход на нас, поэтому нам надо поскорее развязать себе руки и поторопиться на помощь Чарнецкому.

Так думал и Кмициц, которому уже на третий день пришлось бороться с самим собою, чтобы победить старую привычку к своевольству и не двинуться в поход, не дожидаясь приказа.

Но Сапега любил действовать наверняка, боялся всякого необдуманного шага и поэтому решил подождать, пока не придут более точные донесения.

Гетман по-своему тоже был прав. Весь этот поход Богуслава в Подляшье мог оказаться коварной уловкой, военной хитростью. Он мог быть предпринят с малыми силами только для того, чтобы не допустить соединения войск Сапеги с коронными войсками. Богуслав будет уходить тогда от Сапеги, не принимая боя, чтобы только протянуть время, а Карл Густав ударит с курфюрстом на Чарнецкого, сомнет его превосходными силами, двинется на самого короля и задушит то дело защиты отчизны, на которое поднимался народ, следуя славному примеру Ченстоховы.

Сапега был не только военачальником, но и державным мужем. На советах он с такой силой излагал свои мысли, что даже Кмициц в душе принужден был с ним соглашаться. Прежде всего надо было знать, чего держаться. Если окажется, что набег Богуслава только

военная хитрость, то против него достаточно выставить несколько хоругвей, а со всем войском надо устремиться к Чарнецкому, навстречу главным неприятельским силам. Несколько хоругвей гетман мог смело оставить, тем более что не все они стояли в окрестностях Белой. Молодой пан Кшиштоф, или, как его звали, Кшиштофек Сапега, стоял с двумя легкими хоругвями и полком пехоты в Янове; Гороткевич с половиной отлично обученного драгунского полка, примерно пятью сотнями охотников, да легкой панцирной хоругвью самого воеводы действовал неподалеку от Тыкоцина. Кроме того, в Белостоке стояла крестьянская пехота.

Этих сил было за глаза довольно, чтобы дать отпор Богуславу, если у него не более нескольких сотен сабель.

Вот почему предусмотрительный гетман во все концы разослал гонцов и ждал вестей.

Пришли наконец и вести; но были они подобны грому, тем более что тучи, по особому стечению обстоятельств, сошлись в один вечер.

В Белой заседал в замке совет, когда вошел дежурный офицер и подал гетману письмо.

Не успел воевода пробежать его, как изменился в лице.

— Родич мой,— сказал он присутствующим,— разбит в Янове Богуславом. Еле ушел!

На минуту воцарилось молчание.

— Письмо написано из Бранска,— прервал молчание гетман,— когда войско бежало в смятении, и нет в нем поэтому ни слова о силах Богуслава. Думаю, они были значительны, коль скоро две хоругви и полк пехоты разбиты, как сказано в письме, наголову! Впрочем, князь Богуслав мог напасть и врасплох. Из письма это неясно...

— Пан гетман,— обратился к Сапеге князь Михал,— я уверен, что Богуслав хочет захватить все Подляшье, чтобы при переговорах получить его в удельное или ленное владение. Нет сомнения, что он пришел со всеми силами, какие только мог собрать.

— Твоя догадка, вельможный князь, нуждается в подкреплении.

— Мне нечем ее подкрепить, кроме как тем, что я знаю Богуслава. Не думает он ни о шведах, ни о бранденбуржцах, а только о себе. Воитель он искусный и верит в свою счастливую звезду. Он хочет захватить про-

винцию, отомстить за Януша, покрыть себя славой, а для этого силы ему нужны больше, и он ими располагает. Потому-то и надо нанести ему внезапный удар, иначе он сам на нас ударит.

— На всякое дело нужно благословение господне,— возразил Оскерко,— а господь благословляет нас!

— Ясновельможный пан гетман,— обратился к Сапеге Кмициц.— В разведку надо идти. Я тут как на своре с моими татарами, спусти же нас, и мы привезем тебе вести.

Оскерко, который был посвящен в гайну и знал, кто такой Бабинич, стал горячо его поддерживать:

— Клянусь богом, это замечательная мысль! Вот где нужно такое войско и такой рыцарь. Если только кони отдохнули...

Тут он прервал речь, так как в комнату снова вошел дежурный офицер.

— Ясновельможный пан гетман,— обратился офицер к Сапеге,— двое солдат из хоругви Гороткевича просят допустить их к тебе.

— Слава богу! — хлопнул себя по коленям Сапега.— Вот и вести! Пусти их!

Через минуту вошло двое панцирников, оборванных и покрытых грязью.

— От Гороткевича? — спросил Сапега.

— Так точно.

— Где он сейчас?

— Убит, а коль жив, так неведомо где!

Воевода вскочил, но тут же снова сел и стал уже спокойно допрашивать солдат:

— Где хоругвь?

— Разбита князем Богуславом.

— Много народу полегло?

— Всех он посекал, с десятков только осталось, кого, как вот нас, схватили да связали. Толкуют, будто и полковник ушел, но что ранен он, это я сам видел. Мы из негови бежали.

— Где князь на вас напал?

— Под Тыкоцином.

— Почему вы не укрылись в стенах, коль мало вас было?

— Тыкоцин взят.

Гетман закрыл рукою глаза, потер лоб.

— Много людей у Богуслава?

— Конницы тысячи четыре, да пехота, да пушки. Пехота крепко вооружена. Конница ушла вперед и нас увела с собой, да мы благополучно вырвались.

— Откуда вы бежали?

— Из Дрогичина.

Сапега широко раскрыл глаза.

— Ты что, пьян! Как Богуслав мог дойти уже до Дрогичина? Когда он разбил вас?

— Две недели назад.

— И уже в Дрогичине?

— Разъезды его там. Сам он отстал, они какой-то конвой поймали, который вел пан Котчиц.

— Котчиц сопровождал панну Борзобогатую! — воскликнул Кмициц.

Наступило еще более продолжительное молчание. Никто не брал слова. Офицеры были ошеломлены неожиданным успехом Богуслава. В душе все они думали, что во всем повинен гетман со своим медленьем; однако никто не смел сказать это вслух.

Но сам Сапега чувствовал, что действовал он правильно и поступал разумно. Он первый опомнился и движением руки отослал солдат.

— Обычное это дело на войне,— сказал он офицерам,— и никого не должно смущать. Не думайте, что мы уже потерпели поражение. Правда, жаль хоругвей. Но стократ горший урон могла бы потерпеть отчизна, когда бы Богуслав увлек нас за собой в дальнейшее воеводство. Он идет нам навстречу. Как гостеприимные хозяева, выйдем и мы ему навстречу.— Затем он обратился к полковникам: — Все должны быть готовы выступить по моему приказу в поход.

— Мы готовы,— ответил Оскерко,— только коней взнуздать да трубить сбор.

— Еще сегодня затрубим. Двинемся завтра на заре, не мешкая! Вперед с татарами поскачет пан Бабинич и спешно привезет нам языка.

Едва слышав этот приказ, Кмициц бросился вон и через минуту уже мчался во весь опор в Рокитное.

Сапега тоже не стал медлить.

Ночь еще стояла, когда протяжно зыграли трубы, и конница с пехотой стали выходить в поле; за ними длинной вереницей потянулся скрипучий обоз. Первые

заревые лучи отразились в дулах мушкетов и жалах копий.

И шли в лад полк за полком, хоругвь за хоругвью. Конница пела тихонько утренние молитвы, а кони весело фыркали на утреннем холодке, и солдаты сулили себе поэтому верную победу.

Сердца были полны одушевления, ибо рыцари по опыту знали, что долго думает Сапега, и головой качает, и взвешивает со всех сторон каждый шаг, но уж коль решит, то дело сделает, а коль двинется в поход, то побьет врага.

В Рокитном уж и логова татар успели остыть; они ушли еще в ночь и, верно, были уже далеко. Сапега очень удивлялся, что по дороге и допытаться нельзя было о них, хотя вместе с охотниками в отряде было несколько сот сабель, и он не мог пройти незамеченным.

Офицеры из числа тех, что были поопытней, надивиться не могли искусству Кмицица, что так умело вел своих людей.

— Крадется, как волк в лозах, и, как волк, куснет,— говорили они,— воитель он божьей милостью.

А Оскерко, который, как уже было сказано, знал, кто такой Бабинич, говорил Сапеге:

— Не зря Хованский цену назначил за его голову. Бог пошлет победу, кому пожелает; но одно верно, что скоро отобьем мы Богуславу охоту воевать с нами.

— Все так, да вот жаль, что Бабинич как в воду канул,— отвечал гетман.

Три дня и в самом деле прошло без всяких вестей. Главные силы Сапеги дошли уже до Дрогичина, переправились через Буг и нигде не обнаружили врага. Гетман стал беспокоиться. По показаниям панцирных солдат, разъезды Богуслава дошли до Дрогичина, стало быть, князь, несомненно, решил отступить. Но что могло это значить? Дознался ли Богуслав о превосходных силах Сапеги и не отважился сразиться с ним, хотел ли увлечь гетмана далеко на север, чтобы облегчить шведскому королю нападение на Чарнецкого и коронных гетманов? Бабинич должен был уже взять языка и дать знать обо всем гетману. Показания панцирных солдат о численности войск Богуслава могли быть ошибочными, надо было во что бы то ни стало получить точные сведения.

Между тем прошло еще пять дней, а Бабинич не давал о себе знать. Приближалась весна. Все теплее становились дни, таяли снега. Вода понимала всю местность, а под нею дремали вязкие болота, страшно затруднявшие поход. Большую часть орудий и повозок гетману пришлось оставить в Дрогичине и дальше идти налегке. Начались лишения, и в войске гудялся ропот, особенно среди ополченцев. В Бранске попали в самую ростепель, так что пехота не могла уже двигаться дальше. Гетман по дороге забирал у мужиков и мелкой шляхты лошадей и сажал на них мушкетеров. Других подбирала легкая конница.

Но слишком далеко зашло уже войско, и гетман понимал, что ничего больше ему не остается, как спешить вперед.

Богуслав все отступал. По дороге войско Сапеги то и дело натыкалось на оставленные им следы: сожженные селенья, на суках повешенные. Местные однодворцы то и дело являлись к Сапеге с вестями; но показания их были, как всегда, сбивчивы и противоречивы. Этот видел одну хоругвь и клялся, что, кроме одной этой хоругви, у князя нет больше войска, тот видел целых две, тот — три, а этот такое войско, что в походе растянулось оно на целую милю. Словом, все это были рассказы, пустые разговоры людей, несведущих в военном деле.

Там и тут шляхтичи видели и татар; но слухи о них были самые невероятные: толковали, будто идут они не за войском князя, а впереди. Сапега гневно посапывал, когда при нем вспоминали имя Бабинича.

— Перехвалили вы его, — говорил он Оскерко. — В недобрый час отослал я Володыёвского, будь он здесь, давно бы у меня языков было сколько угодно, а это ветрогон, а может статья, и того хуже! Кто его знает, может, он и впрямь присоединился к Богуславу и идет у него впереди в охранении!

Оскерко не знал, что и думать. Между тем прошла еще неделя; войско прибыло в Белосток.

Это было в полдень.

Через два часа передовые посты дали знать, что приближается какой-то отряд.

— Может, это Бабинич! — воскликнул гетман. — Ну и дам я ему жару.

Бабинич не явился. Но когда подошел отряд, в стане поднялось такое движение, что Сапега вышел посмотреть, что случилось.

К нему со всех сторон скакали шляхтичи из разных хоругвей.

— От Бабинича! — кричали они.— Пленники! Куча! Народу взял он пропасть!

Гетман увидел с полсотни диких наездников на охудах, косматых лошадях. Они окружали около трехсот пленных солдат со связанными руками и били их сырмятными плетями. На пленников страшно было глядеть. Одна тень осталась от людей. Окровавленные, оборванные, полунагие и полуживые скелеты еле тащились, оставаясь ко всему равнодушными, даже к свисту плетей, рассекавших им кожу, и к дикому вою татар.

— Что за люди? — спросил гетман.

— Войско Богуслава, — ответил один из охотников Кмицица, сопровождавший с татарами пленников.

— Где вы их столько взяли?

— Да их половина выбилась из сил и в пути попримерла.

Но тут подошел старший татарин, вроде бы татарский вахмистр, и с поклоном вручил Сапеге письмо Кмицица.

Сапега тотчас взломал печать и стал читать вслух:

— «Ясновельможный пан гетман!

Не слал я по сию пору ни вестей, ни языков по той причине, что не в тылу у князя Богуслава, а впереди шел и хотел побольше взять для тебя людей...»

Гетман прервал чтение.

— Вот дьявол! — сказал он.— Нет чтоб идти за князем, так он вперед вырвался!

— Ах, черт его дери! — воскликнул вполголоса Оскерко.

Гетман продолжал чтение:

— «Хоть и опасное это было дело, потому разъезды вроссыпь, широко шли, все-таки два я изрубил, никого не пощадив, и прорвался вперед, сбивши тем князя с толку, ибо он сразу решил, что окружен и лезет прямо в западню...»

— Так вот почему они стали неожиданно отступать! — воскликнул гетман.— Дьявол, сущий дьявол!

Однако он снова стал читать со все возрастающим любопытством:

— «Князь понять не мог, что случилось, совсем потерял голову и слал разъезд за разъездом, а мы и разъезды колотили так, что ни один в целости назад не воротился. Идя впереди, я перехватывал припасы, разрушал гати, сносил мосты, так что войско князя подвигалось с превеликим трудом, ни днем, ни ночью не зная ни отдыха, ни сна, не кормя ни людей, ни лошадей. Люди не смели нос показать из стана, ибо ордынцы хватали неосторожных, а когда стан начинал засыпать, мы в лозняке такой подымали вой, что они думали, это идет на них великая сила, и почь напролет стояли в боевой готовности. Князь в отчаянии, он не знает, что делать, куда направить свой путь, а посему надлежит немедля на него обрушиться, покуда не оправился он от испуга. Людей у князя шесть тысяч, но без малого тысячу он потерял. Лошади у него падают. Рейтары как на подбор, и пехота хороша; но, по божьему насланью, силы князя тают с каждым днем, и, коль настигнет их наше войско, они рассеются. Княжеские кареты, часть запасов и ценной утвари я захватил в Белостоке, да две пушки в придачу; но вот тяжелые пришлось потопить. Такая злоба душит изменника князя, что совсем он расхворался и еле сидит на коне, febris¹ не отпускает его ни днем, ни ночью. Панну Борзобогатую он схватил, но на честь ее по болезни покуситься не может. Сии вести и свидетельства об упадке духа получил я от пленников, коих татары мои огнем пытали; коль их еще разок попытать, они все повторят. Засим прими уверения, ясновельможный гетман, в готовности моей служить тебе и прости, коли в чем дал промах. Ордынцы народ хороший и, видя, что добычи много, служат усердно».

— Ясновельможный пан! — обратился Оскерко к Сапеге. — Теперь ты уж, верно, не так жалеешь, что нет Володыёвского, потому и он не сравнится с этим воплощенным дьяволом.

— Чудеса, да и только! — схватился за голову Сапега. — Уж не врет ли он?

— Слишком он горд, чтобы врать! Князю виленскому воеводе и то резал правду в глаза, не думал, приятно тому иль неприятно его слушать. Да и все точно так, как было с Хованским, только у Хованского войска было в пятнадцать раз больше.

¹ Лихорадка (лат.).

— Коли правда все это, надо немедленно наступать,— сказал Сапега.

— Пока князь не успел опомниться.

— Так едем же! Бабинич разрушает гати, так что мы успеем настигнуть князя!

Между тем пленники, которых татары сбили перед гетманом в кучу, завидев его, застонали, завопили, на убожество свое стали показывать и на разных языках звать о пощаде. Среди них были шведы, немцы и приближенные Богуслава, шотландцы. Сапега взял их у татар, велел дать им поесть и допросить, не пытая огнем. Показания их подтвердили справедливость слов Кмицица. Тогда все войско Сапеги стремительно двинулось вперед.

ГЛАВА XXXVIII

Следующее донесение Кмицица поступило из Соколки и было кратким:

«Князь задумал обмануть наше войско: послал для виду разъезд на Щучин, сам же с главными силами ушел в Янов и там получил подкрепление — восемьсот человек отборной пехоты, которую привел капитан Кириц. От нас видны огни княжеского стана. В Янове войско должно неделю отдохнуть. Пленники толкуют, будто князь и бой готов принять. Все еще бьет его лихорадка».

Получив это донесение, Сапега оставил последние пушки и обоз и двинулся налегке к Соколке, где оба войска встали наконец друг против друга. Не миновать было им сражения, ибо одни не могли уже больше отступить, а другие преследовать. А покуда, как соперники, что после долгого преследования должны схватиться врукопашную, лежали они, еле переводя дух, друг против друга — и отдыхали.

Увидев Кмицица, гетман заключил его в объятия.

— А я уж серчать стал,— сказал он пану Анджею,— что ты так долго не давал о себе знать, но вижу, ты больше сделал, чем мог я надеяться, и коль пошлет бог нам победу, не моя, а твоя это будет заслуга. Как ангел-хранитель вел ты Богуслава.

У Кмицица зловещие огоньки сверкнули в глазах.

— Коль я его ангел-хранитель, то должен быть и при его кончине.

— Это уж как бог рассудит,— строго сказал гетман,— а коль хочешь ты, чтобы благословил он тебя, не личного преследуй врага, но отчизны.

Кмициц склонился в молчании; но незаметно было, чтобы красивые слова гетмана произвели на него впечатление. Лицо его выражало неумолимую ненависть и казалось тем более ужасным, что за время погони оно еще больше осунулось от ратных трудов. Прежде на этом лице читались только ствага и дерзость, теперь оно стало суровым и непреклонным. Нетрудно было догадаться, что тот, кому этот человек в душе дал слово отомстить, должен стеречься, будь он даже самим Радзивиллом.

Да он и мстил уже страшно. Велики были его заслуги в этом походе. Вырвавшись вперед, он спутал князю все карты, внушил ему, что он окружен, и принудил отступать. Затем день и ночь шел впереди. Истреблял разъезды, не щадил пленников. В Семятичах, в Боцках, в Орле и под Бельском глухой ночью напал на весь княжеский стан.

В Войшках, неподалеку от Заблудова, на собственной земле Радзивиллов, как слепой вихрь налетел на квартиру самого князя, так что Богуслав, который как раз сел обедать, чуть не попал живым в его руки и спасся только благодаря Саковичу, ошмянскому подкоморию. Под Белостоком захватил кареты и припасы Богуслава. Войско его изнурил, привел в смятение, заставил голодать. Отборные немецкие пехотинцы и шведские рейтары, которых привел с собой Богуслав, брели назад, подобные скелетам, объятые страхом и ужасом, не зная сна. Спереди, с флангов, с тыла раздавался неистовый вой татар и охотников Кмицица. Не успевал измученный солдат сомкнуть глаза, как тут же принужден был хвататься за оружие. Чем дальше, тем было хуже.

Окрестная мелкая шляхта присоединялась к татарам, отчасти из ненависти к биржанским Радзивиллам, отчасти из страха перед Кмицицем, ибо сопротивлявшихся он карал без пощады. Так росли его силы и таяли силы Богуслава.

К тому же Богуслав и впрямь был болен, и хотя он никогда не предавался долго унынию и хотя астрологи, которым он слепо верил, предсказали ему в Пруссии, что ничего дурного в этом походе с ним не случится,

однако самолюбие его как военачальника не раз бывало жестоко уязвлено. Он, военачальник, чье имя с восторгом повторяли в Нидерландах, на Рейне и во Франции, в этой лесной глуши бит был невидимым врагом, каждый день без битвы терпел поражение.

Таким небывало яростным и неслыханно упорным было это преследование, что Богуслав со свойственной ему остротой ума уже через несколько дней догадался, что его преследует неумолимый личный враг. Князь легко узнал его имя: Бабинич, потому что вся округа его повторяла; но имя это было ему неизвестно. Он был бы рад свести личное знакомство с врагом и в дороге, во время преследования, устраивал десятки и сотни засад. Все было напрасно! Бабинич обходил западню и наносил поражение там, где его меньше всего ожидали.

Но вот наконец оба войска столкнулись в окрестностях Соколки, где Богуслава ждало существенное подкрепление под начальством фон Кирица, который, не зная, где находится князь, зашел в Янов. Там и должна была решиться судьба похода Богуслава.

Кмициц наглухо закрыл все дороги, ведущие из Янова в Соколку, Корычин, Кужницу и Суховолю. Окрестные леса, кусты и лозы заняли татары. Письмо не проскользнуло бы сквозь этот заслон, не прошла бы ни одна повозка с припасом, поэтому сам Богуслав хотел дать поскорее бой, пока его войска не съели последнего яновского сухаря.

Но человек он был ловкий, искушенный в интригах, поэтому решил попытаться сперва начать переговоры. Он еще не знал, что Сапега в делах такого рода намного превосходит его умом и опытом. От имени Богуслава в Соколку явился Сакович, подкоморий и староста ошмянский, придворный князя и личный его друг. Он привез с собою письма и полномочие на заключение мира.

Человек богатый, впоследствии назначенный смоленским воеводой и подскарбием Великого княжества и достигший таким путем сенаторского звания, Сакович в ту пору был одним из самых знаменитых рыцарей в Литве и прославился мужеством и красотой. Был он среднего роста, чернобров и черноволос, со светло-голубыми глазами, которые смотрели с такой удивительной и невыразимой наглостью, что, по словам Богуслава, пронзал он взглядом, как мечом. Одевался он на иноземный манер,

нарядов навез из путешествий, которые совершил с Богуславом, говорил чуть не на всех языках, в битве же с такой яростью бросался в самое пекло, что друзья прозвали его отчаянным.

Но силы он был непомерной и никогда не терял присутствия духа, поэтому изо всех переделок выходил целым и невредимым. Рассказывали, что он мог, схватившись за задние колеса, на скаку остановить карету, пить мог без меры. Хватив кварту сливки, оставался трезв, будто вина и не отвеживал. В обращении с людьми был надменен, дерзок и холоден, в руках Богуслава мягок, как воск. Человек лощеный, он не растерялся бы и в королевских покоях; но душа у него была дикая, и вспыхивал он иногда, как порох.

Это был не слуга, а скорее друг князя Богуслава.

Богуслав, который в жизни никого не любил, к нему питал непобедимую слабость. Скряга от природы, он для одного Саковича ничего не жалел. Используя свое влияние, добился для него звания подкомория и дал ему ошмянское старство.

После каждой битвы первый вопрос его был: «Где Сакович, не пострадал ли?» На советах он очень на него полагался и прибегал к его помощи и в войне и в переговорах, когда смелость, даже просто наглость ошмянского старосты бывала весьма полезна.

Теперь князь послал его к Сапеге. Трудной была задача старосты: во-первых, его легко могли заподозрить в том, что он явился только как соглядатай, чтобы рассмотреть войска Сапеги, во-вторых, как посол он должен был много требовать и ничего не давать взамен.

На его счастье, Саковича нелегко было смутить. Он вошел как победитель, который является диктовать побежденному свои условия, и тотчас пронзил Сапегу своими белесыми глазами.

Видя эту спесь, Сапега только снисходительно улыбнулся.

Смелостью и наглостью можно поразить человека под стать себе; но не ровня гетману был Сакович.

— Господин мой, князь биржанский и дубинковский, конюший Великого княжества и предводитель войск его высочества курфюрста,— сказал Сакович,— прислал меня с поклоном и велел спросить, как твое здоровье, вельможный пан.

— Поблагодари вельможного князя и скажи, что я в добром здравии.

— Я с письмом к тебе, вельможный пан!

Сапега взял письмо, вскрыл небрежно, прочел и сказал:

— Зря мы только время будем тратить. Не могу понять, чего князю надобно. Сдаются вы или хотите попытаться счастья?

Сакович изобразил удивление.

— Мы сдаемся? Я думаю, что это князь тебе предлагает сдать, вельможный пан, во всяком случае, указания, кои мне...

— Об указаниях, кои были тебе даны,— прервал его Сапега,— мы поговорим после. Дорогой пан Сакович! Мы преследуем вас уже миль тридцать, как гончие зайца! Ну слышал ли ты когда, чтобы заяц предлагал гончим сдать?

— Мы получили подкрепления.

— Фон Кириц с восемью сотнями. Прочие столь *fatigati*¹, что лягут перед боем. Скажу тебе словами Хмельницкого: «Шкода говорити!»²

— Курфюрст со всеми своими силами встанет на нашу защиту.

— Вот и отлично! Не придется мне далеко искать его, а то хочу я его поспрошать, по какому такому праву он, ленник Речи Посполитой, обязанный хранить ей верность, посылает в ее пределы войско.

— По праву сильного.

— Может статься, в Пруссии и существует такое право, у нас нет. Наконец, коль вы сильны, выходите в открытое поле!

— Князь давно бы напал на вас, да жаль ему родную кровь проливать.

— Надо было раньше жалеть!

— Удивлен князь и тем, что Сапеги так ополчились на дом Радзивиллов и ты, вельможный пан, ради личной мести не задумался залить кровью отчизну.

— Тьфу! — плюнул Кмициц, который слушал весь разговор, стоя за креслом гетмана.

Сакович встал, подошел к нему и пронзил его своим взглядом.

¹ Утомлены (лат.).

² Говорить не стоит (укр.).

Но Кмициц и сам был неплох, он так поглядел на старосту, что тот и глаза в землю опустил.

Гетман насупился.

— Садись, пан Сакович, а ты, пан, помолчи! — После чего сказал: — Совесть, она одну правду скажет, а человек пожует и выплюнет клевету. Тот, кто с чужим войском нападает на родину, клеветает на того, кто ее защищает. Бог это слышит, и небесный летописец записывает.

— От ненависти Сапег погиб князь виленский воевода.

— Изменников, а не Радзивиллов я ненавижу, и вот лучшее тому доказательство: князь кравчий Радзивилл в моем стане. Говори же, чего тебе надобно?

— Вельможный пан, я скажу все, что у меня на душе: ненавидит тот, кто подсылает тайных убийц.

Тут пришла очередь удивляться Сапеге.

— Я подсылаю убийц к князю Богуславу?

Сакович устремил свои страшные глаза на гетмана и сказал отдельно:

— Да!

— Ты рехнулся!

— Недавно за Яновом поймали разбойника, который однажды уже участвовал в покушении на князя. Небось под пыткой скажет, кто его подослал!

На минуту воцарилось молчание; но Сапега услышал в тишине, как Кмициц, стиснув губы, дважды повторил у него за спиной:

— Горе мне! Горе!

— Бог мне судья! — с истинно сенаторским достоинством промолвил гетман. — Ни перед тобой, ни перед твоим князем я не стану оправдываться, не вам судить меня. А ты, чем медлить да тянуть, говори прямо, с чем приехал и какие условия предлагает князь?

— Князь, господин мой, сокрушил Гороткевича, разбил наголову пана Кшиштофа Сапегу, снова занял Тыкоцин, по справедливости должно почитать его победителем, и может он поэтому требовать больше. Не желая, однако, проливать христианскую кровь, хочет он мирно уйти в Пруссию, ничего взамен не требуя, только чтобы в замках остались его гарнизоны. Мы и пленников взяли немало, среди них высокие офицеры, не говоря о панне

Борзобогатой-Красенской, которая уже в Таурогах. Их мы всех можем обменять.

— Не похваляйся, милостивый пан, своими победами, ибо моя передовая стража, которую вел присутствующий здесь пан Бабинич, тридцать миль гнала вас, и, убегая от нее, вы пленными вдвое больше потеряли, да обоз, да пушки и припасы. Изнурено ваше войско и от голода погибает, есть вам нечего, и не знаете вы, что делать. А мое войско ты видал. Я нарочно не велел глаза тебе завязывать, чтобы поглядел ты, вам ли меряться с нами силами. Что ж до панны Борзобогатой, то не я ее покровитель, а пан Замойский и княгиня Гризельда Вишневецкая. С ними счеты сведет князь, коль ее обидит. Ну, говори, что еще хочешь сказать, да толком, не то прикажу пану Бабиничу тотчас ударить на вас.

Вместо ответа Сакович обратился к Кмицицу:

— Так это ты, милостивый пан, так донимал нас по дороге. Видно, у Кмицица учился разбойничать!

— А вы по собственной шкуре судите, каково я учился.

Гетман снова насупился.

— Нечего тебе тут делать,— сказал он Саковичу,— можешь ехать.

— Вельможный пан, дай же хоть письмо князю.

— Что ж, быть по-твоему. Подождешь письма у пана Оскерко.

Услышав эти слова, Оскерко тотчас увел Саковича. Гетман на прощанье махнул послу рукой, а затем сразу повернулся к пану Анджею:

— Ты что это закричал: «Горе мне, горе!» — когда зашел разговор о схваченном солдате? — спросил он, бросив на рыцаря суровый и испытующий взгляд.— Уже ли ненависть так заглушила в тебе совесть, что ты и в самом деле подослал к князю разбойника?

— Клянусь пресвятой девой, которую я защищал, нет! — ответил Кмициц.— Не чужими руками хочу я схватить его за горло!

— Чего же ты кричал? Ты знаешь этого человека?

— Знаю,— побледнев от волнения и гнева, ответил Кмициц.— Я его еще из Львова отправил в Тауроги. Князь Богуслав увез в Тауроги панну Билевич. Я люблю ее! Мы должны были пожениться. Я этого человека

послал, чтобы он мне весточку подал о ней. В таких она руках...

— Успокойся,— сказал гетман.— Ты дал ему какие-нибудь письма?

— Нет! Она бы их не захотела читать.

— Почему?

— Богуслав сказал ей, будто я посулился ему похитить короля.

— Признаться, много у тебя причин ненавидеть его.

— Да, ясновельможный пан, да!

— Князь знает этого человека?

— Знает. Это вахмистр Сорока. Он помогал мне увезти Богуслава.

— Понимаю,— сказал гетман.— Его ждет княжеская месть.

Наступила минута молчания.

— Князь в западне,— промолвил через минуту гетман.— Может, он согласится отдать его.

— Ясновельможный пан! — взмолился Кмициц.— Задержи Саковича, а меня пошли к князю. Может, выручу я Сороку.

— Так он тебе нужен?

— Старый солдат, старый слуга! Носил меня на руках. Много раз спасал мне жизнь. Бог бы меня покарал, когда бы я бросил его в такой беде.

И Кмициц задрожал от волнения и тревоги.

— Не удивительно мне,— заметил гетман,— что любят тебя солдаты, потому и ты их любишь. Я сделаю все, что смогу. Напишу князю, что за этого солдата отдам ему, кого только он пожелает. Ведь солдат выполнял только твой приказ, невинное был *instrumentum*.

Кмициц схватился за голову.

— Зачем ему пленники, не отпустит он его и за тридцать человек.

— Так ведь и тебе его не отдаст, только на жизнь твою попытается посягнуть.

— Ясновельможный пан, за одного только человека он его может отдать — за Саковича.

— Саковича я не могу задержать: он посол!

— Задержи его, ясновельможный пан гетман, а я с письмом поеду к князю. Может, удастся мне! Бог с ним! Не стану я мстить ему, только бы отпустил он мне этого солдата!

— Погоди! — сказал гетман.— Саковича я могу задержать. Кроме того, напишу князю, чтобы он прислал безыменный охранный лист.

Гетман тотчас сел за письмо. Через четверть часа казак поскакал в Янов с письмом, а к вечеру вернулся с ответом.

«Лист охранный по требованию посылаю,— писал Богуслав.— Любой посол воротится с ним цел и невредим; но странно мне, вельможный пан, что ты требуешь его у меня, имея в руках заложника, слугу и друга моего, пана старосту ошмянского, которого я так люблю, что за него отпустил бы всех твоих офицеров. Известно также, что послов не убивают, что даже дикие татары, с которыми ты против моего христианского войска воюешь, привыкли их уважать. Княжеским словом своим ручаясь за безопасность посла, остаюсь...»

В тот же вечер Кмициц взял охранный лист, двоих Кемличей и уехал. Сакович как заложник остался в Соколке.

ГЛАВА XXXIX

Было около полуночи, когда пан Анджей назвался первым княжеским постам, но во всем стане Богуслава никто не спал. В любую минуту могла разгореться битва, и люди усердно готовились к ней. Княжеское войско занимало самый Янов и господствовало над дорогой в Соколку, которую охраняла артиллерия с хорошо обученной курфюрстовской прислугой. Пушек было всего только три; но пороха и ядер достаточно. По обе стороны от Янова, между березовыми рощами, Богуслав приказал вырыть шанцы и поставить мушкетные гнезда и пехоту. Конница занимала самый Янов, дорогу за пушками и промежутки между шанцами. Оборонительная позиция была неплохая, и, располагая свежими силами, обороняться тут можно было долго и крепко; но свежего пополнения у Богуслава было только восемьсот человек пехоты под начальством Кирица, все же остальные были до того изнурены, что еле держались на ногах. Кроме того, с севера, из Суховоли, и с тыла доносился вой татар, пугавший солдат. Богуславу пришлось отрядить туда всю легкую конницу, которая, пройдя с полмили, не

смела ни назад вернуться, ни дальше идти, потому что опасалась засады в лесах.

Князь, хотя его больше обыкновенного мучила лихорадка и томил сильный жар, сам следил за всеми приготовлениями; на коне ему трудно было усидеть, и он приказал четверем драбантам носить себя в открытых носилках. Он осмотрел дорогу, березовые рощи и как раз возвращался в Янов, когда ему дали знать, что приближается посланец Сапеги.

Это было уже на улице города. Ночь стояла темная, и Богуслав не мог узнать Кмицица, которому офицеры передового охранения из излишней предосторожности надели на голову мешок с отверстием только для рта.

Князь это заметил и, когда Кмициц спешил и стал рядом с носилками, приказал немедленно снять мешок.

— Мы в Янове,— сказал он,— тайну тут делать не из чего.— Затем он обратился в темноте к пану Анджею: — От пана Сапеги?

— Да.

— А что поделывает пан Сакович?

— Он в гостях у пана Оскерко.

— А почему вы потребовали охранный лист, коль в руках у вас Сакович? Уж очень осторожен пан Сапега, как бы не перемудрил.

— Не мое это дело! — ответил Кмициц.

— Я вижу, ты, пан посол, не больно речист.

— Я письмо привез, а об приватном моем деле скажу на квартире.

— Стало быть, ты ко мне и с приватным делом?

— Просьба у меня к тебе, вельможный князь.

— Рад буду не отказать в просьбе. А теперь прошу за мной. На коня садись. Я бы посадил тебя на носилки, да уж очень тесно будет.

Тронулись. Князь на носилках, а Кмициц рядом на коне. В темноте они поглядывали друг на друга, но лиц рассмотреть не могли. Через минуту князя так стало трясти, хоть он был в шубе, что он даже зубами зашелкал.

— Бьет меня лихорадка,— проговорил он наконец.— Не будь этого... брр!.. не такие бы я поставил условия.

Кмициц ничего не ответил, только взором пронизывал темноту, в которой серым и белесым пятном рисовались голова и лицо князя. При звуке его голоса, при виде его

фигуры все старые обиды, старая ненависть и жгучая жажда мести подошли под самое сердце, безумие овладело им. Рука невольно потянулась к мечу, который у него отобрали; но за поясом у него была булава с железною шишкой, полковничий его знак, вот и начал бес смущать его и нашептывать:

«Крикни ему в самое ухо, кто ты, и разmozжи ему голову! Ночь темная, уйдешь! Кемличи с тобой. Убьешь изменника, за обиды отплатишь, Оленьку и Сороку спасешь! Бей же, бей!»

Кмициц еще ближе подъехал к носилкам и дрожащей рукой стал вытаскивать из-за пояса буздыган.

«Бей! — шептал бес.— Отчизне поможешь».

Кмициц вытащил уже булаву и с такой силой сжал рукоять, точно хотел раздавить ее в руке.

«Раз, два, три!» — шепнул бес.

Но в эту минуту конь под Кмицицем, то ли ткнувшись храпом в шлем драбанта, то ли испугавшись, зарыл вдруг копытами землю и сильно споткнулся; Кмициц дернул поводья. За это время носилки отдалились от него шагов на двадцать.

А у него волосы встали дыбом на голове.

— Пресвятая богородица, удержи мою руку! — прошептал он сквозь сжатые зубы.— Пресвятая богородица, спаси и помилуй! Я здесь посол, я приехал от гетмана, а убить хочу, как тать! Я, шляхтич, я, раб твой! Не введи меня во искушение!

— Что это ты, милостивый пан, отстаешь? — раздался прерывистый от лихорадки голос Богуслава.

— Да здесь я!

— Слышишь, петухи поют по дворам! Надо поспешать, а то болен я, отдохнуть мне надо.

Кмициц заткнул за пояс буздыган и снова поехал рядом с носилками. Однако успокоиться не мог. Он понимал, что только хладнокровие и самообладание могут помочь ему освободить Сороку, и заранее обдумывал, что сказать князю, как уговорить, уломать его. Давал себе слово думать только о Сороке, ни о ком другом и не вспомнить, особенно об Оленьке.

И чувствовал, как пылает его лицо при одной мысли о том, что князь сам может вспомнить о ней и такое сказать ему, что не сможет он ни сердца сдержать, ни дослушать.

«Пусть уж лучше он ее не трогает,— говорил он в душе,— пусть не трогает, иначе смерть ему и мне! Пусть хоть себя пожалеет, коль стыда у него нет!»

И несносную муку терпел пан Анджей; воздуха не хватало в груди и горло так сжималось, что не знал он, сможет ли слово вымолвить, когда придется говорить. В душевном смятении стал он молиться.

Через минуту ему стало легче, он успокоился, и горло уже не давило, как железным обручем.

Тем временем они подъехали к квартире князя. Дрбанты опустили носилки; двое придворных взяли князя под руки; он повернулся к Кмицицу и, щелкая по-прежнему зубами, сказал:

— Прошу! Приступ сейчас пройдет, и мы сможем поговорить.

Через минуту они оба очутились в отдельном покое, где в очаге пылали угля и было нестерпимо жарко. Придворные уложили князя Богуслава на длинное полевое кресло, укрыли шубами и внесли огонь. Затем они удалились, Богуслав откинул голову и остался недвижим.

— Я сейчас,— произнес он через некоторое время,— только отдохну немного.

Кмициц смотрел на него. Князь не очень изменился, только лицо осунулось от лихорадки. Как всегда, он был набелен и нарумянен и, наверно, поэтому, когда лежал вот так, с закрытыми глазами и откинутой головой, был похож на труп или восковую фигуру.

Пан Анджей стоял перед ним в свету, падавшем от светильника. Веки князя стали медленно приоткрываться, вдруг он совсем открыл глаза, и словно пламя пробежало по его лицу. Но длилось это лишь одно короткое мгновенье, затем он снова закрыл глаза.

— Коль ты дух, я не боюсь тебя,— произнес он,— но сгинь!

— Я приехал с письмом от гетмана,— сказал Кмициц.

Богуслав вздрогнул, словно хотел стряхнуть злые грезы, затем посмотрел на Кмицица и спросил:

— Я промахнулся?

— Не совсем,— угрюмо ответил пан Анджей, показывая на шрам.

— Это уже второй! — пробормотал про себя князь. А вслух спросил: — Где письмо?

— Вот! — ответил Кмициц, подавая письмо.

Богуслав стал читать; когда кончил, глаза его загорелись странным огнем.

— Хорошо! — произнес он.— Довольно тянуть! Завтра бой! Я рад, завтра у меня не будет лихорадки.

— Мы тоже рады,— ответил Кмициц.

На минуту воцарилось молчание, два заклятых врага со страшным любопытством смерили друг друга глазами.

Князь первый начал разговор:

— Так это ты, милостивый пан, так преследовал меня с татарами?

— Я!

— И не побоялся приехать сюда?

Кмициц ничего не ответил.

— А может, ты на родство рассчитывал, на Кишков! Ведь мы не свели с тобой счеты. Я могу приказать спустить с тебя шкуру.

— Можешь, вельможный князь.

— Правда, ты приехал с охранным листом. Теперь я понимаю, почему пан Сапега потребовал его. Но ты покушался на мою жизнь. Вы там задержали Саковича, но на его жизнь посягнуть пан воевода не имеет права, а я на твою имею, родственничек ты мой...

— Я к тебе с просьбой приехал, вельможный князь.

— Прошу! Можешь надеяться, что я для тебя все сделаю. Какая же у тебя просьба?

— Твои люди схватили моего солдата, одного из тех, что помогали мне увезти тебя. Я отдавал приказы, он действовал как слепое *instrumentum*. Отпусти, вельможный князь, этого солдата на свободу.

Богуслав минуту подумал.

— Что-то мне, пан, невдомек,— сказал он,— солдат ли так хорош иль ходатай так бесстыж...

— Я даром не хочу, вельможный князь.

— Что же ты дашь за него?

— Самого себя.

— Скажи пожалуйста, такой *miles praeciosus*! ¹ Щедро платишь, да только смотри, станет ли и на что другое,— ведь ты, пожалуй, еще кого-нибудь захочешь у меня выкупить...

¹ Дорогой солдат (*лат.*).

Кмициц шагнул к князю и побледнел так страшно, что князь невольно поглядел на дверь и, не смотря на всю свою храбрость, переменял предмет разговора.

— Пан Сапега на такое условие не согласится,— сказал он.— Я бы с радостью взял тебя; но своим княжеским словом поручился за твою безопасность.

— Через этого солдата я передам пану гетману, что остался добровольно.

— А он потребует, чтобы я отослал тебя против твоей воли. Уж очень велики твои заслуги перед ним. И Саковича он мне не отпустит, а Сакович для меня дороже, чем ты...

— Тогда, вельможный князь, освободи так этого солдата, а я дам слово чести, что явлюсь, куда прикажешь.

— Завтра я, может статься, голову сложу. Ни к чему мне на послезавтра договариваться.

— Молю тебя, вельможный князь. За этого человека я...

— Что ты?

— Мстить перестану.

— Видишь ли, пан Кмициц, много раз хаживал я на медведя с рогатиной не потому, что должен был это делать, а потому, что так мне хотелось. Люблю я опасности, жить мне не так скучно. Потому и мечь твою я в усладу себе оставляю, да и ты, надо сказать, из тех медведей, что сами на рогатину лезут.

— Вельможный князь,— сказал Кмициц,— за ничтожную благодетельность господь часто великие прощает грехи. Никто не ведает, когда предстанет он перед судом всевышнего...

— Довольно! — прервал его князь.— И я, чтоб угодить богу, псалмы слагаю, хоть и болен, а понадобится мне проповедник, своего кликну. Не умеешь ты смиренно просить, все вокруг да около ходишь. Я тебе сам подскажу средство: завтра в битве ударь на Сапегу, а я послезавтра выпущу твоего солдата и тебе прощу вину. Предал ты Радзивиллов, предай же и Сапегу!

— Ужели это твое последнее слово, вельможный князь? Заклинаю тебя всем святым!..

— Нет! Что, сатанеешь, а? И в лице меняешься? Только не подходи близко! Людей мне стыдно звать, но вот взгляни сюда! Ты ведь отчаянный!

С этими словами Богуслав показал на дуло пистолета, выглядывавшее из-под шубы, которой он был укрыт, и впился сверкающими глазами в пана Анджея.

— Вельможный князь! — воскликнул Кмициц и сложил просительно руки, но лицо его исказилось от гнева.

— И просишь и грозишь? — сказал Богуслав. — Шею гнешь, а из-за пазухи черт зубы мне скалит? Глаза сверкают гордостью, сам мечешь громы и молнии? В ноги Радзивиллу, коль просишь его! Лбом об землю бей! Тогда я тебе отвечу!

Лицо пана Анджея было бледно как полотно, он провел рукой по потному лбу и ответил прерывающимся голосом, словно лихорадка, которая мучила князя, стала бить вдруг и его.

— Коли ты, вельможный князь, отпустишь мне этого старого солдата, я готов... упасть... к твоим ногам!

Глаза Богуслава злорадно сверкнули. Враг смирился, согнул свою гордую выю. Лучше не мог князь утолить жажду мщения.

Кмициц стоял перед ним, дрожа всем телом, волосы шевелились у него на голове. Даже в спокойные минуты он похож был на ястреба, а сейчас еще больше напоминал разъяренную хищную птицу. Трудно было сказать, бросится он через минуту к ногам князя или схватит его за грудь.

А Богуслав, не спуская с него глаз, сказал:

— При людях! При свидетелях! — И повернулся к двери: — Эй! Сюда!

В отворенную дверь вошло человек двадцать придворных, поляков и иноземцев. За ними появились офицеры.

— Вот пан Кмициц, хорунжий оршанский и посол пана Сапеги, — обратился к ним князь, — хочет милости моей просить и желает, чтобы все вы при том были свидетелями!

Кмициц пошатнулся, как пьяный, и со стоном повалился в ноги Богуславу.

А князь нарочно вытянул ноги так, чтобы носком рейтарского сапога коснуться чела рыцаря.

Услышав славное имя, узнав, что тот, кто носил его, теперь посол Сапеги, все онемели от изумления. Все поняли, что небывалое творится здесь дело.

Князь между тем встал и молча прошел в соседний покой, кивнув только двоим придворным, чтобы они последовали за ним.

Кмициц поднялся с колен. Лицо его не выражало ни гнева, ни ярости, а только бесчувственность и безразличие. Казалось, он не сознает, что с ним творится, что сломлен вконец.

Прошло полчаса, час. За окном слышен был конский топот и мерные шаги солдат, а он все сидел, как каменный.

Внезапно отворилась дверь из сеней. Вошел офицер, старый знакомый Кмицица по Биржам, и восемь человек солдат, четверо с мушкетами, четверо без ружей, при одних только саблях.

— Пан полковник, встань! — учтиво обратился к нему офицер.

Кмициц посмотрел на него блуждающими глазами.

— Гловбич! — произнес он, узнав офицера.

— Я получил приказ, — сказал Гловбич, — связать тебе руки и вывести из Янова. Это только на время, потом ты уедешь свободно. Поэтому, пан полковник, прошу не оказывать сопротивления.

— Вяжи! — ответил Кмициц.

И без сопротивления позволил связать себе руки. Ног ему вязать не стали. Офицер вышел с ним из покоя и повел его пешком через Янов. Выйдя из Янова, они шли еще около часу. По дороге к ним присоединилось несколько всадников. Пан Анджей слышал, что они говорят по-польски; всем полякам, служившим у Радзивилла, было известно имя Кмицица, им поэтому было особенно любопытно, что же с ним будет. Конвой миновал березовую рощу и вышел в пустое поле; здесь пан Анджей увидел отряд легкой польской хоругви Богуслава.

Солдаты были построены в квадрат; посредине квадрата на площадке только двое пехотинцев держали лошадей на шлеях да человек двадцать стояло с факелами.

При свете факелов пан Анджей увидел лежащий на земле кол со свежезаостренным концом, другой его конец был привязан к толстому бревну.

Дрожь невольно проняла пана Анджея.

«Это для меня! — подумал он.— Князь прикажет лошадьми посадить меня на кол. Из мести он жертвует Саковичем!»

Он ошибся, кол был предназначен для Сороки.

В дрожащих отблесках пламени он увидел и самого Сороку. Старый солдат сидел около бревна на стульце, без шапки, со связанными руками; его стерегли четверо солдат. Какой-то человек в безрукавке поил его в эту минуту водкой из плоской кружки; Сорока пил с жадностью. Выпив всю водку, он сплюнул, и в эту самую минуту Кмицица поставили между двумя всадниками в первой шеренге; солдат увидел его, сорвался со стульца и вытянулся, как на параде.

С минуту они глядели друг на друга. Лицо Сороки было спокойно и решительно; он только двигал челюстями, точно все что-то жевал.

— Сорока! — простонал наконец Кмициц.

— Слушаюсь! — ответил солдат.

И снова воцарилось молчание. Да и о чем было им говорить в такую минуту! Но вот палач, который поил Сороку водкой, подошел к нему.

— Ну, старина, — сказал он, — пора!

— А вы попрямей посадите!

— Не бойся!

Сорока не боялся; но когда он почувствовал на своем плече руку палача, он задышал тяжело и трудно и наконец сказал:

— Еще горелки!

— Нету!

Вдруг один из солдат выехал из шеренги и подал флягу.

— Есть. Дайте ему!

— Смирно! — скомандовал Гловбич.

Но человек в безрукавке все-таки прижал флягу к губам Сороки, и тот снова пил, а выпив, глубоко вздохнул.

— Вот она, солдатская доля! — сказал он. — Вот награда за тридцать лет службы! Ну, пора так пора!

К нему подошел второй палач, и его стали раздевать. Наступила минута молчания.

Факелы дрожали в руках у людей. Всем стало страшно.

Но вот ропот пробежал по рядам солдат, окружающих площадку; он становился все громче. Солдат не палач. Он сам убивает, но не любит смотреть на страданья.

— Молчать! — крикнул Гловбич.

Ропот перешел в общий крик, в котором слышались отдельные возгласы: «Дьяволы! Черти! Собачья служба!»

Вдруг Кмициц крикнул так, точно его самого посадили на кол:

— Стой!!!

Палачи невольно остановились. Все глаза обратились на Кмицица.

— Солдаты! — крикнул пан Анджей. — Князь Богуслав предал короля и Речь Посполитую! Вы окружены, и завтра вас истребят всех до единого! Вы служите изменнику! Но кто бросит службу, бросит изменника, того ждет прощение короля, прощение гетмана! Выбирайте! Смерть и позор или завтра награда! Я жалованье вам заплачу и каждому дам по дукату, по два дуката! Выбирайте! Не вам, честным солдатам, служить изменнику! Да здравствует великий гетман литовский!

Крик перешел в гул. Ряды расстроились.

Десятка два голосов крикнули:

— Да здравствует король!

— Довольно с нас этой службы!

— Смерть изменнику!

— Стой! Стой! — кричали другие голоса.

— Завтра ждет вас позорный конец! — ревел Кмициц.

— Татары в Суховоле!

— Князь изменник!

— Против короля воюем!

— Бей его!

— К князю!

— Стой!

Во всеобщем смятении чья-то сабля перерезала веревки, связывавшие руки Кмицица. Тот тут же вскочил на одного из коней, которые должны были поднять Сороку на кол, и крикнул, уже сидя верхом:

— За мной к гетману!

— Иду! — крикнул Гловбич. — Да здравствует король!

— Да здравствует король! — ответило полсотни голосов и мгновенно сверкнуло полсотни сабель.

— Сороку на коня! — снова scomандовал Кмициц.

Солдаты, которые хотели оказать сопротивление, увидев обнаженные сабли, смолкли. Один все-таки повернул

коня и исчез через минуту из глаз. Факелы погасли. Темнота окутала всех.

— За мной! — раздался голос Кмицица.

И люди беспорядочной толпой рванулись с места, затем вытянулись длинной вереницей.

Отъехав с полверсты, в березовой роще, лежавшей по левую сторону стана, наткнулись на сильное пешее охранение.

— Кто идет? — раздались голоса.

— Гловбич с разъездом!

— Что пропуск?

— Трубы!

— Проходи!

Они проехали не спеша, затем пустились рысью.

— Сорока! — сказал Кмициц.

— Слушаюсь! — раздался рядом голос вахмистра.

Кмициц больше ничего не сказал, он только протянул руку и положил ее на голову вахмистра, словно желая удостовериться, едет ли тот рядом.

Солдат в молчании прижал его руку к губам.

Тут рядом же, но с другой стороны, раздался голос Гловбича:

— Пан Кмициц, я давно хотел сделать то, что делаю теперь!

— Ты об этом не пожалеешь!

— Век буду тебя благодарить!

— Послушай, Гловбич, почему князь не иноземный полк, а вас послал на казнь?

— Он хотел тебя опозорить при поляках. Чужие солдаты тебя не знают.

— А со мной ничего не должно было случиться?

— Мне дан был приказ разрезать тебе веревки. А если бы ты кинулся спасать Сороку, мы должны были доставить тебя к князю для наказания.

— Стало быть, он хотел пожертвовать и Сакови-чем,— пробормотал Кмициц.

Между тем в Янове князь Богуслав, изнуренный лихорадкой и дневными трудами, лег уже спать. Он пробудился от глубокого сна, услышав шум перед домом и стук в дверь.

— Вельможный князь! Вельможный князь! — кричало несколько голосов.

— Князь спит! Не будить! — отвечали пажи.

Но князь сел на постели и крикнул:

— Огня!

Принесли огонь, одновременно вошел дежурный офицер.

— Вельможный князь! — сказал он.— Посол Сапеги взбунтовал хоругвь Гловбича и увел ее к гетману.

Наступило молчание.

— Бить в литавры и барабаны! — приказал наконец Богуслав.— Войско в строй.

Офицер вышел, князь остался один.

— Это страшный человек! — сказал он про себя.

И почувствовал, что у него начинается новый приступ лихорадки.

ГЛАВА XL

Можно себе представить, как удивлен был Сапега, когда Кмициц не только сам вернулся цел и невредим, но и привел с собой отряд в несколько десятков сабель и старого слугу. Дважды пришлось Кмицицу рассказывать, как было дело, во все уши слушали гетман и Оскерко, только нет-нет да руками который всплеснет или за голову схватится.

— Знай же,— сказал пану Анджею гетман,— кто в своей мести переходит всякие границы, у того она часто, как птица, ускользает из рук. Князь Богуслав хотел, чтобы поляки были свидетелями твоего бесчестья и позора, хотел этим еще больше унижить тебя, вот и перешел всякие границы. Но ты не хвались, ибо победу ты одержал по божьему соизволению. А все-таки должен я сказать тебе: он дьявол, но и ты дьявол! Нехорошо князь поступил, что надругался над тобой.

— Я над ним ругаться не стану и в мести, даст бог, не перейду границ!

— Ты совсем прости ему, как Христос прощал обидчикам, хоть, бывши богом, словом одним мог покарать жидовинов.

Кмициц ничего не ответил, да и времени у него не было не то что для разговоров, но даже для отдыха. Он изнемогал от усталости, однако принял решение в ту же ночь выехать к своим татарам, которые стояли в лесах и на дорогах за Яновом, в тылу войск Богуслава. Люди тогда умели спать и в седле. Приказал только Кмициц

оседлать свежего коня да пообещал себе сладко поспать в дороге.

Он уже садился в седло, когда к нему подошел Сорока и вытянулся в струнку.

— Пан полковник! — обратился к нему вахмистр.

— Что скажешь, старина?

— Я пришел спросить, когда мне ехать?

— Куда?

— В Тауроги.

Кмициц рассмеялся.

— В Тауроги ты не поедешь совсем, со мной поедешь.

— Слушаюсь! — ответил вахмистр, стараясь не показать, как он доволен.

Поехали вместе. Путь был не близкий, ехать пришлось через леса, окольными путями, чтобы не наткнуться на Богуслава; зато пан Анджей и Сорока отлично выспались и без всяких приключений прибыли к татарам.

Акба-Улан тотчас явился к Бабиничу и доложил, что было сделано в его отсутствие. Пан Анджей остался доволен: все мосты были сожжены, гати уничтожены; вдобавок разлились весенние воды, и поля, луга и низкие дороги обратились в вязкое болото.

У Богуслава не было выбора, он должен был драться и либо победить, либо погибнуть. О том, чтобы уйти, и речи быть не могло.

— Ну что ж, — промолвил Кмициц, — рейтары у него отборные, но конница это тяжелая. Толку от нее по этой грязи никакого.

Затем он обратился к Акба-Улану.

— Похудал ты! — сказал он татарину, ткнув его кулаком в брюхо. — Ничего, после битвы набьешь пузо княжескими дукатами.

— Бог на то сотворил врагов, чтобы мужам битвы было с кого брать добычу, — важно ответил татарин.

— А конница Богуслава стоит против вас?

— Несколько сот сабель, и конница отборная, а вчера еще полк пехоты прислали, и он окопался.

— Неужто нельзя выманить их в поле?

— Не выходят.

— А если обойти да в тылу оставить, а самим пробиться на Янов?

— Они на самой дороге стоят.

— Что-то надо придумать! — Кмициц стал поглаживать рукой чуприну.— А набеги учинять на них вы пробовали? Далеко ль они за вами шли?

— Да так с полверсты, дальше не хотели.

— Надо что-то придумать! — повторил Кмициц.

Однако в ту ночь он ничего не придумал. Зато на следующий день подъехал с татарами к стану, лежавшему между Суховолей и Яновом, и увидел, что лишнего прибавил Акба-Улан, сказавши, будто пехота с той стороны окопалась: там были небольшие шанцы, только и всего. В них можно было долго обороняться, особенно от татар, которые под огнем неохотно шли в атаку, однако о том, чтобы выдержать осаду, и речи быть не могло.

«Будь у меня пехота,— подумал Кмициц,— я бы напролом пошел...»

Но о том, чтобы привести пехоту, и думать было нечего,— не так уж много было ее у самого Сапеги, да и времени не оставалось, чтобы ее подтянуть.

Кмициц подъехал так близко, что пехота Богуслава открыла по нему огонь: но он, не обращая внимания на стрельбу, разъезжал под пулями, разглядывал, озирался кругом, и татары, хоть они под огнем держались хуже, принуждены были ехать с ним в ногу. Потом выскочила конница и стала заходить сбоку. Пан Анджей отскакал тысячи на три шагов и вдруг повернул назад и ринулся на нее.

Но всадники тоже повернули на всем скаку и понеслись назад, к шанцам. Напрасно татары послали им вслед тучу стрел. С коня упал только один, да и того похорошили и увезли товарищи.

На обратном пути Кмициц, вместо того чтобы направиться прямо в Суховолю, помчался на запад и доехал до Каменки.

Болотистая река широко разлилась, весна в тот год была на редкость многоводна. Кмициц посмотрел на реку, бросил в воду несколько изломанных веточек, чтобы определить быстроту течения, и сказал Улану:

— Обойдем их по реке и ударим с тыла.

— Кони не поплывут против течения.

— Вода медленно течет. Прямо еле-еле. Поплывут!

— Кони закоченеют, и люди не выдержат. Холодно еще.

— Люди поплывут, держась за хвосты. Это ведь ваш татарский обычай.

— Закочeneют люди.

— В бою разогреются.

— Ну ладно.

Как только спустились сумерки, Кмициц велел нарубить пуки лоз, сухого камыша и тростника и привязать к бокам лошадей.

Когда зажглась первая звезда, в воду, по его приказу, бросилось около восьмисот всадников и пустилось вплавь вверх по реке. Сам пан Анджей плыл впереди: однако он скоро смекнул, что они так медленно подвигаются вперед, что и за два дня не минуют шанцы.

Тогда он приказал переправляться на другой берег.

Это было опасное предприятие. По ту сторону реки берег был низкий и болотистый. Лошади, хоть и легкие, по брюхо уходили в болото. Все же отряд понемногу подвигался вперед, люди поддерживали друг друга.

Так прошли они с полсотни сажений.

Звезды показывали полночь. Но тут до слуха их долетели отголоски далекой пальбы.

— Бой начался! — крикнул Кмициц.

— Мы потонем! — ответил Акба-Улан.

— За мной!

Татары не знали, что делать, когда вдруг заметили, что конь Кмицица вынырнул из болота, ступив, видно, на твердый грунт.

И в самом деле начался песчаный пережат. Вода была лошадям по грудь, но грунт был твердый. Пошли резвей. Слева мигнули далекие огни.

— Это шанцы! — тихо сказал Кмициц. — Мимо! В обход!

Через минуту они и в самом деле миновали шанцы. Тогда снова свернули налево и снова бросились в реку, чтобы выйти на сушу за шанцами.

Больше сотни лошадей увязло у самого берега. Но люди почти все выбрались. Пешим Кмициц велел сесть позади всадников и двинулся к шанцам. Две сотни охотников он еще раньше оставил с приказом беспокоить противника с фронта, пока он будет заходить ему с тыла. При подходе услышал сперва редкие, а там все более частые выстрелы.

— Отлично! — сказал он. — Наши пошли в атаку!

Отряд понесся.

В темноте маячили только головы, мерно подскакивая на ходу. Ни одна сабля не звякнула, не зазвенело оружие, татары и охотники умели идти тихо, как волки.

Пальба в стороне Янова становилась все сильней; видно, Сапега перешел в наступление по всей линии.

Но и со стороны шанцев, куда мчался Кмициц, долетали крики. Костры, пылавшие там, озаряли все кругом сильным светом. В отблесках пламени Кмициц увидел пехоту, которая, изредка постреливая, смотрела вперед, в поле, где конница сражалась с охотниками.

Его тоже увидели с шанцев, однако вместо выстрелов встретили приближавшийся отряд громкими кликами. Солдаты решили, что это князь Богуслав шлет подкрепление.

Но когда всадники, надвинувшись тучей, были уже в какой-нибудь сотне шагов от шанцев, пехота беспокойно зашевелилась; заслонив ладонью глаза от света, солдаты стали всматриваться, кто же это к ним скачет.

И вдруг за полсотни шагов от шанцев неистовый вой потряс воздух, отряд вихрем ринулся на пехоту, окружил ее, зажал в кольцо, смял, и вся куча людей стала судорожно бросаться из стороны в сторону. Казалось, огромная змея душит облюбованную жертву.

В общей свалке слышались пронзительные вопли: «Аллах! Herr Jesus! Mein Gott!»¹

А перед шанцами раздались новые крики, это охотники увидели, что Бабинич уже в шанцах, и, хоть было их меньше, с яростью наперли на конницу. Между тем небо насупилось, как бывает весною, и туча неожиданно пролилась частым дождем. Костры потухли, и бой продолжался в темноте.

Однако был он недолог. Застигнутые врасплох пехотинцы Богуслава были переколоты. Конница, в которой было много поляков, сложила оружие. Сотня чужих драгун была изрублена.

Когда луна снова выплыла из-за туч, она осветила только толпу татар, которые кончали раненых и брали добычу.

¹ Господи Иисусе! Боже мой! (нем.).

Но и это продолжалось недолго. Раздался пронзительный голос пищалки, татары и охотники все, как один, вскочили на коней.

— За мной! — крикнул Кмициц.

И как вихрь понесся с ними в Янов.

Через четверть часа злополучный городок был подожжен с четырех концов, а через час над ним бушевало море огня. Снопы огненных искр взметнулись в багровое небо.

Так Кмициц дал знать гетману, что он захватил тылы войск Богуслава.

Весь в крови, как палач, он строил в огне своих татар, чтобы вести их дальше.

Они уже стояли в строю, вытянувшись лавой, когда в поле, которое было освещено пожаром, как днем, увидел внезапно отряд тяжелых курфюрстовских рейтар.

Вел их рыцарь, который виден был издали, так как латы на нем были серебряные и сидел он на белом коне.

— Богуслав! — взревел нечеловеческим голосом Кмициц и ринулся со всей татарской лавой вперед.

Враги неслись навстречу друг другу, как два вала, гонимых двумя вихрями. Их отделяло значительное расстояние, и кони с обеих сторон пошли вскачь и стлались, прижав уши, вытянувшись, как борзые, едва не касаясь брюхом земли. С одной стороны великаны в сверкающих кирасах, с прямыми саблями, поднятыми в правой руке, с другой стороны серая туча татар.

Наконец они сшиблись длинною лавой на освещенном пожаром поле; но тут случилось нечто ужасное. Вся туча татар повалилась вдруг, будто нива полегла под дуновением бури, великаны проскакали по ней и помчались дальше, словно и они, и их кони владели силой громов и летели на крыльях бури.

Через некоторое время десятки татар поднялись и бросились преследовать их. Эту дикую орду можно было смять, но затоптать за один раз нельзя. Вот и теперь все больше людей устремлялось за скачущими рейтарами. В воздухе засвистели арканы.

Но всадник на белом коне все время скакал в первом ряду, во главе бегущих, а среди преследователей не было Кмицица.

Только на рассвете стали возвращаться татары назад, и почти каждый вел на аркане рейтара. Вскоре они нашли Кмицица в беспмятстве и отвезли его к Сапеге.

Гетман сам сидел у его постели. В полдень пан Анджей открыл глаза.

— Где Богуслав? — были его первые слова.

— Разбит наголову. Бог сперва послал ему счастье, успел он выбраться из березника, но в открытом поле столкнулся с пехотой пана Оскерко, там и потерял он людей и победу. Не знаю, ушло ли их пять сотен, многих еще твои татары переловили.

— А сам-то он?

— Ушел.

Помолчав с минуту времени, Кмициц сказал:

— Не приспела еще пора силами мне с ним меряться. Мечом рубнул он меня по голове и наземь свалил вместе с конем. По счастью, мисюрка на голове была отменной стали, она и спасла меня; но без памяти я упал.

— Ты эту мисюрку должен в костеле повесить.

— Мы за ним хоть на край света будем гнаться! — воскликнул Кмициц.

Гетман сказал ему на эти слова:

— Ты вот погляди, какую весть получил я после битвы.

И подал ему письмо.

Кмициц вслух прочитал следующие слова:

— «Король шведский двинулся из Эльблонга, идет на Замостье, оттуда на Львов, на короля. Выходи, вельможный пан, со всеми силами на спасение короля и отчизны, ибо одному мне не продержаться. *Чарнецкий*».

На минуту воцарилось молчание.

— А ты с нами пойдешь или поедешь с татарами в Тауроги? — спросил гетман.

Кмициц закрыл глаза. Он вспомнил все, что говорил ему ксендз Кордецкий, все, что рассказывал о Скшетуском Володыёвский, и ответил:

— Приватные дела — в сторону! За отчизну хочу биться с врагом!

Гетман обнял его.

— Брат ты мне! — сказал он. — Я уж старик, так что прими мое благословение!...



*Перевод
Ю. Винер и И. Матецкой*





ГЛАВА I

Вот уже по всей Речи Посполитой народ седлал коней, а шведский король все не мог уйти из Пруссии, занятый покорением тамошних городов и переговорами с курфюрстом.

Одержав неожиданно быструю и легкую победу, искушенный воитель вскоре спохватился, что шведский лев проглотил больше, нежели способен переварить. По возвращении Яна Казимира Карл уже не надеялся сохра-

нить всю добычу целиком и стремился теперь удержать хотя бы кусок побольше, и прежде всего ту провинцию, что граничила со шведским Поморьем,— богатую, плодородную, изобилующую крупными городами Королевскую Пруссию.

Но провинция эта, и прежде первой оказавшая ему сопротивление, стойко хранила верность своему королю и Речи Посполитой. Опасаясь, что возвращение Яна Казимира и военные действия, предпринятые тышовецкими конфедератами, подогреют боевой дух пруссаков, укрепят их верность и подвигнут на дальнейшую борьбу, Карл Густав решил подавить мятеж, сокрушить Казимирово войско, дабы отнять у пруссаков всякую надежду на помощь.

К этому понуждало Карла и то обстоятельство, что курфюрст всегда склонен был держать сторону сильнейшего. Шведский король знал его уже насквозь и нимало не сомневался, что, едва лишь счастье улыбнется Яну Казимиру, курфюрст поспешит переметнуться к нему.

Видя к тому же, что осада Мальборка подвигается туго, ибо чем больше усилий прилагали осаждающие, тем упорнее защищал крепость пан Вейхер, Карл Густав задумал новый поход на Речь Посполитую, решившись преследовать Яна Казимира вплоть до отдаленнейших пределов страны.

Дело следовало у него за словом столь же быстро, сколь быстро гром следует за молнией; миг собрал он стоявшие по городам войска, и не успели люди в Речи Посполитой спохватиться, не успела разойтись весть о его походе, как он уже миновал Варшаву и без оглядки кинулся прямо в огонь.

Он несся, подобно буре, пылая гневом, яростью и жаждой мести. За ним неслась, топча снег, еще не сошедший с полей, десятитысячная конница, из всех шведских гарнизонов стекалась к нему пехота, и, словно подгоняемый вихрем, он шел все дальше и дальше на юг Речи Посполитой.

Трупы и пожарища оставлял он на своем пути. То был уже не прежний Carolus Gustavus, добрый, милостивый и веселый государь, что некогда рукоплескал польской кавалерии, шутил с пирующей шляхтой и заигрывал с простыми ратниками. Теперь, где бы ни прошел

он, везде рекой лилась шляхетская и мужицкая кровь. Попадавшиеся по дороге партизанские отряды он сметал с лица земли, пленных вешал, никого не миловал.

Но точно так же, как голодные волки гонятся за могучим медведем, что продирается сквозь чашу, круша тяжелой своей тушей кусты и ветки, и, не смея заступить ему дорогу, все ближе и ближе насаждают на него сзади,— точно так же партизанские отряды тянулись вслед за армией Карла, постепенно объединяя свои силы, и следовали за шведом неотступно, как тень следует за человеком,— нет, неотступней, чем тень, ибо не оставляли его ни днем, ни ночью, ни в ведро, ни в непогоду; а перед ним по всему пути народ разрушал мосты, уничтожал припасы, так что швед шел словно через пустыню, нигде не находя себе ни крова, ни хлеба.

Сам Карл Густав вскоре понял, сколь страшное затеял он дело. Среди моря войны, разливавшегося вокруг него, он был как одинокий корабль среди бушующих волн. Бушевала Пруссия, бушевала Великая Польша — она первая присягнула Карлу и первая же стремилась сбросить шведское иго; бушевала Малая Польша, и Русь, и Литва, и Жмудь. Словно на островах, держались еще шведы в замках и в крупных городах, но деревни, леса, поля и реки были уже в руках у поляков. Не только одному ратнику или небольшому отряду — даже целому полку нельзя было отстать от основных сил шведской армии, он сразу же пропадал без вести, а пленники, захваченные мужиками, умирали в страшных мучениях.

Напрасно велел Карл Густав объявлять по деревням и городам, что каждому мужику, который доставит шведам вооруженного шляхтича, живого или мертвого, дарована будет воля на вечные времена и земельный надел,— мужики наравне со шляхтой и горожанами уходили в партизаны. В партизаны шли все — жители гор и глухих лесов, жители полей и долин, они устраивали на дорогах завалы, нападали на города с небольшими гарнизонами, истребляли шведские разъезды. Цепы, вилы и косы обагрялись шведской кровью ничуть не хуже, чем шляхетские сабли.

И тем яростней вскипал гнев в сердце Карла, что ведь всего какой-нибудь год тому назад он с легкостью

завоевал эту страну; что же произошло, недоумевал он, откуда эти силы, откуда это сопротивление? Откуда война эта не на живот, а на смерть, которой не видно ни конца, ни края?

В шведском лагере участились военные советы. С Карлом шел его брат Адольф, принц Бипонтинский, главнокомандующий шведских войск; шел Роберт Дуглас, шел Генрих Горн, родственник того Горна, что погиб под Ченстоховой от мужицкой косы, шел Вальдемар, граф датский; и Миллер, растерявший всю свою боевую славу у подножия Ясной Горы, и Ашемберг, самый искусный среди шведских военачальников в конной атаке, и Гаммершильд, ведавший артиллерией, и старый бандит маршал Арвид Виттенберг, знаменитый живодер и грабитель, ныне превращенный французской болезнью в развалину, и Форгель, и еще много других столь же прославленных своими завоеваниями полководцев, уступающих в военном искусстве разве только самому королю.

И все они опасались, как бы лишения, недостаток продовольствия и яростная ненависть поляков не привели к гибели всего войска вместе с королем. Старый Виттенберг прямо отговаривал короля от похода.

— Посуди, государь,— говорил он,— благоразумно ли углубляться в эту страну, преследуя неприятеля, который уничтожает все на своем пути, сам оставаясь невидимым? Что ты станешь делать, если не найдешь для коней не только сена и овса, но даже соломы, которой кроют мужицкие хаты, а люди твои попадают с ног от изнеможения? Где те войска, что придут нам на помощь? Где замки, в которых мы сможем передохнуть и подкрепиться? Не мне равняться с тобой славой, государь, но, будь я Карлом Густавом, не стал бы я искушать военное счастье, не стал бы рисковать этой славой, добытой в стольких победоносных сражениях.

На это отвечал ему Карл Густав:

— Не стал бы и я, будь я Виттенбергом.

Затем он поминал Александра Македонского, с которым любил себя сравнивать, и шел вперед, преследуя Чарнецкого. А Чарнецкий, чьи войска были не столь многочисленны и хорошо обучены, отступал, но в бегстве своем подобен был волку, который в любую минуту готов сам броситься на преследователей. Порой он опе-

режал шведов, порой шел бок о бок с ними, а порой, притаившись в глухой чаще, пропускал их вперед, и в то время, как они думали, что преследуют его, сам шел за ними по пятам, уничтожая неосторожных ратников, а то и целые разъезды, громя отставшие пехотные полки, нападая на обозы с провиантом. И шведы никогда не знали, где он сейчас, с какой стороны ударит. Не раз в ночной темноте они принимали кусты за вражеских солдат и обстреливали их из пушек и мушкетов. Смертельно усталые, голодные и холодные, шли они в страхе и тоске, а он, этот *vir molestissimus*, висел над ними неотступно, словно грозовая туча над колосающейся нивой.

Наконец под Голомбом, неподалеку от места, где Вепш впадает в Вислу, шведы настигли Чарнецкого. Но несколько польских хоругвей стояли уже наготове и, смело налетев на врага, внесли в его ряды страх и замешательство. Первым бросился вперед Володыёвский со своими лауданцами и ударил на датского принца Вальдемара, а Самуэль Кавецкий и младший брат его Ян пустили с пригорка своих кирасир на английских наемников Викильсона и в мгновение ока поглотили их, как щука глотает уклейку; пан Малявский вплотную схватился с князем Бипонтинским; словно два встречных вихря, смешались их люди и кони, обратившись в единый стремительный круговорот. В мгновение ока шведы были отброшены к Висле; видя это, Дуглас поспешил к ним на помощь с полком отборных рейтар. Но и рейтары не смогли выдержать натиска поляков; шведы стали скакать с высокого берега вниз, и вскоре весь лед был усеян их трупами, черневшими на снегу, словно буквы на листе белой бумаги. Пал принц Вальдемар, пал Викильсон, а князь Бипонтинский, опрокинутый наземь вместе с конем, сломал ногу; однако же пали и братья Кавецкие, и Малявский, и Рудаковский, и Роговский, и Тыминский, и Хоинский, и Порванецкий, один лишь Володыёвский, хоть и кидался в гущу неприятеля, словно пловец в бушующие воды, вышел из боя без единой царапины.

Тем временем подоспел сам Карл Густав с основными своими силами и с пушками, и тут картина боя изменилась. Остальные полки Чарнецкого, хуже обученные и не привыкшие к повиновению, не сумели вовремя построиться к бою; одни не успели оседлать коней, а другие, вопреки приказу быть наготове, расположились на

отдых по окрестным деревням. И когда внезапно ударил на них враг, полки эти бросились врассыпную и начали удирать к Вепшу. Тогда Чарнецкий, боясь потерять хоругви, которые первыми кинулись в атаку, велел дать сигнал к отступлению. Часть его войска ушла за Вепш, часть в Консковолю; поле битвы и слава победителя остались за Карлом Густавом, к тому же хоругви Зброжека и Калиновского, все еще дравшиеся на стороне шведов, долго преследовали тех, что уходили за Вепш.

Радость в шведском лагере царила неопишуемая. Правда, эта победа не принесла шведам богатых трофеев: одни мешки с овсом да несколько пустых телег. Но Карл на сей раз не думал о добыче. Он радовался, что ему, как и прежде, сопутствует военное счастье, что стоило ему появиться, и враг бежал, да не кто-нибудь, а сам Чарнецкий, надежда и опора Яна Казимира и всей Речи Посполитой. Карл заранее предвкушал, как весть об этой битве разнесется по всей стране, как все уста будут повторять: «Чарнецкий разбит!» — как малодушные со страху начнут преувеличивать размеры поражения, а тем самым вселят смуту в сердца и охладят боевой пыл всех тех, кто по призыву Тышовецкой конфедерации взялся за оружие.

Поэтому, увидев сложенные у его ног мешки с овсом, а вместе с ними и тела Викильсона и Вальдемара, король оборотился к своим встревоженным генералам и сказал:

— Полно хмуриться, господа, я сейчас одержал самую значительную победу за последний год, и она, быть может, завершит всю эту войну.

— Ваше королевское величество,— возразил Виттенберг, который из-за своей болезни видел все в более мрачном свете,— возблагодарим господа, если нам удастся хотя бы спокойно продолжить свой поход; такие войска, как у Чарнецкого, быстро рассеиваются, но так же быстро соединяются вновь.

Король ему на это:

— Господин маршал! По-моему, ты полководец ничуть не хуже Чарнецкого, однако если б я тебя вот так разбил, ты, думается, и за два месяца не сумел бы собрать свои войска.

Виттенберг лишь молча поклонился, а Карл прибавил:

— Поход свой мы продолжим спокойно, в этом ты прав, ибо один лишь Чарнецкий мог нам здесь помешать. Теперь его нет, значит, нет и препятствий!

Генералы с радостью приняли его слова. Опыяненные победой войска проходили перед своим королем с криками и пением. Грозовая туча больше не висела над ними. Чарнецкий разбит, Чарнецкого больше нет! Эта мысль заставляла их забыть о перенесенных мучениях,— от этой мысли казались им легкими и предстоящие труды. Слова короля, услышанные многими офицерами, распространились по всему лагерю, и все пришли к убеждению, что и впрямь одержана важнейшая победа, что у гидры войны отрублена еще одна голова и теперь осталось лишь насладиться местью и царствовать.

Король дал приказ расположиться на краткий отдых; тем временем из Козениц подошел обоз с провиантом. Войска разместились в Голомбе, в Кровениках и в Жижине. Рейтары подожгли покинутые хаты, повесили несколько мужиков, захваченных с оружием в руках, и нескольких пленных вестовых, которых тоже приняли за крестьян; а затем, попировав вволю, шведы улеглись спать и впервые за долгое время спали крепко и спокойно.

Наутро все проснулись освеженные и первые их слова были:

— Чарнецкого больше нет!

Они повторяли это друг другу, словно желая лишний раз увериться в своем счастье. В поход вышли весело. День был ясный, морозный и сухой. Лошадиные гривы и ноздри покрывались инеем. От холодного ветра лужи на Люблинском тракте замерзли и дорога стала хорошая. Войска растянулись по дороге чуть не на целую милю, чего раньше никогда не делали. Два драгунских полка во главе с французом Дюбуа пошли в сторону Консковоли, Маркушова и Гарбова, оторвавшись от основных сил. Всего три дня назад это означало бы идти на верную смерть, но теперь перед ними, устрашая противника, летела весть о славной победе шведского короля.

— Нет Чарнецкого! — повторяли между собой солдаты и офицеры.

Они шли спокойно весь день. Не слышно было криков в лесной чаще, из кустов не летели в них копыя, посылаемые невидимой рукой.

Под вечер, веселый и довольный, Карл Густав прибыл в Гарбов. Он уже готовился отойти ко сну, когда адъютант доложил ему, что Ашемберг просит немедля допустить его к королю.

Спустя минуту он уже стоял перед королем, и не один, а с драгунским капитаном. Карл, обладавший необычайной зоркостью и такой же памятью, благодаря чему помнил по имени чуть ли не всех своих солдат, тотчас узнал капитана.

— Ну, что нового, Фред? — спросил он. — Дюбуа воротился?

— Дюбуа убит, — ответил Фред.

Король нахмурился: только теперь он заметил, что капитан бледен как смерть и одежда на нем изорвана.

— А драгуны? — спросил он. — Два драгунских полка?

— Перебиты все до единого. Меня одного живым отпустили.

Смуглое лицо короля еще больше потемнело; он откинул за уши локоны, спадавшие на лоб.

— Кто это сделал?

— Чарнецкий!

Карл Густав, онемев от изумления, посмотрел на Ашемберга, а тот лишь утвердительно закивал головой, словно повторяя: «Чарнецкий! Чарнецкий! Чарнецкий!»

— Просто не верится, — проговорил наконец король. — Ты видел его собственными глазами?

— Вот как вас вижу, ваше королевское величество. Он велел мне поклониться вашему величеству и передать, что сейчас намерен вновь переправиться через Вислу, но вскоре вернется и пойдет вслед за нами. Не знаю, правду ли он говорил...

— Ладно! — прервал его король. — А много ли при нем войска?

— Точно сказать не могу, но тысячи четыре ратников я сам видел, а за лесом еще и конница стояла. Нас окружили под Красичином, куда полковник Дюбуа нарочно свернул с большака, так как ему донесли, что там кто-то есть. Теперь я думаю, что Чарнецкий умышленно подослал к нам языка, чтобы заманить нас в ловушку. Кроме меня, живым не ушел никто. Мужики добивали раненых, я просто чудом спасся!

— Видно, сам дьявол помогает этому человеку,— проговорил король, прижимая ладонь ко лбу.— После такого разгрома снова собрать войско и грозить преследованием — нет, это не в человеческой власти!

— Случилось так, как предсказывал маршал Виттенберг,— заметил Ашемберг.

Тут король потерял власть над собой.

— Все вы предсказывать горазды,— крикнул он гневно.— Только вот совета дельного от вас не услышишь!

Ашемберг побледнел и умолк. Когда Карл был в духе, он казался воплощением доброты, но беда, если король нахмурит брови,— тогда его приближенные трепетали от ужаса, даже самые старые и заслуженные генералы прятались от него в эти минуты, словно птицы при виде орла.

Но сейчас он сдержался и продолжал расспрашивать капитана Фреда:

— А что за войска при Чарнецком, хороши ли?

— Несколько хоругвей я видел несравненных, у них ведь отличная конница.

— Должно быть, те самые, что с такою яростью ударили на нас под Голомбом. Видимо, старые полки. Ну, а сам Чарнецкий что — весел, горд?

— Так весел, будто это он одержал победу под Голомбом. Да что им Голомб, они про него уже забыли, знай похваляются красичинской победой... Ваше величество! То, что велел передать вам Чарнецкий, я передал, а теперь другое: когда я уже выезжал, ко мне приблизился один из военачальников, могучий старик, и сказал, что это он некогда уложил в рукопашном бою достославного Густава Адольфа. А потом и над вашим величеством стал глумиться, а другие ему вторили. Вот до чего они обнаглели. Провожали меня руганью и насмешками...

— Все это пустое! — возразил король.— Главное — Чарнецкий не разбит и успел уже собрать войска. Тем поспешнее должны мы продвигаться, чтоб как можно скорее настигнуть польского Дария. Вы можете идти, господа. Войскам объявить, что полки наши заблудились в болотах и перебиты мужиками. Поход продолжается!

Офицеры ушли, Карл Густав остался один. Теперь он погрузился в мрачное раздумье. Неужели он неверно оценил положение? Неужели победа под Голомбом

не принесет ему никакой пользы, а, напротив, лишь разожжет еще большую ненависть во всей стране?

Перед войском и генералами Карл Густав всегда держался бодро и уверенно, но когда наедине с самим собой он размышлял об этой войне, которая началась так легко и успешно, а чем дальше, тем становилась трудней,— его не раз охватывало сомнение. Все шло как-то странно, необычно. Карл часто даже не представлял себе, чем и когда все это может кончиться. Порой он чувствовал себя как человек, который вошел в безбрежное море и с каждым шагом погружается все глубже, рискуя вдруг потерять почву под ногами.

Но Карл верил в свою звезду. Вот и сейчас он подошел к окну, чтобы взглянуть на свою избранницу и покровительницу, на ту, что стояла всех выше и светила всех ярче среди звезд Небесной Колесницы, или по-иному — Большой Медведицы. Небо было ясное, и она ярко сияла, мерцая то красным, то голубым светом. И только вдали, внизу, среди темной синевы неба, чернела одинокая, похожая на дракона туча, от которой тянулись как бы руки, как бы ветви, как бы щупальца чудища морского, подбираясь все ближе к королевской звезде.

ГЛАВА II

Наутро, едва рассвело, король снова тронулся в путь и прибыл в Люблин. Здесь он получил донесение, что Сапега, отразив нападение Богуслава, спешит сюда с крупными силами, а потому, оставив в городе свой гарнизон, Карл покинул Люблин и двинулся дальше.

Теперь ближайшей целью его похода было Замостье; овладев этой мощной крепостью, шведский король обеспечил бы себе столь выгодную боевую позицию и столь явное превосходство над противником, что мог бы вполне надеяться на счастливый исход войны. О Замостье ходили разные толки. Поляки, которые все еще состояли на шведской службе, уверяли, что другой такой крепости нет в целой Речи Посполитой, чему доказательством поражение Хмельницкого, осаждавшего некогда Замостье всеми своими силами.

Однако Карл заметил, что поляки весьма слабы в искусстве фортификации и почитают порой первоклассными

такие свои крепости, которые в других странах едва отнесли бы к третьеразрядным; знал он также, что оснащены все польские крепости плохо, стены их содержатся в беспорядке, нет в них ни земляных сооружений, ни надлежащего оружия, а потому и рассказы о Замостье его не пугали. Кроме того, он рассчитывал на силу своего грозного имени, на свою славу непобедимого полководца — и, наконец, на переговоры. Переговорами, которые в этой стране властен был вести или, во всяком случае, позволял себе вести каждый вельможа, Карл до сих пор добился большего, нежели оружием. Тонкий дипломат, он любил заранее знать, с кем придется иметь дело, и тщательно собирал все сведения о хозяине Замостья. Расспрашивал о его привычках, склонностях, о его пристрастиях и о складе его ума.

Ян Сапега, который в то время, к великому горю вицебского воеводы, все еще порочил имя славного рода своей изменой, больше всех рассказывал королю о калушском старосте. Их беседы длились часами. Сапега, впрочем, полагал, что королю вряд ли так легко удастся склонить на свою сторону хозяина Замостья.

— Деньгами его не соблазнить,— говорил пан Ян,— ибо человек этот несметно богат. Чинов он не добивается и не искал их даже тогда, когда они сами его искали... Что до титулов, то я сам слышал, как при дворе он оборвал господина де Нуайе, секретаря королевы, когда тот обратился к нему: «Мон рпнсе»¹. «Я, говорит, не рпнсе, но у меня, говорит, в Замостье и светлейшим князьям случилось в плену сиживать». Правда, не при нем это случилось, а при его деде, которого у нас зовут Великим.

— Только бы он открыл мне ворота Замостья, уж я предложу ему нечто такое, чего ни один польский король не мог бы предложить.

Сапеге не пристало спрашивать, что это, он лишь с любопытством посмотрел на Карла Густава, а тот, поймав его взгляд, ответил, заправляя, по обыкновению, волосы за уши:

— Я сделаю Люблинское воеводство независимым княжеством и пожалую ему. Перед короной он не устоит. Никто из вас не смог бы устоять перед подобным искушением, даже нынешний виленский воевода.

¹ Князь (франц.).

— Безмерна щедрость вашего величества,— ответил не без иронии Сапега.

А Карл сказал с присущим ему цинизмом:

— Не свое ведь даю.

Сапега покачал головой.

— Он холост, и сыновей у него нет. А корона тому дорога, кто может передать ее потомству.

— Тогда, сударь, к каким же средствам ты мне посоветуешь обратиться?

— Я полагаю, тут следует сыграть на его тщеславии. Умом он не блещет, и его легко обвести вокруг пальца. Нужно представить ему все дело так, будто мир в Речи Посполитой зависит от него одного, убедить, что он один может спасти ее от войны, несчастий, поражений, от всяческих бед в настоящем и будущем, а для этого, мол, есть единственный способ — открыть ворота. Ключнет он на эту приманку — Замостье наше, в противном же случае нам там не бывать.

— Тогда пустим в дело последний наш довод — пушки!

— Гм! На этот довод в Замостье найдется чем ответить. В Замостье тяжелых пушек достаточно, нам же еще только предстоит их подвезти, а это, когда начнется оттепель, будет невозможно.

— Я слышал, что пехота в крепости изрядная, зато нет кавалерии.

— Кавалерия пригодна лишь в открытом поле; впрочем, Чарнецкий, как мы знаем, не разбит, он может в случае надобности подбросить им одну-две хоругви.

— Ты видишь одни только трудности!

— Но, как и прежде, верю в счастливую звезду вашего величества,— возразил Сапега.

Пан Ян не ошибся, предположив, что Чарнецкий снабдит Замостье кавалерией, необходимой для вылазок и поимки языков. Правда, Замойский в помощи не нуждался, у него и своей конницы хватало, но киевский каштелян все же послал в крепость две хоругви — Шемберко и лауданскую, которые больше всего пострадали под Голломбом, — и послал с умыслом, желая, чтобы они отдохнули, подкрепились и сменили лошадей. Пан Себепан принял хоругви радушно, а узнав, какие славные воины в них служат, принялся восхвалять их до небес, осыпать подарками и каждый день сажал с собой за стол.

Но кто опишет радость и волнение княгини Гризельды при виде Скшетуского и Володыёвского, двух полковников, которые некогда были самыми доблестными соратниками ее великого мужа. Оба пали к ногам своей возлюбленной госпожи, проливая горячие слезы умиления, не могла и она сдержать рыданий. Ведь с ними было связано столько воспоминаний о тех далеких лубненских временах, когда славный муж ее, любимец народа, полный кипучих сил, был владыкой огромного дикого края и, подобно Юпитеру, одним движением бровей наводил ужас на варваров. Давно ли все это было — а ныне? Ныне владыка в могиле, страну вновь захватили варвары, а она, вдова, живет среди руин бывшего счастья и величия, в тоске и молитве проводя свои дни.

И все же столько сладости таилось в этих горьких воспоминаниях, что все трое с восторгом устремлялись мыслями в прошлое. Они вспоминали былую жизнь, места, которые им не дано было больше увидеть, бывшие войны; наконец, рѣчь зашла о нынешних бедственных временах, о гневѣ божьем, какой навлекла на себя Речь Посполитая.

— Был бы жив наш князь,— сказал Скшетуский,— иною стезей пошла бы наша бедная отчизна. Казаки были бы сметены с лица земли, Заднепровье присоединено к Речи Посполитой, а шведский лев нашел бы в нем ныне своего укротителя. Но, видно, господь рассудил по-иному, дабы покарать нас за грехи.

— Ах, если бы господу было угодно воскресить нашего заступника в пане Чарнецком,— промолвила княгиня Гризельда.

— Так и будет! — воскликнул Володыёвский.— Чарнецкий совсем не похож на других полководцев, он, как и наш князь, на голову выше всех их. Я ведь знаю обоих коронных гетманов и пана Сапегу, гетмана литовского. Великие это воители, но в пане Чарнецком есть что-то особенное, не человек — орел! Вроде бы милостив, а все его боятся; на что уж пан Заглоба, и тот в его присутствии часто забывает о своих штучках. А как он ведет войско! Как строит его в боевой порядок! Я просто слов не нахожу! Нет, истинно говорю вам — великий полководец поднимается в Речи Посполитой.

— Мой муж, знавший его полковником, еще тогда предсказывал ему славу,— сказала княгиня.

— Говорили даже, будто он собирался жениться на одной из наших придворных дам,— ввернул Володыёвский.

— Не помню, чтобы об этом шла речь,— возразила княгиня.

Да и как ей было помнить то, чего никогда и в помине не было; пан Володыёвский только что это сочинил, желая незаметно перевести разговор на фрейлин княгини и что-нибудь выведать об Анусе Борзобогатой. Прямо спросить о ней он, из почтения к княжескому сану, счел неприличным и даже дерзким. Но хитрость не удалась. Княгиня снова вернулась к воспоминаниям о муже и войнах с казаками, и маленький рыцарь подумал: «Нету Ануси, нету, и, быть может, давным-давно». И больше о ней не спрашивал.

Он мог бы расспросить офицеров, но и сам он, и все остальные заняты были иным. Ежедневно разведчики приносили все новые вести о приближении шведов, и крепость готовилась к обороне. Скшетускому и Володыёвскому поручены были командные посты на крепостных стенах, так как оба хорошо знали шведов и имели опыт войны с ними. Заглоба своими рассказами о неприятеле подзадоривал тех, кто его еще не видал, а таких среди солдат Замойского было много, ибо до Замостья шведы еще не добирались.

Заглоба вмиг раскусил, что за человек калушский староста, а тот душевно Заглобу полюбил и по всякому поводу держал с ним совет, тем паче что и от княгини Гризельды слышал о почете и уважении, какое в свое время сам князь Иеремия оказывал этому мужу, именуя его *vir in-comptagabilis*. И вот теперь Заглоба что ни день рассказывал за столом о старых и новых временах, о войнах с казаками, о предательстве Радзивилла, о том, как он, Заглоба, вывел в люди Сапегу,— а все сидели и слушали.

— Я ему посоветовал,— говорил старый рыцарь,— носить в кармане конопляное семя и есть понемногу. И он так к этому пристрастился, что теперь без конопляны ни на шаг: возьмет семечко, кинет в рот, разгрызет и ядрышко съест, а шелуху выплюнет. То же самое и ночью, если проснется. И с той поры ум у него стал такой быстрый, что его даже свои не узнают.

— Почему же это? — спросил калушский староста.

— Потому что конопля содержит oleum¹ и кто ее ест, у того мозги лучше смазаны.

— Вот чудеса! — сказал один из полковников. — Да ведь масла-то в брюхе прибавляется, а не в голове!

— Est modus in rebus!² — отвечает на это Заглоба. — Нужно пить побольше вина: oleum — оно легкое и всегда всплывает наверх, вино же, кое и так ударяет в голову, понесет его с собой, как всякую благотворную субстанцию. Этот секрет я узнал от Лупула, господаря, после смерти которого, как вам известно, валахи хотели посадить меня господарствовать, но султан, не желавший, чтобы господари имели потомство, поставил мне неприемлемое условие.

— Ты, друг мой, должно быть, и сам съел уйму конопляного семени? — спросил пан Себепан.

— Мне-то оно ни к чему, а вот твоей милости от души советую! — ответил Заглоба.

Услышав эти дерзкие слова, иные испугались, как бы пан староста не разгневался, но он то ли не понял, то ли не захотел понять, лишь улыбнулся и спросил:

— А подсолнечные семечки не могут заменить конопляных?

— Могут, — ответил Заглоба, — но так как подсолнечное масло тяжелее конопляного, то и вино следует пить покрепче того, что мы сейчас пьем.

Староста понял намек, развеселился и тотчас приказал принести самых лучших вин. Повеселели и остальные, и ликование стало всеобщим. Пили и провозглашали здравицы королю, хозяину и пану Чарнецкому. Заглоба так воодушевился, что никому рта не давал раскрыть. Со вкусом, с толком и расстановкой стал он рассказывать о битве под Голомбом, где ему в самом деле довелось отличиться; впрочем, иначе и быть не могло, раз он служил в лауданской хоругви. А поскольку от шведских пленных, взятых из полков Дюбуа, здесь уже было известно о смерти графа Вальдемара, Заглоба, не долго думая, приписал к своему счету и эту смерть.

— Совсем иначе развернулась бы эта битва, — говорил он, — если б не то, что я накануне уехал в Баранов,

¹ Масло (лат.).

² Здесь: на все есть свое средство (лат.).

к тамошнему канонику, и Чарнецкий, не зная, где я, не смог со мной посоветоваться. Может, и шведы прослышали про того каноника, — у него мед превосходный, — потому они и подошли так скоро к Голомбу. А когда я воротился, было поздно, король уже наступал, и надо было немедля атаковать. Ну, мы-то пошли смело, да только что прикажешь делать, если ополченцы от непомерного презрения к врагу всё норовят повернуться к нему задом? Прямо уж и не знаю, как теперь Чарнецкий без меня обойдется.

— Обойдется, не беспокойся! — сказал Володыёвский.

— И я вам скажу почему. Потому что шведскому королю неохота было искать его там, у Вислы, вот он и поперся за мной в Замостье. Не спорю, Чарнецкий солдат хороший, но только как начнет он бороду крутить да своими рысьими глазами сверлить, тут даже первейшие рыцари чувствуют себя перед ним простыми драгунами... Звания для него — ничто, вы и сами были свидетелями, как он Жирского, знатного офицера, приказал волочить конями по майдану только за то, что тот не доехал со своим отрядом до указанной в приказе цели. Со шляхтичем, милостивые паны, надо обходиться по-отечески, а не по-драгунски. Скажи ему: «Сделай милость, будь другом, поезжай», — напхни об отчизне, о славе, растрогай его, и он тебе дальше поедет, чем драгун, который служит ради жалованья.

— Шляхтич шляхтичем, а война войной, — сказал староста.

— Тонко замечено, — ответил Заглоба.

— А я говорю вам, что пан Чарнецкий в конце концов Карлу все карты спутает! — вмешался Володыёвский. — Я тоже прошел не одну войну и могу судить об этом.

— Раньше мы ему спутаем карты под Замостьем, — возразил, подбоченившись, калушский староста. При этом он надул губы и, свирепо засопев, устрашающе выпучил глаза. — Карл? Фью! Что мне Карл! А? Кого в гости зову, тому и дверь отворю! Что? Ха!

Тут пан староста засопел еще пуще, застучал об стол коленями, откинулся назад, головой завертел, нахмурился и грозно засверкал очами.

— Что мне Карл! — говорил он, как всегда, отрывисто и несколько свысока. — Он пан в Швеции, а Замойский

Себепан в Замостье. *Eques polonus sum*¹, и не более того,— верно. Да зато я у себя дома. Я — Замойский, а он король шведский... а Максимилиан был австрийский, ну и что? Идет, ну и пусть себе идет... Посмотрим! Ему Швеции мало, мне и Замостья хватит, но его не отдам, верно?

— Как приятно, друзья мои, слышать столь красноречивое выражение столь возвышенных чувств! — вскричал Заглоба.

— Замойский всегда остается Замойским! — ответил польщенный староста.— Не кланялись доселе, не будем кланяться и впредь... *Ma foi*,² не дам Замостья, и баста!

— За здоровье хозяина! — гаркнули офицеры.

— Виват! Виват!

— Пан Заглоба! — закричал староста.— Я короля шведского в Замостье не пущу, а тебя из Замостья не выпущу!

— Благодарю за милость, пан староста, но этого ты не сделаешь, ибо первое решение Карла огорчит, второе же лишь обрадует.

— Тогда дай слово, что приедешь ко мне после войны, согласен?

— Согласен...

Долго еще они пировали, пока наконец офицеров не начало клонить ко сну. Тогда они отправились на покой, тем более что вскоре им предстояли бессонные ночи,— шведы были уже близко и передовые их отряды ожидали с минуты на минуту.

— А ведь он и впрямь не отдаст Замостья,— говорил Заглоба, возвращаясь к себе с Володыёвским и Скшетускими.— Вы заметили, как мы полюбились друг другу?.. Нам здесь хорошо будет, и мне и вам. Сошлись мы с паном старостой ладно, столяр доску к доске лучше не приладит. Славный мужичина. Гм! Будь он ножиком, который я ношу у пояса, я бы почаще точил его об оселок,— туповат... Но человек хороший, этот не предаст, как те мерзавцы из Биржей... Видали, как знатные паны льнут к старому Заглобе? Только знай отмахивайся от них... Едва отвязался от Сапеги — уже другой на смену... Но ничего, этого я настрою, как контрабас, и такую на нем

¹ Я польский рыцарь (лат.).

² Право же (франц.).

сыграю шведам арию, что они под Замостьем напляшутся до смерти! Заведу его, точно гданские часы с музыкой...

Дальнейшую беседу прервал шум, донесшийся из города. Мимо пробежал знакомый офицер.

— Стой! — закричал Володыёвский. — Что там?

— С валов виден пожар! Щебжешин горит! Шведы подошли!

— Пойдемте на валы! — сказал Скшетуский.

— Вы ступайте, а я поплю, мне на завтра много сил надобно, — ответил Заглоба.

ГЛАВА III

В ту же ночь Володыёвский пошел в разведку и к утру привел человек пятнадцать пленных. Те подтвердили, что шведский король со своим войском стоит в Щебжешине и вскоре подойдет к Замостью.

Калушского старосту это известие обрадовало: он до того распалился, что ему и впрямь не терпелось испытать на шведах силу своих пушек и крепость стен. Он справедливо рассудил, что, если даже в конце концов придется сдать, все же он сумеет задержать продвижение шведских войск на долгие месяцы, а Ян Казимир тем временем соберется с силами, призовет на помощь татар и поднимет на борьбу всю Речь Посполитую.

— Нет уж, — с жаром говорил он на военном совете, — я такого случая не упущу, славно послужу отчизне и моему государю, и знайте, милостивые паны, что я скорей взорву крепость собственными руками, нежели пущу сюда шведов. Хотят Замойского силой взять? Ладно же! Пусть попробуют! Посмотрим, кто кого! Надеюсь, вы все от души будете мне помогать!

— С тобою, пан староста, хоть на смерть! — хором воскликнули офицеры.

— Лишь бы они не передумали, — сказал Заглоба, — лишь бы начали осаду... А там — я не я буду, коли первым не пойду на вылазку!

— И я с дядей! — заявил Рох Ковальский. — На самого короля брошусь!

— А теперь на стены! — скомандовал калушский староста...

Пошли все. Стены пестрели яркими солдатскими мундирами. Полки отборной пехоты, какой не сыскать было во всей Речи Посполитой, выстроились в боевом порядке один подле другого; все солдаты держали мушкеты наготове и неотрывно глядели в поля. Иноземцев, пруссаков и французов, было в этих полках совсем немного, служили в них главным образом майоратские крестьяне, все как на подбор рослые, здоровенные мужики; облаченные в разноцветные колеты и вышколенные на иноземный манер, они умели драться не хуже английских солдат Кромвеля. Особенно отличались они в рукопашном бою. Вот и сейчас, памятуя о своих победах над Хмельницким, солдаты с нетерпением поджидали шведов. При пушках, которые словно с любопытством высывали сквозь бойницы свои длинные дула, состояли преимущественно фламандцы, превосходные артиллеристы. Перед крепостью, по ту сторону рва, гарцевали отряды легкой кавалерии; уверенные, что в случае чего пушки прикроют их своим огнем, они чувствовали себя в безопасности и готовы были в любую минуту скакать куда потребуется.

Калужский староста в сверкающих финифтью доспехах с золоченым буздыганом в руке объезжал стены и непрерывно спрашивал:

— Ну что, не видать еще?

Ему всё отвечали, что нет, не видать, он тихонько чертыхался, а спустя минуту снова спрашивал, уже в другом месте:

— Ну что? Не видать?

Между тем увидеть что-либо было трудно, так как утро было туманное. Лишь около десяти утра туман начал рассеиваться. Голубое небо засияло над головой, горизонт прояснился, и тотчас с западной стены раздался крик:

— Едут! Едут! Едут!

Староста, а с ним Заглоба и трое адъютантов старосты немедля поднялись на угловой бастион, откуда удобнее всего было вести наблюдение, и стали смотреть в подзорные трубы. Над самой землей все еще стлалась туманная пелена, и шведские войска,двигающиеся от Веленчи, по колена брели в этом тумане, будто выходили из разлившихся вод. Их передовые полки уже приблизились настолько, что можно было невооруженным глазом

различить длинные шеренги пехотинцев и отряды рейтар; зато остальная часть войска казалась густым облаком пыли, которое катилось прямо на город. Постепенно из этого облака выступало все больше пехотных полков, пушек и конных отрядов.

Зрелище было великолепное. Над каждым квадратом пехоты торчал, подымаясь из середины, безукоризненно четкий квадрат копий. Между квадратами развевались знамена всех цветов, больше всего было голубых с белыми крестами и голубых с золотыми львами. Неприятель приближался. На стенах было тихо, и ветром сюда доносило скрип колес, лязг доспехов, конский топот и приглушенный гул голосов. Не доходя до крепости на два пушечных выстрела, шведы развернули войска во фронт. Некоторые квадраты, сломав строй, рассыпались во все стороны. Видимо, противник собирался разбивать шатры и рыть окопы.

— Вот и пришли! — сказал староста.

— Пришли, сукины дети! — ответил Заглоба.

— Можно всех до единого пересчитать.

— А мне, старому солдату, и считать не надо, только гляну — и готово. Здесь десять тысяч конницы и восемь пехоты вместе с артиллерией. Бьюсь об заклад, что ни больше, ни меньше ни на одного солдата и ни на одного коня.

— Неужто можно подсчитать с такой точностью?

— Десять тысяч кавалерии и восемь — пехоты, ручаюсь головой! А уйдет их, с божьей помощью, гораздо меньше, дайте мне только хоть одну вылазку сделать.

— Слышишь, сударь, музыка играет!

В самом деле, вперед вышли трубачи и барабанщики, и загремела боевая музыка. Под ее звуки подтягивались остальные полки, широким кольцом окружая город. Наконец от шведского войска отделилось десятка два всадников. На полдороге к крепости они привязали к мечам белые платки и стали ими размахивать.

— Парламентеры! — определил Заглоба. — Видал я, как эти негодяи вот так же точно подъезжали к Биржам, а что из этого вышло, всем ведомо.

— Замостье не Биржи, а я не виленский воевода! — возразил староста калушский.

Меж тем парламентеры подъехали к воротам. Через короткое время к старосте подбежал адъютант

и доложил, что его хочет видеть и говорить с ним от имени шведского короля пан Ян Сапега.

Тут пан староста подбоченился, стал с ноги на ногу переступать, засопел, губы выпятил и наконец ответил с самым надменным видом:

— Скажи пану Сапеге, что Замойский с изменниками не разговаривает. Коли шведский король хочет со мной переговоры вести, пусть пришлет не поляка, а шведа породовитей, а поляки, что шведам служат, пусть с моими собаками ведут переговоры — я их равно презираю!

— Ей-богу, вот это *respons!*¹ — вскричал Заглоба с непритворным восторгом.

— Да что мне в них, черт побери! — воскликнул, в свою очередь, староста, распалившись от собственных слов и от похвалы.— Вот еще! Буду я с ними церемонии разводить.

— Позволь, ваша милость, я сам передам ему твой *respons!* — попросил Заглоба. И, не дожидаясь разрешения, бросился вслед за адъютантом и подошел к пану Яну; видимо, он не только повторил ему слова старосты, но и добавил кое-что от себя, ибо Сапега отпрянул от него вместе с конем, как громом пораженный, натянул шапку на самые уши и поскакал прочь. А пехота на стенах и всадники, гарцевавшие перед воротами, свистели и улюлюкали вслед Сапеге и его свите:

— Знайте свое место, собаки! Изменники, продажные души! Ату, ату его!

Бледный, со стиснутыми зубами, предстал Сапега перед королем. Король и сам был растерян, ибо обманулся в своих ожиданиях. Вопреки всему, что говорили о Замостье, он рассчитывал увидеть город, подобный Кракову, Познани и другим слабо укрепленным городам, каких он немало покорила на своем веку. Между тем он увидел могучую крепость, напоминающую датские и нидерландские, взять которую, не имея тяжелых орудий, нечего было и думать.

— Ну как? — спросил король Сапегу.

— Да никак! Пан староста не желает разговаривать с поляками, которые служат вашему королевскому величеству. Он выслал ко мне своего шута, который и меня,

¹ Ответ (*лат.*).

и ваше королевское величество поносил так ужасно, что и повторить невозможно.

— Мне все равно, с кем он хочет говорить, лишь бы говорил. В крайнем случае я сумею убедить его железом, а пока пошлю к нему Форгеля.

И спустя полчаса к воротам подъехал Форгель со свитой, состоявшей из одних шведов. Подъемный мост медленно лег поперек рва, и генерал въехал в крепость. Его встретили со спокойным достоинством. Ни ему, ни членам его свиты не завязали глаз; напротив, пан староста вовсе был не прочь, чтобы швед все увидел и обо всем доложил королю. А принял он посла с такой пышностью, словно был удельным князем, и действительно поразил шведов, ибо шведские дворяне не имели и двадцатой доли тех богатств, какими владели польские шляхтичи, а калужский староста и середь поляков слыл едва ли не самым богатым. Ловкий швед сразу стал держаться с Замойским так, словно Карл Густав отправил его послом к равному себе монарху; с первых же слов он назвал хозяина *принсепс* и величал его так в продолжение всего разговора, хотя пан Себепан не замедлил возразить:

— Я не *принсепс*, *equus polonus sum*, но именно потому равен князьям!

— Ваша княжеская милость! — продолжал Форгель, не давая себя сбить с намеченного пути.— Светлейший государь мой,— тут он долго перечислял титулы,— прибыл сюда не как недруг, но, попросту говоря, как гость, и через меня, своего посла, выражает надежду, смею верить, несправдливую, что вы широко распахнете двери перед ним и перед его войском.

— Не в нашем это обычае,— ответил Замойский,— отказывать гостю, хоть бы и непрошеному. Место за столом у меня всегда найдется, а для столь высокого гостя я и свое готов уступить. Соболаговолите же передать его величеству, что в Замостье его примут с превеликой охотой,— говорю это от души, ибо я здесь такой же хозяин, как светлейший *Carolus Gustavus* в Швеции. Но вы, ваша милость, видели, челяди у меня довольно, поэтому свою шведскому королю брать не к чему. Иначе я подумаю, что он меня почитает бедняком и хочет выказать мне свое презрение.

— Отлично! — шепнул Заглоба, стоявший у старосты за спиной.

А пан староста, произнеся свою речь, губы выпятил, засопел и еще приговаривать начал:

— Вот так-то, вот так!

Форгель молча покусывал усы; наконец он заговорил:

— Ваша княжеская милость, если бы вы не впустили в крепость королевское войско, то оскорбили бы короля своим недоверием. Я близок к государю и знаю сокровеннейшие его мысли, так вот — от его имени заверяю вашу милость, что ни владения Замоиских, ни эту крепость король отнимать не намерен, чему порукой его королевское слово. Но в несчастной вашей стране вновь разгорелась война, мятежники подняли голову, а Ян Казимир, не думая о том, сколь тяжкими бедами грозит это Речи Посполитой, и заботясь лишь о собственном благе, вернулся в ее пределы и с неверными заодно выступает против наших христианских войск; вот почему непобедимый король и государь мой решил преследовать его вплоть до диких татарских и турецких степей, с тою единственно целью, дабы принести мир стране, а гражданам славной Речи Посполитой — справедливость, счастье и свободу.

Калушский староста хлопнул себя по колену, но не ответил ни слова, а Заглоба прошептал:

— Напялил черт ризу и хвостом в колокол звонит.

— Немало благоденний оказал уже светлейший наш король этой стране, — продолжал Форгель, — но, полагая в сердце своем, исполненном отеческой заботы, что содеянного еще не довольно, он снова покинул свою прусскую провинцию и поспешил на помощь Речи Посполитой, дабы спасти ее от Яна Казимира. Однако для того, чтобы эта новая война завершилась быстро и счастливо, его королевскому величеству необходимо на время занять Замостье; здесь будет главный лагерь королевских войск, отсюда станем мы вести поход на мятежников. И тут, прослышав, что хозяин Замостья не только богат, древен родом, мудр и проникателен, но и превосходит всех своей любовью к родине, король и государь мой сразу сказал: «Вот кто поймет меня, вот кто сумеет оценить мою заботу о благе этой страны, он не обманет моих ожиданий, оправдает все мои надежды и первым сделает шаг для упрочения счастья и покоя этого края». Справедливые

слова! Будущее вашей отчизны зависит от тебя, светлейший князь! Так спаси же ее, будь ей отцом! И я не сомневаюсь, что ты это сделаешь, не упустишь случая укрепить и обессмертить великую славу, унаследованную тобой от предков. Поверь, отворив ворота этой крепости, ты сделаешь для Речи Посполитой больше, нежели присоединив к ней целую провинцию. Король убежден, что к этому побудит тебя и сердце, и редкая твоя мудрость, а потому приказывать не хочет — он лишь просит; отбросив угрозы, предлагает он дружбу; и не как властелин с вассалом, а как равный с равным желает вести переговоры.

Тут генерал Форгель с величайшим почтением, словно перед суверенным монархом, склонился перед паном старостой и умолк. В зале стало тихо. Все взгляды были прикованы к Замойскому.

А тот принялся, по обыкновению, ерзать в своем позолоченном кресле, выпятил губы, напыжился, наконец, растопырил локти, уперся ладонями в колени и, мотая головой, словно норовистый конь, так заговорил:

— Ну вот что! Я премного благодарен его шведскому величеству за высокое мнение о моем уме и любви моей к отечеству. И ничто не может мне быть милее, чем дружба со столь могущественным владыкой. Но, сдается мне, мы с тем же успехом могли бы любить друг друга, если б его шведское величество сидел у себя в Стокгольме, а я — у себя в Замостье, верно? Каждому свое, ему — Стокгольм, а Замостье — мне! Ну, а Речь Посполитая — что ж! Я и впрямь ее люблю, да только лучше всего, сдается мне, будет ей не тогда, когда шведы придут, а когда они прочь уберутся. Так-то! Что Замостье могло бы помочь его шведскому величеству одержать победу над Яном Казимиром — согласен, однако же нельзя забывать и про то, ваша милость, что присягал я не шведскому королю, а именно Яну Казимиру, потому желаю победы ему и Замостья не дам!

— Вот это политика! — взревел Заглоба.

В зале радостно загомонили, но староста хлопнул рукой по колену, и стало тихо.

Форгель смешался и какое-то время молчал, затем снова начал уговаривать: он и настаивал, и пригрозил слегка, и просил, и льстил. Патокой текла из уст его латынь, капли пота выступили у него на лбу, но все стара-

ния генерала были тщетны, в ответ на самые убедительные доводы, способные, казалось, поколебать стены, он слышал одно и то же:

— А я таки Замостья не дам, и баста!

Аудиенция не в меру затянулась, и чем дальше, тем трудней приходилось Форгелю, ибо в зале воцарилось всеобщее веселье. Поминутно то Заглоба, то еще кто-нибудь отпускал досадные остроты и шуточки, на что зал отвечал приглушенным смехом. Наконец Форгель понял, что ему остается прибегнуть к последнему средству: он развернул свиток с печатями, на который до сих пор никто не обращал внимания, встал и громко, торжественно провозгласил:

— Если ворота будут открыты, пресветлейший государь,— тут снова последовал длинный перечень титулов,— пожалует вашей княжеской милости Люблинское воеводство в наследственное владение.

Услышав это, все остолбенели, остолбенел и сам староста. Форгель уже обводил зал торжествующим взором, как вдруг среди гробовой тишины Заглоба, стоявший за спиной у Замойского, произнес по-польски:

— А ты, пан староста, взамен пожалуй шведскому королю Нидерланды!

Тот, не долго думая, подбоченился и гаркнул на весь зал по-латыни:

— А я жалую его шведскому величеству Нидерланды!

Зал разразился гомерическим хохотом. Тряслись животы и пояса на животах; одни били в ладоши, другие шатались, точно пьяные, иные чуть не падали на соседей,— и хохотали без удержу. Форгель побледнел. Он грозно сдвинул брови, но выжидал, сверкая глазами и гордо подняв голову. Наконец, когда раскаты смеха утихли, он коротко, прерывистым голосом спросил:

— Это ваше последнее слово?

В ответ пан староста подкрутил усы.

— Нет! — сказал он, тоже гордо поднимая голову.— У меня есть еще пушки на стенах!

Переговоры были окончены.

Часа два спустя загремели пушки на шведских шанцах, и тотчас из Замостья последовали ответные залпы. Крепость окуталась огромной тучей дыма, в которой поминутно вспыхивали молнии и раздавался страшный грохот. Вскоре огонь тяжелых крепостных кулеврин пере-

силил шведскую артиллерию. Шведские ядра падали в ров, либо отскакивали от мощных бастаионов; к вечеру неприятель вынужден был оставить свои передовые шанцы,— крепостная артиллерия осыпала их таким градом снарядов, что выдержать было невозможно. В ярости шведский король приказал поджечь все окрестные деревни и местечки, и ночью вокруг Замостья запылало сплошное море огня. Однако старосту это ничуть не обескуражило.

— Ладно! — сказал он.— Пусть жгут! Мы-то под крышей, а вот им в скором времени несладко придется.

И до того он был весел и доволен собой, что в тот же день закатил роскошный пир и бражничал до поздней ночи. Пировали под музыку, и громкие звуки оркестра, заглушая грохот пушек, доносились до шведов на самых дальних шанцах.

Но и шведы показали выдержку и палили по крепости всю ночь. На следующий день подошло еще два десятка пушек, и, едва втащив их на валы, шведы тут же пустили в дело и эти пушки. Король, правду сказать, не надеялся разрушить стены, он лишь хотел дать понять старосте, что осада будет упорная и беспощадная. Он хотел запугать врага, но ошибся в расчете. Староста ничуть не испугался и, часто поднимаясь на стены во время самого сильного обстрела, говорил:

— И чего они порох попусту тратят?

Володыёвский и другие офицеры просились на вылазку, но староста не разрешил, опасаясь напрасного кровопролития. Он понимал, что скорее всего дело кончилось бы открытой схваткой, ибо такую армию, как шведская, и такого полководца, как шведский король, не легко застать врасплох. Заглоба же, уверившись, что староста тверд в своем решении, тем настойчивее рвался в бой, клянясь, что сам поведет отряд.

— Слишком уж ты, пан Заглоба, до крови жаден,— отвечал ему пан Себепан.— Нам хорошо, шведам плохо, чего же мы к ним пойдем? Еще, чего доброго, убьют тебя, где я тогда возьму такого советчика,— ведь это твоим словцом насчет Нидерландов я Форгеля оконфузил.

Заглоба сказал, что ему просто невмочь сидеть на месте,— руки чешутся скорее взяться за шведов,— однако вынужден был подчиниться.

За неимением иных дел, он все свое время проводил на стенах, среди ратников, с важностью поучая и наставляя их. Они слушали его с большим уважением, ибо видели в нем бывалого воина, одного из лучших в Речи Посполитой, а Заглоба радовался от души, глядя на мощные укрепления и на отвагу рыцарей.

— Нет, пан Михал,— говорил он Володыёвскому,— иной дух царит ныне среди шляхты, да и во всей Речи Посполитой, иные настали времена. Никто уже не помышляет об измене, никто не хочет жить под шведами, каждый готов за короля, за Речь Посполитую скорее жизнь отдать, чем уступить врагу хоть пядь польской земли. А помнишь, всего год назад только, бывало, и слышишь: тот изменил, этот изменил, тот запросил у шведов пардону, а ныне самим шведам пардону просить приходится, и если им черт не поможет, то скоро они сами полетят ко всем чертям. У нас-то животы набиты, хоть барабанить впору, а у них с голодухи кишка кишке кукиш кажется.

Заглоба был прав. Шведская армия не запаслась провиантом, и для восемнадцати тысяч человек, не говоря о лошадях, достать его было неоткуда, ибо пан староста еще до прихода врага забрал весь фураж и продовольствие из всех своих окрестных поместий. А в более отдаленных округах было полным-полно партизан-конфедератов и мужицких ватаг, и выйти из лагеря на поиски провианта значило обречь себя на верную смерть.

К тому же Чарнецкий не пошел за Вислу и опять рыскал вокруг шведской армии, точно хищный зверь вокруг овчарни. Снова начались тревоги по ночам, снова стали пропадать без вести небольшие отряды. Близ Красника появились какие-то польские войска, которые отрезали шведам путь к Висле. И наконец пришло сообщение, что Павел Сапега с сильной литовской армией движется с севера, что по дороге он уничтожил гарнизон в Люблине, взял город и спешно идет к Замостью.

Старый Виттенберг, самый опытный среди шведских военачальников, понимал весь ужас положения и открыто предостерег короля.

— Ваше величество,— сказал он,— я знаю, что ваш гений способен творить чудеса, однако говоря попросту, по-человечески — нам угрожает голод, а истощенная

армия натиска не выдержит, неприятель перебьет нас всех до единого.

— Захвати я эту крепость, в два месяца закончил бы войну! — возразил король.

— Таковую крепость и в год не одолеть.

В глубине души король признавал правоту старого воина, только не хотел признаваться, что и сам не видит выхода, что гений его бессилён. Но он все еще рассчитывал на счастливый случай и, надеясь его приблизить, приказал день и ночь обстреливать крепость.

— Я должен сбить с них спесь, тогда они охотней и на переговоры пойдут, — говорил он.

Продержав Замостье несколько дней под таким обстрелом, что за дымом света белого не видать было, он снова послал Форгеля в крепость.

— Король и государь мой, — сказал генерал, представ перед старостой, — полагает, что ущерб, причиненный Замостью нашими пушками, смягчит ваш надменный нрав и склонит вашу княжескую милость к переговорам.

А Замойский на это:

— Да, есть ущерб, есть... Как не быть! Осколком ядра свинью на рынке убило. Постреляйте еще неделю — глядишь, и вторую убьете...

Форгель передал его ответ королю. Вечером в королевском шатре снова держали совет, а утром шведы начали укладывать на телеги шатры и скатывать с валов пушки... Ночью снялось все войско.

Замостье палило им вслед из всех орудий, а когда они скрылись из виду, из южных ворот вышли две хоругви — Шемберко и лауданская — и поскакали следом.

Шведы двигались на юг. Правда, Виттенберг советовал возвратиться в Варшаву и всячески пытался убедить короля, что это единственный путь к спасению, но шведский Александр твердо решил преследовать польского Дария до крайних пределов польской земли.

ГЛАВА IV

Весна в том году была с причудами: на севере Речи Посполитой уже стаяли снега, вскрылись реки и земля утопала в мартовском половодье, меж тем как на юге леса, поля и воды все еще были под ледяным зимним

ветром, веявшим с гор. В лесах лежали сугробы, лошадиные копыта звонко цокали по обледеневшим дорогам, погода стояла сухая, с красными закатами и звездными морозными ночами. Хлебопашцы, хозяева плодородных суглинков, черноземов и росчистей Малой Польши радовались поздним холодам, ибо, говорили они, мороз истребит полевых мышей и шведов. Долго медлила весна, зато потом нагрянула внезапно, словно кирасирская хоругвь, атакующая врага. Жаркое солнце вмиг растопило ледяной панцирь. Из венгерских степей подул сильный и теплый ветер, согревая луга, поля и боры. Вскоре между блестящими лужами на полях зачернелась земля, на поймах зазеленела трава, а деревья в лесу, увешанные тающими сосульками, роняли обильные слезы.

По безоблачному небу целыми днями тянулись стаи журавлей, диких уток, чирков и гусей. Прилетели аисты и стали вить гнезда на тех же крышах, что и в прошлом году, ласточки суетились под каждой застрехой; над деревьями, над лесами и озерами стоял неумолчный птичий гомон, а по вечерам громко квакали лягушки, блаженствуя в теплых лужах.

А потом зарядили проливные, теплые дожди и шли днем и ночью не переставая. Поля уподобились озерам, реки разлились, затопили все броды, дороги покрылись вязкой, глубокой грязью и обратились в «места непроходны».

Вот по этим-то водам, болотам и топям шведское войско брело все дальше к югу. Но как же мало эта беспорядочная толпа, схожая с гонимым на убой стадом, напоминала ту блестящую армию, что под командованием Виттенберга вторглась некогда в пределы Великой Польши. Голод поставил свою лиловую печать на лицах старых закаленных воинов, они походили теперь скорее на призраков, нежели на людей; усталые, подавленные, измученные бессонными ночами, они шли, зная, что в конце пути их ждет не хлеб, но голод, не сон, но битва, и если суждено им обрести покой, то лишь покой смерти.

Закованные в железо скелеты всадников сидели на конских скелетах. Пехотинцы едва волочили ноги, едва могли удержать в дрожащих руках копья и мушкеты. День проходил за днем, а они все шли вперед. Ломались повозки, пушки увязали в топях, шведы двигались так медленно, что иногда за целый день едва одолевали

милю. Словно воронье на падаль, накинулись на солдат болезни, одни тряслись в лихорадке, другие, ослабев, просто ложились наземь, предпочитая умереть, только бы не идти дальше.

Но шведский Александр по-прежнему преследовал польского Дария.

Однако и его преследовали тоже. Подобно шакалам, что бегут ночью вслед за раненым буйволом, поджидая, когда он свалится, а он уже знает, что смерть близка, уже слышит позади вой голодной стаи,— так за шведом следовали отряды шляхты и мужиков, подступая к врагу все ближе, все смелей нападавая и кусая его.

И наконец появился самый страшный преследователь, Чарнецкий. Он пошел за шведами по пятам, и стоило их тыловым дозорам обернуться, они неизменно видели всадников — иногда далеко на горизонте, иногда шагах в пятистах, иногда на расстоянии двух мушкетных выстрелов, а иной раз, когда Чарнецкий нападал,— совсем рядом.

Шведы жаждали битвы. Они в отчаянии молили о ней бога, покровителя воинов, но Чарнецкий боя не принимал: он выжидал своего часа, а пока норовил куснуть, как шакал, или пускал на них, словно соколов на диких уток, небольшие отряды.

Так шли они друг за другом. Однако порой киевский каштелян обходил шведов с фланга, становился у них на пути и делал вид, будто собирается дать генеральное сражение. Тотчас по всему шведскому лагерю начинали радостно петь трубы, и — о, чудо! — казалось, новые силы, новый дух вливался в измученных скандинавов. Больные, измокшие, обессиленные, похожие на воскресших мертвецов, они готовились к бою с пылающими лицами, с огнем в очах. Их руки, налившись вдруг железной силой, твердо сжимали копья и мушкеты, их глотки, внезапно окрепнув, издавали оглушительный боевой клич, и, забыв о слабости и болезнях, они устремлялись вперед, одержимые единым желанием — схватиться вплотную с врагом.

Чарнецкий ударял раз, ударял другой, но, едва в бой вступали пушки, он отводил войска в сторону, и шведы, напрасно потратив силы, оставались ни с чем, обманутые и разочарованные. Зато если пушки запаздывали и можно было пустить в дело сабли и пики, тут

Чарнецкий с быстротой молнии налетал на врага, зная, что в рукопашной схватке шведская конница не устоит даже перед волонтерами.

И снова Виттенберг просил короля отступить, не губить себя и войско, но тот лишь сжимал губы и, сверкая очами, указывал перстом на юг, в степи, где ждала его победа над Яном Казимиром, где войско его найдет оддых, пищу, корм для коней и богатую добычу.

В довершение всех бед польские полки, еще служившие Карлу, единственные, которые могли теперь хоть как-то противостоять Чарнецкому, стали покидать шведов. Первым «поблагодарил» за службу пан Зброжек, которого до сих пор удерживали при Карле не жажда обогащения, но слепая привязанность к своей хоругви и солдатское чувство долга. Благодарность его выразилась в том, что он напал на драгун Миллера, перебил половину полка и ушел. Его примеру последовал Калининский, пройдясь по шведской пехоте. А Сапега мрачнел с каждым днем, все над чем-то раздумывал, что-то замышлял. Сам он еще оставался при Карле, но из его полка, что ни день, убегали люди.

Карл Густав держал путь на Нароль, Цешанов и Олешницы, стремясь добраться до Сана. Он все надеялся, что Ян Казимир выступит ему навстречу и даст сражение. Еще и теперь победа могла поправить положение шведов и изменить их судьбу. И как раз в это время разнеслись слухи, что польский король вышел из Львова со своим войском и татарами. Но Карл обманулся в своих надеждах, ибо Ян Казимир, желая объединить все свои силы, ждал, пока подойдет Сапега с его литвинами. Выжидание было Яну Казимиру лучшим союзником,— ведь его силы умножались, а силы Карла таяли с каждым днем.

— Не войско это идет, не армия, а похоронное шествие,— говорили старые воины в лагере Яна Казимира.

То же думали и многие шведские офицеры.

Сам король все еще твердил, что идет на Львов, но он обманывал и себя, и свое войско. Не на Львов нужно было ему идти, а думать о собственном спасении. Да и никто толком не знал, там ли Ян Казимир, он ведь мог отойти куда угодно, хоть под самое Подолье, и увлечь за собой неприятеля в далекие степи, где шведов ждала неминуемая гибель.

Дуглас пошел под Перемышль попробовать, нельзя ли взять хоть эту крепость, но воротился ни с чем и даже с потерями. Катастрофа надвигалась медленно, но неотвратимо. Все слухи, доходившие до шведского лагеря, только подтверждали приближение катастрофы, а слухи эти множились с каждым днем, один другого ужаснее.

— Сапега идет, он уже в Томашове! — говорили сегодня.

— С Предгорья идет Любомирский с войском и горцы с ним! — говорили на другой день.

А еще днем позже:

— Король ведет польское войско и сто тысяч татар! Он уже соединился с Сапегой!

Были среди этих сведений и ложные и преувеличенные, но все они сулили шведам близкое поражение и гибель, повергая их в смятение. Армия пала духом. Прежде, бывало, стоило Карлу появиться перед своими солдатами, армия неизменно приветствовала его громкими кликами, в которых звучала вера в победу. Теперь полки стояли перед ним глухие и безмолвные. Зато сидя у костров, голодные и смертельно усталые, солдаты чаще говорили о Чарнецком, нежели о собственном короле. Чарнецкий мерещился им повсюду. И удивительное дело! Если случались дни, когда никто не погибал и не пропал без вести, если несколько ночей проходило спокойно, без криков: «Алла!» и «Бей, убивай!» — тревога шведов лишь возрастала.

— Чарнецкий притих. Бог знает, что он задумал! — повторяли солдаты.

Карл задержался на несколько дней в Ярославле, размышляя, что делать дальше. Тем временем всех больных, которых в лагере было множество, посадили в баржи и по реке отправили в Сандомир, ближайший укрепленный город, бывший еще под шведами. Едва с этим было покончено, разнесся слух, что Ян Казимир выступил из Львова, и шведский король решил выяснить, где же он находится на самом деле.

С этой целью полковник Каннеберг с тысячей всадников перешел Сан и двинулся на восток.

— Быть может, ты держишь в руках исход войны и все наши судьбы, — сказал ему на прощание король.

Многое зависело от этого похода. На худой конец Каннеберг должен был раздобыть для армии провиант; но если б ему повезло, если б удалось выведать точно, где находится Ян Казимир, шведский король намеревался немедля двинуть на польского Дария все свои силы, разбить его войска, а даст бог, так и самого его захватить.

Поэтому Каннебергу дали самых лучших солдат и лошадей. Отбирали особенно тщательно, потому что полковник не брал с собой ни пехоты, ни пушек, и его людям предстояло с саблей в руках драться с польской конницей.

Двадцатого марта тронулись в путь. Когда отряд переправлялся через Сан, у моста толпились солдаты и офицеры, напутствуя уходящих:

— Да поможет вам бог! Да пошлет он вам победу и счастливое возвращение!

Отряд растянулся длинной змеей, ибо целая тысяча всадников должна была по двое в ряд пройти по только что построенному мосту, один прогон которого, еще недоконченный, был наспех покрыт для них досками.

Лица у солдат сияли, — сегодня они наелись до отвала. У других отняли, а их накормили, да еще водки налили в манерки. И теперь они, покачиваясь в седлах, весело кричали товарищам, толпившимся у предместного укрепления:

— Мы вам самого Чарнецкого на аркане приведем!

Глупцы! Они не знали, что идут, как волю, на бойню.

Все, как нарочно, складывалось, чтобы их погубить. Едва они прошли, саперы тут же разобрали временный настил, намереваясь построить более прочные перекрытия, по которым могли бы пройти пушки. А всадники, напевая, повернули к Великим Очам, раз-другой блеснули на солнце их шлемы, а затем они скрылись в густом бору.

Проехали полмили — ничего! Кругом тихо, лесная чаща словно вымерла. Они остановились, дали отдых коням, потом медленно двинулись дальше. Наконец отряд добрался до Великих Очей, но и там не застал ни единой живой души.

Это безлюдье удивило Каннеберга.

— Видно, здесь нас ждали, — сказал он майору Свено, — но Чарнецкого, должно быть, поблизости нет, раз он не устроил нам ловушки.

— Прикажете возвращаться, ваше превосходительство? — спросил Свено.

— Нет, мы пойдем вперед, хотя бы нам пришлось идти до самого Львова, да и не так уж он далеко. Мы должны поймать языка и привезти королю точные сведения о Яне Казимире.

— А если мы встретим на пути превосходящие силы противника?

— Таким солдатам, как наши, нечего бояться этого сброда, что у них зовется народным ополчением, даже если их будет несколько тысяч.

— Но мы можем наскочить и на регулярные войска. Ведь пушек у нас нет, а без пушек с ними не справиться.

— Тогда мы вовремя отступим и донесем королю о неприятеле. Тех же, кто преградит нам путь, уничтожим.

— Я ночи боюсь! — сказал Свено.

— Примем все меры предосторожности. Пищи для людей и коней хватит у нас на два дня, так что торопиться нечего.

Углубившись в лес за Великими Очами, отряд двигался гораздо осторожнее, чем прежде. Полсотни всадников Каннеберг выслал в дозор. Они ехали, держа мушкеты наготове, и зорко смотрели по сторонам, вглядываясь в кусты, в заросли, часто сдерживали коней и прислушивались; время от времени они сворачивали в сторону, прочесывали придорожную чащобу, но ни на дороге, ни около нее никого не было.

Лишь час спустя двое передовых рейтар, обогнув крутой поворот, заметили шагах в четырехстах перед собой всадника.

День выдался ясный, солнце ярко светило, и всадник был виден как на ладони. Это был небольшого роста солдатик, одетый нарядно и на чужеземный лад. Маленьким он казался особенно потому, что конь под ним был рослый, видно, очень породистый, буланый бахмат.

Всадник ехал тихо, не торопясь, словно не замечая идущего следом войска. Весенняя вода прорыла на дороге глубокие канавы, в них шумели мутные ручьи. Перед канавами всадник вскидывал коня, тот перепрыгивал их с легкостью оленя и снова шел рысцой, поматывая головой и весело фыркая.

Рейтары остановились и стали ждать вахмистра. Тот подъехал, посмотрел и сказал:

— Сукин сын, не иначе как поляк.

— Okликнуть его? — спросил один из рейтар.

— Я тебе окликну! А если он не один? Гони за полковником!

Тем временем подъехал и весь дозор. Солдаты остановились: маленький рыцарь остановился также и повернул коня к шведам, словно желая преградить им путь.

Некоторое время они смотрели на него, а он на них.

— Э, да вон и второй! Второй, третий, четвертый — да их тут до черта! — раздались вдруг крики в рядах шведов.

И действительно, справа и слева на дорогу повалили всадники, сначала по одному, а потом по двое, по трое. И все становились около первого.

Тут как раз подоспел Свено со вторым дозором, а потом и весь отряд вместе с Каннебергом. Каннеберг и Свено сразу выехали вперед.

— Я узнаю их! — сказал Свено, едва взглянув на всадников. — Это люди из той хоругви, что первой атаковала графа Вальдемара под Голомбом. Это люди Чарнецкого. Значит, он и сам здесь!

Слова его поразили всех; в шведских рядах воцарилась глубокая тишина, лишь кони позвякивали мундштуками.

— Носом чую какой-то подвох, — продолжал Свено, — слишком их мало, чтоб напасть на нас, остальные, должно быть, прячутся в лесу. Ваше превосходительство, вернемся! — воскликнул он, обращаясь к Каннебергу.

— Отличный совет, нечего сказать, — ответил, нахмурившись, полковник, — стоило выезжать, чтобы обратиться в бегство при виде десятка-другого оборванцев! Тогда уж бежали бы сразу, как только первый появился!.. Вперед!

Первая шеренга шведов в полном боевом порядке тотчас выступила вперед, за ней — вторая, третья, четвертая. Расстояние между противниками стало сокращаться.

— Пли! —скомандовал Каннеберг.

Шведские мушкеты все, как один, вытянули вперед свои железные шеи, целясь в польских всадников.

Но не успел грянуть залп, как поляки повернули коней и беспорядочной гурьбой помчались прочь.

— Вперед! — крикнул Каннеберг.

Рейтары с места рванули вскачь, даже земля загудела под тяжелыми конскими копытами.

Лес огласился криками преследователей и беглецов. То ли шведские кони были резвее, то ли польские уже притомились, но только через четверть часа расстояние между ними стало уменьшаться.

Но одновременно происходило нечто странное. Поляки продолжали удирать, однако это бегство, столь беспорядочное вначале, постепенно становилось все более согласным, казалось, сама скачка вынуждала всадников выравнивать строй. Это заметил Сveno; он пришпорил коня, подъехал к Каннебергу и закричал:

— Ваше превосходительство! Это наверняка не партизаны, это регулярное войско! Они нарочно заманивают нас в засаду.

— Засада так засада, там тоже не черти, а люди! — крикнул в ответ Каннеберг.

Дорога слегка поднималась в гору и становилась все шире; лес редел, и за опушкой уже виднелось голое поле, вернее, огромная поляна, окруженная со всех сторон густым сумрачным бором.

Тут польские всадники прибавили ходу, и сразу стало ясно, что до сих пор они умышленно сдерживали коней; теперь отряд мгновенно оторвался от преследователей, и шведский полководец понял, что нагнать его не удастся. Видя, что польская хоругвь вот-вот доскачет до противоположной опушки, меж тем как сам он едва достиг середины поляны, Каннеберг натянул поводья и дал команду замедлить шаг.

Но что это? Вместо того, чтобы снова исчезнуть в лесу, польский отряд описал на другом краю поляны огромный полукруг и галопом понесся неприятелю навстречу, совершив этот маневр столь безупречно, что даже шведы не могли не изумиться.

— Ты прав! — крикнул Каннеберг майору. — Это регулярные войска! Повернули, как на ученье. Чего им надо, тысяча чертей!

— Они идут на нас! — ответил Сveno.

Поляки сменили галоп на рысь. Маленький рыцарь на буланом бахмате что-то кричал, выносился вперед, потом снова придерживал коня и саблей подавал какие-то знаки, — видимо, это был командир.

— Да, атакуют, — промолвил Каннеберг с изумлением.

А те уже неслись во весь опор, кони, прижав уши, стлались над самой землей, едва не касаясь ее брюхом, всадники пригнулись в седлах, спрятали лица в конских гривах, так что их и не видно было. Первая шеренга шведов увидела лишь сотни оскаленных конских морд и горящих глаз. Быстрее ветра мчалась на них эта хоругвь.

— С нами бог! За Швецию! Огонь! — скомандовал Каннеберг и взмахнул шпагой.

Грянул мушкетный залп. Но в ту же минуту польская хоругвь влетела прямо в дым, разметала в стороны первые ряды и, словно клин в расщепленное дерево, врезалась в самую гущу шведов. Все закружилось в ужасающем вихре, латы гремели о латы, сабля о саблю; лязг металла, конское ржанье, вопли умирающих разбудили лесное эхо, и звуки битвы отдавались по всему бору, как раскаты грома в горных ущельях.

В первую минуту шведы растерялись, к тому же и полегло их от первого удара немало, однако, быстро опомнившись, они стали наседать на поляков с медвежьей силой. Их фланги сомкнулись, а поскольку польская хоругвь и без того рвалась вперед, стремясь расколоть строй противника насквозь, шведы вскоре окружили ее со всех сторон. Середина шведских рядов отступала под натиском поляков; зато с флангов они теснили их все сильнее, хотя и не могли рассеять, ибо польская конница отбивалась яростно, с тем несравненным искусством, которое делало ее столь страшной в рукопашном бою. Сабли скрещивались с рапирами, тела бойцов густо усеивали поле, и вот уже победа начала было склоняться на сторону шведов, как вдруг из темной пасти леса выскочила еще одна польская хоругвь и с криком понеслась на врага.

Весь шведский правый фланг по команде Свено повернулся лицом к новому противнику, в котором опытные шведские солдаты сразу распознали гусар.

Их вел человек на могучем белом, в яблоках, коне, одетый в бурку и рысью шапку, украшенную пером цапли. Он был прекрасно виден, так как ехал сбоку, немного отступив от отряда.

— Чарнецкий! Чарнецкий! — раздались возгласы в шведских рядах.

Свено в отчаянии обратил взор к небу, сжал коленями бока коня и вместе с рейтарами ринулся вперед.

Десятка два шагов Чарнецкий проскакал вместе с отрядом, затем гусары пустили коней во весь опор, а сам он поворотил назад.

И тут из леса вышла третья хоругвь; Чарнецкий подскакал к ней и тоже проводил немного; за третьей — четвертая, он и ее проводил; каждой он указывал булавой, куда ударить, точь-в-точь как хозяин, который расставляет по полю жнецов и распределяет меж ними работу.

Наконец, когда показалась пятая хоругвь, он сам возглавил ее и повел в бой.

Меж тем гусары уже отбросили назад правое крыло и спустя мгновение раскололи его пополам; остальные три хоругви, подскакав, обступили растерявшихся шведов по-татарски со всех сторон и с неистовыми криками принялись рубить врага саблями, колоть пиками, вышибать из седел, топтать копытами, пока наконец средь воплей и кровопролития не обратили его в бегство.

Каннеберг понял, что попал в ловушку, сам подвел свой отряд прямо под нож; он уже не думал о победе, — лишь хотел спасти хоть часть своих людей, — и дал сигнал к отступлению. Шведы во весь дух помчались к той самой дороге, по которой шли от Великих Очей, а солдаты Чарнецкого гнались за ними по пятам, так что шведы чувствовали на спинах дыхание польских коней.

Не помня себя от ужаса, рейтары отступали в полном беспорядке, лучшие кони вырывались вперед, и вскоре весь блестящий отряд Каннеберга превратился в нестройную толпу беглецов, которые почти даже не защищались от сыпавшихся на них ударов.

Чем дальше, тем беспорядочней становилась погоня, поляки тоже не соблюдали строя, каждый гнал коня во весь опор, нападал на кого хотел.

Так они мчались, шведы с поляками вперемежку. Случалось, какой-нибудь гусар обгонял последнюю шеренгу шведов, и когда, привстав в стременах, он заносил саблю над скачущим впереди рейтаром, удар рапиры сзади пронзал его самого. Вся дорога была густо усеяна трупами шведов. Но погоня у Великих Очей не кончилась. И те и другие только перескочили из одного леса в другой, там измученные шведские кони начали спотыкаться, и кровавая резня закипела с новой силой.

Кое-кто из рейтар прыгивал с коня и скрывался в бору, но таких было немного; шведы знали, что в лесах их подкарауливают мужики, и предпочитали смерть в бою той мучительной казни, какая неминуемо ожидала бы их, попади они в руки разъяренных крестьян.

Иные просили пощады, но по большей части тщетно,— каждый предпочитал зарубить врага и мчаться дальше, так как, взяв пленника, пришлось бы стеречь его и тем самым отказаться от дальнейшей погони.

И поляки рубили врагов без милосердия, ни одному не дали уйти с поля. Впереди летел Володыёвский со своей лауданской хоругвью. Это он, первым показавшись шведам, заманил их в ловушку, он и ударил первым, а теперь, носясь на быстроногом скакуне, тешил вражьей кровью свою солдатскую душу, мстил за голомбское поражение. Одного за другим настигал он рейтар и гасил их жизни, как свечи; порой он гнался за двумя, за тремя, за четырьмя сразу, но погоня бывала недолгой, минута — и вот уже перед ним скакали лишь кони с пустыми седлами. Тщетно иной швед хватал свою рапиру за острие и обращал ее рукоятью к рыцарю, глазами и криком моля о пощаде, Володыёвский, даже не приостанавливаясь, вонзал ему саблю в то место, где шея соединяется с грудью, делал клинком легкое, почти незаметное движение — и швед, раскинув руки, шептал что-то побледневшими губами и погружался во мрак смерти. А Володыёвский, не оглядываясь больше, несясь вперед, и новые жертвы, точно снопы, валились наземь.

Завидел страшного жнеца отважный Свено и, созвав десятка полтора самых отчаянных рейтар, решил ценою собственной жизни задержать погоню хоть на время и тем спасти других. Рейтары повернули коней, обратили к преследователям острия своих рапир и ждали. Володыёвский, видя это, не заколебался ни на мгновение, он вскинул коня на дыбы и ринулся прямо на врага.

Те и глазом моргнуть не успели, как двое уже были выбиты из седел. Чуть не десят рапир устремилось к груди Володыёвского, но тут подскакали Скшетуские, Юзва Бутрым Безногий, Заглоба и Рох Ковальский, про которого Заглоба говорил, что, даже идучи в атаку, он дремлет, а просыпается лишь тогда, когда сшибается с неприятелем грудь о грудь.

Меж тем Володыёвский как молния скользнул под конское брюхо, и рапиры пронзили пустое пространство. Этому приему обучили его белгородские татары, и он благодаря малому росту и дьявольской ловкости владел им столь досконально, что мог в любой миг пропасть из глаз, скрывшись под брюхом коня либо за его загривком. Так поступил он и сейчас, и не успели изумленные рейтары сообразить, куда он делся, как он уже снова был в седле, грозный, как барс, который готовится прыгнуть с высокого дерева на свору перепуганных гончих.

А тут как раз и товарищи подоспели, сея смерть и замешательство. Один из рейтар уперся было пистолетом прямо в грудь пану Заглобе, но Рох Ковальский, который ехал справа и потому не мог пустить в ход саблю, мимоходом огрел рейтара кулаком по голове, и швед тотчас хлопнулся наземь, словно молнией выбитый из седла. Тогда Заглоба с радостным воплем рубанул саблей в висок самого Свено; у того повисли руки, и он упал ничком на шею своего коня. Остальные рейтары обратились в бегство, но Володыёвский, Юзва Безногий и двое Скшетуских погнались за ними и перебили всех, не дав им проскакать и ста шагов.

Погоня продолжалась. Шведские кони тяжело водили боками, спотыкались все чаще и чаще. И вот уже из тысячи отборных рейтар, что недавно выступили с Каннебергом в поход, оставалось едва ли двести всадников, прочие лежали в ряд вдоль всей лесной дороги. Но и эта последняя кучка уцелевших таяла с каждой минутой, ибо польские руки трудились над нею без усталости.

Наконец лес остался позади. На голубом небе четко обозначились башни Ярослава. Сердца преследуемых исполнились надежды, — ведь в Ярославе могучая шведская армия и сам король, сейчас он придет им на помощь.

Они забыли, что сразу же после их ухода настил в последнем пролете моста был разобран, с тем чтобы заменить его более прочным, пригодным для пушек.

То ли Чарнецкий узнал об этом от своих лазутчиков, то ли хотел особо досадить шведскому королю, добывая несчастных у него на глазах, во всяком случае, он не только не прекратил погони, но сам с хоругвью Шемберко вылетел вперед, сам рубил, сам своею рукой сносил

головы и при этом так нахлестывал коня, словно хотел, не останавливаясь, ворваться в Ярослав.

Наконец до моста осталось не более сотни шагов. Ратные клики донеслись до шведского лагеря. Шведские солдаты и офицеры толпой высыпали на берег поглядеть, что происходит за рекой. Увидели бегущих и тотчас узнали в них рейтар, которые утром вышли из лагеря.

— Отряд Каннеберга! Отряд Каннеберга! — закричали сотни голосов.

— Они разбиты! Меньше ста человек бежит!

В эту минуту подскакал сам король, а с ним Виттенберг, Форгель, Миллер и другие генералы.

Король побледнел.

— Каннеберг! — только и вымолвил он.

— Боже милосердный! Мост! — воскликнул Виттенберг. — Сейчас их всех перебьют!

Король посмотрел на вздувшуюся реку, которая с шумом катила свои желтые волны. Нечего было и думать о том, чтобы вплавь переправить людей на подмогу.

А те все приближались. Тут снова раздался многоголосый вопль:

— Идет королевский обоз с гвардейцами! Они тоже погибнут!

Так случилось, что в это же время из соседнего леса вышла часть королевского обоза в сопровождении сотни пеших гвардейцев. Увидев, что делается, гвардейцы со всех ног бросились к городу, полагая, что мост исправлен.

Но тут их заметили поляки, и тотчас около трехсот всадников во весь опор помчались к ним. Впереди всех, сверкая очами и размахивая саблями, скакал арендатор Вонсоши Жендзян. До сих пор он не выказывал особого мужества, но при виде повозок, где, по всей вероятности, его ждала богатая добыча, сердце пана арендатора взыграло такой отвагой, что он далеко обогнал своих товарищей. Сопровождавшие обоз пехотинцы, видя, что им не уйти, выстроились квадратом, и сто мушкетов сразу устремилось в грудь Жендзяну. Грянул залп, шеренги гвардейцев заволокло дымом, но, едва дым рассеялся, пан арендатор поднял коня на дыбы, так что передние копыта на мгновение повисли над головами рейтар, и ринулся прямо в середину квадрата.

Лавина всадников устремилась за ним.

И словно лошадь, загнанная волками, когда она, опрокинувшись на спину, отчаянно отбивается копытами, а они облепили ее всю и рвут на куски живое тело, — точно так же и обоз вместе с гвардейцами скрылся целиком в клубящейся массе коней и всадников. Лишь страшные крики вырывались из этой свалки и доносились до шведов, стоявших на другом берегу.

А поодаль, у самой реки, добивали последних рейтар Каннеберга. Шведская армия вся, как один человек, высыпала на высокий берег Сана. Пехотинцы, рейтары, артиллеристы стояли вперемешку и, словно в античном цирке, смотрели на это зрелище — но смотрели, стиснув зубы, с отчаянием в душе, в ужасе от сознания собственного бессилия. Порой из груди этих зрителей поневоле вырывался страшный крик, порой раздавалось громкое рыданье, и снова наступала тишина, лишь солдаты сопе-ли, задыхаясь от ярости. Ведь эта тысяча рейтар Каннеберга была красой и гордостью всей шведской армии, все сплошь ветераны, покрытые славой бесчисленных сражений во всех концах земли. И вот теперь они, точно стадо обезумевших овец, метались по обширному лу-гу на том берегу и гибли, точно овцы под ножом мясника. И была это уже не битва, но бойня. Грозные польские всадники кружили по полю подобно вьюге и, крича на разные голоса, гонялись за рейтарами. Иногда гонялись впятером, а то и вдесятером за одним, иногда в одиночку. Случалось, настигнутый швед лишь пригибался в седле, подставляя врагу шею, случалось принимал бой, но и в том и в другом случае погибал, ибо в рукопашном бою шведские солдаты не могли соперничать с польской шляхтой, искушенной во всех тайнах фехтовального искусства.

Но самым страшным среди поляков был маленький рыцарь на буланом коне, быстром и легком, как сокол. Все шведское войско заметило его, ибо тот, за кем он погнался, кто стал на его пути, погибал неведомо как и когда, столь легки и неуловимы были движения, которыми валил он наземь самых могучих рейтар. Наконец, увидев самого Каннеберга, за которым гналось человек пятнадцать, он крикнул, приказывая им остановиться, и один бросился на полковника.

Шведы на другом берегу затаили дыхание. Сам ко-

роль подъехал ближе к реке и смотрел с бьющимся сердцем, снедаемый попеременно тревогой и надеждой; ведь Каннеберг, знатный вельможа и родич короля, сизмальства обучался фехтовальному искусству у итальянских мастеров и в умении владеть холодным оружием не имел себе равных во всей шведской армии. Теперь все взоры были прикованы к нему, все стояли, боясь вздохнуть; он же, видя, что гонится за ним лишь один человек, и желая, коли уж потеряно войско, спасти хоть собственную славу в глазах короля, угрюмо сказал себе:

«Горе мне, загубившему свое войско! Одно мне осталось: смыть позор собственной кровью; а если спасу свою жизнь, то лишь победив этого страшного рыцаря. Иначе, даже если б господь своей рукой перенес меня на ту сторону, все равно я не посмел бы взглянуть в глаза ни одному шведу».

И с тем он повернул коня и помчался навстречу рыцарю в желтом.

Поскольку всадники, скакавшие от реки ему наперез, свернули в сторону, у Каннеберга появилась надежда, что, сразив противника, он сможет добраться до берега и прыгнуть в воду, а там — будь что будет. Не удастся переплыть бурлящую реку, так, по крайней мере, его отнесет далеко вниз по течению, а там уж собратья как-нибудь помогут ему.

Молнией понесся он навстречу маленькому рыцарю, а маленький рыцарь к нему. Хотел было швед на скаку всадить рапиру по самую рукоять противнику под мышку, но сразу понял, что встретил равного себе соперника: его шпага лишь скользнула по острию польской сабли, лишь как-то странно дернулась, словно держащая ее рука внезапно онемела, и Каннеберг еле успел прикрыться от ответного удара; к счастью, в это мгновение кони разнесли их в разные стороны.

Оба описали круг и снова повернули друг к другу. Но теперь они сближались медленней, стремясь prolongировать схватку и хоть несколько раз скрестить клинки. Каннеберг весь подобрался и стал похож на птицу, которая выставила из встопорщенных перьев лишь могучий клюв. Он знал один верный выпад, перенятый им от некоего флорентийца, страшный своим коварством и почти неразимый: острие рапиры, как будто направленное в грудь, обходило клинок противника сбоку и, пронзив

горло, выходило через затылок. Этот прием он и решил теперь пустить в ход.

Уверенный в успехе, он приближался к противнику, все больше сдерживая коня, а пан Володыёвский (ибо это был он) подъезжал к нему мелкой рысью. Сначала Володыёвский хотел было на татарский манер исчезнуть внезапно под конем, но перед ним был один-единственный противник, на него смотрели оба войска, и он, хоть и предчувствовал какой-то подвох, счел постыдным обороняться по-татарски, а не по-рыцарски. «Хочешь меня как цапля сокола проткнуть,— подумал он,— ну, так я угощу тебя заверткой, которую еще в Лубнах придумал».

С этой мыслью, которая показалась ему самой удачной, он выпрямился в седле, поднял сабельку, и она мельницей завертелась в его руке, да с такой быстротой, что только свист разнесся в воздухе.

А на сабле заиграли лучи заходящего солнца, и казалось, рыцаря окружает радужный, переливчатый ореол. Он пришпорил коня и ринулся на Каннеберга.

Каннеберг еще больше съежился, почти слился с конем; в мгновение ока рапира скрестилась с саблей, и тут Каннеберг вдруг, как змея, высунул голову и нанес страшный удар.

Но в тот же миг засвистел ужасный ветряк, рапира дернулась в руке у шведа, острое проткнуло пустое пространство, а маленький рыцарь с быстротой молнии нанес Каннебергу удар по лицу; кривой конец его сабли рассек шведу нос, рот, подбородок, перешиб ключицу и застрял лишь на перевязи, украшавшей плечо Каннеберга.

Рапира выпала из рук несчастного, в глазах у него потемнело, но прежде, чем он свалился с коня, Володыёвский подхватил его под мышки.

Тысячеголосый вопль раздался на том берегу, а Заглоба подскакал к маленькому рыцарю и сказал:

— Я знал, что так будет, пан Михал, но готов был отомстить за тебя.

— Это был славный боец,— молвил Володыёвский.— Бери коня под уздцы, он благородных кровей.

— Эх, кабы не река, пойти бы с теми переведаваться! Да я бы первый...

Тут речь Заглобы была прервана свистом пуль, и он, не докончив, крикнул:

— Бежим, пан Михал, еще перестреляют нас эти предатели!

— Пули на излете, нас не заденут, — ответил Володыёвский.

Тем временем их окружили другие польские всадники. Они поздравляли Володыёвского, глядя на него с восхищением, а он только усиками пошевеливал, ибо также был весьма доволен собой.

На другом берегу, в шведском лагере, гудело, словно в улье. Артиллеристы поспешно выкатывали пушки, поэтому в польском отряде протрубили отступление. Заслышав сигнал, каждый поскакал к своей хоругви, и вскоре все стояли по местам. Полки двинулись было к лесу, потом снова приостановились, как бы освобождая неприятелю ратное поле и приглашая его перейти реку. Наконец перед строем показался всадник на белом, в яблоках, скакуне, в бурке и в шапке, украшенной пером цапли, с позолоченной булавой в руке.

В лучах заходящего солнца было отчетливо видно, как он, словно на смотре, гарцевал перед полками.

Шведы сразу узнали его и стали кричать:

— Чарнецкий! Чарнецкий!

Он же о чем-то говорил с полковниками. Дольше всего, положив ему руку на плечо, стоял Чарнецкий около рыцаря, который сразил Каннеберга; затем он поднял буздыган, и хоругви медленно, одна за другой, повернули к лесу.

А тут и солнце зашло. В Ярославле зазвонили колокола, поляки в ответ запели стройным хором «Ангел господень возвестил пречистой Деве Марии» и с этой песней исчезли в лесу.

ГЛАВА V

В тот день шведы легли спать не евши и без всякой надежды подкрепиться чем-нибудь завтра. Голод терзал их, не давая уснуть. Едва пропели петухи, измученные солдаты по одному, по двое, по трое стали выскальзывать из лагеря и разбрелись на промысел по окрестным селам. Точно тати ночные, подкрадывались они к Радымно, к Каньчуге, к Тычину, где надеялись найти себе пропитание. То, что Чарнецкий отделен был от них рекой, придавало им бодрости, но если б даже он успел

переправиться на этот берег, смерть они предпочли бы голоду. Видно, далеко зашло разложение в шведском стане, если, невзирая на строжайший запрет короля, лагерь покинуло около полутора тысяч солдат.

Они принялись хозяйничать в округе, грабили, жгли, убивали, однако мало кому из них суждено было вернуться в лагерь. Чарнецкий, правда, был за рекой, но шляхетских и мужицких отрядов хватало и на этом берегу. Как на беду, самый сильный из них, отряд воинственной горской шляхты под командой Стшалковского, в эту самую ночь подошел к Прухнику. Завидев пожар и заслышав выстрелы, пан Стшалковский, не раздумывая, кинулся прямо в свалку и напал на грабителей. Шведы, забившись в проходы между плетнями, отчаянно сопротивлялись, но Стшалковский рассеял их и перебил всех до единого. В других деревушках то же сделали другие отряды, а затем, догоняя бегущих, они с громкими криками подскакали вплотную к шведскому лагерю, сея тревогу и замешательство; шведы, услышав возгласы по-татарски, по-валашски, по-венгерски и по-польски, решили, что Чарнецкому на подкрепление явилось целое войско, может, сам хан со своей ордой.

В шведском лагере начался беспорядок, более того, началось — вещь доселе небывалая — настоящее смятение, и офицерам лишь с величайшим трудом удалось его подавить. Но король, который всю ночь провел в седле, видел, что делается, и понял, к чему это может привести. В то же утро он созвал военный совет.

Невеселое было это совещание, и кончилось оно быстро, ибо выбирать было не из чего. Войско пало духом, солдаты голодали, а силы неприятеля все росли.

Шведскому Александру, который клялся на весь мир, что будет преследовать польского Дария вплоть до самых татарских степей, приходилось теперь думать не о преследовании, а о собственном спасении.

— Мы можем вдоль Сана вернуться в Сандомир, оттуда вдоль Вислы в Варшаву, а там и Пруссия недалеко, — сказал Виттенберг. — Тогда мы избежим гибели.

Дуглас схватился за голову.

— Столько побед, столько трудов, завоевана такая огромная страна, и после всего этого возвращаться ни с чем!

А Виттенберг ему на это:

— Вы видите иной выход, ваше превосходительство?

— Не вижу,— ответил тот.

Тогда король, все время хранивший молчание, встал, давая понять, что совет окончен.

— Приказываю отступить! — произнес он.

И больше в тот день не вымолвил ни слова.

Зарокотали барабаны, запели трубы. Весть о королевском приказе в мгновение ока разнеслась по лагерю. Солдаты встретили ее радостными криками. Ведь замки и крепости оставались еще в руках у шведов, там можно было рассчитывать на отдых, еду, безопасность.

Генералы и солдаты с таким пылом принялись готовиться к отходу, что, как заметил с горечью Дуглас, просто стыдно было смотреть.

Самого Дугласа король выслал в передовой дозор, чтобы тот наладил переправы и вырубил, где надо, лес. Вслед за ним в боевом порядке выступило войско; спереди его прикрывали пушки, сзади тянулся обоз, по бокам шла пехота. Военное снаряжение и шатры были отправлены по реке на судах.

Все эти меры предосторожности были отнюдь не лишними: едва снялись с места, как тотчас шведский арьергард заметил скачущих следом польских всадников и с этой минуты почти никогда не терял их из виду. Чарнецкий собрал все собственные хоругви, все окрестные отряды, попросил подкреплений у короля и двинулся за шведами по пятам.

Первая же ночевка в Пшеворске принесла первую тревогу. Польские отряды приблизились настолько, что пришлось бросить против них несколько тысяч пехоты, а также пушки. Сперва было король подумал, что Чарнецкий начал настоящее наступление, но тот, как обычно, лишь слал на него отряд за отрядом. Приблизившись к лагерю, поляки пугали шведов криками, а затем быстро убирались восвояси. Вся ночь до утра прошла в подобного рода маневрах, всю ночь шведы не смыкали глаз.

И это предстояло им терпеть и впредь, каждый день и каждую ночь, пока длился их поход.

Тем временем Ян Казимир прислал Чарнецкому две отлично снаряженные конные хоругви, а затем и письмо,

что вскоре выступят и гетманы с регулярным войском; сам король с остальной пехотой и татарами поспешит вслед за ними. Ему оставалось лишь завершить переговоры с ханом, Ракоци и цесарем. Вести эти необычайно обрадовали Чарнецкого, и наутро, когда шведы двинулись дальше, в междуречье Вислы и Сана, пан каштелян сказал полковнику Поляновскому:

— Невод заброшен, рыба идет в сети.

— А мы поступим, как тот рыбак, что играл рыбам на флейте,— подхватил Заглоба.— Видит рыбак, что рыбы не пляшут, взял да и вытащил их на берег; вот тут-то они заскакали, а он их лупит палкой да приговаривает: «Ах вы, такие-сякне! Надо было плясать, пока я просил».

А Чарнецкий в ответ:

— Погодите, они у нас попляшут, пусть только пан маршал Любомирский подойдет со своими пятью тысячами.

— А скоро ли? — спросил Володыёвский.

— Сегодня приехало несколько шляхтичей с предгорья,— отозвался Заглоба,— говорят, что он спешит сюда кратчайшим путем, да только вот вопрос — захочет ли он соединиться с нами или станет воевать на свой страх и риск?

— Почему так? — спросил Чарнецкий, зорко глядя на Заглобу.

— Больно уж самолюбив и до славы жаден. Я с Любомирским знаком сто лет и был с ним близок. Познакомились мы при дворе краковского каштеляна Станислава, он тогда был еще совсем молодой и учился фехтованию у французов и итальянцев. Как-то раз я сказал ему, что все они бездельники и против меня ни один не устоит. Он страшно рассердился. Мы побились об заклад, и я тут же положил семерых, одного за другим. А потом я сам его обучал, и не только фехтованию, но и военному делу. Он, правда, туповат был малость, это у него от рождения, но чему научился — все от меня.

— Уж будто ты, ваша милость, такой искусник? — спросил Поляновский.

— Ехетрлм, пан Володыёвский, другой мой ученик, радость моя и гордость.

— Да, верно, ведь это ты, пан Заглоба, зарубил Свено.

— Свено? Тоже мне победа! Это доведись кому-нибудь из вас, так небось хватило бы рассказов на всю жизнь, еще и соседей бы созывали, чтоб за чаркою вина рассказать лишний раз; ну, а для меня это не велика важность: захоти я сосчитать, я такими, как Свено, мог бы вымостить дорогу отсюда до Сандомира. Что, правду я говорю? Скажите, кто меня знает!

— Правда, дядя,— подтвердил Рох Ковальский.

Этой части разговора Чарнецкий уже не слышал, глубоко задумавшись над словами Заглобы. Характер Любомирского был знаком и ему, и он не сомневался, что тот либо захочет навязать ему свою волю, либо сам станет воевать, на свой страх и риск, невзирая на ущерб, какой это могло причинить Речи Посполитой.

Суровое лицо Чарнецкого помрачнело, и он начал крутить бороду.

— Эге! — шепнул Яну Скшетускому Заглоба,— что-то ему уже не по вкусу, нахохлился, как орел, того и гляди, заключет.

Но тут Чарнецкий заговорил:

— Кто-то из вас должен поехать к пану Любомирскому и отвезти от меня письмо.

— Я с ним знаком и готов это сделать,— вызвался Ян Скшетуский.

— Ладно,— ответил Чарнецкий,— чем именитее, тем лучше...

Заглоба повернулся к Володыёвскому и прошептал:

— Гляди, уже и в нос говорить начал, видать, сильно не в духе.

Дело в том, что у Чарнецкого было серебряное нёбо; много лет назад, в битве под Бушей, пуля повредила ему гортань. С тех пор, стоило ему заволноваться, расстроиться или рассердиться, голос его начинал звучать резко и гнусаво.

Внезапно он обратился к Заглобе:

— А может, и ты, пан Заглоба, поедешь с паном Скшетуским?

— Охотно,— согласился старый рыцарь.— Уж чего я не добьюсь, того никто не добьется. Да и ехать к особе столь высокого рода пристойнее вдвоем.

Чарнецкий поджал губы, дернул себя за бороду и сказал как бы про себя:

— Высокого рода... высокого рода...

— Этого у пана Любомирского никто не отнимет,— заметил Заглоба. А Чарнецкий нахмурил брови:

— Высока одна лишь Речь Посполитая, и перед ней все мы равно ничтожны, а кто об этом позабыл, тому в пекле место!

Все умолкли, потрясенные силой его слов, и лишь спустя некоторое время Заглоба проговорил:

— Насчет Речи Посполитой верно сказано.

— Я вон тоже не откупом и не подкупом добыл себе славу и богатство, а в честном бою с врагами,— продолжал Чарнецкий,— прежде враги мои были казаки, что горло мне прострелили, а теперь шведы, и либо я их прикончу, либо сам погибну, и да поможет мне бог!

— И мы поможем, крови своей не пожалеем! — воскликнул Поляновский.

Какое-то время Чарнецкий предавался горьким мыслям о тщеславии маршала, которое грозило помешать делу спасения родины; наконец он успокоился и сказал:

— Ну, пора писать письмо. Прошу вас обоих следовать за мною.

Ян Скшетуский и Заглоба пошли за ним, а спустя полчаса оседлали коней и поскакали в Радымно, где, по слухам, остановился пан Любомирский со своим войском.

— Послушай, Ян,— сказал Заглоба, щупая сумку, в которой лежало письмо Чарнецкого,— сделай милость, позволь мне самому поговорить с паном маршалом.

— А ты, отец, и в самом деле знаком с ним и учил его фехтованию?

— Э... просто так было сказано, чтобы язык к зубам не присох,— это от долгого молчания бывает. И знать я его не знал, и учить не учил. Что я, другого дела себе не нашел бы, как быть медвежатником да учить пана маршала на задних лапах ходить? Не в том суть. Я не видя, по одним людским толкам насквозь его прознал и куда захочу, туда и оборочу. Тебя же прошу об одном: не говори, что у меня есть письмо от Чарнецкого, даже не упоминай о нем, пока я сам не отдам.

— Как? Не выполнить порученного мне дела? В жизни со мной такого не бывало и не будет! Хотя бы пан Чарнецкий и простил меня, не сделаю я этого ни за какие блага на свете!

— Тогда я возьму саблю и подрежу твоему коню сухожилья, чтобы ты за мной не поспел. Видал ты когда-нибудь, чтоб не вышло задуманное мною? Скажи сам? Плохо тебя выручала Заглобина хитрость? И пана Михала? И твою Геленку? Да и всех вас разве не я вызволил из рук Радзивилла? Говорю тебе, от этого письма будет больше дурного, чем хорошего, ибо пан каштелян писал его в таком волнении, что три пера сломал. Наконец, решим так: скажешь о нем, коли мой план сорвется; тогда, даю слово, я сам его отдам, но не раньше.

— Лишь бы отдать, а когда — все равно.

— Ну и хорошо! А теперь вперед, дорога перед нами неблизкая!

Они прищипорили коней и пустили их вскачь. Долго ехать им не пришлось, так как сторожевые отряды Любомирского миновали уже не только Радымно, но и Ярослав, а сам маршал стоял в Ярославле, на прежней квартире шведского короля.

Они приехали, когда маршал обедал в обществе своих старших офицеров. Однако, услышав о прибытии послов, чьи имена гремели в те дни по всей Речи Посполитой, Любосмирский велел немедленно их впустить.

Взоры присутствующих обратились к ним; с особенным восхищением и любопытством все смотрели на Скшетуского, а маршал, любезно поздоровавшись с ними, первым делом спросил:

— Неужто предо мной тот славный рыцарь, что доставил королю письма из осажденного Збаража?

— Да, это я.

— Пошли мне бог побольше таких офицеров! Вот единственное, в чем я завидую пану Чарнецкому, хоть знаю, что и мои заслуги, сколь ни малы они, тоже не изгладятся из людской памяти.

— А я Заглоба! — громко произнес старый рыцарь, выступая вперед.

И окинул собравшихся горделивым взглядом, а маршал, стремившийся снискать всеобщее расположение, тотчас воскликнул:

— Кто же не знает мужа, который сразил Бурлая, вождя *barbagotum*¹, и взбунтовал Радзивилловы войска...

¹ Варваров (лат.).

— И привел их пану Сапеге, а они, правду сказать, не его — меня выбрали полководцем,— добавил Заглоба.

— Как же это ты, милостивый пан, удостоясь столь высокой чести, отказался от нее и пошел на службу к Чарнецкому?

Заглоба незаметно подмигнул Скшетускому и ответил:

— Это ваш пример, ясновельможный пан маршал, учит меня, как и всю страну, отречься от личной выгоды и честолюбия ради общественного блага.

Любомирский покраснел от удовольствия, а Заглоба, подбоченившись, продолжал:

— Пан Чарнецкий прислал нас поклониться вашей милости от его имени и от имени всего его войска и доложить о славной победе, которую с божьего соизволения мы одержали над Каннебергом.

— Мы уже слышали об этом,— довольно сухо ответил маршал, в котором сразу шевельнулась зависть,— но поскольку перед нами очевидец, охотно послушаем еще раз.

Тут Заглоба принялся рассказывать, правда, несколько приукрашая истину, ибо силы Каннеберга в его рассказе разрослись до двух тысяч. Он не преминул упомянуть про Свено, про себя и про избиение рейтар на глазах у шведского короля, про обоз, который вместе с тремя сотнями гвардейцев попал в руки счастливых победителей, короче, по его словам выходило, что шведы понесли поражение, от которого им никогда не оправиться.

Все внимательно слушали его, слушал и пан маршал, но лицо его принимало все более мрачное и холодное выражение. Наконец он сказал:

— Пан Чарнецкий славный воин, не спорю, надеюсь только, что он не съест всех шведов сам, а и другим оставит хоть на закуску!

Заглоба ему на это:

— Ясновельможный пан маршал, эту победу одержал вовсе не Чарнецкий.

— А кто же?

— Любомирский!

Все чрезвычайно изумились. Маршал раскрыл рот, захлопал глазами и так воззрился на Заглобу, будто хотел спросить: «Да в своем ли ты, брат, уме?»

Но Заглоба ничуть не смутился, напротив, важно выпятил губы (это он перенял от Замойского) и продолжал:

— Я сам слышал, как пан Чарнецкий говорил перед строем: «То не наши сабли разят шведов, а имя Любомирского; едва, говорит, шведы прознали, что Любомирский близко, они так пали духом, что в каждом ратнике видят его солдата и идут под нож, точно овцы...»

Лицо маршала просветлело, словно озарилось лучами полуденного солнца.

— В самом деле? — вскричал он. — Неужто сам Чарнецкий это сказал?

— И это, и многое другое, только не знаю, прилично ли мне повторять, — ведь он говорил своим приближенным.

— Говори! Говори! Каждое слово Чарнецкого стоит того, чтобы его стократ повторить. Редкий он человек, я всегда это говорил.

Заглоба, прищурившись, смотрел на маршала и пробурчал в усы: «Крючок ты уже проглотил, уж я тебя подсеку».

— Что, что? — спросил Любомирский.

— Да я говорю, что войско кричало «виват» в вашу честь, словно самому королю. А в Пшеворске, где мы целую ночь тормозили шведов, наши хоругви, все, как одна, шли на приступ с кличем: «Любомирский! Любомирский!» — и куда лучшие это приносило плоды, чем всякие «алла!» или «бей, убивай!». Вот вам и свидетель — пан Скшетуский, тоже отличный солдат, который ни разу в жизни не солгал.

Маршал невольно взглянул на Скшетуского; тот покраснел до ушей и пробормотал что-то невразумительное.

Тут офицеры принялись во весь голос расхваливать послов:

— Смотрите, как благородно поступил пан Чарнецкий, каких любезных рыцарей он прислал! Оба славные воины, а у одного просто мед из уст течет!

— Я всегда был уверен в дружеских чувствах пана Чарнецкого и ценил их, а теперь и подавно ради него готов на все! — воскликнул маршал с повлажневшим от удовольствия взором.

Тут Заглоба совсем распалился:

— Ясновельможный пан маршал! Можно ли не чтить тебя, можно ли не преклоняться перед тем, кто являет нам пример всех гражданских добродетелей, кто справедливостью своей подобен Аристиду, а мужеством — Сципионам?! Много книг прочел я на своем веку, многое видел, о многом размышлял, и душа моя исполнилась боли, ибо кого нашел я в Речи Посполитой? Опалинских, Радзеёвских да Радзивиллов, кои, превыше всего ставя спесь свою и честолюбие, готовы были в любую минуту ради выгоды предать отчизну. И я подумал: сгубили нашу бедную Речь Посполитую преступные сыны. Но кто утешил меня, кто вселил упование в мою скорбную душу? Пан Чарнецкий! «Нет,— сказал он,— не погибла отчизна, ибо у нее есть Любомирский. Те, говорит, думают лишь о себе, а у этого нет иных помыслов, иной заботы, как жертвовать ежечасно своим благом ради блага отечества; те жаждут быть на виду, а этот всегда в тени, подавая всем нам пример. Вот и теперь, говорит, приведя сюда свое могучее победоносное войско, хочет он, как я слышал, передать его под мое начало, жертвуя, в поучение другим, законным своим честолюбием ради отчизны. Поезжайте же, говорит, к нему и передайте, что я этой жертвы не приму, ведь он лучший военачальник, нежели я; ведь мы его не только своим военачальником, но и — да продлит господь дни нашему Яну Казимиру! — королем готовы избрать... и... изберем!»

Тут Заглоба сам немного испугался, не хватил ли он лишку. И правда, после выкрика «изберем!» наступила тишина; однако Любомирский был наверху блаженства; сперва он несколько побледнел, потом залился краской, потом снова побледнел и, наконец, тяжело дыша, ответил:

— Речь Посполитая всегда была, есть и будет свободна в своем выборе, на том от века зиждутся основы наших свобод. А я лишь раб и слуга ее, и бог мне свидетель, никогда даже в мыслях не возношусь на те высоты, на кои гражданину взирать не должно... Что касается войска... отдаю его под начало пану Чарнецкому. А для тех, кто, превыше всего ценя знатность своего рода, никому не желает подчиняться, да послужит это примером, как надлежит забывать о знатности *ego publico bono*. И потому я, Любомирский, хоть и сам непло-

хой полководец, однако ж иду добровольно под команду Чарнецкого, моля бога единственно о том, дабы он даровал нам победу над неприятелем.

— Римлянин! Отец отчизны! — вскричал Заглоба хватая руку маршала и припадая к ней губами. Одна ко при этом старый плут ухитрился подмигнуть Скшетускому.

Собрание разразилось восторженными кликами. Народу в зале все прибывало.

— Вина! — потребовал маршал.

И когда принесли кубки, первый тост поднял за здоровье короля, второй — за Чарнецкого, которого назвал «нашим вождем», и, наконец, за здоровье послов. Заглоба тоже не преминул провозгласить здравицу хозяину и привел всех в такой восторг, что пан маршал лично проводил послов до порога, а его офицеры — до самой городской заставы.

Едва лишь они остались одни, Заглоба тотчас загородил дорогу Скшетускому, остановил коня и, подбоченившись, спросил:

— Ну, Ян, что скажешь?

— Черт подери! — ответил Скшетуский. — Не доведись мне увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами, никогда б не поверил, хоть бы мне ангел господень об этом рассказал.

А Заглоба ему на это:

— Ага, вот видишь! Могу поклясться, что Чарнецкий, самое большее, призывал Любомирского к совместным военным действиям. И знаешь, чего бы он добился? Любомирский пошел бы отдельно, потому что ежели в письме Чарнецкий заклинал его поступиться честолюбием из любви к отчизне (а я уверен, что именно так и есть), то пан маршал сразу бы надулся и сказал: «Уж не хочет ли он стать моим праесептор¹ом¹ и учить меня, как следует служить отчизне?» Знаю я их!.. К счастью, старый Заглоба взял дело в свои руки, поехал сам и не успел рта раскрыть, как Любомирский согласился не только воевать вместе, но и пойти под начало к Чарнецкому. Чарнецкий там изводится от тревоги, — уж я его порадою... Ну что, Ян, умеет Заглоба обходиться с вельможными панами?

¹ Наставником (лат.).

— Говорю тебе, я чуть не онемел от удивления.

— Знаю я их! Такому только покажи корону да краешек горностаевой мантии, и можешь гладить его хоть против шерсти, как борзого щенка, еще согнется и сам спину тебе подставит. Облизываться будет, что твой кот на сало. Даже у тех, кто попорядочней, и то от жадности глаза на лоб вылезут, а уж попадись негодяй вроде князя воеводы виленского, тот и отчизну предаст, не задумается. Эх, людишки, людишки, до чего же суетное племя! Господи Иисусе, кабы дал ты мне столько тысяч, сколько сотворил охотников на эту корону, я и сам бы стал на нее претендовать... Что они, воображают, будто я хуже? Да чтоб им лопнуть от собственной спеси... Ничуть Заглоба не хуже Любомирского, только что богатства у него нету... Вот так-то, друг мой Ян... Ты думаешь, я ему и в самом деле руку поцеловал? Я свой собственный большой палец поцеловал, а его только носом клюнул.. Его небось никто за всю жизнь так ловко не оставлял в дураках. Он у меня как масло размяк, Чарнецкий теперь голько бери да мажь... Пошли господа нашему королю долгую жизнь, но в случае выборов я скорей за себя подам голос, чем за Любомирского... Рох Ковальский подал бы за меня другой, а пан Михал перебил бы всех противников. Эх, брат, я бы сразу тебя сделал великим коронным гетманом, пана Михала — на место Сапеги, гетманом литовским... а Жендзяна — подскарбием... Вот уж он бы поприжал жидов налогами! Ладно, это все вздор, главное, Любомирского я поймал на крючок, а удочку вложу Чарнецкому в руки. Мы пива наварим, а у шведов голова с похмелья заболит; кому спасибо сказать надо? То-то! О другом бы в хрониках писали, а мне не везет... Хорошо еще, коли Чарнецкий не фыркнет на старика, почему письма не отдал... Вот она, благодарность человеческая... Ну, да что там, мне не впервой... Иные пригрелись на тепленьких местечках, сидят, жиром, словно барсуки, обрастают, а ты, старый, трясись весь свой век на кляче... — И Заглоба махнул рукой. — Черт с ней, с людской благодарностью! Все одно помирать, так уж хоть послужу отчизне. Мне лучшая награда — крепкая дружба. Стоит мне сесть на коня — и с такими товарищами, как вы с Михалом, хоть на край света... Такова уж наша польская натура. Раз сел на коня — баста. Немец, француз, англичанин либо

черномазый испанец, те чуть что — и за нож, а поляк, терпеливый от природы, многое снесет, долго такому вот шведу позволит измываться над собою, но когда уж не станет мочи, он так двинет по морде, что проклятый шведина три раза ногами накроется... Не перевелась еще удаль молодецкая в Речи Посполитой и, покуда не переведется, до тех пор и Речь Посполитая не погибнет. Намотай себе это на ус, Ян...

И долго еще разглагольствовал пан Заглоба, так как был весьма собой доволен, а в этих случаях он становился еще более разговорчив, чем обычно, и так и сыпал мудрыми сентенциями.

ГЛАВА VI

Чарнецкий и в самом деле даже надеяться не смел, чтобы коронный маршал пошел под его команду. Он желал лишь действовать заодно, но опасался, что и этого навряд ли добьется по причине непомерного тщеславия Любомирского. Надменный магнат уже не раз говорил своим офицерам, что предпочитает бить шведов собственными силами и, без сомнения, побьет их, а одержи он победу вместе с Чарнецким, вся слава Чарнецкому и достанется.

Опасения Любомирского имели под собой почву. Чарнецкий понимал это и был в сильном беспокойстве. Отправив из Пшеворска письмо, он теперь в десятый раз перечитывал копию, желая удостовериться, нет ли там чего-нибудь такого, что могло бы задеть обидчивого вельможу.

И сразу подосадовал на себя за некоторые выражения, а потом вообще стал жалеть, что написал это письмо. Мрачный, сидел он у себя на квартире и поминутно подходил к окну поглядеть, не возвращаются ли послы. Офицеры, видя в окне его озабоченное лицо, догадывались, что с ним происходит.

— Быть грозе,— сказал Поляновский Володыёвскому,— у каштеляна лицо пятнами пошло, а это дурной знак.

Дело в том, что лицо Чарнецкого было все изрыто оспой и в минуты большого волнения или тревоги покрывалось беловатыми и темными крапинами. Черты его

были и без того резкие, брови грозно нахмурены на высоком лбу, нос крючком и пронзительный взор, когда же вдобавок лицо это покрывалось пятнами, Чарнецкий становился поистине страшен. В свое время казаки прозвали его рябой собакой, однако справедливее было бы сравнить его с рябым орлом; когда он в своей бурке с развевающимися, словно огромные крылья, полами вел солдат в атаку, сходство это бросалось в глаза и своим и врагам.

Он порождал страх как в тех, так и в других. Во времена казацких войн главари даже самых крупных ватаг геряли голову при встрече с Чарнецким. Сам Хмельницкий боялся его, а особенно советов, которые тот давал королю и которые действительно способствовали ужасному разгрому казаков под Берестечком. Но особенно возросла слава Чарнецкого позже, когда он, войдя в соглашение с татарами, бушевал, подобно пожару в степях, истреблял без жалости все очаги мятежа, штурмовал города, крепости, вихрем носясь из конца в конец по всей Украине.

И с тем же яростным упорством изводил он теперь шведов. «Чарнецкий не перебьет, а выкрадет у меня войско»,— говорил Карл Густав. Но Чарнецкому как раз надоело выкрадывать,— он полагал, что настало время бить. Однако ему не хватало пушек и пехоты, без которых невозможна была настоящая война, потому-то он и стремился так объединиться с Любомирским, у которого, правда, пушек тоже было немного, но зато была пехота, в которой служили горцы. Не слишком привычные к строю, они, однако, не раз уже побывали в бою, и, за неимением лучшего, их можно было выставить против великолепной пехоты Карла Густава.

Чарнецкий горел словно в лихорадке. Наконец, не в силах усидеть в комнате, он вышел на крыльцо и, заметив Володыёвского с Поляновским, спросил:

— Что, не видать послов?

— Знать, пришлось по сердцу хозяевам,— ответил Володыёвский.

— Они-то по сердцу, да я не по сердцу. Иначе маршал своих бы с ответом прислал.

— Пан каштелян,— сказал Поляновский, который был у вождя в большом фаворе,— стоит ли беспокоить-

ся! Придет к нам пан маршал — хорошо! Не придет — будем по-старому воевать. Шведская кровь и так уже льется, а ведь известно, коль горшок прохудился, из него все и вытечет.

На это Чарнецкий ответил:

— Польская кровь тоже льется. Если они сейчас ускользнут, им удастся собраться с силами, подойдут к ним подкрепления из Пруссии — случай будет упущен.

И Чарнецкий гневно ударил кулаком по поле своей бурки. Но тут послышался конский топот и бас Заглобы, распевавшего песню:

Воеет непогодушка,
Ветер злой,
Не страшно ли, девушка,
Вечером одной?

Впусти меня, Касенька,
Двери отвори,
Погреемся, Касенька,
До зари.

— Добрый знак! Веселые возвращаются! — вскричал Поляновский.

Тем временем послы, увидев каштеляна, соскочили с коней и, передав их вестовому, поспешили к крыльцу. На ходу Заглоба подкинул вверх шапку и, мастерски подражая голосу Любомирского, крикнул:

— Виват, пан Чарнецкий, наш вождь!

Каштелян поморщился и нетерпеливо спросил:

— Письмо привезли?

— Не письмо, — ответил Заглоба, — а кое-что получше. Пан маршал со всем войском добровольно идет под начало твоей милости.

Чарнецкий пронзительно посмотрел на него, затем повернулся к Скшетускому, словно желая сказать: «Говори ты, этот, видно, пьян!»

Заглоба и вправду был навеселе; но когда Скшетуский подтвердил его слова, на лице каштеляна отразилось изумление.

— Ступайте за мной, — приказал он. — Пан Поляновский, пан Володыёвский, прошу и вас.

Все вошли в комнату. Не успели сесть, как Чарнецкий спросил:

— Что он сказал на мое письмо?

— Ничего не сказал,— ответил Заглоба,— а почему — узнаете в конце моей реляции, теперь же *inspiriam*...¹

И он начал рассказывать, как все происходило, как он, Заглоба, склонил маршала к столь благоприятному решению. Чарнецкий смотрел на него с возрастающим изумлением; Поляновский хватался за голову, а пан Михал шевелил усиками.

— Не знал я тебя до сих пор, пан Заглоба, ей-богу, не знал! — воскликнул каштелян.— Просто ушам своим не верю!

— Меня давно прозвали Улиссом! — скромно ответил Заглоба.

— Где мое письмо?

— Вот, пожалуйста!

— Придется уж простить тебя, что не отдал. Вот это ловкач так ловкач! Канцлеру впору у него поучиться, как переговоры вести! Ей-богу, будь я королем, послал бы я тебя в Царьград...

— Сразу бы сотня тысяч турок явилась нам на помощь,— воскликнул пан Михал.

А Заглоба на это:

— Не сотня, а две, не сойти мне с этого места!

— Неужто маршал ничего не заметил? — допытывался Чарнецкий.

— Он-то? Глотал все, что я ему в рот клал, словно рождественский гусь галушки, только кадыком двигал да глаза заводил. Я уж думал, сейчас лопнет от радости, что твоя шведская граната. Этого человека лестью в ад заманить можно!

— Главное, шведу, шведу покрепче насолить! Даст бог, так оно и будет! — ответил обрадованный Чарнецкий.— А ты, хоть и обвел пана маршала вокруг пальца, слишком-то над ним не насмехайся — другой на его месте и того бы не сделал. От него ведь многое зависит... Нам до самого Сандомира идти через владения Любомирских, и маршал одним своим словом может поднять всю округу, может приказать мужикам портить переправы, жечь мосты, укрывать продовольствие в лесу... Спасибо тебе за услугу, век помнить буду, но спасибо и пану маршалу, — он, думается мне, не из одной сует-

¹ Приступаю (лат.).

ности так поступил.— Тут каштелян хлопнул в ладоши и крикнул оруженосцу: — Коня мне! Будем ковать железо, пока горячо.— Затем он обратился к полковникам: — А вы все следуйте за мной, чтоб свита была как можно пышнее.

— Мне тоже ехать? — спросил Заглоба.

— Ты возвел мост между мною и маршалом — ты первый и должен по нему проехать. Кстати, сдается мне, тебя там жалуют... Едем, едем, любезный друг, иначе я подумаю, что ты хочешь бросить начатое на полдороге.

— Делать нечего! Придется только пояс затянуть потуже, а то брюхо растрясет... Ослабел я что-то, вот разве если чем подкрепиться?

— Чем же, например?

— Много я слышал о вашем меде, а отведать до сих пор не привелось, охота бы попробовать, чей лучше: каштелянский или маршальский?

— Что же, выпьем, по обычаю, посошок на дорогу, а вернемся, тогда уж попируем вволю... Да у себя на квартире тоже найдешь жбан-другой...

Каштелян приказал подать кубки, и они выпили в меру, для бодрости и хорошего расположения духа, после чего сели на коней и отправились в путь-дорогу.

Маршал принял Чарнецкого с распростертыми объятиями, угощал, поил, не отпускал от себя всю ночь, а наутро оба войска соединились и двинулись дальше под командованием Чарнецкого. Около Сенявы они снова напали на шведов, да так удачно, что полностью истребили их арьергард и вызвали замешательство во всей армии. Лишь на рассвете шведам удалось отогнать их огнем из пушек. Под Лежайском Чарнецкий прижал противника еще крепче. Дороги развезло от дождей и стаявшего снега, и несколько крупных шведских отрядов увязли в болоте. Все они попали полякам в руки. Положение шведов становилось все более отчаянным. Истощенные, полуживые от голода и бессонницы, солдаты едва волочили ноги. Все больше их оставалось на дороге... Когда к ним подъезжали польские конники, многие уже не хотели ни есть, ни пить и лишь просили смерти. Иные просто ложились на кочки и умирали, другие, уже ничего не сознавая, смотрели на при-

ближающихся поляков с полным безразличием. Иноземцы, которых немало служило в рядах шведской армии, начали убегать и переходить к Чарнецкому. И только непреклонная воля Карла Густава еще поддерживала гаснущие силы его армии.

Ибо противник шел не только следом; множество безымянных партизанских отрядов, шляхетских и крестьянских, непрестанно преграждали путь шведским полкам. Отряды эти были невелики, действовали неслаженно и в настоящий бой не вступали, но докучали шведам немилосердно. Стремясь создать впечатление, будто татары уже прибыли им на подмогу, все польские войска испускали татарский боевой клич, и вокруг днем и ночью раздавалось неумолчное «алла, алла!». Не было шведам ни минуты отдыха, ни на минуту не мог солдат выпустить оружие из рук. Случалось, человек пятнадцать — двадцать партизан поднимали на ноги всю вражескую армию. Кони падали десятками, и их тут же съедали, так как доставлять провиант стало невозможно. Время от времени польские всадники находили страшно изуродованные шведские трупы и тотчас догадывались, что тут приложили руку мужики. Большая часть деревень в междуречье Сана и Вислы принадлежала Любомирскому и его родне. Все томошные крестьяне поднялись на шведа, как один человек, ибо пан маршал, жертвуя своим состоянием, объявил, что отпустит на волю каждого, кто возьмется за оружие. Едва весть об этом разнеслась по его владениям, все косы превратились в пики и мужики стали тащить в лагерь вражеские головы, пока пан маршал не запретил этот нехристианский обычай.

Тогда они стали приносить рукавицы и рейтарские шпоры. Доведенные до полного отчаяния шведы сдирали кожу с тех, кто попадал к ним в руки, и война с каждым днем делалась все ожесточеннее. Немногих поляков, еще служивших им, шведы удерживали чуть не силой. По дороге к Лежайску многие из них сбежали, а оставшиеся так буянили на каждом постое, что Карл Густав сразу по прибытии в Лежайск приказал расстрелять несколько человек. Это явилось сигналом к всеобщему бегству, поляки пустили в ход сабли и ушли. Не остался почти никто, а Чарнецкий, получив подкрепление, стал теснить шведов еще сильнее.

Любомирский помогал ему усердно и честно. Быть может, более благородные стороны его натуры, пусть ненадолго, взяли верх над спесью и самолюбием, и он, не щадя сил и живота своего, не раз самолично водил хоругви в бой, не давая врагу передышки, а так как воин он был хороший, то и подвигов свершил немало. Этими подвигами вкупе с позднейшими он наверняка оставил бы по себе славную память в народе, если бы не тот позорный мятеж, который он поднял в конце своего поприща, дабы воспрепятствовать реформам в Речи Посполитой.

Однако в то время он делал все, чтобы покрыть себя славой, и мантия славы украсила его. С ним соперничал пан Витовский, сандомирский каштелян; старый и опытный воин, он мечтал сравняться с самим Чарнецким, да не смог, ибо господь не дал ему величия.

Втроем они все сильнее изматывали врага. Под конец до того дошло, что рейтары и пехотинцы тыловых дозоров совсем ошалели от страха и впадали в панику из-за любого пустяка. Тогда Карл Густав решил всегда сам идти с арьергардом, дабы своим присутствием подбадривать павших духом.

И сразу же едва не поплатился за это жизнью. Случилось, что он в сопровождении блестящего лейбгвардейского полка, где собран был цвет скандинавской нации, остановился в деревне Рудник. Пообедав у приходского священника, король решил немного отдохнуть, так как перед тем всю ночь не смыкал глаз. Лейб-гвардейцы окружили дом, охраняя покой короля. Тем временем молоденький конюх ксендза тайком пробрался из деревни на выгон, вскочил на коня-трехлетка, который пасся там в табунке, и во весь опор поскакал к Чарнецкому.

Сам Чарнецкий в то время отстал от шведов на две мили, но передовой дозор его, один из полков князя Димитра Вишневецкого под командой поручика Шандаровского, находился всего в полумиле от Рудника. Пан Шандаровский разговаривал с Рохом Ковальским, который привез приказы от каштеляна, когда оба увидели скачущего к ним паренька.

— Вот гонит, дьявол! Да на каком жеребчике! — сказал Шандаровский. — Кто бы это был?

— Какой-то деревенский паренек,— ответил Ковальский.

Тем временем конюшонок подскакал прямо к отряду и остановился лишь тогда, когда конь, напуганный видом всадников, взвился на дыбы, зарывшись задними копытами в землю. Мальчонка соскочил наземь и, держа коня за гриву, поклонился рыцарям.

— Ну, что скажешь? — приблизившись, спросил Шандаровский.

— У нас шведы! У ксендза! Говорят, сам король среди них! — сказал паренек, сверкая глазами.

— А много их?

— Да человек двести, не больше.

Теперь засверкали глаза у Шандаровского. Но он боялся, не ловушка ли это, и, грозно посмотрев на паренька, спросил:

— Кто тебя прислал?

— Чего меня посылать! Сам взял трехлетка да поскакал, чуть вон не задохся и шапку обронил. Хорошо еще, они меня не приметили, собаки!

Загорелое лицо паренька дышало чистосердечием и неподдельной ненавистью к шведам; вцепившись рукой в гриву коня, он стоял перед офицерами с пылающими щеками, растрепанный, в распахнутой на груди рубахе и тяжело переводил дыхание.

— А остальное шведское войско где? — спросил хорунжий.

— Нынче на рассвете их тьма-тьмушая прошла, не сосчитать было, а теперь одни конники остались, а один у хозяина спит, толкуют — сам король.

Тогда Шандаровский сказал ему:

— Ну, брат, коли солгал — голова с плеч, а коли правду сказал — проси чего хочешь в награду.

Паренек низко ему поклонился.

— Правду я говорю, не сойти мне с этого места. А награды мне никакой не нужно, прикажите только, ясновельможный пан офицер, дать мне саблю.

— Эй, дайте ему там какую-нибудь сабельку поплоче! — распорядился Шандаровский, совершенно уже поверив рассказу молодого конюха.

Остальные офицеры стали расспрашивать у паренька, где дом священника, далеко ли деревня, что делают шведы, а он ответил:

— Стерегут, собачьи дети! Прямо идти нельзя, увидят,— я вас ольшаником проведу.

Тотчас был отдан приказ, и хоругвь рысью двинулась с места, потом перешла на галоп.

Парнишка трясся на своем неоседланном жеребчике впереди отряда. Он колотил коня босыми пятками и то и дело сияющими глазами поглядывал на обнаженную саблю.

Когда показалась деревня, он свернул в лозняк и повел отряд топкой дорогой к ольшанику. Здесь было настоящее болото, поэтому кони пошли медленней.

— Тс-с-с! — предупреждая произнес паренек. — Вот как ольшаник кончится, они будут направо, саженьях в ста.

Теперь отряд двигался совсем медленно, впрочем, не было бы и возможности двигаться быстрее, — дорога была так плоха, что тяжелые кавалерийские кони то и дело по колено проваливались в грязь. Наконец ольшаник начал редеть, и они выехали на опушку.

Перед ними, не далее как в трехстах шагах, раскинулся на пологом склоне холма обширный майдан, за ним дом ксендза, окруженный липами, между которыми выглядывали соломенные кровельки ульев, а на самом майдане стояло сотни две всадников в челнообразных шлемах и латах.

Великаны-гвардейцы на могучих, хотя и отощавших конях стояли в полной боевой готовности, одни с рапирами в руках, другие с упертыми в бедра мушкетами. Но все они глядели в другую сторону, на большак, полагая, что единственно оттуда и можно ожидать неприятеля. Великолепное голубое знамя с золотым львом развевалось над их головами.

Самый дом тоже окружен был стражниками, расставленными попарно. Двое часовых стояли лицом к ольшанику, но яркое солнце слепило глаза, а в ольшанике, уже покрывшемся буйной листвой, было почти темно, поэтому они и не могли заметить польских всадников.

В пылком Шандаровском кровь так и взыграла, однако он сдержал себя и стал ждать, пока отряд выровняет ряды; меж тем Рох Ковальский положил свою тяжелую руку на плечо конюшонка:

— Слышь, малец,— сказал он,— сам-то ты видел короля?

— Видел, вельможный пан! — тихо ответил паренек.

— Какой он с виду? Приметы у него какие?

— Черномордый, страсть, и на боку у него красные ленты прицеплены.

— А коня его ты узнал бы?

— Конь тоже вороной, с белой лысиной.

Тогда Рох сказал:

— Ну, парень, держись ко мне поближе — ты мне его покажешь.

— Ладно! А скоро ли ударим?

— Цыть!

Они замолкли, и пан Рох стал молиться пречистой деве, прося ниспослать ему встречу с Карлом и направить в бою его руку.

Какое-то время еще было тихо, и вдруг звонко фыркнул конь под Шандаровским. Один из стражников глянул, вскинулся в седле, словно подброшенный неведомой силой, и выпалил из пистолета.

— Алла! Алла! Бей, убивай! У-лю-лю! — загремело в ольшанике.

И, вырвавшись, точно молния, из темноты, хоругвь ударила на шведов.

Ударила с налету,— шведы не успели даже обернуться к ней лицом,— и закипела страшная сеча; сразу в ход пошли сабли и рапиры, ибо стрелять уже было некогда. В мгновение ока поляки прижали врагов к плетню, который с треском рухнул под напором лошадиных крупов, и принялись рубить с такой яростью, что рейтары в замешательстве сбились в кучу. Дважды пытались они сомкнуть строй и дважды поляки разрывали их ряды, пока не образовались две отдельные группы, которые быстро распались на еще меньшие и, наконец, рассыпались, как горох, подброшенный в воздух рукой сеятеля.

Внезапно послышались отчаянные крики:

— Король! Король! Спасайте короля!

Едва завязалась схватка, Карл Густав выскочил за порог, держа в каждой руке по пистолету, а в зубах обнаженную шпагу. Рейтар тотчас подал ему коня, который стоял наготове, король прыгнул в седло и, завернув

за ближайший угол, помчался задами между лип и ульев, стремясь выйти из кольца схватки.

Подскакав к плетню, он поднял коня на дыбы, перемахнул на ту сторону и очутился среди рейтар, отбивавшихся от поляков, которые минуту назад обошли дом справа и за огородом наткнулись на шведов.

— За мной! — крикнул Карл Густав.

Свалив ударом шпаги польского всадника, который уже занес над ним саблю, он одним прыжком вырвался из кровавой свалки; за ним, прорвав польские ряды, во весь дух поскакали рейтары, — так олени, преследуемые сворой собак, скачут за своим вожакom.

Поляки, поворотив коней, бросились вдогонку. И те и другие вылетели на большак, ведущий из Рудника в Боянов. Их заметили с майдана, где кипела главная битва, и вот тут-то и раздались крики: «Король! Король! Спасайте короля!».

Но рейтарам на майдане, которых теснил Шандаровский, приходилось так туго, что они и сами-то не надеялись спастись, поэтому король поскакал прочь всего с десятью — двенадцатью всадниками, а за ним погналось чуть не тридцать поляков во главе с Рохом Ковальским.

Паренек, который должен был указать ему короля, затерялся где-то в гуще боя, но Рох и сам узнал Карла по пучку красных лент. Тут он решил, что настал его час, пригнулся в седле, вонзил в коня шпоры и вихрем понесся вперед.

Беглецы растянулись по широкой дороге, из последних сил нахлестывая коней, но легконогие польские скакуны вскоре стали настигать тяжеловесных шведских. Первого рейтара Рох догнал очень быстро. Привстав в стременах, чтоб получше размахнуться, он одним чудовищной силы ударом отрубил ему руку вместе с лопаткой и продолжал скакать вперед, не отрывая взгляда от короля.

Вскоре второй рейтар замелькал у него перед глазами, он вышиб из седла и второго: третьему развалил надвое шлем и голову, все на скаку, не останавливаясь, видя перед собой одного лишь короля. Меж тем шведские лошади начали спотыкаться и падать; тут же поляки тучей навалились на рейтар и в мгновение ока перебили всех.

Рох в эту схватку уже не ввязывался, опасаясь упустить короля; расстояние между ним и Карлом Густавом стало уменьшаться. Теперь их разделяло каких-нибудь полсотни шагов, и лишь два рейтара скакали за королем.

Стрела, пущенная кем-то из поляков, пропела над самым ухом пана Роха и воткнулась в спину скачущего впереди рейтара. Тот покачнулся вправо, влево, потом выгнулся назад, заревел нечеловеческим голосом и свалился на землю.

Теперь между Рохом и королем оставался только один рейтар.

Но этот рейтар, желая, видно, спасти короля, вдруг круто повернул коня навстречу преследователю. Подобно пушечному ядру, налетел на него пан Рох, вышиб его из седла, а затем, испустив ужасающий вопль, словно разъяренный вепрь-одинец, ринулся вперед.

Быть может, король и схватился бы со своим преследователем и неминуемо бы погиб, но вслед за Рохом скакали другие, вокруг засвистели стрелы, любая из них могла ранить коня, и король, еще крепче вонзив шпоры в конские бока, приник лицом к гриве и летел, как ласточка, настигаемая ястребом.

А Рох своего коня уже не только шпорами колот, но и саблей плашмя охаживал. И так они скакали друг за другом. Мимо мелькали деревья, камни, ветлы, ветер свистел в ушах. У короля свалилась с головы шляпа, потом он сам бросил наземь кошелек, в надежде, что неумолимый преследователь польстится на деньги и прекратит погоню; но Ковальский даже не взглянул на кошелек и все сильнее колотил коня, так что тот под конец стал стонать от натуги.

А Рох, видно, вовсе потерял голову, потому что принялся кричать во все горло, не то грозя, не то чуть ли не умоляя:

— Стой! Стой, ради всего святого!

Тут королевский конь споткнулся на всем скаку, и, лишь натянув изо всех сил поводья, король удержал его от падения. Рох взревел, как зубр. Расстояние, отделяющее его от короля, резко сократилось.

Через мгновение аргамак опять сбился с ноги, и пока король его выравнивал, Рох выиграл еще десяток шагов. Он уже откинулся в седле, готовясь нанести удар. Вид

его был страшен... Глаза выкатились из орбит, под рыжеватыми усами блестели оскаленные зубы... Споткнись королевский конь еще раз, и судьбы всей Речи Посполитой, судьбы Швеции и всей войны были бы решены. Но королевский аргамак снова прибавил ходу, а король обернулся, — блеснули дула двух пистолетов, — и дважды выстрелил.

Одна из пуль перебила колено бахмату Роха. Лошадь взвилась на дыбы, а затем рухнула на передние ноги и ткнулась мордой в землю.

Теперь король мог бы напасть на своего преследователя и пронзить его шпагой, но невдалеке уже скакали другие польские всадники, и он снова пригнулся в седле и полетел, словно стрела из татарского лука.

Рох выкарабкался из-под коня. Минуту он бессмысленно смотрел вслед беглецу, а потом зашатался, точно пьяный, сел на дороге и заревел, как медведь.

А король все отдалялся, отдалялся... Фигура всадника уменьшалась, таяла и, наконец, исчезла за темной стеной сосен.

Тут с криком и гиканьем подскакали Роховы товарищи. Их было человек пятнадцать, те, под кем не пали кони. Один держал кошелек короля, другой — шляпу с черными страусовыми перьями, которые были приколоты алмазной пряжкой. Подъехав, они закричали Роху:

— Это все твое, друг! Твоя законная добыча!

Иные допытывались:

— Да ты знаешь ли, за кем гнался? Знаешь, кого преследовал? Самого Carolus'a!

— Черт подери! Он небось никогда в жизни ни от кого так не удирал. Слава тебе, доблестный рыцарь!

— А сколько рейтар нашелкал, прежде чем за королем-то погнался!

— Эта сабля едва не спасла всю Речь Посполитую!

— Бери кошелек!

— Бери шляпу!

— Добрый был конь, да за эти сокровища ты себе десять таких купишь!

Рох остолбенело глядел на них; наконец он вскочил на ноги и заорал:

— Я — Ковальский, а это — пани Ковальская... Убирайтесь ко всем чертям!!

— Да он помешался! — закричали солдаты.

— Коня мне давайте! Я его еще догоню! — орал Рох.

Но товарищи взяли его под руки и, хоть он вырывался, повели назад по дороге, в деревню, успокаивая и утешая.

— Ну и нагнал же ты на него страху! — восторгались они.— Победоносный воин, покоритель стольких государств, городов, войск, а вон как улепetyвал...

— Ха-ха! Будет он теперь знать, что такое польский рыцарь!

— Тошно ему будет в Речи Посполитой! Дождался и он лихой поры!

— Vivat, Рох Ковальский!

— Vivat! Vivat, храбрец над храбрецами, гордость всего войска!

И пошли в ход манерки с вином. Дали и Роху, он выпил до дна целую флягу и немного утешился.

Пока поляки преследовали короля на бояновской дороге, рейтары на майдане продолжали драться с мужеством, достойным этого прославленного полка. Хотя поляки, застигнув врага врасплох, быстро рассеяли его вначале, однако, сами же, окружив шведов тесным кольцом, заставили их сплотиться вокруг голубого знамени. Пошады не просил никто,— став конь к коню, плечо к плечу, рейтары так свирепо кололи и рубили рапирами, что победа, казалось, готова была склониться на шведскую сторону. Следовало либо вновь рассеять их, что было невозможно, так как польские всадники окружали их со всех сторон, либо перебить всех до единого. Эта мысль представлялась Шандаровскому наиболее удачной, и он непрерывно сжимал кольцо окружения, бросался на врагов, словно раненый кречет на стаю длинноклювых журавлей. Резня и свалка начались ужасающие. Сабли звенели о рапиры, рапиры ломались об эфесы сабель. Порой над дерущимися, словно дельфин над волнами, взвивался чей-нибудь конь и снова низвергался в пучину сражения. Крики прекратились,— слышно было лишь конское ржание, страшный лязг железа да хриплое, прерывистое дыханье людей. Какое-то неистовство овладело противниками. Дрались обломками сабель и рапир; сшибались, словно ястребы, хватали друг друга за волосы, за усы, впивались друг в друга зубами; те, что свалились с коней, но еще стояли на ногах, вспарывали ножами конские бока вместе с икра-

ми всадников. Окутанные тучей пыли и паром, валившим от лошадей, охваченные диким исступлением битвы, люди обращались в исполинов и наносили исполинской силы удары; их руки молотили, как палицы, их сабли сверкали, как молнии. Одним ударом, точно глиняные горшки, бойцы разбивали вдребезги стальные шлемы; проламывали черепа; отсекали руки вместе с мечами; рубились без передышки, без пощады, без милосердия. Ручьями потекла по майдану людская и лошадиная кровь.

Огромное голубое знамя еще реяло над горсткой шведов, но кольцо вокруг них сужалось с каждой минутой.

Подобно жнецам, что движутся по полю двумя встречными рядами,— рожь ложится под взмахами сверкающих серпов, а жнецы сходятся все ближе,— так сходились все тесней вокруг шведов поляки, и каждый уже видел кривые сабли товарищей, пробивающихся навстречу.

Шандаровский безумствовал. Он набрасывался на шведов, как изголодавшийся волк на мясо только что убитого коня,— и все же был один всадник, превосходивший его неистовством. То был парнишка, конюшон, который принес Шандаровскому известие о шведах, а теперь дрался вместе со всей хоругвью. Поповский жеребчик, до сих пор мирно разгуливавший по выгону, теперь, стиснутый лошадьми и не в силах выбраться из свалки, ошалел точно так же, как и его всадник; прижав уши, он, с вышедшими из орбит глазами и взъерошенной гривой, так и пер напролом, кусался, лягался, а паренек махал во все стороны своей сабелькой, словно цепом, рубил, не примериваясь, сплеча; его светлый чуб слипся от крови, плечи и бедра были исколоты рапирами, все лицо иссечено, но эти раны только подхлестывали его. Он бился самозабвенно, как человек, уже не думающий о сохранении жизни и жаждущий лишь отомстить за свою гибель.

Тем временем отряд шведов таял, как снежный ком, на который ведрами льют кипяток. Наконец подле королевского знамени осталось не более двух десятков рейтар. Поляки облепили их со всех сторон, и они умирали в мрачном молчании, стиснув зубы; ни один не поднял рук, ни один не попросил пощады.

И вдруг в общем гуле раздались голоса:

— Знамя! Взять знамя!

Заслышав это, конюшонок кольнул своего жеребца клинком и молнией ринулся вперед, и пока горстка рейтар, охраняющих знамя, отбивалась от навалившихся на них польских всадников, паренек полоснул по лицу знаменосца, и тот, раскинув руки, уронил голову на конскую гриву.

Вместе с ним упало и голубое знамя.

Древко тут же подхватил, отчаянно вскрикнув, другой рейтар, но парнишка вцепился в полотнище, дернул, оторвал, скомкал и, прижимая комок обеими руками к груди, завопил истошным голосом:

— Мое, не отдам! Мое, не отдам!

Последние уцелевшие рейтары яростно набросились на него, один еще успел, проткнув знамя, поранить мальчонке шпагой плечо, но тут же пал под ударами польских сабель вместе со своими товарищами.

И сразу к парнишке протянулись десятка два окровавленных рук и столько же голосов закричали:

— Знамя, давай сюда знамя!

Шандаровский поспешил на выручку.

— Оставьте парня! Он на моих глазах захватил знамя, пусть же сам и отдаст его пану каштеляну.

— Едет каштелян, едет! — ответило ему множество голосов.

В самом деле, вдали запели трубы, и на дороге со стороны выгона показалась целая хоругвь, мчавшаяся галопом прямо к дому ксендза. Это были лауданцы; впереди ехал сам Чарнецкий. Подскакав ближе и видя, что все уже кончено, они сдержали коней; бойцы Шандаровского толпой повалили им навстречу.

К каштеляну подскакал Шандаровский доложить о победе, но от страшной усталости его била лихорадка, перехватывало дух, и голос то и дело прерывался.

— Сам король был тут... не знаю... ушел ли...

— Ушел! Ушел! — закричали свидетели погони.

— Взяли знамя!.. Убитых не счесть!

Чарнецкий, не сказав ни слова в ответ, направил коня к полю боя, являвшему собой ужасное и душераздирающее зрелище. Более двухсот польских и шведских трупов валялось вперемежку, один подле другого, а порой и один на другом... тут один мертвец схватил другого

за волосы, там два трупа лежали, вцепившись друг в друга зубами и ногтями... Иные сплелись, словно в братском объятии, или уронили голову на грудь врагу. Многие лица были до того истоптаны, что в них не оставалось ничего человеческого. А кого пощадили копыта, те лежали с открытыми глазами, в которых застыли ужас, бешенство, ярость борьбы... Под копытами каштелянского коня чавкала земля, размокшая от крови, и ноги животного мигом окрасились ею выше бабок; запах крови и конского пота ел ноздри и спирал дыхание в груди.

Каштелян смотрел на эти мертвые тела, как хозяин смотрит на снопы пшеницы, наполняющие его овин. Лицо его светилось довольством. Молча объехал он усадьбу ксендза, взглянул на трупы, лежавшие за садом, и неторопливо возвратился к месту главной битвы.

— Славная работа, други,— промолвил он,— я вами доволен!

А они окровавленными руками подкинули вверх шапки.

— Vivat, Чарнецкий!

— Даст бог, скоро вновь сразимся!

Каштелян им в ответ:

— Поидете в арьергард, на отдых. Пан Шандаровский, а кто захватил знамя?

— Конюшонка сюда! — закричал Шандаровский.— Где он?

Солдаты бросились искать и нашли паренька рядом с его израненным конем, который испускал последнее дыхание. Паренек сидел, привалясь к стене конюшни, и, казалось, тоже готов был отдать богу душу, однако знамя он по-прежнему обеими руками прижимал к груди.

Его подхватили под руки и подвели к каштеляну. Босой, растрепанный, с голой грудью, в изорванных в клочья рубахе и сермяге, с головы до пят забрызганный своей и вражеской кровью, он едва стоял на ногах, но глаза его все еще горели огнем. Чарнецкий изумился.

— Как? — вскричал он.— Это он добыл королевское знамя?

— Собственными руками и собственной кровью,— ответил Шандаровский.— И он же дал нам знать о шве-

дах, а потом кинулся в самое пекло и такое выделывал, что меня самого и всех прочих *superavit* ¹.

— Это правда! Чистейшая правда! — закричали вокруг.

— Как тебя зовут? — спросил паренька Чарнецкий.

— Михалко.

— А чей ты?

— Ксендза.

— Был ты ксендза, а теперь будешь свой собственный, — сказал ему каштелян.

Но последних слов Михалко уже не слышал; ослабев от ран и потери крови, он зашатался и упал головой на стремя каштеляна.

— Взять его и оказать всяческую заботу! Мое слово порукой, что первый же сейм признает его равным вам по положению, как уже сегодня он равен вам душой!

— Он достоин того, достоин! — закричала шляхта.

И Михалко положили на носилки и понесли в дом.

А Чарнецкий слушал дальнейшие донесения, теперь уж не от Шандаровского, а от свидетелей погони Роха за Карлом. Рассказ их чрезвычайно обрадовал каштеляна, он даже за голову хватался и хлопал себя по коленке, ибо понимал, что Карл наверняка падет духом после стольких злоключений.

Заглоба радовался не меньше и, подбоченившись, гордо говорил рыцарям:

— Нет, каков разбойник, а? Настигни он Карла, ни один черт не спас бы шведского короля! Моя кровь, ей-богу, моя кровь!

Заглоба к тому времени и сам свято уверовал, что Рох Ковальский его племянник.

Чарнецкий приказал разыскать молодого рыцаря, но найти его не смогли: со стыда и огорчения Рох залез в овин, зарылся в солому и уснул так крепко, что на следующий день ему пришлось догонять свою хоругвь. Но еще и теперь он был полон уныния и не смел показаться дяде на глаза. Тот сам отыскал его и принялся утешать:

¹ Превзошел (лат.).

— Не горюй, Рох! — говорил ему Заглоба. — Ты и так прославился необычайно, я сам слышал, как тебя пан каштелян расхваливал: «На вид, говорит, дурак дураком, до трех не сочтет, а смотри какой доблестный рыцарь оказался, украшение, говорит, всего нашего войска!»

— Это меня господь наказал, — молвил Рох, — за то, что я накануне напился и вечернюю молитву не прочел!

— А ты лучше не пробуй постигнуть волю божью, еще согрешишь ненароком. Силенка у тебя есть, вот и пользуйся, а умничать брось — сраму не оберешься.

— Да ведь я так близко был, что мне от его коня потом в нос ударило! Я б его до седла рассек! Вы уж, дядя, думаете, я вовсе без соображения.

На это Заглоба ответил:

— У всякой скотины свой разум есть. Отличный ты парень, Рох, и не раз еще меня порадуешь. Пошли тебе господь сыновей со столь же разумными кулаками!

— Этого мне не надобно! — возразил Рох. — Я — Ковальский, а вот моя пани Ковальская...

ГЛАВА VII

После рудницких событий король, не мешкая, двинулся дальше, в междуречье Сана и Вислы, причем сам по-прежнему шел с арьберггардом, ибо обладал не только полководческим гением, но и несравненной личной отвагой. Чарнецкий, Витовский и Любомирский шли за ним по пятам, загоняя его, как зверя, в ловушку. Многочисленные вольные ватаги и отряды не давали шведам покою ни днем, ни ночью, добывать провиант становилось все труднее, и измученное войско все более падало духом, ожидая неминуемой гибели.

Наконец шведы дошли до самого места слияния двух рек и тут вздохнули с облегчением. С одной стороны их защищала Висла, с другой — широко разлившийся по весне Сан. Третью сторону король укрепил высокими валами, на которые вкатили пушки.

Позиция эта была неприступна для неприятеля; одна беда: шведам грозила здесь голодная смерть. Но они и этого теперь не так опасались, надеясь, что из Крако-

ва и других приречных крепостей коменданты пришлют им провиант по воде. Тут же под боком был Сандомир, где полковник Шинклер накопил значительные запасы продовольствия. Он не замедлил отослать их королю, и вот и шведы ели, пили, спали, а пробудившись, пели лютеранские псалмы, благодаря господу за спасение.

Но Чарнецкий готовил им новый удар.

Покуда в Сандомире сидят шведы, они всегда могут прийти на помощь королевскому войску, рассудил Чарнецкий и задумал захватить город вместе с замком, а шведов перебить.

— Славное мы зададим им представление, — говорил он на военном совете, — пусть полюбуются с того берега, как мы ворвемся в город, — через Вислу им все равно не перебраться; а когда мы захватим Сандомир, то и Вирцу из Кракова не дадим присылать им провиант.

Любомирский, Витовский и другие старые полководцы отговаривали Чарнецкого от этого намерения.

— Конечно, — говорили они, — хорошо было бы овладеть столь крупной крепостью, и немало бы мы могли попортить крови шведам, да ведь как ее возьмешь? Пехоты у нас нет, тяжелых пушек нет, не коннице же лезть на стены?

А Чарнецкий в ответ:

— А наши мужики, чем они плохи в пешем бою? Дайте мне тысячу-другую таких, как тот Михалко, я не то что Сандомир — Варшаву возьму!

И, не слушая больше ничьих советов, он переправился через Вислу. Едва слух об этом прошел по округе, к нему сотнями повалили мужики, кто с косой, кто с пищалью, кто с мушкетом, — и все разом двинулись на Сандомир.

Неожиданно для шведов ворвались они в город, и на улицах закипела ужасная сеча. Шведы упорно отстреливались из каждого окна, с каждой крыши, но выдержать натиска не могли. Словно клопов, передавили их по домам и целиком очистили город. Шинклер с уцелевшими шведами схоронился в замке, но поляки стремительно ринулись за ними и пошли приступом на ворота и стены. Шинклер понял, что и в замке ему не удержаться. Тогда он собрал всех, кого только мог, по-

грузил на челны сколько мог амуниции и провианта и переправился к королю, который с другого берега взирал на побоище, не в силах помочь своим людям.

Замок был захвачен поляками.

Но хитрый швед, покидая его, подложил под стены и в погреба пороховые бочки с запаленными фитилями.

И, представ пред королем, Шинклер тотчас сообщил ему об этом, дабы хоть чем-нибудь порадовать монаршее сердце.

— Замок взлетит в воздух со всеми, кто там есть,— сказал он.— Может, и сам Чарнецкий сгинет.

— Когда так, то и я хочу посмотреть, как набожные поляки полетят на небо,— ответил король.

И остался со своими генералами на берегу.

Тем временем, несмотря на запрет Чарнецкого, который предчувствовал подвох, волонтеры и мужики разбежались по всему замку, отыскивая схоронившихся шведов и грабя, что под руку попадет. Трубы играли тревогу, призывая всех спрятаться в городе, но они то ли не слышали, то ли не хотели слышать.

Внезапно земля заколебалась у них под ногами, воздух содрогнулся от чудовищного грохота и гула, и гигантский огненный столб взвился к небу, увлекая за собой землю, стены, крыши, весь замок, а вместе с ним и тех, кто не успел спастись,— всего более пятисот человек.

Карл Густав чуть не заплясал от радости, а придворные льстецы тотчас начали повторять королевское слово:

— На небо идут поляки! На небо! На небо!

Но их радость была преждевременна, ибо Сандомир все-таки остался у поляков и не мог теперь снабжать провиантом королевское войско, запертое в междуречье Сана и Вислы.

Чарнецкий разбил свой лагерь напротив шведского, на другом берегу Вислы, и караулил переправы.

А за Саном, в тылу у шведов, расположился со своими литвинами подоспевший к тому времени Сапега, великий гетман литовский и воевода виленский.

Таким образом, шведы, окруженные со всех сторон, были словно зажаты в клещи.

— Попал зверь в капкан,— толковали меж собой солдаты в обоих польских лагерях.

Ибо даже и новичку в ратном деле ясно было, что захватчики обречены на верную гибель, разве только вскоре придёт им подкрепление и избавит их от осады.

Понимали это и шведы; по утрам их офицеры и солдаты выходили на берег Вислы и с отчаянием в душе и в глазах смотрели на грозную конницу Чарнецкого, темневшую на другом берегу.

Тогда они шли на берег Сана, — а там днем и ночью караулили Сапегины солдаты, готовые встретить их саблей и мушкетом.

О переправе, будь то через Сан, будь то через Вислу, пока оба войска стояли поблизости, шведам нечего было и думать. Единственное, что они могли бы еще сделать, это возвратиться назад, в Ярослав, той же самой дорогой, по которой пришли, но шведы знали, что по этой дороге ни один из них не дошел бы до Швеции.

И вот потянулись для них тягостные дни, сменяясь еще более тягостными ночами, полными тревог и непрестанного шума... Запасы продовольствия снова подходили к концу.

Тем временем Чарнецкий, оставив командование войском Любомирскому и взяв с собой лауданскую хоругвь, переправился через Вислу выше устья Сана, чтобы повидаться с Сапегой и договориться с ним о дальнейших военных действиях.

На сей раз в посредничестве Заглобы не было нужды; и Чарнецкий и Сапега любили отчизну больше собственной жизни и оба готовы были ради нее пожертвовать личными интересами и честолюбием.

Гетман литовский не завидовал Чарнецкому, Чарнецкий не завидовал гетману, каждый от души почитал другого, и встретились они так, что иных старых солдат слеза прошибла от этой картины.

— Веселится наша Речь Посполитая, радуется любезная отчизна, когда сыновья ее, подобные этим, обнимают друг друга, — говорил Заглоба Володыёвскому и Скшетускому. — Наш Чарнецкий отчаянный рубака и сердцем чист, но и Сапежка душевный человек. Дай нам боже таких вождей побольше. То-то бы шведов мороз по коже подрал, когда б они увидели, как наши вожди друг друга любят. Ведь они нас чем взяли? Нашими же панскими раздорами да склоками. Силой-то им разве

нас одолеть? А вот это другое дело! Душа радуется, глядя на такую встречу. И помяните мое слово — без вина не обойдется. Сапезка попировать страх как любит и с таким сотрапезником, как Чарнецкий, уж конечно, потешит душу.

— Слава богу! Близок конец наших бед! Слава богу! — повторял Ян Скшетуский.

— Смотри, не богохульствуй! — сказал ему на это Заглоба. — Ни одна беда не длится вечно, всякой приходит конец, в противном случае миром правил бы дьявол, а не господь наш Иисус, коего милосердие неисчерпаемо.

Тут разговор их прервался, так как в отдалении они увидели могучую фигуру Бабинича, возвышавшуюся над прочими. Володыёвский и Заглоба стали махать ему руками, но он так загляделся на Чарнецкого, что не сразу заметил их.

— Смотрите, — сказал Заглоба, — до чего отощал парень!

— Должно быть, неудача у него с князем Богуславом, — ответил Володыёвский, — а то бы он повеселей был.

— То-то, что неудача. Ведь Богуслав сейчас вместе со Стенбоком осаждают Мальборк.

— Бог даст, ничего они не добьются!

— Да хоть бы и взяли Мальборк, — сказал Заглоба, — мы тем временем *Carolus Gustavus captivabimus*¹ и посмотрим тогда, обменяют они крепость на своего короля или нет!

— Смотрите! Бабинич к нам идет, — прервал их Скшетуский.

В самом деле, завидев друзей, Бабинич стал проталкиваться к ним сквозь толпу, размахивая шапкой и еще издали улыбаясь. Они приветствовали друг друга по-старому, как добрые знакомые и приятели.

— Ну, что слышно, братец? Что это за дело вышло у тебя с князем?

— Скверное дело вышло! Но сейчас не время рассказывать. Пора садиться за стол. Вы ведь останетесь у нас ночевать, приходите же после пира ко мне, в татарский стан. Шатер у меня просторный, вот и посидим, потолкуем за чаркою до утра.

¹ Возьмем в плен Карла Густава (лат.).

— Вот это ты дело говоришь, с умной речью и спорить грех! — согласился Заглоба. — Скажи нам только, отчего ты так исхудал?

— Да все он, Богуслав проклятый, опрокинул меня наземь вместе с конем и разбил, как глиняный горшок. С той поры я всё кровью харкаю, в себя прийти не могу. Ну, ничего, еще и я с божьей помощью всю кровь из него выпущу. А сейчас идемте, вон пан Сапега с паном Чарнецким уже заспорили, каждый другого вперед пропускает. Значит, столы готовы. Милости просим от всей души, ведь и вы шведской юшки пролили немало.

— О моих подвигах пусть другие расскажут, а мне не след! — сказал Заглоба.

Тут вся толпа повалила на майдан, где меж шатров стояли пиршественные столы. Сапега принял Чарнецкого по-королевски. Стол, за который посадили каштеляна, был накрыт шведскими знаменами. Вино и мед лились рекой, и оба вождя под конец изрядно захмелели. Много было тут веселья, много шуток, здравиц, приветственных кликов. Погода стояла отличная, солнце пригревало на удивленье, и лишь вечерний холод разогнал пирующих.

Кмициц со своими гостями пошел к татарам. Они уселись в его шатре на сундуках, доверху набитых различной добычей, и стали обсуждать поход Кмицица.

— Богуслав теперь под Мальборком, — говорил пан Анджей, — а иные говорят — у курфюрста, собирается с ним вместе идти на помощь королю.

— И отлично! Значит, встретимся! Вы, молодые, не можете с ним управиться, посмотрим, как управится старик! Много было у него противников, но такой, как Заглоба, ему еще не встречался. А теперь мы встретимся, разве только князь Януш в своем завещании велел ему Заглобу обходить подальше. Это тоже возможно.

— Курфюрст — хитрая лиса, — сказал Ян Скшетуский, — увидит, что дела Карла плохи, и сразу отречется от всех своих клятв и обещаний.

— А я говорю — нет, — возразил Заглоба. — Пруссак нас пуще всех ненавидит. Если слугу, что прежде гнул перед тобой спину и сдувал пылинки с твоего платья, переменчивая судьба поставит над тобой господином, он будет к тебе тем безжалостней, чем снисходительней был к нему ты.

— Это почему же? — спросил Володыёвский.

— Да потому, что он не забыл свою прежнюю рабскую службу и будет тебе за это мстить, даже если ты оказывал ему одни лишь благодеяния.

— Оставим это,— заметил Володыёвский.— Иной раз и собака хозяйскую руку кусает. Лучше пусть Бабинич расскажет нам свои приключения.

— Мы слушаем,— сказал Скшетуский.

Кмициц собрался с мыслями, глубоко вздохнул и стал рассказывать о том, как Санега преследовал Богуслава, как он нанес князю поражение под Яновом и, наконец, как Богуслав, разбив в пух и прах татар, свалил его, Кмицица, наземь вместе с конем, а сам ушел цел и невредим.

— А ведь ты говорил,— прервал Кмицица Володыёвский,— что будешь его преследовать со своими татарами до самой Балтики...

— А не ты ли рассказывал мне, как в свое время, когда у сидящего тут меж нами Скшетуского Богун похитил возлюбленную, он не стал ни мстить Богуну, ни разыскивать, ибо отчизна нуждалась в его помощи? С кем поведешься, от того и наберешься, вот и я, раз я с вами повелся, хочу следовать вашему примеру.

— Да вознаградит тебя мать божья, как она вознаградила Скшетуского,— ответил Заглоба.— И все же я предпочел бы, чтоб твоя невеста была сейчас в пуще, а не в руках у Богуслава.

— Ничего! — вскричал Володыёвский. — Ты ее отвоюешь!

— Не только девушку мне предстоит завоевать, но и любовь ее и уважение ко мне.

— Одно придет вслед за другим,— молвил пан Михал,— даже если ты ее силой умыкнешь, как тогда... помнишь?

— Такого больше не будет!

Пан Анджей замолчал и стал тяжело вздыхать, а потом прибавил:

— Не только ее я себе не вернул, но еще и другую девицу Богуслав у меня отнял.

— Чистый турок, ей-богу! — вскричал Заглоба.

Пан Михал полюбопытствовал:

— Какую другую?

— Э, долго рассказывать,— ответил Кмициц.— Была одна девушка в Замостье, собою чудо как хороша, и староста калушский воспылал к ней нечистой страстью. Боясь сестры своей, княгини Вишневецкой, он не смел при ней преследовать девушку своими домогательствами. Вот пан староста и надумал отправить ее со мною, будто бы к Сапеге на Литву за наследством, а на самом деле хотел перехватить ее в полумиле от Замостья и поселить в каком-нибудь укромном местечке, где никто не помешает его замыслам. Все это стало мне известно. «Хочешь меня сводником сделать? — подумал я.— Ну, погоди!» Людей его я поколотил изрядно, а девицу в целости и сохранности доставил к Сапеге. Эх, друзья, скажу вам, и девушка! Мила, словно птаха лесная, и притом добродетельна... Ну, да я теперь уже иной человек, а мои товарищи... Упокой, господи, их души! Они давно уже сгнили в сырой земле!

— Кто же она такая? — спросил Заглоба.

— Девица знатного рода. Фрейлина княгини Вишневецкой. Когда-то она была помолвлена с литвином Подбипентой, вы все его знали...

— Ануся Борзобогатая!!! — вскричал Володыёвский, вскакивая с места.

Заглоба тоже соскочил с груди войлочных попон.

— Пан Михал, успокойся!

Но Володыёвский кошкой метнулся к Кмицицу.

— И ты, предатель, позволил Богуславу ее похитить?

— Не обижай меня! — ответил Кмициц.— Я благополучно отвез ее к гетману и пекся о ней, словно о сестре, а Богуслав похитил ее не у меня, а у другого офицера, с которым Сапега отослал ее к своим родным. Звали его Гловбич, что ли, точно сейчас не упомяну.

— Где он?

— Нет его, убит. Так мне сказали Сапегины офицеры. Сам я с моими татарами преследовал Богуслава отдельно от Сапеги и поэтому толком ничего не знаю. Но твоё волнение говорит мне, что нас с тобой постигла одна участь, один и тот же человек причинил обиду и тебе и мне. Так давай же соединимся, дабы мстить ему вместе. Пусть он знатный вельможа и могучий воин, а все же, думается, тесно ему станет в Речи Посполитой, коли будет у него два таких врага, как мы.



Wołodujowski

— Вот тебе моя рука! — ответил Володыёвский.— Теперь мы друзья до гроба! Кто из нас первый его отыщет, тот ему заплатит за обоих. Эх, кабы мне посчастливилось первому— уж я бы из него крови повыпустил, как бог свят!

Тут пан Михал начал ужасно шевелить усиками и хвататься за саблю, так что Заглобу даже страх пробрал, — он-то знал, что с паном Михалом шутки плохи.

— Не хотел бы я теперь быть на месте князя Богуслава,— сказал он,— даже если б мне в придачу к титулу целую Лифляндию пожаловали. Был у него один противник, Кмициц, настоящий барс — а теперь еще и Михал! Но слушайте! Это еще не все! Я тоже с вами foedus¹ заключаю. Голова моя — сабли ваши! Найдется ли среди сильных мира сего такой, что не задрожит перед подобной силой? Рано или поздно, но господь от него отвратится, ибо невозможно, чтоб такого изменника и еретика не постигла божья кара... Вон Кмициц ему уже порядочно крови попортил.

— Не стану спорить, случилось и мне насолить Богуславу,— ответил пан Анджей. И, велев наполнить кубки, он рассказал, как освободил из плена Сороку. Умолчал он лишь о том, как вначале упал Радзивиллу в ноги,— от одного этого воспоминания кровь бросилась ему в голову.

Пан Михал от души веселился, слушая его, а под конец сказал:

— Помогай тебе бог, Ендрек! С таким смельчаком хоть к черту в пекло! Только вот беда: не сможем мы с тобой всегда вместе драться, служба есть служба. Меня могут послать в одну сторону Речи Посполитой, тебя в другую. И неизвестно, кто первый его встретит.

Помолчав немного, Кмициц ответил:

— По справедливости, он должен был бы достаться мне. Только бы мне снова не осрамиться, ибо... стыдно сказать, но в рукопашном бою этот негодяй искуснее меня.

— Так я обучу тебя всем своим приемам! — воскликнул Володыёвский.

— Или я! — вызвался Заглоба.

¹ Союз (лат.).

— Нет, уж ты меня, пан Заглоба, прости, но я лучше поучусь у Михала! — ответил Кмициц.

— Какой он там ни на есть славный да непобедимый, а мы вот с пани Ковальской все равно его не боимся, дайте только выспаться! — вмешался Рох.

— Тихо, Рох, — сказал ему Заглоба, — смотри, как бы господь его рукою не покарал тебя за бахвальство.

— Э, ничего мне не будет!

Бедный пан Рох оказался, к несчастью, плохим пророком, но в ту минуту у него изрядно шумело в голове, и он готов был вызвать на поединок весь мир. Остальные тоже пили крепко — себе на радость, Богуславу и шведам на погибель.

— Слышал я, — говорил Кмициц, — что, покончив со шведами здесь и захватив короля, мы немедля двинемся к Варшаве. А там, должно быть, и войне конец. Ну, а тогда уж возьмемся за курфюрста.

— Эге! — промолвил Заглоба.

— Вот что говорил однажды сам Сапега, а ведь ему, большому человеку, виднее. Он сказал так: «Будет у нас перемирие со шведами, с москвитами оно уже заключено, но с курфюрстом — никаких переговоров! Чарнецкий, говорит, вместе с Любомирским пойдут в княжество Бранденбургское, а я с паном подскарбием литовским — в Пруссию, и уж если, говорит, мы не присоединим ее на вечные времена к Речи Посполитой, то разве потому только, что не найдется в нашей канцелярии ни одной такой головы, как пан Заглоба, который от собственно своего имени писал курфюрсту грозные письма».

— Неужто Сапезка так прямо и сказал? — спросил Заглоба, покраснев от удовольствия.

— Все это слышали. А я так особенно радовался, потому что это и по Богуславу ударит, и уж тогда ему не миновать наших рук, если только мы не настигнем его раньше.

— Лишь бы нам со шведами поскорее разделаться, — сказал Заглоба. — Черт с ними! Пусть отдадут Лифляндию да денег побольше заплатят, а сами, так и быть, пусть убираются подобру-поздорову.

— Думал мужик — медведя поймал, а тот его самого держит, — смеясь, ответил Ян Скшетуский. — Карл покамест еще в Польше; Краков, Варшава, Познань и все крупные города в его руках, а ты, отец, уже тре-

буешь от него выкупа. Эх, биться нам еще и биться, прежде чем мы сможем взяться за курфюрста.

— Да еще армия Стенбока, да гарнизоны, да Вирц! — добавил Станислав.

— Так чего мы тут сидим сложа руки? — спросил вдруг Рох, выпучив глаза. — Айда шведов бить!

— Рох, ты глуп! — сказал Заглоба.

— Вы, дядя, вечно одно и то же... А я, вот не сойти мне с этого места, видел челны на берегу. Можно поехать и хотя бы стражу выкрасть. Темно, хоть глаз выколи; они и очухаться не успеют, как мы уже вернемся. И удаль свою рыцарскую покажем обоим вождам. Коли вы не хотите, я один пойду!

— Ну, заговорила валаамова ослица! — сердито сказал Заглоба.

Но у Кмицица жадно раздулись ноздри.

— А недурно бы! Ей-богу, недурно! — воскликнул он.

— Может, оно и недурно для какого-нибудь челядинца, но не для людей достойных и здравомыслящих. Имейте же уважение к самим себе! Ведь вы полковники, не кто-нибудь, а вздумали по ночам в кошки-мышки играть.

— В самом деле, как-то оно не того, — поддержал Заглобу Володыёвский. — Давайте-ка лучше спать, а то поздно уже.

Все согласились с ним; преклонив колена, они прочитали вечернюю молитву, а затем улеглись на войлочные попоны и мгновенно заснули сном праведных.

Не прошло и часу, как их подняли на ноги раздававшиеся за рекой выстрелы; весь лагерь Сапеги вмиг наполнился шумом и криками.

— Иисусе, Мария! — завопил Заглоба. — Шведы наступают!

— Опомнись, сударь, что ты говоришь? — отвечал, хватаясь за саблю, Володыёвский.

— Рох, сюда! — призывал Заглоба, который в минуты опасности любил, чтоб племянник держался поближе.

Но Рох в шатре не было.

Друзья выбежали на майдан. Там было уже полно народу, и все бежали к реке. На другом берегу то и дело что-то вспыхивало и гремело все громче и громче.

— Что это там? Что случилось? — спрашивали люди часовых, расставленных вдоль берега.

Но те ничего не знали. Один из солдат припомнил, что ему словно бы послышался всплеск, но на воде лежал туман, разглядеть ничего нельзя было, и он не решился поднимать тревогу из-за такой безделицы.

Услышав это, Заглоба в отчаянии схватился за голову.

— Рох поплыл к шведам! Он же говорил, что хочет выкрасть стражу!

— Черт подери, верно! — воскликнул Кмициц.

— Застрелят мне парня, как пить дать! — убивался Заглоба.— Братцы, неужели нельзя его спасти? Господи Иисусе! Ведь чистое золото, не парень! В обоих войсках другого такого не сыщешь! И что ему только стукнуло в дурную его башку! Матерь божья, спаси его!..

— Может, приплывет, туман-то какой, авось его и не заметят!

— С места не сдвинусь, буду ждать его хоть до утра. Матерь божья! Матерь божья!

Между тем выстрелы на противоположном берегу начали стихать, огни постепенно гасли, и через час настала мертвая тишина. Заглоба метался по берегу, словно курица, высижившая утят, и рвал остатки волос на голове. Но напрасно ждал он, напрасно причитал. Над рекой посветлело, потом и солнце взошло, а Рох все не возвращался.

ГЛАВА VIII

На следующий день Заглоба, сам не свой от горя, пошел к Чарнецкому и стал просить его отправить кого-нибудь к шведам,— пусть разведают, что случилось с Рохом, жив ли он, томится ли в неволе иль заплатил головой за свою безрассудную смелость.

Чарнецкий охотно согласился на просьбу Заглобы,— он очень любил старика. Желая утешить его, он прибавил:

— Думается мне, что твой племянник жив, иначе вода бы его вынесла.

— Дай бог! — печально ответил Заглоба.— Да ведь таких, как он, вода не скоро выносит, ибо у него не только рука была тяжелая, но и башка оловянная, он своим поступком лишней раз это доказал.

— Что правда, то правда,— согласился Чарнецкий.— По совести, следовало бы, коль он жив, привязать его к конскому хвосту да проташить по майдану за самовольство. Оно ведь и в шведском лагере поднимать тревогу надлежит только по моему приказу, а он оба лагеря взбудоражил, да без всякой команды. Это что же такое! Народное ополчение или базар, где каждый делает, что ему вздумается?

— Провинился он, assentior. Я сам его накажу, пусть только господь вернет его нам!

— Так и быть, прощу его в память о рудницких подвигах. У нас много пленников для обмена, офицеры куда родовитей Ковальского. Так поезжай же к шведам и потолкуй с ними насчет обмена. Я отдам за него двоих, а потребуется, так и троих, лишь бы ты не убивался. Приходи ко мне, я дам тебе письмо к королю,— и с богом!

Обрадованный Заглоба бросился в шатер Кмицица и рассказал обо всем товарищам. Пан Анджей и Володыёвский тотчас закричали, что хотят ехать с ним, так как обоим любопытно было посмотреть на шведов, а Кмициц к тому же мог быть очень полезен, ибо изъяснялся по-немецки почти так же свободно, как и по-польски.

Приготовленья заняли немного времени. Чарнецкий, не дожидаясь Заглобы, сам прислал с оруженосцем письмо, и друзья, захватив с собой трубача и привязав к шесту белый платок, сели в лодку и отчалили.

Некоторое время все молчали, лишь весла поскрипывали в уключинах; потом Заглоба беспокойно заерзал и наконец сказал:

— Пора бы уже трубачу трубить, а то ведь не посмотрят, мерзавцы, на белый флаг, возьмут да и выстрелят!

— Да полно, что ты, пан Заглоба,— успокаивал его Володыёвский,— послов уважают даже варвары, а шведы — народ учтивый.

— А я говорю, пусть трубит! Стрельнет какой-нибудь молокосос, продырявит нам лодку, и пожалуйте в воду, а вода-то холодная! Не желаю я из-за ихней учтивости мокнуть!

— Вот уже и часовых видно! — показал Кмициц.

Трубач затрубил, возвещая прибытие послов. Лодка

понеслась быстрее; на берегу тотчас началось оживленное движение, и вскоре показался верховой офицер в желтой кожаной шляпе. Подъехав к самой воде, он прикрыл рукой глаза от солнца и стал всматриваться в даль.

Шагах в пятнадцати от берега Кмициц в знак приветствия снял шапку, офицер тоже вежливо поклонился.

— Послание от пана Чарнецкого его величеству шведскому королю! — крикнул пан Анджей, размахивая письмом.

Лодка пристала к берегу.

При виде послов береговая стража взяла на караул. Тут пан Заглоба совсем успокоился, придал своему лицу приличное случаю важное выражение и заговорил по-латыни:

— Прошлой ночью схвачен был на вашем берегу некий рыцарь, мы желали бы получить его обратно.

— Я по-латыни не понимаю, — ответил офицер.

— Невежда! — буркнул Заглоба.

Офицер обратился к пану Анджею.

— Король находится в другом конце лагеря, — сказал он. — Соблаговолите, господа, подождать здесь, а я поеду доложить, — и поворотил коня.

Посланцы стали осматриваться вокруг. Лагерь был очень велик, он занимал весь обширный треугольник между Саном и Вислой. У вершины этого треугольника лежал Пнев, по углам с одной стороны Тарнобжег, с другой — Розвадов. Разумеется, охватить взором все это пространство было невозможно, однако всюду, куда ни кинь взгляд, видны были шанцы, окопы, земляные насыпи и фашины, а на них пушки и солдаты. В самом сердце лагеря, в Гожицах, находилась королевская квартира; там же стояли основные силы шведской армии.

— Ничего мы с ними не сделаем, разве только голод их выгонит отсюда, — сказал Кмициц. — Вся местность отлично укреплена. И есть пастбище для коней.

— А вот хватит ли рыбы для стольких ртов, — возразил Заглоба. — К тому же лютеране не любят постной пищи. Давно ли вся Польша была в их руках, а теперь один этот клин. Пускай и сидят себе здесь на здоровье, а не угодно — пусть возвращаются в Ярослав.

— Однако же эти шанцы насыпаны мастерами своего дела! — заметил Володыёвский, с одобрением знатока разглядывая земляные работы. — Рубак-то у нас побольше, чем у них, да вот мало ученых офицеров. И в военном искусстве мы отстали от прочих.

— Это почему же? — спросил Заглоба.

— Почему? Может, мне, всю свою жизнь прослужившему в кавалерии, и не пристало так говорить, а только во всех иных армиях главное — это пехота и пушки, на них основана вся тактика и стратегия, все марши и контрмарши. В иноземном войске человек сколько книг перечитает, скольких римских авторов проштудирует, прежде чем получит офицерский чин. У нас не то... У нас конница по старинке валит валом да саблями машет, и если с первого захода не перебьет врага, значит, ее самое перебьют...

— Пан Михал, опомнись, что ты несешь? Да есть ли на свете другая нация, одержавшая столько славных побед?

— А это потому, что и другие раньше точно так же воевали, только не было в них нашего огня, вот они и проигрывали. А теперь они поумнели — и извольте, полюбуйтесь, что творится.

— Поживем — увидим. А пока давай мне сюда самого что ни на есть ученого инженера, шведа или немца, а я против него выставлю Роха, который книг в руках не держал, тогда посмотрим.

— Еще сможешь ли ты, пан Заглоба, его выставить.... — заметил Кмициц.

— Ох, не говори! Страх как жалко парня. Ну-ка, пан Анджей, ты ведь умеешь по-ихнему, по-собачьему, попытай-ка у этих швабов, что с ним случилось?

— Не знаешь ты, пан Заглоба, что такое солдат регулярных войск. Тут тебе без приказа никто рта не раскроет. И пробовать нечего.

— Да нет, знаю, они, собаки, бесчувственные. То ли дело наша шляхта, а особливо ополченцы; придет, бывало, посол, и пошли тары-бары; как здоровье супруги, да как детки — да горелки с ним выпьют, да беседу любезную заведут, а эти стоят столбом и зенки на нас тарашат, чтоб им лопнуть!

В самом деле, вокруг собиралось все больше пехотинцев, которые с любопытством рассматривали послов.

И было на что посмотреть. Поляки, тщательно и даже пышно одетые, стояли живописной группой. Всеобщее внимание привлекал к себе Заглоба, поражая своей внушительной осанкой, которой и сенатор бы не постыдился; самым невзрачным казался пан Михал — по причине маленького роста.

Тем временем возвратился офицер, первым встретивший их на берегу, а с ним и другой, в более высоком чине, следом солдаты вели оседланных лошадей. Второй офицер поклонился посланцам и произнес по-польски:

— Его королевское величество просит вас пожаловать к нему на квартиру. Это довольно далеко, и мы привели для вас коней.

— Вы поляк? — спросил Заглоба.

— Нет, милостивый пан. Мое имя Садовский, я чех и служу шведскому королю.

Кмициц вдруг подошел к офицеру.

— Что, ваша милость, не узнаете меня?

Садовский внимательно всмотрелся ему в лицо.

— О, как же! Под Ченстоховой! Ведь это вы взорвали нашу самую большую осадную пушку, и Миллер отдал вас Куклиновскому! Рад, сердечно рад приветствовать столь доблестного рыцаря.

— А что случилось с Куклиновским?

— Неужто не знаете?

— Знаю одно — я угостил его тем самым блюдом, которое он для меня готовил, однако, уезжая, я оставил его живым.

— Он замерз.

— Так я и знал, что замерзнет, — сказал пан Анджей, махнув рукой.

— Скажите, полковник, — вмешался в разговор Заглоба, — а нет ли гут в лагере некоего Роха Ковальского?

Садовский рассмеялся.

— Как же, есть!

— Слава тебе, господи, слава тебе, пресвятая дева Мария! Раз парень жив, уж я его вызволю! Слава богу!

— Не знаю, захочет ли король его отдать, — ответил Садовский.

— Ну? А почему же?

— Уж очень он ему приглянулся. Король сразу узнал в нем своего рудницкого преследователя. И как начал он королю отвечать, мы прямо за животики хватались. Король спрашивает: «Что это ты на меня так взъелся?». А тот отвечает: «По обету!» Король ему: «И дальше так же будешь за мной гоняться?» — «Ну да!» — говорит шляхтич. Король смеется: «Откажись от обета, и я отпущу тебя с богом». — «Никак нельзя!» — «Почему же?» — «Тогда дядя скажет, что я болван!» — «И ты веришь, что один на один можешь меня одолеть?» — «Да я и пятерых таких одолею!» Тогда король говорит: «А как же ты не боишься поднять руку на священную особу?» А тот ему: «Да вера-то ваша поганая!» Мы переводили королю каждое слово, а он все больше веселился и все повторял: «Хорош, нет, до чего хорош вояка!» А потом, желая убедиться, и впрямь ли за ним гнался такой богатырь, король приказал выбрать двенадцать дюжих молодых-гвардейцев и чтоб каждый по очереди бился с пленником. Но он прямо-таки какой-то двужильный, этот офицер! Когда я уезжал, он уже десятерых уложил, и собственными силами ни один не смог подняться. Мы приедем как раз к концу представления.

— Узнаю Роха! Моя кровь! — вскричал Заглоба.— Да мы за него и троих ваших полковников не пожалеем!

— Вы как раз застанете короля в хорошем настроении, а это теперь с ним редко бывает, — заметил Садовский.

— Легко поверить! — сказал маленький рыцарь.

Тут Садовский обернулся к Кмицицу и начал расспрашивать, как это ему удалось не только вырваться из рук Куклиновского, но еще и отомстить своему мучителю. Пан Анджей, любивший похвастаться, стал рассказывать все по порядку, Садовский слушал и от изумления за голову хватался, а под конец снова пожал Кмицицу руку и сказал:

— Верь мне, пан Кмициц, я рад от души, я хоть и служу шведам, но сердце честного солдата всегда радуется, если благородному рыцарю удастся наказать мерзавца. Надо отдать вам справедливость, господа: храбрецов, подобных польским, днем с огнем не сыскать in universo ¹.

¹ В целом свете (лат.).

— Вы весьма учтивы, пан офицер! — заметил Заглоба.

— И воин ты славный, нам это известно! — добавил Володыёвский.

— А все потому, что и учтивости, и воинскому искусству я учился у вас! — ответил Садовский, прикладывая руку к шляпе.

Так, беседа и соревнуясь во взаимных любезностях, они доехали до Гожиц, где находилась королевская квартира. Деревня была переполнена солдатами всех родов войск. Наши рыцари с любопытством приглядывались к воинам, кучками расположившимся среди плетней. Одни, желая хоть чем-то заглушить голод, спали прямо на завалинках, благо день был ясный и теплый; другие, усевшись вокруг барабанов и прихлебывая пиво, играли в кости; некоторые развешивали на плетнях одежду; иные сидели перед избами и, распевая скандинавские песни, драили толченым кирпичом шлемы и латы, доводя их до зеркального блеска. Там и тут чистили или проваживали коней, — словом, всюду под ясным небом ключом кипела лагерная жизнь. Правда, голод и жестокие лишения наложили отпечаток на многие лица, однако золотистый свет солнца скрадывал страшные следы; впрочем, теперь, когда наступил наконец долгожданный отдых, к этим несравненным воинам сразу вернулась бодрость и военная выправка. Володыёвский смотрел на них с восхищением, особенно на пехотные полки, славившиеся на весь мир своей стойкостью и мужеством. Садовский тем временем рассказывал, кого они видят на своем пути.

— Это смаландский полк королевской гвардии. А это — отборная далекарлийская пехота.

— Господи! А это что за монстры! — вскричал вдруг Заглоба, показывая на маленьких человечков с оливковой кожей и черными, свисающими на уши волосами.

— Это лапландцы, самый дальний гиперборейский народец.

— Да годятся ли они для боя? Я мог бы, кажется, взять по тройке в каждую руку и лбами их до тех пор стукать, пока руки не устанут.

— Мог бы запросто, ваша милость! В бою от них никакого толку. Шведы возят их за собой для услужения, да и просто как диковинку. Зато колдуны они

exquisitissimi¹, каждому прислуживает по меньшей мере один дьявол, а иным и по пять сразу.

— Откуда же у них такая дружба со злыми духами? — спросил Кмициц, осеняя себя крестным знамением.

— В тех краях, где они живут, ночь долгая, длится когда по полгода, когда и больше, ну а ночью, как известно, с дьяволом легче всего договориться.

— А душа у них есть?

— Не знаю, но думаю, что они более подобны anima-libus².

Кмициц подъехал ближе, схватил одного лапландца за шиворот, поднял его кверху, точно кошку, и с любопытством оглядел, а потом поставил на землю и сказал:

— Если б король подарил мне такого красавца, я велел бы его прокоптить и подвесить в оршанском костеле,— там диковинок много, даже яйцо страуса есть.

— А вот в Лубнах в приходском костеле была чеплюсть не то кита, не то великана,— вставил Володыёвский.

— Поехали скорей, не то еще наберемся от них какой-нибудь пакости! — заторопил Заглоба.

— Едем! — повторил Садовский.— Строго говоря, я должен был бы надеть вам на голову мешки, но нам скрывать нечего, а что вы видели наши укрепления, так это нам только на руку.

Рыцари пришпорили коней и вскоре очутились перед гожицкой усадьбой. У ворот они спрыгнули наземь и, сняв шапки, дальше пошли пешком, ибо перед домом увидели самого короля.

Множество генералов и самых блестящих офицеров окружало его. Здесь были и старый Виттенберг, и Дуглас, и Левенгаупт, Миллер, Эриксен и много других. Все они сидели на крыльце, несколько позади королевского кресла, и развлекались любопытным состязанием, которое было устроено по приказу короля. Рох как раз только что уложил двенадцатого рейтара и теперь стоял, весь потный, тяжело дыша, в разорванном кунтуше. Увидев своего дядюшку вместе с Кмицицем и Володыёвским, он решил, что и они попали в плен, горестно выпучил глаза, разинул рот и уже шагнул было вперед, но Заглоба зна-

¹ Превосходные (лат.).

² Животным (лат.).

ком велел ему стоять спокойно, а сам с товарищами приблизился к королю.

Садовский начал представлять посланников, а они низко кланялись, соблюдая обычай и правила этикета. Затем Заглоба вручил королю письмо Чарнецкого.

Тот взял письмо и стал читать; тем временем друзья, никогда не видевшие шведского короля, с любопытством разглядывали его. Перед ними сидел человек в расцвете лет, столь смуглый лицом, словно рожден был в Италии или Испании. Черные как вороново крыло волосы длинными буклями спадали до самых плеч. Блеском и цветом глаз король напоминал Иеремию Вишневецкого, однако брови у него были сильно подняты кверху, словно он постоянно чему-то удивлялся. Там же, где брови сходились, лоб выпирал крутыми буграми, что сообщало всему его облику нечто львиное; глубокая складка на переносице, которая не разглаживалась даже тогда, когда он смеялся, придавала лицу короля угрожающее и гневное выражение. Нижняя губа, как и у Яна Казимира, сильно выступала у него вперед, но все лицо было жирнее, с более тяжелым подбородком. Усы он носил в виде шнурочков, слегка утолщающихся на концах. Весь его облик выдавал личность исключительную, одного из тех владык, под кем стонет земля. Была в нем и царственная властность, и надменность, и львиная сила, и мощный ум, одного лишь ему недоставало: хоть благосклонная улыбка никогда не сходила с его уст, не было в нем той душевной доброты, что, как светильник в алебастровой урне, изнутри озаряет лицо ясным теплым светом.

Он сидел в кресле, скрестив ноги, могучие икры которых обрисовывались под черными чулками, и, часто моргая по своей привычке, с улыбкой читал письмо Чарнецкого. Вдруг он поднял глаза, взглянул на пана Михала и сказал:

— Я сразу узнал тебя, рыцарь: это ты сразил Каннеберга.

Все взоры мгновенно обратились к Володыёвскому, а тот шевельнул усиками, поклонился и ответил:

- Вашего королевского величества покорный слуга.
- В каком чине служишь?
- Полковник лауданской хоругви.
- А прежде где служил?
- У воеводы виленского.

-- И оставил его, равно как и прочие? Ты изменил и ему и мне.

— Я присягал своему королю, не вашему величеству.

Карл ничего не ответил, все вокруг нахмурились, все взоры испытующе впились в пана Михала, но тот стоял спокойно, только знай усиками пошевеливал.

Внезапно король заговорил снова:

— Что ж, рад познакомиться со столь отважным рыцарем. Каннеберг у нас слыл непобедимым в единоборстве. Ты, должно быть, первая сабля среди поляков?

— *In universo*,— сказал Заглоба.

— Не последняя,— ответил Володыёвский.

— Приветствую вас, господа. Я весьма почитаю Чарнецкого, как великого полководца, хоть он и не сдержал своего слова, ибо должен был бы и сейчас еще спокойно сидеть в Севеже.

— Ваше величество!— возразил ему Кмициц.— Не Чарнецкий, а генерал Миллер первый нарушил уговор, захватив полк королевской пехоты Вольфа.

Миллер выступил вперед, посмотрел на Кмицица и принялся что-то шептать королю, а тот, непрестанно моргая, внимательно слушал и все поглядывал на пана Анджея, а под конец сказал:

— Чарнецкий, вижу я, прислал ко мне самых славных своих воинов. Впрочем, я издавна убедился, что храбрости полякам не занимать, беда лишь, что верить вам нельзя, ибо вы не выполняете обещаний.

— Святые слова, ваше королевское величество!— подхватил Заглоба.

— Как это понимать?

— Да кабы не было у нашей нации этого порока, то и вам бы, ваше величество, у нас не бывать!

Снова король ничего не ответил, снова нахмурились генералы, уязвленные дерзостью посланника.

— Ян Казимир сам освободил вас от присяги,— сказал наконец Карл,— ведь он бросил вас и убежал за границу.

— Освободить от присяги может лишь наместник Христа на земле, живущий в Риме, а он этого не сделал.

— Э, да что толковать,— сказал король.— Вот чем я завоевал это королевство,— тут он хлопнул рукой по своей шпаге,— и этим же удержу его. Не нужны мне ни ваши выборы, ни ваши присяги. Вы хотите войны? Будет

вам война! Пан Чарнецкий, полагаю, помнит еще Голломб?

— Он забыл о нем по дороге из Ярослава,— ответил Заглоба.

Король не разгневался, а рассмеялся.

— Ну, так я ему напомню!

-- Это уж как бог даст.

— Передайте Чарнецкому, пусть навестит меня. Гостем будет, только пусть не откладывает, а то я вот откормлю коней, да и дальше пойду.

— Гостем будете, ваше королевское величество! — ответил Заглоба, кланяясь и слегка поглаживая саблю.

— Я вижу, у послов Чарнецкого языки столь же остры, как и сабли,— сказал на это король.— Ты, сударь, вмиг парируешь каждый мой выпад. Хорошо, что в бою не это главное, а то нелегко мне было бы справиться с таким противником, как ты. Но к делу: просит меня Чарнецкий отпустить этого вот пленника, предлагая взамен двух высокого чина офицеров. Неужели вы думаете, что я настолько презираю своих соратников, чтобы так дешево за них платить? Это унизило бы и их и меня. Однако я ни в чем не могу отказать Чарнецкому, а потому отдаю ему пленника даром.

— Светлейший государь! — ответил Заглоба.— Не презрение к шведским офицерам, но сострадание ко мне хотел выказать пан Чарнецкий, ибо пленный — мой племянник, я же, да будет известно вашему королевскому величеству, являюсь советником пана Чарнецкого.

— По совести говоря,— заметил король со смехом,— не надо бы мне отпускать этого пленника, он ведь поклялся убить меня,— право же, в благодарность за дарованную свободу он должен бы отказаться от своего обета.

Тут Карл повернулся к стоящему перед крыльцом Роху и махнул ему рукой.

— А ну, молодец, подойди поближе!

Рох приблизился и стал навтыжку.

— Садовский,— сказал король,— спроси его, оставит ли он меня в покое, если я его отпущу?

Садовский повторил вопрос короля.

— Никак нет! — воскликнул Рох.

Король и без толмача понял ответ, захлопал в ладоши и часто заморгал глазами.

— Видите, видите! Ну, как его отпустить? С двенадцатью рейтарами расправился, теперь тринадцатый на очереди — я. Славно! Славно! Нет, до чего хорош! А может, и он у Чарнецкого в советниках? В таком случае я его еще быстрее отпущу.

— Помалкивай, парень! — буркнул Заглоба.

— Ну, пошутили, и будет,— сказал вдруг Карл Густав.— Забирайте его, и да послужит вам это лишним доводом моей снисходительности. В этой стране я хозяин, кого хочу, того и милую, а в переговоры с бунтовщиками вступать не желаю.

Тут королевские брови нахмурились, и улыбка сбежала с лица Карла Густава.

— А бунтовщиком является каждый, кто подымет на меня руку, ибо я ваш законный государь. До сих пор из одного лишь милосердия не карал я, как надлежало, все ждал, что вы образумитесь, но берегитесь: даже мое милосердие может истощиться, тогда наступит час возмездия. Это вы своим самоуправством и легкомыслием ввергли страну в геенну огненную, из-за вашего вероломства льется кровь. Но говорю вам: всему есть предел... Не хотите слушать увещаний, не хотите подчиняться закону, так подчинитесь мечу и виселице!

И Карл грозно сверкнул очами. Какое-то время Заглоба смотрел на него, недоумевая, откуда этот гром с ясного неба, потом и в нем начала закипать кровь, но он лишь поклонился, сказав:

— Благодарствуем, ваше королевское величество.

И пошел прочь, а за ним Кмициц, Володыёвский и Рох Ковальский.

— Ну и ну! — говорил старый рыцарь— Любезен, любезен, да вдруг как рывкнет на тебя медведем, ты и оглянуться не успеешь. Славно попрощались, нечего сказать! Другие послов на прощание вином потчуют, а этот виселицей! Собак пусть вешает, а не шляхту! Боже, боже, как тяжко мы грешили против нашего государя, который был, есть и будет нашим отцом, ибо он наследник Ягеллонов! И такого государя оставили изменники, с пугалами заморскими снюхались. Так нам и надо, ничего лучшего мы не заслужили. Виселицы! виселицы!.. Его самого загнали в угол, прижали, еле дух переводит, а все мечом да виселицей страшает. Ну погоди! Казак татарина схватил, да сам в неволю угодил! Плохо вам, а

будет еще хуже! Рох, хотел я тебе съездить по морде либо с полсотни горячих всыпать, да уж так и быть, прощаю тебя за то, что держался молодцом и обещал по-прежнему его преследовать. А теперь давай поцелуемся, очень уж я тобою доволен!

— Ну, то-то, дядя! — ответил Рох.

— Виселица и меч! И он сказал это мне в глаза! — никак не мог уняться Заглоба.— Тоже мне — королевская милость! Вот так же милостив волк к тому барану, которого он готовится сожрать!.. И когда он это говорит? Сейчас, когда его самого мороз по коже подирает от страха. Пусть берет себе в советники своих лапландцев и вместе с ними у дьявола милости ищет. А нас будет хранить пресвятая дева Мария, вон как того пана Боболу в Сандомире, которого вместе с конем перебросило взрывом через Вислу. И жив остался. Глянул по сторонам — ан закинуло-то его к ксендзу, да прямо к обеду! Ничего, с божьей помощью мы еще их всех отсюда повытаскаем, как раков из верши...

ГЛАВА IX

Прошло около двух недель. Король по-прежнему сидел в междуречье и рассылал гонцов во все крепости и гарнизоны, в сторону Кракова и Варшавы, приказывая всем спешить к нему на помощь. И помощь шла, по Висле доставляли ему сколько можно было провианта, но этого не хватало. Через десять дней в лагере начали есть конину, и король с генералами впадали в отчаяние при мысли, что будет, когда конница и артиллерия останутся без лошадей. К тому же и вести отовсюду приходили самые неутешительные. Вся страна полыхала войной, словно объятый огнем смоляной факел. Мелким шведским отрядам и небольшим гарнизонам не только что прийти на помощь королю — носа нельзя было высунуть из своих городов и местечек. Литва, сдерживаемая дотоле железною рукою Понтуса де ла Гарди, восстала как один человек. Великая Польша, которая некогда первой покорилась захватчикам, первой же сбросила ярмо и подавала всей Речи Посполитой пример стойкости, отваги и ратного рвения. Шляхетские и мужицкие отряды нападали не только на села, но даже на занятые шведами города. Шведы

мстили страшно; однако тщетно они отрубали пленникам руки, дотла сжигали деревни, а жителей от мала до велика казнили, ставили виселицы, нарочно для мятежников привозили из неметчины орудия пыток. Кому суждены были муки, тот терпел их, кому суждена была гибель, тот погибал, но шляхтич встречал смерть с саблей, мужик — с косою в руках. И лилась шведская кровь по всей Великой Польше, народ жил в лесах, даже женщины взялись за оружие; казни лишь пуще разжигали в народе ярость и жажду мести. Кулеша, Кшиштоф Жегоцкий и воевода подляшский разгуливали по всему краю, да и, кроме них, по лесам полно было разных партизанских отрядов; поля лежали невозделанные, повсюду свирепствовал голод, но больше всего донимал он шведов, которые вынуждены были сидеть в городах за запертыми воротами, не смея шагу ступить наружу.

Шведы теряли последние силы.

То же было и в Мазовии. Курпы, лесные жители, выходили из сумрачных дебрей, устраивали на дорогах засады, перехватывали провиант и гонцов. С Подляшья к Сапеге или на Литву тянулась сотнями и тысячами мелкая шляхта. Люблинское воеводство было в руках конфедератов. Из далекой Руси шли татары, а вместе с ними и принужденные к повиновению казаки.

И все уже были уверены, что если не через неделю, то через месяц, если не через месяц, то через два речная ловушка, в которой сидел Карл Густав с основными своими силами, обратится в сплошную гигантскую могилу — к вящей славе польского народа, в назидание тем, кто вздумал бы напасть на Речь Посполитую. Конец войны, казалось, был уже близок: кое-кто поговаривал, что Карлу теперь остался один-единственный выход: выкупиться, отдав Речи Посполитой шведскую Лифляндию.

Но внезапно положение Карла Густава и шведов изменилось к лучшему. Двадцатого марта сдался наконец Мальборк, доселе упорно сопротивлявшийся осаде. Теперь сильная и доблестная армия Стенбока была свободна и могла поспешить на выручку королю.

Одновременно и баденский маркграф, набрав войско, со свежими силами также двинулся в сторону речной развилины.

Обе армии шли вперед, уничтожая мелкие повстанческие отряды, громя, сжигая и убивая. Из лежавших на

их пути городов и сел они забирали с собой шведские гарнизоны и силы их прибывали, словно воды в реке, обильно питаемые малыми притоками.

Вести о сдаче Мальборка, об армии Стенбока, о походе баденского маркграфа быстро дошли до между-речья и сильно встревожили поляков. Стенбок, правда, был еще далеко, но маркграф баденский, идущий форсированным маршем, мог вскоре очутиться под Сандомиром и совершенно изменить всю картину.

В польском стане созвали военный совет. Собрались пан Чарнецкий, гетман литовский, Михал Радзивилл, коронный кравчий, пан Витовский, старый опытный воин, и пан Любомирский, которому уже порядком наскучило сидеть над Вислой. Было решено, что Сапега с литовским войском останется сторожить Карла, дабы тот не ускользнул из окружения, а Чарнецкий пойдет навстречу маркграфу баденскому и возможно скорее с ним сразится, после чего, если бог дарует ему победу, снова вернется осаждать короля.

Тут же были отданы все нужные распоряжения. На следующее утро в лагере раздался приглушенный сигнал «по коням» — трубы играли чуть слышно, так как Чарнецкий хотел, чтобы шведы не заметили его ухода. К майдану спешно подтянулись несколько шляхетских и мужицких партизанских отрядов. Они разожгли костры и шумно суетились, чтоб отвести глаза неприятелю, а между тем хоругви каштеляна одна за другой покидали лагерь. Первой вышла лауданская хоругвь, которая по справедливости должна была бы остаться при Сапеге, но она так полюбилась Чарнецкому, что гетман не стал отбирать ее. Затем отличная хоругвь под командой Вонсовича, старого вояки, который полвека провел в ратных трудах; следом двинулась хоругвь князя Димитра Вишневецкого под командой Шандаровского, та самая, что так отличилась под Рудником; за нею два полка драгун Витовского и две хоругви яворовского старосты, в одной из которых служил поручиком знаменитый Стапковский; затем шла собственная хоругвь пана каштеляна, королевская хоругвь под командой Полянского и все войско Любомирского. Ни пехоты, ни повозок с собою не взяли, решив для скорости идти налегке.

И вот уже все они стоят под Завадой,— целая армия, полная сил и боевого огня. Тут Чарнецкий выехал впе-

ред, выстроил полки в походный порядок, а сам стал чуть поодаль, чтобы обозреть свое войско на марше. Конь под ним фыркал и мотал головой, словно приветствуя проходящие полки, а у пана каштеляна от радости сердце ширилось в груди. Картина перед ним была и впрямь великолепная. Безбрежное море конских голов, над ним суровые солдатские лица, кивающие в такт ходу коней, а поверху сабли и пики, ослепительно сверкающие в лучах утреннего солнца. Так и веяло от них несокрушимой силой, и сила эта передавалась каштеляну, ибо он видел теперь перед собой не беспорядочную толпу волонтеров, но настоящее войско, закаленное в горниле войны, отлично снаряженное и обученное и столь лютое в бою, что никакая другая конница в мире не могла бы равными силами ему противостоять. Чарнецкий чувствовал, что здесь нет и не может быть места сомнению, что с этими людьми он в пух и прах разобьет войско баденского маркграфа, и в предчувствии грядущей победы лицо его озарилось ярким светом, лучи которого, казалось, падали на идущие мимо полки.

— С богом! За победой! — воскликнул он.

— С богом! Мы победим! — отвечали ему могучие голоса.

Этот возглас прокатился по хоругвям подобно грому. Чарнецкий пришпорил коня и догнал передовую лауданскую хоругвь.

И начался поход!

Они мчались, обгоняя ветер, как мчится стая хищных птиц, издали чужа добычу. Нигде, даже среди степных татар, не слыхивали о подобном походе. Солдат спал в седле, ел и пил, не спешиваясь; коней кормили из рук. Оставались позади реки, леса, деревни, города. Мужики по деревням только выскочат, бывало, из хат посмотреть на войско, а войска уж и след простыл, лишь пыль клубится вдали. Скакали днем и ночью, делая лишь краткие привалы, чтобы не загнать лошадей.

Наконец близ Козениц они наткнулись на восемь шведских хоругвей во главе с Торнешильдом. Лауданская хоругвь, шедшая в авангарде, первой заметила неприятеля и с ходу, не останавливаясь, ринулась в атаку. Следом пошел Шандаровский, за ним Вонсович, за ним Стапковский.

Шведы, полагая, что имеют дело с партизанами, приняли бой. Через два часа никого из них не осталось в живых, некому было добежать до маркграфа и крикнуть, что это идет Чарнецкий. Восемь шведских хоругвей были попросту стерты с лица земли. Затем победители кратчайшим путем помчались к Магнушеву, так как, по донесениям лазутчиков, маркграф баденский со всем своим войском находился в Варке.

Ночью Володыёвский был отправлен в разъезд; ему поручено было выяснить численность и местоположение войск.

Заглобе новое поручение пришлось весьма не по вкусу, особенно сразу после похода, — таких походов, пожалуй, сам славный Вишневецкий не проделывал; сильно ворчал старый рубака, но все же при войске не остался, а предпочел идти с Володыёвским.

— Золотое было времечко под Сандомиром, — говорил он, потягиваясь в седле, — знай ешь, да спи, да на осажденных шведов издали поглядывай, а теперь вон и к манерке приложиться некогда. Да почитайте хоть *antiquorum*¹, военную науку великого Помпея и Цезаря, — нет, пан Чарнецкий новую методу выдумал. Где это слыхано, столько дней и ночей в седле, — этак все брюхо растрясешь. С голоду черт-те что в башку лезет, так вот все и чудится мне, будто звезды — это каша, а месяц — шкварка. И это называется война! Ей-богу, так есть хочется, что я готов обгрызть уши собственному коню!

— Завтра, даст бог, разделаемся со шведами, отдохнем.

— По мне, уж лучше шведы, чем такая канитель! Господи! Господи! Да когда же наконец будет в Речи Посполитой мир, а у старого Заглобы теплая лежанка и подогретое пиво... Пусть бы уж и без сметаны... Трясись, старый, на кляче, трясись, пока до смерти не дотрясешься... Нет ли там у кого табачку? Прочихаюсь, — может, хоть сон из меня выйдет... И что это месяц светит прямо в рот, чуть не в кишки мне заглядывает, чего он там ищет, не знаю, — ничего там нету! Право же, не война, а черт знает что!

— А вы, дядя, возьмите да и съешьте месяц, раз это шкварка, — предложил Рох.

¹ Древних (лат.).

— Знаешь, если б я тебя съел, можно было бы сказать, что воловьего мяса наелся, да боюсь, как бы последнего ума не лишиться от такого жаркого.

— Если я вол, а вы мой дядя, тогда кто же, дядя, вы сами?

— Вот болван! По-твоему, Альтея оттого родила головешку, что сидела у печи?

— Какое мне дело до Альтеи?

— А такое, что если ты — вол, то сначала спроси, кто твой отец, а не кто дядя! Вон Европу тоже бык похитил, однако брат ее был человеком, хоть и приходился дядей ее потомству. Понимаешь?

— Понимать не понимаю, но поесть чего-нибудь я тоже не прочь.

— Съешь хоть черта с рогами, только отвяжись! Эй, пан Михал, что это? Почему мы стали?

— Варка видна, — сказал Володыёвский. — Вон колокольня блестит под луной.

— А Магнушев мы уже проехали?

— Магнушев остался справа. Странно, что по эту сторону реки нет ни одного шведского разъезда. Ну-ка, спрячемся вон в тех зарослях, постоим, может, бог языки пошлет.

И пан Михал подвел отряд к кустарнику и расположил людей в ста шагах справа и слева от дороги, приказав стоять тихо да покороче держать поводья, чтобы ни одна лошадь не заржала.

— Подождем, — сказал он. — Послушаем, что делается за рекой, а может, и увидим что-нибудь.

Стали ждать. Долгое время ничего не было слышно, кроме соловьев, которые самозабвенно распевали в соседнем ольшанике. Усталые солдаты начали клевать носом, а Заглоба лег на лошадиную шею и заснул крепким сном; даже кони дремали. Прошел час. Наконец чуткое ухо Володыёвского уловило словно бы стук копыт по твердой дороге.

— Не зевай! — бросил он солдатам.

А сам выдвинулся из кустов поближе к дороге и окинул ее взглядом. Дорога блестела в лунном свете, как серебряная лента, но никого не было видно; однако конский топот приближался.

— Шведы, не иначе! — проговорил Володыёвский.

И все еще крепче натянули поводья и затаили дыха-

ние; тишину нарушали лишь соловьиные трели, доносившиеся из ольшаника.

И вот на дороге показался шведский разъезд. Всадников было человек тридцать. Они ехали не спеша и не соблюдая строя, растянувшись по дороге длинной вереницей. Солдаты переговаривались, иные тихонько напевали, теплая майская ночь действовала даже на очерствевшие солдатские души. Ничего не подозревая, шведы прошли мимо стоявшего у самой дороги пана Михала так близко, что на него пахнуло лошадиным потом и дымом трубок, которые курили рейтары.

Наконец они исчезли за поворотом. Володыёвский еще долго стоял и дожидался, пока затихнет вдали стук копыт; только тогда он вернулся к отряду и сказал братьям Скшетуским:

— А теперь мы их, как стадо гусей, погоним прямо в лагерь пана каштеляна. Только чтоб мне ни один не ушел, а то даст знать своим!

— Ну, если и после этого дела пан Чарнецкий не позволит нам наесться и выспаться,— молвил Заглоба,— я отказываюсь от места и возвращаюсь к Сапежке. У Сапежки коли битва, так битва, зато уж когда сядешь за стол — тут уж пир горой! Ешь, пей в три горла, пока не надоест! Это, я понимаю, вожды! Нет, скажите на милость, какого черта мы служим у Чарнецкого,— ведь по праву это Сапежкина хоругвь?

— Не греши, отец! Что ты так расшумелся на Чарнецкого, он величайший полководец Речи Посполитой,— сказал Ян Скшетуский.

— Это не я расшумелся, а мои кишки,— слышите, какая в них с голоду музыка играет!

— Вот шведы под эту музыку и попляшут,— прервал его Володыёвский.— А теперь, друзья, в путь, в путь! К той корчме в лесу, мимо которой мы проезжали. Там-то я думаю на них и напасть.

Он приказал отряду двигаться средним аллюром. Отряд углубился в густой лес, вокруг стало темно. До корчмы было версты три-четыре. Немного не доезжая, всадники снова пошли нога за ногу, чтобы не вспугнуть врага прежде времени. Подъехав к корчме на расстояние пушечного выстрела, они услышали шум голосов.

— Шведы! Слышите, галдят? — сказал Володыёвский.

Шведы в самом деле задержались около корчмы, надеясь найти хоть кого-нибудь, кого можно было бы расспросить. Но корчма была пуста. Часть отряда, спешившись, обыскивала дом, одни шарили в хлеву и сараях, другие рылись под застрехами. Остальные, держа на поводу их лошадей, ждали во дворе.

Отряд Володыёвского, подъехав шагов на сто, стал по-татарски полумесяцем окружать корчму. На майдане отлично слышали, а потом и увидели приближающихся всадников, но в лесном полумраке трудно было распознать, кто едет, и рейтары не беспокоились, уверенные, что с той стороны никакой другой отряд, кроме шведского, подойти не может. И только последний маневр их удивил и заставил насторожиться; они закричали, созывая своих товарищей.

Внезапно с разных сторон раздался клич «алла!» и грянули выстрелы. В тот же миг, точно выросши из-под земли, корчму густой толпой окружили конники. Началась свалка, зазвенели сабли, послышались проклятия, сдавленные крики, но все это продолжалось считанные минуты, от силы столько, сколько нужно, чтобы дважды прочесть «Отче наш».

Во дворе корчмы осталось несколько убитых солдат и лошадей, а отряд Володыёвского двинулся дальше, уводя с собой двадцать пять пленников.

Теперь они понеслись вскачь, подгоняя ударами сабель рейтарских коней, и с рассветом уже подходили к Магнушеву. В лагере Чарнецкого никто не спал, все были в боевой готовности. Сам каштелян вышел к ним навстречу, опираясь на обушок, исхудалый и бледный от бессонных ночей.

— Ну что? — спросил он Володыёвского. — Много ли языков захватил?

— Двадцать пять человек.

— А сколько ушло?

— *Nec punitius cladis*¹. Захвачены все!

— Молодчина! Тебя хоть в самое пекло посылать! Славно! Немедля взять их в оборот! Я сам буду допрашивать!

И каштелян круто повернулся на каблуке, но, уходя, еще добавил:

¹ Даже вестника поражения не осталось (лат.).

— Да смотрите, будьте наготове, мы, может статься, без промедления двинем на неприятеля.

— Вот те и на! — воскликнул Заглоба.

— Тс-с-с,— остановил его Володыёвский.

Пленных шведов и пытать не пришлось,— они сразу рассказали все, что им было известно о силах баденского маркграфа, о количестве пушек, пехоты и кавалерии. Призадумался пан каштелян, когда узнал, что хоть набрано войско маркграфа недавно, однако состоит сплошь из старых солдат, уже много повоевавших на своем веку. Было среди них немало немцев, а также большой отряд французских драгун; вся в целом эта армия на несколько сот человек превосходила польское войско. Зато, как явствовало из показаний пленных, маркграф пребывал в полнейшем неведении насчет близкого соседства Чарнецкого и был уверен, что все польские силы стоят под Сандомиром, осаждая короля.

Едва каштелян услышал это, он вскочил с места и крикнул своему адъютанту:

— Витовский, вели трубачу трубить «по коням!».

Спустя полчаса войско выступило и пошло свежим майским утром через леса и поля, покрытые росой. Наконец на горизонте показалась Варка, а вернее, ее пепелище, так как город шесть лет назад сгорел дотла.

Дорога на Варку пролегла через обширную голую равнину, и раньше или позже шведы должны были заметить приближающееся войско. Они и заметили его, но маркграф подумал, что это какие-нибудь партизанские отряды, которые объединились с намерением посеять панику в шведском лагере.

И лишь когда из-за леса одна за другой рысью понеслись к ним польские хоругви, у шведов началось лихорадочное движение. С равнины видно было, как между полками торопливо проходят небольшие отряды рейтар, пробегают офицеры. Из лагеря на равнину повалили пехотинцы в ярких мундирах и, точно стаи пестрых птиц, готовящихся к перелету, выстраивались перед поляками в стройные квадраты. Над головами пехотинцев возвышался лес грозных копий, готовых отразить натиск неприятельской кавалерии. И, наконец, показались закованные в броню кирасиры, двумя потоками устремившиеся к флангам. Спешно подтягивались и составлялись по местам пушки. Взошло солнце, равнина

озарилась ярким, радостным светом, и все эти приготовления видны были как на ладони.

Войска отделяла одно от другого Пилица.

На шведском берегу запели трубы, загремели литавры и барабаны, слышались воинственные клики ратников, уже готовящихся к бою. Тут и Чарнецкий приказал трубить в рога и направил свои хоругви прямо к реке.

Внезапно он стегнул жеребца и подскакал к Вонсовичу, чья хоругвь была уже на самом берегу.

— Вонсович, старина! — крикнул он. — Веди своих к мосту, там спешивайтесь и открывайте огонь! Пусть они бросят на тебя все свои силы. Вперед!

Вонсович лишь покраснел от радости и взмахнул буздыганом. Его люди с громкими криками помчались за ним, словно пыльная туча, подгоняемая ветром.

Шагов за триста до моста они осадили коней. Две трети отряда спрыгнуло наземь и бегом бросилось к мосту.

Шведы подошли с другой стороны, и вскоре заговорили мушкеты, сперва поодиночке, потом все чаще, чаще, будто сотни цепов вразнобой молотили по току. Над рекой протянулись полосы дыма. На обоих берегах бойцы криками раззадоривали друг друга. Все взгляды были прикованы к узкому деревянному мосту, захватить который было так трудно, а оборонять так легко. Однако добраться до шведов можно было только по нему.

Через четверть часа пан Чарнецкий послал в помощь Вонсовичу драгун Любомирского.

Но шведы уже начали обстреливать подступы к мосту из пушек. Они выкатывали на берег все новые и новые орудия; ядра с воем пролетали над головами солдат Вонсовича и драгун и падали на лугу, зарываясь в землю и осыпая сражающихся комьями дерна и грязи.

Маркграф баденский стоял в тылу своей армии, на опушке леса, следя за битвой в подзорную трубу. Время от времени он опускал трубу и, обернувшись к своему штабу, недоуменно пожимал плечами.

— Безумцы, — говорил он, — они любой ценой хотят форсировать этот мост. Несколько пушек и два-три полка охранят его перед целой армией.

Однако Вонсович со своими людьми упорно шел на приступ, и защитникам моста приходилось ожесточенно отбиваться. Мост становился средоточием сражения, и сюда постепенно подтягивалась вся шведская армия.

Через час ее позиция полностью изменилась, теперь она стояла боком к прежней линии фронта. На мост обрушился настоящий ливень огня и железа. Люди Вонсовича гибли десятками, а меж тем Чарнецкий слал к ним все новых гонцов, упорно приказывая идти вперед.

— Чарнецкий всех их погубит! — вскричал коронный маршал.

Даже старый, опытный воин Витовский решил, что дело плохо, и весь дрожал от нетерпения; под конец он не выдержал, хлестнул коня так, что тот с жалобным стоном взвился на дыбы, и поскакал к Чарнецкому, который бог весть зачем все гнал и гнал людей к реке.

— Ваша милость! — крикнул Витовский. — Напрасно только кровь льется; нам этого моста не взять!

— А я и не собираюсь брать его! — возразил Чарнецкий.

— Тогда что же это значит, ваша милость? Что мы должны делать?

— К реке! К реке все хоругви! А ты, пан Витовский, изволь в строй! — И глаза Чарнецкого грозно сверкнули. Витовский тотчас поскакал назад, не сказав более ни слова.

Оказавшись шагах в двадцати от реки, хоругви остановились и растянулись вдоль берега длинной цепью. Ни солдаты, ни офицеры не могли взять в толк, зачем это делается.

И тут Чарнецкий вихрем вылетел вперед. Лицо его пылало, глаза метали молнии. Вздыхаемая сильным ветром бурка развевалась за его плечами наподобие огромных крыльев, конь под ним плясал и становился на дыбы, извергая пламя из ноздрей; Чарнецкий выпустил из рук саблю, которая повисла на темляке, сорвал с головы шапку, обнажив всклокоченные волосы и залитое потом чело, и вскричал, обращаясь к своим войскам:

— Братья! Враг рекой от нас отгородился и смеется над нами! Он море переплыл, дабы погубить нашу отчизну, так неужто же мы, защищая ее, не переплывем эту реку! — Тут он грянул шапкой оземь и, схватив саблю, указал ею на бурные речные воды. В страстном порыве он привстал в стременах и воззвал поистине громовым голосом: — За бога, за веру, за отчизну — вперед!

И, вонзив шпоры в конские бока с такой силой, что аргамака подбросило в воздух, он ринулся в пучи-

ну. Волны расступились, поглотив на мгновение коня и всадника, но в следующий миг оба вынырнули наружу.

— Я за тобой, мой господин! — крикнул Михалко, тот самый, что так славно дрался под Рудником.

И прыгнул в воду.

— За мной! — скомандовал высоким, пронзительным голосом Володыёвский.

И тотчас вода заглушила его крик.

— Иисусе, Мария! — проревел Заглоба, рывком направив коня к реке.

И всадники лавиной ринулись в волны, и вода с бешеным напором захлестнула берега. За лауданцами пошла хоругвь Вишневецкого, за нею — Витовского, за ней — Стапковского, а там и все остальные. Охваченные благородным безумием, люди неслись, оттесняя друг друга; слова команды слились с криками солдат, река вышла из берегов и вспенилась, как кипящее молоко. Всадников относил течением, но они яростно пришпоривали коней, и те, словно гигантское стадо дельфинов, плыли вперед, фыркая, храпя и задыхаясь. Людские и конские голсы, возвышавшиеся над водой, так густо усеивали поверхность реки, что образовали как бы мост, по которому можно было бы, не замочив ног, перейти на другой берег.

Чарнецкий первым переплыл реку; не успел он стряхнуть с себя воду, как рядом уже стояли лауданцы; пан каштелян взмахнул буздыганом и крикнул Володыёвскому:

— Вперед! Бей!

А потом Шандаровскому, командовавшему хоругвью Вишневецкого:

— На врага!

Так напутствовал он одну хоругвь за другой, пока не прошли все. Последнюю Чарнецкий возглавил сам и, крикнув: «С нами бог!» — поскакал вслед за другими.

Правда, два рейтарских полка, стоявших в резерве, видели, что происходит, но шведские полковники от неожиданности остолбенели, и не успели рейтары сдвинуться с места, как на них со всего разгона налетела лауданская хоругвь. Словно вихрь сухие листья, разметала она первый полк, отбросив его на второй, и второй сбился в кучу; а тут подскакал Шандаровский, и началась жесткая резня. Длилась она недолго, вскоре шеренги шведов

были разорваны, и противник беспорядочной толпой стал поспешно отступать к основным силам.

Хоругви Чарнецкого с устрашающими воплями гнались за беглецами и рубили, кололи, устилая поле трупами.

Теперь все поняли, зачем Чарнецкий приказал Вонсовичу атаковать мост, хоть и не собирался по нему переправляться. Все внимание армии маркграфа было приковано к этой точке, и никто не подумал, да и не успел подумать о том, чтоб воспрепятствовать переправе поляков вплавь. Почти все пушки, вся армия шведов обращены были фронтом к мосту, и теперь, когда три тысячи всадников всей своей мощью ударили им во фланг, приходилось спешно перестраиваться, разворачивать ряды фронтом к врагу, чтобы хоть как-то отразить атаку. Началась страшная сумятица и неразбериха: полки пехоты и кавалерии, торопясь развернуться лицом к атакующим, ломали строй, налетали друг на друга, слова команды тонули в невообразимом шуме и гаме, каждый действовал как бог на душу положит. Тщетно надрывались офицеры, тщетно маркграф поспешил бросить на подмогу стоявшие у леса резервные полки кавалерии; не успели они подскочить к месту схватки, не успели пехотинцы упереть копыта тупым концом в землю и направить их острие на противника, как в самую их гущу, подобно смертоносному урагану, ворвалась хоругвь лауданцев; за ней вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И настал Судный день. Поле битвы, словно тучей, заволкло ружейным дымом, и из этой тучи неслись гул, гром, вопли нечеловеческого отчаяния и торжествующие клики, оглушительный лязг железа, будто из какой-то адской кузницы, и треск мушкетов; порой мелькнет уланский прапорец, порой сверкнет золотом наконечник полкового знамени — и снова все тонет в дыму, снова ничего не различить, лишь чудовищный грохот все нарастает и нарастает, как будто дно речное внезапно разверзлось и бурные воды ринулись в бездонную пропасть.

Вдруг с фланга донеслись новые крики. Это Вонсович перешел мост и ударил на врага сбоку. После этого битва скоро кончилась.

От клубившейся на равнине тучи стали быстро отделяться люди; шведы, не помня себя, теряя шапки, шлемы

и оружие, устремлялись к лесу. А вскоре в ужасающем беспорядке хлынул целый людской поток. Артиллерия, пехота, конница — все вперемежку ударились в бегство, полуослепнув от смятения и ужаса. Иные выпускали отчаянные вопли, другие бежали молча, лишь прикрывали руками голову, кое-кто сбрасывал на бегу одежду; некоторые пытались остановить бегущих, их сбивали с ног, начиналась свалка — а меж тем над беглецами, за их спинами, над головами уже вздымались копыта несущейся следом польской конницы. Шеренга за шеренгой, вскинув коней на дыбы, врезались поляки в самую гущу людского потока. Никто уже не защищался, все покорно подставляли шею под меч. Труп валился на труп. Без отдыха, без пощады рубили сабли по всей равнине; на берегу, под лесом, куда ни кинь взгляд, — везде толпы беглецов и преследователей; лишь кое-где разрозненные отряды пехоты сопротивлялись с неистовством отчаяния. Пушки замолкли. Битва перестала быть битвой, она превратилась в избиение.

Все, кто бежал к лесу, были перебиты. Доскакало лишь несколько рейтарских эскадронов, преследуемых хоругвями легкой кавалерии.

Но в лесу недобитых шведов уже поджидали мужики, которые, заслышав бранные клики, сбежались сюда со всех окрестных деревень.

Самая же страшная погоня происходила на варшавской дороге, по которой уходили главные шведские силы. Младший маркграф, Адольф, дважды пытался задержать преследователей и дважды был разбит, пока, наконец, сам не попал в плен. Его личная охрана, четыреста французов-пехотинцев, сложила оружие, а остальные три тысячи отборной конницы и мушкетеров ухитрились добежать до самого Мнишева. Мушкетеров перебили в Мнишеве, а за кавалерией пришлось гнаться вплоть до Черска, пока вся она не рассеялась по лесам, камышам, зарослям. А уж на другой день всадников поодиночке выловили оттуда мужики.

Еще солнце не зашло, а армия Фридриха, маркграфа баденского, перестала существовать.

У реки, на поле битвы, оставались лишь знаменосцы со знаменами, все остальные ускакали в погоню за неприятелем. Солнце уже почти закатилось, когда из лесу и от Мнишева стали возвращаться первые отряды кавалерии.

лери. Бойцы пели, кричали, подбрасывали вверх шапки и палили из мушкетов. Чуть не каждый вел за собой толпу связанных друг с другом пленных. Пленные тащились за всадниками, без шляп и шлемов, с поникшими головами, ободранные, окровавленные, то и дело спотыкаясь о тела своих павших товарищей.

Поле битвы являло собой страшный вид. В тех местах, где схватка была особенно жестокой, трупы громоздились штабелями высотой до половины копья. Некоторые из пехотинцев еще сжимали в окоченевших руках длинные древка. Копьями было усеяно все поле. Местами они были воткнуты в землю, местами лежали навалом, кое-где торчавшие из земли обломки образовали целые изгороди и частоколы.

И всюду, всюду, куда ни кинь взгляд, валялись в ужасном и горестном смешении раздавленные копытами мертвые тела, древка пик, сломанные мушкеты, барабаны, трубы, шляпы, пояса, жестяные ладунки пехотинцев и множество рук и ног, торчавших из плотной груды тел в таком беспорядке, что невозможно было угадать, кому они принадлежат. Особенно густо устилала землю трупы в тех местах, где сражалась шведская пехота.

Поодаль, у самой реки, стояли уже остывшие пушки; одни были опрокинуты людским потоком, другие словно изготовились дать новый залп. Подле них спали вечным сном канониры, — их тоже перебили всех до единого. На многих пушках, обнимая их руками, повисли тела убитых солдат, словно солдаты и после смерти хотели прикрыть пушки собою. Орудийная бронза, забрызганная кровью и мозгом, зловеще сверкала под лучами заходящего солнца. Золотой отблеск заката лежал и на лужах застывшей крови, по всему полю слышен был ее сладковатый запах, смешанный с трупным смрадом, запахом пороха и конского пота.

Чарнецкий с королевским полком возвратился еще до заката и стал посреди ратного поля. Войска приветствовали его громовыми криками. Отряд подходил за отрядом, и возгласы «виват!» гремели без конца, а он стоял, озаренный солнцем, бесконечно усталый, но и столь же счастливый, с непокрытой головой, с саблей на темляке, и на все приветствия отвечал:

— Не меня, ваши милости, не меня, но господа нашего благодарите!



Рядом с ним стояли Витовский и Любомирский; Любомирский, сверкавший, как солнце, в своих золоченых доспехах, с лицом, забрызганным кровью врагов, которых он сам, своею рукой колот и рубил без передышки, словно простой солдат, был, однако, угрюм и мрачен, ибо даже его собственные полки кричали:

— Виват Чарнецкий, *dux et victor!*¹

¹ Вождь и победитель (лат.).



И в душе коронного маршала уже шевельнулась зависть.

Тем временем на поле боя со всех сторон стекались все новые отряды, и от каждого подъезжал к Чарнецкому рыцарь и кидал к его ногам захваченное неприятельское знамя. Это вызывало новую бурю восторженных криков, снова летели вверх шапки и гремели выстрелы из мушкетонов.

Солнце опускалось все ниже.

В единственном костеле, который уцелел в Варке после пожара, зазвонили к вечерне; все тотчас обнажили головы; ксендз Пекарский, braveй полковой священник, начал читать: «Ангел господень возвестил пречистой деве Марии!..» — и сотни могучих голосов подхватили хором: «...И зачала она от святого духа...»

Все глаза обратились вверх, к румяной вечерней заре, которая разлилась в небесах, и понеслась благочестивая песнь с поля кровавой битвы прямо в озаренное этим тихим вечерним светом небо.

Едва кончилась молитва, рысью подошли лауданцы, которые в погоне за врагом ускакали дальше всех. Снова под ноги Чарнецкому полетели знамена, наполняя его сердце великой радостью; завидев Володыёвского, он подъехал к нему.

— А много ли их ушло от вас? — спросил пан каштелян.

Володыёвский только головой помотал, — дескать, нет, не много; до того он умаялся, даже слова вымолвить не мог, лишь хватал воздух открытым ртом, так что в груди свистело. Под конец он показал рукой, что не может говорить, а Чарнецкий понял и крепко прижал к себе его голову.

— Да ты, знать, себя не жалел! — воскликнул он. — Побольше бы нам таких молодцов!

Заглоба, тот раньше отдышался и, стуча зубами и заикаясь, заговорил:

— О господи! Стоим на юру, а я весь вспотел... Сейчас паралич хватит... Разденьте какого-нибудь шведа потолще и дайте мне одежду, а то на мне все мокрое... хоть выжми... Уж и не знаю, где вода, где мой собственный пот, а где шведская кровь... Вот не думал, что мне когда-нибудь доведется такую кучу этой сволочи перебить! Назовите меня болваном, если думал! Величайшая победа за всю войну... Но уж в воду лезть — дудки, на это я больше не согласен... Не ешь, не пей, не спи, да еще вдобавок купайся?.. Нет, стар я для этого дела... Вон уж и рука немеет... Паралич, ей-ей, паралич! Горелки, ради бога!

Слыша такие речи и видя, что убеленный сединами рыцарь в самом деле весь залит неприятельской кровью, Чарнецкий сжалился над его годами и подал ему собственную манерку.

Заглоба осушил ее, вернул пустую Чарнецкому и сказал:

— Ну, это будет получше, чем вода, а то я ее в Пилице столько нахлебался, что в брюхе, того и гляди, заведется рыба.

— А ты, пан Заглоба, и правда переоделся бы в сухое, вон хоть со шведа какого-нибудь,— сказал каштелян.

— Сейчас, дядя, я найду вам толстого шведа, — вызвался Рох.

— Стану я надевать окровавленное, с трупа! — ответил Заглоба.— Раздень-ка ты лучше того генерала, которого я в плен взял.

— Так вы взяли генерала? — с живостью спросил Чарнецкий.

— Кого я только не взял, каких только подвигов не совершил! — отвечивал Заглоба.

Тут и к Володыёвскому вернулся дар речи.

— Нами захвачены в плен младший маркграф Адольф, граф Фалькенштейн, генерал Венгер, генерал Потер, Бенци, не считая других, чином пониже.

— А маркграф Фридрих?

— Коли здесь не лежит, значит, ушел в леса, да только все равно мужики его убьют!

Володыёвский ошибался. Маркграф Фридрих вместе с графом Шлипенбахом и Эреншайном в ту же ночь лесом добрались до Черска; там они, голодные и холодные, просидели три дня в развалинах замка, а затем ночью отправились в Варшаву. Впоследствии это не спасло их от плена, но на сей раз они уцелели.

Была уже ночь, когда Чарнецкий покинул поле битвы и двинулся к Варке. Это была, быть может, лучшая ночь в его жизни, ибо впервые с самого начала войны шведам было нанесено столь страшное поражение. Захвачены были все пушки, все знамена, все военачальники, кроме самого главнокомандующего; армия была уничтожена, ее жалкие, рассеянные по всему краю остатки неминуемо должны были пасть жертвой мужичьих ватаг. Но мало того — сражение это доказало, что те самые шведы, которые почитали себя непобедимыми в открытом бою, именно в открытом-то бою и не могут тягаться с регулярными польскими хоругвями. И, наконец, Чарнецкий понимал, сколь могучий отклик вызовет слух об этой победе во всей Речи Посполитой, как

страна воспрянет духом, каким боевым огнем загорится; и он уже видел в недалеком будущем свою отчизну освобожденной от гнета, ликующей... А может, и золоченая булава великого гетмана рисовалась его внутреннему взору.

Что ж, он имел право мечтать о ней, ибо шел к ней честным ратным путем, защищая отчизну, и если суждена ему была награда, так не откупом и не подкупом он ее добывал, а заслужил собственной своей кровью.

А пока радость переполняла его, не местилась в груди. Обернувшись к коронному маршалу, который ехал рядом, он воскликнул:

— Теперь под Сандомир! Скорей под Сандомир! Наше войско уже научилось переплывать реки, не страшны нам теперь ни Сан, ни Висла!

Маршал не ответил ни слова, зато Заглоба, ехавший несколько поодаль, переодетый в шведский мундир, не постеснялся заметить вслух:

— Езжайте, езжайте куда хотите, да только без меня; я вам не флюгер на костеле, который ни есть, ни пить не просит, знай вертится без устали во все стороны!

Чарнецкий был так весел, что не только не разгневался, но ответил шутливо:

— Да ты, пан Заглоба, скорее на колокольню похож, чем на флюгер, вон у тебя и воробьи, я слышу, галдят под крышей. Однако *quod attinet* еды и отдыха, это действительно необходимо.

В ответ Заглоба пробормотал, но так, чтобы Чарнецкий не слышал:

— Самому тебе морду исклевали воробьи, вот воробьев и поминаешь!

ГЛАВА X

После этой битвы Чарнецкий разрешил наконец своему войску передохнуть и подкормить измученных коней, после чего он намерен был спешно возвратиться под Сандомир и там осаждать шведского короля до победного конца.

Меж тем в лагерь однажды вечером прибыл Харламп с вестями от Сапеги. Чарнецкий в ту пору уехал в Черск, куда собиралось на смотр равское народное опол-

чение, и Харламп, не застав главнокомандующего, отправился прямо к Володыёвскому отдохнуть после долгого пути.

Друзья радостно бросились ему навстречу, но Харламп был мрачнее тучи; едва переступив порог, он сказал:

— О вашей победе я уже слышал. Здесь счастье нам улыбнулось, а вот под Сандомиром оно нам изменило. Нет уже Карла, упустил его Сапега, и притом с великим для себя конфузом.

— Быть не может! — вскричал Володыёвский, хватаясь за голову.

Оба Скшетуские и Заглоба замерли на месте.

— Как это случилось? Ради бога, рассказывай, а не то мы лопнем от нетерпения!

— Сил нет, — ответил Харламп, — я скакал день и ночь, устал до смерти. Подождите, вот придет пан Чарнецкий, тогда все расскажу *ab ovo*¹, а сейчас дайте дух перевести.

— Так, так удалось-таки Саголусу ускользнуть... А ведь я это предвидел. Как? Вы уже забыли, что я это предсказывал? Спросите Ковальского, он подтвердит.

— Верно, дядя предсказывал! — подтвердил Рох.

— И куда же пошел Саголус? — спросил Харлампа Володыёвский.

— Пехота поплыла на челнах, а сам он с кавалерией отправился берегом Вислы к Варшаве.

— Была битва?

— И была и не была. Короче, оставьте меня в покое, не могу я теперь разговаривать.

— Еще одно слово: неужто Сапега разбит?

— Какое разбит! Целехонек, погнался за королем, да только разве Сапеге кого-нибудь догнать!

— Он такой же мастер гнаться, как немец поститься, — проворчал Заглоба.

— Слава богу, хоть войско цело! — заметил Володыёвский.

— Ну, отличились молодцы-литвины! — воскликнул Заглоба. — Ха! Делать нечего! Опять придется нам всем вместе заделывать дыры в нашей Речи Посполитой.

¹ С самого начала (*лат.*).

— Вы литовское войско не порочьте,— возразил Харламп.— Саголю знаменитый полководец, и проиграть ему стыд не велик. А вы, королевские, не проиграли разве под Уйстем? И под Вольбожем? И под Сулеёвом? И в десяти других местах? Сам Чарнецкий был побит под Голомбом! Диво ли, что и Сапегу побили, тем паче, что вы его бросили, и остался он один, как перст!

— А мы что, по-твоему, на бал ушли? — возмутился Заглоба.

— Знаю, что не на бал, а на бой, и господь послал вам победу. А только, кто его знает, может, лучше было вам и не ходить; говорят же у нас, что порознь наши войска можно разбить, хоть литовское, хоть польское, но вот когда они действуют заодно — сам дьявол им не страшен.

— Может, оно и верно,— сказал Володыёвский.— Но таково было решение вождей, и не нам о том судить. Все же, думается, и вы здесь не без вины.

— Не иначе, Сапезка сваял дурака, уж я его знаю! — сказал Заглоба.

— Спорить не стану! — буркнул себе под нос Харламп.

Какое-то время они молчали, только хмуро поглядывали друг на друга, размышляя о том, что счастье, кажется, вновь начинает изменять Речи Посполитой, а ведь еще так недавно все они полны были самых радужных надежд.

Вдруг Володыёвский сказал:

— Каштелян возвращается.

И вышел на улицу.

Каштелян в самом деле возвращался. Володыёвский побежал ему навстречу и еще издали стал кричать:

— Ваша милость! Шведский король одурачил литвинов и ушел! Прибыл рыцарь с письмами от воеводы виленского.

— Самого его сюда! — крикнул Чарнецкий.— Где он?

— У меня. Сейчас я его приведу.

Но Чарнецкий был так взволнован известием, что не стал дожидаться и, соскочив с коня, сам вошел в квартиру Володыёвского.

При виде его все повскакали с мест, а он, едва кивнув им, потребовал:

— Письмо!

Харламп подал ему запечатанное послание. Каштелян подошел к окну, так как в комнате было темно, и начал читать, озабоченно хмурия брови. Время от времени глаза его загорались гневным огнем.

— Ох, сердит наш пан каштелян,— шепнул Скшетускому Заглоба,— взгляни, как у него рябины на лице покраснели; сейчас и шепелявить начнет,— он от злости всегда шепелявит.

Кончив читать, Чарнецкий сгреб бороду пятерней и довольно долго мял и крутил ее, погружившись в раздумье; наконец он гнусаво, дребезжащим голосом произнес:

— А ну-ка, братец, подойди поближе!

— К услугам вашего превосходительства!

— Говори правду! — сказал Чарнецкий внушительно. — Ибо эта реляция составлена столь искусно, что до сути не доберешься... Правду говори, ничего не смягчай: войско разбежалось?

— Никак нет, милостивый пан каштелян, не разбежалось.

— А сколько вам понадобится времени, чтобы вновь собрать его воедино?

Тут Заглоба шепнул Скшетускому:

— Гляди-ка, хитростью хочет взять.

Однако Харламп ответил, не колеблясь:

— Коли войско не разбежалось, то его и собирать незачем. Правда, к моему отъезду недосчитывалось ополченцев человек двести, и среди павших их тоже не нашли, но это дело обычное, для войска в том беды особой нет, и пан гетман в полном боевом порядке двинул все свои силы в погоню за королем.

— Пушек, говоришь, не потеряли ни одной?

— Нет, потеряли, и не одну, а четыре, их заклепали шведы, так как не могли забрать с собой.

— Вижу, что говоришь правду. Теперь рассказывай все по порядку.

— ...Inсіriam,— начал Харламп.— Остались мы, значит, одни, и тут неприятель обнаружил, что регулярных войск за Вислой нет, а стоят там лишь партизанские отряды да ватаги разгульные. Мы думали, вернее сказать, пан Сапега думал, что шведы станут атаковать

тот берег, и даже послали туда подкрепление, правда, небольшое, чтобы самим не остаться без прикрытия. В лагере шведском шум, суматоха, точно в улье. Под вечер они толпами повалили к Сану. Мы как раз были у воеводы на квартире. Приехал туда пан Кмициц, тот, что теперь зовется Бабиницем, кстати, славный боец, и рассказал. А пан Сапега как раз садился за стол, к нему на пир со всей округи шляхтянки съехались, даже из-под Красника и Янова... наш пан воевода питает слабость к прекрасному полу...

— И к пирам, — прервал его Чарнецкий.

— Меня при нем нет, вот и некому его призвать к воздержанности, — вмешался Заглоба.

А Чарнецкий ему на это:

— Быть может, вы с ним свидитесь раньше, чем ты, сударь, думаешь, тогда вместе будете воздерживаться. — И кивнул Харлампу: — Продолжай.

— Так вот, Бабиниц, стало быть, доложил, а воевода отвечает: «Это они нарочно притворяются, будто хотят наступать! Ничего они не сделают. Скорее, говорит, они попробуют переправиться через Вислу, но я за ними слежу, и если что — сам выйду им навстречу. А пока, говорит, выпьем за наше здоровье и не будем портить себе удовольствия!» И стали мы есть и пить. А тут и музыка загремела и сам воевода открывает танцы.

— Ужо я ему задам танцы! — вставил Заглоба.

— Тише! — сердито сказал Чарнецкий.

— Меж тем с берега опять прибегают с донесением: шведы что-то сильно расшумелись. Воеводе все нипочем! Трах оруженосца по уху: «Не лезь, куда не просят!» Проплясали мы до рассвета, потом проспали до полудня. А как проснулись, видим — у шведов выросли мощные шанцы, а на шанцах стоят тяжелые пушки, картоуны, и постреливают время от времени. А уж ядра — не ядра, а целые ведра! Хлопнет такое одно — в глазах темно...

— Не балагурь, — одернул его Чарнецкий, — не с гетманом разговариваешь!

Харламп сильно смутился и продолжал так:

— В полдень выехал сам воевода, а шведы под прикрытием своих шанцев уже начали строить мост. Строили до самого вечера, и это нам показалось весьма уди-

вительно: ну, думаем, построить они его построят, но ведь как им по нему перейти! На другой день смотрим, все строят. Тут уж и воевода начал готовить войска к бою, решив, что без баталии не обойдется...

— На самом же деле мост был только для отвода глаз, а переправились они ниже, по другому мосту, и ударили на вас с фланга? — прервал его Чарнецкий.

Харламп только вытаращил глаза и рот открыл от изумления; наконец он проговорил:

— Так вы уже получили донесение, ваше превосходительство?

— Что и толковать! — прошептал Заглоба. — В военном деле наш старик собаку съел, любой маневр разгадает, словно своими глазами видел!

— Продолжай! — приказал Чарнецкий.

— Наступил вечер. Войска стояли наготове, однако с первой звездой гетман снова сел пировать. Меж тем шведы в то же утро переправились по другому мосту, построенному ниже, и сразу пошли в наступление. Ближе всех к ним стоял со своей хоругвью Кошиц, отличный боец. Он и принял на себя удар. На помощь ему бросились ополченцы, стоявшие по соседству, но шведы пальнули по ним из пушек — они и давай бог ноги! Кошиц погиб и людей у него порядочно перебили. А ополченцы гурьбой ворвались в лагерь, и вот тут-то и началась суматоха. Сколько было у нас готовых хоругвей, все пошли на шведа, да все без толку, мы еще и пушки потеряли. Будь у короля побольше артиллерии и пехоты, разбили бы они нас в пух и прах, но, на наше счастье, большинство его пеших полков вместе с пушками ушли ночью на челнах, а мы об этом и понятия не имели.

— Недоглядел Сапежка! Так я и знал! — воскликнул Заглоба.

— К нам в руки попало королевское письмо, которое обронили шведы, — сказал Харламп. — В нем, по словам читавших, говорится, будто король намерен пойти в Пруссию, взять там войска курфюрста и с ними вернуться назад, ибо, как он пишет, одними шведскими силами ему не обойтись.

— Знаю, — ответил Чарнецкий, — пан Сапега прислал мне это письмо. — И негромко, словно бы про себя,

пробормотал: — Придется и нам за ним следом в Пруссию идти.

— А я что все время говорю? — подхватил Заглоба.

Чарнецкий задумчиво посмотрел на него, а вслух сказал:

— Не посчастливилось! Не успел я вовремя под Сац-домир, а то бы вдвоем с гетманом никого оттуда живьем не выпустили... Ну ладно, что пропало, того не воротишь. Войне суждено продлиться, но рано или поздно придет ей конец, а с нею и нашим супостатам.

— Так и будет! — хором воскликнули рыцари.

И сердца их, перед тем исполненные сомнений, вновь загорелись надеждой.

Тут Заглоба торопливо шепнул что-то на ухо арендатору Вонсоши, тот исчез за дверью и через минуту вернулся, неся в руках жбан. Володыёвский низко поклонился каштеляну.

— Окажите великую милость своим верным солдатам...— начал он.

— Я охотно выпью с вами,— сказал Чарнецкий,— и знаете, по какому случаю? По случаю нашего с вами прощанья.

— Как так? — вскричал изумленный Володыёвский.

— Сапега пишет, что лауданская хоругвь принадлежит литовскому войску и послал он ее лишь сопровождать короля. А теперь она нужна ему самому, в особенности офицеры, коих у него большая нехватка. Друг мой Володыёвский, ты знаешь, как я тебя люблю, и тяжело мне с тобой расставаться, но в письме есть для тебя приказ. Правда, Сапега, как человек учтивый, прислал его мне, на мое усмотрение. Я мог бы его тебе и не показывать... Ну и ну, удружил мне пан гетман! Да лучше бы он мою самую острую саблю сломал... Однако ж именно потому, что Сапега полагается на мою любовь, я отдаю этот приказ тебе. Вот он, возьми и исполни свой долг. За твое здоровье, сынок!..

Володыёвский снова низко поклонился каштеляну и осушил кубок. Он был так опечален, что не мог вымолвить ни слова, а когда каштелян обнял его, по желтым усикам пана Михала ручьем потекли слезы.

— Лучше бы мне умереть! — горестно воскликнул он. — Я привык побеждать под твоим началом, мой возлюбленный вождь, а как там будет, еще неизвестно...

— Да плюнь ты, Михась, на приказ! — сказал взволнованный Заглоба. — Я сам напишу Сапезке и намылю ему голову.

Но пан Михал был прежде всего солдатом, поэтому Заглобе же от него и досталось:

— Эх, пан Заглоба, старая вольница! Молчи уж лучше, коли дела не понимаешь! Служба есть служба!

— То-то и оно! — заключил Чарнецкий.

ГЛАВА XI

Заглоба, представ перед гетманом, не ответил на радостное его приветствие, а заложил руки за спину, выпятил губы и устремил на Сапегу взор, полный справедливого негодования. Гетман, видя Заглобину мину и предвкушая потеху, обрадовался еще больше и тотчас заговорил:

— Как дела, старый плут? Ты что это носом крутишь, словно тут плохо пахнет?

— Кислой капустой пахнет по всему Сапегину стану!

— Капустой? Это отчего же, скажи на милость?

— Да, видно, от тех капустных кочнов, что шведы тут нарубили.

— Ишь ты! До чего же скор на укор! Жаль, что и тебя не зарубили!

— Тот, под чьим началом я служил, сам бьет врага, а своих под нож не подставляет.

— О, чтоб тебя!.. Хоть бы кто язык тебе отрезал!

— А чем бы я тогда прославлял Сапегины победы?

Понурился тут гетман и сказал:

— Эх, братец, оставь! И без тебя хватает таких, кто, позабыв все мои перед отчиной заслуги, измывается надо мной, как может. И долго еще люди будут меня осуждать, знаю сам, а ведь если б не злосчастные эти ополченцы, все могло обернуться иначе. Вот, говорят, мол, Сапега за утренней трапезой неприятеля прозевал, а ведь с этим неприятелем не смогла справиться вся Речь Посполитая!

Слова гетмана несколько смягчили Заглобу.

— Таков уж наш обычай, — сказал он, — во всех неудачах первым делом винить вождя. За трапезу пори-

цать тебя не стану, перед трудным днем подкрепиться не грех. Пан Чарнецкий — великий воин, но, на мой вкус, есть у него один недостаток: войско свое он и на завтрак, и на обед, и на ужин кормит сплошь одной шведятиной. Конечно, воюет он лучше, чем кухарит, а все же это нехорошо, — ведь от этой пищи и самому закаленному рыцарю скоро воевать расхочется.

— Чарнецкий, верно, крепко на меня сердит?

— Э!.. Не очень! Сначала, правда, пошумел, но как узнал, что войско цело, так сразу и сказал: «Ну, знать, такова воля божья! Ничего, говорит, с каждым может случиться; если б, говорит, все у нас были похожи на Сапегу, страна наша уподобилась бы родине Аристида».

— Я бы за Чарнецкого всю кровь свою отдал! — воскликнул гетман. — Другой рад был бы удвоить собственную славу ценою моего унижения, тем более, после победы, которую сам только что одержал, но Чарнецкий не таков!

— Всем он хорош, слов нет, да только стар я уже для той службы, какой он требует от солдата, особенно же для купаний, которые он нам устраивал.

— Так ты рад, что вернулся ко мне?

— И рад и не рад, ибо разговоров про еду много, а самой еды что-то не видать.

— Сейчас сядем за стол. А что пан Чарнецкий намерен делать дальше?

— Пойдет в Великую Польшу, подсобит тамошним горемыкам, а оттуда двинется на Стенбока и в Пруссию — авось Гданск даст ему пушек и пехоты.

— Гданчане — настоящие патриоты! Пример для всей Речи Посполитой! Ну, так мы встретимся с Чарнецким под Варшавой, я тоже туда пойду, вот только под Люблином придется немного задержаться.

— А что, его опять шведы заняли?

— Несчастный город! Уж и не знаю, сколько раз он побывал в руках неприятеля. Тут прибыла депутация от люблинской шляхты, сейчас придут просить, чтобы я их выручил. Но мне надо отправить письмо королю и гетманам, придется им подождать.

— В Люблин и я охотно пойду, уж очень там бабы хороши, гладкие да пышные. Даже каравай бесчувственный, и тот от удовольствия краснеет, когда этакая бабенка прижмет его к груди, чтоб нарезать!

— Экий турка!

— Ваша милость человек пожилой, вам это непонятно, а мне до сих пор каждый год в мае приходится кровь себе пускать.

— Да ведь ты постарше меня будешь!

— Старше лишь опытом, не годами, а что я сумел *conservare iuventutem meam*¹, это верно, тут мне многие завидуют. Давайте, ваша милость, я сам приму депутацию, пообещаю, что мы скоро придем им на помощь, пусть утешатся бедные люблинцы, а потом мы и бедных люблянок утешим.

— Ладно,— сказал гетман,— а я пойду отправлять письма.

И вышел.

Тотчас впустили люблинскую депутацию, которую Заглоба принял с чрезвычайной важностью и достоинством, обещал помочь, однако поставил условие: люблинцы должны были снабдить войско провиантом, а главное — всевозможными напитками. Затем он пригласил их от имени воеводы на ужин. Послы были довольны, так как войска еще той же ночью выступили к Люблину. Гетман сам торопил и подгонял, так хотелось ему новыми военными успехами смыть с себя сандомирский позор.

Началась осада, но дело подвигалось медленно. Все это время Кмициц обучался фехтовальному искусству у Володыёвского и делал необычайные успехи. Пан Михал, зная, что эта наука обратится против Богуслава, открывал ученику все свои тонкости, без малейшей утайки. Нередко случалось им применять эти уроки и на практике, они вызывали из крепости шведов на поединок и порубили их великое множество. Вскоре Кмициц достиг такого совершенства, что не уступал самому Яну Скшетускому, а во всем Сапегиним войске не было никого, кто мог бы померяться силами со Скшетуским. И тут его обуяло такое страстное желание сразиться с Богуславом, что он едва мог усидеть под Люблином, тем более что с приходом весны к нему вернулись силы и здоровье.

Все его раны зажили, он перестал харкать кровью, в душе закипела прежняя удадь, и глаза засверкали

¹ Сохранить свою молодость (лат.).

прежним огнем. Лауданцы сначала косились на него, но задевать не смели, сдерживаемые железной рукой Володыёвского, позднее же, видя, каковы его поступки и дела, примирились с ним совершенно, и даже Юзва Бутрым, злейший его враг, говорил:

— Кмицица больше нет, есть Бабиниц, а Бабиниц пусть живет на здоровье!

Наконец, к величайшей радости всего войска, люблинский гарнизон сдался и Сапега двинулся к Варшаве. По дороге гетман получил донесение, что сам Ян Казимир вместе с гетманами и со свежими войсками спешит ему на помощь. Пришли вести и из Великой Польши, от Чарнецкого, который также спешил к столице. Войска, разбросанные по всей стране, теперь сходились к Варшаве, подобно тучам, разбросанным по небосводу, которые сходятся и соединяются в одну огромную тучу, готовую разразиться бурей, громами и молниями.

Сапега шел через Желехов, Гарволин и Минск до седлецкого тракта, чтобы там соединиться с подляшским ополчением. Ополченцев принял под свою команду Ян Скшетуский, который жил, правда, в Люблинском воеводстве, но близ границы с Подляшьем, и потому был хорошо известен тамошней шляхте, уважавшей в нем одного из самых славных рыцарей Речи Посполитой. И вскоре его стараниями из этой шляхты, воинственной от природы, образовались хоругви, ничем не уступавшие регулярной армии.

А куда они скорым маршем двигались от Минска к Варшаве, стремясь дойти до Праги за один день. Погода благоприятствовала походу. Порой, неся прохладу и прибывая пыль на дороге, налетал легкий майский дождичек, а в общем погода была чудесная, не слишком жаркая, не слишком холодная. В прозрачном воздухе глаз видел далеко-далеко. От Минска войска шли налегке, обоз и пушки должны были выйти следом на другой день. В полках царило необычайное воодушевление; густые леса, обступавшие тракт с обеих сторон, наполнились эхом солдатских песен, лошади фыркали, а это был добрый знак. Стройными рядами текли одна за другой хоругви, подобные могучей, сверкающей на солнце реке; шутка ли, двенадцать тысяч человек, не считая ополченцев, вел с собой Сапега. Ротмистры, гарцевавшие перед полками, сверкали начищенными доспехами. Пестрые

знамена, похожие на огромные цветы, колыхались над головами бойцов.

Солнце заходило, когда лауданцы, шедшие в авангарде, увидели башни столицы. Из солдатских грудей вырвался радостный крик:

— Варшава! Варшава!

Точно гром, прокатился этот крик по хоругвям, и какое-то время по всей дороге только и слышно было:

— Варшава! Варшава!..

Многие из рыцарей Сапеги никогда не бывали в столице, и теперь ее вид произвел на них необыкновенное впечатление. Все невольно придержали коней; кто снял шапку, кто начал креститься; у многих хлынули слезы из глаз, и они стояли взволнованные, безмолвные. Внезапно из последних отрядов вылетел на белом коне Сапега и помчался вдоль всего войска.

— Друзья! — воскликнул он зычным голосом. — Мы пришли первые! Нам выпало это счастье и честь!.. Изгоним же шведов из столицы!

— Изгоним!.. — подхватило двенадцать тысяч литовских глоток. — Изгоним! Изгоним! Изгоним!..

И поднялся шум и гам. Одни повторяли: «Изгоним!», другие уже кричали: «Бей, кому честь дорога!», третьи: «Вперед, изничтожим собак проклятых!» Лязг оружия сливался с воинственными кликами. Глаза загорались огнем, из-под грозных усов засверкали зубы. Сам Сапега вспыхнул, точно факел, взметнул кверху булаву и крикнул:

— За мной!

Близ Праги воевода приостановил хоругви и велел двигаться шагом. Столица все отчетливее рисовалась в синеватой дали. Длинный ряд башен вздымался в голубое небо. Многоярусные крыши Старого Мяста, покрытые красной черепицей, пылали в лучах вечернего солнца. Никогда в жизни не видели литвины такого великолепия, таких гордых, белых, испещренных узкими окнами стен, которые наподобие крутых уступов нависали над самой водой. Дома, казалось, вырастали один из другого, все выше и выше; и над всей этой массой заборов, стен, окон и крыш, тесно жавшихся друг к другу, устремлялись в небо стройные башни. Те, кто побывал уже в столице — на выборах короля или по своим делам, рассказывали остальным, где что стоит и как какое

здание называется. Особенно распространялся перед своими лауданцами Заглоба, частый столичный гость, а лауданцы прилежно внимали его словам, дивясь всему, что видели и слышали.

— Взгляните вон на ту башню, что как раз посреди Варшавы,— говорил он.— Это *arx regia!*¹ Проживи я столько лет, сколько съел за королевским столом обедов, я посрамил бы самого Мафусаила. Я был у короля самым приближенным лицом; выбрать хорошее староство было для меня все равно, что орех раскусить, а раздавал я их налево и направо, не глядя. Многих я облагодетельствовал, а когда входил куда-нибудь, все *senatores*² мне в пояс кланялись, по-казацки. Не раз случалось мне также биться перед королем на поединках, король любил смотреть на мою работу, и уж тут маршалу приходилось на это закрывать глаза.

— Экий домина! — сказал Рох Ковальский.— И подумать только, что везде здесь засели шведские собаки!

— И грабят страшно! — добавил Заглоба.— Говорят, они даже колонны, которые из мрамора либо другого дорогого камня, выламывают из стен и вывозят в Швецию. Не узнать мне теперь милых сердцу мест, а ведь многие *scriptores*³ почитают, и справедливо, этот замок восьмым чудом света, ибо даже у французского короля дворец хоть и изрядный, а нашему в подметки не годится.

— А что это за башня рядом, с правой стороны?

— Это костел святого Яна. Из замка есть туда внутренний переход. В этом костеле было мне откровение. Раз после вечерни задержался я там и вдруг слышу голос из-под свода: «Заглоба, будет война с сукиным сыном шведским королем и настанут великие *calamitates*»⁴. Помчался я во весь дух к королю и рассказываю, что слышал, а ксендз примас как огреет меня по шее своим посохом: «Не болтай вздора, ты был пьян!» Теперь вот получили... А другой костел, рядом с тем, это *collegium Iesuitarum*;⁵ третья башня поодаль — это курия, четвертая, справа,— дворец маршала, а вон та зе-

¹ Королевский замок (лат.).

² Сенаторы (лат.).

³ Писатели (лат.).

⁴ Несчастья, беды (лат.).

⁵ Школа иезуитов (лат.).

леная крыша — это Доминиканский костел; всего не перечислишь, хоть целый час молоти языком, как саблей.

— Другого такого города, пожалуй, и в мире нет! — воскликнул один из солдат.

— Потому-то нам все народы и завидуют.

— А вон то чудесное здание налево от замка?

— За костелом Бернардинцев?

— Ну да.

— Это palatium¹ Радзеёвских, а прежде — Казановских. Он считается девятым чудом света, только пропади он пропадом, из этих-то стен и пошли все беды Речи Посполитой.

— Как это? — раздалось несколько голосов.

— Начал пан подканцлер Радзеёвский с женой ссориться да свариться, а король возьми да заступись за нее. Люди, известное дело, стали об этом толковать, да и сам подканцлер решил, что жена его влюблена в короля, а король в нее: вот он от срама и убежал к шведам, так война и началась. Правда, меня тогда в городе не было, и как это кончилось, я не видел, знаю только по рассказам; но уж мне-то известно, что ее нежные взоры предназначались не королю, а кое-кому другому.

— Кому же?

Заглоба подкрутил ус.

— Тому, на кого все женщины летели, что мухи на мед, да только имени называть не хочу, хвастуны мне всегда были ненавистны... Что поделаешь, постарел человек, постарел и весь облез, как метла, пока выметал врагов из отчизны, а ведь когда-то не было кавалера красивее и любезнее меня, пусть Рох Ковальский подтверд... — Тут пан Заглоба сообразил, что Рох никоим образом не мог помнить те времена, а потому лишь рукой махнул и докончил: — Э, да где ему знать!

После этого он еще показал своим товарищам огромный дворец Оссолинских и Конецпольских, который величиною почти равен был дворцу Радзеёвских, и, наконец, великолепную villa regia². Тут солнце зашло, и вокруг стала сгущаться ночная тьма.

На варшавских стенах прогремел пушечный выстрел и протяжно запела труба, возвещающая приближение неприятеля.

¹ Дворец (лат.).

² Королевскую усадьбу (лат.).

Пан Сапега и сам объявил о своем прибытии пальбой из самопалов, дабы подбодрить жителей столицы, и в ту же ночь начал переправлять войско через Вислу. Первой переправилась лауданская хоругвь, за ней хоругвь Котвича, за нею татары Кмицица, потом хоругвь Ваньковича, всего восемь тысяч человек. И вот шведы, вместе со всею награбленной ими добычей, окружены и лишены всякого привоза, а Сапега вынужден стоять и ждать, когда подойдет с одной стороны Чарнецкий, а с другой король с коронными гетманами; пока же остается лишь следить, чтобы в город не проникло подкрепление шведам.

Первым подал о себе весть Чарнецкий, но весть эта была нерадостная. Все его войско, люди и кони, так измучены,— писал каштелян,— что в настоящее время он не может принять участия в осаде. После битвы под Варкой он изо дня в день, без роздыха, бился с врагом, всего же за первые месяцы этого года дал шведам двадцать одно большое сражение, не считая мелких стычек и нападений на небольшие отряды. Пехоты на Поморье он не получил, до Гданска добраться не смог, самое большее, что он обещал, это удерживать всеми силами стоящую подле Нарева шведскую армию, во главе с Радзивиллом, братом короля и Дугласом, которые намерены были двинуться на помощь осажденным.

Тем временем шведы с присущим им мужеством и искусством готовились к обороне. Прага была ими сожжена еще до прихода Сапеги, теперь они стали забрасывать гранатами все предместья — Краковское, Новый Свят, а также костелы святого Ежи и девы Марии. И запылали дома, дворцы и храмы. Днем дым клубился над городом густыми черными тучами. Ночью эти тучи озарялись красным светом, и из них вырывались, устремляясь к небу, снопы искр. Под стенами города блуждали толпы жителей, лишенных крова и куска хлеба; женщины окружали лагерь Сапеги и, плача, зывали к его милосердию. От голода люди высыхали, как щепки, младенцы умирали голодной смертью в объятиях изможденных матерей; поистине то была юдоль скорби и горя.

Сапега, не имея в своем распоряжении ни пехоты, ни пушек, все ждал и ждал, когда же подойдет король, а тем временем помогал, как мог, несчастным, рас-

сылая их партиями в менее разоренные местности, где они могли хоть как-то прокормиться. Немало также он был озабочен трудностями предстоящей осады, ибо ученые шведские инженеры превратили Варшаву в могучую твердыню. За стенами сидели три тысячи отлично вымуштрованных солдат, руководимых толковыми, опытными генералами, да и вообще шведы славились как мастера по части осады и обороны всевозможных крепостей. Чтобы развеять свою тревогу, пан гетман каждый вечер задавал пиры, где вино лилось рекой, — был за Сапегой, достойным гражданином и недюжинным полководцем, этот грех: превыше всего ценил он веселую компанию и звон бокалов, порою ради пирушки пренебрегая даже службой.

Зато днем он своим усердием искупал все вечерние грехи. До самого заката он неутомимо рассылал патрули, отправлял письма, сам объезжал стражу, сам допрашивал пойманных языков. Но едва лишь загоралась первая звезда, из его квартиры уже неслись звуки скрипки, а стоило пану гетману разгуляться, тут он уж позволял себе все, — бывало, даже посылал и за теми офицерами, которых сам же назначил идти в дозор или на вылазку, и, если кто из них не являлся, был весьма недоволен, ибо любил, чтоб у него на пиру было людно. Заглоба по утрам пилил его за это, но по вечерам частенько Заглобу самого мертвецки пьяного приносили слуги на квартиру к Володыёвскому.

— Сапезка и святого совратит с пути истинного, — оправдывался он на другой день перед друзьями, — а уж меня, который всегда не прочь повеселиться, и подавно. Гетману почему-то особенно нравится потчевать меня вином, ну, а я, не желая показаться перед ним невежей, уступаю его настояниям, ибо не в моем обычае обижать хозяина. Но я уже дал обет, велю на рождественский пост крепче лупить меня по спине плетью, я ведь и сам понимаю, что за распущенность положена епитимья. А пока придется не отставать от него, иначе он, того гляди, попадет в дурную компанию и окончательно сойдет с толку.

Многие офицеры и без гетманского надзора честно несли свою службу, но некоторые по вечерам забывали о ней совершенно, как это обычно бывает с солдатами, переставшими чувствовать железную руку командира.

Неприятель не замедлил воспользоваться этим.

Однажды, за несколько дней до прибытия короля и гетманов, Сапега на радостях, что все войска собираются вместе и теперь начнется правильная осада, устроил особенно пышный пир. Приглашены были все самые именитые офицеры; пан гетман, радуясь законному поводу для веселья, объявил, что пир дается в честь короля. К Скшетуским, Кмицицу, Заглобе, Володыёвскому и Харлампу послан был даже нарочный с приглашением непременно явиться, так как гетман желает особо почтить их за их великие заслуги. Пан Анджей как раз садился на коня, он собирался в разъезд, и гетманский адъютант застал его татар уже за воротами.

— Неужели, ваша милость, ты нанесешь пану гетману такую обиду и заплатишь неблагодарностью за его доброту? — воскликнул офицер.

Кмициц спешился и пошел советоваться с товарищами.

— Уж очень мне это не кстати, — сказал он. — Около Бабиц, говорят, появился крупный конный отряд. Гетман сам же и велел мне ехать и разузнать, что это за люди, а теперь зовет на пир! Что делать?

— Пан гетман приказал в разъезд идти Акба-Улану, — ответил адъютант.

— Приказ есть приказ, — вмешался Заглоба, — и солдат обязан ему подчиняться. Смотри, не подавай дурного примера, да и к чему навлекать на себя недовольство гетмана, это опасно.

— Передай, что я буду! — сказал нарочному Кмициц.

Офицер ушел. Затем уехали и татары во главе с Акба-Уланом, а пан Анджей пошел принарядиться; одеваясь, он говорил товарищам:

— Сегодня пир в честь его королевского величества; завтра будет пир в честь их милостей панов коронных гетманов, и так до самого конца осады.

— Пусть только подойдет король, — это сразу кончится, — ответил Володыёвский, — хоть милостивый государь наш тоже, бывает, любит запить горе вином, однако при нем служба пойдет исправней, поскольку каждый, в том числе и Сапега, постарается выказать свое рвение.

— Слишком, слишком всего этого много, что и говорить! — сказал Ян Скшетуский. — Не странно ли вам именно у Сапеги, столь разумного и рачительного вое-

начальника, столь честного человека и достойного гражданина, видеть такую слабость?

— Как вечер наступит, так он другой человек и из великого гетмана превращается в гуляку!

— А знаете, почему мне так не нравятся эти пиры? — промолвил Кмициц. — Потому что и Януш Радзивилл тоже имел обыкновение каждый вечер пировать. И представьте, удивительное совпадение: что ни пир, непременно или какая беда случится, или придут дурные вести, или откроется новая гетманская измена. Слепой ли это случай или промысл божий — не знаю, но только все беды сваливались на нас именно во время пира. Ей-богу, под конец до того дошло, что, чуть начнут накрывать на стол, нас, бывало, от страха прямо в дрожь кидает.

— Верно, черт подери! — подхватил Харламп. — Но это было еще и потому, что князь имел обыкновение как раз во время пира оповещать о своих тайных переговорах с врагами отчизны.

— Ну, — отозвался Заглоба, — уж в этом отношении нам за нашего Сапезку можно не опасаться. Уж он-то не изменит, голову даю на отсечение.

— Еще бы, тут и говорить нечего! Он душа благородная, совсем из другого теста! — воскликнул Володьёвский.

— А чего вечером недоглядит, исправит днем, — добавил Харламп.

— Ну, так идемте же, — сказал Заглоба, — а то, по правде говоря, я уже чувствую васишт¹ в брюхе.

Они вышли и, сев на коней, отправились к гетманской квартире, которая была с другой стороны города, довольно далеко. Подъехав ко двору, они увидели там множество коней и целую ораву державших их челядинцев, для которых была выставлена огромная бочка пива; челядинцы; перепившись, уже завели вокруг бочки, по обыкновению, свару. Впрочем, при виде подъезжавших рыцарей они попритихли, тем более что Заглоба принялся плашмя лупить саблей всех, кто попадался ему на пути, восклицая зычным голосом:

— К лошадям, бездельники! К лошадям! Вас тут на пир не приглашали!

¹ Пустоту (лат.).

Сапега, как обычно, принял друзей с распростертыми объятиями и, будучи уже слегка навеселе, тотчас принялся поддразнивать Заглобу:

— Бью челом пану региментарию!

— Бью челом пану виночерпию! — отвечал Заглоба.

— А коли я виночерпий, то сейчас зачерпну тебе такого вина, что еще бродит!

— Не то вино опасно, которое бродит, а то, которое гетмана до беспамятства доводит.

Иные из гостей, слыша это, испугались, но Заглоба всегда давал волю языку, когда видел, что гетман в хорошем настроении, Сапега же питал к нему такую слабость, что не только не гневался, но веселился от души, призывая окружающих в свидетели того, как обходится с ним этот шляхтич.

И начался пир, веселый и шумный. Сам Сапега то пил за здоровье гостей, то провозглашал здравицу в честь короля, гетманов, в честь польского и литовского войска, в честь Чарнецкого и всей Речи Посполитой. Веселье росло, а с ним возрастал и всеобщий шум и гомон. После здравниц настала очередь песен. Пар от горяченных тел смешивался с винными парами. Не меньший шум стоял и во дворе, а вскоре послышался и лязг оружия. Это слуги схватились за сабли. Несколько шляхтичей выскочили во двор, желая призвать их к порядку, но неразбериха от этого только усилилась.

И вдруг раздались столь громкие крики, что даже пирующие в доме замолкли.

— Что это? — спросил кто-то из полковников. — Не челядь же это орет?

— А ну-ка, милые гости, потише! — сказал встревоженный гетман, прислушиваясь.

— Это не просто спьяну кричат!

Внезапно окна задрожали от орудийных раскатов и мушкетной пальбы.

— Атака! — крикнул Володыёвский. — Противник пошел в наступление!

— По коням! В сабли!

Все повскакали с мест. В дверях сделалась давка, затем толпа офицеров высыпала на майдан, крича востовым, чтобы подавали лошадей.

Но в суматохе нелегко было найти своего коня, а тем временем из темноты неслись тревожные голоса:

— Неприятель наступает! Котвич под обстрелом!

И каждый, перескакивая в темноте через изгороди, сломя голову помчался к своей хоругви. Тревога быстро распространилась по всему лагерю. Не во всех хоругвях кони были под рукой, там-то и началось замешательство. Толпы пеших и конных солдат, крича и галдя, топтались в кромешной тьме, налетали друг на друга, не могли разобрать, где свои, где противник. Кто-то кричал уже, что это наступает шведский король со всею армией.

В самом деле, по хоругви Котвича неожиданно и с большой силой ударил шведский отряд. Котвич по причине недомогания, к счастью, на пир не пошел и потому смог сдержать первый натиск, но вскоре вынужден был отступить, так как численный перевес был на стороне нападающих, которые осыпали его огнем из мушкетов.

Первым к нему на помощь пришел Оскерко со спешившимися драгунами. На выстрелы шведов загремели ответные выстрелы. Но и драгуны Оскерко также не могли долго выдерживать натиск врага и вскоре начали поспешно отходить, устилая поле трупами. Дважды бросался Оскерко в бой и дважды его драгуны, едва успевая отстреливаться, рассыпались по полю. Под конец шведы разметали их во все стороны и неудержимым потоком хлынули к гетманской квартире. Из города выходил полк за полком; шла и пехота, и кавалерия, выкатывались даже полевые пушки. Дело шло к генеральному сражению, которого, казалось, жаждал неприятель.

Между тем Володыёвский, выбежав из квартиры гетмана, застал свою хоругвь уже на ходу; она бросилась на выстрелы по первой тревоге, так как всегда находилась в боевой готовности. Вел ее Рох Ковальский, который не был на пиршестве, как и пан Котвич, но по иной причине, — его попросту не пригласили. Володыёвский велел спешно поджечь несколько сараев, чтобы осветить себе путь, и поскакал к месту боя. По дороге к нему присоединился Кмициц со своими грозными волонтерами и той частью татар, что не пошла в разъезд. Оба они подошли, как раз вовремя, чтобы спасти Котвича и Оскерко от полного разгрома.

К тому времени сарай хорошо разгорелся, и стало светло, как днем. При свете пожара лауданцы, поддержанные Кмицицем, атаковали полк пехотинцев и, невзирая на огонь, пустили в ход сабли. На помощь своим бро-

сились шведские рейтары и вступили в ожесточенную схватку с лауданцами. Какое-то время ни одна из сторон не могла взять верх,— так борцы, обхватив друг друга за плечи, собирают все свои силы, и то один, то другой пригибают противника к земле; но вскоре шведский строй стал сильно редеть и наконец сломался. Кмициц со своими рубаками бушевал в самой гуще боя; Володыёвский, как обычно, расчищал перед собой широкую просеку; плечо к плечу с ним трудились на кровавой ниве оба великана Скшетуских, и Харламп, и Рох Ковальский; лауданцы махали саблями наперегонки с бойцами Кмицица, одни — с неистовыми криками, другие, как, например, Бутрымы, разом наваливались на врага, не издавая ни звука.

На помощь дрогнувшим шведам поспешили новые полки, а Володыёвского и Кмицица поддержал Ванькович, который стоял неподалеку от них и также быстро изготовился к бою. А тут и гетман бросил наконец в бой все остальное войско и ударил на врага как следует. По всему пространству от Мокотова до самой Вислы закипела жестокая битва.

К гетману подскочил на покрытом пеной коне Акба-Улан, который ходил в разъезд.

— Эффенди! — крикнул он.— От Бабиц к городу чамбул идет, с ними целый обоз, хотят в город пробраться!

В мгновение ока Сапега понял, что означала вылазка врага в сторону Мокотова. Шведы хотели отвлечь войска, стоявшие на блонском тракте, дабы конное подкрепление и обоз с провиантом могли проникнуть в стены города.

— Скачи к Володыёвскому! — крикнул он Акба-Улану.— Пусть лауданцы, Кмициц и Ванькович отрежут им путь, а я сейчас пришлю им людей на подмогу!

Акба-Улан стегнул коня; за ним следом поскакал второй гонец, а за вторым и третий. Все они доскакали до Володыёвского и передали ему приказ гетмана.

Володыёвский немедленно повернул свою хоругвь; тотчас догнал его, проломив неприятельские ряды, Кмициц с татарами, и они поскакали вместе, а Ванькович за ними.

Но они опоздали. Почти двести повозок уже въезжало в ворота, а отряд превосходной тяжелой артиллерии, замыкавший обоз, почти весь уже находился под прикрытием крепостных пушек. Лишь арьергард, около сотни

человек, был еще в открытом поле. Но и они мчались во весь опор, подгоняемые криками скакавшего сзади офицера.

Вдруг Кмициц, разглядев рейтар при свете горящих сараев, так страшно и пронзительно вскрикнул, что рядом кони шарахнулись в испуге. Он узнал конников Богуслава, тех самых, которые учинили расправу над ним и его татарами под Яновом.

Не помня себя, он пришпорил коня, опередил всех своих и как бешеный врезался во вражеские ряды. К счастью, оба молодых Кемлича, Косьма и Дамиан, под которыми были отличные кони, кинулись следом за ним. В тот же миг Володыёвский молниеносно вклинился сбоку и одним движением отрезал арьергард от основных сил отряда.

На стенах загремели пушки, но большая часть отряда, бросив своих товарищей на произвол судьбы, уже влетела вслед за обозом в крепость. Тут же люди Кмицица и лауданцы окружили тесным кольцом отставших, и началась беспощадная резня.

Но длилась она недолго. Люди Богуслава, видя, что помощи ждать неоткуда, мигом поспрыгивали с коней и побросали оружие, крича истошными голосами: «Сдаемся!» — и заботясь лишь о том, чтобы их услышали в этой свалке.

Ни волонтеры, ни татары не обращали на их вопли внимания и продолжали рубить, пока не раздался грозный и пронзительный крик Володыёвского, которому нужен был язык.

— Живьем брать! Эге-гей! Живьем брать!

— Живьем брать! — подхватил Кмициц.

Лязг железа утих. Вязать пленных приказали татарам, и они с обычной своей сноровкой сделали это в мгновение ока, после чего хоругви спешно стали уходить из-под артиллерийского огня.

Полковники двинулись к горящим сараям. Впереди шли лауданцы, а сзади люди Ваньковича, Кмициц с пленными — посередине; все в полной боевой готовности на случай возможного нападения. Часть татар вела на арканах пленных, другие вели на поводу захваченных коней. Около сараев Кмициц стал внимательно разглядывать пленных, проверяя, нет ли среди них Богуслава. Хоть ему и поклялся один рейтар, которому он приставил

кинжал к груди, что самого князя не было в отряде, пан Анджей все еще надеялся — а ну как его скрывают?

Но тут из-под татарского стремена раздался чей-то голос:

— Пан Кмициц! Полковник! Мы знакомы, спаси меня. Прикажи развязать, слово чести, что не убегу!

— Гасслинг! — воскликнул Кмициц.

Гасслинг был шотландец, в прошлом офицер в одном из кавалерийских отрядов князя воеводы виленского; Кмициц знал его по Кейданам и в свое время очень любил.

— Пусти пленника! — крикнул он татарину. — И долой с коня!

Татарина точно ветром сдуло, он знал, как опасно мешкать, когда приказывает «багадыр».

Гасслинг, кряхтя, взобрался на высокое татарское седло.

Вдруг Кмициц схватил его за руку, так стиснул, точно хотел раздавить, и стал лихорадочно спрашивать:

— Откуда едете? Тотчас говори, откуда едете! Ради бога, скорее!

— Из Таурогов! — ответил офицер.

Кмициц еще сильнее сжал его руку.

— А... панна Биллевич... там?

— Там!

Пан Анджей говорил все с большим трудом, потому что все крепче стискивал зубы.

— И... что князь с нею сделал?

— Ничего не добился.

Наступило молчание, потом Кмициц снял рысий колпак, провел рукою по лбу и тихо промолвил:

— Ранили меня в этом бою, кровь идет, и ослабел я...

ГЛАВА XII

Шведская вылазка достигла цели лишь частично; благодаря ей отряд Богуслава вошел в город, но сама по себе она особого значения не имела. Правда, хоругвь Котвича и драгуны Оскерко понесли изрядные потери, но и шведов было перебито немало, а один полк пехоты, тот, который атаквали Володыёвский с Ваньковичем, был почти полностью уничтожен. Литвины уверяли даже, что

неприятель понес больший урон, чем они сами; один лишь Сапега терзался, опасаясь, что этот новый «конфуз» может сильно повредить его репутации. Верные полковники гетмана утешали его, как могли, да, правду сказать, урок этот пошел ему на пользу, впредь он уже не предавался веселью столь беспечно, а если и бражничал порой, то не иначе, как удвоив и утроив дозоры. Шведы попали впросак уже на следующий день: уверенные, что гетман не ожидает так скоро повторного нападения, они снова вышли за городские ворота, но были сразу отброшены и, потеряв несколько человек убитыми, воротились назад.

Тем временем на квартире гетмана допрашивали Гаслинга. Пан Анджей чуть не умер от нетерпения, так ему хотелось поскорей увести офицера к себе и расспросить о Таурогах. Он целый день вертелся вокруг гетманской квартиры, то и дело входил, слушал ответы пленного и едва мог усидеть на скамье, когда упоминалось имя Богуслава.

Вечером он получил приказ идти в разъезд. Ничего не сказал пан Анджей, только зубы стиснул; это был уже не прежний Кмициц,— теперь он научился жертвовать своими желаниями ради общего блага. Он лишь понукал немилосердно своих татар и в приступе беспричинного гнева так молотил направо и налево буздыганом, что кости трещали. А татары, решив промеж себя, что «багадыр», видать, взбесился, притихли, как кролики, и только смотрели в глаза своему грозному предводителю и на лету угадывали его мысли.

По возвращении пан Анджей нашел Гаслинга уже у себя, но тот был так слаб, что не мог говорить. Его сильно покалечили, когда брали в плен, а потом еще целый день допрашивали, и теперь он лежал в горячке и не понимал даже, чего от него хотят.

Пришлось Кмицицу удовольствоваться тем, что рассказал ему присутствовавший при допросе Заглоба, но это все были дела государственные, не приватные. О Богуславе молодой офицер говорил лишь, что после возвращения из похода на Подляшье и яновского поражения тот тяжело болел. От злости и меланхолии с ним сделалась лихорадка, когда же здоровье князя поправилось, он тотчас двинулся с войском на Поморье, куда его спешно призвали Стенбок и курфюрст.

— А теперь он где? — допытывался Кмициц.

— По словам Гасслинга, — а лгать ему нет нужды, — князь вместе с братом короля и Дугласом стоит укрепленным лагерем между Наревом и Бугом. Богуслав командует у них всей кавалерией, — ответил Заглоба.

— Ха! И они, конечно, думают прийти сюда, на помощь Карлу. Ну, так мы встретимся, как бог свят, если понадобится, хоть бабой переряжусь, а до Богуслава дойду.

— Не кипятись понапрасну! Они и рады бы прийти на помощь Варшаве, да не могут, на пути у них стоит Чарнецкий. И вот какое дело: Чарнецкий, не имея ни пехоты, ни пушек, не может ударить по шведскому лагерю, а шведы боятся выйти к нему навстречу, так как убедились, что в открытом поле их солдат против Чарнецкого не совладеет. Знают они также, что и река не может служить им защитой. Будь с ними сам король, он дал бы сражение, под его командой, вдохновляемые верой в своего великого вождя, и солдаты дерутся лучше; но ни Дуглас, ни брат короля, ни князь Богуслав на это не решатся, хоть храбрости ни одному из них не занимать.

— А где король?

— Пошел в Пруссию. Король не ожидает, чтобы мы осмелились так скоро покуситься на Варшаву и на Виттенберга. Впрочем, ожидает ли, нет ли, все равно он вынужден был пойти туда по двум причинам: во-первых, он хочет окончательно переманить на свою сторону курфюрста, пусть даже ценою всей Великой Польши, а во-вторых, войско его, которое он вывел из окружения, ни к чему не пригодно, пока не отдохнет. Лишения, бессонные ночи и постоянные тревоги так их измотали, что у солдат мушкеты валяются из рук, — а ведь это отборнейшие шведские полки, которые побеждали во всех битвах с немцами и датчанами.

Тут разговор их был прерван появлением Володыевского.

— Ну, как Гасслинг? — спросил он с порога.

— Болен и бредит, несет бог весть что, — ответил Кмициц.

— А тебе, Михась, чего от него надо? — обратился Заглоба к Володыевскому.

— Будто сам не знаешь!

— Как не знать! Небось все о той вишенке беспокоишься, которую князь Богуслав посадил в своем саду. Он садовник прилежный, не сомневайся! Не пройдет и года, как вишенка принесет плоды.

— Вот так утешил, старый хрен, чтоб тебе пусто было! — вскричал маленький рыцарь.

— Экий ты, братец! От самой невинной *iocus*¹ сразу усики торчком, точно тебе бешеный майский жук. Я-то чем виноват? С Богуслава взыскивай, не с меня!

— Даст бог, и взыщу!

— Вот и Бабинич только что это говорил! Скоро все войско на него ополчится, как я погляжу; но он человек осмотрительный, без моей хитрости вам его не одолеть.

Тут оба молодых офицера вскочили на ноги.

— Что, уже какую-нибудь штуку удумал?

— Ишь ты! Вам кажется, что они выскакивают у меня из головы с такой же легкостью, как ваши сабли из ножен? Будь Богуслав здесь, я бы и не одну штуку придумал, но князь далеко, его ни хитростью взять, ни пушкой достать. Прикажи-ка, пан Анджей, подать мне чарку меду, что-то нынче жарко.

— Дам и целую бочку, только придумай что-нибудь.

— Во-первых, чего вы привязались к этому несчастному Гаслингу, над душой у него стоите? Не один он взят в плен, можете и других допросить.

— Я их допрашивал, да что возьмешь с простого солдата, ничего они не знают, а он все-таки офицер, при дворе был,— ответил Кмициц.

— Верно! — молвил Заглоба.— Надо и мне с ним потолковать. Пусть расскажет мне, что князь за человек и каков его нрав, сообразуясь с этим я и думать буду. Главное поскорее бы покончить с осадой, а затем мы наверняка выступим против той армии. Но что это наш милостивый государь с гетманами долго не идет?

— Ошибаешься, пан Заглоба,— возразил маленький рыцарь.— Я как раз от гетмана, который только что получил сообщение, что его величество с гвардейскими хоругвями еще сегодня прибует сюда, а гетманы с регулярным войском подойдут завтра. Они от самого Сокаля следовали большими переходами почти без отдыха. Да

¹ Шутки (лат.).

ведь мы уже несколько дней, как поджидаем их с минуты на минуту.

— А много ли с ними войска?

— Почти в пять раз больше, чем у пана Сапеги, и пехота с ними отличная, русская и венгерская; идет также и шесть тысяч ордынцев под командой Субахази-бея, только с них, говорят, глазу спускать нельзя, больно уж они бесчинствуют и народ обижают.

— Вот бы пана Анджея к ним командиром! — сказал Заглоба.

— Что ж, — ответил Кмициц, — только я не стал бы держать их под Варшавой, — они для осады не годятся, — а сразу повел бы их к Бугу и Нареву.

— Ну, не скажи, — заметил Володыёвский, — кто лучше них уследит, чтобы крепость не снабжалась провиантом?

— Эх, и зададим мы жару Виттенбергу! Погоди же, старый разбойник! — вскричал Заглоба. — Воевал ты славно, этого у тебя не отнять, а грабил и обирал еще лучше; две глотки у тебя было; одна сладко пела, давая лживые клятвы, а другая издавала приказы в нарушение этих клятв; но теперь тебе и обеими сразу не вымолить снисхождения. Кожа у тебя свербит от французской болезни, как ни лечат лекари, — ужо мы тебя поличим, еще пуще засвербит! Тому порукой Заглобина голова!

— Да, как же! А он отдастся на милость короля, и ничего ты ему не сделаешь! — возразил пан Михал. — Мы же еще и честь ему должны будем отдавать!

— На милость короля? Вот как? — вскричал Заглоба. — Ну хорошо же!

И с такой силой грохнул кулаком по столу, что Рох Ковальский, который как раз входил в горницу, испугался и замер на пороге.

— Да я скорей в батраки наймусь к жидовинам, — надрылся старик, — чем выпущу из Варшавы этого святотатца, этого осквернителя костелов, этого погубителя невинности и чистоты, этого палача, не щадившего ни мужа, ни жены, этого поджигателя, мошенника, этого потрошителя, что с тебя и деньги слупит, и всю кровь по капле выцедит, этого вымогателя и живодера! Ладно же! Король его под честное слово отпустит, гетманы под честное слово отпустят, но я, не будь я Заглоба, не будь

я католик, не будь мне при жизни счастья, а по смерти прощения, коли не устрою против него бучу! Да такую, какой в Речи Посполитой не слыхивали! Не маши рукой, пан Михал! Устрою бучу! Говорю вам, устрою бучу!

— Дядя бучу устроит,— прогудел Рох Ковальский.

Тут в дверь просунулась зверская рожа Акба-Улана.

— Эффенди! — обратился он к Кмицицу.— За Вислой видны королевские войска!

Все вскочили и выбежали наружу.

В самом деле, это прибыл король. Первыми подошли татарские хоругви под командой Субахази-бея, правда, было их меньше, чем ожидали. За ними показалось королевское войско, многочисленное, отлично вооруженное, а главное, полное боевого задора. До вечера вся армия прошла через только что возведенный паном Оскерко мост. Сапега встречал короля, выстроив свои хоругви в боевом порядке, одну подле другой, так что они образовали сплошную длинную стену, конец которой терялся вдаль. Перед полками стояли ротмистры, рядом с ними — знаменосцы с развернутыми знаменами; трубы, литавры, рога, барабаны производили грохот неопиcуемый. Королевские хоругви одна за другой переходили мост и также в полном боевом порядке становились напротив литовских; между теми и другими оставалось пустое пространство в сто шагов.

И вот на эту пустую площадь вышел, пеший, с булавою в руках, Сапега; за ним следовало десятка два самых знатных воинских и гражданских сановников. Навстречу ему со стороны коронных войск подъехал король верхом на великолепном могучем жеребце, подаренном ему еще в Любове маршалом Любомирским; король был в боевом облачении, из-под легкого голубого панциря с золотыми узорами виднелся черный бархатный кафтан, кружевной воротник которого выложен был поверх панциря; правда, голову короля вместо шлема прикрывала обычная шведская шляпа с черными перьями, однако на руках у него были боевые рукавицы, а на ногах длинные, выше колена, светло-коричневые сапоги.

Следом за ним ехали нунций, архиепископ львовский, епископ каменецкий, епископ луцкий, ксендз Цецишовский, воевода краковский, воевода русский, барон Лисола, граф Петтинген, каштелян каменецкий, посол мос-

ковский, генерал артиллерии Гродзицкий, Тизенгауз и многие другие. Сапега, как некогда коронный маршал, хотел было припасть к королевскому стремени, но не успел; король легко спрыгнул с коня, подбежал к Сапеге и молча обнял его.

Обнял и долго прижимал его к груди, а оба войска смотрели на них; король продолжал молчать, лишь слезы ручьем катились по его лицу, ибо он обнимал своего самого верного слугу. Слугу, который хоть и не мог сравниться с другими гением, хоть и ошибался порой, но честностью своей затмевал всех прочих магнатов Речи Посполитой; слугу, который был верен беззаветно, который, не раздумывая, пожертвовал всем своим состоянием и с самого начала войны грудью встал на защиту государя своего и отчизны.

Литвины, опасавшиеся вначале, как бы Сапеге не досталось за то, что он выпустил Карла из-под Сандомира, и за недавнюю промашку под Варшавой, и ожидавшие по меньшей мере холодного приема, теперь, видя такую сердечность, столь радостно приветствовали своего доброго государя, что казалось, это гром прокатился по небу. Королевские солдаты, все, как один, ответили не менее оглушительными кликами, и какое-то время не слышно было ни оркестра, ни рокота барабанов, ни треска выстрелов, а только возгласы:

- Vivat, Ян Казимир!
- Vivat, коронные войска!
- Vivat, литвины!

Так встретились под Варшавой два войска. Стены дрожали, а за стенами дрожали шведы.

— Сейчас зареву! Ей-богу, зареву! — восклицал расстроганный Заглоба. — Не выдержу! Вот он, государь наш! Вот он, наш отец! Смотрите, я уже плачу! Отец!.. Еще столь недавно король наш скитался в изгнании, всеми покинут, а ныне... ныне сто тысяч сабель готовы в бой по его слову! О боже милосердный!.. Слезы душат... Вчера изгнанник, а сегодня... Такого войска нет и у немецкого цесаря!

Тут слезы, словно прорвав плотину, хлынули у Заглобы из глаз, и он стал громко всхлипывать; потом вдруг обернулся к Роху:

- Тише! Чего ревешь?
- А сами вы, дядя, разве не ревете?

— Реву, честное слово, реву!.. Право же, стыдно мне было за нашу Речь Посполитую... Но теперь я ее ни на какую другую не променяю!.. Сто тысяч всадников, как из-под земли! Попробовали бы другие этак! Слава богу, опомнились! Слава богу, слава богу!..

Заглоба не намного ошибся, так как под Варшавой действительно собралось около семидесяти тысяч человек, не считая дивизии Чарнецкого, которая еще не подошла, и всяческой армейской прислуги, которая во время боя тоже бралась за оружие и которой в обоих войсках было бессчетное множество.

Поздоровавшись и наскоро осмотрев литовское войско, король, ко всеобщему восторгу, поблагодарил людей Сапеги за верную службу, а затем поехал в Уяздов; войска же заняли назначенные позиции. Некоторые хоругви остались на Праге, другие разместились вокруг города. Огромный обоз переправлялся через Вислу вплоть до следующего дня.

Назавтра окрестности города забелели от шатров, казалось, снег покрывает землю, на окрестных лугах ржали неисчислимые табуны лошадей. За войском тянулись купцы — армяне, евреи, татары; рядом с осажденным городом на равнине вырос другой, еще более обширный и шумный.

Шведы, пораженные видом огромной армии польского короля, в первые дни не устраивали никаких вылазок, так что артиллерийский генерал Гродзицкий мог спокойно объезжать город и составлять план осады.

На следующий же день по его указаниям прислуга начала насыпать шанцы; на них временно устанавливали легкие пушки, так как тяжелые должны были подойти через несколько недель.

Король Ян Казимир послал к старому Виттенбергу парламентаров, предлагая ему сдать город и сложить оружие, причем на столь выгодных условиях, что это возбудило недовольство в войске. Больше всего возмущался и будоражил других Заглоба, питавший к вышепоименованному генералу особенную ненависть.

Виттенберг, как легко было предвидеть, отверг предложенные условия и решил защищаться до последней капли крови, предпочитая погибнуть под развалинами города, чем отдать его королю. Многочисленность осаждающих войск ничуть не пугала его: он знал, что излишнее

количество их при осаде скорее помеха, чем подмога. Очень скоро ему донесли также, что в польском лагере нет ни одного осадного орудия, тогда как у шведов их было более чем достаточно, не говоря уже о неистощимых запасах пороха и снарядов.

Да, собственно, в том, что шведы будут яростно защищаться, не сомневался никто. Ведь Варшава служила им складом добычи. Несметные сокровища, награбленные в замках, костелах, монастырях и городах всей Речи Посполитой, свозились в столицу, откуда их по частям переправляли на судах в Пруссию и дальше, в Швецию. Теперь же, когда возмущение охватило всю страну и в замках, охраняемых небольшими шведскими гарнизонами, стало небезопасно, в Варшаву свозили награбленного добра еще больше. А шведский солдат охотнее расставался с жизнью, чем с добычей. Эти нищие, дорвавшиеся до сокровищ богатого края, так распоясались, что свет не видел грабителей более алчных. Сам король прославился своей жадностью, генералы следовали его примеру, а всех их превосходил Виттенберг. Там, где можно было поживиться, офицеры забывали и рыцарскую честь, и приличествующее командирам достоинство. Брали, вымогали, грабили все, что только попадалось под руку. В самой Варшаве полковники высокого чина и благородного происхождения не стыдились продавать водку и табак собственным солдатам, набивая мошну их жалованьем.

В Варшаве сидели теперь взаперти именнейшие шведские военачальники, и это также должно было побуждать шведов к упорной обороне. Прежде всего, был там сам Виттенберг, второй после Карла полководец и первый, кто вступил в пределы Речи Посполитой и победой под Уйстем способствовал ее падению. За это в Швеции его ждал триумф победителя. Кроме него, в городе находился канцлер Оксеншерна, известный в целом свете политик, за свою честность уважаемый даже врагами. Его называли королевской Минервой, поскольку именно его советам Карл был обязан всеми своими успешными переговорами. Были также генералы: Врангель-младший, Горн, Эрскин, Левенгаупт-второй, а кроме того, множество высокородных шведских дам, что приехали вслед за мужьями в этот край, словно в свое новое поместье.

Итак, шведам было что защищать. Король Ян Казимир понимал, что осада, особенно при отсутствии тяже-

лых орудий, будет долгая и кровопролитная; понимали это и гетманы, но войско было иных мыслей. Едва пан Гродзицкий кое-как насыпал шанцы, едва подвел их поближе к стенам, как к королю потянулись одна за другой депутации от хоругвей, чтобы он разрешил добровольцам идти на штурм. Долго королю пришлось объяснять им, что саблями крепостей не добывают, прежде чем удалось слегка умерить их пыл.

А пока решено было, насколько возможно, ускорить осадные работы. Войско, которому не дали идти на штурм, со всем жаром трудилось бок о бок с лагерною прислугой. Шляхта из самых прославленных хоругвей,— да что там! — даже офицеры возили тачки с землей, таскали ивняк для постройки фашинов, рыли подкопы. Не раз шведы пытались помешать работам, дня не проходило без вылазки, но едва шведские мушкетеры показывались в воротах, как поляки, работавшие на шанцах, бросали тачки, связки хворосту, лопаты, кирки и так яростно кидались на врага с саблями в руках, что неприятель вынужден был с величайшей поспешностью отступать за крепостные стены. Народу в этих стычках гибло множество, рвы и пустыри вплоть до самых шанцев усеяны были могилами, где хоронили убитых в краткие минуты затишья. Под конец уже и времени не стало на погребенье,— трупы валялись прямо на земле, и исходящее от них ужасное зловоние проникало в город и в лагерь осаждающих.

Несмотря на величайшие трудности, в королевский лагерь каждый день пробирались горожане, сообщая, что делается в городе, и на коленях умоляя поспешить со штурмом. У шведов еще были съестные припасы, но жители умирали с голоду на улицах, изнывали от лишения и произвола, чинимого шведским гарнизоном. Каждый день из города доносилось эхо выстрелов,— это, как передавали беженцы, расстреливали горожан, подозреваемых в сочувствии своему королю. Волосы вставали дыбом от их рассказов. По словам беженцев, все население — больные, женщины, младенцы, старики,— ночует на улицах, так как шведы повыгоняли их из их жилищ, а в домах пробили от стены к стене проходы, чтобы в случае, если в город войдут королевские войска, было где укрыться и куда отступить шведскому гарнизону. Бездомные жители мокли под дождем, в ясные дни их жгло

солнце, по ночам терзал холод. Костры разводить запрещалось, не на чем было сварить хоть немного горячей пищи. В городе свирепствовали различные болезни, унося сотни жертв.

У короля сердце рвалось на части от этих рассказов, и он слал гонца за гонцом, дабы ускорить прибытие тяжелых пушек. Но время шло, проходили дни, недели, а поляки все только отражали вражеские вылазки, не в силах сделать ничего более. Одно лишь подбадривало осаждающих: должны же были и у шведов кончиться запасы продовольствия, а все дороги были перекрыты так, что и мышь не могла бы проскользнуть в крепость. Кроме того, осажденные с каждым днем теряли надежду на приход подкрепления; ближайшая к Варшаве армия Дугласа не только не могла поспешить на помощь, но вынуждена была заботиться о собственной шкуре, ибо король Ян Казимир, имея сил более чем достаточно, сумел и Дугласу связать руки.

В конце концов поляки, не дожидаясь прихода тяжелых орудий, начали обстреливать крепость из малых. Гродзицкий, подкапываясь, словно крот, со стороны Вислы, подвел свои земляные валы на расстояние шести шагов от крепостного рва и принялся неустанно поливать огнем несчастный город. Роскошный дворец Казановских был разрушен, и его не жалели, так как он принадлежал изменнику Радзеёвскому. Растрескавшиеся стены, в которых зияли пустые глазницы окон, едва держались; на великолепные террасы и сады день и ночь обрушивались ядра, разрушая чудесные фонтаны, мостики, беседки, мраморные статуи и пугая павлинов, которые жалобно кричали, сетуя на свою злосчастную судьбу.

Гродзицкий обстреливал и колокольню бернардинцев, и Краковские ворота, ибо решил начать штурм с этой стороны.

Тем временем лагерная прислуга стала просить, чтобы ей разрешили напасть на город,— очень уж хотелось челядинцам первыми добраться до шведских сокровищ. Король сначала отказал, но в конце концов согласился. Несколько именитых офицеров вызвались возглавить атаку, и между ними Кмициц, который отчаянно страдал от безделья, да и вообще себе места не находил по той причине, что тяжело больной Гасслинг уже несколько недель лежал без памяти и ни о чем не мог говорить.

Итак, был объявлен штурм. Гродзицкий противился ему до последней минуты, уверяя, что, пока не сделан пролом в стене, город взять не удастся, даже если в атаку пойдет не только прислуга, но и регулярная пехота. Однако король уже дал свое позволение, и генералу пришлось уступить.

Пятнадцатого июня собралось около шести тысяч челядинцев; были приготовлены лестницы, связки хвороста, мешки с песком, крючья, и к вечеру толпа, вооруженная по большей части одними саблями, начала стягиваться в то место, где подкопы и земляные валы ближе всего подступали ко рву. Когда совсем стемнело, солдаты по команде с дикими воплями бросились ко рву и принялись засыпать его. Бдительные шведы встретили их убийственным огнем из мушкетов и пушек, и яростная битва закипела по всей восточной окраине города. Солдаты под прикрытием темноты в мгновение ока забросали ров фашинами и беспорядочной толпой ринулись прямо под стены. Кмициц с двумя тысячами человек напал на выстроенный перед Краковскими воротами шведский редут, который поляки прозвали «кротовой норой», и, несмотря на отчаянное сопротивление, взял его с одного подступа. Всех его защитников изрубили в куски. Часть пушек пан Анджей приказал навести на ворота, а часть на соседние стены, чтобы прикрыть огнем осаждающих, которые пытались взобраться на них.

Тем, однако, не так посчастливилось. Челядинцы приставляли к стенам лестницы и лезли на них с отчаянной смелостью, впору хоть бы и первоклассной пехоте, но шведы, укрытые за стенами, стреляли в упор, сбрасывали вниз приготовленные заранее камни и бревна, под тяжестью которых осадные лестницы разлетались в щепки, а пехотинцы спихивали штурмующих своими длинными копьями, против которых сабли были бессильны.

Более пяти сотен самых отважных челядинцев полегли у стен. Остальные под непрекращающимся огнем отступили за ров и укрылись в польских окопах.

Атака была отбита, но редут остался в руках у поляков. Тщетно шведы всю ночь напролет осыпали его огнем из самых тяжелых орудий. Кмициц также целую ночь отстреливался из пушек, которые здесь же и захватил. Лишь под утро, когда стало светать, шведы разбили их все до единой. Виттенберг, дороживший этим редутом,

как зеницей ока, выслал пехоту с приказом не возвращаться, пока он не будет отбит у врага, но Гродзицкий немедля доставил Кмицицу подкрепление, и тот не только отразил атаку шведской пехоты, но кинулся за ней следом и гнал ее вплоть до самых Краковских ворот.

Гродзицкий был так обрадован, что лично побежал к королю с донесением.

— Государь! — сказал он. — Вчера я противился штурму, но сегодня вижу, что труды не пропали даром. Пока этот редут находился в руках неприятеля, я никак не мог подобраться к воротам, а теперь пусть только подойдут стенобитные пушки — в одну ночь сделаю пролом.

Король, который был опечален, что погибло столько храбрых ратников, обрадовался словам Гродзицкого и спросил:

— А кто командует этим редутом?

— Бабинич! — ответило несколько голосов.

Король хлопнул в ладоши.

— И тут он первый! Ну, генерал, этого кавалера я знаю. Это упрямец, каких мало, и шведам его оттуда не выкурить!

— С нашей стороны было бы непростительной оплошностью допустить это, государь, — ответил Гродзицкий. — Я уже послал ему пехоты и пушек, потому что выкуривать его оттуда шведы будут, можно не сомневаться. Судьба всей Варшавы поставлена на карту! Этого рыцаря на вес золота можно ценить.

— Он и большего стоит! Ведь это не первый его подвиг и не десятый! — ответил король.

А затем велел немедля подать себе коня и подзорную трубу и поехал посмотреть на редут. Однако разглядеть ничего нельзя было, так как редут был окутан дымом; полтора десятка орудий непрерывно осыпали его огнем, в него летели ядра, гранаты, жестянки с картечью. А расположен он был близко от ворот, чуть ли не на расстоянии мушкетного выстрела, так что гранаты были видны отлично: они взлетали кверху белыми облачками, описывали в воздухе крутую дугу и, упав в тучу дыма, со страшным треском разрывались на мелкие куски. Многие гранаты перелетали через шанец и там взрывались, не давая подойти польскому подкреплению.

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — вскричал король. — Тизенгауз! Смотри!

— Ничего не видно, государь!

— Да ведь там скоро ничего и не останется, кроме кучи изрытой земли! Ведь это верная гибель! Тизенгауз, ты знаешь, кто там засел?

— Знаю, государь, Бабинич! Ну, если он уцелеет, то сможет сказать, что заживо побывал в аду.

— Надо ему еще людей послать, генерал!

— Приказ уже отдан, но им трудно подступиться, гранаты перелетают через редут и рвутся все время с этой стороны.

— Палите из всех пушек по стенам, дабы отвлечь неприятеля!

Гродзицкий пришпорил коня и помчался к шанцам. Через минуту по всей линии загрели пушки, а спустя короткое время свежий отряд мазурских пехотинцев вышел из окопов и бросился бегом к «кротовой норе».

Король все стоял и смотрел. Наконец он воскликнул:

— Надо бы дать передышку Бабиничу! Кто из вас, ваши милости, вызовется сменить его?

В ту минуту при государе не было ни Скшетуских, ни Володыевского, и какое-то время все молчали.

— Я! — отозвался вдруг Топор Грылевский, шляхтич из легкой конной хоругви примаса.

— Я! — подхватил Тизенгауз.

— Я, я, я! — раздались сразу десятка два голосов.

— Кто первый вызвался, тот пусть и идет! — решил король.

Топор Грылевский перекрестился, осушил манерку и поскакал.

А король все стоял и смотрел на дымы, тучей накрывшие «кротовую нору» и наподобие моста тянувшиеся от нее вверх, до самых стен. Редут лежал ближе к Висле, и отлично был виден с высоты крепостных стен, оттого и огонь был так ужасен.

Тем временем гром пушек приутих, хотя гранаты по-прежнему описывали кривые; зато мушкетные выстрелы загрохотали так, как будто сотни здоровенных мужиков разом замолотили цепами.

— Должно быть, снова пошли в атаку, — заметил Тизенгауз. — Если бы дым немного рассеялся, мы увидели бы пехоту.

— Подъедем ближе, — сказал король и тронул поводья.

За ним двинулись остальные, и так они проехали вдоль берега Вислы от Уяздова почти до самого Сольца, а поскольку дворцовые и монастырские сады, сбегавшие к Висле, были еще зимою вырублены шведами на дрова и ничто не заслоняло кругозора, то отсюда можно было и без подзорной трубы разглядеть, что шведы действительно возобновили атаку.

— Я скорей согласился бы сдать эту позицию, чем потерять Бабинича, — сказал вдруг король.

— Бог охранит его! — молвил ксендз Цецишовский.

— И пан Гродзицкий не замедлит послать подкрепление! — добавил Тизенгауз.

Тут разговор был прерван появлением какого-то всадника, который во весь опор скакал к ним со стороны города. Тизенгауз, обладавший острым зрением и невооруженным глазом видевший лучше, чем иные в подзорную трубу, схватился за голову и воскликнул:

— Грылевский возвращается! Значит, Бабинич погиб и редут захвачен противником!

Король закрыл глаза руками; тем временем Грылевский подскакал, осадил коня и, еле переводя дух, закричал:

— Государь!

— Что там? Он убит? — спросил король.

— Бабинич говорит, что ему там хорошо и замены ему не надо, он просит только прислать поесть, — у них с самого утра маковой росинки во рту не было!

— Значит, жив?! — воскликнул король.

— Говорит, что ему хорошо! — повторил Грылевский.

Тут все, опомнясь от изумления, стали восклицать:

— Ай да рыцарь!

— Ай да удалец!

А потом Грылевскому:

— Эх, надо было все-таки остаться и непременно его сменить. И не стыдно было скакать назад? Труса, видать, спраздновал! Уж лучше бы и не вызывался!

А Грылевский на это:

— Государь! Тому, кто называет меня трусом, я готов ответить в любую минуту и любым оружием, но перед своим королем я обязан оправдаться. Я побывал в самой «кротовой норе», на что, может, решился бы не каждый из тех, что здесь стоят, да мне же еще и досталось от Бабинича. «А проваливай ты, говорит, братец, ко всем

чертям! Я тут делом занят, из кожи, говорит, вон лезу, некогда мне с тобой разговаривать. Сам, говорит, командовать буду, сам и славу добуду, делиться ни с кем не желаю. Мне тут, говорит, хорошо, я тут и останусь, а тебя велю вывести за валы! Чтоб тебе, говорит, провалиться! Нам жрать охота, а они командира вместо еды присылают!» Что мне оставалось делать, государь! Я даже его злости не удивляюсь,— они от усталости прямо с ног падают!

— Ну, и как? — спросил король.— Удержится он там?

— Такая отчаянная голова? Где он только не удержится! Забыл сказать, что еще мне вдогонку вот что крикнул: «Я и неделю здесь просижу, не дамся, лишь бы еда была!»

— А можно ли там высидеть?

— Государь, там сущее светопреставление! Гранаты рвутся одна за другой, осколки чертовы так и свищут мимо ушей, земля вся изрыта, дым глотку забивает! От ядер песок, дерн так и сыплется, знай отряхивайся, не то завалит. Погибло их там много, а кто жив остался, лежат в окопах, наделали себе из кольев загородки, укрепили их землей и за ними укрываются. Шведы очень тщательно строили этот редут, а теперь он обратился против них же. Еще при мне подошла пехота пана Гродзицкого, и теперь там опять сражение.

— Раз нельзя идти на стены, пока нет пролома,— сказал король,— то мы сегодня же ударим по дворцам Краковского предместья; это вернее всего отвлечет шведов.

— Дворцы также сильно укреплены, это теперь настоящие крепости,— заметил Тизенгауз.

— Но из города к ним на помощь никто не поспешит, шведы всю свою ярость устремили на Бабинича,— возразил король.— И мы это сделаем, клянусь жизнью, мы это сделаем! Мы пойдем на приступ сейчас же, дайте только я Бабинича благословлю.

С этими словами король взял из рук ксендза Цецишовского золотое распятие, в которое были вделаны кусочки святого креста, вознес его кверху и стал крестить далекий редут, окутанный огнем и дымом, повторяя:

— Боже Авраама, Исаака и Иакова, смилуйся над народом твоим и спаси погибающих! Аминь! Аминь! Аминь!

ГЛАВА XIII

Начался штурм Краковского предместья со стороны Нового Свята; кровопролитный и не слишком успешный, он, однако, достиг своей первой цели, то есть отвлек внимание шведов от редута, где засел Кмициц, и позволил его людям перевести дух. Поляки, впрочем, продвинулись до самого Казимировского дворца, но удержать его не смогли.

С другой стороны они ударили на дворец Данилловичей и на Гданский дом и также отступили. Опять погибло несколько сот человек. Одно лишь утешало короля: он видел, что даже ополчение с небывалой отвагой и самоотвержением рвется на стены и что эти попытки, хоть и не вполне удачные, не только не обескуражили его бойцов, но, напротив, укрепили в них уверенность в победе.

Но самым радостным событием тех дней явился приход Яна Замойского и Чарнецкого. Первый привел из Замостья великолепную пехоту и тяжелые орудия, равных которым у шведов в Варшаве не было. Второй, как было уговорено с Сапегой, оставил часть литовских войск и подляшского ополчения под командой Яна Скшетуского караулить армию Дугласа, а сам прибыл в Варшаву, чтобы принять участие в генеральном штурме. Все надеялись, — и Чарнецкий тоже разделял эту уверенность, — что этот штурм будет последним.

Тяжелые пушки были установлены на редуте, захваченном Кмицицем, и тотчас принялись обстреливать стены и ворота, с первых же залпов заставив умолкнуть шведские единороги. Тогда эту позицию занял сам генерал Гродзицкий, а Кмициц вернулся к своим татарам.

Не успел он доехать до своей квартиры, как его вызвали в Уяздов. Король в присутствии всего штаба вознес молодого рыцаря до небес; не скупилась на похвалы и сам Чарнецкий, и Сапега, и Любомирский, и коронные гетманы. А он стоял перед ними в разорванной, обсыпанной землей одежде, с почерневшим от порохового дыма лицом, невыспавшийся, измученный, но счастливый, что удержал редут, заслужил столько похвал и снискал великую славу у обеих войск.

Поздравляли его вместе с другими и Володыёвский, и пан Заглоба.

— Ты даже не знаешь, пан Анджей,— сказал ему маленький рыцарь,— как сам король тебя почитает. Вчера пан Чарнецкий взял меня с собой на военный совет. Говорили о штурме, а потом о только что присланных донесениях из Литвы, о тамошней войне и о бесчинствах, творимых Понтусом и шведами. Стали советоваться, как бы там подлить масла в огонь, а Сапега и говорит: «Лучше бы всего послать туда несколько хоругвей и человека, который сумеет стать для Литвы тем, чем в начале войны был для Великой Польши Чарнецкий». А король в ответ: «Такой у нас есть только один — Бабинич». И все тотчас согласились.

— В Литву, а особенно на Жмудь, я поеду с величайшей охотой,— ответил Кмициц.— Я и сам собирался просить об этом короля, хочу лишь дожидаться, пока возьмем Варшаву.

— Генеральный штурм назначен на завтра,— сказал, подходя к ним, Заглоба.

— Знаю, а как себя чувствует Кетлинг?

— Кто это? Гасслинг, что ли?

— Это одно и то же, у него два имени, как принято у англичан, шотландцев и у многих других народов.

— Да, в самом деле,— ответил Заглоба.— А у испанца на каждый день недели другое имя. Твой вестовой сказал мне, что Гасслинг, он же Кетлинг, уже здоров; разговаривать начал, ходит, и лихорадка его прошла, только есть поминутно просит.

— А ты к нему заходил? — спросил Кмициц маленького рыцаря.

— Не заходил, некогда было. До того ли тут перед штурмом!

— Так пойдемте сейчас!

— Ступай-ка выспись сначала! — сказал Заглоба.

— Да, верно! Я едва на ногах стою!

И пан Анджей, придя к себе, последовал совету Заглобы, тем более что и Гасслинга застал спящим. Зато вечером его навестили Заглоба с Володыёвским, и друзья расположились в просторном шалаше, который татары построили для своего «багадыра». Кемличи разливали старый, столетний мед, присланный Кмицицу королем, и они пили его с превеликой охотой, потому что погода стояла жаркая. Гасслинг, еще бледный и изнуренный, черпал, казалось, живительную силу в драгоценном

напитке. Заглоба только причмокивал и отирал пот со лба.

— Гей! И грохочут же эти пушки! — промолвил, прислушавшись, молодой шотландец. — Завтра вы пойдете на приступ... Хорошо тому, кто здоров! Благослови вас бог! Я не вашей крови и служил тому, кому занимался, но желаю победы вам. Ах, что за мед! Прямо новая жизнь в меня вливается...

Так говорил он, отбрасывая со лба свои золотистые волосы и подымая к небу голубые глаза; а лицом он был совсем еще мальчик и дивно хорош собой. Заглоба даже умилился, глядя на него.

— Хорошо ты, пан рыцарь, говоришь по-польски, не хуже любого из нас. Стань поляком, полюби нашу отчизну — достойное дело сделаешь, а и меду будешь пить, сколько пожелаешь! Ты солдат, и король наш охотно примет тебя в подданные.

— Тем более что я дворянин, — ответил Гаслинг. — Полное мое имя: Гаслинг-Кетлинг оф Элджин. Моя семья ведет свое происхождение из Англии, хоть и осела в Шотландии.

— Это все края далекие, заморские, здесь человеку как-то приличнее жить, — заметил Заглоба.

— А я не жалуюсь. Мне здесь хорошо!

— Зато нам плохо! — объявил Кмициц, который с самого начала беспокойно ерзал по скамье. — Нам не терпится услышать, что творилось в Таурогах, а вы тут разглагольствуете, кто откуда родом.

— Спрашивайте, я буду отвечать.

— Часто ли ты видел панну Билевич?

На бледном лице Гаслинга вспыхнул и погас слабый румянец.

— Каждый день, — ответил он.

А пан Кмициц тотчас стал смотреть на него с подозрением.

— Откуда вдруг такая дружба? Ты чего покраснел? Каждый день? Это почему же — каждый день?

— Потому что она знала, что я желаю ей добра, и я кое в чем помог ей. Но это вы поймете из моего рассказа, а сейчас начну с самого начала. Вам, быть может, это неизвестно, но меня не было в Кейданах, когда приехал князь конюший и увез панну Билевич в Тауроги. Как это случилось, не знаю, люди толковали по-разному, одно

скажу: едва они приехали, все сразу заметили, что князь влюблен без памяти.

— Да покарает его господы! — вскричал Кмициц.

— Началось веселье, какого свет не видал, всякие турниры, состязания с кольцами... Можно было подумывать, что кругом царит мир и спокойствие; а между тем в Тауроги что ни день летели письма, приезжали гонцы от курфюрста, от князя Януша. Мы знали, что князь Януш, теснимый Сапегой и конфедератами, заклинает ради всего святого прийти к нему на помощь, иначе он погибнет. А нам хоть бы что! У курфюрста на границе стоят в готовности войска, капитаны подходят, ведя с собою рекрутов, а мы все ни с места, князь никак не может расстаться с девицей.

— Так вот отчего Богуслав не шел на помощь брату, — заметил Заглоба.

— Ну да. То же и Патерсон говорил, и все приближенные князя. Некоторые роптали, а другие радовались, что Радзивиллы погибнут. Все дела за князя делал Сакович, он и на письма отвечал, и с посланниками совещался, князь же всю свою изобретательность прилагал лишь к тому, чтобы устроить какое-нибудь увеселение, либо конную кавалькаду, либо охоту. Деньгами сорил — это он-то, скупец, — налево и направо, лес приказал на целые мили вырубить, чтобы вида из ее окошек не портил, — словом, поистине устилал ее путь розами, такой пышный прием ей устроил, что хоть и шведской принцессе впору. И многие жалели девушку, говорили даже: «Горе ей, к добру все это не приведет, ведь жениться-то князь на ней не женится; едва лишь он завладеет ее сердцем, тут она и погибла». Но оказалось, что эта девушка не из таких, кого можно совратить с пути добродетели. О нет!

— Еще бы! — подхватил Кмициц, вскочив с места. — Уж мне-то это известно, как никому другому!

— Ну и как же панна Биллевич принимала эти королевские почести? — спросил Володыёвский.

— Сначала благосклонно, хоть и заметно было, что на душе у нее нерадостно. Она ездила на охоту, на прогулки, бывала на маскарадах и турнирах, полагая, видимо, что таков принятый при дворе князя обычай. Но вскоре она поняла, что все это затевалось ради нее. А тут князь, не зная, какое бы еще развлечение придумать,

решил потешить панну Биллевич зрелищем войны. Подо- жгли деревню близ Таурогов, пехота защищала ее, князь атаковал. Разумеется, он одержал великую победу и со- брал обильную дань похвал, после чего, рассказывают, упал к ногам своей дамы и просил разделить его чувства. Неизвестно, что он ей там пропосuit¹, только с той поры их дружбе пришел конец. Она день и ночь не отходила теперь от своего дяди — пана мечника россиенского, а князь...

— Стал угрожать ей? — вскричал Кмициц.

— Где там! Стал наряжаться греческим пастушком, Филемоном; нарочные поскакали в Кенигсберг за моде- лями пастушеских одежд, за лентами и париками. Князь изображал отчаяние, ходил под ее окнами и играл на лютне. Но вот что я вам скажу, и скажу то, что думаю: князь человек бессердечный и всегда был лютым врагом девичьей добродетели, у меня на родине о таких людях говорят: «От его вздохов не один девичий парус порвал- ся», — но на сей раз он и вправду влюбился; и не удиви- тельно, ибо панна Биллевич скорее подобна богине, пе- жели простой смертной.

Тут Гасслинг снова покраснел, но пан Анджей ничего не заметил, так как в эту минуту, подбоченившись от гор- дости и удовольствия, он торжествующе смотрел на За- глобу и Володыёвскэго.

— Это верно, она вылитая Диана, только месяца в во- лосах недостает, — сказал маленький рыцарь.

— Что Диана! Собственные псы обляяли бы Диану, если б увидели панну Биллевич! — воскликнул Кмициц.

— Потому я и сказал «не удивительно», — ответил Гасслинг.

— Ну, ладно! Да только я бы его за эту наглость на медленном огне поджарил, я бы его за эту наглость же- лезными подковами подковал...

— Полно, братец, полно, — прервал пана Анджея Заглоба, — доберись-ка до него сначала, тогда и куражь- ся, а теперь пусть рыцарь рассказывает дальше.

— Не раз я стоял на страже у дверей его спальни, — продолжал Гасслинг, — и слышал, как он ворочался в по- стели и все вздыхал, все разговаривал сам с собой, все шипел, словно от боли, — так его, видно, похоть дони-

¹ Предложил (лат.).

мала. Изменился он страшно, высох весь; может, тогда и зародился в нем тот недуг, что овладел им позже. Меж тем по всему двору разошелся слух, что князь совсем обезумел от любви — жениться хочет. Дошел этот слух и до княгини, супруги князя Януша, которая жила с княжной в Таурогах. Начались тут ссоры да раздоры, потому что, как вам известно, Богуслав по уговору должен был взять в жены дочь Януша, ждали только, когда она войдет в возраст. Но любовь так завладела его сердцем, что он позабыл обо всем на свете. Вне себя от гнева княгиня с дочерью уехала в Курляндию, а князь в тот же самый вечер попросил руки панны Билевич.

— Попросил руки?! — вскричали в изумлении Заглоба, Кмициц и Володыёвский.

— Да! Сначала у мечника, который изумился не менее вас и собственным ушам не верил, а когда наконец поверил, чуть с ума не сошел от радости, — ведь породниться с Радзивиллами большая честь для Билевичей. Правда, Патерсон говорил, что между ними и так есть какое-то родство, но давнее и забытое.

— Дальше, дальше! — торопил Кмициц, дрожа от нетерпения.

— Затем они оба со всей приличествующей случаю торжественностью отправились к панне Александре. Весь двор трясло как в лихорадке. От князя Януша пришли плохие вести, прочитал их один Сакович, впрочем, никто на них не обращал внимания, да и на Саковича тоже, — он в это время попал в немилость за то, что отговаривал от женитьбы. А у нас одни толковали, что-де Радзивиллам не впервой жениться на шляхтянках, что в Речи Посполитой все шляхтичи равны между собой, а род Билевичей уходит корнями еще в римские времена. Так говорили те, кто хотел заранее втереться в милость к будущей госпоже. Другие же уверяли, что со стороны князя это просто уловка, чтобы сблизиться с девушкой и при случае сорвать цветок невинности, — жениху с невестой, как известно, многое дозволено.

— Вот, вот, так оно и было! Не иначе! — заметил пан Заглоба.

— Я тоже так думаю, — сказал Гасслинг, — но слушайте дальше. Итак, двор гудит от пересудов, как вдруг гром с ясного неба: стало известно, что девушка отказала наотрез, — и конец всем домыслам.

— Благослови ее господь! — вскричал Кмициц.

— Наотрез отказала,— продолжал Гасслинг.— Стоило посмотреть князю в лицо, на нем так и написано было. Он, которому уступали принцессы, не привык к сопротивлению и теперь чуть не обезумел. Опасно было попадаться ему на глаза. Мы все понимали, что долго так продолжаться не может, и раньше или позже князь применит силу. И в самом деле, назавтра схватили мечника и отвезли во владения курфюрста, в Тильзит. В тот же день панна Александра упросила офицера, стоявшего на страже у ее дверей, дать ей заряженный пистолет. Офицер не отказал ей, ибо, как дворянин и честный человек, питал сострадание к несчастной даме и восхищался ее красотой и твердостью.

— Кто этот офицер? — воскликнул Кмициц.

— Я,— сухо ответил Гасслинг.

Пан Анджей так стиснул его в объятиях, что молодой шотландец, еще не окрепший после болезни, охнул от боли.

— Нет! — воскликнул Кмициц.— Ты не пленник мой, ты мой брат, друг! Проси, чего только хочешь! Ради бога, скажи, чего ты хочешь?

— Дух перевести,— ответил Гасслинг, задыхаясь.

И замолк, лишь пожимал протянутые к нему руки Володьевского и Заглобы; наконец, видя, что все горят нетерпением, он стал рассказывать дальше:

— Кроме того, я предупредил ее, что княжеский медик — мы все об этом знали — готовит какие-то одурманивающие декокты и настои. К счастью, опасения наши оказались напрасными, ибо в дело вмешался промысл божий. Коснувшись князя своим перстом, господь поверг его на одр недуга, с коего князь не вставал целый месяц. Чудо, истинное чудо: князь свалился как подкошенный в тот самый день, когда хотел покуситься на невинность панны Биллевиц. Никто как бог, говорю вам, никто как бог! Сам князь подумал так же и устранился, а может, недуг умерил его нечистые вожеления или он ждал, когда к нему вернутся силы,— так или иначе, но, придя в себя, он оставил девушку в покое и даже разрешил мечнику вернуться из Тильзита. Князю стало лучше, но лихорадка треплет его и по сей день. К тому же он, едва оправившись, вынужден был выступить под Тыкоцин, где потерпел поражение. Вернулся все еще с лихорадкой,

и еще более сильной, и тут же его призвал к себе курфюрст... А тем временем в Таурогах произошли такие перемены, прямо и смех и грех! Одно скажу, теперь князю нельзя положиться на верность своих офицеров и придворных, разве что на самых старых, которые и недовидят и недослышат, а от них толку мало.

— Что ж там такое случилось? — спросил Заглоба.

— Во время тыкоцинского похода, еще до поражения под Яновом, была захвачена и прислана в Тауроги некая панна Анна Борзобогатая-Красенская.

— Вот те и на! — вскричал Заглоба.

А Володыёвский заморгал, грозно зашевелил усиками и наконец проговорил:

— Только смотри, пан рыцарь, не смей говорить о ней ничего дурного, не то, как выздоровеешь, будешь иметь дело со мной.

— Дурного я о ней сказать ничего не могу, даже если б и захотел, а только если она твоя невеста, то плохо ты ее бережешь, ваша милость, если же родственница, ты, должно быть, и сам хорошо ее знаешь и отрицать моих слов не станешь. Так вот, за одну неделю эта девица влюбила в себя всех поголовно, и старых и молодых, а чем она этого достигла, ей-богу, не знаю, видно, чарами какими-то, лишь знай глазками постреливала.

— Она! Я ее и в аду признал бы по этим приметам! — проворчал Володыёвский.

— Странное дело! — сказал Гасслинг.— Ведь панна Билевич красотой ей не уступит, но она так величава, так неприступна, точно игуменья какая, и человек, благоговей и восхищаясь, не смеет глаз на нее поднять, а уж надежду возыметь и подавно. Согласитесь сами, разные бывают девушки: одна словно античная весталка, а другая — едва взглянул, и уже хотел бы...

— Милостивый государь! — грозно остановил его Володыёвский.

— Не кипятись, пан Михал, он правду говорит! — сказал Заглоба.— Сам подле нее ногами перебираешь, точно молодой петушок, и глаза заводишь, а что она любит головы кружить — это мы все знаем, ты и сам чуть не сто раз повторял.

— Оставим этот предмет,— проговорил Гасслинг.— Я только хотел объяснить вам, почему в панну Билевич влюбились лишь некоторые, те, кто сумел оценить ее

поистине несравненные совершенства (тут он снова вспыхнул), а в панну Борзобогатую почти все. Ей-богу, смех брал, люди словно очумели. А уж ссор, поединков было — не счесть. И за что? Чего ради? Ведь правду сказать, ни один не мог похвастаться взаимностью у девушки, и каждый лишь слепо верил, что раньше или позже именно он добьется успеха.

— Она, она вылитая! — снова проворчал Володыёвский.

— Зато обе девушки душевно полюбили друг друга, — продолжал шотландец, — одна без другой ни шагу, а поскольку панна Борзобогатая распоряжается в Таурогах, как у себя дома...

— Это почему же? — прервал его маленький рыцарь.

— А потому, что все у нее под каблуком. Сакович даже в поход не пошел, так влюбился, а Сакович в княжеских владениях полновластный хозяин. Через него панна Анна и правит.

— Вот как? До того влюблен?

— И более всех надеется на взаимность, ибо он и сам по себе весьма важная персона.

— Как, говоришь, его зовут? Сакович?

— А ты, сударь, хочешь, видно, его получше запомнить?

— Ну... разумеется! — бросил Володыёвский небрежно, но при этом так зловеще шевельнул усиками, что у Заглобы мурашки побежали по спине.

— Так вот, одно лишь скажу вам: если бы панна Борзобогатая потребовала от Саковича, чтобы он изменил князю и помог ей с подругой бежать, тот наверняка согласился бы без колебаний; но она, насколько мне известно, предпочитает обойтись без помощи Саковича, может, назло ему, как знать... Во всяком случае, один офицер, мой земляк (только не католик), открыл мне, что отъезд пана мечника с девушками дело решенное, в заговоре участвуют все офицеры, все уже устроено, и скоро они должны бежать...

Тут Гасслинг начал ловить воздух ртом, он очень устал и терял последние силы.

— Это и есть главное, что я должен был вам сообщить! — прибавил он торопливо.

Володыёвский и Кмициц за головы схватились.

— Куда они собираются бежать?

— В леса и лесами пробираться в Беловежскую пущу. Ох, дышать нечем!..

Дальнейший разговор был прерван появлением адъютанта Сапеги, который вручил Володыёвскому и Кмицицу по листочку сложенной вчетверо бумаги. Едва Володыёвский развернул свою, он тут же воскликнул:

— Завтра в дело! Приказ занимать позиции!

— Слышите, как режут орудия? — закричал Заглоба.

— Наконец-то! Завтра! Завтра!

— Уф! Жарко! — сказал пан Заглоба. — Плохо идти на приступ в такую погоду... Чертова жарница! Матерь божья... Многие остынут завтра, хоть бы и в невесть какую жару, но только не те, не те, кто отдается под твое покровительство! Заступница наша... Ну, и гремят же проклятые. Стар я, стар крепости штурмовать... то ли дело бой в открытом поле.

В это время в дверях появился еще один офицер.

— Есть ли тут пан Заглоба? — спросил он.

— Я здесь!

— По приказу короля вы завтра должны оставаться при его величестве.

— Ха! Хотят меня от штурма уберечь, знают ведь, что старый боевой конь, едва заслышит трубу, первый рванется вперед... Добрый у нас государь, памятный, не хотелось бы мне его огорчать, а только не знаю, выдержу ли, — ведь я как разойдусь, обо всем забываю, иду напролом... Таков уж я от природы!.. Добрый у нас государь!.. Слышите, уже и трубы трубят, пора по местам. Ну, завтра, завтра! Придется завтра и святому Петру потрудиться, уже, должно быть, готовит свои списки... А в аду котлы со свежей смолой на огонь поставили, шведов смолить... Уф! Уф! Завтра!..

ГЛАВА XIV

Первого июля, между Повонзками и предместьем, получившим впоследствии название Маримонта, отслужили большую полевую службу для десятитысячного королевского войска, которое выслушало ее в торжественном молчании. Король дал обет построить в случае победы костел пречистой деве Марии. Его примеру последовали

все, каждый сообразно своим возможностям: знать, гетманы, рыцари, даже простые солдаты,— каждый давал какое-нибудь обещание, ибо в этот день они шли на решающий приступ.

По окончании молебна военачальники развели свои войска по местам. Сапега стал напротив костела Святого духа, который в то время находился вне стен города, но представлял собою выгодную военную позицию, а потому шведы основательно укрепили храм и поставили на его защиту крупный воинский отряд. Пану Чарнецкому предстояло захватить Гданский дом, задняя стена которого составляла часть крепостных стен, так что, пробив ее, можно было попасть в город. Петр Опалинский, подляшский воевода, с великополянами и мазурами должен был ударить со стороны Краковского предместья и Вислы. Королевские полки стояли напротив Новомейских ворот. Народу было едва ли не больше, чем места на подступах к стенам; все пространство вокруг, все окрестные деревушки, поля и луга затоплены были морем людей; в тылу за войсками белели шатры, за шатрами тянулись повозки — и так до самого горизонта, где взгляд терялся в синей дымке, не в силах охватить берегов этого моря.

Все ратники стояли в полном боевом порядке, держа оружие наперевес и выдвинув вперед ногу, готовые в любую минуту броситься к проломам, которые сделают в стенах крупнокалиберные пушки и особенно тяжелые орудия Замойского. Орудия гремели не переставая, и штурм откладывался лишь потому, что ждали окончательного ответа Виттенберга на письмо, посланное великим канцлером Корицинским. Но вот около полудня приехал офицер с ответом. Виттенберг отказался. Тотчас вокруг города грозно затрубили трубы, и штурм начался.

Коронные войска во главе с гетманами, ратники Чарнецкого, королевские полки, пехота Замойского, литвины Сапеги и сонмища ополченцев хлынули на стены, точно волны разлившейся реки. А со стен их встретили струями белого дыма и огненного дождя: большие пушки, аркебузы, картечницы, мушкеты загремели все разом; земля содрогнулась до самых основ. Ядра молотили по толпе, пропахивали в ней длинные борозды, но она катилась вперед и рвалась к твердыне, не боясь огня и смерти. Облака порохового дыма скрыли солнце.

И каждый с бешеной яростью ударил туда, где ему было ближе всего — гетманы от Новомейских ворот, Чарнецкий по Гданскому дому, Сапега с литвинами по костелу Святого духа, а мазуры и великополяне со стороны Краковского предместья и Вислы.

Последним выпала на долю самая трудная работа, ибо все дворцы и дома Краковского предместья были обращены в крепости. Но в тот день мазуры дрались с таким неистовством, что их натиску ничто не могло противостоять. И они захватывали дом за домом, дворец за дворцом, рубились в окнах, в дверях, на ступенях, не оставляли в живых ни единого человека.

Не успевали они отбить один дом, не успевала высохнуть кровь на руках и лицах, как они уже кидались к другому, и снова разгорался рукопашный бой, и снова они кидались вперед. Рыцарство, ополченцы и пехота дрались, стремясь превзойти друг друга. Приказано было всем, идя на штурм, держать перед собой для защиты от пуль снопы недозревших колосьев, но в самозабвении боя воины побросали все заслоны и с открытой грудью рвались на врага. С бою взяли часовню царей Шуйских и великолепный дворец Конецпольских. Шведов, которые засели в пристройках, в дворцовых конюшнях, в садах, сбежавших к Висле, перебили всех до единого. Неподалеку от дворца Казановских, на улице, шведская пехота попыталась сопротивляться и, поддержанная огнем из-за дворцовых стен, из Бернардинского костела и с колокольни, превращенных в мощные крепости, принялась яростно обстреливать наступающих.

Но град пуль ни на мгновение не остановил поляков. С воплем: «Наша взяла!» — мазурская шляхта врубилась прямо в середину шведского квадрата; за ними налетела полевая пехота и челядинцы, вооруженные кирками, ломами и секирами. Квадрат распался в мгновение ока, началась сеча. Все перемешалось: между дворцом Казановских, домом Радзеёвского и Краковскими воротами перекатывался, содрогался и истекал кровью один огромный, плотно сбитый ком человеческих тел.

А от Краковского предместья вспененным потоком все текли и текли сюда сонмы алчущих крови бойцов. И вот уже с пехотой покончено; тогда-то и начался штурм дворца Казановских и Бернардинского костела, штурм, который в значительной мере решил судьбу всей битвы.

Принял в том штурме участие и пан Заглоба; он ошибался накануне, полагая, что призван королем единственно для того, чтобы состоять при монаршей особе. Как раз наоборот: король поручил ему, прославленному и опытному воину, командовать челядинцами, которые добровольно вызвались идти на приступ вместе с регулярными войсками и ополченцами. Правда, Заглоба намеревался идти со своими людьми в арьергарде и удовольствоваться захватом уже занятых ранее дворцов, но когда все, мешая ряды и обгоняя друг друга, ринулись вперед, людской поток захватил и его. И Заглоба поддался ему; как ни сильна была в нем врожденная осторожность и стремление, где только можно, уберечь себя от опасности, но за долгие годы он так привык к сражениям, побывал в стольких кровавых побоищах, что, поставленный перед необходимостью, дрался не хуже, а то и лучше других, ибо в груди его горел огонь ненависти и отваги.

Вот так и вышло, что теперь он очутился у ворот дворца Казановских, а вернее сказать, в аду, который кипел перед теми воротами, в ужасающей давке, толчее и жаре, под градом пуль, среди огня, дыма, человеческих стонов и воплей. Сотни топоров и ломов грохотали по воротам, сотни тяжелых мужских рук толкали и трясли их изо всех сил; люди падали как подкошенные, а на их место, топча убитых, лезли другие и ломились внутрь, словно нарочно искали смерти. Свет не видел доселе ни столь отчаянной обороны, ни столь отчаянного приступа. Сверху на атакующих сыпались пули, лилась смола, но те, что были внизу, не могли бы отступить при всем желании, так сильно напирала на них сзади. Иной, с черным от пороха лицом и безумными глазами, обливаясь потом и стиснув зубы, колотил в ворота огромным бревном, поднять которое в обычное время едва ли было бы под силу и троим здоровым молодцам. Воодушевление утраивало силы. Люди лезли по всем лестницам, во все окна, карабкались на верхние этажи, вырубали из стен решетки. А меж тем из-за всех решеток, из всех окон, из всех амбразур торчали, непрерывно плюясь огнем, мушкетные дула. Наконец дым и пыль настолько сгустились, что затмили яркое солнце, и штурмующие едва различали друг друга. Но это их не останавливало, напротив, они еще упорнее карабкались по лестницам, еще яростнее колотили в ворота; к тому же их подгоняли крики со

стороны Бернардинского костела,— там с такою же яростью штурмовали храм другие дружины.

Вдруг Заглоба, перебивая своим зычным басом всеобщий шум и грохот выстрелов, закричал:

— Заложить под ворота бочонок пороху!

Порох подали в то же мгновение, и Заглоба приказал прорубить под самым засовом дыру такого размера, чтобы только-только вошел бочонок. Когда бочонок стал на место, Заглоба собственноручно поджег запальный шнур и скомандовал:

— Прочь от ворот! Под стены!

Все, кто стоял под воротами, кинулись к стенам дворца, туда, где их товарищи приставляли лестницы к окнам верхних этажей, и замерли в ожидании.

И вот воздух содрогнулся от страшного грохота и к небу взвились новые клубы дыма. Подбежал Заглоба со своими людьми, смотрят: ворота, правда, на месте, в щепки их взрывом не разнесло, но с правой стороны сорвана петля, вышибло несколько толстых брусьев, уже подрубленных ранее, свернуло засов, а весь нижний край правой створки сильно отогнут внутрь, в сени, так что в образовавшуюся щель вполне мог пролезть даже тучный человек.

Тотчас на уже поврежденные ворота обрушились колья, топоры и секиры, сотни плеч с силой уперлись в них, раздался оглушительный треск, и правое полотно ворот рухнуло целиком, открывая проход в обширные темные сени.

В темноте сразу засверкали мушкетные выстрелы, но в пролом неудержимым потоком уже хлынули осаждающие. Дворец был взят.

Одновременно поляки ворвались во дворец и через окна, и внутри закипела ожесточенная рукопашная схватка. Каждую комнату, каждый коридор, каждый этаж приходилось брать с боем. Стены дворца, пострадавшие еще от прежних обстрелов, теперь едва держались, и в нескольких комнатах с грохотом обрушились потолки, заваливая обломками поляков и шведов. Но мазуры шли, подобно пожару, проникая всюду, работая своими кривыми кинжалами, рубя и коля направо и налево. Никто не просил пощады, да и это был бы напрасный труд. В иных переходах и галереях трупов было столько, что шведы устраивали из них баррикады, но наступающие

выволакивали убитых за ноги, за волосы и выбрасывали в окна. Кровь ручьями текла по лестницам. Кое-где еще сопротивлялись горстки шведов, немеющими руками отражая яростные удары штурмующих. Кровь заливала их лица, глаза застилало тьмой, многих уже не держали ноги, но и на коленях они все еще продолжали сражаться. Теснимые со всех сторон, смятые неприятелем, скандинавы умирали молча, не посрамляя своей славы, как подобает воинам. Каменные статуи богов и древних героев, забрызганные кровью, мертвыми глазами взирали на их смерть.

Рох Ковальский свирепствовал наверху, а Заглоба со своим отрядом бросился на террасы и, перебив защищавшихся там пехотинцев, ворвался в сады, чудной своей красотой прославленные на всю Европу. Деревья в них были уже вырублены, редкие растения уничтожены польскими снарядами, фонтаны разрушены, земля изрыта гранатами,— словом, везде руины и запустение, хотя алчные шведы ничего здесь не тронули, поскольку дворец принадлежал Радзеёвскому. Теперь и в садах закипел жестокий бой, но тут же и кончился, ибо сопротивление шведов уже ослабело. Заглоба лично командовал этой последней схваткой, а когда со шведами было покончено, солдаты разбежались по садам и всему дворцу в поисках добычи.

А Заглоба отправился в самый конец сада, туда, где стены сходились глубоким углом и куда не заглядывало солнце. Грозному рыцарю хотелось перевести дух и отереть со лба жаркий ратный пот. И вдруг он заметил, что из-за прутьев железной клетки на него злобно смотрят какие-то диковинные уродцы.

Клетка была вмурована в стену в самом углу, так что ядра до нее не долетали. Дверца клетки была широко раскрыта, но тощие, безобразные существа даже и не думали воспользоваться этим: напуганные шумом, свистом пуль и жестокой резней, которая только что происходила перед ними, они забились в дальний угол клетки, спрятались в солому и лишь тихо ворчали от ужаса.

— *Simiae*¹ или черти? — спросил сам себя Заглоба.

И вдруг отважная душа его восстала, он занес меч и, объятый гневом, ворвался в клетку.

¹ Обезьяны (лат.).

Первый же взмах его сабли вызвал среди обезьян отчаянный переполох. Избалованные шведскими солдатами, которые любили их за потешные проделки и подкармливали из своих скудных пайков, они попросту обезумели от страха и неожиданности, а поскольку Заглоба загордил собой выход, обезьяны начали дико скакать по клетке, цепляться за прутья, за потолок, завизжали, заскрежетали зубами, в конце концов одна, совсем ошалев, прыгнула Заглобе на спину, вцепилась в волосы и прижалась к нему что было сил. Вторая впиалась в правое плечо, третья обхватила за шею спереди, четвертая повисла на завязанных сзади откидных рукавах, а Заглоба, задыхаясь, обливаясь потом, тщетно кидался из стороны в сторону, тщетно отмахивался вслепую саблей; вскоре он уже еле дышал, глаза у него вылезли из орбит, и он завопил истошным голосом:

— Люди! Друзья! Спасите!

Услышав эти вопли и не сразу разобравшись, в чем дело, несколько рыцарей с окровавленными саблями в руках бросились ему на помощь; вдруг они остановились, переглянулись в изумлении и все разом, как по команде, разразились громовым хохотом. Подбегало все больше бойцов, собралась целая толпа, и каждый немедленно заражался всеобщим весельем. Солдаты шатались, как пьяные, хватались за бока; перемазанные кровью лица судорожно кривились от смеха, и чем сильнее метался пан Заглоба, тем громче они хохотали. Лишь Рох Ковальский, прибежав сверху, растолкал толпу и вызволил дядю из обезьяньих объятий.

— Негодяи! — крикнул, задыхаясь, Заглоба. — Провалиться вам всем на месте! Смеетесь, глядя, как чудища африканские терзают честного католика? Чтоб вам сдохнуть! Да если б не я, вы бы до сих пор толклись башкой об ворота, этим только вам и заниматься! Чтоб вам сдохнуть, обезьяны и те лучше, чем вы!

— Сам сдохни, обезьяний король! — крикнул ратник, стоявший ближе всех к Заглобе.

— *Simiagum destructor*¹, — подхватил другой.

— *Victor!* — добавил третий.

— Какой он там *victor*, скорей уж *victus!*²

¹ Истребитель обезьян (лат.).

² Победенный (лат.).

Тут Рох снова пришел дяде на помощь. Он ударил первого с ряду крикуна кулаком в грудь, и тот упал, отплевываясь кровью. Иные попятились, испугавшись Рохова гнева, иные схватились за сабли, но тут со стороны Бернардинского монастыря донеслись крики и выстрелы, и распря была забыта. Там, видимо, бой был в полном разгаре, и шведы, судя по лихорадочной мушкетной пальбе, отнюдь не собирались сдаваться.

— Поможем им! К костелу! К костелу! — крикнул Заглоба.

А сам побежал наверх, в правое крыло дворца, откуда виден был костел, который, казалось, объят был огнем. Толпы штурмующих клубились внизу, у стен, безуспешно стараясь прорваться внутрь, и без пользы гибли под перекрестным огнем, ибо пули градом сыпались на них не только из костела, но и от Краковских ворот.

— Пушки к окнам! — скомандовал Заглоба.

Во дворце Казановских было достаточно пушек, и не только малых, их живо подтащили к окнам; из обломков драгоценной утвари, из постаментов статуй соорудили лафеты, и через полчаса пустые оконные проемы ошетились двумя десятками пушечных жерл, нацеленных на костел.

— Рох! — говорил страшно раздосадованный Заглоба. — Я должен совершить какой-нибудь подвиг, иначе прощай моя слава! Из-за этих обезьян — зараза на них! — все войско станет обо мне судачить, и хоть я и сам за словом в карман не полезу, однако же всех мне не переговорить. Я должен смыть этот позор, а иначе меня по всей Речи Посполитой ославят обезьяньим королем!

— Верно, дядя, вы должны смыть этот позор! — громоподобно откликнулся Рох.

— А вернейшее к тому средство будет вот какое: точно так же, как я захватил дворец Казановских... пусть кто-нибудь скажет, что это не я сделал...

— Пусть, дядя, кто-нибудь скажет, что это не вы сделали! — повторил Рох.

— Точно так же я захвачу и этот костел, и да поможет мне бог, аминь! — закончил Заглоба.

После чего он повернулся к своим челядинцам, уже стоявшим у пушек:

— Огонь!

Шведы, отчаянно оборонявшиеся в костеле, пришли в ужас, когда внезапно затряслась вся боковая стена. На солдат, сидящих в окнах, у пробитых в стенах бойниц, за карнизами, у лазков голубятен, сквозь которые они стреляли по наступающим, посыпались кирпичи, мусор, щебень, известка. Несчастные задыхались в густой, смешанной с дымом пыли, которая наполняла весь храм божий. Стало так темно, что люди не видели друг друга, крики: «Задыхаемся! воздуха!» — еще увеличили всеобщее смятение. А тут весь костел качается, трещат стены, валятся кирпичи, в окна с воем летят снаряды, срываются и с грохотом падают на пол свинцовые решетки, раскаленный воздух пропитан смрадом человеческих тел, — словом, божья обитель обратилась в ад земной. Охваченные ужасом, солдаты бегут прочь от ворот, от окон, от амбразур. Растерянность переходит в настоящее безумие. Снова отчаянные крики: «Воздуха! воды! воздуха!» И внезапно сотни хриплых голосов заревели:

— Белый флаг! белый флаг!

Командующий Эрскин хватает флаг, чтобы собственноручно вывесить его, но тут рушатся ворота, в храм, точно тьмы разъяренных дьяволов, врываются осаждающие — и пошла резня! Тихо становится вдруг в костеле, слышен лишь звериный хрип дерущихся, да скрежет железа о кости, о каменный пол, да стоны, да бульканье крови, — лишь порой чей-то голос, уже не похожий на человеческий, вскрикнет: «Пощады! Пощады!» Так бились они в течение часа, и вот на колокольне начинает гудеть колокол, и гудит долго, долго — для мазуров победным, для шведов похоронным звоном.

Дворец Казановских, монастырь и колокольня взяты. Сам Петр Опалинский, подляшский воевода, верхом на коне появляется среди толпы окровавленных воинов перед дворцом.

— Кто пришел нам на помощь из дворца? — кричит он, пытаясь перекрыть шум и вопли.

— Тот же, кто взял дворец! — отвечает могучий муж, внезапно вырастая перед воеводой. — Я!

— Как зовут тебя, рыцарь?

— Заглоба.

— Vivat, Заглоба! — орут тысячи глоток.

Но неустрашимый Заглоба указывает обгаренным кровью клинком своей сабли на Краковские ворота.

— Еще не все! — восклицает он. — Туда, к воротам! Нацелить пушки на ворота и стены! Вперед! За мной!

Толпы разъяренных людей устремляются к воротам, и вдруг — о, чудо — огонь шведских орудий не только не усиливается, но, напротив, ослабевает.

Одновременно с самой макушки колокольни доносится чей-то громоподобный голос:

— Пан Чарнецкий уже в городе! Я вижу наши хоругви!!!

А огонь шведских батарей все слабее, слабее.

— Стой! Стой! — кричит воевода.

Но толпа не слышит его и без памяти валит вперед. И тут на Краковских воротах появляется белый флаг.

Действительно, Чарнецкий, пробив стену Гданского дома, бурей ворвался в крепость, а когда был захвачен и дворец Даниловичей, а минутой позже и на стенах костела Святого духа замелькали литовские знамена, Виттенберг понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Правда, шведы могли еще защищаться в господствующих над городом домах Старого и Нового Мяста, но теперь уже и горожане схватились за оружие и на победу не было ни малейшей надежды; шведов просто перебили бы всех до единого.

И тогда на стенах затрубили трубачи и стали размахивать белыми флагами. Видя это, польские военачальники приостановили штурм, а затем из Новомейских ворот, в сопровождении нескольких полковников, выехал генерал Левенгаупт и во весь опор поскакал к королю.

Город уже был в руках у Яна Казимира, но добрый государь жаждал прекратить пролитие христианской крови и потому выставил Виттенбергу те же условия, которые предлагал ранее. Город надлежало сдать со всей свезенной туда добычей. Каждому шведу разрешалось взять только то, что он привез с собою из Швеции. Гарнизон со всеми генералами имел право с оружием в руках покинуть город, забрав больных и раненых, а также шведских дам, которых в Варшаве было около сотни. Тем полякам, что еще дрались на стороне шведов, король объявил амнистию, полагая, что теперь уже никто из них не служил врагу по доброй воле. Амнистия не касалась одного Богуслава Радзивилла, с чем Виттенберг согласился тем охотнее, что князь в это время стоял с Дугласом у Буга.

Немедленно были подписаны условия сдачи. Во всех костелах зазвонили колокола, возвещая *igbi et orbi* ¹, что столица вновь переходит в руки законного монарха. Не прошло и часу, как из-за крепостных стен повалили толпы бедняков, ищущих сострадания и хлеба в польских обозах, ибо в городе ни у кого, кроме шведов, не было пищи. Король велел отдать им все, что можно, а сам поехал наблюдать, как уходят из города шведские войска.

Ян Казимир стоял в окружении именнейших духовных и светских лиц, пышная его свита блистала великолепием. Почти все войска: коронные с гетманами, дивизия Чарнецкого, литвины Сапеги и бесчисленные толпы ополченцев вместе с лагерной прислугой собрались подле короля; всем любопытно было взглянуть на шведов, тех самых, с которыми они только что дрались так жестоко и неистово. Едва лишь подписали договор, ко всем воротам приставлены были польские комиссары,— им поручено было следить, чтобы шведы не вывезли ничего из награбленного. Особая комиссия занималась приемом добычи в самом городе.

Первой двинулась шведская кавалерия, и было ее немного, так как коннице Богуслава запретили покидать город. Следом шла легкая полевая артиллерия; тяжелые пушки должны были быть переданы полякам. Рядом с пушками шли канониры с зажженными фитилями в руках. Над ними колыхались развернутые знамена, почтительно склоняясь перед тем, кто еще недавно скитался в изгнании. Артиллеристы выступали гордо, глядя польским рыцарям прямо в глаза, словно хотели сказать: «Мы еще встретимся!» — а поляки дивились их надменной осанке и несгибаемой твердости духа. Затем показались повозки с офицерами и ранеными. В первой лежал канцлер Бенедикт Оксеншерна, и король приказал пехоте взять «на караул», желая показать, что уважает воинскую доблесть даже в противнике.

За повозками, также с развернутыми знаменами, двигались под грохот барабанов стройные квадраты несравненной шведской пехоты, походившие, по выражению Субахази-бея, на ходячие замки. Затем показался великолепный кортеж рейтар, с ног до головы закованных в

¹ Городу и миру (*лат.*).

броню, с голубым стягом, на котором был вышит золотой лев. С этим кортежем ехал главный штаб.

— Виттенберг! Виттенберг едет! — зашумела толпа.

Действительно, здесь был сам фельдмаршал, а с ним Врангель-младший, Горн, Эрскин, Левенгаупт, Форгель. Взоры польских рыцарей с жадностью устремились на них, и в особенности на Виттенберга. Однако обликом своим он ничуть не походил на того наводящего ужас воителя, каким был на самом деле. У него было старое, бледное, изможденное болезнью лицо с заострившимися чертами, с небольшими редкими усиками, закрученными на концах кверху. Сжатые губы и длинный острый нос придавали ему вид старого алчного скупца. Одетый в черный бархатный кафтан, с черной шляпой на голове, он походил скорее на астролога или медика, и лишь золотая цепь на шее, алмазная звезда на груди да фельдмаршальская булава указывали на его высокий чин.

Он то и дело тревожно поглядывал на короля, на королевский штаб, на хоругви, стоявшие в боевом порядке, затем окидывал взором безбрежное море народных ополченцев, и бледные губы его кривились в иронической усмешке.

А в толпе все нарастал шум и гомон, одно имя — «Виттенберг! Виттенберг!» — было у всех на устах.

Вскоре этот шум перешел в рокот, глухой, но грозный, точно рокот моря перед бурей. Временами он стихал, и тогда где-то вдали, в последних рядах, слышался громкий голос, с жаром выкрикивавший что-то. Этому голосу отвечали другие, их было все больше, они звучали все громче, разносились вокруг, словно раскаты зловещего эха. Они надвигались, как отдаленная буря, готовая вот-вот разразиться в полную силу.

Недоумевающие сановники стали с беспокойством поглядывать на короля.

— В чем дело? Что это значит? — спросил Ян Казимир.

Тут рокот перешел в такой страшный гул, точно сотня громов и молний разом сшиблись в небесах. Необозримое море ополченцев всколыхнулось, подобно спелой ниве, задетой могучим крылом урагана. И вдруг десятки тысяч сабель заблестали в лучах солнца.

— В чем дело? Что это значит? — снова спросил король.

Никто не смог ему ответить.

Внезапно Володыёвский, стоявший неподалеку от Сапеги, крикнул:

— Это Заглоба!

Володыёвский не ошибся. Как только условия капитуляции были оглашены и дошли до ушей Заглобы, старого шляхтича охватил столь страшный гнев, что на время он даже потерял дар речи. Но едва он пришел в себя, как немедля ринулся в самую гущу ополченцев и стал громко выражать свое возмущение. Его слушали охотно: все считали, что своим ратным мужеством, своими подвигами, своею кровью, щедро пролитой под стенами Варшавы, они заслужили право отомстить врагу по-иному. Кипя негодованием, своевольная шляхта тесным кольцом окружила Заглобу, а он все подливал и подливал масла в огонь и своим красноречием все пуще разжигал эти бесшабашные головы, и без того гудевшие от обильных возлияний в честь победы.

— Братья! — восклицал Заглоба. — Вот уже пятьдесят лет, как эти старые руки трудятся на благо отчизны; пятьдесят лет проливают они вражью кровь под стенами всех крепостей Речи Посполитой, а теперь они же — очевидцы подтвердят! — захватили дворец Казановских и Бернардинский костел! А когда, скажите на милость, шведы потеряли последнюю надежду? Чем заставили мы их согласиться на капитуляцию? Пушками, которые я навел на Старое Место из Бернардинского костела. Крови нашей, братья, никто там не жалел, щедро поили ею землю, а кого пожалели? Врага нашего! Мы с вами, братья, все побросали, оставили дома свои без надзора, челядь без хозяев, жен без мужей, малых деток без отцов... — о мои деточки, что-то с вами теперь! — и пошли сюда, подставляя грудь под пушечные ядра, а что получаем в награду? А вот что: Виттенберг уходит от нас свободным, да еще воинские почести собирает по дороге! Уходит супостат отчизны нашей, богохульник, заклятый враг пречистой девы, уходит поджигатель наших домов, уходит лихоимец, снявший с нас последнюю рубашку, погубитель жен и детей наших... — о мои деточки, где-то вы теперь?! — уходит тот, кто предавал поруганию служителей божьих и Христовых невест... Горе тебе, отчизна! Позор тебе, шляхта! Новая напасть на тебя, святая наша вера! Скорбите, несчастные наши храмы, плачь и

рыдай, Ченстохова! Виттенберг уходит свободным и вскоре вернется, дабы источать новые потоки слез и крови, добивать тех, кого не добил, сжигать то, чего не успел сжечь, осквернить то, что еще не осквернил. Плачь, великая Польша, плачь, Литва, плачьте, рыцари и смерды, как плачу я, старый солдат, который, сходя в могилу, должен смотреть на ваши страдания... Горе тебе, Илион, город старого Приама! Горе! Горе! Горе!

Так витийствовал пан Заглоба, и тысячи людей слушали его, и от гнева волосы дыбом вставали у шляхты, а он все говорил, все сетовал и раздираал на себе одежды, обнажая грудь.

Он успел взбудоражить и регулярных солдат, которые сочувственно внимали его речам, ибо все сердца и впрямь пылали страшной ненавистью к Виттенбергу. Мятеж готов был вспыхнуть сразу, но его сдержал сам Заглоба, опасаясь, что сейчас еще слишком рано и Виттенберг сможет еще как-нибудь спастись. Если же, как он полагал, всеобщее возмущение прорвется в ту минуту, когда фельдмаршал выедет из города и покажется на глаза ополченцам, то никто и оглянуться не успеет, как они изрубят его на части.

И расчеты его полностью оправдались. При виде старого палача дикая ярость охватила неумную и уже захмелевшую шляхту, и в мгновение ока разразилась страшная буря. Сорок тысяч сабель сверкнуло в лучах солнца, сорок тысяч глоток взревело: «Смерть Виттенбергу! — «Давай его сюда!» — «Изрубить его в капусту! В капусту!» К шляхте присоединились толпы челядинцев, обезумевших от недавнего кровопролития и не слушавших ничьих приказов; даже регулярные хоругви, более дисциплинированные, грозно возроптали против тирана; и буря с бешеной скоростью понеслась прямо на шведский штаб.

В первую минуту все были в полной растерянности, хоть и поняли сразу, к чему идет дело.

— Как быть? — восклицали стоявшие вокруг короля.

— Иисусе милосердный!

— Спасать! защищать!

— Позор нам, если не сдержим слова!

Разъяренная толпа налетает на хоругви, теснит их, ломает ряды, увлекает за собой. Куда ни глянь — везде сабли, сабли, сабли, под ними воспаленные лица, выта-

ращенные глаза, оружие рты; шум, гам, дикие вопли нарастают с чудовищной быстротой; впереди мчатся оруженосцы, вестовые, конюхи и всякая армейская голытьба, смахивающая больше на зверей или дьяволов, чем на людей.

Виттенберг также понял, что происходит. Лицо его побелело как полотно, на лбу выступил обильный холодный пот, и — о, чудо! — этот фельдмаршал, который только что готов был угрожать всему свету, старый солдат, разгромивший на своем веку столько армий, завоевавший столько городов, сейчас был так перепуган воплями разъяренной черни, что потерял всякое самообладание. Он дрожал всем телом, он стонал, руки его бессильно повисли, изо рта на золотую цепь потекла слюна, а фельдмаршальская булава выпала из рук. Между тем грозная толпа была все ближе, ближе; страшные фигуры уже теснились вокруг несчастных генералов, еще минута — и все они будут сметены с лица земли.

Кое-кто из генералов выхватил шпагу из ножен, решив умереть с оружием в руках, как подобает рыцарям, но старый палач ослабел совершенно и закрыл глаза.

И тут Володыёвский бросился на помощь шведскому штабу. Его хоругвь на всем скаку вклинилась в толпу и рассекла ее, как корабль, идущий на всех парусах, рассекает вздымающиеся морские валы. Крики мятежников, падающих под копыта коней, смешались с криками лауданцев, но всадники подскакали к штабу первыми и в мгновение ока окружили его, прикрывая шведов собственными телами и частоколом обнаженных сабель.

— К королю! — крикнул маленький рыцарь.

И они двинулись вперед. Толпа теснила их со всех сторон, народ бежал по бокам, сзади, размахивая саблями, колыями и дико завывая, но они перли напролом, раздавая направо и налево сабельные удары, точно могучий кабан-одинец, что ломится сквозь чашу, отбиваясь клыками от волчьей стаи.

На помощь Володыёвскому бросился Войниллович, за ним Вильчковский с королевским полком, за ним князь Полубинский, и они все вместе, непрерывно отгоняя толпу, препроводили штаб к Яну Казимиру.

Между тем волнение в толпе не утихло, напротив, росло все более. Какую-то минуту казалось, что рассвире-

певшая чернь, не смущаясь присутствием государя, попытается завладеть шведскими генералами. Виттенберг несколько оправился, но страх отнюдь не оставил его; он спрыгнул с коня и точно заяц, который, спасаясь от волков или собак, кидается прямо под колеса возов, так и он, забыв о своей подагре, кинулся прямо под ноги королю.

Упав на колени, он схватился за стремя и возопил:

— Спаси, государь, спаси! Ты дал свое королевское слово, договор подписан, спаси, спаси! Смилуйся над нами! Не отдавай меня на растерзание!

Король с отвращением отвел глаза от этого жалкого и позорного зрелища и сказал:

— Успокойтесь, господин фельдмаршал!

Но и на его лице отразилась тревога, ибо он сам не знал, что делать. Толпа вокруг росла и напирала все настойчивее. Правда, регулярные хоругви уже изготовились как бы для боя, а пехота Замойского стала вокруг короля грозным квадратом, но нельзя было сказать, чем все это кончится.

Король взглянул на Чарнецкого, но тот лишь ожесточенно теребил бороду, в такую ярость привело его самовольство ополченцев.

Тут раздался голос канцлера Коруцинского:

— Государь, надо сдержать слово.

— Да, надо,— ответил король.

Виттенберг, который жадно ловил каждый их взгляд, вздохнул с облегчением.

— Пресветлейший государь! — вскричал он. — Я верил в твое слово, как в бога!

А старый коронный гетман Потоцкий сказал ему на это:

— Почему же тогда ты сам, ваша милость, столько раз нарушал клятвы, условия и договоры? Что посеешь, то и пожнешь... Разве не ты, вопреки условиям капитуляции, захватил королевский полк Вольфа?

— Это не я! Это Миллер, Миллер! — воскликнул Виттенберг.

Гетман посмотрел на него с презрением, а затем обратился к королю:

— Я, государь, не затем это сказал, дабы и ваше королевское величество также побудить к нарушению договора,— нет уж, пусть вероломство останется их привилегией!

— Так что же делать? — спросил король.

— Если мы сейчас отошлем его в Пруссию, то следом за ним двинутся не менее пятидесяти тысяч шляхты и разнесут его в клочья прежде, чем он доберется до Пултуска... Разве что послать с ним целый полк солдат — а этого мы сделать не можем... Слышишь, государь, как они там ревут? *Revera...*¹ ненависть к нему — праведная ненависть... Надо бы сперва спрятать его в безопасное место, а всех отослать уже тогда, когда пожар поухнет.

— Да, видимо, только так, — промолвил канцлер Корицинский.

— Но где он будет в безопасности? Держать его здесь мы не можем, того и гляди, междоусобная война из-за него, проклятого, начнется, — отозвался пан воевода русский.

Тут выступил вперед пан Себепан, староста калушский, и, важно выпятив губы, произнес с обычной своей самонадеянностью:

— А чего тут судить да рядить, государь! Давайте их ко мне в Замостье, пускай посидят, покуда не уляжется смута. Уж я его там сумею от шляхты оборонить! Ого! Пусть только попробуют его отнять! Ого-го!

— А по дороге, ваша милость? Кто его по дороге охранит от шляхты? — спросил канцлер.

— Ха! За охраной дело не станет. Да разве нет у меня больше ни пехоты, ни пушек? Пусть попробуют отнять его у Замойского! Посмотрим!

И староста принялся подбочиваться, хлопать себя по ляжкам и раскачиваться из стороны в сторону в седле.

— Другого выхода нет! — сказал канцлер.

— И я другого не вижу! — поддержал его пан Лянцкоронский.

— Ну что ж, тогда и берите их, пан староста! — заключил король, обращаясь к Замойскому.

Но Виттенберг, видя, что его жизнь в безопасности, счел необходимым возмутиться.

— Того ли мы ожидали! — сказал он.

Потоцкий в ответ указал рукою вдаль:

— А не угодно — мы не держим, скатертью дорога!

¹ Понстине (лат.).

Виттенберг замолчал.

Тем временем канцлер разослал несколько десятков офицеров, чтобы они объявили возмущенной шляхте, что Виттенберга не отпустят на волю, а вышлют под конвоем в Замостье. Правда, мятеж утих не сразу, но весть эта подействовала успокаивающе. Не успел еще наступить вечер, как все помыслы обратились в иную сторону. Войска начали входить в город, и вид вновь обретенной столицы наполнил все сердца радостью победы.

Радовался и король, однако мысль, что он не смог выполнить полностью всех условий договора, сильно огорчала его, равно как и вечное непослушание ополченцев.

Чарнецкий был сердит донельзя.

— Что это за войско, на него никогда нельзя положиться,— говорил он королю.— То оно дерется плѣхо, то проявляет чудеса отваги, как в голову взбредет, а чуть что — вот и бунт готов.

— Дай бог, чтобы не вздумали разъехаться по домам,— отвечал король,— они ведь еще нужны, а им кажется, будто дело уже сделано.

— А зачинщика должно четвертовать, каковы бы ни были его заслуги,— упорствовал Чарнецкий.

И был отдан строжайший приказ разыскать Заглобу, ибо ни для кого не было тайной, что это он подстрекал к мятежу, но Заглоба точно в воду канул. Его искали в городе, в шатрах, среди обозных телег, даже у татар — все напрасно. Впрочем, Тизенгауз говорил, что король, добрый и милостивый, как всегда, желал от всей души, чтобы его не нашли, и даже молился об этом.

И вот однажды, спустя неделю, после трапезы, когда сердце Яна Казимира исполнилось веселья, люди услышали, как монарший уста произнесли:

— Эй, там, объявите, чтобы пап Заглоба долее не скрывался, а то нам уже скучно без него и его потешных выходов!

Видя, как возмутился этим киевский каштелян, король прибавил:

— Тому, кто пожелал бы в нашей Речи Посполитой, забыв о милосердии, поступать всегда строго по закону, пришлось бы вместо сердца топор носить на груди. Провиниться здесь легче, чем где бы то ни было, но зато нигде так быстро и вину свою не искупают, как у нас.

Говоря это, государь думал скорее о Бабиниче, чем о Заглобе, о Бабиниче же думал потому, что молодой храбрец как раз накануне поклонился ему в ноги, прося отпустить на Литву. Он говорил, что хочет расшевелить тамошних повстанцев и ходить в набеги на шведов, как некогда ходил на Хованского. А поскольку король и сам собирался послать туда кого-нибудь, знающего толк в партизанской войне, он тут же дал Бабиничу свое позволение, снарядил его, благословил и еще шепнул ему на ухо некое тайное напутствие, после которого молодой рыцарь как стоял, так и рухнул к ногам государя.

И вслед за тем без промедления двинулся на восток, веселый и довольный. Субахази-бей, задобренный щедрым подарком, позволил Бабиничу взять с собою пятьсот свежих добруджских ордынцев, а всего он вел за собою полторы тысячи добрых воинов,— с такой силой можно было немало дел наделать. И горела душа молодца жаждой боя и ратных подвигов, улыбалась ему будущая слава; он уже слышал, как имя его с гордостью и восхищением повторяет вся Литва... Когда же он представлял себе, как его имя повторяют чьи-то милые уста, за спиной у него вырастали крылья.

А еще и потому так славно и весело ему ехалось, что повсюду он первый приносил радостную весть о разгроме шведов и о взятии Варшавы. Варшава взята! Куда бы ни ступил копытом его конь — везде по полям и селам, словно эхо, разносились эти слова, на всех дорогах приветствовал его плачущий от счастья народ, во всех костелах звонили колокола и звучало «Te Deum laudamus». Ехал ли он по лесу, ехал ли полем — темные сосны в лесу и золотые колосья на нивах, колеблемые ветром, казалось, повторяли, радостно шумя: «Швед разбит! Варшава взята! Варшава взята!»

ГЛАВА XV

Хотя Кетлинг и состоял в свите князя Богуслава, однако знал он не все и не обо всем, что происходило в Таурогах, мог рассказать Кмицицу, ибо сам был влюблен в панну Биллевич и ходил словно во сне.

Был у Богуслава другой наперсник, а именно Сакович, ошмянский староста, он один лишь знал, как

сильно князь был увлечен страстью к прелестной полянке и к каким способам прибежал, стремясь завоевать ее сердце и овладеть ею самой.

Любовь князя была попросту жгучим вожделением, ни на какое другое чувство он был не способен, но вожделение это терзало его с такой силой, что даже сей искушенный в амурных делах кавалер терял голову. Нередко, оставшись вечером один на один с ошмянским старостой, он хватался за волосы, восклицая:

— Горю, Сакович, горю!

Сакович быстро находил средство:

— Кто хочет медом полакомиться,— говорил он,— тот пусть сперва пчел одурманит. Мало ли у медика твоей милости всяких дурманных снадобий? Сказать ему нынче слово — завтра же и делу конец.

Но на это князь не соглашался, и причин тому было несколько. Во-первых, явился ему как-то раз во сне старый полковник Билевич, дед Оленьки, и, став у княжеского изголовья, до самых петухов вглядывался в него грозным взором. Богуслав запомнил сон, а был он, этот бесстрашный рыцарь, так суеверен, так боялся колдовства, сонных знамений и нечистой силы, что дрожь пропизывала его при мысли, сколь ужасным предстанет ему призрак вторично, если он последует совету Саковича. Да и ошмянский староста, который хоть не очень-то верил в бога, но чар и привидений боялся так же, сам несколько усомнился в своем совете.

Во-вторых, Богуслава заставляло сдерживаться присутствие Валашки, которая вместе с падчерицей находилась в Таурогах. Валашкой называли супругу князя Януша Радзивилла. Дама эта, уроженка тех краев, где женщины пользуются немалой свободой, была, правда, не слишком строга, напротив, она, быть может, даже слишком снисходительно смотрела на шашни своих придворных и фрейлин, однако же не потерпела бы, чтобы человек, который должен стать мужем ее падчерицы, у нее на глазах совершил столь мерзкое злодеяние.

Но и позже, когда, стараниями Саковича и по воле князя воеводы виленского, Валашка с княжной уехала в Курляндию, Богуслав не отважился на преступление. Он боялся шума на всю Литву, который непременно подняли бы Билевичи. Люди богатые и влиятельные, они не преминули бы затеять против него тяжбу, а за по-

добные дела закон карал лишением имущества, чести и жизни.

Правда, Радзивиллы были столь могущественны, что могли без страха попирать закон, однако в случае, если бы победа в войне склонилась на сторону Яна Казимира, молодому князю пришлось бы туго, ибо тогда он потерял бы всю свою власть, всех друзей своих и приспешников. А предвидеть, чем кончится война, становилось все труднее, у Яна Казимира сил что ни день прибывало, а Карл нес невозместимые потери и в людях, и в денежных средствах.

При всей своей необузданности князь Богуслав был опытный политик и потому считался с обстоятельствами. Вождедение снедало его, разум взывал к осторожности, суеверный страх укрощал порывы плоти, а тут его одолели болезни, а тут навалились и важнейшие, неотложные дела, от которых порой зависели судьбы всей войны,— все это терзало князя, доводя его до смертельной душевной усталости.

И все же неизвестно, чем кончилась бы борьба, если б не было затронуто самолюбие Богуслава. А был он о себе необычайно высокого мнения. Он почитал себя несравненным государственным деятелем, великим полководцем, непобедимым рыцарем и неотразимым покорителем женских сердец. Пристало ли тому, кто возил с собой полный сундук любовных писем от самых знатных заграничных дам, прибегать к силе или дурманным зельям? Неужто его богатство и титулы, его власть, равная почти королевской, его великое имя, красота и изысканная любезность не в силах завоевать ему сердце этой маленькой скромной шляхтяночки?

И потом, насколько же больше будет его торжество и полнее наслаждение, если девушка перестанет противиться и сама, по своей воле, с бьющимся, как у пойманной птицы, сердцем, с пылающим лицом и затуманенным взором упадет в объятия, которые к ней простираются.

Богуслав весь дрожал, когда думал об этой минуте и желал ее почти так же сильно, как самое Оленьку. Он все ждал, что такая минута настанет, негодовал, терял терпение, обманывал самого себя; то казалось ему, он приближается к цели, то, напротив, отдаляется, и тогда он восклицал: «Горю, горю!» — но рук не опускал.

Прежде всего он окружил девушку неотступной заботой, чтобы она почувствовала к нему благодарность и поверила в его доброту; князь понимал, что благодарность и дружеское расположение — это ласковый и теплый огонек, который позднее, стоит его лишь раздуть хорошенько, разгорится в жаркое пламя. Частые их встречи неизбежно должны были этому способствовать, и Богуслав не проявлял настойчивости, боясь испугать девушку и лишиться ее доверия.

Между тем ни один его взгляд, ни одно прикосновение руки, ни одно слово — ничто не было случайным, все должно было стать той самой каплей, что камень точит. Все, что он делал для Оленьки, могло быть объяснено радушием хозяина, тем невинным дружеским влечением, какое испытывает один человек к другому, однако делалось это так, словно руку его направляла любовь. Граница была умышленно зыбкой и туманной, дабы тем легче было переступить ее в будущем и дабы девушка окончательно заблудилась в этом призрачном царстве, где каждый предмет мог что-то значить, а мог и не значить ничего. Правда, подобная игра не вязалась с врожденной горячностью Богуслава, однако он сдерживал себя, ибо считал, что лишь так может достигнуть цели; а кроме того, он находил в этой игре удовольствие, точно такое же, как паук, ткущий свою паутину, коварный птицелов, расставляющий свои сети, или охотник, терпеливо и настойчиво преследующий добычу. Князя тешила собственная проницательность, деликатность и изобретательность, которым он обучился при французском дворе.

В то же время он принимал панну Александру, словно удельную княжну, но ей опять-таки нелегко было понять, делается ли это исключительно ради нее, или причиной тому его врожденная и приобретенная любезность по отношению к прекрасному полу вообще.

Правда, она постоянно оказывалась главным лицом во время всех увеселений, всех ристалищ, кавалькад и охотничьих забав, но и это было довольно естественно: ведь после отъезда в Курляндию супруги Януша Радзивилла панна Биллевич действительно была самой высокогородной дамой в Таурогах. Хотя в Тауроги, расположенные около границы, съехалось, ища у князя защиты от шведов, множество шляхтянок с целой Жмуди, все они сами отдавали пальму первенства панне Биллевич, чей

род был знатнее прочих. И вот в то время, когда вся Речь Посполитая истекала кровью, здесь происходили бесконечные празднества. Можно было подумать, что это король со всеми придворными дамами и кавалерами выехал на лоно природы, дабы предаться веселью и отдохновению.

Богуслав пользовался неограниченной властью в Таурогах и во всей соседствующей с ними Княжеской Пруссии, где бывал частым гостем, а потому все здесь было к его услугам. Города давали ему займы деньги и солдат; прусское дворянство охотно съезжалось верхом и в каретах на пиры, охоту и карусели. В честь своей дамы Богуслав воскресил даже позабытые к тому времени рыцарские турниры.

Однажды он и сам принял в них участие, и, одетый в серебряные доспехи, опоясанный голубой лентой, которой пришлось повязать его панне Александре, вышиб из седла одного за другим четырех знаменитейших прусских рыцарей, пятым был Кетлинг, а шестым Сакович, хоть последний был силен необычайно, мог, ухватив за колесо, карету остановить на ходу. И какой восторг охватил толпу зрителей, когда вслед за этим серебряный рыцарь, опустившись на колени перед своей дамой, принял из ее рук венок победителя! Приветственные клики гремели, подобно орудийным раскатам; развевались платки, склонялись знамена, а он, подняв забрало, глядел своими прекрасными глазами в зарумянившееся лицо девушки и прижимал к устам ее руку.

В другой раз случилось так, что сорвавшийся с цепи медведь стал бросаться на собак и одну за другой задрал их всех. Князь, облаченный лишь в легкий испанский наряд, бросился к нему с копьем в руках и заколол свирепого зверя, а заодно и телохранителя, который, видя князя в опасности, кинулся ему на помощь.

В панне Александре, внучке старого солдата, с детства привычной к войне и крови, воспитанной в духе преклонения перед рыцарской силой и храбростью, эти подвиги не могли не вызвать изумления и даже восторга, ибо ее сызмала приучили почитать смелость в мужчине едва ли не первейшим достоинством.

Меж тем князь что ни день проявлял чудеса храбрости, и всё в честь Оленьки. Собравшиеся гости, расточая князю славославия и восторги, достойные божества,

невольно связывали в своих разговорах имя девушки с именем Богуслава. Сам он молчал, но глаза его говорили ей то, чего не смели произнести уста... Девушка была словно в заколдованном кругу.

Все было направлено к тому, чтобы сблизить, соединять их и в то же время выделять из общей толпы. Трудно было, упомянув князя, не упомянуть панну Биллевич. Сама Оленька вынуждена была неотступно думать о Богуславе. Заколдованный круг с каждой минутой смыкался все теснее.

Вечером, после игрищ, в покоях загорались разноцветные фонарики, их таинственный свет струился, казалось, из царства блаженных снов; воздух был пропитан упоительными восточными ароматами, тихие звуки невидимых арф, лютен и других инструментов ласкали слух, а среди этих ароматов, огней, звуков двигался он, окруженный всеобщим обожанием, молодой, прекрасный, точно сказочный принц, мужественный, сверкающий драгоценностями, как солнце, и влюбленный, как пастух...

Какая же девушка устояла бы перед этим обаянием, чья добродетель не поддавалась бы этим чарам? А избежать молодого князя у Оленьки не было возможности, ибо она жила с ним под одной крышей и пользовалась его гостеприимством, которое хоть и было навязано ей против ее воли, но дарилось от души и воистину по-королевски. К тому же Оленька в свое время не так уж и неохотно поехала в Тауроги, предпочитая их ненавистным Кейданам, и, уж конечно, рыцарственный Богуслав, который играл перед ней роль верного слуги отчизны и покинутого всеми короля, был ей милее, чем явный изменник Януш. Словом, в начале своего пребывания в Таурогах Оленька полна была приятных чувств к молодому князю, и, заметив вскоре, что и он всеми силами стремится завоевать ее дружбу, она не раз использовала свое влияние, чтобы помогать людям.

На третий месяц ее жизни в Таурогах один артиллерийский офицер, друг Кетлинга, был приговорен князем к расстрелу; узнав об этом от молодого шотландца, панна Биллевич вступилась за офицера.

— Божество не просит, оно повелевает! — ответил ей Богуслав и, разорвав смертный приговор, бросил к ее ногам. — Повелевай! Требуй! Хочешь — Тауроги сожгу,

только озари свое лицо улыбкой. Ведь мне одна лишь нужна награда — будь весела и предай забвению все свои старые печали.

Быть веселой она не могла, ибо сердце ее полно было тоски, обиды и невыразимого презрения к тому, кого она полюбила первой любовью и кто теперь в ее глазах был хуже отцеубийцы. Этот Кмициц, который, словно Иуда-христопродавец, взялся за тридцать сребреников выдать короля шведам, с каждым днем представлялся ей все гаже и отвратительней и в конце концов обратился в некое исчадие зла, мысль о котором терзала ее неустанно. Она не могла простить себе, что любила его, она его ненавидела и в то же время не могла забыть.

Обуреваемая этими чувствами, девушка не в силах была даже притвориться веселой, но она испытывала благодарность к Богуславу — уже за одно то, что он не причастен был к злодеянию Кмицица, да и за все, что он делал для нее. Правда, ей казалось странным, что молодой князь, при всем своем благородстве и возвышенных чувствах, не спешит на помощь отчизне, хоть и не следует примеру изменника Януша; однако она полагала, что князь, такой опытный политик, знает, как поступать, и что этого требуют государственные дела, которых она своим простым девичьим умом постичь не может. На это намекал ей и сам Богуслав, объясняя свои частые отлучки в соседний прусский Тильзит, говорил, что изнемогает под бременем трудов, что ведет переговоры между Яном Казимиром, Карлом Густавом и курфюрстом и надеется спасти отчизну, ввергнутую в пучину бедствий.

— Не ради наград, не ради чинов я делаю это, — говорил он Оленьке, — даже брата Януша — а он был мне вместо отца — приношу в жертву, ибо не знаю, смогу ли вымолить ему жизнь у разгневанной королевы Людвиги, — нет, я поступаю так, как велит мне бог, совесть и любовь к любезной матери-отчизне...

Когда Богуслав говорил это с печалью на нежном лице и взором, устремленным ввысь, он уподоблялся в ее глазах тем возвышенным древним героям, о которых рассказывал ей, начитавшись Корнелия, старый полковник Билевич. Душу девушки переполнял восторг и преклонение. Постепенно дело дошло до того, что порой, истерзанная мыслями о ненавистном Анджее Кмицице,

Оленька искала успокоения и поддержки в мыслях о Богуславе. Первый был для нее олицетворением тьмы, страшной и губительной; второй же — ясным солнцем, в лучах которого рада омыться истомленная горем душа. Вдобавок и мечник россиенский вместе с панной Кульвец, которую также привезли из Водоктов, укрепляли Оленьку в ее заблуждении, с утра до вечера распевая хвалебные гимны Богуславу. Правда, оба они своим присутствием в Таурогах так тяготили князя, что он только и думал, как бы повежливее их отсюда спровадить, однако ж сумел расположить к себе и их, особенно пана мечника, который вначале был настроен недоверчиво и даже враждебно, но не смог устоять перед любезностью и милостями Богуслава.

Будь Богуслав не Радзивиллом, не князем, не магнатом, обладающим чуть ли не монаршьей властью, а просто шляхтичем знатного рода, панна Билевич, возможно, влюбилась бы в него без памяти, несмотря на завещание старого полковника, который оставил ей выбор между Кмищицем и монастырем. Но она была так строга к себе, так прямодушна, что и мысли не допускала о каких-либо иных чувствах к князю, кроме благодарности и восхищения.

Происхождение ее было слишком низко, чтобы она могла стать женою Радзивилла, но слишком высоко, чтобы сделаться его любовницей, и она смотрела на князя так, как смотрела бы на короля, доведись ей быть при дворе. Напрасно старался он внушить ей другие мысли; напрасно, теряя от любви голову, он, частью по расчету, частью от отчаяния, повторял, как некогда в первый вечер в Кейданах, что Радзивиллам уже не раз случалось жениться на шляхтянках. Эти мысли не оставляли следов в ее душе, как вода не оставляет следов на лебединой груди; она, как и прежде, была ему благодарна, исполнена дружеского расположения, она преклонялась перед ним, мысль о его благородстве приносила ей облегчение, по сердце ее оставалось безучастным.

Князь же, не умея разгадать ее чувства, нередко тешил себя надеждой, что близок к цели. Однако он сам, стыдясь и негодуя на себя, замечал, что обращается с нею не так смело, как обращался, бывало, с первыми дамами Парижа, Брюсселя и Амстердама. Быть может, это происходило потому, что Богуслав действительно

влюбился, а быть может, в этой девушке, в ее лице, темных бровях и строгих глазах, было нечто, невольно внушающее уважение. Один лишь Кмициц в свое время не смущался ее суровостью и без оглядки целовал эти строгие глаза и гордые губы, но Кмициц был ее женихом.

Все остальные кавалеры, начиная с Володыёвского и кончая бесцеремонными прусскими помещиками, собравшимися в Таурогах, и самим князем, держались с нею гораздо почтительнее, чем с другими девушками, равными ей по происхождению. Правда, князь порой забывался, но после того, как однажды в карете он прижал ее ногу, шепча: «Не бойся...» — а она ответила, что и вправду боится, как бы ей не пришлось пожалеть о своем доверии к нему, Богуслав смутился и решил по-прежнему исподволь завоевывать ее сердце.

Но и его терпение было на исходе. С течением времени он стал забывать о страшном призраке, явившемся ему во сне, и все чаще подумывал о совете, данном ему Саковичем, и о том, что Билевичи наверняка все погибнут на войне. Страсть сжигала его; но тут произошли события, которые совершенно изменили положение дел в Таурогах.

Неожиданно в Тауроги пришла весть, что Тыкоцин взят Сапегой, замок разрушен, а князь великий гетман погиб под развалинами.

В Таурогах началось всеобщее волнение; сам Богуслав сорвался с места и в тот же день выехал в Кенигсберг, где должен был увидаться с министрами шведского короля и курфюрста.

Пробыл он там дольше, чем предполагалось. Тем временем в Тауроги стали стягиваться прусские и даже шведские военные отряды. Стали говорить о походе против Сапег. Неприглядная правда о Богуславе выплывала на свет божий — все яснее становилось, что он такой же сторонник шведов, как и его брат Януш.

И как раз в то же самое время мечник россиенский получил сообщение, что его родовое поместье, Билевичи, сожжено отрядами Левенгаупта, которые, разбив жмудских повстанцев под Шавлями, предавали весь край огню и мечу.

Шляхтич тут же собрался и поскакал в родные места, желая собственными глазами увидеть, сколь велик нане-

сенный ему ущерб. Князь Богуслав не препятствовал ему в этом, напротив, отпустил весьма охотно, только сказал на прощанье:

— Теперь понимаешь, сударь, почему я привез вас в Тауроги? Ведь вы мне, по чести сказать, жизнью обязаны!

Оленька осталась одна с панной Кульвец и тотчас затворилась в своих покоях, ни с кем не видаясь, кроме двух-трех женщин. Когда они рассказали ей, что князь готовится к походу против польских войск, она сначала не хотела этому верить, но, желая убедиться, велела просить к себе Кетлинга, так как знала, что молодой шотландец ничего от нее не скроет.

Он явился без промедления, счастливый, что она позвала его, что он сможет хоть краткий миг беседовать с владычицей своей души.

Панна Биллевич начала его расспрашивать.

— Пан рыцарь,— сказала она,— столько слухов ходит в Таурогах, что мы среди них блуждаем, точно в темном лесу. Одни говорят, будто князь воевода умер своей смертью; другие— будто его зарубили. Какова действительная причина его гибели?

Кетлинг на мгновение заколебался: видно было, что юноша борется с природной застенчивостью, наконец, залившись краской, он ответил:

— Причина падения и смерти князя воеводы— ты, госпожа.

— Я?— в изумлении переспросила панна Биллевич.

— Да, ибо наш князь предпочитал оставаться в Таурогах, нежели идти на помощь брату. Он позабыл обо всем... подле тебя, госпожа.

Теперь и она в свой черед запылала румянцем, точно алая роза.

Оба умолкли.

Шотландец стоял, держа шляпу в руке, опустив глаза и склонив голову на грудь, с видом глубочайшего уважения и почтительности. Наконец он поднял голову, тряхнул светлыми кудрями и проговорил:

— Госпожа, если тебя обидели мои слова, позволь мне на коленях молить о прощении.

— Не делай этого, рыцарь,— живо ответила девушка, видя, что юноша уже согнул было колено.— Я знаю, что в сказанном тобой не было задней мысли,— ведь я дав-

по заметила твое ко мне расположение. Не правда ли? Ты ведь желаешь мне добра?..

Офицер поднял вверх свои ангельские глаза и, положив руку на сердце, голосом тихим, словно шелест ветра, и грустным, словно вздох, прошептал:

— Ах, госпожа! госпожа!

И в тот же миг испугался, что сказал слишком много, вновь склонил голову и принял позу придворного, внимающего приказам обожаемой повелительницы.

— Я тут среди чужих, и некому меня защитить,— продолжала Оленька,— и хоть я сама могу о себе позаботиться и бог охранит меня от беды, однако мне нужна и человеческая помощь. Хочешь ли быть мне братом? Хочешь ли предостеречь меня в опасности, дабы я знала, что делать, и смогла избежать вражеских козней?

С этими словами Оленька протянула ему руку, а он опустился на колени, хоть она ему и запретила, и поцеловал кончики ее пальцев.

— Расскажи мне, что вокруг меня происходит!

— Князь любит тебя, госпожа,— ответил Кетлинг.— Неужто ты этого не заметила?

Оленька закрыла лицо руками.

— Я видела и не видела. Иногда мне казалось, что он просто очень добрый..

— Добрый!..— точно эхо повторил офицер.

— Да. А если порой мне и приходило в голову, что я, несчастная, могла пробудить в нем страсть, то я успокаивала себя мыслью, что насилье мне, во всяком случае, не угрожает. Я была ему благодарна за то, что он делал для меня, хотя, видит бог, новых милостей не хотела, страшась уже и тех, каких удостоилась.

Кетлинг вздохнул.

— Могу ли я говорить откровенно? — спросил он после минутного молчания.

— Говори.

— У князя есть только два наперсника: Сакович и Патерсон, а Патерсон очень ко мне привязан, так как мы с ним земляки и он меня еще на руках носил. И все, что я знаю, идет от него. Князь влюблен в тебя, госпожа; он пылает страстью, как смоляной факел. Все, что тут делается — пиры, охоты, карусели и этот турнир, после которого я до сих пор по милости князя харкаю кровью,— все это делается ради тебя. Князь любит тебя, госпожа, без

памяти, но неизменной любовью, ибо хочет опозорить, а не взять в жены, и, хоть не найти ему супруги более достойной, будь он даже не князем, а королем всего мира,— однако он думает о другой... Ему предназначена княжна Анна и ее богатства. Я знаю это от Патерсона и клянусь именем господним и святым Евангелием, что говорю чистую правду. Не верь князю, не доверяй его благодеяниям, не полагайся на его сдержанность, будь настороже, берегись, ибо измена подстерегает тебя на каждом шагу. Дрожь берет от того, что говорил мне Патерсон. Другого такого злодея, как Сакович, нет во всем мире... Не могу спокойно говорить об этом, просто не могу! Если бы я не присягал князю, что буду охранять его жизнь, то вот эта рука и эта шпага избавили бы тебя от постоянной угрозы... Но прежде всего я убил бы Саковича. Да! Его первого, прежде даже, чем тех, кто у меня на родине зарезал моего отца, захватил состояние, а меня сделал скитальцем, наемным солдатом...

Тут Кетлинг задрожал от волнения и какое-то время лишь сжимал рукоять шпаги, не в силах вымолвить ни слова. Затем он овладел собою и в немногих словах рассказал, на что подбивал князя Сакович.

К его величайшему удивлению, спокойствие почти не изменило панне Александре, когда она увидела разверзшуюся перед ней пропасть; только лицо ее побледнело и стало еще более серьезным. Непреклонная воля отразилась в ее суровом взоре.

— Я сумею постоять за себя,— сказала она,— и да поможет мне бог и святой крест!

— До сих пор князь не хотел следовать совету Саковича,— добавил Кетлинг,— но когда он увидит, что избранный им путь ни к чему не ведет...

И Кетлинг стал рассказывать, каковы были причины, сдерживавшие до сих пор Богуслава.

Девушка слушала, нахмутив лоб, но не слишком внимательно, она уже обдумывала, как бы вырваться из-под власти своего страшного покровителя. Но во всей стране не было такого места, где не лилась бы кровь, да и ясного плана побега она еще не составила и потому предпочла умолчать о нем.

— Пан рыцарь,— произнесла она наконец,— ответь мне еще на один вопрос. На чьей стороне князь Богуслав — на стороне шведского или польского короля?

— Ни для кого из нас не секрет,— ответил молодой офицер,— что паш князь жаждет принять участие в разделе Речи Посполитой, чтобы превратить Литву в собственное удельное княжество!

Тут он умолк, но минуту спустя, как будто отгадав ход Оленькиных мыслей, добавил:

— Курфюрст и шведы к услугам князя, а поскольку они занимают всю Речь Посполитую, укрыться от них негде.

Оленька ничего не ответила.

Кетлинг подождал немного, не захочет ли она еще о чем-нибудь спросить, но она все молчала, погруженная в свои мысли, и он, почувствовав, что не следует ей мешать, низко склонился в прощальном поклоне, махнув по полу перьями своей шляпы.

— Благодарю тебя, рыцарь,— сказала Оленька, протягивая ему руку.

Офицер, не поворачиваясь, стал пятиться к двери.

Внезапно лицо девушки покрылось легким румянцем; с минуту она колебалась, наконец проговорила:

— Еще одно слово...

— Каждое твое слово милость для меня...

— Ты знал пана... Анджея Кмицица?..

— Да, госпожа... по Кейданам... Последний раз я видел его в Пильвишках, когда мы шли сюда из Подляшья.

— Правду ли... Правду ли сказал князь, будто пан Кмициц был готов посягнуть на польского короля?..

— Не знаю, госпожа... Мне известно лишь, что в Пильвишках они держали совет, после чего князь поехал с ним в лес и не возвращался так долго, что Патерсон забеспокоился и выслал навстречу отряд. Отряд этот вел я. Мы встретили князя, когда он уже ехал обратно. Я заметил, что князь был очень взволнован, словно пережил какое-то большое потрясение. Он даже разговаривал сам с собой, чего с ним никогда не случалось. Я расслышал, как он произнес: «Сам дьявол не решился бы на это...» Впрочем, более я ничего не знаю... Лишь потом, когда князь рассказывал, на что посмел вызваться Кмициц, я подумал: «Если князь говорит правду, то это было именно тогда».

Панна Биллевич стиснула губы.

— Благодарю,— вымолвила она.

И через минуту осталась в одиночестве.

Мысль о побеге завладела ею совершенно. Она решила любой ценой вырваться из этих ненавистных мест и из-под власти князя-предателя. Но куда бежать? Города и села были в руках шведов, монастыри разорены, замки сровнены с землей, вся страна кишела солдатней и всяким сбродом, дезертирами, грабителями, еще более опасными, чем солдаты. Какая же судьба могла ожидать девушку, если она бросится в эту пучину? Кто с ней пойдет? Тетка Кульвец, пан мечник россиенский да два десятка его челядинцев? Разве они сумеют защитить ее?.. Может, пошел бы и Кетлинг, может, даже нашел бы горсточку верных солдат и друзей, которые согласились бы последовать за ним, но Кетлинг был слишком явно в нее влюблен; как же она могла принять от него эту услугу, за которую потом пришлось бы заплатить слишком дорогою ценой?

Наконец, какое право имела она ставить под угрозу будущее этого юноши, почти отрока, и навлекать на него преследование, а быть может, и смерть, если взамен не могла ему дать ничего, кроме дружбы? И она спрашивала самое себя: что же делать, куда бежать, если и тут и там ей грозит гибель, и тут и там — позор?

В душевном смятении она принялась горячо молиться и особенно усердно повторяла одну молитву, к которой всегда обращался в трудную минуту старый полковник. Молитва эта начиналась словами:

Тебя с младенцем вместе
Увел в Египет бог,
От Иродовой мести
Обонх уберег.

Между тем подул сильный ветер, и деревья в саду громко зашумели. Погруженной в молитву девушке вдруг припомнился дремучий бор, около которого она родилась и выросла, и ее словно озарило: там, в лесу, и только там найдет она надежное убежище!

Она глубоко вздохнула, ибо нашла наконец то, что искала. Да! В Зелёнку! В Роговскую пущу! Враг не пойдет туда, разбойник не станет искать там добычу. Там даже местный житель, если случайно собьется с пути, заблудится и будет плутать, пока не погибнет, а что уж говорить о чужаке, не знающем дороги. Там ее защи-



OLENKA

тят Домашевичи Охотники и Стакьяны Дымные, а даже если и нет их, если все они ушли с Володыёвским, так ведь этими лесами можно и дальше идти, далеко-далеко, в другие воеводства и искать приюта в иных пущах.

Вспомнив Володыёвского, Оленька развеселилась. Вот какого бы ей защитника! Вот кто поистине честный солдат, вот чья сабля могла бы защитить ее и от Кмицица, и от самих Радзивиллов. Тут ей припомнилось, что именно он в тот день, когда схватил Кмицица в Билевичах, советовал ей искать приюта в Беловежской пуще.

И он был прав. Роговская пуща и Зелёнка слишком близко от Радзивиллов, а около Беловежи сейчас стоит тот самый Сапега, который только что стер с лица земли самого опасного из них.

Итак, в Беловежу, в Беловежу, сегодня же, завтра же!.. Пусть только приедет мечник россиенский,— она не станет медлить!

Укроют ее темные чащи Беловежи, а позднее, когда пронесется буря,— монастырские стены. Лишь там обретет она истинное спокойствие, лишь там канет в забвение все — все люди, все ее печали, обиды и все ее презренье...

ГЛАВА XVI

Пан мечник россиенский вернулся через несколько дней. Хоть была при нем охранная грамота от Богуслава, добрался он только до Россиен, а в самые Билевичи ему и ездить было незачем, потому что от них не осталось ни следа. Усадьба, хозяйственные постройки, деревня — все сгорело дотла во время недавнего боя между отрядами ксендза Страшевича, иезуита, и шведского капитана Росса. Жители разбежались по лесам либо примкнули к партизанам. Где стояла некогда зажиточная деревня, была теперь голая земля.

К тому же на дорогах хозяйничали мародеры — беглые солдаты всевозможных армий; разбойничьи шайки были столь многочисленны, что небольшие воинские отряды вынуждены были их опасаться. Оттого мечнику не удалось разведать даже, целы ли его бочонки с серебром и деньгами, закопанные в саду, и он вернул-

ся в Тауроги в большом гневе и огорчении, пылая жестокой злобой против грабителей.

Едва успел он сойти с возка, Оленька зазвала его к себе в горницу и пересказала все, что сообщил ей Гасслинг-Кетлинг.

Старый шляхтич, который, не имея собственного потомства, любил девушку, словно родную дочь, так и затрясся. Сперва он только хватался за саблю, восклицая: «Бей, кому честь дорога!» — наконец стукнул себя по лбу и сказал:

— *Mea culpa, mea maxima culpa!*¹ Ведь мне и самому порой в башку приходило, и люди толковали, что он, чертов сын, возгорелся к тебе нежной страстью, а я все помалкивал, еще и усы подкручивал: ну, думаю, а вдруг да женится? Мы и с Госевскими в родстве, и с Тизенгаузами... Почему не породниться и с Радзивиллами? За спесь, за спесь мою господь меня карает... Славное дельце задумал предатель! Вот как он хотел с нами породниться... разрази его гром! Как барский бугай с мужичьей телкой! Разрази его гром! Нет, подождешь! Да раньше рука моя отсохнет и сабля в прах рассыплется!

— Подумаем лучше, как нам спастись,— ответила Оленька.

И принялась излагать ему свои планы.

Мечник, отдышавшись, внимательно выслушал и сказал:

— А мне больше по сердцу собрать мужиков да сколотить отряд. Буду на шведа в набег ходить, как другие ходят, как некогда Кмициц на Хованского хаживал. Тебе же в лесу и даже в ратном поле будет безопаснее, чем здесь, у предателя и еретика!

— Хорошо,— ответила девушка.

— И не только я не противлюсь побегу,— с жаром говорил мечник,— но и скажу: чем скорей, тем лучше... А уж в косах и в косарях у нас недостатка не будет. Усадьбу мою сожгли — бог с ней! Я из других деревень народ скликну... И все Билевичи, кто уже взялся за саблю, поддержат нас. Покажем мы тебе, князек, родство... покажем, как покушаться на честь девицы из рода Билевичей... Ты, говоришь, Радзивилл? Что ж с того? Хоть

¹ Моя вина, моя величайшая вина! (лат.)

нет в роду Биллевичей гетманов, зато нет и предателей! Посмотрим, за кем вся Жмудь пойдет! — Тут он обратился к девушке: — Тебя укрою в Беловеже, а сами вернемся! Так тому и быть! Должен он ответить за обиду, — ведь это афронт всему благородному сословию. Позор тому, кто не с нами! Бог нам поможет, братья помогут, сограждане помогут, пойдем с огнем и мечом! Не уступят Билевичи Радзивиллам! Позор тому, кто не с нами! Позор тому, кто не поднимет саблю на предателя! Король, сеймы, вся Речь Посполитая на нашей стороне! — Тут мечник с налившимся кровью лицом и взъерошенными волосами грохнул кулаком по столу: — Важнее шведской наша война, ибо оскорблены не мы одни, но все рыцарское сословье, все законы, более того — поколеблены глубочайшие основы самой Речи Посполитой. Позор тому, кто этого не уразумел! Погибнет наша отчизна, если мы не отомстим предателю и не покараем его!

И чем дальше, тем пуще бушевала старая кровь, так что Оленьке пришлось успокаивать мечника. До сих пор он сидел тихо, хотя, казалось, не только отчизна, весь мир погибал, и лишь теперь, когда были задеты Билевичи, он усмотрел в этом наипугливейшую для отчины опасность и начал рычать, точно лев.

Однако Оленька, имевшая на него большое влияние, сумела в конце концов утихомирить мечника, растолковав ему, что для собственного их блага и для того, чтоб удался задуманный побег, следует до поры до времени соблюдать глубочайшую тайну и не показывать князю, будто они о чем-либо догадываются.

Мечник торжественно пообещал сделать все по ее слову, после чего они стали обсуждать побег. Дело представлялось им не трудным, поскольку их как бы вовсе и не стерегли. Для начала пан мечник решил послать гонца с письмами к экономам, чтобы те немедленно собирали и вооружали крестьян из всех деревень, принадлежащих ему и другим Билевичам.

Вслед за тем шестеро доверенных слуг должны были якобы отправиться в Билевичи за бочонками с серебром и деньгами, а на самом деле остановиться в гирлякольских лесах и там, с готовыми лошадьми, с вьюками и провиантом, поджидать хозяев. Сам же мечник с племянницей и двумя челядинцами выедут из Таурогов на

санях — будто бы только в соседнюю Гавну, а в лесу пересядут на верховых лошадей и поскачут во весь опор. В Гавну, в гости к семейству Кучук-Ольбровтовских, они ездили часто, порой и ночевать там оставались, и поэтому полагали, что поездка их ни в ком не возбудит подозрений и погони за ними не вышлют, разве что дня два-три спустя, когда они будут уже в непроходимой лесной глуши, под защитой своих ратников. Отсутствие князя Богуслава укрепляло их в этой надежде.

А куда пан Томаш деятельно занялся приготовлениями. Гонец с письмами выехал на следующий же день. На третий день мечник завел с Патерсоном разговор о своих закопанных деньгах, которых, по его словам, было более ста тысяч, и о том, что хорошо бы перевезти их в Тауроги, в безопасное место. Патерсон поверил с легкостью, так как шляхтич слыл богачом, да и в самом деле был богат.

— Пусть привезут их немедля,— сказал шотландец,— а если надо, я и солдат отряжу.

— Чем меньше народу будет знать, что я везу, тем лучше. Служба у меня надежная, бочонки же я велю прикрыть пенькой, от нас ее часто в Пруссию возят, а то бочарной клепкой, на клепку никто не польстится.

— Лучше клепкой,— сказал Патерсон,— сквозь пеньку саблей или пикой можно прощупать, что под ней еще что-то лежит. А деньги, сударь, лучше всего отдай князю под заемное письмо. Ему, я знаю, деньги нужны, доходы поступают плохо.

— Я рад бы князю так услужить, чтоб он более ни в чем не нуждался,— ответил шляхтич.

На том разговор и кончился, и все, казалось, складывалось как нельзя лучше, слуги выехали в тот же день, а на завтра должны были отправиться и мечник с Оленькой.

Меж тем совершенно неожиданно вернулся князь Богуслав, ведя за собой два полка прусских рейтар. Дела его, видимо, были не слишком хороши, так как вернулся он злой и раздраженный.

В тот же вечер он созвал на военный совет уполномоченного курфюрста графа Зейдевица, Патерсона, Саковича и прусского полковника Кирица. Совещались до трех часов ночи: речь шла о походе на Подляшье, против Сапеги.

— Курфюрст и шведский король изрядно помогли мне войском,— говорил князь.— Одно из двух: либо Сапега еще на Подляшье — тогда мы должны Сапегу разбить; либо же нет его — тогда мы зайдем Подляшье без сопротивления. Однако на все это надобны деньги, а их ни курфюрст, ни его шведское величество мне не дали, у них у самих нету.

— У кого же, князь, и быть деньгам, если не у вашей светлости,— возразил граф Зейдевиц.— По всему свету идет молва о несметных богатствах Радзивиллов.

А Богуслав ему на это:

— Когда бы я из моих родовых имений исправно получал все, что мне следует, то будь уверен, граф, денег у меня было бы больше, чем у пяти ваших немецких князьков, вместе взятых. Но идет война, подати либо вовсе не взимаются, либо их перехватывают мятежники. Можно бы взять в долг в прусских городах, но тебе ли не знать, что там творится; они только для одного Яна Казимира развязали бы мошну.

— А в Кенигсберге?

— Что можно было взять, я взял, но этого мало.

— Позвольте, ваше высочество, послужить вам добрым советом,— вмешался в разговор Патерсон.

— Лучше бы ты послужил мне наличными.

— Совет мой стоит денег. Не далее как вчера говорил мне пан Билевич, что у него в саду в Билевичах закопаны большие деньги и он хотел бы перевезти их сюда, в безопасное место, чтобы отдать под заемное письмо вашему высочеству.

— Само небо посылает мне тебя вместе с твоим паном Билевичем! — вскричал Богуслав.— А много ли тех денег?

— Свыше ста тысяч, не считая серебра и драгоценностей на такую же, если не большую, сумму.

— Серебро и драгоценности шляхтич продавать не захочет, но можно будет их заложить. Благодарствую, Патерсон, совет твой кстати. Завтра же надо будет потолковать с Билевичем.

— Тогда я предупрежу его, а то он с племянницей как раз завтра собирается в Гавну, к Кучук-Ольбровотским.

— Предупреди, чтоб не уезжал, не повидавшись со мной.

— Слуги уже посланы, боюсь только, доедут ли благополучно.

— Можно отрядить за ними целый полк, впрочем, мы еще поговорим. Вовремя, вовремя приспел твой совет! Вот потеха-то будет, если я за деньги этого патриота, этого сторонника Яна Казимира отрежу Подляшье от Речи Посполитой!

С этими словами князь покинул совет, дабы представить себя заботам своих прислужников, которые с помощью ежевечерних купаний, притираний и всяческих иных хитростей, известных лишь за границей, поддерживали и освежали редкую его красоту. Обычно это занимало час, порой и два, а князь и так утомлен был дорогой, да и время было позднее.

На следующий день Патерсон объявил мечнику и Оленьке, что князь желает их видеть. Приходилось отложить отъезд, но они не особенно встревожились, так как Патерсон объяснил им причину.

Час спустя пришел князь. Хотя пан Томаш и Оленька поклялись друг другу, что примут Богуслава по-старому и старались что было сил, однако это им не удалось.

При виде молодого князя девушка побледнела, а лицо мечника налилось кровью, и оба стояли некоторое время в замешательстве и волнении, тщетно пытаясь обрести обычное спокойствие.

Князь, напротив, держался весьма непринужденно, он лишь несколько осунулся и нарумянен был менее обычного, но, впрочем, бледность его лица чудесно гармонировала с жемчужно-белым утренним платьем, затканым серебром. Он сразу заметил, что встречают его как-то по-иному, с меньшей радостью, нежели прежде. Но тут же подумал, что, видно, эти двое королевских приспешников прослышали о его отношениях со шведами, отсюда и холодный прием.

Богуслав решил поскорее усыпить их подозрения и после обычных приветственных слов заговорил так:

— Любезный мой мечник, ты, верно, слышал уже, какое горе меня постигло...

— Вы, ваша княжеская милость, говорите о смерти князя воеводы? — осведомился мечник.

— Не только о смерти. Жестокий это удар, однако такова, знать, была воля божия, и господь, верю, щедро вознаградил моего брата за все его страдания; на меня

же возложено новое бремя, ибо приходится вести междоусобную войну, а для того, кто любит отчизну, нет участи горше...

Мечник ничего не ответил, только искоса поглядел на Оленьку.

— Моими трудами и стараньями почти удалось добиться заключения мира — один бог ведает, чего мне это стоило. Осталось только подписать мирный договор. Шведы должны были покинуть Польшу, не требуя иной платы, кроме согласия от короля и сословий на то, что после смерти Яна Казимира на трон польский был избран Сиголус. Правление столь славного и могущественного воителя было бы спасением для Речи Посполитой. Более того, Карл готов был сразу же помочь нам войсками в украинской и московской войнах. Глядишь, мы бы еще и границы наши расширили, но пану Сапеге это не на руку, тогда он не сможет преследовать Радзивиллов! Все уже согласились на эти условия, он один противится с оружием в руках; что ему отчизна, ему лишь бы личные счета сводить. До того дошло, что придется прибегнуть к силе, и, по тайному сговору между Яном Казимиром и Сиголус'ом, это дело поручено именно мне. Вот оно как! Никогда я не уклонялся от службы, не стану уклоняться и от этой, хотя многие меня осудят и подумают, будто я из одной только жажды мести разжигаю братоубийственную войну.

Мечник ему на это:

— Кто знает вашу светлость так, как мы вас знаем, того видимость не обманет, тот всегда сумеет разгадать подлинные намерения вашей светлости.

Тут мечник, восхищенный собственной ловкостью и политичностью, так явственно подмигнул Оленьке, что та испугалась, как бы этих знаков не заметил князь.

А тот и в самом деле заметил.

«Они мне не верят», — подумал Богуслав.

И хотя наружно не выказал гнева, однако это его задело. Он вполне искренне был убежден, что не поверить Радзивиллу — значит оскорбить его, даже тогда, когда ему заблагорассудится солгать.

— Патерсон говорил мне, — помолчав, продолжал князь, — что ты, сударь, хочешь свою казну отдать мне на сохранение под расписку. Я с охотою удовлетворю твое желание, правду сказать, это и мне сейчас на руку.

Когда же мир восстановится, поступишь, как захочешь: либо деньгами обратно возьмешь, либо я дам тебе взамен две-три деревни, чтоб и ты не остался в накладе.

Тут князь обратился к Оленьке:

— Прости, госпожа, что мы оскорбляем твой нежный слух беседой о столь низком предмете. Недостойна тебя наша беседа, но такие уж нынче времена, когда должно принудить к молчанию сердце, полное восторга и обожания.

Оленька, которой не хотелось отвечать, лишь потупила глаза и, взявшись кончиками пальцев за юбку, сделала приличный случаю реверанс.

Тем временем в голове мечника созрел план, глупее какого нельзя было и придумать, но который ему самому представился верхом хитроумия.

«И сам вместе с девушкой убегу, и денег не дам»,— подумал пан Томаш.

Вслед за чем, откашлявшись и пригладив чуб, он заговорил:

— Счастлив оказать услугу вашей светлости. А ведь я Патерсону не все рассказал! Ведь у меня на всякий случай еще с полгарнца червонцев отдельно закопано. Кроме того, есть еще бочонки и других Биллевичей, только их закапывали без меня, под присмотром вот этой девицы, и она одна сумеет показать место, так как человек, который их таскал туда, умер. Позволь же нам, князь, ехать обоим, мы все и привезем.

Богуслав бросил на него зоркий взгляд.

— Как так? Патерсон сказал, что ты уже выслал слуг, а раз слуги поехали, они должны знать, где деньги.

— Но о тех деньгах никто, кроме нее, не знает.

— Так ведь они должны быть закопаны в приметном месте, а это легко объяснить словами или *delineare*¹ на бумаге.

— Слова — звук пустой,— ответил мечник,— а в рисованных планах моя челядь не разбирается. Поедем мы с нею, и баста.

— Мой бог, так ведь ты сам должен отлично знать свои сады, вот и езжай один. Зачем же панне Александре ехать?

¹ Начертить, нарисовать (лат.).

— Один я не поеду! — решительно возразил мечник.

Богуслав снова пристально поглядел на него, потом сел поудобней и тростью, которую держал в руке, стал похлопывать по туфлям.

— Один не поедешь? — повторил он. — Что ж, ладно. Но коли так, дам я вам два конных полка, пусть вас проведут и назад привезут.

— Не нужны нам никакие полки. Вдвоем поедем и вернемся. В свои края едем, ничто нам там не угрожает.

— Как хозяин, пекущийся о благе своих гостей, я не могу позволить, чтобы панна Александра ехала без вооруженной охраны. Так что выбирай: либо один, либо с нею и с эскортом.

Мечник заметил, что запутался в собственных сетях, и это привело его в такую ярость, что он, забыв всякую осторожность, закричал:

— Это ты, вельможный князь, выбирай: либо оба поедем и без охраны, либо денег не дам!

Панна Александра взглянула на него с мольбой, но он уже побагровел и начал пыхтеть. Был он по натуре человек осторожный, даже робкий, склонный всякое дело улаживать полюбовно, но уж если выходил из себя, если слишком уж накалило на сердце или дело касалось чести Биллевичей, тут пан мечник бросался на противника с отчаянной храбростью, хоть бы тот был много сильнее его.

Вот и сейчас он схватился за саблю и, бряцая ею, завопил во всю глотку:

— Это что же тут, татарская неволя? Насилие учинить хотите над свободным человеком? Исконные права мои пограть?

Богуслав, откинувшись на спинку стула, смотрел на него внимательно, без видимых признаков гнева, только взор его становился все холоднее да тросточка все быстрее постукивала по туфлям. Знай его мечник лучше, он понял бы, что навлекает на себя страшную опасность.

С Богуславом вообще страшно было иметь дело; никто не мог предугадать, когда над светским кавалером и привыкшим владеть собой дипломатом возьмет верх дикий и необузданный самодур, сокрушающий малейшее сопротивление с жестокостью восточного деспота. Тонкое воспитание, светский лоск, приобретенные им при самых

блестящих дворах Европы, любезность в обхождении и изящные манеры — все это было как бы пышным цветочным покровом, под которым таился тигр.

Но мечник этого не знал и, ослепленный гневом, продолжал кричать:

— Довольно притворяться, князь, мы тебя знаем! И берегись, не защитят тебя перед трибуналом ни король шведский с курфюрстом, коим ты, отчизну предав, служишь, ни княжеский твой титул, а сабли шляхетские начат тебя уму-разуму... молокосос!

Тогда Богуслав встал, в мгновение ока изломал железными руками свою трость и, швырнув щепки мечнику под ноги, сказал страшным, приглушенным голосом:

— Вот что для меня ваши права! Вот ваши трибуналы! Вот ваши привилегии!

— Святотатец! — воскликнул мечник.

— Молчать, шляхтишка! — крикнул князь. — В порошок сотру!

И пошел на потрясенного мечника, намереваясь схватить его за грудь и швырнуть об стену.

Но тут между ними встала панна Александра.

— Что ты хочешь сделать, вельможный князь? — промолвила она.

Князь остановился.

А она стояла перед ним с раздувающимися ноздрями, с пылающим лицом и с огнем в очах, подобная разгневанной Минерве. Грудь ее вздымалась под корсажем, словно волна морская, и так прекрасна была она в своем гневном, что князь Богуслав засмотрелся на нее, и лицо его исказилось от нечистых вожеланий, которые, словно змеи, гнездились в темных закоулках его души.

Гнев его утих, он пришел в себя. Некоторое время он еще смотрел на Оленьку, потом взгляд его смягчился, он склонил голову и сказал:

— Прости, мой ангел! Душа моя полна забот и скорби, и я не владею собой.

И вышел из горницы.

Тут Оленька заломила руки, а мечник, опомнившись, схватился за чуб и завопил:

— Это я все испортил, я твой погубитель!

Князь не появлялся целый день. Даже обедал у себя, вдвоем с Саковичем. Взбудораженный до глубины души, он утратил обычную ясность мыслей. Какой-то внутрен-

ний жар снедал его. То было предвестие жестокой лихорадки; в скором времени она схватила его с такой силой, что во время приступов он лежал как мертвый и его приходилось растирать. Но сейчас он приписывал свое состояние чрезвычайной силе любви и полагал, что умрет, если желание его не будет удовлетворено.

Пересказав Саковичу весь разговор свой с мечником, он говорил:

— Руки и ноги у меня горят, поясницу ломит, во рту горечь и жар. Разрази меня гром, что это такое? Никогда со мной такого не бывало!

— А все твоя совестливость, князь, ты набит ею, как жареный каплун гречневой кашей! Цып-цып-цып, князюшка-каплун! Ха-ха!

— Ты глуп!

— Отлично!

— Не шутки мне твои нужны!

— А ты возьми, князюшка, лютню да ступай к девице под окошко, глядишь, и покажет тебе... мечник кулак! Тьфу, черт! И это Богуслав Радзивилл, храбрец над храбрцами?

— Дурак!

— Отлично! Я вижу, князь, ты уже сам с собой беседуешь и правду себе в глаза говоришь. Смелей, смелей, не стесняйся!

— Смотри, Сакович! Я даже моего Кастора за излишнюю прыть пинаю сапогом под ребро, а с тобой может и похуже беда приключиться.

Сакович вскочил с возмущенным видом, точь-в-точь как недавно мечник россиенский, и, обладая необыкновенным даром подражания, закричал голосом, столь похожим на мечников, что, не глядя на него, можно было обознаться:

— Это что здесь, татарская неволя? Насилие над свободным человеком уличить хотите? Исконные права попрасть?

— Перестань, перестань, — лихорадочно твердил князь. — Там она старого болвана собственным телом заслонила, а за тебя тут вступиться некому.

— Вот и надо было тот заслон с бою брать!

— Наваждение какое-то, не иначе. Либо она меня околдовала, либо сочетание светил таково, только я просто схожу с ума... Видел бы ты, как она защищала этого

своего паршивого дядюшку... И дурак же ты! Что с моей головой... Смотри, как у меня руки пылают! Ах, что за девушка! Таковую обнять, такую приласкать, с такою бы...

— Деток завести! — закончил Сакович.

— А что, а что? Говорю тебе, так и будет, а не то разнесет меня этот пламень, словно гранату. О господи, что со мной творится... В самом деле, жениться, что ли, провались оно все в тартарары!

Сакович нахмурился.

— Об этом, князь, ты и помышлять не должен.

— А вот и помышляю, а вот, коли захочу, так и сделаю, хоть бы целый полк Саковичей твердил мне целый день: об этом, князь, ты и помышлять не должен.

— Эй, я вижу, тут не до шуток!

— Болен я, околдован, не иначе!

— Тогда почему же, князь, ты не хочешь послушаться моего совета?

— Видно, придется! Да пропади они пропадом, все эти сны, все Билевичи и вся Литва вместе с трибуналами и Яном Казимиром в придачу. Не добиться мне по-другому... Вижу, что не добиться! Довольно! Что? Подумаешь, важность! Велико дело! И я, болван, до сих пор колебался! Боялся снов, Билевичей, процессов, всей этой шляхетской голытьбы, победы Яна Казимира!.. Скажи мне, что я болван! Слышишь? Приказываю тебе сказать, что я болван!

— А я не послушаюсь, ибо наконец-то передо мной Радзивилл, а не кальвинист-проповедник. Но ты, князь, знать, и впрямь болен, я никогда тебя не видел в таком раздражении.

— Ага! Вот видишь! Ведь я, бывало, в самые трудные минуты лишь рукой махал да посвистывал, а сейчас мне словно шпоры кто в бока всадил.

— Странно мне это, князь, ведь если девушка нарочно тебя присушила, так не для того же, чтоб потом сбегать, а меж тем из твоих речей явствует, что оба они хотели улизнуть втихомолку.

— Говорил мне Рифф, что это влияние Сатурна, как раз в этом месяце из него исходят ядовитые испарения.

— Лучше бы ты, князь, избрал себе в патроны Юпитера, вот кто и без женитьбы удачлив был в любви. Все будет хорошо, только о свадьбе не поминай, разве что так, для виду...

Вдруг ошмянский староста хлопнул себя по лбу.

— Постой-ка, князь... А ведь был такой случай в Пруссии...

— Что там дьявол тебе нашептывает, говори!

Но Сакович долго не отвечал; наконец лицо его прояснилось, и он сказал:

— Ну, князь, благодари судьбу, что она дала тебе в друзья Саковича.

— А что? Что?

— Да ничего! Буду у твоей светлости дружкой на свадьбе,— тут Сакович поклонился,— великая честь для такого худородного бедняка...

— Не паясничай, говори скорей!

— Есть в Тильзите человек, Пляска зовут его, что ли, в свое время он был ксендзом в Неворанах, но отрекся от сана, принял лютеранство, женился и прибегнул к покровительству курфюрста, а ныне торгует со Жмудью копченой рыбой. В свое время епископ Парчевский пытался даже заполучить его обратно на Жмудь, где его непременно поджарили бы на костре, но курфюрст не захотел выдать единоверца.

— Да какое мне до этого дело? Не тяни!

— Какое тебе дело? А такое, князь, что сошьет он вас, словно верх с подкладкой, вот что! Поскольку же портной он скверный и из цеха изгнан, то шитье его потом и распороть будет легко, вот что! Шитье это цеховые мастера признают незаконным, а меж тем обойдется и без насилия и без шума. Портняжке можно после и шею свернуть, ты же, князь, сам будешь сетовать, что тебя, мол, обманули, понимаешь? Ну а перед тем — *crescite et multiplicamini*...¹ Я первый даю тебе мое благословение.

— И понимаю, и не понимаю,— проговорил князь.— Э, да какого черта! Отлично понимаю. Ты, Сакович, настоящий вурдалак, так, должно быть, с зубами и на свет родился... Не миновать тебе петли... Ой-ой, пан староста!.. Но пока я жив, у тебя волос с головы не упадет, да и наградой не обижу. Итак, я...

— Ты, князь, по всей форме попросишь у пана мечника руки его племянницы и объяснишься с нею самой. Я не я буду, коли тебе откажут, вели тогда содрать с меня шкуру, нарезать из нее ремней для сандалий и пошли

¹ Плодитесь и размножайтесь (*лат.*).

меня в покаянное паломничество... хоть в Рим. Любовные вздыхания Радзивилла еще можно отвергнуть, но уж если он пожелает жениться, ни один шляхтич не посмеет ему отказать. Ты только, князь, скажи мечнику и девушке, что, мол, курфюрст и шведский король сватают тебе принцессу Бипонтинскую, а потому брак ваш необходимо сохранить в тайне, пока не будет заключен мир. Ну, а в брачном контракте можно написать что угодно. Все это обе церкви наверняка признают незаконным... Ну, как?

Богуслав молчал, лишь на лице его под слоем румян проступили лихорадочные красные пятна. Наконец он сказал:

— Времени нет. Я должен, должен через три дня идти на Сапегу.

— Это-то и хорошо! Будь времени побольше, трудно было бы должным образом соблюсти видимость. Что ты, князь! Ты только недостатком времени и сможешь объяснить, почему надо венчаться в спешке, на скорую руку, позвав первого встречного попа. И они тоже подумают: «Времени мало, оттого и свадьба наспех». А девица она бесстрашная, ты ее и в поход с собой сможешь взять... Князюшка ты мой, если даже и побьет тебя Сапега, то уж это сражение ты выиграешь наверняка!

— Ладно, ладно! — сказал князь.

Но тут его схватила первая судорога, да с такой силой, что ему свело челюсти, и он не мог больше вымолвить ни слова. Он весь окостенел, а потом его стало трясти, и он бился, словно рыба, вынутая из воды. Однако, прежде чем перепуганный Сакович успел привести медика, припадок прошел.

ГЛАВА XVII

Воодушевленный разговором с Саковичем, князь Богуслав на завтра же после обеда отправился прямо к мечнику россиенскому.

— Любезный мой пан мечник! — начал он. — Вчера я тяжко перед тобой провинился, поддавшись гневу в присутствии гостя. *Mea culpa!*.. И тем тяжелей она, что обидел я человека, чей род издавна дружен с Радзивиллами. Ныне я прихожу молить о прощении. Пусть же чистосер-

дечное мое раскаяние тебе сатисфакцией, а мне карой послужит. Радзивиллов ты знаешь давно, и тебе известно, что они прощенья просить не привыкли; однако же я оскорбил и старость твою, и достоинство, а потому теперь первый, отбросив гордыню, прихожу с повинной головой. И надеюсь, что ты, старый друг нашего дома, не откажешься подать мне руку.

С этими словами князь протянул руку, а мечник, уже поостывший, не посмел уклониться от рукопожатия, хотя сделал это неохотно.

— Милостивый князь,— сказал он,— верни нам свободу, это будет для меня наилучшим удовлетворением.

— Вы свободны и можете ехать хоть сегодня.

— Благодарствую, ваша светлость,— ответил удивленный мечник.

— Ставлю тебе одно лишь условие, и ты уж, ради бога, не отвергай его.

— Какое же? — с опаской спросил мечник.

— Изволь выслушать терпеливо, что я скажу.

— Коли так, я готов слушать хоть до вечера.

— А ответа мне сразу не давай, прежде пораздумай час-другой.

— Бог свидетель, ссоры я не ищу, мне бы лишь свободу получить.

— Свободу ты, любезный пан мечник, получишь, только не знаю, захочешь ли ею воспользоваться и поспешишь ли покинуть мой кров. Я счел бы за счастье, когда б ты и дом мой, и все Тауроги почитал своими, но слушай. Знаешь ли ты, благодетель мой, отчего я противился отъезду панны Билевич? Оттого, что я разгадал вас: вы хотели попросту сбежать. А меж тем твоя племянница до того пришлась мне по сердцу, что я, как Леандр ради своей Геро, готов был бы всякий день переплывать Геллеспонт, лишь бы видеть ее...

Мечник мгновенно побагровел снова.

— И ты смеешь, князь, говорить это мне?

— Именно тебе, наилюбезнейший пан мечник.

— Ваша светлость! Ищи милостей у своих камеристок, а честной шляхтянки касаться не смей! Можешь лишить ее свободы, можешь в темницу заточить, но позорить ее тебе не дозволено!

— Позорить не дозволено,— возразил князь,— но дозволено поклониться старому Билевичу и сказать ему:

«Отче! Дайте мне свою племянницу в жены, ибо мне без нее жизни нет».

Мечник так оторопел, что сразу слова вымолвить не мог, только усами шевелил да таращил глаза; потом стал он их протирать кулаками, то на князя смотрел, то по комнате озирался, и в конце концов проговорил:

— Во сне ли это или наяву?

— Наяву, любезный мой, наяву, а чтоб совсем тебя убедить, повторю *cum omnibus titulis*;¹ я, князь Богуслав Радзивилл, конюший Великого княжества Литовского, прошу у тебя, Томаша Биллевича, мечника россиенского, руки племянницы твоей, ловчанки панны Александры.

— Как же так? О господи! Да хорошо ли ты, князь, обдумал?

— Я-то обдумал, теперь ты реши, достоин ли жених невесты...

— Я прямо опомниться не могу...

— Неужто ты и теперь назовешь мои намерения бесчестными?

— И ты, ваша светлость, не посмотрел бы на нашу худородность?

— Так дешево себя Биллевичи ценят? Так-то ценишь ты ваш шляхетский герб и древность вашего рода? От Биллевича ли слышу?

— Я знаю, что начало нашего рода восходит к древнему Риму, однако...

— Однако,— прервал его князь,— ни канцлеров, ни гетманов в нем нет. Что ж из того? Вы — такие же электоры, как и мой дядя, князь бранденбургский. А раз шляхтич может быть избран королем, то нет таких хором в Речи Посполитой, кои были бы для него чересчур высоки. Моя мать, милый мечник, а даст бог и милый дя-дюшка, была княжна бранденбургская, бабка — княжна острожская, но дед, многославный Кшиштоф Первый, прозванный Перуном, великий гетман, канцлер и воевода виленский, женат был *primo voto*² на девице Собек, и честь его при этом не пострадала, ибо девица эта была благородной шляхтянкой, ничем не хуже прочих. Зато когда мой покойный родитель женился на дочке курфюрста, все дивились, что он неровню себе берет, хоть он и

¹ Со всеми титулами (лат.).

² Первым браком (лат.).

породнился с царствующим домом. Такова ваша чертова шляхетская спесь. Ну, любезный друг, признайся, ведь не думаешь же ты, что Собек знатнее Билевича? А?..

И князь фамильярно стал похлопывать мечника по лопаткам, а шляхтич растаял, словно воск, и ответил:

— Благослови тебя господь, светлейший князь, за твое великодушие... Камень с сердца! Эх, князь, кабы еще не разность веры!..

— Венчать нас будет католический священник, другого я и сам не хочу.

— За это всю жизнь будем тебе благодарны, ведь тут первое дело — благословение божие, в котором, боюсь, господь отказал бы нам, если б какой-нибудь сквернавец..

Тут пан мечник прикусил язык, спохватившись, что чуть было не сказал нечто для князя обидное, но Богуслав словно и не заметил, напротив, милостиво улыбнулся и прибавил:

— А что до будущего потомства, я тоже перечить не стану, на все готов ради твоей красавицы.

Мечник так и просиял.

— Что правда, то правда, красотой ее, баловницу, не обделил господь.

Богуслав снова похлопал шляхтича по плечу и, нагнувшись к самому его уху, прошептал:

— А что первый будет мальчишка, за это я ручаюсь, и загляденье, а не мальчишка!

— Хе-хе!

— Иного от дочери Билевичей и ждать не приходится.

— От дочери Билевичей да замужем за Радзивиллом,— прибавил мечник, наслаждаясь соединением этих двух имен.— Хе-хе! Вот загудит вся Жмудь! Что-то запоят враги наши, Сицинские, когда Билевичи так возвеличатся? Ведь они даже старому полковнику Билевичу не дали умереть спокойно, хоть был он воин, римским мущам подобный и чтимый во всей Речи Посполитой.

— Мы их из Жмуди выживем, любезный пан мечник!

— Боже всемогущий, боже милосердый, неисповедимы пути твои, но если не противно помыслам твоим, чтоб Сицинские полопались от зависти, то... да свершится воля твоя!

— Аминь! — подхватил Богуслав.

— Милостивый князь! Не осуди, что я не чинюсь перед тобой, как приличествует тому, у кого сватают невесту, и слишком явно выказываю радость. Ведь до сих пор мы жили в унынии, не зная, что нас ожидает, все толковали в дурную сторону. Ведь мы и тебя, князь, в худом подозревали, вот до чего дошло, а тут оказывается, все наши страхи и опасения были напрасны, и мы можем почитать тебя по-прежнему. Поверь, князь, камень с души свалился...

— Неужто и панна Александра так обо мне судила?

— Она? Да будь я Цицероном, и то не сумел бы достойно описать ее прежнее перед тобой преклонение. Думается мне, лишь целомудрие и врожденная робость держали на привязи ее сердце. Но будь уверен, едва лишь она узнает, сколь чисты твои помыслы, тотчас сердечко ее встрепенется, вырвется на волю, как птичка из клетки, и, ликуя, устремится в цветущие сады любви.

— Цицерон не сумел бы изъясниться прекрасней,— заметил Богуслав.

— Счастье придает красноречия. Однако, любезный князь, раз уж ты изволишь так милостиво слушать мою болтовню, буду же я до конца откровенен.

— Будь откровенен, пан мечник.

— Хоть она и молода, но *hic mulier*¹, а притом разумна под стать мужчине и нравом на диво тверда. Там, где иной и многоопытный муж заколебался бы, она даже не призадумается. Что дурно — налево, что хорошо — направо... и сама тоже направо. Посмотреть — нежное создание, но если уж изберет себе путь — хоть из пушек пали! Не отступится. В деда пошла и в меня; отец ее был прирожденный воин, но человек мягкий... мать же, *de doto* Войниллович, двоюродная сестра панны Кульвец, тоже была с характером.

— Рад слышать это, почтенный мечник!

— Так вот, князь, просто не поверишь, как яро она ненавидит шведов, да и всех врагов Речи Посполитой. Стоит только ей заподозрить кого-нибудь в измене, хоть малейшей, то будь он ангел во плоти, отвращению ее к этому человеку нет предела... Светлейший князь! Прости старику, я если не знатностью, то годами в отцы тебе

¹ Здесь: настоящая женщина (*лат.*).

гожусь: брось ты шведа! Ведь это же супостат хуже татарина! Поверни свое войско против сукиных детей! Тогда не только я — и она с тобой в бой пойдет! Прости, князь, прости!.. Вот и сказал я, что думал!

Богуслав молча старался подавить гнев.

— Любезный пан мечник! — ответил он наконец.— Когда вчера я говорил, что стою за короля и отечество, вольно вам было заподозрить меня в обмане, но сегодня это вам уже не пристало. Так вот, теперь под присягой, как родичу, повторяю: все, что я говорил о заключении мира и его условиях,— чистая правда. Я и сам рад бы в бой, и натура моя меня к тому побуждает, но, видя, что не в том спасенье, я из душевной любви к отчизне вынужден был прибегнуть к иному способу... И, скажу по чести, добился успеха неслыханного — сам хитроумнейший Мазарини не постыдился бы мирного договора, по которому победитель нам, побежденным, дает войска для наших нужд... Не одна панна Александра, и я наравне с ней питаю *odium*¹ к нашим врагам. Однако что же делать? Как беде помочь? *Nec Hercules contra plures!*² Вот я и сказал себе: «Погибнуть — оно и легче и покойней, а ты сумеи отчизну спасти!» Делаю этого рода я учился у великих дипломатов, да и курфюрсту я родня, и у шведов, благодаря брату Янушу, пользуюсь доверием, вот я и начал немедля переговоры, а каков был их *cursus*³ и что выигрывала Речь Посполитая, тебе уже известно: конец войне, конец гонениям на вашу католическую веру, на костелы, на духовенство, на шляхетское сословие и простой народ, поддержка против московитов и казаков, а даст бог — и расширение границ... И за все это — одна-единственная уступка: посадить после Яна Казимира *Carolus*'а на трон. Покажите мне того, кто в наши дни больше сделал бы для отечества!

— Все правда... и слепому видно... да только шляхте куда как не по вкусу придется отмена свободных выборов.

— А что важнее, выборы или отчизна?

— Однако, князь, ведь выборы суть краеугольный камень Речи Посполитой... Что такое наша отчизна, как

¹ Отвращение, презрение (*лат.*).

² Здесь: один в поле не воин (*лат.*).

³ Ход, течение событий (*лат.*).

не совокупность прав, привилегий и свобод, предоставленных благородному сословию? Хозяина-то себе и под чужим владычеством нетрудно сыскать.

Гнев и скука промелькнули по лицу Богуслава.

— Carolus,— сказал он,— подпишет *pacta conventa*¹, как это делали его предшественники, а после его смерти изберем себе, кого захотим... хотя бы того Радзивилла, что родится от Александры Биллевич.

Мечник замер, словно ослепленный, а потом поднял руку и воскликнул с огромным жаром:

— *Consentior!*²

— Да и я полагаю, что ты согласен, хоть бы и с тем, чтоб далее королевский титул передавался по наследству,— сказал с ехидной усмешкой князь.— Все вы так-вы!.. Но это дело будущего. Пока что надо довести до конца мирные переговоры... Понимаешь ли, любезный мой дядюшка?

— Надо, святая правда, надо! — с глубоким убеждением повторил мечник.

— А довести их успешно до конца могу только я, самый желанный для его шведского величества посредник. И знаешь почему? Есть у Carolus'a две сестры, одна замужем за де ла Гарди, а вторая, принцесса Бипонтинская, еще девица, и он хочет выдать ее за меня, чтобы породниться с нашим домом и заполучить себе сторонников на Литве. Отсюда его ко мне благоволение, да и дядя мой, курфюрст, его к тому склоняет.

— А как же тогда...— с беспокойством проговорил мечник.

— Да так, сударь, что за вашу голубку я отдал бы всех принцесс Бипонтинских вместе с их княжествами и со всеми мостами³ на свете. Однако же дразнить шведского зверя не следует, поэтому я делаю вид, что от сватовства не прочь; но дай только нам подписать мирный договор, тогда посмотрим!

— Э! Так они, князь, глядишь, и не подпишут, когда узнают, что ты женился?

— Пан мечник,— сказал внушительно князь,— давеча ты заподозрил меня в злом умысле против отчизны...

¹ Обязательства, договор (*лат.*).

² Согласен (*лат.*).

³ Княжество Бипонтинское — княжество Двух мостов.

Я же, как истинный сын ее, спрашиваю тебя теперь: имею ли я право ради своего блага пожертвовать благом Речи Посполитой?

Пан Томаш слушал.

— Что же будет?

— Сам подумай, сударь?

— О господи, я уже вижу, что свадьбу придется отложить, а что нескоро, то и неспоро, как говорит пословица.

— Я своих чувств не переменю, любовь моя до гроба, и знай, что верностью я мог бы затмить самую терпеливую Пенелопу.

Мечник еще больше испугался, так как имел о княжеской верности прямо противоположное мнение, подтверждавшееся всеобщей молвой, а князь, словно нарочно, прибавил:

— Но ты прав, сударь, никто не знает ни дня, ни години: я могу занемочь, я и теперь уже чувствую приближение тяжкого недуга, вчера меня так скрутило, что Сакович едва отходил; могу умереть, погибнуть в бою с Сапегой, и какая тогда пойдет канитель, сколько будет хлопот и неурядиц — того просто вообразить невозможно.

— Ради бога, князь, придумай что-нибудь!

— Что тут придумать? — печально ответил князь. — Я и сам бы рад поскорей связать себя нежными узами...

— Верно, связать... То есть обвенчаться, а там будь что будет!..

Богуслав вскочил с места.

— Клянусь Священным писанием! С твоим умом тебе бы канцлером быть литовским. Другой бы три дня голову ломал, а ты сразу придумал! Верно! Верно! Обвенчаться и держать язык за зубами. Вот это голова! Мне все равно через два дня идти на Сапегу, долг зовет! На это время придумаем тайный ход в девичью светелку, а там — в путь! Государственный ум! Посвятим в тайну двух-трех приближенных, возьмем их в свидетели, чтобы бракосочетание состоялось *formaliter*!¹ Составим брачный контракт, оговорим приданое, включим в него и мою часть, и до поры до времени — молчок! Мечник, благодетель! Спасибо тебе, душевное спасибо! Приди в мои объятия, возлюбленный дядюшка, лучшего совета

¹ По всем правилам (лат.).

ты и дать не мог! Уж я-то противиться не буду! Приди в мои объятия, а затем — к ней, к ненаглядной... Буду ждать ее ответа, как на угольях! А тем временем пошлю Саковича за священником. Будь здоров, батюшка, а бог даст — вскорости и бабушка Радзивилла!

С этими словами князь выпустил из объятий ошеломленного шляхтича и выбежал из комнаты.

— О господи! — сказал себе, поостывши, мечник. — Совет мой хорош, такого и Соломон бы не постыдился, а лучше бы без него обошлось. Тайна-то тайной... Впрочем, как ни крути, хоть лбом об стенку бейся, иначе не придумаешь... Гм! И слепому ясно, не придумаешь иначе! Чтоб этих шведов мороз до последнего повыморил! Какую свадьбу закатили бы, кабы не переговоры, глядишь, вся Жмудь съехалась бы на пир! А тут придется мужу к собственной жене украдкой ходить, чтоб шуму не наделать. Тьфу, пропасть! Не скоро еще полопаются от зависти Сицинские, хотя, с божьей помощью, это их не минует...

И мечник пошел к Оленьке.

Тем временем князь снова держал совет с Саковичем.

— Шляхтич плясал от радости на задних лапах, как медведь, — говорил он Саковичу, — ну и замучил он меня! Уф! Я его за это так обнял да так встряхнул, что у него ребра затрещали и сапоги чуть не свалились вместе с обмотками... А как он пыжился, когда я называл его «дядюшкой», прямо на глазах раздувался, ни дать ни взять квашня. Тьфу, тьфу! Ну погоди, будешь ты мне дядюшкой, таких дядюшек у меня по всему свету дюжинами... Сакович! А она-то! Так и вижу, как она поджидает меня в своей светелке, глазки закрыла, ручки скрестила... Погоди ж и ты! Ужо зацелую я твои глазки... Сакович! Дарю тебе Пруды за Ошмяной в пожизненное владенье! Когда прибудет Пляска?

— К вечеру. Благодарствую твоей княжеской милости за Пруды...

— Оставь... К вечеру? Значит, вот-вот... ах, если бы можно было обвенчаться сегодня же, хоть в полночь! Контракт у тебя готов?

— Готов. Я уж, князь, не поскупился от твоего имени. Отписал девице в подарок Биржи. Взвоят мечник, как собака, когда их у него отберут.

— Посидит в яме и успокоится.

— Обойдется и без этого. Откроется, что брак незаконный, потеряет силу и все остальное. А не говорил я, что они согласятся?

— Старик согласился сразу... Что-то скажет она? Долго его не видать!

— Бросились друг другу в объятия и плачут от умиления, благословляют тебя и дивятся твоей красоте да доброте.

— Не знаю, дивятся ли красоте, я что-то скверно выгляжу. Все время нездоровится, боюсь, как бы не вернулась вчерашняя онемелость членов.

— Э, тебе, князь, только бы согреться как следует...

Князь уже стоял перед зеркалом.

— Под глазами у меня синяки, и брови негодяй Фуре криво нынче начернил. Погляди, разве не криво? Велю ему вывернуть пальцы мушкетным затвором, а в камердинеры возьму обезьяну! Что такое, почему мечника все нет?.. Мне не терпится к невесте! Хоть поцеловать-то себя она позволит до свадьбы... поцеловать, пригубить! Как сегодня рано темнеет... А для Пляски, коли станет упираться, вели клещи накалить...

— Пляска упираться не станет, это плут, каких мало.

— И свадьба будет плутовская.

— Плут плута по-плутовски обвенчает.

Князь пришел в хорошее настроение.

— Дружкой-то сводник, оттого и свадьба такая!

Оба смолкли, а потом стали смеяться, но их хохот странно зловещим эхом отдавался в темном покое. На дворе уже была глубокая ночь.

Князь принялся расхаживать по комнате, громко стуча чеканом, на который с силой опирался, так как после недавнего припадка ноги еще плохо слушались его.

Слуги внесли канделябры со свечами и вышли, но сквозняк сильно пригнул пламя свечей, и они долго горели наклонно, истекая растопленным воском.

— Смотри, как свечи горят,— сказал князь.— Что бы это значило?

— Это значит, что нынче растает, как воск, чья-то невинность.

— Странно, как долго колеблется пламя.

— Может, душа старого Биллевича пролетает над свечами.

— Типун тебе на язык, дурень! — порывисто воскликнул князь Богуслав.— Нашел, когда духов поминать!

Наступило долгое молчание.

— В Англии есть поверье,— проговорил князь,— когда дом посещают духи, все свечи загораются синим пламенем, а тут, смотри — желтым горят, как обычно.

— Вздор!..— ответил Сакович.— Вот в Москве есть люди...

— Тише! — прервал Богуслав.— Мечник идет... Нет, это ветер качает ставню. Еще эта тетка при девушке, черт ее принес... Панна Кульвец-Гиппоцентаврус! Вот так имечко! А страшна — сущая химера.

— Хочешь, князь, я на ней женюсь? Не будет путаться под ногами. Пляска заодно и нас окрутит.

— Ладно. Подарю ей к свадьбе яворовую лопату, а тебе фонарь, ты ей посветишь.

— Но тогда я стану твоим дядюшкой... Богусь...

— Помни про Кастора! — ответил князь.

— Не гладь Кастора против шерсти, друг Поллукс, а то укусит!

Разговор их был прерван приходом мечника и панны Кульвец. Князь, опираясь на чекан, поспешил им навстречу. Сакович встал.

— Ну что? Можно к Оленьке? — спросил князь.

Но мечник только развел руками и свесил голову на грудь.

— Милостивый князь! Моя племянница сказала, что завещание полковника Билевича не позволяет ей распоряжаться своей судьбой, а если бы даже и позволяло, она бы все равно за твою княжескую милость не вышла, так как сердце ее к тебе не лежит.

— Сакович! Слышишь? — страшным голосом вскричал князь.

— Я тоже знал про завещание,— продолжал мечник,— но не думал, что это *impedimentum*¹ непреодолимо.

— Черта ли мне в ваших шляхетских завещаниях!— крикнул князь.— Плевать мне на ваши шляхетские завещания, слышишь?..

— Да нам-то не плевать! — вскинулся пан Томаш.— А по завещанию девушке либо в монастырь идти, либо за Кмищица.

¹ Препятствие (лат.).

— За кого, мразь несчастная? За Кмицица? Я вам покажу Кмицица! Я вас проучу!

— Ты кого это, ваша милость, мразью называешь? Билевича?

И мечник в величайшем гневе рванул из ножен саблю, но в ту же минуту князь с такой силой хватил его обушком чекана, что у шляхтича екнуло в груди и он рухнул наземь, а князь, отпихнув лежащего ногой, бросился к двери и с непокрытой головой выскочил вон.

— Иисусе, Мария! Святые угодники! — вопила панна Кульвец.

Но Сакович схватил ее за плечо и, приставив ей кинжал к груди, сказал:

— Тише, ягодка, тише, горлинка сизая, а то я сейчас пережду твое нежное горлышко, как хромой курице. Сиди спокойно и не ходи наверх, там князь с твоей племянницей справляет свадьбу.

Но в жилах панны Кульвец тоже текла рыцарская кровь. Лишь только она услышала слова Саковича, испуг ее мгновенно обратился в гнев и отчаяние.

— Изверг! Убийца! Безбожник! — крикнула она.— Зарежь меня, все равно буду кричать на всю Речь Посполитую! Брат убит, племянница опозорена, не хочу и я жить на свете! Бей, изверг, режь! Люди, сюда! Смотрите все!..

Сакович сильной рукой зажал ей рот.

— Тихо ты, кривая карга! Тихо, сморчок сушеный! Не нарежу я тебя, дьявол сам свое добро приберет. А чтоб ты не кричала павлином, завяжу-ка я твои сладкие уста твоим же платочком, а сам возьму лютню да сыграю тебе серенаду. Придется тебе меня полюбить.

И ошмянский староста с ловкостью заправского громила вмиг обмотал голову панны Кульвец платком, скрутил ей руки и ноги и бросил ее на софу.

Затем сам уселся рядом и, расположившись поудобнее, спросил так спокойно, словно начинал самую обычную беседу:

— Как ты думаешь, сударыня? Пожалуй, и Богусь там, наверху, управится без труда?

Но тут он вскочил, так как дверь распахнулась, и на пороге стала панна Александра.

Лицо ее было бело как мел, волосы в беспорядке, брови сдвинуты, а в глазах сверкало негодование.

Увидев лежащего мечника, она бросилась перед ним на колени и стала ощупывать его голову и грудь.

Мечник глубоко вздохнул, открыл глаза, приподнялся и начал озираться вокруг, словно пробуждаясь от сна. Затем, упершись в пол рукой, он попытался встать, и вскоре с помощью девушки ему удалось это сделать. Пошатываясь, он дошел до стула и рухнул на него.

Только тогда Оленька заметила панну Кульвец, лежавшую на софе.

— Ты убил ее? — спросила она Саковича.

— Упаси боже! — ответил ошмянский староста.

— Приказываю тебе ее развязать!

И голос ее прозвучал так повелительно, что Сакович без слова, как будто приказ исходил из уст супруги Радзивилла, кинулся развязывать бесчувственную панну Кульвец.

— А теперь, — сказала девушка, — ступай к своему господину, он лежит наверху.

— Что случилось? — крикнул, опомнившись, Сакович. — Ты за него ответишь!

— Не перед тобой, холуй! Прочь!

Сакович бросился вон, как сумасшедший.

ГЛАВА XVIII

Целых два дня Сакович не отходил от князя. Второй приступ оказался еще тяжелее первого; стиснутые челюсти больного пришлось разжимать ножом, чтобы влить в рот укрепляющее лекарство. Вскоре после этого князь пришел в сознание, однако он еще долго метался, дрожал, вскидывался на постели, бился, словно смертельно раненное животное. Когда и это прошло, им овладела страшная слабость; целую ночь он глядел в потолок, не произнося ни слова. Под утро, выпив снотворного снадобья, он погрузился в тяжелый, глубокий сон, а к полудню снова проснулся, обливаясь потом.

— Как ты себя чувствуешь, князь? — спросил Сакович.

— Мне лучше. Не было ли писем?

— Пришли письма от курфюрста и от Стенбока, вон лежат на столе, но чтение лучше отложить, ты еще слишком слаб.

— Давай сейчас же... слышишь?

Ошмянский староста взял письма и подал Богуславу, тот дважды перечел их и, немного подумав, сказал:

— Завтра тронемся на Подляшье.

— Завтра твоя княжеская милость будет лежать в постели, как и сегодня.

— Буду в седле, как и ты!.. Молчи, не возражай!..

Староста умолк, и некоторое время тишину прерывало лишь важное и медлительное тиканье гданских часов.

— Глупый был совет и выдумка глупая,— проговорил вдруг князь,— и я тоже хорош, нашел кого слушать.

— Так я и знал, что, если не выйдет, виноват буду я,— ответил Сакович.

— Свалял дурака, так молчи.

— Совет был разумный, только у них, видно, черт в услуженье, он им доносит, а за это я не ответчик.

Князь привстал в постели.

— Ты думаешь? — сказал он, пристально глядя на Саковича.

— А ты что, князь, папистов не знаешь?

— Знаю, знаю! Мне тоже приходило в голову, что тут не без колдовства. Со вчерашнего дня я в этом уверен. Ты угадал мою мысль, потому я и переспросил тебя. Но кто же из них мог войти в заговор с нечистой силой? Ведь не она же, она богобоязненна... и не мечник — тот слишком глуп...

— Да хоть бы эта тетушка...

— Это возможно...

— Я ее вчера нарочно крест-накрест связал, а перед тем нож к глотке приставил, и вообрази — сегодня гляжу, а лезвие словно бы в огне оплавлено.

— Покажи!

— Я кинул нож в воду, хоть в рукоятке была чудесная бирюза. Не желаю больше его касаться.

— Ну, так слушай, что со мной вчера приключилось... Ворвался я к ней, как безумный. Что говорил — не помню... помню только, девка крикнула: «Я скорей в огонь брошусь». Знаешь, там такой огромный камин. И прыгнула! Я за ней. Схватил ее. На ней уже одежда занялась. Пришлось и гасить, и держать ее. Тут-то меня и скрутило. Челюсти свело, жилы на шее словно когтями кто рвет. И вдруг мне показалось, что искры, которые вокруг нас летали, превратились в пчел и жужжат, как пчелы... Ей-богу, правда!

— А потом?

— Больше ничего не помню, только страх такой, словно я лечу в бездонный колодец, в бесконечную пропасть. Так страшно, так страшно... передать не могу! До сих пор волосы дыбом встают. И не только страшно... не знаю, как сказать... и тошно, и тоска смертная, и какое-то невыразимое изнеможение. К счастью, само небо меня охранило, а то бы уж нам с тобой сегодня не говорить.

— Это у тебя, князь, припадок был. Правда, бывает, и от самой болезни всякая нечисть в глазах встает, но для верности стоило бы сделать в речке прорубь и кинуть туда чертову бабу.

— Провались она! Нам все равно завтра выступать, а там придет весна, созвездия переменятся, ночи станут короче, и нечистая сила потеряет надо мной власть.

— Раз мы завтра выступаем, бросил бы ты, князь, эту девку.

— Волей-неволей придется... Да у меня нынче всякое желание пропало.

— Отпусти их обоих, пусть убираются к черту!

— Никак нельзя.

— Почему?

— Шляхтич мне проговорился, что у него в Билевичах закопаны большие деньги. Отпущу я их — они деньги выкопают и уйдут в леса. Лучше подержу их тут, а деньги реквизирую... Теперь война, можно! Впрочем, он сам же и предложил. Велим перекопать сады в Билевичах пядь за пядью, непременно отыщем. А мечник пусть тут посидит, по крайности не будет кричать на всю Литву, что его ограбили. Как подумаю, сколько я денег перевел на пиры да на турниры, зло берет! И все попусту, все попусту!

— А меня на эту девку давно зло берет. Говорю тебе, князь, когда она вчера пришла и крикнула мне, словно мальчишке на побегушках: «Ступай наверх, холуй, там твой хозяин лежит», — я ей чуть голову не свернул, я ведь думал, она тебя ножом пырнула либо подстрелила из пистолета.

— Ты знаешь, я не терплю самовольства. Твое счастье, что ты этого не сделал, а то велел бы я тебя припечь теми клещами, что были приготовлены для Пляски... не смей к ней и близко подходить!

— Пляску я уже отправил обратно. Он страшно удивился, никак не мог взять в толк, зачем его привезли и зачем велют прочь идти. Просил дать ему что-нибудь за беспокойство, у него, дескать, в торговле ущерб, но я ему сказал: благодари бога, что цел уходишь... Неужто правда, завтра выступаем на Подляшье?

— Истинная правда. А войска по моему приказу высланы?

— Рейтары уже в Кейданах, а дальше пойдут на Ковно и там будут ждать... Наши польские хоругви еще здесь, что-то я побоялся их вперед пускать. Будто бы и надежный они народ, а все же могли снюхаться с конфедератами. Гловбич пойдет с нами, казаки под командой Вротынского тоже; Карлстром со шведами идет в передовом дозоре... Ему приказано по пути уничтожать всех мятежников, а в особенности мужичье.

— Хорошо.

— Кирицу с пехотой велено двигаться не спеша, чтоб в случае чего он мог прийти нам на помощь. Не знаю, будет ли толк от прусских и шведских рейтар, ведь весь наш расчет основан на скорости и внезапности. Жаль, мало польских хоругвей,— сказать по чести, с нашей конницей никому не сравниться...

— А артиллерия вышла?

— Вышла.

— И Патерсон?

— Нет, Патерсон здесь, ухаживает за Кетлингом, тот опасно поранился собственной шпагой. Патерсон очень его любит. Не знай я, какой доблестный офицер Кетлинг, я подумал бы, что он покалечился нарочно, чтоб не идти в поход.

— Надо будет человек сто оставить здесь, то же и в Россиенах и в Кейданах. Шведские гарнизоны и так малочисленны, а к тому еще де ла Гарди что ни день забирает у Левенгаупта людей. А когда и мы уйдем, бунтовщики забудут про шавельское поражение и снова поднимут головы.

— Их и без того все больше. Я слышал, в Тельшах опять перебили шведов.

— Шляхта? Мужики?

— Мужики под водительством ксендза. Но есть и шляхетские отряды, особенно близ Лауды.

— Лауданские ушли с Володыёвским.

— Осталось много стариков и подростков. Теперь там все берутся за оружие, ведь они прирожденные воины.

— Без денег мятежники ничего не сделают.

— А мы зато разживемся казной в Биллевичах. Надо быть гением, князь, чтобы все так предусмотреть.

Богуслав горько усмехнулся.

— В этой стране лишь тому почет, кто умеет угождать ее величеству королеве и шляхте. Гений и доблесть тут не в цене. К счастью, я — князь Римской империи, никто меня здесь силой не удержит. Что мне за дело до всей этой Речи Посполитой, лишь бы доходы от здешних моих поместий поступали исправно.

— Не вздумали бы конфисковать!

— Раньше мы конфискуем Подляшье, а то и всю Литву. А сейчас позови ко мне Патерсона.

Сакович вышел и вскоре вернулся с Патерсоном. У княжеского ложа начался совет; решено было выступить завтра на рассвете и скорым маршем двинуться на Подляшье. К вечеру Богуславу стало настолько легче, что он сел пировать вместе с офицерами и допоздна шутил и веселился, с удовольствием прислушиваясь к ржанию коней и бряцанию оружия. Войску готовилось в поход.

Временами он глубоко вздыхал и потягивался, сидя в своем кресле.

— Я знаю, поход возвратит мне здоровье,— говорил он офицерам,— со всеми этими переговорами да празднествами я слишком засиделся на месте. Даст бог, теперь почувствуют мою руку и конфедераты, и наш коронованный экс-кардинал.

Патерсон отважился заметить:

— Счастье, что Далила не обрезала Самсону волос.

Богуслав устремил на него странный взгляд, от которого шотландцу стало не по себе, но вскоре на лице князя заиграла жестокая улыбка.

— Если Сапега — главная опора Речи Посполитой,— сказал он,— я так его тряхну, что все здание обвалится ему на голову.

Разговор велся по-немецки, поэтому все чужеземцы-наемники отлично поняли слова князя и ответили хором:

— Аминь!

На следующий день, еще до рассвета, войско с князем во главе двинулось в поход. Прусские помещики, привлеченные в Тауроги блеском княжеского двора, тут же стали разъезжаться по домам.

Затем отправились в Тильзит те, кто искал в Таурогах прибежища от невзгод военного времени и кому теперь в Тильзите казалось безопаснее. Остались только мечник, панна Кульвец да Оленька, не считая Кетлинга и Брауна, старого офицера, который командовал немногочисленным гарнизоном.

Мечник после памятного удара чеканом более двух недель лежал, харкая кровью, но, поскольку все кости у него были целы, он начал понемногу поправляться и подумывать о побеге.

Меж тем приехал из Билевичей эконо́м с письмом от самого князя. Мечник сперва не хотел читать письма, но потом передумал и последовал совету панны Александры, которая говорила, что надо знать все намерения неприятеля.

«Милостивый государь, дражайший мой пан Билевич! *Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur!*¹ По воле злого рока мы расстались с тобой в ссоре, хотя я, питая к тебе и к твоей прелестной племяннице сердечную приязнь, от всей души желал бы противоположного. Но видит бог, моей вины в том нет, и ты, сударь, сам отлично знаешь, какой неблагодарностью отплатили вы мне за мои честные намерения. Однако — что делается и говорится в гневе, того меж друзьями в счет ставить не следует, а потому благоволи, милостивый государь, оправдать мою несдержанность той обидой, которая была мне вами нанесена. Я также прощаю вас ото всего сердца, как повелевает мне христианская любовь к ближнему, и жажду единственно прежнего согласия. А дабы ты уверился, любезный пан мечник, что обиды я на тебя не таю, положил я исполнить твою просьбу, ибо отказать в ней негоже, и деньги твои принимаю...»

Тут мечник бросил чтение, грохнул кулаком по столу и крикнул:

— Да я лучше костями лягу, а ему гроша ломаного не дам!..

¹ Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздоров гибнут величайшие державы (лат.).

— Читай дальше, батюшка,— сказала Оленька.

Мечник снова взялся за письмо.

«... а не желая утруждать твою милость отыскиванием этих денег и подвергать опасности жизнь твоей милости, ибо время нынче беспокойное, я сам велел их откопать и пересчитать...»

В этом месте голос отказал мечнику, и письмо выпало из его рук; казалось, шляхтич утратил дар речи, он только вцепился пальцами в свой чуб и дергал его что было сил.

— Бей, кто в бога верует! — воскликнул он наконец.

А Оленька ему на это:

— Чем горше обида, тем ближе кара божья, ибо скоро преисполнится мера...

ГЛАВА XIX

Мечник был в страшном отчаянии, и девушке пришлось утешать его и доказывать, что эти деньги вовсе не пропали, что само письмо Богуслава может служить на них распиской, а с Радзивилла, владельца стольких земель на Литве и на Руси, есть что взыскивать.

Тем временем, поскольку трудно было предвидеть, что их ждет впереди, особенно если Богуслав вернется в Тауроги с победой, они стали еще усерднее думать о побеге.

Оленька, однако, предлагала повременить, пока не выздоровеет Кетлинг, потому что Браун был угрюмый и несговорчивый служака, слепо повиновавшийся приказу, и рассчитывать на его помощь не приходилось.

А Кетлинг,— и Оленька прекрасно это понимала,— поранился нарочно, чтоб остаться при ней, поэтому она была уверена, что ради нее он готов на все. Правда, ее непрестанно тревожила совесть: вправе ли она ради собственного спасения рисковать чужой судьбой, а быть может, и жизнью? Но опасность, нависшая над нею в Таурогах, была стократ ужаснее той, что грозила бы Кетлингу, если бы он бросил службу. Этот отличный офицер, утешала она себя, всегда сможет найти новую и куда более достойную службу, а с нею и столь могущественных покровителей, как король, Сапега или Чарнецкий. Притом и служить он тогда будет справедливому де-

лу и сможет отплатить добром стране, которая приютила его, изгнанника. Смерть грозила бы ему лишь в том случае, если б он попался в руки Богуславу, но ведь Богуслав пока еще не завладел всею Речью Посполитой!

Панна Александра отбросила колебания и, когда молодой офицер окреп настолько, что мог вернуться к своим обязанностям, пригласила его к себе.

Кетлинг предстал перед нею бледный, исхудавший, без кровинки в лице, но, как всегда, почтительный, почкорный и полный благоговения.

При виде его слезы навернулись у Оленьки на глаза,— это была единственная дружественная ей душа в Таурогах, и душа эта так томилась и страдала; на вопрос Оленьки о здоровье молодой офицер ответил:

— Увы, госпожа, мне лучше, а я так хотел бы умереть...

— Сударь, брось эту службу,— сказала девушка, глядя на него с состраданием,— столь достойное сердце должно питаться верой, что оно служит достойному делу и достойному господину.

— Увы! — повторил офицер.

— Когда истекает срок твоей службы?

— Только через полгода.

Оленька помолчала, потом подняла на него свои чудесные глаза, утратившие в эту минуту всю свою суровость, и сказала:

— Пан рыцарь, выслушай меня. Я буду говорить с тобой, как с братом, как с лучшим другом. Ты можешь и должен освободиться.

И вслед за тем она открыла ему все: и что хочет бежать, и что рассчитывает на его помощь. Ведь он, доказывала ему девушка, всегда найдет себе службу под стать его благородной душе и везде завоюет славу, достойную его рыцарской чести; речь свою она заключила такими словами:

— А я буду тебе, сударь, благодарна до самой смерти. Я решила схорониться в монастыре и дать обет богу, но где бы ты ни был, далеко ли, близко ли, на войне ли, в мирной ли жизни, я буду за тебя молиться, буду просить бога, чтобы он ниспослал моему брату и благодетелю покой и счастье, раз уж я ему, кроме благодарности и молитвы, ничего более дать не могу...

Тут голос девушки дрогнул, а офицер, который слушал ее, бледный как полотно, упал на колени, сжал ладонями лоб и голосом, подобным стону, ответил:

— Не могу, госпожа! Не могу...

— Ты отказываешь мне? — изумленно спросила девушка.

Вместо ответа он начал молиться.

— Боже всемогущий, боже милосердный! — говорил он.— С детских лет я ни разу не осквернил уст своих ложью, не запятнал себя бесчестным поступком. Еще отроком защищал я слабою моею рукой короля моего и отчизну; за что же, о господи, караешь ты меня и ниспосылаешь мне муку, которая, сам видишь, превышает мои силы!— Тут он обратился к Оленьке:— Госпожа, ты не знаешь, что такое присяга для солдата, не знаешь, что в повиновении не только его долг, но и честь его и достоинство. Я связан присягой, и более, нежели присягой,— рыцарским словом, что не оставлю службы до срока и слепо исполню все, чего она требует. Я солдат и дворянин и, с божьей помощью, никогда в жизни не пойду по стопам тех наемников, которые предают честь свою и службу. И ни приказ, ни даже мольба твоя, госпожа, не заставят меня нарушить слово, хотя, видит бог, говорю тебе это с сердечной мукой. Если б я, имея приказ никого не выпускать из Таурогов, стоял на страже у ворот и ты сама захотела бы, вопреки приказу, выйти за ворота, ты бы вышла, да,— но только через мой труп. Госпожа, ты меня не знала и обманулась во мне. Но сжался, пойми, не могу я способствовать твоему побегу, я даже слушать о нем не вправе, ибо всем нам, Брауну и пятерым оставленным здесь офицерам, отдан на этот счет строжайший приказ. Боже, боже! Если бы я это предвидел, лучше бы мне уйти в поход! Мне тебя не убедить, госпожа, ты мне не поверишь, но бог свидетель, бог по смерти рассудит, прав ли я... жизнь свою отдал бы тебе без колебанья, а честь не могу, не могу!..

С этими словами Кетлинг заломил руки и умолк в полном изнеможении, лишь дыхание его участилось.

Оленька не могла опомниться от изумления. Ей некогда было ни задуматься, ни оценить по достоинству редкостное благородство этой души; она чувствовала лишь, что почва уходит у нее из-под ног, что рушится ее последняя надежда вырваться из проклятой неволи.

Она все же попыталась настоять на своем.

— Сударь,— сказала она, подумав,— я внучка и дочь воинов; мой дед и отец мой также превыше жизни дорожили честью, однако же именно честь не позволила бы им выполнять слепо столь сомнительные поручения...

Кетлинг дрожащей рукой достал из поясной сумки письмо, протянул его Оленьке и сказал:

— Суди сама, госпожа, могу ли я пренебречь прямым служебным приказом.

Оленька бросила взгляд на бумагу и прочитала следующее:

«Поскольку нам стало известно, что Билевич, мечник россиенский, намерен тайно покинуть нашу резиденцию с враждебными нам целями, а именно с тем, чтобы *excitare*¹ своих знакомых, родных, близких и вассалов *ad rebellionem*² против его шведского величества и против нас — приказываем: офицерам, состоящим в *praesidium*³ в Таурогах, содержать под стражей оного Билевича с племянницей как заложников и пленников военных, и бегства их не допускать под страхом лишения чести и *sub ропа*⁴ военного суда...» и т. д.

— Приказ пришел с первого постоя, по отъезде князя,— пояснил Кетлинг,— поэтому он писаный, не устный.

Оленька ответила не сразу.

— Да свершится воля божья! — сказала она наконец.— Будь что будет.

Кетлинг чувствовал, что ему следует уйти, и не двигался с места. Бледные его губы изредка вздрагивали, словно он хотел что-то сказать, но голос его не слушался.

Его терзало желание броситься к ногам девушки и молить о прощении, но он понимал, что у нее достаточно собственных бед, и находил какое-то томительное наслаждение в том, что он тоже страдает и будет страдать безропотно.

Наконец офицер молча поклонился и вышел, но, едва очутившись в сенях, сорвал повязки с незажившей раны и упал без чувств. Час спустя его нашла около лестницы

¹ Подстрекать, возбуждать (лат.).

² К восстанию (лат.).

³ Горнизоне (лат.).

⁴ Под страхом (лат.).

дворцовая стража и отнесла в цейхгауз, где он, сильно расхворавшись, пролежал в постели более двух недель.

После ухода Кетлинга Оленька была как в тумане. Она готова была ко всему — даже к смерти, но не к его отказу. В первую минуту, как ни была закалена ее душа, сила и бодрость покинули ее, она почувствовала себя обыкновенной слабой женщиной и, хоть сама не сознавая, твердила: «Да свершится воля божья»,— однако боль разочарования была сильнее смирения, и горькие слезы потоком хлынули у нее из глаз.

В эту минуту вошел мечник. Взглянув на племянницу, он сразу понял, что его ждут недобрые вести, и быстро спросил:

— Помилуй бог! Что там еще?

— Кетлинг отказал,— ответила девушка.

— Все они негодяи, мошенники и грязные собаки! Как? И этот не хочет помочь?

— Не только не хочет помочь,— жалобно, словно малое дитя, отвечала Оленька,— но еще и грозитя, что помешает, даже ценой собственной жизни.

— Почему? О господи! Почему?

— Такова, знать, наша судьба! Кетлинг не предатель, но такова уж наша судьба, и нет никого на свете несчастней нас.

— Разрази их гром, всех этих проклятых еретиков!— вскричал мечник.— На добродетель покушаются, грабят, обируют, в неволе держат... Пропaday все пропадом! Честным людям нет жизни в наше время!

Тут он стал бегать по комнате и махать кулаками, а под конец, скрипнув зубами, проговорил:

— Даже воевода виленский, даже Кмициц в тысячу раз лучше, чем эти раздушенные мерзавцы без чести и совести!

Оленька ничего не ответила только расплакалась еще горше. Глядя на ее слезы, мечник примолк, а помолчав, прибавил:

— Не плачь. Кмициц вспомнился мне лишь потому, что уж он-то сумел бы вырвать нас из этого содома. Уж он показал бы всем этим Браунам, Кетлингам, Патерсонам, да и самому Богуславу! А впрочем, все изменники одинаковы! Не плачь! Слезами горю не поможешь, тут надобно умом пораскинуть. Не хочет Кетлинг помогать,— чтоб его перекосило! — обойдемся без него... Ох,

девка, будто бы и смела, как мужчина, а в трудную минуту только плакать умеешь... Что говорит Кетлинг?

— Говорит, что князь велел стеречь нас, как военнопленных, он, дядюшка, боится, что ты соберешь отряд и примкнешь к конфедератам.

Пан мечник подбоченился.

— Ага! Боится, негодяй! И не зря боится, видит бог, я так и сделаю!

— Приказ этот вышел Кетлингу по службе, и честь обязывает его повиноваться.

— Ладно!.. Обойдемся без помощи еретиков.

Оленька утерла слезы.

— А сможем ли мы, дядюшка?

— Мы должны, а раз должны,— значит, сможем, хоть бы нам пришлось по веревке спускаться из этих окон.

Девушка живо ответила:

— Прости, что я плакала... Давай скорее что-нибудь придумаем!

Слезы ее сразу высохли, и брови снова сдвинулись с прежней твердостью и энергией.

Однако обнаружилось, что мечник ничего толком посоветовать не мог. Девушка оказалась куда скорей на выдумку, но и у нее дело двигалось туго, так как ясно было, что за ними будут зорко следить.

Поэтому они решили ничего не предпринимать, пока в Тауроги не придут первые вести от Богуслава. На это они возложили все свои надежды, уповая, что господь покарает того, кто предал родину и забыл всякий стыд. Радзивилл может пасть в бою, может тяжело заболеть, может понести поражение от Сапеги, а тогда в Таурогах непременно возникнет замешательство и ворота будут охраняться не так прилежно.

— Я пана Сапегу знаю,— говорил в ободренье себе и Оленьке мечник.— Он воитель неторопливый, но аккуратный и упорный на диво. Верность его королю и отчизне всякому могла бы служить *exemplum*. Все заложил, распродал, и собрал такую рать, что Богуслав перед ним— тьфу, пустое место. Тот человек почтенный, сенатор, а этот — вертопрах, тот набожный католик, а этот — еретик, тот — сама рассудительность, а этот — дуროлом! Так на чьей же стороне будет победа, кого благословит гос-

подь? Отступит Радзивиллова ночь перед Сапегиным днем, отступит! А если нет — значит, нет на этом свете справедливости и воздаяния за грехи!.. Как бы ни было, нам с тобой остается ждать вестей и молиться за успех Сапегина оружия.

И они стали ждать. Но прошел целый месяц, долгий и томительный для измученных сердец, прежде чем прибыл первый посланец, да и то не в Тауроги, а в Королевскую Пруссию, к Стенбоку.

Кетлинг, не смевший со дня последнего их разговора показаться Оленьке на глаза, сразу прислал ей записку с известием:

«Князь Богуслав побил пана Кшиштофа Сапегу под Бранском; несколько хоругвей конницы и пехоты истреблены без остатка. Теперь он идет на Тыкоцин, где стоит Гороткевич».

Для Оленьки это был страшный удар. По девической своей неопытности она полагала, что талант полководца равнозначен рыцарскому искусству, а поскольку ей случилось видеть в Таурогах, с какой легкостью Богуслав одолевал нахрабрейших рыцарей, то теперь, особенно после этого известия, воображение рисовало ей князя в виде некоей пусть злой, но несокрушимой силы, перед которой никто не устоит.

Надежда на поражение Богуслава угасла в ней совершенно. Напрасно мечник успокаивал ее и утешал тем, что молодой князь не мерялся еще силами со старым Сапегой, напрасно доказывал, что само звание гетмана, которым король отличил недавно Сапегу, должно дать ему решительное превосходство над Богуславом, — она не верила, не смела верить.

— Кто его победит? Кто перед ним устоит? — повторяла она беспрерывно.

Дальнейшие известия подтверждали, казалось, основательность ее опасений.

Через несколько дней Кетлинг снова прислал записку с донесением о разгроме отряда Гороткевича и взятии Тыкоцина.

«Все Подляшье, писал он, в руках князя, и он, не дожидаясь пана Сапегу, сам спешит ему навстречу».

«И Сапега будет разбит», — подумала девушка.

И вдруг, словно ласточка, первый гонец весны, прилетела в Тауроги весть из иных сторон. Прилетела она

сюда, в приморские окраины Речи Посполитой, поздно, зато расцвятилась по дороге радужным блеском, уподобившись волшебной легенде первых веков христианства, когда святые ходили по земле, проповедуя истину и справедливость.

— Ченстохова! Ченстохова! — повторяли все уста.

Оттаяли заледеневшие сердца, распустились, словно цветы, обогретые весенним солнцем. «Ченстохова устояла! Люди видели, как сама пресвятая владычица Польши укрывала стены своим лазурным плащом; смертоносные гранаты подкатывались к ее святым стопам, ластясь, словно ручные псы; у шведов отсыхали руки, мушкеты прирастали к лицам, и наконец они отступили с ужасом и позором».

Чужие люди, слышав эту весть, падали друг другу в объятья, рыдая от радости. Другие сетовали, что весть пришла так поздно.

— Мы-то тут плачем, — говорили они, — мы тут горюем, мы страдаем столько дней, а нам уж давно радоваться бы!

И пошло, и загредело по всей Речи Посполитой, и раскатился тот грозный гром от Понта Эвксинского до Балтики, так что волны всколыхнулись в обоих морях; это народ, верный, набожный народ бурей поднимался на защиту своей владычицы. Все сердца преисполнились надежды, все взоры загорелись огнем; враг, представлявшийся прежде столь страшным и несокрушимым, теперь казался пигмеем.

— Кто его одолеет, кто перед ним устоит? — говорил Оленьке мечник. — А вот кто! Пресвятая дева!

Оба они с Оленькой по целым дням лежали крестом перед распятием, вознося благодарственные молитвы богу за то, что он смилостивился над Речью Посполитой; теперь они не сомневались, что недалек час и собственного их избавления.

О Богуславе же надолго всякий слух прекратился, он вместе со всем своим войском как в воду канул. Офицеры, оставшиеся в Таурогах, начали беспокоиться и с тревогой помышлять о своем будущем. Даже весть о поражении Богуслава они предпочли бы этому глухому молчанию. Но никакие вести дойти до них не могли — как раз в это время грозный Бабинич со своими татарами обошел князя и перехватывал всех его гонцов.

Но вот в один прекрасный день в Тауроги, сопровождаемая полусотней солдат, приехала панна Анна Борзобогатая-Красенская.

Браун волей-неволей встретил гостью любезно, так как Сакович в письме, подписанном самим Богуславом, повелевал ему оказывать всяческое гостеприимство приближенной особе княгини Гризельды Вишневецкой. Гостья же с первой минуты обнаружила весьма шаловливый нрав; сразу принялась стрелять глазками в Брауна и так распалила угрюмого немца, что тот завертелся словно на углях; вслед за тем она стала командовать и другими офицерами,— словом, распоряжалась в Таурогах, как у себя дома. В тот же вечер она познакомилась с Оленькой, которая, правда, посматривала на нее с недоверием, но приняла приветливо, в надежде услышать какие-нибудь новости.

А новостей у Ануси было предостаточно. В первую очередь таурожские узники жаждали услышать о Ченстохове. Мечник даже приставлял ладонь к уху, боясь проронить хоть слово, и лишь время от времени прерывал рассказ Ануси возгласами:

— Слава всевышнему!

— Как странно,— сказала наконец гостья,— до вас, видно, только что дошла весть о чудесных деяниях пресвятой девы, а ведь это уже дело давнее, я тогда еще в Замостье была, и пан Бабинич еще тогда за мной не приезжал, да где там! Это на сколько недель раньше было... А потом шведов и везде начали бить, и в Великой Польше, и у нас, а всех страшней пан Чарнецкий, шведы от одного имени его удирают.

— А! Чарнецкий! — воскликнул мечник, потирая руки.— Этот им всыплет перцу! Я о нем еще на Украине слышал как о великом воине.

Ануся только юбочку руками встряхнула да так это небрежно, словно о безделице речь, бросила:

— Э! Шведам конец!

Тут уж старый пан Томаш не выдержал, схватил крошечную ручку девушки и, утопив ее в своих огромных усах, принялся неистово целовать, приговаривая:

— Ах ты, моя душенька! Твоими бы устами да мед пить, ей-богу! Ну, просто ангел к нам в Тауроги прилетел!

Ануся тотчас стала крутить пальчиками концы своих косичек, перевязанных розовыми ленточками, и, постреливая исподлобья глазками, возразила:

— Какой там из меня ангел! Но это правда, теперь уж и коронные гетманы начали шведов бить, и все королевское войско с ними, и все рыцарство, а в Тышовцах составили конфедерацию, и король к ней примкнул, и они издали универсалы, и даже мужики шведов бьют... и пресвятая дева нас благословляет...

Говорила она, словно птичка щебетала, и от этого щебета сердце мечника растаяло совершенно, и хоть некоторые из этих новостей были ему уже известны, взревел под конец мечник от радости, что твой зубр; а по лицу Оленьки покатались тихие, крупные слезы.

Увидев это, добрая Ануся подбежала к ней и, обняв за шею, быстро-быстро заговорила:

— Не плачь... мне так тебя жалко, нет сил смотреть. О чем ты плачешь?

И такая искренность была в ее голосе, что все недоверие Оленьки вмиг исчезло, но зато расплакалась бедняжка еще пуще.

— Ты такая красавица,— утешала ее Ануся,— почему же ты плачешь?

— От радости,— отвечала Оленька,— но и от печали тоже. Мы ведь тут в плену у недругов, живем, не зная, что будет с нами завтра.

— Как? У князя Богуслава?

— У предателя Богуслава! У еретика Богуслава! — рявкнул мечник.

Ануся им в ответ:

— Да ведь и я в неволе, а не плачу. Пусть князь и предатель и еретик, не стану перечить, но он светский кавалер и к нашему слабому полу почтителен.

— Чтоб к нему черти в аду были так почтительны! — возразил мечник.— Ты его, сударыня, еще не знаешь, он к тебе так не приставал, как к моей племяннице. Негодяй он, последний негодяй, и Сакович, его прихвостень, не лучше. Дай бог, чтоб Сапега сокрушил их обоих!

— Так и будет, так и будет. Князь Богуслав жестоко болен, и войско у него невелико. Правда, он напал врас-

плох и уничтожил несколько хоругвей, захватил Тыкоцин, а с ним и меня, да только где ему тягаться с паном Сапегой. Можете мне поверить, я видела оба войска... С паном Сапегой идут самые знаменитые рыцари, они вмиг расправятся с князем Богуславом!

— Вот видишь? А я что говорил! — воскликнул мечник, обращаясь к Оленьке.

— Я князя знаю издавна, — продолжала Ануся, — он ведь в родстве с князьями Вишневецкими и с Замойскими; как-то раз он и к нам в Лубны приезжал, когда князь Иеремия уходил в Дикие Поля на татар. Богуслав потому-то и велел теперь оказывать мне почтение, он ведь помнит, что я там была как своя и княгиня меня очень любила. Я тогда вот такусенькая была, маленькая, не то что теперь!.. Боже мой, и кто мог тогда подумать, что он станет предателем! Но вы, мои милые, не печальтесь. Все равно, или он больше сюда не вернется, или мы сами как-нибудь отсюда вырвемся.

— Мы уж пытались, — ответила Оленька.

— И не удалось?

— Не удалось! — ответил мечник. — Открылись мы во всем одному офицеру, думали, что он нам сочувствует, а он не только помочь не захотел, но и готов был помешать. Старший тут над ними Браун, а уж с этим сам черт не сговорит.

Ануся потупила глазки.

— Может, мне удастся. Пусть только пан Сапега подойдет поближе, чтоб нам было у кого укрыться.

— Пошли его господь поскорее, — ответил пан Томаш, — среди его людей немало наших родных, знакомых и друзей... Стой! Да ведь там и бывшие мои товарищи, с кем вместе служили у великого Иереми, — Володыёвский, Скшетуский и пан Заглоба.

— Я их знаю, — удивленно сказала Ануся, — но при Сапеге их нет. Эх, если б они там были! А особенно пан Володыёвский (Скшетуский-то женат)! Тогда бы меня тут не было, Володыёвский — это не Котчиц, он бы так просто не дался.

— Володыёвский — великий рыцарь! — воскликнул мечник.

— Гордость всего войска! — прибавила Оленька.

— О господи! Да уж не погибли ли они, раз ты, сударыня, их не видела?

— Ну, нет! — ответила Ануся. — О гибели таких рыцарей сразу стало бы известно, а я ничего такого не слышала... Да вы их плохо знаете! С ними никому не совладать... разве что пуля их возьмет, а в рукопашном бою с ними никто не справится — ни с паном Скшетуским, ни с паном Заглобой, ни с паном Михалом. Пан Михал даром что маленький, а я помню, князь Иеремия говорил, что если б пришлось судьбу всей Речи Посполитой решать единоборством, то он бы выбрал пана Михала. Он и Богуна зарубил... О нет! Пан Михал всегда сумеет за себя постоять!

Мечник, довольный, что нашел себе собеседницу по душе, ходил большими шагами по горнице и расспрашивал:

— Смотри-ка, смотри-ка! Так ты, сударыня, хорошо знаешь пана Володыёвского?

— Мы ведь столько лет бок о бок жили...

— Смотри-ка!.. Поди и без амуров не обошлось?

— Я к тому непричастна... — сказала Ануся с видом полнейшей невинности, — да и пан Михал уже, верно, с тех пор женился.

— А вот и не женился.

— Да хоть бы и женился... мне это все равно!

— Дай вам бог встретиться... Но меня огорчает, что их нет при гетмане, с такими бойцами легче побеждать.

— Зато там есть человек, который всех их заменит.

— Кто ж таков?

— Пан Бабинич из-под Витебска... А вы о нем не слышали?

— Нет, то-то мне и удивительно.

Ануся принялась рассказывать про свой отъезд из Замостья и про все, что с нею приключилось в пути. Пан Бабинич в ее рассказе выходил столь необычайным героем, что мечник ума приложить не мог, кто же это такой.

— Я же всю Литву насквозь знаю, — рассуждал он. — Есть там, правда, схожие фамилии, скажем, Бабонаубки, Бабиллы, Бабиновские, Бабинские и Бабские, но о Бабиничах я не слыхивал... наверно, он сражается под вымышленным именем, так поступают многие партизаны, чтобы враг не мстил семьям и не разорял поместий. Гм! Бабинич... Славный, видно, вояка, коли сумел и Замойского оставить с носом!

— Ах, очень, очень славный! — воскликнула Ануся.

Мечник развеселился.

— Вон как! — сказал он, становясь против Ануси и подбочениваясь.

— Да вы, сударь, небось сразу бог знает что подумали?

— Упаси боже, ничего я не подумал!

— А пан Бабиниц, как только мы выехали из Замостья, сразу сказал мне, что сердце его отдано на откуп другой, и хоть податей она ему не платит, он не собирается менять арендатора...

— И ты ему поверила?

— Как не поверить, — ответила Ануся с чрезвычайной живостью, — он, видно, влюблен по уши, коль скоро за все то время... коль скоро он... коль скоро...

— Ох, что-то нескоро! — смеясь, заметил мечник.

— А я говорю — скоро! — ответила девушка, топнув ножкой. — Скоро мы о нем услышим...

— Дай-то бог!

— И знаете почему? Стоит, бывало, пану Бабиницу только упомянуть о князе Богуславе, он сразу весь побелеет, а зубами заскрежест — просто как железные ворота.

— Ну, уж этот наверняка нам друг! — воскликнул мечник.

— Еще бы! К нему-то мы и убежим, пусть только объявится!

— Только бы нам вырваться отсюда, а там будет у меня своя дружина, тогда увидишь, что и мне вой-на не в новинку, и эта старая рука кое на что еще сгодится.

— А ты тогда, сударь, ступай под начало к пану Бабиницу.

— Я вижу, сударыня, тебя самое разбирает охота послужить под его началом?

И долго еще они подтрунивали друг над другом, все веселей и веселей, даже Оленька, позабыв свои печали, немного повеселела, а Ануся под конец стала фыркать на мечника, словно кошечка. Усталости она не чувствовала, так как отлично выспалась на последнем ночлеге в соседних Россиенах, а потому засиделась у Оленьки допоздна.

— Золото, не девка! — сказал мечник, когда она ушла.

— Душа у нее открытая... мне кажется, мы с ней скоро сойдемся, — ответила ему Оленька.

— А ведь сначала ты на нее букой смотрела.

— Я боялась, не подослал ли ее кто. Ах, почему я знаю? Я здесь всего боюсь!

— Это ее-то подослали? Разве что добрые духи! А уж лукава чертова девка, что твоя ласочка! Будь я помоложе, я бы за себя не поручился, а впрочем... я и так еще мужчина в соку...

Оленька совсем развеселилась и, подражая Анусе, уперла кулачки в колени, склонила набок головку и искося поглядывала на мечника:

— Это что же, дядюшка? Уж не хочешь ли ты награждать меня свежее испеченной тетушкой?

— Ну-ну, ладно! — прикрикнул на нее мечник. Но тут же улыбнулся и, захвативши в горсть усы, стал их подкручивать кверху. А потом прибавил: — Ведь она даже тебя, степенницу, расшевелила. Я уверен, вы теперь страсть как подружитесь.

Пан Томаш не ошибся. В скором времени между девушками завязалась самая теплая дружба, и с каждым днем возрастала, может быть, именно потому, что они составляли полную противоположность друг другу. Одна отличалась серьезным нравом, глубиной чувств, несгибаемой волей и разумом, другая же, при сердечной доброте и чистоте мыслей, была настоящий сорванец. Одна своим тихим лицом, светлыми косами, невыразимым спокойствием и очарованием стройного стана подобна была античной Психее; другая же, смуглянка, напоминала скорей проказливого эльфа, который заманивает по почам путников в непроходимые дебри, а потом потешается над их незадачей. Офицеры, которые оставались в Таурогах и каждый день любовались на них обеих, готовы были целовать панне Биллевич ноги, Анусю же предпочли бы целовать в губки.

Впрочем, Кетлинг, с его меланхолической душой шотландского горца, почитавший и боготворивший Оленьку, невзлюбил Анусю с первого взгляда; Ануся отвечала ему тем же и отыгрывалась на Брауне и всех остальных, не исключая самого мечника россиенского.

Оленька в короткое время приобрела большое влияние на свою подружку, и та чистосердечно признавалась пану Томашу:

— Она в двух словах больше скажет, чем я начирикаю за целый день.



ANUSIA

Однако был один недостаток, от которого умная девушка не могла отучить свою ветреную подружку, — кокетство. Бывало, едва слышит Ануся в сенях звон шпор, мигом притворится, будто что-то забыла, будто хочет узнать, не пришли ли новости про пана Сапегу, — выскакивает в сени, летит сломя голову, а налетев на офицера, вскрикивает:

— Ах, как вы меня напугали!

Вслед за тем заводится беседа, причем Ануся теревит свой передничек, постреливает исподлобья глазками и строит гримаски, которые способны сокрушить самое твердое мужское сердце.

Особенно осуждала Оленька это легкомыслие потому, что Ануся чуть не в самом начале их знакомства призналась ей в тайной склонности к пану Бабиничу. Девушки часто разговаривали о нем.

— Все другие домогались меня, как попрошайки, — жаловалась Ануся, — а это чудовище охотнее любовалось своими татарами, чем мною. И говорил-то он со мной, будто приказывал: «Сударыня, извольте выйти из коляски! Извольте есть! Извольте пить!» И ведь не сказать при этом, что невежа, — нет, вежлив, или что не заботился обо мне — нет, заботился! Сначала, в Красноставе, я было подумала: «Ах, так, не смотришь на меня? Ну, погоди же!» Но не успели добраться до Ленчной, меня самое так разобрало, страсть! Признаюсь тебе по секрету, я только и знала, что смотрела в его серые глаза, а стоило ему улыбнуться — и мне весело делалось, ну просто будто я была его рабыня...

Оленька понурила голову, ей тоже вспомнились чьи-то серые глаза. И тот так же разговаривал, и у того вечно приказы на устах и смелый взор, но только тот не знал ни совести, ни страха божьего.

А Ануся продолжала:

— Как помчится по полю верхом, с буздыганом в руке — прямо тебе орел или гетман какой. Татары его боялись как огня. Куда ни приедет — все ему повинуются, а если бой — он весь горит, так ему до крови драться охота. Много я видела в Лубнах достойных рыцарей и никого не боялась, а его боюсь!

— Если он предназначен тебе богом, ты его получишь. Не верю я, что ты ему не понравилась.

— Нравиться-то я ему нравилась... немножко... но

другая больше. Он сам не раз говорил мне: «Твое счастье, что я ни забыть, ни разлюбить не могу, а то скорее волку можно было бы доверить козочку, чем мне такую де-вушку».

— А ты что?

— А я ему: «А ты почем, сударь, знаешь, что я ответила бы тебе взаимностью?» А он отвечает: «Я бы и спрашивать не стал!» Вот и делай с ним что хочешь!.. Та, что не пожелала его любить, просто дура, бессердечная дура. Я спрашивала, как ее зовут,— не захотел сказать. «Лучше, говорит, этого не касайся, это мое главное горе, а другое, говорит, мое горе — предатели Радзивиллы!» И лицо у него сразу стало такое страшное, что я готова была спрятаться в мышиную норку. Ужасно испугалась!.. Ну, да что говорить. Не для меня он, не для меня!

— Молись святому Миколаю, тетка говорила, он в таких делах лучше всех помогает. Смотри только, как бы святой не разгневался, видя твою ветреность.

— Я больше не буду, разве только чуть-чуть! Вот столечко!

И Ануся показывала на пальце, сколько она себе позволит, и, чтобы не обидеть святого Миколая, отмеривала меру и впрямь небольшую, всего на полногтя.

— Я ведь это делаю вовсе не из легкомыслия,— толковала она мечнику, которого тоже стало огорчать ее кокетство,— а из расчета. Если нам не помогут офицеры, мы отсюда и не выберемся.

— Э! Браун никогда не согласится.

— Браун уже укрощен! — ответила Ануся тоненьким голоском, опуская глазки.

— А Фиц-Грегори?

— Тоже! — пискнула она еще тоньше.

— А Оттенгаген?

— Тоже!

— А фон Ирен?

— Тоже!

— Ай да девка, комар тебя заешь!.. Значит, с одним только Кетлинггом не справилась?

— Терпеть его не могу! Но есть кто-то, кто мог бы с ним справиться... Впрочем, обойдемся и без его позволения.

— И ты думаешь, они нам не помешают, если мы решим бежать?

— Они с нами пойдут!..— ответила Ануся, щурясь и откидывая головку.

— Так зачем же мы тут сидим, черт побери? Мне бы еще нынче хотелось быть как можно дальше отсюда!

Однако, посоветовавшись с Оленькой, они решили подождать, пока не решится судьба Богуслава и пока пан подскарбий либо пан Сапега не подойдут к Жмуди вплотную. Иначе им грозила гибель от своих же. Эскорт из чужеземных офицеров не только не смог бы их защитить, но, напротив, лишь увеличивал опасность; простой народ так ожесточился против чужеземцев, что безжалостно расправлялся с каждым, кто носил не польскую одежду. Даже польские сановники, одевавшиеся по-иноземному, не говоря уж об австрийских и французских дипломатах, вынуждены были разъезжать не иначе, как под сильной воинской охраной.

— Вы уж мне поверьте, я проехала всю страну из конца в конец,— говорила Ануся,— в первой же деревне, в первом же лесу нас прирежут мародеры, не спрося имени и званья. Нет, если бежать, так только под защиту войска.

— Э, у меня будет своя дружина.

— Ты, сударь, не успеешь ее собрать, даже до знакомого села живым доехать не успеешь.

— Вот-вот должны прийти вести о князе Богуславе.

— Я велела Брауну тотчас докладывать мне обо всем.

Однако Браун долге ничего ей не докладывал.

Тем временем Кетлинг вновь стал навещать Оленьку, которая как-то раз при встрече сама протянула ему руку. Отсутствие известий, полагал молодой офицер, говорит о том, что дела князя нехороши. Заботясь о репутации у шведов и курфюрста, князь не умолчал бы о своем военном успехе, хотя бы и самом незначительном, напротив, он скорее преувеличил бы его.

— Не думаю, чтоб князь был полностью разбит,— говорил молодой офицер,— однако положение у него, видимо, трудное, возможно, даже безвыходное.

— Все новости приходят к нам с опозданием,— отвечала Оленька,— пример тому — чудесное избавление Ченстоховы, подробности которого мы узнали только от паны Борзобогатой.

— Я, госпожа, знал об этом и раньше, но, будучи иноземцем, не представлял себе, сколь священен для по-

ляков этот монастырь, потому и не упоминал об этом. Какая-то малая крепость продержалась неделю-другую да отбила несколько атак — это ведь в большой войне не редкость, и никто не придает этому значенья.

— А для меня не было бы радостней вести!

— Теперь я вижу, что поступил неправильно. События, которые последовали за обороной Ченстоховы, показали, что дело это важное и может повлиять на весь ход войны. Однако вернемся к походу князя на Подляшье. Тут обстоятельства иные. Ченстохова далеко, Подляшье близко. Вспомни, госпожа, как быстро доходили до нас вести вначале, когда князю сопутствовал успех... Верь мне, я еще молод, но в солдатах с четырнадцати лет, и мой опыт говорит мне, что эта тишина — плохой знак.

— Скорее хороший, — возразила девушка.

— Пусть так! — отозвался Кетлинг. — Через полгода кончается моя служба. Через полгода я буду свободен от присяги!

Спустя несколько дней после этого разговора пришли наконец вести от князя.

Привез их пан Бес, герба Корня, прозванный при дворе Богуслава *Cornutus'om*¹. Пан Бес был польский шляхтич, но, находясь с младых ногтей на службе в иноземных войсках, совершенно онемечился и почти забыл родную речь, во всяком случае, говорил как немец. И в душе его мало осталось польского, а потому он был весьма привязан к князю. Ехал он в Кенигсберг, куда послан был с важным поручением, а в Таурогах остановился лишь отдохнуть.

Браун с Кетлингом немедля привели его к Оленьке и Анусе, которые теперь дневали и ночевали вместе.

Браун встал навытяжку перед Анусей, затем обратился к Бесу:

— Это родственница пана Замойского, калушского старосты, а значит, и самого князя, который повелел оказывать ей всяческое внимание. Она желает услышать новости из уст очевидца.

Бес, в свою очередь, вытянулся, как перед начальством, и ждал вопросов.

Ануся не стала отрицать своего родства с князем, ибо ей льстили почести, оказываемые военными. Она знаком

¹ Рогатым (лат.).

пригласила пана Беса сесть и, когда он повиновался, спросила:

— Где сейчас находится князь?

— Князь, с божьей помощью, отступает к Соколке,— ответил офицер.

— Отвечай, сударь, по всей правде, каковы его дела?

— Скажу чистую правду, ничего не скрывая,— ответил офицер,— и надеюсь, что ваша милость найдет в душе своей достаточно твердости, дабы выслушать не весьма благоприятные известия.

— Найду! — ответила Ануся, постукивая украдкой каблучком о каблучок от удовольствия, что ее называют «ваша милость» и что новости «не весьма благоприятны».

— Сначала мы успешно продвигались вперед,— рассказывал пан Бес.— По дороге уничтожили несколько мятежных отрядов, разгромили пана Кшиштофа Сапегу, две хоругви его конницы и полк отменной пехоты, ни единого ратника не помиловали... Затем мы разбили Гороткевича, и чуть ли он сам не убит... Потом заняли тыкоципские руины...

— Все это мы уже знаем, рассказывай, сударь, скорей неблагоприятные новости! — нетерпеливо прервала его Ануся.

— Изволь только, госпожа, выслушать их спокойно. Дошли мы до самого Дрогичина, и тут счастье от нас отвернулось... По донесениям, пан Сапега был еще далеко, и вдруг исчезли, словно под землю провалились, два наших конных разъезда. Не вернулся ни один человек. Потом оказалось, что впереди нас идет какое-то войско. Это нас в сильное замешательство привело. Светлейший князь начал думать, что все полученные нами донесенья были ложны и что Сапега не только выступил навстречу, но и отрезал нам дорогу. Тогда мы стали отступать, надеясь настигнуть неприятеля врасплох и принудить к открытому бою, как того непременно хотел князь... Но противник не принимал боя, а все только теснил и теснил нас. Вновь были наряжены конные разъезды, но и они, изрядно потрепанные, пришли назад. С той поры все обернулось против нас, не стало покою ни днем, ни ночью. Кто-то портил перед нами дороги, разрушал плотины, перехватывал обозы с провиантом. Пошли слухи, что сам Чарнецкий нас преследует; солдат не

спал, не ел, стал падать духом; люди исчезали прямо из лагеря, как по волшебству. В Белостоке неприятель снова захватил целый разъезд, пушки, собственный княжеский столовый обоз и кареты. Я никогда не видел ничего подобного. В прежних войнах такого не бывало. Князь впал в беспокойство. Он жаждал дать одно настоящее сражение, а вынужден был выдерживать ежедневно десятки мелких стычек... и проигрывать. Порядок в войске нарушился. Но как передать вам наш страх и растерянность, когда мы узнали, что Сапега с войском еще не выступил и лишь один передовой отряд его, правда, многочисленный, обойдя нас, успел нанести нам столь ужасные потери! В том отряде были татары...

Тут речь его была прервана Анусей, которая, взвизгнув, бросилась Оленьке на шею и воскликнула:

— Пан Бабинич!

Офицер изумился, услышав это имя, но решил, что крик был исторгнут из груди достойной девицы ненавистью и страхом, а потому, помолчав, продолжал:

— Успокойся, госпожа! Кого господь одаряет величием, тому дает он и силу претерпеть годину бедствий. Ты не ошиблась, так зовут этого пособника сатаны, который все наши планы попутал и стал причиной бесчисленных бед. Его имя, которое твоя милость с такой редкой пронизательностью угадала, с яростью и страхом повторяет ныне все наше войско...

— Я видела этого пана Бабинича в Замостье,— поспешно ответила Ануся,— и если б я предполагала...

Тут она умолкла, и никто так и не узнал, что бы тогда произошло.

Офицер заговорил снова:

— Вдобавок, вопреки, можно сказать, законам самой природы, началась оттепель; в то время, как на юге Речи Посполитой держались еще сильные морозы, мы утопали в весенней распутице, а наша тяжелая кавалерия и вовсе не имела возможности передвигаться. И тем сильнее досаждал нам Бабинич со своей легкой кавалерией. На каждом шагу теряли мы пушки и повозки, так что в конце концов лишились всего обоза. Окрестные жители в слепом своем ожесточении открыто помогали мятежникам... Что нам еще бог пошлет, неизвестно, но при моем отъезде положение войска и светлейшего князя, которого вдобавок жестко терзает изнурительная лихорадка,

было самое отчаянное. Однако вскоре непременно произойдет генеральное сражение, а уж как дело обернется — предсказать не берусь.. все в руке божией. Одна надежда на чудо.

— Где же ты оставил князя, сударь?

— От Соколки день пути. Князь намерен окопаться в Суховоле или в соседнем Янове и дать бой. Сапега оттуда в двух днях пути. Когда я уезжал, мы получили передышку; сам Бабинич, как узнали мы от захваченного языка, уехал в лагерь, где стоят главные силы, а без него татары не так свирепствуют, довольствуясь мелкими стычками. Князь, полководец непревзойденный, в хорошие свои дни возлагает все надежды на генеральное сражение, однако, едва начинает его трепать лихорадка, мысли его переменяются, потому, видно, он и послал меня в Пруссию.

— А зачем ты туда едешь, сударь?

— Князь либо выиграет битву, либо проиграет. Если проиграет, вся княжеская Пруссия останется без прикрытия, и Сапега, пользуясь этим, может перейти границу, дабы склонить курфюрста на сторону короля... Так вот (могу сказать вам, ибо в этом нет никакой тайны) я еду туда предупредить: пусть позаботятся о защите своих провинций, ибо могут нагрянуть незваные гости. Это и курфюрста касается, и шведов, с которыми светлейший князь в союзе и от которых вправе также ожидать помощи.

Офицер кончил.

Ануса забросала его множеством вопросов, с трудом сохраняя надлежашую серьезность. Зато когда офицер вышел, она дала себе волю — и руками по юбочке хлопала, и вертелась волчком на каблуках, и Оленьку в глаза целовала, и пана мечника дергала за откидные рукава его кунтуша, восклицая:

— Ну, что? Что я говорила? Кто допек князя Богуслава? Сапега, что ли?.. Кукиш вашему Сапеге! Кто и шведов теперь теснит? Кто истребит всех предателей? Кто величайший воин, величайший рыцарь на свете? Пан Анджей! Пан Анджей!

— Какой пан Анджей? — спросила вдруг Оленька, бледнея.

— Разве я тебе не говорила, что его зовут Анджеем? Он мне сам сказал. Пан Бабинич! Пан Бабинич! Да

здравствует пан Бабинич! С ним даже пан Володыёвский не сравнится... Оленька, что с тобой?

Панна Александра трянула головой, как бы желая освободиться от бремени тягостных мыслей.

— Ничего! Я думала, это имя носят одни лишь предатели. Был такой человек, который брался продать шведам либо князю Богуславу нашего короля, живого или мертвого, и звали этого человека тоже... Анджеем.

— Покарай его бог! — рявкнул мечник. — А нам зачем поминать предателей на ночь глядя. Порадуемся лучше, раз есть чему радоваться!

— Пусть только Бабинич подойдет сюда поближе! — прибавила Ануся. — Так вот же буду, нарочно буду еще больше кокетничать с Брауном, пусть он подобьет весь гарнизон, и мы все вместе, с людьми и с лошадьми, перейдем к Бабиничу!

— Сделай так, милая! Сделай! — загорелся мечник.

— А потом всем этим немцам — фигу с маком! Может, тогда и он забудет ту, недостойную, и меня по...лю...

Тут она снова тоненько взвизгнула, закрыла глаза руками, а потом, видно, рассердилась вдруг на какие-то свои мысли, ударила кулачком о кулачок и заявила:

— А нет, пойду за Володыёвского!

ГЛАВА XXI

А спустя две недели все Тауроги были охвачены волнением. Однажды вечером на дороге показалось Богуславово войско, но в каком виде! Разбитое, рассыпанное на отдельные кучки по тридцать—сорок всадников, изуренных и оборванных донельзя, похожих более на призраков, нежели на живых людей. Они пронесли весть о поражении Богуслава под Яновом. Пропало все — армия, пушки, кони, обоз. Шесть тысяч отборнейших воинов отправилось с князем в этот поход, а вернулось едва четыреста рейтар, которых сам князь вывел из сечи.

Из поляков, кроме Саковича, не вернулся ни один человек; все, кто не пал в бою, кто уцелел от набегов страшного Бабинича, перешли к Сапеге. Многие иноземные офицеры также предпочли добровольно стать под знамена победителя. Словом, никогда еще ни один Радзи-

вилл не возвращался из военного похода столь обесславленный, потрепанный и побитый.

И если раньше придворные льстецы не знали меры, превознося полководческие таланты Богуслава, то теперь все единогласно винили князя за неумелое ведение войны; уцелевшие солдаты роптали и отказывались повиноваться, в последние дни отступления всеобщее недовольство приняло такие размеры, что князь счел благоразумным несколько поотстать.

Они с Саковичем задержались в Россиенах. Гасслинг, узнав об этом от солдат, поспешил с новостью к Оленьке.

— Важнее всего,— сказала, выслушав его, девушка,— узнать, преследуют ли князя Сапега и этот самый Бабинич и намерены ли они перенести военные действия в наши края.

— По рассказам солдат об этом судить невозможно,— ответил офицер,— у страха глаза велики, некоторые говорят даже, что Бабинич вот-вот нагрянет. Однако князь с Саковичем остались здесь, из чего можно заключить, что погоня не близко.

— Но все же за ними должны гнаться? Не может быть, чтоб не гнались! Кто же, разбив врага, даст ему уйти?

— Время покажет. Я, госпожа, хотел бы поговорить о другом. Князь сейчас раздражен болезнью и неудачами и с горя может решиться на самые отчаянные поступки... Не отходи же ни на шаг от тетки и панны Борзобогатой; не соглашайся, чтоб пана мечника отсылали в Тильзит, как случилось перед последним походом.

Оленька ничего не ответила. Мечника, разумеется, никто в Тильзит не отсылал, это Сакович, чтобы скрыть от людей поступок князя, распустил слух, будто мечник выехал в Тильзит, когда он после памятного удара чеканом лежал в постели. Оленька предпочла умолчать об этом перед Кетлингом, гордой девушке стыдно было признаться, что кто-то посмел ударить Биллевича, как собаку.

— Спасибо за предупреждение,— сказала она наконец.

— Я почитал это своим долгом...

Но в сердце девушки вновь вскипела обида. Ведь совсем недавно во власти Кетлинга было избавить ее от этой новой опасности, ведь если б он помог ей бежать,

она была бы уже далеко и освободилась бы от Богуслава раз и навсегда.

— Какое счастье, пан рыцарь,— сказала она,— что это предупреждение не затрагивает твоей чести и что князь не запретил тебе приказом предупреждать меня!

Кетлинг понял упрек и ответил речью, которой Оленька от него не ожидала:

— Все, что касается моей солдатской службы, все, что велит мне моя честь, я выполняю — или погибну. Иного выбора у меня нет, и я не ищу его. Однако вне службы я имею право воспрепятствовать низкому поступку. И вот, как частное лицо, я оставляю тебе этот пистолет и говорю: опасность близка, защищайся, а нужно будет — убей! Тогда я буду разрешен от присяги и не замедлю прийти к тебе на помощь.

С этими словами он поклонился и направился к двери, но Оленька остановила его.

— Брось эту службу, рыцарь, стань на защиту благого дела, на защиту обиженных, ты этого достоин, ты честный человек, и жаль, если пропадешь вместе с предателем!

— Я давно бросил бы службу и подал в отставку,— ответил Кетлинг,— если бы не думал, что могу быть полезен тебе здесь, госпожа. А теперь уже поздно. Возвратись Богуслав победителем, я не колебался бы ни минуты... но он возвращается побежденным, вслед ему, быть может, спешит неприятель, и трусостью было бы проситься в отставку, пока не выйдет законный срок моей службы. Ты, госпожа, еще насмотришься вволю, как малодушные толпами станут покидать побежденного, но меня среди них не увидишь... Прощай. Этот пистолет с легкостью пробивает даже панцирь.

Кетлинг вышел, оставив на столе оружие, которое Оленька поскорее спрятала. К счастью, опасения молодого офицера и ее собственные страхи оказались напрасными.

Богуслав прибыл вечером вместе с Саковичем и Патерсоном, но был так болен и удручен, что едва держался на ногах. К тому же князь сам толком не знал, не преследует ли его Сапега или Бабиниш со своей легкой кавалерией.

Правда, в бою Богуславу удалось свалить Бабиниша наземь вместе с конем, но он не смел надеяться, что убил

своего врага,— как ему показалось, острие его меча лишь скользнуло по мисюрке Бабинича. Впрочем, однажды он уже стрелял Бабиничу прямо в лицо и то не убил.

У князя сердце щемило при мысли о том, что будет с его поместьями, когда доберется до них этакий Бабинич с своими татарами. А защищать было некому. Да и не только поместья, но и его самого, князя. Среди его наемников немного было таких, как Кетлинг, и следовало ожидать, что при первых же слухах о приближении Сапеги с войском все они до единого его оставят.

Князь и сам не думал задерживаться в Таурогах более чем на два-три дня, он должен был спешить в Королевскую Пруссию, к курфюрсту и Стенбоку, от которых ждал нового подкрепления и которые могли либо отправить его завоевывать прусские города, либо послать на подмогу к самому Карлу, собиравшемуся в поход в глубь Речи Посполитой.

Единственное, что еще можно было сделать, это оставить в Таурогах кого-нибудь из офицеров, чтобы он привел в порядок остатки разбитого войска, отгонял прочь крестьянские и шляхетские отряды, оберегал именья обоих Радзивиллов и поддерживал связь с Левенгауптом, главнокомандующим шведских войск на Жмуди.

С этой целью, вернувшись в Тауроги и выспавшись, князь наутро призвал к себе Саковича, единственного, кому он мог довериться и вполне открыть душу.

Странной была эта утренняя встреча двух приятелей в Таурогах после неудачного похода. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом Богуслав произнес:

— Ну! Все полетело к чертям!

— К чертям! — повторил Сакович.

— По такой погоде иначе и быть не могло. Легкой кавалерии у меня было мало, да еще этого Бабинича нечистый принес... Второй раз он на мою голову! Ишь, висельник, имя чужое взял. Смотри же, никому об этом не говори, это ему только славы прибавит.

— Я-то не скажу... А вот что офицеры не растреляют — не поручусь, ты ведь самолично представил им его как оршанского хорунжего.

— Офицеры — немцы, в польских фамилиях не разбираются. Им все едино, что Кмициц, что Бабинич. А! Кля-

нись рогами Люцифера, попадись он мне только! И ведь попался... Еще и людей моих, разбойник, перебаламутил, отряд Гловбича переманил! Нет, положительно, в этом ублюдке должна быть капля нашей крови! Ведь я держал его, держал... и упустил! Вот что мне досадно, досадней, чем весь наш неудачный поход.

— Верно, князь, ты его держал — ценой моей головы!

— Ясек! Честно тебе скажу — пусть бы они с тебя хоть шкуру содрали, лишь бы взамен я мог натянуть на барабан шкуру Кмицица.

— Благодарствую, Богусь. Меньшего я не ожидал от такого друга, как ты.

Князь рассмеялся.

— То-то было бы треску, когда б Сапега стал тебя на противне поджаривать... Все твои мошенства из тебя вытопили бы. Ma foi! Вот бы полюбоваться!

— А я любовался бы, каков бы ты был в руках у Кмицица, твоего любезного родственничка. Лицом вы не схожи, но осанка у вас одинаковая, и ноги одного размера, и сохнете оба по одной девке, но только она, даже не попробовавши, догадывается, что тот и здоровьем крепче, и в бою искусней.

— Он бы с двумя такими, как ты, справился, а я вот конем его топтал... Мне бы еще минуту, много две, и голову даю на отсечение, моего родственничка не было бы в живых. Ты всегда был глуповат, за то я тебя и любил, но в последнее время твой умишко совсем притупился.

— Я тупоумен, зато ты остроног, вон как от Сапегито улепетывал! За то я тебя и разлюбил и сам готов идти к Сапеге.

— На цепь!

— На ту цепь, которой скуют Радзивилла.

— Довольно!

— Слуга покорный вашей княжеской милости!

— Надо бы навести среди рейтар порядок, расстрелять пяток крикунов.

— Я утром шестерых велел повесить. Уже и остыли, пляшут на своих веревках превесело, вон какой ветер шальной.

— Хорошо сделал. Послушай-ка! Я должен оставить кого-нибудь в Таурогах комендантом, не хочешь ли ты остаться?

— Не только хочу, но и сам прошу об этом. Лучше меня никто не управится. Солдаты меня боятся, знают, что со мной шутки плохи. И для связи с Левенгауптом полезнее, чтоб тут остался кое-кто поважней Патерсона.

— А с мятежниками совладаешь?

— Можешь мне, ваша светлость, поверить: в нынешнем году жмудские сосны принесут, кроме шишек, еще и плоды потяжелей. Сколочу полк-другой пехоты из мужиков да вымуштрую их по-своему. И за именьями буду присматривать, а если какое из них разорят мятежники, я немедля выберу шляхтича побогаче, свалю вину на него и уж, будь уверен, все из него выжму. Так что я и с деньгами обойдусь, мне бы лишь немного для начала — выплатить содержание наемникам да снарядить пехоту.

— Сколько смогу, оставляю.

— Из приданого?

— Из какого приданого?

— Ну, из биллевичевских, тех, что ты сам себе выплатил вперед в счет приданого!

— Хорошо бы, ты сумел как-нибудь под шумок свернуть шею этому мечнику, шутки шутками, а ведь у шляхтича моя расписка.

— Постараюсь. Только вот что: а вдруг он эту расписку отослал куда-нибудь либо девка ее в сорочку зашила? Не угодно ли твоей княжеской милости проверить?..

— Всему свое время, а сейчас надобно ехать, притом же проклятая febris отняла у меня все силы.

— Завидуй мне, князь, я-то остаюсь в Таурогах.

— Что-то слишком уж ты радуешься. Эй! Да ты, случаем, не... Четвертовать велю! Ты почему так домогаешься этого?

— А я жениться хочу!

— На ком? — спросил князь, подскочив в постели.

— На панне Борзобогатой-Красенской.

— Удачная мысль! Превосходная мысль! — помолчав, сказал князь. — Я слышал о какой-то дарственной записи...

— Да, от пана Лонгина Подбипенты. Сам знаешь, это богатейший род, а у покойного Лонгина были владенья в нескольких поветах. Правда, кое-что захватили

дальние родичи, а в иных стоят московские войска. Пойдут, разумеется, споры да раздоры, иски да взыски, но я свое возьму, колышка никому не уступлю. Да и девка по вкусу мне прищлась, больно уж гладка да пригожа. К тому же, когда мы ее захватили, она только прикидывалась, будто боится, а сама то и дело на меня поглядывала — я сразу заметил. Дай мне лишь остаться в Таурогах комендантом, а уж там от одного безделья пойдут амуры...

— Одно тебе скажу. Жениться — женись, не запрещаю, однако смотри — насильничать не смей! Девушка из окружения Вишневецких, приближенная самой княгини Гризельды, а я не желаю ссориться ни с княгиней, ни с калушским старостой.

— Нечего меня предупреждать, — ответил Сакович, — раз я намерен честно жениться, то и ухаживать буду честь по чести.

— Хотел бы я, чтоб она тебе отказала.

— Я знаю одного, которому отказали, хоть он и князь, но думаю, что со мною это не приключится. Уж очень она умильно глазки мне строила.

— Того, кому отказано, ты лучше не задевай, гляди, как бы он тебе рогов не наставил. Придется тогда подрисовать к твоему гербу рога либо сделать прибавку к имени: Сакович-Рогатый! Прекрасная будет парочка — она Борзобогатая, а он Борзорогатый. Женись, Ясек, женись, да на свадьбу позови, дружкой буду.

Лютая злоба искадила и без того страшные черты Саковича. Глаза его на мгновение потемнели, но он тут же опомнился и, обращая княжеские слова в шутку, ответил:

— Эх, бедолага! Нашел чем испугать! Да ты по лестнице не взойдешь без чужой помощи, а грозисься... Есть у тебя твоя панна Билевич, вот ее и бери, коль силенок хватит... А там, глядишь, станешь Бабиича деток нянчить!

— Типун тебе на язык, сукин сын! Как смеешь ты издеваться над недугом, который меня чуть в гроб не уложил? Да чтоб на тебя порчу наслали, как на меня!

— Что порча... Я вот гляжу иной раз, как все идет своим положенным путем, и думается мне: глупости это, нет здесь никакого колдовства.

— Сам глупости говоришь! Молчи, не накликай беды! Опостылел ты мне, и чем дальше, тем больше противен.

— И чего только ради я, единственный из всех поляков, остался верен твоей княжеской милости? Что вижу в награду? Одну неблагодарность! Право, вернись-ка я в свое родное гнездо и буду там сидеть спокойно до самого конца войны.

— Ох, перестань! Ты же знаешь, я тебя люблю.

— Трудно мне об этом догадаться. И что за дьявол так меня к тебе привязал, князь! Если в чем и есть колдовство, то в этом.

Сакович говорил правду, он действительно любил Богуслава. Князь это знал и платил ему если не подлинной дружбой, то благодарностью, какую тщеславные люди всегда питают к тем, кто их боготворит.

Поэтому он одобрил и намерения Саковича в отношении Ануси и решил самолично за него ходатайствовать.

В полуденный час, когда он обычно чувствовал себя бодрей всего, князь велел подать себе одеться и пошел к Анусе.

— Пришел к тебе, сударыня, по старому знакомству узнать о здоровье,— сказал он,— всем ли ты довольна у нас в Таурогах?

— Бедная пленница должна быть всем довольна, — ответила Ануся, вздыхая.

Князь рассмеялся.

— Ты здесь не пленница. Правда, захватили тебя вместе с Сапегиными солдатами, и я велел отослать тебя сюда, но это сделано для твоей же безопасности. Здесь у тебя волос с головы не упадет. Знай, сударыня, ты любимица княгини Гризельды, а я мало кого так почитаю, как ее. Я ведь и с Вишневецкими и с Замойскими в свойстве. Здесь ты вольна делать что хочешь и всегда найдешь помощь и заботу, я же, как друг, желающий тебе добра, скажу одно: хочешь ехать — езжай, я дам тебе эскорт, хоть с солдатами у меня туго; но мой совет — оставайся. Как я слышал, ты намерена заявить права на дарованные тебе земли. Ну, так знай, что не ко времени ты это затеяла, а от протекции пана Сапеги тебе и в мирное время толку мало, ибо он может за тебя заступиться лишь в своем Витебском воеводстве, не здесь. Впрочем, сам он и не станет заниматься этим делом, а через посредников... Тебе нужен бы другой доброжелатель оборотистый, такой, чтоб люди его боялись и уважали. Человек, который не позволил бы обвести себя вокруг пальца.

— Где же я, сирота, найду такого покровителя? — воскликнула Ануся.

— Да хоть бы тут, в Таурогах.

— Неужто сиятельный князь сам соблаговолил бы...

Тут Ануся сложила ручки и одарила князя таким взглядом, что, не будь Богуслав так утомлен и измучен, он, по всей вероятности, поспешил бы забыть о своей роли посредника, но теперь ему было не до любовных шашней, и он быстро ответил:

— Будь это в моей власти, я никому не препоручил бы столь приятной миссии, но я должен уехать. Вместо меня комендантом в Таурогах остается ошмянский староста, Сакович, славный рыцарь, знаменитый воин и притом голова, какой по всей Литве не сыскать. Послушайся меня, оставайся в Таурогах, ехать тебе все равно некуда, дороги кишат мятежниками, разбойниками и всякой голытьбой. Сакович тебя защитит, Сакович о тебе позаботится, Сакович сообразит, что можно сделать, чтоб вернуть тебе твою собственность. И ручаюсь — если он возьмется за это дело, то благополучно доведет его до конца скорее, чем кто бы то ни было. Он мой друг, я его знаю и могу сказать положила руку на сердце: если бы я сам присвоил твои именья, а потом узнал, что Сакович против меня, я отступился бы от них добровольно — с ним опасно спорить.

— Ах, если б пан Сакович захотел помочь сироте...

— Ты только не будь к нему жестока, а уж он для тебя все сделает, твоя красота пронзила ему сердце. Все ходит да вздыхает...

— Ах, неправда, где уж мне пронзять сердца...

«Вот плутовка!» — подумал князь.

А вслух прибавил:

— Правда ли, нет ли, пусть тебе растолкует сам Сакович, ты лишь не будь к нему жестока, человек он достойный, славного рода, таким пренебрегать не следует.

ГЛАВА XXII

На следующее утро князь получил от курфюрста письмо с призывом поспешить в Кенигсберг, где он должен был принять под свое начало свеженабранные войска и идти с ними к Мальборку либо к Гданску. В письме со-

общалось также, что Карл Густав предпринял смелый поход в глубь Речи Посполитой до самых русских границ. Курфюрст предвидел, что поход окончится неудачей, и теперь стремился собрать как можно больше войска, чтоб в нужную минуту стать необходимым той либо другой стороне, продать себя подороже и тем повлиять на исход войны. Потому-то он предписывал молодому князю величайшую поспешность и так боялся промедленья, что вслед за первым гонцом выслал второго, который прибыл двенадцать часов спустя.

Таким образом, князь не мог терять ни минуты, не мог даже толком отдохнуть, несмотря на то, что лихорадка вновь накинута на него с прежней силой. Приходилось ехать. Передавая Саковичу бразды правления, князь сказал ему:

— Может быть, придется перевезти мечника и девушку в Кенигсберг. Там легче будет разделаться с неудобным, а девку, лишь бы позволило здоровье, я заберу с собой в поход, хватит с меня этих церемоний.

— Вот это дело, авось побольше ратников наплодишь для своего войска, — напутствовал его Сакович.

Через час князя уже не было в Таурогах. Сакович остался полновластным хозяином; единственный человек, чью власть над собой он признавал, была Ануся Борзобогатая. И он начал рассыпаться перед ней мелким бесом, как некогда сам князь перед Оленькой. Обуздывая дикий свой нрав, он был с ней изысканно любезен, предупреждал ее желания, угадывал мысли — и в то же время держался со всей почтительностью светского кавалера, добывающегося руки и сердца девицы.

А ей, надо признаться, понравилось быть владычицей Таурогов. Приятно было подумать, что, едва наступит вечер, во всех нижних покоях, в сенях, в цейхгаузе, в саду, еще опушенном зимним инеем, раздаются вздохи старых и молодых офицеров, что даже астролог вздыхает, глядя на звезды из своей одинокой башни, что даже старый мечник прерывает вздохами свою вечернюю молитву.

Будучи предоброй девушкой, Ануся все же радовалась, что пылкие эти чувства устремлены не на Оленьку, а на нее. Она радовалась еще и потому, что думала о Бабиниче: видя силу своих чар, она уверяла себя, что и он не сможет устоять перед ней, что и в его душе ее взгляды должны были оставить неизгладимый след.

«А другую он забудет, непременно забудет ее, неблагодарную. А тогда — он знает, где меня искать... пускай поищет... злодей он этакий! — И тут же мысленно грозил ему: — Ну, стой! Помучаю же я тебя, прежде чем прощу!»

А тем временем, хотя Сакович и не очень ей нравился, она охотно принимала его ухаживания. Правда, он сумел отвести от себя подозрение в предательстве, ответив на ее упреки точно так же, как князь Богуслав мечнику. Мол, мир со шведами был уже почти заключен, мол, Речь Посполитая могла бы вздохнуть полной грудью и расцвести, а Сапега ради личных своих интересов взял да и все испортил.

Ануся, не много понимавшая в этих делах, пропускала его слова мимо ушей. Зато ее поразило кое-что другое в рассказах ошмянского старосты.

— Биллевици, — говорил он, — кричат на всю Речь Посполитую, что их-де обижают, держат в неволе, а ведь ничего плохого с ними тут не случилось и не случится. Верно, что князь не выпускал их из Таурогов, однако ради их же собственного блага, ведь они не успели бы и трех верст отъехать, в первом же лесу их прирезали бы мятежники или грабители. Не пускал их князь и потому, что влюбился в панну Биллевиц, это тоже верно! Но кто же его осудит? Кто, чье сердце исполнено нежности и грудь изболелась от вздохов, поступил бы иначе? Не будь его желанья столь чисты, князь, с его-то властью, мог бы многое себе позволить, но нет, он хотел жениться, он хотел возвысить строптивцу до себя, осчастливить ее хотел, возложить на ее голову корону Радзивиллов, а они, неблагодарные, поносят его за это, вредя его доброму имени и чести...

Ануся ему не слишком поверила и в тот же день спросила Оленьку, правда ли, что князь хотел на ней жениться. Оленька не могла отрицать этого, а поскольку они с Анусей были уже близкими подругами, то объяснила ей причины своего отказа. Ануся нашла, что Оленька поступила правильно и разумно, однако про себя подумала, что Биллевичам в Таурогах было вовсе не так уж плохо, да и князь с Саковичем не такие злодеи, какими ославил их пап мечник российский.

Вот по этой-то причине, когда стало известно, что Сапега с Бабиничем не только не приближаются к Тауро-

гам, а, напротив, двинулись скорым маршем в сторону Львова, на шведского короля, Ануся сперва рассердилась, но потом рассудила по-иному: раз они далеко, то и незачем бежать из Таурогов, так можно и с жизнью распрощаться либо, в лучшем случае, променять свое мирное пристанище на полный опасностей плен.

Было из-за этого немало споров с мечником и Оленькой; но даже и они вынуждены были признать, что уход Сапеги сильно затрудняет, если не вовсе отнимает у них возможность бегства, к тому же в стране ширилась смута, и никто не знал, что ждет его завтра. Впрочем, даже если бы они и не согласились с Анусей, без ее помощи бежать из-под бдительного надзора Саковича и других офицеров им не удалось бы. Один лишь Кетлинг был им предан, но он отказывался обсуждать какие-либо планы, противоречившие долгу службы. К тому же он вообще мало бывал теперь дома, его, как опытного и умелого офицера, Сакович охотно использовал для набегов против партизанских отрядов и грабительских шаек и поэтому часто высылал из Таурогов.

А Ануся чувствовала себя в Таурогах все лучше.

Сакович объяснился с нею через месяц после отъезда князя, но лукавая девушка ответила ему уклончиво: она, мол, его еще не знает, а толкуют о нем разное, она еще не успела его полюбить, она без позволения княгини Гризельды замуж идти не может, а под конец объявила, что дает ему год сроку на испытание.

Староста проглотил досаду, велел в тот день закатить за ничтожную провинность три тысячи розог какому-то рейтару, после чего беднягу пришлось схоронить,— но вынужден был согласиться на Анусины условия. А она вдобавок предупредила своего воздыхателя, что, даже если он будет служить ей еще вернее, прилежней и послушней, все равно через год он получит лишь ту награду, какую ей заблагорассудится ему дать.

Так она играла с медведем, и он настолько был уже приручен, что даже заворчать не решился, ответил только:

— Одного, госпожа, не проси,— чтоб я изменил князю, а в остальном требуй, чего хочешь, хоть на коленях буду ползать...

Знай Ануся, с какой свирепостью вымещает Сакович свою досаду на всех вокруг, она, быть может, не стала бы

так его дразнить. Солдаты и жители Таурогов дрожали перед ним, ибо он, не зная удержу в жестокости, обрекал страшным карам правого и виноватого. Закованные в цепи пленники гибли от голода и пыток раскаленным железом.

Порой казалось, что дикий староста жаждет остудить свою испепеленную любовным жаром душу в человеческой крови; вдруг он срывался с места и сам ходил в набег. И обычно ему сопутствовала удача. Он разбивал в пух и прах целые повстанческие отряды; захваченным же в плен мужикам, чтоб неповадно было, велел отсекал правые руки и отпускал на свободу.

Ужас, наводимый его именем, словно каменной стеной окружил Тауроги, даже крупные отряды повстанцев не отваживались заходить дальше Россиен.

Повсюду стало тихо. А он из немцев-бродяжек, из местного крестьянства сколачивал все новые полки, снаряжал их на деньги, отнятые у окрестных горожан и шляхты, и все прикапливал силы, чтобы в трудную минуту прийти с ними на выручку своему князю.

Не сыскать было Богуславу более верного и страшного слуги.

Зато на Анусю смотрел Сакович своими страшными бледно-голубыми глазами все нежнее и играл ей на лютне.

Так и текла жизнь в Таурогах — для Ануси в веселье и утехах, для Оленьки в печали и унынии. Одна так и сияла от удовольствия, что твой светлячок; другая становилась все бледней, все суровой и строже, черные брови ее все пасмурней сдвигались на белом челе, и в конце концов ее прозвали схимницей,— в ней и впрямь было что-то монашеское. Она стала привыкать к мысли, что таков и есть ее удел, что сам господь сквозь все невзгоды и разочарования ведет ее в мирную обитель за монастырской стеной.

Это была уже не та девушка с прелестным румянцем на щеках и сверкающим от счастья взором, не та Оленька, что когда-то мчалась в санях со своим женихом Анджеем Кмицием сквозь лесную чащу, звонко покрикивая: «Гей! Гей!»

Наступала весна. Дохнуло теплым ветром, и заплескались освобожденные ото льда балтийские воды; потом зазеленели деревья, распустились цветы, вырвавшись на

волю из жестких бутонів, жарче стало припекать солнце, а бедная девушка напрасно ожидала конца своего таурожского плена: и Ануся все не хотела бежать, и кругом становилось все страшнее.

Меч и огонь гуляли по стране, казалось, никогда не обратится на нее милосердие божие. Кто не успел взяться за саблю либо пинку зимой, тот брался за них весной; теперь, когда сошел снег и не оставалось следов, когда лесная чаща стала надежным убежищем, воевать стало легче.

Словно ласточки, прилетали в Тауроги вести — порой горестные, порою радостные. И те и другие освящала чистая девичья душа молитвой и исходила над ними слезами — от горя или от радости.

Прежде всего дошли до них слухи о великом всенародном возмущении. Сколько деревьев было в лесах Речи Посполитой, сколько колосьев качалось на ее нивах, сколько звезд светилось в ночном небе между Татрами и Балтийским морем, столько воннов поднялось на шведа. И шляхтич, волею бога от рождения предназначенный для меча и ратного дела; и земледелец, что бороздил плугом эту землю, засевая ее зерном; и горожанин, торговец, ремесленник; и лесной житель, добывающий себе пропитание бортничеством, смолокурением, рубкой дров либо охотой; и рыбак, промышляющий по берегам рек рыбной ловлей; и скотовод, кочующий в степи со стадами, — все взяли оружие в руки, дабы изгнать с земли своей супостата.

И уже тонул швед в этом людском потоке, словно в водах разлившейся реки.

К изумлению всего мира, на защиту недавно еще бесильной Речи Посполитой поднялось больше сабель, нежели было их у немецкого императора или у французского короля.

Потом донеслись вести о Карле Густаве — все далее в глубь Речи Посполитой заходил святотатец, и ноги его были в крови, а голова повита дымом и пламенем. Все надеялись вот-вот услышать известие о его смерти и гибели всего шведского войска.

От края до края ширилась громкая слава Чарнецкого, наводя ужас на врагов, вселяя надежду в польские сердца.

— Чарнецкий разгромил шведов под Козеницами! — говорили сегодня.

— Разгромил под Ярославом! — добавляли через несколько недель.

— Разгромил под Сандомиром! — повторяло далекое эхо.

И дивились люди, откуда только еще берутся у шведов солдаты после таких побоищ.

И вот прилетели новые стаи ласточек, а с ними слух о том, что шведский король вместе со всей своей армией загнаны в угол между двумя реками. Казалось, вот-вот придет им конец.

Сам Сакович перестал ходить в набег, все только письма по ночам писал и рассылал во все стороны.

Мечник словно обезумел. Каждый вечер прибежал он к Оленьке с новостями. Порой он кусал себе кулаки от досады, что приходится сидеть в Таурогах. Старая солдатская душа рвалась в поле. Под конец он стал запирается у себя в покое и целыми часами что-то обдумывал. В один прекрасный день он вдруг обнял Оленьку, громко зарыдал и сказал ей:

— Оленька, доченька моя единственная, как ни мила ты мне, а отчизна милей.

И на завтра исчез из Таурогов, точно в воду канул.

Оленька нашла лишь оставленное им письмо:

«Милое дитя, благослови тебя господь. Я ведь понимал, хорошо понимал, что стерегут они тебя, а не меня и что одному мне будет легче вырваться. Бог мне судья, если я сделал это от жестокосердия и малої отцовской любви к тебе, бедная ты моя сиротка. Но не могу я, клянусь Христом-спасителем, не могу больше сидеть на месте, сил нет терпеть. Как подумаю, что там рекой льется святая польская кровь pro patria et libertate¹, а в той реке ни капли моей нету, — так мне и кажется, что буду я за это проклят небесами... Кабы не был я рожден на нашей святой Жмуди, в краю мужества и amor patriae², кабы не был я шляхтичем, не был Биллевичем — я остался бы при тебе и охранял тебя. Но ведь и ты, будь ты женщиной, поступила бы, как я, поэтому и меня простишь за то, что я бросил тебя одну, словно Даниила в львином

¹ За родину и свободу (лат.).

² Любви к отчизне (лат.).

логове. Его господь охранил в милосердии своем, так и у тебя, уповаю, будет более надежная заступница, нежели я,— пресвятая царица небесная».

Оленька омочила письмо слезами, но в сердце ее вспыхнула гордость за дядю, и она полюбила его еще горячеей. Меж тем в Таурогах начался переполох. Сам Сакович в страшном гневе ворвался к девушке и, не снимая перед ней шапки, спросил:

— Где твой дядя, сударыня?

— Там, где все, кроме предателей! В поле!

— Ты об этом знала! — крикнул староста.

Но она, ничуть не оробев, сделала несколько шагов к нему и, с невыразимым презрением смерив его взглядом, ответила:

— Да, знала — и что же?

— Эй, берегись! Когда бы не князь... Ты еще перед ним ответишь!

— Не стану я отвечать — ни перед князем, ни перед его прихвостнем. А теперь изволь!..

И указала ему на дверь.

Сакович скрипнул зубами и вышел.

В тот же день грянула весть о победе под Варкой, и всех шведских приспешников обуяла такая тревога, что даже Сакович не посмел покарать ксендзов, которые всенародно пели «Те Деум» в окрестных костелах.

Он вздохнул с облегчением только через несколько недель, когда из-под Мальборка пришло письмо от Богуслава с известием, что король ускользнул из речной ловушки. Однако другие новости были неутешительны. Князь требовал подкрепления, веля оставить в Таурогах лишь самое необходимое количество солдат. Рейтары, стоявшие наготове, вышли на следующий день, а с ними Кетлинг, Эттинген, Фиц-Грегори, словом, все лучшие офицеры, кроме Брауна, без которого Сакович не мог обойтись.

Тауроги совсем опустели.

Ануся Борзобогатая стала скучать и со скуки еще усердней донимала Саковича. А он начал подумывать, не перебраться ли ему в Пруссию, так как партизаны, ободренные уходом войск, снова стали заходить за Россиены и приближаться к самым Таурогам. Одни Биллевици набрали до пятисот всадников из окрестной мелкой шляхты, горожан и мужиков. Они крепко поколотили

полковника Бютцова, который выступил против них, и немилосердно опустошали все радзивилловские деревни.

Люди шли к Биллевичам охотно, ибо они пользовались у простонародья любовью и уважением, как никто из местных дворян, даже сами Хлебовичи. Саковичу жаль было бросать Тауроги на произвол врага, кроме того, он знал, что в Пруссии ему будет гораздо труднее найти деньги и ратников, чем здесь, где он обладал неограниченной властью, однако надежды удержаться в Таурогах оставалось у него все меньше.

Побитый Бютцов, приехавший искать у него защиты, привез вести о повсеместном росте и могуществе повстанческих сил, и это окончательно склонило Саковича к переезду в Пруссию.

Человек решительный и привыкший немедля приводить в исполнение свои планы, он за десять дней окончил все приготовления, отдал нужные приказы и готов был выступить.

И вдруг он наткнулся на сопротивление там, где меньше всего ожидал,— со стороны Ануси Борзобогатой.

Ануся не собиралась ехать в Пруссию. Ей и в Таурогах было хорошо. Успехи конфедератов ее ничуть не пугали, и если б Биллевичи напали на Тауроги, она бы только обрадовалась. Притом девушка рассудила, что на чужой стороне, среди немцев, она окажется в полной зависимости от Саковича, и ему будет легче потребовать от нее обязательств, к которым у нее не было ни малейшей охоты. Поэтому она твердо решила остаться. Оленька, с которой Ануся поделилась своими соображениями, не только признала их разумность, но сама со слезами на глазах умоляла ее противиться отъезду.

— Здесь мы еще можем надеяться на спасение, не сегодня, так завтра,— говорила она,— а там погибнем обе.

— Вот видишь! — ответила ей Ануся.— А мало ли ты меня бранила за то, что я стараюсь вскружить голову пану старосте,— впрочем, я тут ни при чем, вот клянусь тебе именем княгини Гризельды, это само собой случилось. А теперь, если б он в меня не влюбился, стал бы он меня слушать? Скажи сама!

— Правда, Ануся, правда! — ответила Оленька.

— Не кручинься же, цветочек мой аленький! Мы из

Таuroгов и шагу не ступим, а Саковича я еще и допеку хорошенько!

— Ах, дай бог, чтобы удалось.

— Чтоб мне да не удалось?.. Удастся! Во-первых, он ко мне равнодушен, а во-вторых, думается, не только ко мне, но и к моим поместьям. Поссориться со мной ему легко, да хоть и саблей меня поранить, но тогда уж пропало его дело.

И она оказалась права. Когда явился к ней Сакович, веселый и самоуверенный, Ануся встретила его презрительной гримаской.

— Правда ли, сударь,— спросила она его,— будто ты так испугался Биллевицей, что собираешься бежать в Пруссию?

— Не Биллевицей,— ответил Сакович, нахмурясь,— не испугался, а еду я туда из благоразумия, чтобы со свежими силами еще крепче ударить на проклятых бунтовщиков.

— Ну, так счастливого пути.

— Как? Неужели ты думаешь, что я поеду без тебя, радость души моей?

— Много ли чести быть радостью души твоей, если душа у тебя в пятках? Да и что это ты, сударь, так запросто со мной разговариваешь, я тебя еще в наперсники не выбирала.

Сакович побледнел от злости. Показал бы он ей, не будь она Ануся Борзобогатая! Но, памятуя, перед кем стоит, он сдержался и, скривив свое страшное лицо в сладкой улыбке, сказал словно бы шутя:

— А я и спрашивать не стану! Посажу в карету и повезу!

— Вот как? — спросила девушка.— Выходит, я, вопреки воле князя, твоя пленница? Знай же, если ты это сделаешь — никогда в жизни не скажу тебе более ни единого слова, и да поможет мне бог! Я воспитана в Лубнах и трусов презираю превыше всего. Угораздило же меня попасть в руки трусу! Лучше бы меня пан Бабинич на Литву увез, ехала бы с ним хоть до второго пришествия, уж он-то никого не боялся.

— Дьявол! — вскричал Сакович.— Скажи мне хоть, почему ты не хочешь в Пруссию?

Но Ануся, изображая крайнее отчаяние, ударилась в слезы.

— Взяли меня в рабство, как татарку, а ведь я воспитанница княгини Гризельды, и никто не имеет на меня прав. Взяли и держат, за море силком вывозят, обрекают меня на изгнание, того гляди, клещами начнут пытать. О боже, боже!

— Побойся бога, к которому взываешь! — воскликнул пан староста.— Кто тебя хочет пытать клещами?

— Спасите меня, святые угодники божьи! — повторяла Ануся, рыдая.

Сакович не знал, что делать; злоба и ярость душили его; ему казалось, что или он сходит с ума, или Ануся безумна. В конце концов он упал к ее ногам и поклялся, что останется в Таурогах. Тогда она стала уговаривать его ехать, если он боится, и этим привела в полное отчаяние. Он вскочил и кинулся прочь со словами:

— Ладно! Остаемся в Таурогах. А боюсь ли я Биллевицей — скоро увидишь.

И в тот же день, собрав остатки разбитых войск Бютцова и свои собственные, ушел в поход — но не в Пруссию, а за Россиены, в гирлякольские леса, где стояли лагерем Биллевицы. Те не ожидали нападения, так как в округе уже несколько дней подряд носились слухи о предполагаемом уходе войск из Таурогов, и староста, застигнув неприятеля врасплох, разбил его наголову. Сам мечник, командовавший отрядом, уцелел, но двое Биллевицей, принадлежавших к другой ветви, погибли в бою, а с ними треть всего отряда; остальные разбежались кто куда. Староста привел в Тауроги с полсотни пленных и приказал казнить их всех прежде, чем Ануся успела вступить.

Теперь уже староста не заговаривал о том, чтобы уйти из Таурогов, так как после разгрома Биллевицей повстанцы не осмеливались переправляться через Дубису.

Сакович возгордился непомерно и все бахвалился, что если Левенгаупт пришлет ему тысячу доброй конницы, он вмиг искоренит смуту на Жмуди. Но Левенгаупта уже не было в тех краях; Анусе же бахвальство старосты не понравилось.

— Это с паном мечником ты легко разделался, — заметила она.— А вот если б там был тот, от кого вы с князем оба удирали во весь дух, тогда бы ты наверняка и без меня сбежал в заморские страны.

Старосту жестоко уязвили ее слова.

— Прежде всего позволь тебе заметить, что за морем не Пруссия, а Швеция лежит, а во-вторых — от кого это мы с князем так удирали?

— От пана Бабинича! — ответила девушка, церемонно присев.

— Попадись он мне только в открытом поле!

— И лежать тебе тогда в этом поле под землей! Смотри, не накликай беды!

Правду сказать, Сакович совсем не рвался встретиться с Бабиничем в открытом поле; хоть был он человек незаурядной отваги, однако перед Бабиничем испытывал почти суеверный страх — столь ужасны были его воспоминания о последнем походе. Староста не подозревал, что скоро вновь услышит это грозное имя.

Но еще прежде, чем это имя загремело по всей Жмуди, другая весть прилетела в Тауроги, и для иных не было на свете вести радостней, а для Саковича не было вести страшней; все уста по всей Речи Посполитой повторяли два слова:

— Варшава взята!

Казалось, земля разверзлась под ногами предателей и все шведские божества, которые до сих пор сияли для них в небе, подобно солнцам, валялись им на голову. Просто не верилось: канцлер Оксеншерн в плену, Эрскин в плену, Левенгаупт в плену, Врангель в плену, Виттенберг, сам великий Виттенберг, который залил кровью всю Речь Посполитую, который половину ее завоевал еще перед приходом Карла, — в плену! Король Ян Казимир торжествует, а после окончательной победы учинит суд над безбожниками.

Весть гремела громом надо всею Речью Посполитой, летела как на крыльях от села к селу, от нивы к пиве, ст бора к бору; крестьянин передавал ее крестьянину, о ней шептались колосья, сосна поверяла ее сосне, орлы громким криком разносили ее по поднебесью, — и весь народ, как один человек, еще ревностнее брался за оружие.

В Таурогах и в окрестностях вмиг забыли о гирлякольском разгроме. Сакович, еще недавно столь грозный Сакович, не казался более страшным никому, даже самому себе; партизаны снова стали нападать на шведские гарнизоны; Билевичи, оправившись от недавнего пора-

жения, вновь перешли Дубису, ведя за собой своих мужиков и остатки лауданской шляхты.

Сакович не знал, что делать, куда кинуться, откуда ждать спасения. От князя Богуслава давно уже не было вестей, и староста напрасно ломал себе голову, гадая, где он сейчас и с кем. Порой Саковича охватывала смертельная тревога — а что, если и князь в плену.

И он с ужасом вспоминал, что князь говорил ему о своем намерении следовать с войском к Варшаве и, если его сделают комендантом столичного гарнизона, там и остаться, так как из столицы виднее, как идут дела.

А многие были прямо убеждены, что Богуслав попался в руки Яну Казимиру.

— Если б князя не было в Варшаве, — говорили они, — почему бы тогда наш государь, заранее объявивший амнистию всем полякам, что были в столичном гарнизоне, ему одному отказал в этой милости? Богуслав наверняка уже в руках у короля, и поскольку Януш Радзивилл осужден был на плаху, то и брату его не сносить головы.

Сакович пришел к тому же заключению и едва не сходил с ума от отчаяния. Во-первых, он любил князя, а во-вторых, знал, что если его могущественный покровитель погибнет, то легче бешеной собаке уйти от смерти, чем ему, Саковичу, правой руке изменника, спастись в Речи Посполитой.

Выход представлялся один — пренебречь Анусиным сопротивлением и бежать в Пруссию, где он рассчитывал найти службу и кусок хлеба.

«Ну, а если и курфюрст убоится гнева польского короля и выдаст всех беглецов?» — задавался он порой вопросом.

Значит, и это не выход, оставалось разве что спрятаться за морем, в самой Швеции.

Целую неделю терзали его страхи и сомнения, но тут, к счастью, прибыл гонец с длинным письмом от князя Богуслава.

«Варшава отнята у шведов, — писал князь. — Мое войско и все имущество пропали. *Recedere* уже поздно, в столице так против меня ожесточились, что отказали в

амнистии. Людей моих у самых ворот Варшавы сильно побил Бабинич. Кетлинг в плену. Шведский король, курфюрст и я вместе со Стенбоком и со всей армией идем к столице, где вскоре предстоит решающая битва. Carolus клянется, что выиграет ее, хотя искусство, с каким Ян Казимир ведет войну, приводит его в немалое замешательство. Кто бы мог ожидать, что в бывшем иезуите таится такой *strategos*? Впрочем, я это почувствовал еще под Берестечком, где он с Вишневецким командовал сражением. Одна надежда, что ополченцы, — а их при Яне Казимире не менее полсотни тысяч, — разбегутся по домам либо же, когда первый жар поостынет, не слишком будут рваться в бой. Если нам, с божьей помощью, удастся посеять смятение среди этого сброда, Carolus может одержать в этой битве победу, но что будет потом — неведомо; сами генералы толкуют меж собой, что восстание — это гидра, у которой вырастают все новые головы. Говорят: «Прежде всего надобно снова взять Варшаву». Услышав это от Карла, я спросил, что далее. Он не ответил. Между тем их силы растут, наши — тают. Новую войну начинать не с чем. Нет уже прежнего одушевления, да и шведов никто из наших не станет поддерживать, как в первое время. Дядюшка курфюрст, по обыкновению, молчит, но я отлично вижу: проиграем мы битву — он на другой же день примется бить шведов, дабы втереться в милость к Яну Казимиру. Тяжко мне будет идти на поклон, но делать нечего! Только бы приняли меня, только бы мне остаться в живых и не лишиться всего состояния. Будем уповать на бога, однако грядущее внушает мне опасения, и надо готовиться к худшему. А потому все, что можно, из имущества продай или заложь за наличные, хоть бы даже и конфедератам, вступив с ними в тайную сделку. А сам поезжай в Биржи, оттуда ближе до Курляндии. Оно бы лучше в Пруссию ехать, но там скоро будет еще опаснее, так как немедля по взятии Варшавы Бабиничу был отдан приказ идти через Пруссию на Литву, возбуждать там мятеж, сжигая и круша все на своем пути. А на это он мастер, сам знаешь. Мы было хотели изловить его у переправы через Буг, сам Стенбок послал против него изрядные силы, — живым не воротился ни один человек. Не вздумай только тягаться с Бабиничем, он тебе не по зубам; знай скорей перебирайся в Биржи.

Febris совершенно меня оставила, места здесь возвышенные и сухие, не то что наши жмудские paludes¹. Препоручаю тебя богу и проч.»

Как ни обрадовался староста тому, что князь жив и здоров, однако полученные новости сильно его озаботили. Если даже благоприятный исход решающей битвы, как того опасался князь, не сможет укрепить пошатнувшееся положение шведов, то чего же ожидать в будущем? Может, князю и удастся спрятаться за спину хитрого курфюрста, а ему, Саковичу, за княжескую спину, но до тех-то пор что делать? Идти в Пруссию?

Сакович и без княжеских советов не помышлял становиться Бабиничу поперек дороги. Для этого у него не было ни сил, ни охоты. Оставались Биржи, но теперь и туда ехать поздно! На пути в Биржи стоит отряд Биллевичей, стоит множество иных шляхетских, крестьянских, монастырских и бог знает каких еще отрядов; при первом же слухе о его отъезде они не замедлят объединиться и размечут его, как ветер сухую листву. А если даже и не объединятся, если он сумеет предупредить их быстрым и смелым броском, все равно придется в каждом селе, на каждом болоте, в каждом поле и лесу вести бесконечные бои. Сколько же это нужно ратников, чтобы хоть с тридцатью из них дойти до Бирж? Значит, оставаться в Таурогах? Тсже худо, вот-вот явится со своей татарской ордой страшный Бабинич, все мятежники слетятся к нему, заполонят Тауроги и устроят резню, какой свет не видал.

Впервые в жизни самонадеянный староста не знал, что придумать, на что решиться, как избежать опасности.

И на другой день он позвал на совет Бютцова, Брауна и нескольких старших офицеров.

Решено было остаться в Таурогах и ждать вестей изпод Варшавы.

Но Браун прямо от Саковича отправился еще на один совет — с Анусей Борзобогатой.

Долго совещались они. Наконец Браун вышел с взволнованным видом, Ануся же вихрем ворвалась в комнату Оленьки.

¹ Болота (лат.).

— Оленька! Час настал! — крикнула она прямо с порога.— Бежим!

— Когда? — спросила отважная девушка, слегка побледнев, но мгновенно поднимаясь с места в знак того, что готова хоть сейчас.

— Завтра, завтра! Браун завтра остается начальником, а Сакович будет ночевать в городе, потому что его пригласит к себе на пир пан Дзешук. Пан Дзешук давно с нами в сговоре, он чего-нибудь Саковичу в вино подмешает. Браун сам пойдет с нами и уведет полсотни всадников. Ой, Оленька, я так счастлива, так счастлива!

Тут Ануся бросилась подруге на шею и в порыве радости стала так бурно ее обнимать, что та удивилась:

— Что с тобой, Ануся? Ты ведь давно могла уговорить Брауна!

— Могла ли я? Конечно, могла! Так я тебе еще не сказала? О боже, боже! Ты ничего не знаешь? Сюда идет пан Бабинич! Сакович и все прочие помирают со страху!.. Пан Бабинич идет! Рубит головы, палит! Истребил целый полк кавалерии, самого Стенбока разгромил и теперь идет без остановок, точно торопится к кому-то. А к кому он тут может торопиться? Ну, не дурочка ли я, скажи!

Тут у Ануси блеснули слезы на ресницах, а Оленька, молитвенно сложив руки и подняв глаза к небу, проговорила:

— К кому бы он ни торопился, укажи ему, господи, кратчайший путь, спаси его и сохрани.

ГЛАВА XXIII

Кмицицу, который стремился прорваться от Варшавы в Княжескую Пруссию и на Литву, поначалу и впрямь пришлось туго. Не далее чем в Сероцке на пути его стояло сильное шведское войско. В свое время Карл Густав поставил его там с целью воспрепятствовать осаде Варшавы, но теперь, когда Варшава была уже сдана, войску этому оставалось лишь преграждать путь отрядам, которые Ян Казимир высылал в Литву и Пруссию. Командовал войском Дуглас, опытный полководец, как никто из шведских генералов искусный в тонкостях партизанской войны, и двое предателей-поляков — Ра-

дзеёвский и Радзивилл. Было у них две тысячи перво-статейной пехоты да столько же конницы и артиллерии. Прослышав про поход Кмицица, вражеские военачальники, благо им все равно надо было двигаться к Литве выручать вновь осажденный мазурами и подляшанами Тыкоцин, расставили на пана Анджея сети в треугольнике около Буга, между Сероцком с одного угла, Злоторыйей с другого и Остроленкой на вершине.

Кмицицу не миновать было этого треугольника, он तो-ропился, а тут пролегал кратчайший путь. Он быстро сообразил, что попал в сеть, но отступить не стал,— такой способ ведения войны был ему не в новинку. Он рассчитывал на то, что сеть чрезмерно растянута и ячейки в ней достаточно велики, в случае нужды можно будет вырваться наружу. Более того: хотя его, как зверя, травили со всех сторон, он не только путал следы и уходил от погони, но и сам нападал. Сперва он перешел Буг за Сероцком, пробрался берегом реки до Вышкова и в Браншике наголову разбил высланный против него разъезд в триста всадников, из которых, как писал князь, никто не вернулся живым. В Длугоседле Кмицица настиг сам Дуглас, но тот разметал его конницу, прорвался ей в тыл и, вместо того чтобы убраться подобру-поздорову, на глазах у неприятеля спокойно дошел до Нарева и переправился вплавь. Дуглас остался на берегу поджидать паромы, но, прежде чем их пригнали, Кмициц темной ночью вновь перешел реку и напал на передовые дозоры шведов, сея смятение во всей Дугласовой дивизии.

Старого генерала изумила такая ловкость Кмицица, но изумление его еще более возросло, когда назавтра он узнал, что Кмициц обошел его армию кругом и, вернувшись на место, откуда его подняли, как зверя, захватил в Браншике тянувшийся за войском обоз с военной добычей и казной, перебив при этом с полсотни пехотинцев из конвоя.

День за днем шведы невооруженным глазом видели на горизонте татар Бабинича, а достать не могли. Зато пан Анджей непрерывно досаждал им. Шведский солдат уже притомился, а польские хоругви, еще остававшиеся при Радзеёвском, дрались неохотно, хотя и составлены были из протестантов. Зато местные жители с жаром помогали славному партизану. Бабинич знал о каждом

движении неприятеля, о каждом его дозоре, о каждой повозке, которая выезжала вперед либо оставалась в тылу. Порой казалось, что он играет со шведами, но это были забавы тигра. Пленных он не брал, велел татарам их вешать, точно так же, впрочем, как это делали шведы по всей речи Посполитой. Нередко его охватывало какое-то неукротимое бешенство, и он со слепой отвагой нападал на превосходившего его численностью противника.

— Безумец командует этим отрядом! — говорил о нем Дуглас.

— Бешеная собака! — отвечал Радзеёвский.

Радзивилл считал, что оба правы, да только у этого безумца отличная военная выучка и железная хватка. И князь частенько похвалялся перед генералами, что дважды собственными руками повалил наземь столь искусного рыцаря.

На Богуслава-то яростнее всего и нападал Бабинич. Очевидно было, что он ищет с ним встречи, так упорно преследовал он своего преследователя.

Дуглас догадывался, что тут не обошлось без личных счетов.

Князь не отрицал этого, но в объяснения не вдавался. Он платил Бабиничу той же монетой; по примеру Хованского он назначил за голову врага награду, а когда это не помогло, решил воспользоваться его ненавистью к себе и заманить Бабинича в ловушку.

— Стыдно нам так долго возиться с этим разбойником, — сказал он Дугласу и Радзеёвскому. — Он все шныряет около нас, как волк около овчарни, и уходит из-под рук. Теперь я сам его приманю, пойду с небольшим отрядом, а когда он на меня ударит, буду его сдерживать, пока вы, ваши милости, со всем войском не зайдете с тыла. Тут мы с ним и покончим.

Дуглас, которому надоело гоняться за Бабиничем, возражал только из приличия: мол, ради поимки одного мятежника он не может, не должен рисковать жизнью столь знатного вельможи и королевского родича. Но князь настаивал, и он согласился.

Решено было, что князь возьмет с собой отряд в пятьсот всадников и каждому рейтару посадит за спину пехотинца с мушкетом. Эта уловка должна была ввести Бабинича в заблуждение.

— Он услышит, что со мной всего пятьсот рейтар, и не выдержит, непременно нападет,— говорил князь,— а когда пехота встретит его залпом, все его татары кинутся врассыпную... И либо он погибнет, либо мы его живьем возьмем...

Немедля и с большой тщательностью приступили к осуществлению этого плана. Два дня нарочно распространяли слухи о том, что Богуслав с пятьюстами рейтарами готовится идти в набег. Генералы не сомневались, что местные жители донесут об этом Бабиничу. Так и произошло.

Глубокой ночью князь двинулся в сторону Вонсева и Елёнок, перешел под Червином реку и, оставив конницу среди чистого поля, спрятал пехоту в соседних рощицах, чтобы она могла выскочить внезапно. Тем временем Дуглас должен был идти вдоль берега Нарева, якобы направляясь к Остроленке. Радзеёвскому же с легкой кавалерией назначено было зайти со стороны Ксенжополя.

Никто из этих трех военачальников толком не знал, где сейчас Бабиниц, так как от местных мужиков ничего нельзя было добиться, а ловить татар шведские конники не умели. Дуглас предполагал, что главные силы Бабинича стоят в Снядове, и хотел обойти их со стороны литовской границы, чтобы во время схватки с князем Богуславом у Бабинича были отрезаны все пути к отступлению.

Все, казалось, благоприятствовало замыслам шведов. Кмициц действительно был в Снядове и, едва слышав о походе Богуслава, тотчас скрылся в лесах, чтобы появиться возле Червина.

Дуглас, свернув от Нарева в сторону, через несколько дней напал на след татарской конницы и пошел той же дорогой, то есть в тылу у Бабинича. Кони и всадники, закованые в железные латы, невыразимо страдали от зноя, но генерал, не смущаясь помехами, вел их вперед; теперь он уже вполне был уверен, что подоспеет вовремя, как раз к бою, и застигнет мятежников врасплох.

Наконец после двухдневного перехода он подступил так близко к Червину, что виден был дым над хатами. Здесь Дуглас остановился и, расставив засады на всех дорогах и тропинках, принялся ждать.

Кое-кто из офицеров вызывался немедля напасть на врага, но генерал не пустил их, говоря:

— Когда Бабинич ударит на князя и увидит, что у того не только кавалерия, но и пехота, он должен будет отступить... а пути ему нет иного, как по своим же следам,— тут-то мы и встретим его с распростертыми объятьями!

Оставалось лишь стоять да прислушиваться, скоро ли взвоят татарские глотки и загремят мушкеты.

Так прошел первый день, а в червинских лесах было тихо, словно никогда не ступала здесь нога ратника.

Дуглас начал терять терпение и вечером выслал в поля небольшой дозор, наказав соблюдать величайшую осторожность.

Дозор вернулся поздней ночью, ничего не увидев и не разведав. На рассвете Дуглас со всем войском выступил вперед.

Через несколько часов они наткнулись на следы солдатского привала. На земле валялись огрызки сухарей, битое стекло, клочья одежды и пояс с патронами, какие носили шведские пехотинцы. Здесь явно останавливалась пехота Богуслава, однако самой ее не было видно. Дальше, на влажной лужайке, передовой разъезд обнаружил многочисленные следы копыт тяжелых рейтарских коней, а по краю следы коротконогих татарских лошадей; еще дальше конский труп, у которого волки только что выели внутренности. Спустя короткое время была найдена татарская стрела без наконечника. Судя по всему, Богуслав отступал, а Бабинич его преследовал.

Дуглас понял, что тут произошло нечто непредвиденное.

Но что? Ответа не было. Дуглас задумался. Внезапно его размышления прервал офицер передового дозора.

— Ваше превосходительство! — воскликнул он. — Там впереди в кустах стоят несколько ратников. Не двигаются, видно, часовые. Я задержал своих людей и решил доложить.

— Конные или пешие? — спросил Дуглас.

— Пешие, четверо не то пятеро, сосчитать нельзя, ветви заслоняют. Но что-то желтое виднеется, по одежде будто наши мушкетники.

Дуглас пришпорил коня, подскакал к своему дозору и вместе с ним двинулся вперед. Сквозь редкий подлесок в глубине можно было заметить кучку солдат, неподвижно стоящих под деревом.

— Наши, наши! — воскликнул Дуглас.— Значит, и князь где-то близко.

— Что за странные часовые! — удивился чуть погодя офицер.— Мы идем с таким шумом, а они даже не окликнут нас.

Подлесок кончился, открылись просветы между деревьями. И тогда они ясно увидели сбившихся в кучу четверых людей, которые словно бы что-то рассматривали у себя под ногами. Над головой у каждого тянулась кверху черная полоса.

— Ваше превосходительство! — сказал вдруг офицер.— Они висят!

— Да! — ответил Дуглас.

Они ускорили шаг и через минуту уже стояли около трупов. Четверо пехотинцев, словно связка подстреленных дроздов, висели все вместе на одном невысоком суку, их ноги почти касались земли.

Дуглас довольно равнодушно посмотрел на повешенных, потом как бы про себя заметил:

— Верный знак, что здесь побывали и князь и Бабинич.

И снова задумался, не зная, что предпринять,— то ли идти дальше лесом, то ли перебраться на широкий остроленский тракт.

Полчаса спустя были найдены еще два трупа. Видимо, татары Бабинича поймали мародеров либо больных, оставших от княжеского отряда.

Но почему князь отходил?

Дуглас слишком хорошо знал Богуслава, знал его смелость, равно как и военный опыт, чтобы предположить хоть на минуту, что князь поступал так без особых причин. Непременно должно было что-то случиться.

Лишь на следующий день все объяснилось. Приехал с тридцатью всадниками Бес и привез донесенье от князя Богуслава: оказалось, что король Ян Казимир выслал за Буг против Дугласа гетмана польного Госевского во главе шеститысячной литовской и татарской конницы.

— Мы узнали об этом,— рассказывал Бес,— еще прежде, чем подошел Бабинич, так как он был весьма осторожен, часто петлял, а потому двигался медленно. Госевский стоит в четырех или пяти милях отсюда. Князь, получив это известие, вынужден был спешно отойти, дабы соединиться с Радзеёвским, который очутился под угро-

зой. Шли мы быстро и соединились с ним благополучно. Князь немедленно разослал во все стороны разъезды, чтоб известить ваше превосходительство. Немало их сгинет от татарских либо мужицких рук, да что поделаешь, такая уж это война.

— Где сейчас князь с Радзеёвским?

— В двух милях отсюда, у берега.

— Удалось ли князю привести свой отряд в целости?

— Пехоту ему пришлось оставить, теперь она уходит от татар глухими лесными тропками.

— Татарской коннице и непролазная чаща нипочем. Боюсь, не видать нам больше этой пехоты. Но винить никого нельзя, князь поступил как мудрый полководец.

— Один большой разъезд князь выслал под Остроленку, дабы ввести в заблуждение литовского подскарбия,— тот подумает, что все наше войско пошло на Остроленку, и не замедлит отправиться следом.

— Это хорошо! — обрадовался Дуглас.— Мы еще пану подскарбию натянем нос!

И, не теряя ни минуты, велел выступать на соединение с силами князя Богуслава и Радзеёвского. В тот же день они, к обоюдной радости, встретились, особенно рад был пан Радзеёвский, который пуще смерти боялся плена, так как знал, что ему, предателю и виновнику всех бед Речи Посполитой, пришлось бы жестоко поплатиться.

Теперь соединенная шведская армия насчитывала более четырех тысяч человек и могла успешно противостоять силам польного гетмана. Правда, у гетмана было шесть тысяч, но из татар только отряд Бабиница, отлично им вымуштрованный, годился для атаки в открытом поле, к тому же сам Госевский, хоть воин он был искусный и опытный, не обладал даром Чарнецкого зажигать сердца несокрушающим ратным огнем.

Дуглас, однако, одного не мог понять — с какой целью Ян Казимир выслал гетмана польного за Буг? Шведский король вместе с курфюрстом шел к Варшаве, рано или поздно там предстояло генеральное сражение. И хотя войско Яна Казимира уже превосходило численностью шведскую и бранденбургскую армии вместе взятые, однако шесть тысяч бойцов представляли собой слишком значительную силу, чтобы польский король ни с того ни с сего от них отказался.

Правда, Госевский выручил Бабинича из западни, но ведь на выручку Бабиничу не требовалось посылать целую дивизию. Видимо, были у этого похода какие-то скрытые цели, но какие — этого шведский генерал при всей своей проницательности угадать не мог.

Спустя неделю пришло письмо от шведского короля, из которого явствовало, что Карл чрезвычайно встревожен и даже напуган экспедицией Госевского; но в том же письме содержался и ключ к загадке. По мнению Карла Густава, гетман послан вовсе не против армии Дугласа, и не на помощь литовским повстанцам, — на Литве шведам и так туго приходилось, — а угрожает он Княжеской Пруссии, точнее, восточной ее окраине, где совсем нет шведских войск.

«Они, — писал король, — стремятся поколебать курфюрста в его приверженности к мальборкскому трактату и к нам, и расчет их легко может оправдаться, так как курфюрст готов служить и нашим и вашим, да от обоих и попользоваться».

Письмо кончалось приказом Дугласу приложить все силы, дабы не пустить гетмана в Пруссию, задержать его хотя бы на несколько недель, и тогда тот неизбежно вынужден будет вернуться в Варшаву.

Дуглас рассудил, что возложенное на него поручение вполне ему по плечу. Недавно он не без успеха мерялся силами с самим Чарнецким, и Госевский его не страшил. Правда, разбить дивизию Госевского Дуглас не рассчитывал, но был уверен, что сумеет задержать ее и лишить свободы передвижения.

С этой минуты обе армии начали соревноваться в искусных маневрах, с помощью которых каждая, уклоняясь от открытого боя, стремилась обойти другую. Полководцы обеих армий были достойными соперниками, однако преимущество оказалось все же на стороне многоопытного Дугласа, и северней Остроленки он гетмана польного не пустил.

Тем временем Бабинич, избежав расставленной Богуславом ловушки, отнюдь не спешил примкнуть к дивизии Госевского, а с превеликим усердием принялся за пехоту, брошенную князем на полпути во время его вынужденного марша навстречу Радзеёвскому. Татары Бабинича, взяв себе в проводники лесников, гнались за нею день и ночь, выхватывая неосторожных и отставших. Голод

заставил в конце концов шведов разбиться на небольшие кучки, чтобы легче было добывать себе пропитание. Бабинич только того и дожидался.

Разделив свою дружину на три части, из которых одной командовал сам, другой Акба-Улан, а третьей Сорока, он в несколько дней перебил почти всех пехотинцев. Несколько дней шла неустанная облава, леса и боры, болотные камыши и прибрежные лозняки оглашались шумом, треском, воплями и смертоносной пальбой.

Это побоище принесло Бабиничу громкую славу среди мазуров. Отряд его вновь объединился и пристал к Госевскому лишь под Остроленкой, когда гетман полный, весь поход которого был только отвлекающим маневром, получил уже от короля приказ двигаться обратно к Варшаве. Оттого недолгим было свидание Бабинича со старыми друзьями — Заглобой и Володыёвским, которые сопровождали гетмана со своей лауданской хоругвью. Все трое рады были встрече, питая друг к другу искреннее расположение и приязнь. Оба молодых полковника сильно печалились, что на сей раз ничем не смогли досадить Богуславу, но Заглоба, неустанно доливая кубки, утешал их такими словами:

— Не беда! Голова моя с мая месяца занята измышлением всяческих фортелей, а она меня еще ни разу не подвела. Два-три уже готовы, и преотличные, только вот времени нет пустить их в ход, разве что под Варшавой, куда все мы идем.

— Я должен идти в Пруссию! — возразил Бабинич. — И под Варшавой не буду.

— Полно, попасть ли тебе в Пруссию? — усомнился Володыёвский.

— Проскочу, как бог свят, проскочу! И верьте слову, уж я там наломаю дров! Как кликну клич моим тата-рам: «Гуляй душа!» Они рады бы и здешних ножами пощекотать, но я их упредил: за насилие — петля. Зато уж в Пруссии повеселю и я свою душеньку! Туда, говоришь, попасть трудно? Это вам было трудно, да ведь со мной иное дело, — легче заградить путь большой армии, чем такой дружине, как моя, я всегда найду, где спрятаться. Сколько раз, бывало, я сидел в камышах, а Дуглас со своими проходил близехонько и ничего не подозревал. А теперь Дуглас, верно, за вами пойдет и оставит мне все пути открытыми.

— Ты, говорят, совсем его загонял! — одобрительно заметил Володыёвский.

— У, шельма! — прибавил Заглоба.— Шведу каждый день рубаху менять приходилось, так его пот прошибал! Ты его не хуже, чем Хованского, за нос водил, я сам, признаться, не сумел бы ловчей, хотя еще пан Конецпольский говаривал, что в партизанской войне у Заглобы нет соперников.

— Если Дуглас уйдет,— сказал Володыёвский Кмицицу,— то он, думается мне, оставит для погони за тобой Радзивилла.

— Дай-то бог! И я на то же надеюсь,— с живостью ответил Кмициц.— Я его стану искать, а он меня, тут мы и встретимся. В третий раз уж он меня не свалит, а коли свалит, так я уж не встану. Я твою науку хорошо запомнил, все твои лубенские выпады знаю назубок, как «Отче наш», и каждый день упражняюсь с Сорокой, чтобы руку набить.

— Вот что в войне главное! — воскликнул Володыёвский.— Сабля, а не разные там фортели!

Это утверждение несколько уязвило Заглобу, и он тут же возразил:

— Каждый ветряк думает, что главное — крыльями махать, а знаешь, Михась, отчего? Оттого, что у него под крышей, *alias*¹ в голове,— мякина. В военном деле без хитростей не обойтись, иначе Рох мог бы стать великим гетманом, а ты — польным.

— Кстати, что поделывает пан Ковальский? — спросил Кмициц.

— Ковальский? Он теперь расхаживает в железном шлеме, и правильно делает, из чугунка капуста вкусней. В Варшаве он разжился деньгами, снарядил себе славный отряд и подался к гусарам, к князю Полубинскому, а все ради того, чтоб достать копьём *Caolus*'а. Что ни день, приходит к нам в шатер и знай зенки тарачит, не торчит ли где из соломы горлышко жбана. Никак не могу отучить парня от пьянства. И добрый пример ему ни почем! Но я ему предсказал: за то, что он бросил лауданскую хоругвь, не будет ему счастья! Мошенник! Неблагодарный! Меня, своего благодетеля, променял, собачий сын, на копьё!

¹ То есть (лат.).

— Так он твой воспитанник, сударь?

— Любезный друг! Похож ли я на медвежьего поводяря? Сапеге, который меня о том же спрашивал, я ответил, что один у них с Рохом был праесертог, да только не я, ибо я смолоду был отличным гончаром и дырявых горшков не лепил.

— Во-первых,— сказал Володыёвский,— ты не посмел бы так ответить Сапеге, а во-вторых, хоть и ворчишь на Ковальского, а сам любишь его, как родного сына.

— Да, уж конечно, больше, чем тебя, пан Михал,— я сроду терпеть не мог недомерков и влюбчивых молокососов, которые при виде первой встречной юбки тотчас принимаются выкидывать антраша на манер ученых собачек.

— Или на манер тех обезьян, с которыми ты у Казановских воевал!

— Смейтесь, смейтесь, в другой раз Варшаву сами будете брать!

— А в этот раз это ты ее взял?

— А кто Краковские ворота *expugnavit*?¹ Кто придумал, как генералов в плену оставить? Сидят теперь Виттенберг с Врангелем в Замостье на хлебе и воде. Глянет один на другого, скажет: «Это Заглоба нас сюда засадил»,— и оба в слезы. Жаль, Сапега болен и нет его с нами, он бы вам сказал, кто самый первый вытащил шведского клеща из варшавской шкуры.

— Ради бога,— сказал Кмициц,— не в службу, а в дружбу, пришлите мне весточку о том сражении, что готовится под Варшавой. Ночей спать не буду, дни буду считать, пока не узнаю, что да как.

Заглоба приставил палец ко лбу.

— Послушайте, как я об этом деле понимаю,— начал он,— и что я скажу, то и сбудется... Это так же верно, как то, что передо мной стоит вот этот кубок... Стоит или не стоит, а?

— Стоит, стоит! Говори!

— Эту битву мы либо проиграем, либо выиграем...

— Это каждый знает,— вставил Володыёвский.

— Молчал бы ты лучше, пан Михал, да учился. Положим, мы ее проиграем. Что дальше? Вот видишь, не

¹ Завоевал, взял приступом (*лаг.*).

знаешь, только усишками, словно заяц, стрижешь... Ну, так я вам скажу: ничего не будет...

Кмициц, человек нетерпеливый, вскочил с места, стукнул кубком о стол и крикнул:

— Да не тяни ты, сударь!

— Говорю вам, ничего не будет! — повторил Заглоба.— Молоды вы еще и не понимаете, что при нынешнем положении наш король, наша милая отчина, наше войско могут проиграть хоть пятьдесят сражений подряд... а война все одно пойдет своим путем, шляхта по-прежнему будет стекаться к партизанам, а с нею и все низшие сословия... И если мы не победим сегодня, то победим завтра, и будем побеждать, пока не расточится вражья сила. А стоит только шведам проиграть одну-единственную значительную баталию, вот тут они и полетят ко всем чертям и курфюрст вместе с ними.

Тут Заглоба воодушевился, осушил кубок, хватил им об стол и продолжал:

— Вы меня слушайте, я прямо в корень смотрю, а это не каждому дано. Многие думают: что нас ждет дальше? Сколько еще предстоит боев, сколько поражений от привыкшего побеждать Саголу'а, сколько слез, сколько крови прольется? Сколько еще будет тяжелых невзгод? И многие усомнились, многие возроптали на господу нашего милосердного и пресвятую богородицу... А я вам говорю так: знаете, что ждет проклятых варваров, врагов наших? Погибель! Знаете, что ожидает нас? Победа! Они нас еще сто раз побьют... пусть, а мы побьем их в сто первый — и тем дело кончится!

С этими словами Заглоба прикрыл на мгновенье глаза, но тотчас открыл их, устремил сверкающий взор вдаль и вдруг как завопит во всю силу легких:

— Победа! Победа!

Кмициц даже покраснел от восторга.

— Убей меня бог, он прав! Убей меня бог, верно говорит! Так и будет! Тем дело и кончится!

— Что верно, то верно, пан Заглоба, ума у тебя палата! — сказал Володыёвский, стукнув себя по лбу.— Захватить Речь Посполитую можно, но удержать ее нельзя... Рано или поздно им придется убираться.

— А? Что! Ума, говоришь, палата? — сказал обрадованный похвалой Заглоба.— Коли так, стану же я вам и дальше пророчить. Кто прав, с тем и бог! Ты, сударь,—

тут он обратился к Кмицицу, — одолеешь Радзивилла-изменника, поедешь в Тауроги, отобьешь свою зазнобу, возьмешь ее в жены и деток с нею вырастишь... Отсохни мой язык, коли все это не сбудется. О господи! Только не задуши!

Предупреждение было не лишним, ибо Кмициц сгреб Заглобу в охапку, поднял и так принялся тискать, что у старика глаза на лоб полезли. А едва лишь он стал на ноги, едва успел дух перевести, как его схватил за руку развеселившийся Володыёвский.

— Теперь моя очередь! Говори, что меня ждет!

— Благослови тебя бог, пан Михал! И тебе твоя резвушка целый выводок народит... не бойся. Уф!

— *Vivat!* — крикнул Володыёвский.

— Но сначала мы шведа прикончим! — прибавил Заглоба.

— Прикончим! Прикончим! — подхватили молодые полковники, бряцая саблями.

— *Vivat!* Победа!

ГЛАВА XXIV

Неделю спустя Кмициц проник под Райгродом в пределы Княжеской Пруссии. Удалось ему это довольно легко; перед самым отходом гетманских войск Кмициц со своим отрядом затаился в глухом лесу, и Дуглас решил, что и он вместе со всей литовско-татарской дивизией ушел под Варшаву, а потому для защиты тех мест оставил лишь небольшие гарнизоны в здешних крепостцах.

Сам Дуглас тоже пошел вслед за Госевским, а с ним и Радзеёвский и Радзивилл.

Кмициц узнал об этом, еще не переходя границы, и сильно тужил, что ему не удастся сойтись лицом к лицу со своим смертельным врагом и князя может постигнуть кара от иной руки, хотя бы от руки Володыёвского, который тоже поклялся в вечной вражде к Богуславу.

И тогда, лишенный возможности отомстить предателю за муки Речи Посполитой и свои собственные, Кмициц всю свою ярость обрушил на владения курфюрста.

Едва его татары миновали пограничный столб, в ту же ночь небо запылало заревом пожаров, воздух огласился воплями и стонами людей, попираемых тяжелой пятою войны. Кто умел по-польски просить пощады, того

по приказу вождя миловали, но зато все немецкие поселки, колонии, деревни и города превращались в море огня, а пораженные ужасом жители гибли под ножом.

Быстрее, чем растекается по воде масло, вылитое мореплавателями для усмирения бушующих волн, растеклись татары и ополченцы Кмицица по этому мирному, не ведавшему прежде опасностей краю. Каждый татарин, казалось, двоился и троился на глазах, был одновременно и здесь и там — и повсюду жег и убивал. Не щадили даже посевы в полях, даже деревья в садах.

Так долго держал Кмициц своих татар в узде, что, когда наконец он выпустил их, словно стаю хищных птиц, на волю, они чуть не обезумели от резни и пожаров. Брать ясыр им было запрещено, а потому, состязаясь друг с другом в жестокости, они денно и ночью купались в крови.

Да и Кмициц дал волю своему дикому нраву, и хоть сам не марал рук в крови безоружных, однако с удовлетворением смотрел, как она струится. В душе его царило спокойствие и совесть не возмущалась, ибо то была не польская кровь, да вдобавок еще еретическая, а потому, полагал он, деяния его угодны богу и всем святым.

Ведь курфюрст, ленник и слуга Речи Посполитой, обязанный всем своим благоденствием ее щедротам, первый поднял святотатственную руку на свою госпожу и королеву, и за это надлежало его покарать, а Кмициц был лишь орудием возмездия господня.

И потому он спокойно творил ежевечернюю молитву, перебирая четки при зареве пылающих немецких селений, если же порой крики казнимых сбивали его со счета, он начинал сначала, дабы не отягощать душу грехом небреженья к службе господней.

И все же не одни лишь кровожадные чувства лелеял он в душе; ее, кроме глубокой веры, согревали воспоминания давних лет. Часто приходили ему на память те времена, когда набеги на Хованского принесли ему столь громкую славу, и старые товарищи, словно живые, вставали у него перед глазами: Кокосинский, великан Кульвец-Гиппоцентаврус, рябой Раницкий, в чьих жилах текла сенаторская кровь, Углик, умевший играть на чекане, Рекуц, никогда не осквернявший рук человеческой кровью, и Зенд, что так ловко подражал голосам птиц и всякого зверья.

«И все они, кроме одного, может быть, Рекуца, горят теперь в аду, а жаль! То-то бы они теперь потешились, то-то бы кровью умылись, не беря на душу греха и с пользой для Речи Посполитой!..»

И пан Анджей вздыхал при мысли о том, сколь губительная вещь разгул, который людям в цвете молодости навек закрывает путь к благородным подвигам.

Но чаще всего вздыхал пан Анджей по Оленьке. Чем дальше заходил он в прусские земли, тем нестерпимей горели его сердечные раны,— как будто пожары, которые он разжигал, распяляли и давнюю его любовь. Чуть не каждый день обращался он мысленно к девушке с такими словами:

«Голубка моя милая, ты, может, уже забыла меня, а если и вспоминаешь, то не иначе, как с презрением. А я — где бы ни был, ночью и днем, среди ратных трудов на благо отчизны, о тебе лишь помышляю, и душа моя, словно усталая птица, летит к тебе за реки и леса, ища отдохновения у твоих ног. Всю кровь свою я отдал бы Речи Посполитой да тебе одной, и горе мне, если ты навеки отлучишь меня от своего сердца!»

С такими мыслями он шел вдоль границы все дальше на север, жег и казнил, никого не милуя. Жестокая тоска его снедала. Ему хотелось бы завтра же очутиться в Таурогах, а между тем путь был еще так далек и труден! По всей прусской провинции забили наконец в колокола. Жители брались за оружие, чтобы отразить ужасное нашествие; подкрепления прибывали из самых отдаленных мест, по городам даже мастеровые формировали свои полки, и вскоре, куда бы ни пришел Кмициц, против каждого его татарина вставало до двадцати неприятельских ратников.

Молнией налетал Кмициц на прусские отряды, громил, разбивал, вешал, увертывался, прятался и вновь всплывал на гребне огненной волны; и все же он не мог уже двигаться так быстро, как прежде. Нередко ему приходилось целыми неделями отсиживаться на татарский манер в чаще лесов либо в тальниках по берегам озер. Местный житель поднимался всем миром, как на волка,— а он и впрямь уподобился волку, что разит насмерть единым ударом клыков, и не только оборонялся, но и нападал.

Любя доводить всякое дело до конца, он, случилось, невзирая на погоню, до тех пор не трогался с места, пока не опустошал огнем и мечом всю округу. Имя его, бог весть каким образом, вскоре стало известно всем и с ужасом передавалось из уст в уста вплоть до самого Балтийского моря.

Мог бы, правда, Бабинич вернуться обратно, в пределы Речи Посполитой, и, минуя шведские заставы, поспешить в Тауроги, но так поступать он не хотел, ибо заботился не только о собственном благе, но о благе всей Речи Посполитой.

Между тем пришли новости, которые необычайно воодушевили местных жителей, а Бабинича повергли в жестокую печаль. Грянула весть, будто польский король потерпел поражение в великой битве под Варшавой. «Карл Густав и курфюрст разгромили войска Яна Казимира,— ликовала вся Пруссия,— Варшава снова взята! Одержана величайшая победа за всю войну! Теперь конец Речи Посполитой!»

И все неприятельские «языки», которых ловили и пытали огнем татары, повторяли то же самое; как всегда в смутное военное время, появлялись и преувеличенные слухи — будто польские войска истреблены поголовно, гетманы погибли, а сам Ян Казимир взят в плен.

Значит, все кончено? Значит, та победоносная Речь Посполитая, что возрождалась на глазах, была лишь пустым обольщением? Такие силы, столько войск, столько великих мужей и знаменитых воителей: гетманы, король, Чарнецкий со своей непобедимой дивизией, коронный маршал, прочие вельможи со своими полками — и все это пропало, все развеялось как дым? И нет больше у этой несчастной страны иных защитников, кроме одиночных повстанческих отрядов, которые, заслышав о поражении, наверняка растают как туман?

Кмициц рвал на себе волосы, ломал руки, хватал горстями сырую землю и прижимал к пылающему лбу.

— Погибну же и я! — говорил он себе. — Но сперва эту землю кровью напою!

И он стал драться с неистовством отчаяния; не таился более, не скрывался в лесах и камышах, искал смерти, кидался как безумный на вражеские отряды, втрое превосходившие его числом, и разметывал саблями, топтал копытами. Татары его окончательно утратили всякое

людское подобие и превратились в стаю диких зверей. Этот кровожадный, но не привычный к открытому бою народ, сохранив вполне свою охотничью сноровку в устройстве засад и ловушек, так закалился в непрерывных схватках и походах, что мог теперь выстоять против любой самой лучшей регулярной кавалерии и сокрушал даже квадратный строй шведской далекарлийской гвардии. А в сражениях со шведской пехотой сотня татар с легкостью побеждала и две и три сотни рослых, вооруженных мушкетами и пиками ратников.

Кмициц приучил их не обременять себя лишним грузом,— они брали лишь деньги, и то только золотые, которые зашивали в седла. Поэтому, если кто из них погибал в бою, остальные яростно дрались из-за его лошади и седла. Таким образом, татары обогащались, не теряя при том своей необычайной, почти сверхъестественной подвижности. Убедившись, что ни один вождь в мире не доставил бы им столь обильной добычи, они привязались к Бабиничу, как гончие псы к охотнику, и после каждого боя с истинно магометанской честностью отдавали Соробе и Кемличам львиную часть добычи для «багадыра».

— Алла! — говаривал Акба-Улан. — Мало кто из них увидит вновь Бахчисарай, зато те, что вернутся, все станут мурзами.

Бабинич, издавна приучившийся кормиться войной, собрал огромные богатства; однако смерти, которой искал пуще денег, он не нашел.

Миновал еще месяц в неустанных переходах и ратных трудах, превосходивших, казалось, человеческие силы. Татарские бахматы — хоть и кормили их ячменем и прусской пшеницей — нуждались в кратком хотя бы отдыхе, и молодой полковник, который хотел к тому же узнать последние новости и восполнить убыль в людях, отступил возле Доспады в пределы Речи Посполитой.

Новости не заставили себя долго ждать, да такие радостные, что Кмициц чуть не сошел с ума. Оказывается, Ян Казимир, чье мужество было под стать испытаниям, которым подвергала его судьба, действительно проиграл большое трехдневное сражение под Варшавой — однако важно, по какой причине!

Причина была та, что огромная часть народного ополчения еще до битвы разбрелась по домам, а оставшиеся дрались уже не столь отважно, как при взятии

Варшавы, и на третий день обратились в бегство. Однако в первые два дня победа склонялась на сторону поляков. Регулярные войска уже не в случайной схватке, не в кратком набеге, но в большом сражении с искуснейшей европейской армией показали такую выучку и такую стойкость, что повергли в изумление самих генералов шведских и бранденбургских.

Король Ян Казимир покрыл себя немеркнувшей славой. Говорили что талантом полководца он не уступал самому Карлу Густаву, и если бы все его распоряжения исполнялись в точности, противник проиграл бы генеральное сражение и война была бы кончена.

Все это подтвердили Кмицицу и очевидцы,— он встретил шляхтичей-ополченцев, принимавших участие в битве. Один из них рассказывал, как во время стремительного натиска польских гусар едва не погиб сам шведский король, не желавший отступить, невзирая на мольбы своих генералов. И все они отрицали слухи о том, будто бы польское войско уничтожено и гетманы погибли. Напротив, не считая ополчения, армия осталась цела и в полном порядке отступила к югу страны.

Правда, во время переправы обвалился варшавский мост, но утонули только пушки, а «боевой дух был в целости перевезен через Вислу». Войско клялось и божилось, что с таким вождем, как Ян Казимир, в следующей схватке разобьет и Карла Густава, и курфюрста, и всех, кого понадобится, а это была просто репетиция, хоть и не вполне удачная, но сулившая в будущем победу.

Кмициц не понимал, откуда могли взяться первые, столь ужасные вести. Ему объяснили, что Карл Густав умышленно распускал ложные слухи, так как сам не знал толком, что предпринять. Шведские офицеры, которых пан Анджей взял в плен неделю спустя, подтвердили это.

Он узнал от них также, что особенно напуган курфюрст, который все более опасается за собственную шкуру. Много его войска полегло под Варшавой, а на остальных напал ужасный мор и косит хуже всякого неприятеля. А тем временем жители Великой Польши, стремясь отомстить за Уйсте и за все свои обиды, вторглись в маркграфство Бранденбургское, жгут и режут, все сметают с лица земли. По мнению офицеров, недалек тот

час, когда курфюрст покинет шведов и примкнет к тому, кто оказался сильнее.

«Раз так,— подумал Кмициц,— буду ему всячески досаждать, пусть поторопится».

Лошади уже отдохнули, убыль в людях была восполнена волонтерами, и он, движимый жаждой разрушения и крови, снова переправился через Доспаду и обрушился на немецкие селенья.

Его примеру последовали многие партизанские отряды. Соппротивление жителей к тому времени ослабело, и тем больше буйствовал Кмициц. А новости приходили одна лучше другой, такие, что просто не верилось.

Сперва прошел слух, что Карл Густав, который после победы под Варшавой продвинулся до Радома, вдруг стал сломя голову отступать к Королевской Пруссии. Что случилось? Почему он отходит? Некоторое время ответа не было. И вдруг снова прогремело по всей Речи Посполитой имя Чарнецкого. Победа под Липцем, победа под Стшемешном, под Равой он уничтожил арьергард уходившего Карла, а затем, прослышав, что из Кракова возвращаются две тысячи рейтар, атаковал их и перебил всех до единого. Полковник Форгель — брат генерала, еще четыре полковника, три майора, тринадцать ротмистров и двадцать три поручика попали в плен. Некоторые удваивали эти цифры, а иные, не помня себя от восторга, уверяли даже, будто Ян Казимир вовсе не проиграл, а выиграл битву под Варшавой и его поход на юг страны,— просто военная хитрость, которая окончательно погубит неприятеля.

Сам Кмициц начинал думать так же. Солдат с отроческих лет, он знаком был со всеми превратностями войны, однако никогда не слышал, чтобы победа причинила вред победителю. Между тем положение шведов очевидно ухудшилось, и именно после варшавской битвы.

Тут-то и вспомнились пану Анджею слова Заглобы, сказанные при последнем их свидании: что никакие победы шведам уже не помогут, а одно-единственное серьезное поражение может их погубить.

«Вот голова — канцлеру впору! — подумал Кмициц.— Читает в будущем, как в открытой книге».

Вспомнилось ему и другое пророчество пана Заглобы — что он, Кмициц, alias Бабинич, дойдет до Таурогов, отыщет свою Оленьку, вымолит у нее прощение, что они

поженятся и народят деток на радость отечеству. От этих мыслей огонь пробежал у него по жилам; не в силах более терпеть ни минуты, он решился на время прекратить избиение пруссаков и лететь в Тауроги.

Но в самый канун отъезда к нему прибыл лауданский шляхтич из хоругви Володыёвского и привез письмо от маленького рыцаря.

«Пан гетман польный литовский и князь кравчий ведут нас на Богуслава и Вальдека,— писал пан Михал.— Иди и ты с нами, отомстим вместе и князю за твои обиды, и пруссакам за обиды Речи Посполитой».

Пан Анджей глазам не верил и сперва подумал даже, что шляхтич нарочно подослан каким-нибудь прусским или шведским военачальником, чтобы заманить его отряд в ловушку. Неужели Госевский и вправду вторично собирается в Пруссию? Но и не поверить было нельзя. Почерк был Володыёвского, печать Володыёвского, а под конец пан Анджей признал и шляхтича. И стал его расспрашивать, где находится сейчас Госевский и куда намерен идти.

Шляхтич оказался глуповат. Не ему, ответил он, знать о намерениях пана гетмана; он знает только, что пан гетман со своей литовско-татарской дивизией в двух днях пути отсюда, а при нем и лауданская хоругвь. Одно время лауданцы сражались при Чарнецком, но уже давно вернулись в гетману и теперь идут, куда пан гетман ведет.

— Говорят, в Пруссию пойдем,— закончил шляхтич,— и войска рады-радешеньки... А впрочем, наше дело солдатское — выполнять приказ да бить врага.

Выслушав это сообщение, Кмициц, не раздумывая, поворотил коней и скорым маршем двинулся навстречу гетману, а два дня спустя, поздней ночью, уже сжимал в своих объятьях Володыёвского, который, едва успев расцеловаться с ним, воскликнул:

— Граф Вальдек и князь Богуслав стоят в Простках, редуты возводят, хотят окопаться. Мы идем на них.

— Сегодня? — спросил Кмициц.

— Завтра на рассвете, то есть через два-три часа.

Тут они снова бросились обнимать друг друга.

— Почему-то я уверен, что господь отдаст его в наши руки! — воскликнул взволнованный Кмициц.

— И я тоже.

— Я дал обет — до самой смерти поститься в годовщину того дня, когда встречу с ним.

— Что ж, божьей помощью всегда полезно заручиться, — ответил пан Михал. — И пусть бы уж он тебе достался, я, так и быть, пеняť не стану, тебя он больше обидел.

— Михал! Ты самый благородный рыцарь на свете!

— Ну-ка, Ендрек, дай я на тебя погляжу! Совсем почернел от ветра. А и молодец же ты! Вся армия Госевского смотрела на твою работу и диву давалась. Где ты прошел, одни пепелища да *cadavera*¹. Солдатская косточка! Самому пану Заглобе, будь он тут, не удалось бы похвастаться такими подвигами.

— Господи! А где же пан Заглоба?

— Пришлось оставить его при Сапеге, он так плачет и горюет о Рохе Ковальском, что весь распух...

— Так пан Ковальский погиб?

Володыёвский стиснул зубы.

— Знаешь, кто его убил?

— Откуда мне знать?.. Говори!

— Князь Богуслав.

Кмициц закружился на одном месте, как ужаленный, со свистом втянул в себя воздух, наконец страшно закрипел зубами и, бросившись на лавку, молча уронил голову на руки.

Володыёвский хлопнул в ладоши и велел слуге принести вина. Затем он подсел к Кмицицу, налил две чарки и заговорил:

— Рох Ковальский погиб как настоящий рыцарь, дай бог и нам с тобой не хуже. Достаточно сказать, что его после боя хоронил сам *Carolus*, и целый гвардейский полк отдавал воинские почести его останкам.

— Если б только не от этой руки, не от этой проклятой руки! — воскликнул Кмициц.

— Да, он пал от руки Богуслава, мне рассказывали гусары, которые собственными глазами видели эту горестную картину.

— Так ты там не был?

— В бою место выбирать не приходится, где велят, там и стой. Будь я там, то или меня бы сейчас ты не видел, или Богуслав не строил бы укреплений в Простках.

— Расскажи, все как было. Злее буду биться.

¹ Трупы (лат.).

Володыёвский хлебнул вина, вытер свои желтые усики и начал:

— О варшавской битве ты, должно быть, наслышан, о ней все говорят, поэтому буду краток. Наш славный государь — дай ему бог здоровья и долгих лет жизни, при другом короле наша родина погибла бы с позором — оказался знатным полководцем. Будь слуги таковы, каков господин, будь мы его достойны, хроники говорили бы о еще одной великой польской победе, равной победам под Грюнвальдом и Берестечком. Короче, в первый день мы били шведов. На второй день счастье стало склоняться то в нашу, то в их сторону, но все же мы брали верх. Тогда-то и пошли в атаку литовские гусары князя Полубинского, доблестного воина, под которым служил и Рох Ковальский. Я видел, как они шли, вот как тебя вижу, — мы, лауданцы, стояли на валу подле редутов. Было их тысяча двести, люди и кони, каких свет не видывал. Они проходили в каких-нибудь ста шагах от нас, — говорю тебе, земля дрожала под ними! Бранденбургская пехота торопилась всадить пики в землю, чтобы выдержать первый натиск. Другие палили из мушкетов, дым заслонял их совершенно. Глядим, гусары уже пришпорили коней. Рванулись как бешеные! Влетели в дым... и пропали! Мои солдаты вопят: «Сомнут! Сомнут!» Ничего не видно. И вдруг зазвенело, загремело, словно сотни молотов враз грохнули по наковальням. Глядим — боже милосердный! Курфюрстовские лежат пластом, как рожь, поваленная бурей, а наши уже вон где! Только прапорцы мелькают! Идут на шведов! Налетели на рейтар — рейтары вповалку! Налетели на другой полк — и другой вповалку! Гул, гром пушек... видим их только, когда ветром развеет дым. Смяли пехоту... Шведы врассыпную, кто бежит, кто падает, ряды ломаются, наши идут, как по улице... чуть не всю армию насквозь прошли! Сшиблись с полком конной гвардии, среди которой стоит сам Саголус, и гвардию словно вихрем разметало!

Тут Володыёвский остановился, потому что Кмициц закрыл глаза руками и вскричал:

— Матерь божия! Раз увидеть — и умереть!

— Такой атаки мне уж более не видать, — продолжал маленький рыцарь. — Нас тоже бросили в бой... Дальше я не видел, расскажу тебе, что слышал от шведского

офицера, который был тогда рядом с Карлом и наблюдал все до конца. Когда наши гусары уже смели все на своем пути, то Форгель, тот самый, что позже, под Равой, попал к нам в плен, бросился Карлу в ноги и стал умолять: «Король! Спасай Швецию! Спасайся! Отступи! Отступи! Их ничто не удержит!» А Carolus в ответ: «Нельзя отступать, надо отразить удар либо погибнуть!» Сбежались генералы, просят, заклинают — напрасно. Карл бросился вперед... сшиблись! И шведы были опрокинуты скорей, чем ты сосчитал бы до десяти. Кто упал, того затоптали; прочие рассыпались, как горох. Наши давай их рубить. Король отбивался вдвоем с рейтаром. Тут подскакал Ковальский и узнал короля, — ведь он его уже дважды видел. Как налетит! Рейтар заслонил короля... Но, рассказывали очевидцы, Рох быстрее молнии рассек его надвое. Тогда король бросился на Роха...

Володыёвский снова прервал рассказ, переводя дыхание, но Кмициц тут же воскликнул:

— Кончай же, а то душа из меня вон!

— Вот и сшиблись они посреди поля, так что кони их грянулись грудь о грудь. Все смешалось! «Смотрю я, — рассказывал нам офицер, — а король вместе с конем уже на земле!» Выпростал руку, нажал на курок пистолета — мимо. Шляпа с него свалилась, Рох его хватя за волосы! Уже и меч занес, уже шведы обмерли от ужаса, потому что на помощь идти было поздно, как вдруг словно изпод земли вырос Богуслав и выстрелил Ковальскому прямо в ухо. Так голову ему вместе со шлемом и разнесло.

— О боже! Как же Ковальский не успел меча опустить?! — крикнул пан Анджей, дергая себя за чуб.

— Не сподобил его господь этой милости, — ответил пан Михал. — Мы с Заглобой поняли, в чем тут дело. Ведь парень с младых ногтей служил у Радзивиллов, считал их своими господами, ну, и увидев Радзивилла, растерялся. Ему, верно, никогда и в голову не приходило, что можно поднять на Радзивилла руку. Бывает, бывает! Эх! Вот и заплатил за это жизнью. А пан Заглоба удивительный человек, он ведь ему никакой не дядя, да и вообще не родня, а другой и по сыну бы так не убивался... И, правду сказать, зря — такой славной смерти можно только позавидовать. Ведь шляхтич и воин для того и рожден, чтоб рано или поздно голову сложить,

а о Ковальском будут писать летописцы, имя его прославится в веках.— Володыёвский умолк, потом перекрестился и добавил: — Дай ему, боже, вечный покой, и да светит ему вечный свет...

— Во веки веков! — закончил Кмициц.

Некоторое время оба тихо молились, прося, быть может, и себе такой же смерти, лишь бы не от руки Богуслава; наконец пан Михал сказал:

— Ксендз Пекарский ручался нам, что душа Роха пошла прямо в рай.

— Конечно, в рай, ему и молитвы наши не нужны.

— Молитвы всегда нужны, не ему, так другим зачтутся, а может, и нам самим.

Кмициц вздохнул.

— Бог милостив,— сказал он.— Может, и мне за все, что я тут совершил в Пруссии, отпустится хоть несколько лет чистилища.

— Там всему счет ведется. Мы тут бьемся, а там небесные секретари каждый взмах сабли записывают.

— Хоть и я служил некогда у Радзивилла,— промолвил Кмициц,— но при виде Богуслава не растеряюсь. Боже, боже! Ведь Простки совсем рядом! Помни, господи, он и тебе враг, он еретик, который неоднократно кощунствовал против истинной веры!

— И отчизне он враг! — прибавил Володыёвский.— Будем надеяться, что конец его близок. Это и пан Заглоба предрек после той гусарской атаки, а был он вне себя от горя и слез и говорил словно в каком-то озарении. И так проклинал Богуслава, что у людей волосы дыбом вставали. А еще князю Казимежу Михалу, который с нами против шведов идет, снилось, будто медведь изгрыз две золотые трубы, изображенные в гербе у Радзивиллов, и князь наутро сказал: «Вскоре или меня, или кого-нибудь другого из Радзивиллов постигнет несчастье».

— Медведь? — переспросил Кмициц, бледнея.

— Да.

Лицо пана Анджея просветлело, словно утренняя заря, он обратил взор ввысь, воздел руки к небесам и воскликнул громким голосом:

— У меня в гербе медведь! Хвала всевышнему! Хвала пресвятой деве!.. Боже, боже! Я недостойн столь великой милости!

Услышав эти слова, Володыёвский также сильно взволновался, он сразу увидел в этом перст божий.

— Ендрек! — воскликнул он.— Для верности приложись перед боем к распятью, а я буду молить господа отдать мне Саковича.

— Простки! Простки! — как в лихорадке повторял Кмициц.— Когда мы выступаем?

— На рассвете, а рассвет уже близко.

Кмициц подошел к выбитому окошку хижины, поглядел на небо и воскликнул:

— Звезды уже меркнут! Ave Maria...

Тут вдалеке пропел петух, и тотчас зазвучал тихий сигнал трубы. Вскоре вся деревня пришла в движение. Бряцало железо, фыркали кони. Всадники толпами стекались к большой дороге.

Небо начинало светлеть; слабый блеск серебрил наконечники пик, мерцал на обнаженных саблях, выхватывал из темноты грозные усатые лица, шлемы, колпаки, капюшоны, татарские бараньи шапки, тулупы, сагайдаки. Наконец двинулись в путь; в передовом дозоре ехал Кмициц, вслед за ним длинной змеей растянулось по дороге войско. Шли быстро.

В первых рядах громко заржали кони, за ними другие,— добрая примета для ратников.

На полях и лугах еще лежал белый туман.

Вокруг было тихо, лишь коростели посвистывали в обрызганных росой травах.

ГЛАВА XXV

Шестого сентября польские войска дошли до Вонсоши и расположились на отдых, чтобы люди и кони могли набраться сил перед боем. Госевский хотел пробыть здесь четыре-пять дней, но дальнейшие события нарушили его расчеты.

Бабинича, хорошо знавшего пограничные места, послали в разведку; дали ему две хоругви легкой кавалерии и небольшой чамбул из татар Госевского, потому что его собственные совершенно выбились из сил.

Провожая Бабинича в путь, пан подскарбий усиленно наказывал раздобыть языка и с пустыми руками не возвращаться. А Бабинич только усмехался, думая про

себя: «Уж меня-то понукать нечего, приведу пленных, даже если их придется искать за валами, в самих Простках».

И действительно, через двое суток он вернулся, ведя за собой полтора десятка пленных, а среди них офицера высокого ранга, капитана фон Ресселя из прусского полка Богуслава.

Разведчиков встретили в лагере восторженными криками. Капитана допрашивать не пришлось, Бабинич сделал это еще в дороге, приставив пленнику клинок к глотке. Из показаний фон Ресселя явствовало, что в Простках стоят не только прусские полки графа Вальдека, но еще и шесть шведских под водительством генерал-майора Израеля, из них четыре полка конных, с командирами Петерсом, Фритьофсоном, Таубеном и Аммерстейном, и два пеших, с командирами братьями Энгель. Прусские войска также весьма многочисленны,— кроме собственного полка графа Вальдека, там стоят полки князя Висмарского, Брунцеля, Коннаберга, генерала Вальрата, а также четыре хоругви князя Богуслава: две хоругви прусских волонтеров и две его собственные.

Верховное командование войсками формально осуществлялось графом Вальдеком, на самом же деле он во всем слушался Богуслава, который подчинил своему влиянию также шведского генерала Израеля.

Но самым важным было сообщение фон Ресселя о том, что из Элка в Простки спешат на подмогу противнику две тысячи отборной поморской пехоты, и граф Вальдек, опасаясь, как бы их не перехватили татары, намерен выйти из лагеря навстречу пехотинцам, соединиться с ними и только тогда вновь окопаться. Богуслав, по словам Ресселя, до сих пор был против ухода из Просток, однако в последние дни начал поддаваться.

Госевский очень обрадовался новости,— теперь уж он был уверен, что победа от него не уйдет. Противник долго мог бы продержаться за валами, но в открытом поле ни шведская, ни прусская конница не устоит против литовской.

Князь Богуслав, видимо, понимал это не хуже пана подскарбия и именно потому не слишком одобрял намеренья Вальдека. Но не стал их оспаривать из самолюбия,

пуще всего опасаясь упрека в чрезмерной осторожности. Впрочем, и терпением он не отличался. Можно было рассчитывать почти наверняка, что ему надоест отсиживаться в окопах и он станет искать славы и победы в открытом поле. Пану подскарбию следовало лишь поспешить и напасть как раз в ту минуту, когда враг покинет свою крепость.

Так рассуждал и сам гетман, и все его полковники — вождь ордынцев Гассун-бей, королевский хорунжий Войниллович, пятигорский полковник Корсак, Володыёвский, Котвич и Бабинич. Все сходились на том, что отдыхать теперь не время и как только настанет ночь, то есть через несколько часов, надо выступить. Пан Корсак немедленно выслал к Просткам своего хорунжего Беганского, чтобы тот следил за вражеским лагерем и обо всем ежечасно доносил подступающему войску. А Володыёвский с Бабиничем взяли Ресселя на свою квартиру, чтоб разузнать у него побольше о Богуславе.

Капитан, который еще чувствовал на горле прикосновение Кмицицева клинка, сначала трясся от страха, но вскоре вино развязало ему язык. Притом он служил некогда в Польше в наемных войсках, понимал по-польски и мог отвечать на вопросы пана Михала, который немецкого не знал.

— Давно ли ты, сударь, служишь у князя Богуслава? — спросил маленький рыцарь.

— Я служу не в собственном полку князя, — отвечал Рессель, — а в курфюрстовском, который отдан под его начало.

— Тогда ты и Саковича не знаешь?

— Саковича я видел в Кенигсберге.

— А сейчас он при князе?

— Нет. Он остался в Таурогах.

Пан Михал вздохнул и пошевелил усами.

— Как всегда, не везет! — сказал он.

— Не горюй, Михал, — ответил Бабинич, — ты его отыщешь, а не ты, так я.

Вслед за тем он обратился к Ресселю:

— Вот ты, сударь, старый солдат. Ты видел оба войска, а с нашей конницей давно знаком — как по-твоему, на чьей стороне будет победа?

— Если будет бой в открытом поле, то победа ваша, но укреплений вам без пехоты и пушек не взять, тем бо-

лее, что у нас все делается по указаниям князя Радзивилла.

— Так ты считаешь его великим полководцем?

— Не только я, все так считают, и в шведском войске и в прусском. У нас говорят, что под Варшавой *segenissimus rex Sueciae*¹ во всем следовал его советам и потому выиграл великую битву. Князь Богуслав поляк, он лучше знает все ваши военные приемы и скорей придумает, чем на них ответить. Я сам видел, как в конце третьего дня сражения шведский король перед всем строем обнимал и целовал князя. Правда, король обязан ему жизнью, если б князь тогда не выстрелил... ох! подумать страшно! Притом же князь и рыцарь непревзойденный, перед ним никто не устоит ни в конном, ни в пешем поединке.

— Э! — воскликнул Володыёвский, — может, и нашелся бы такой...

И угрожающе шевельнул усиками. Рессель взглянул на него и вдруг покраснел. Мгновение казалось, что он или лопнет от натуги, или разразится хохотом; однако он вспомнил, что находится в плену, и взял себя в руки.

А Кмициц остро посмотрел на него своими стальными глазами и сказал, слегка поджав губы:

— Завтра увидим...

— А здоров ли теперь князь? — спросил Володыёвский. — Он ведь долго страдал от лихорадки, ослабел, должно быть...

— Давно здоров, как рыба, и никаких лекарств не принимает. Сначала медик хотел было давать ему всякие предохранительные снадобья, но с князем как раз после первого приема случился приступ. Правда, больше это не повторилось. А лекаря князь Богуслав велел качать на простынях, и помогло — лекарь со страху сам схватил лихорадку.

— Качать на простынях? — переспросил Володыёвский.

— Я сам видел, — ответил Рессель. — Сложили две простыни, на них положили лекаря, а потом четверо здоровенных оруженосцев взяли за углы и ну подкидывать беднягу — верьте слову, локтей чуть не на десять взлетал, а они подхватят да снова вверх. Генерал Изра-

¹ Его величество король Швеции (лат.).

ель, граф Вальдек и князь за бока со смеху держались. И мы, офицеры, тоже смотрели на это зрелище, пока лекарь не обеспамятел. А у князя после этого болезнь как рукой сняло.

Хотя Володыёвский и Бабинич ненавидели Богуслава, однако и они не могли удержаться от смеха, представляя себе эту потешную картину. Бабинич даже хлопнул себя по колену и воскликнул:

— Ха! Вот ведь что выдумал, шельма!

— Надо будет Заглобе рассказать про это лекарство,— сказал маленький рыцарь.

— От лихорадки помогло,— заметил Рессель,— но что толку, если князь не умеет смирять свои вожделения; не дожить ему до старости.

— Вот и я так же думаю,— буркнул сквозь зубы Бабинич.— Такие, как он, долго не живут.

— Неужто он и в походе не бросил своих замашек? — спросил Володыёвский.

— Ого! — ответил Рессель.— Граф Вальдек сколько раз, бывало, смеялся,— мол, его княжеское сиятельство возит с собой целый штат камеристок.... Я сам видел двух пригожих девиц, про которых говорили, будто они глядят ему брыжи... Брыжи! Как бы не так!

Слушая это, Бабинич то краснел, то бледнел; и вдруг, вскочив с места, схватил Ресселя за плечо и яростно тряхнул его.

— Кто они, польки или немки? Отвечай!

— Не польки,— ответил перепуганный Рессель,— одна из них прусская дворянка, а другая — шведка, прежде служила у жены генерала Израеля.

Бабинич взглянул на Володыёвского и вздохнул с облегчением, маленький рыцарь тоже вздохнул и перестал шевелить усиками.

— Позвольте, господа, немного отдохнуть,— попросил Рессель,— меня татарин две мили на аркане волок, и я страшно измучен.

Кмициц кликнул Сороку и поручил ему пленного; затем быстрыми шагами подошел к Володыёвскому.

— Нет, хватит! — воскликнул он.— Лучше смерть, в сто раз лучше смерть, чем эти неустанные тревоги и сомнения. Вот и сейчас, когда Рессель упомянул об этих девках, меня словно обухом по голове огрели.

Володыёвский в ответ брякнул саблей.

— Да, пора положить этому конец! — сказал он.

Вскоре из гетманской квартиры донесся звук горна, и тут же во всех литовских хоругвях откликнулись трубы, а в чамбулах татарские дудки.

Войска начали собираться и через час выступили в поход.

Не успели они и мили пройти, как прискакал посланец от хорунжего Беганского с донесеньем к гетману: поймано несколько рейтар из вражеского отряда, который ходит по этому берегу реки и забирает у крестьян все телеги и лошадей. Пленные были допрошены на месте и рассказали, что войску дан приказ вместе с обозом покинуть Простки завтра в восемь часов утра.

— Возблагодарим господа и пришпорим коней! — сказал на это Госевский.— К вечеру эта армия исчезнет с лица земли!

И приказал татарской коннице скакать во весь опор, чтобы как можно скорее отрезать армию Вальдека от прусской пехоты, спешившей ему на помощь. Следом рысью понеслись литовские хоругви, это была главным образом легкая кавалерия, в быстроте почти не уступавшая татарам.

Кмициц пошел с передовым дозором и так гнал своих татар, что пар валил от коней. На скаку он то и дело припадал к седлу, бился лбом о конский загривок и жарко молился:

— Господи, помоги отомстить. Не за себя, за позор и страдания родины! Я грешен, я твоей милости недостоин, но сжался, позволь мне пролить кровь еретика, а я даю обет во славу твою каждую неделю до самой смерти отмечать этот день постом и бичеванием!

Потом он препоручил себя матери божьей Ченстоховской, за которую недавно проливал кровь, и святому Анжею, своему покровителю,— и, призвав на помощь столь могучих заступников, почувствовал в сердце несокрушимую надежду, а в теле силу неодолимую. Казалось, у него выросли крылья; в буйном веселье неся он впереди своих татар, только искры сыпались из-под копыт. Тысячи диких кочевников летели за ним, припав к гривам своих коней.

Море остроконечных шапок колебалось в такт конскому бегу, качались за спинами луки, топот бахматов разносился далеко перед ними, а сзади долетал глу-



кой гул приближавшихся литовских хоругвей, подобный грозному рокоту паводка.

Так они мчались в ту чудную звездную ночь сквозь мрак, окутывающий поля и дороги, словно огромная стая хищных птиц, издали учуявших запах крови.

Летели мимо тучные пашни, дубравы, луга, и вот наконец лунный серп побледнел и склонился к западу. Тогда они сдержали коней и сделали последний привал. До Просток оставалось не более немецкой полумили.



Татары стали кормить из рук своих коней ячменем, чтобы те набрались сил перед боем. А Кмициц, пересев на свежего скакуна, поехал дальше. Он хотел бросить взгляд на неприятельский лагерь.

Через полчаса он наткнулся в прибрежном лозняке на пятигорский разъезд, высланный в разведку паном Корсаком.

— Ну как?— спросил Кмициц Беганского.— Что слышно?

— Проснулись и гудят, как пчелы в улье,— ответил хорунжий.— Они бы уже выступили, да у них подвод не хватало.

— Откуда тут виден их лагерь?

— Вон с того холма, где кусты. Лагерь в той стороне, ниже по реке. Хотите взглянуть, ваша милость?

— Показывай дорогу, хорунжий!

Хорунжий прищпорил коня, и они выехали на вершину холма. Уже занималась заря, и по небу разливался золотистый свет, но над рекой, на низком противоположном берегу, еще лежал густой туман. Кмициц с хорунжим, укрывшись в кустах, всматривались в этот туман, редевший с каждой минутой.

Наконец в двухстах шагах от них, в низине, открылся лагерь, с четырех сторон обнесенный земляным валом; Кмициц жадно устремил туда взор, но в первую минуту мог различить лишь неясные очертания шатров и выстроившихся вдоль насыпи подвод. Пламени костров уже не было видно, только дым столбом подымался в небо, предвещая ведро. Но по мере того, как рассеивался туман, Бабинич с помощью подзорной трубы разглядел воткнутые в насыпь знамена — голубые шведские и желтые прусские, а затем увидел солдат, пушки и лошадей.

Вокруг было тихо, лишь ветер шелестел в листве да весело чирикали утренние пичужки. Но из лагеря доносился приглушенный шум.

Там, видимо, никто уже не спал и все готовились к походу, за валами царило необычайное оживление. Целые полки передвигались с места на место; некоторые выходили наружу, множество людей копошилось возле подвод, другие скатывали с валов пушки.

— Сомненья быть не может, они готовятся выступить, — сказал Кмициц.

— То же самое говорили и все пленные. Хотят соединиться со своей пехотой. Прихода гетмана они ждут только к вечеру, но даже если он станет атаковать раньше, неприятель скорей примет бой в открытом поле, чем отдаст на растерзание свою пехоту.

— Часа два они еще прособираются, а за это время и пан подскарбий подойдет.

— Слава богу! — ответил хорунжий.

— Пошли, братец, еще людей, скажи, чтоб там пошевеливались.

— Будет исполнено.

— А не посылал ли противник на этот берег своих дозоров?

— На этот берег никто не выходил. Они посылали связных в сторону Элка, к своей пехоте.

— Хорошо! — сказал Кмициц.

Он спустился с холма, велел дозору по-прежнему сидеть в камышах, а сам во весь опор поскакал обратно, к своим.

Госевский как раз садился на коня, когда подъехал Бабинич. Молодой рыцарь быстро рассказал, что видел, и описал характер местности; гетман выслушал рапорт с большим удовлетворением и, не мешкая, двинул полки вперед.

На сей раз впереди пошла дружина Бабинича, а за ней литовские хоругви — Войнилловича, лауданская, собственная пана гетмана, три хоругви князя Михала Радзивилла, одна Корсака и другие. Орда осталась в тылу, как просил Гассун-бей, опасавшийся, что его татары не выдержат первого натиска тяжело вооруженной шведской конницы. Впрочем, был у него и другой расчет.

Гассун-бей хотел в то самое время, когда литвины ударят на головные войска противника, захватить со своими татарами обоз, где ждала его богатая добыча. Гетман согласился с этим, рассудив, что ордынцы, пожалуй, и впрямь слишком слабо ударят по регулярной кавалерии, зато в лагерь ворвутся как дикие звери и вызовут там настоящее смятение, тем более что прусские кони не очень-то привычны к ужасному вою татар.

Через два часа, как и предсказывал Кмициц, они оказались у холма, с которого разведка недавно рассматривала вражеский лагерь и который теперь скрывал от врага приближение всего войска. Хорунжий, увидев своих, вихрем подлетел к гетману и доложил, что неприятель, сняв на том берегу часовых, уже выступил, и как раз сейчас из-за валов выходит обоз.

Услышав это, Госевский вынул из седельной сумы булаву и сказал:

— Значит, вернуться они уже не могут, возы загораживают им путь. Во имя отца, и сына, и святого духа! Больше нам прятаться незачем!

Он кивнул бунчужному, а тот высоко поднял бунчук и стал махать им во все стороны. В ответ тотчас закача-

лись все бунчуки, взревели рога и трубы, завизжали татарские дудки, загремели литавры, шесть тысяч сабель сверкнули в воздухе и шесть тысяч глоток крикнули:

— Иисус, Мария!

— Алла-ла-илла!

И полк за полком на рысях понесся из-за холма. Армия Вальдека не ждала гостей так рано, и в рядах ее началось лихорадочное движение. Барабаны гулко забили тревогу; полки стали разворачиваться фронтом к реке.

Уже невооруженным глазом видны были генералы и полковники, метавшиеся от отряда к отряду. Посередине горопливо катили пушки, подтягивая их к реке.

И вот оба войска стоят не более чем в тысяче шагов друг от друга. Их разделяет лишь обширный луг с речкой посередине.

Еще минута — и от прусского берега к полякам протянулась первая полоса белого дыма.

Бой начался.

Сам гетман подскакал к дружине Кмицица.

— Атакуй, пан Бабинич! Атакуй вон ту стену, и да поможет тебе бог!

Он указал булавой на сверкающий латами полк рейтар.

— За мной! — скомандовал пан Анджей.

Пришпорив коня, он с места пустил его вскачь к реке. Едва отойдя на выстрел из лука, кони понеслись во весь опор, положив уши и распластавшись, словно борзые. Всадники, припав к луке, выли и все нахлестывали скакунов, едва касавшихся копытами земли; с разгону влетели они в реку, которая их не остановила, ибо в том месте был широкий и неглубокий песчаный брод. выскочили на другой берег и лавиной понеслись дальше.

Видя это, прусские латники двинулись им навстречу — сперва шагом, потом рысью, но больше хода не ускорили, и лишь когда дружина Кмицица была уже в двадцати шагах, раздалась команда: «Feuer!»¹ — и тысячи вооруженных пистолетами рук были выставлены навстречу атакующим.

Лента дыма взмыла над первой шеренгой, и две лавины всадников с грохотом сошлись. Сила удара была та-

¹ Огонь! (нем.)

кова, что кони встали на дыбы; над всей шеренгой засверкали клинки, словно молния прынула из конца в конец. Даже на другом берегу был слышен зловеющий лязг железа о шлемы и латы. Казалось, это молоты в кузницах бьют по стальным листам.

Линия рейтар мгновенно выгнулась полумесяцем — середина ее отступила под первым натиском, фланги же, по которым удар пришелся слабее, устояли на месте. Но и посередине латники не дали разорвать строй; началась ужасающая сеча. Закованные в броню великаны-рейтары на мощных конях всем своим огромным весом противостояли налетевшему тучей татарскому полчищу, а ордынцы рубили и кололи на всем скаку с той непостижимой быстротой, какая дается лишь врожденной подвижностью и постоянным упражнением. Казалось, это толпа дровосеков наступает на мачтовый лес, слышен был лишь громовой треск, и рейтары, как могучие сосны под ударами топора, один за другим поникали своими сверкающими головами и падали с коней на землю. Сабли Кмицицевых бойцов мелькали у них перед глазами, слепили, свистели около лиц, глаз, рук. Тщетно могучий воин заносит свой тяжелый меч, не успеет он опустить его, как уже чувствует в своем теле пронизывающий холод клинка; меч валится у него из рук, и он, обливаясь кровью, падает ниц на конский загрибок. И как осиный рой кидается на человека, который вздумал натрясти в саду яблок и теперь отчаянно машет руками, пытаясь увернуться, отбиться, а осы облепляют лицо, шею, и каждая вонзает в него свое острое жало, — точно так же воины Кмицица, закаленные в бесчисленных схватках и беспощадные, очертя голову кидались на врага, кололи, рубили, жалили, сеяли вокруг ужас и смерть; они настолько же превосходили своих противников, насколько искусный мастер превосходит какого-нибудь верзилу-мужика, у которого сил хоть отбавляй, зато недостает сноровки.

Трупы рейтар все гуще устилали поле, и посередине, где бился сам Кмициц, строй их так поредел, что вот-вот готов был разорваться. Крики офицеров, сзывающих бойцов к месту, где угрожал прорыв, тонули среди диких воплей и грохота, ряды смыкались недостаточно быстро, а Кмициц все усиливал натиск. Он сам, облаченный в стальную кольчугу, которую получил в дар от Са-

пеги, дрался, как простой солдат, плечом к плечу с молодыми Кемличами и Сорокой. Они, стараясь оберегать жизнь своего господина, раздавали направо и налево страшные удары, а Кмициц на своем саврасом коне кидался в самую гущу боя и, владея всеми тайнами пана Володыёвского, учетверявшими его природную силу, гасил людские жизни, как свечи. То ударит саблей наотмашь, то едва коснется концом острия, то делает клинком легкое, неуловимо быстрое круговое движение — и рейтар летит с коня вниз головой, словно молнией выбитый из седла. Иные отступают перед грозным воином.

Наконец пан Анджей хватил саблей в висок знаменосца, тот только закричал, как петух под ножом, и выпустил из рук знамя; в тот же миг ряды рейтар разорвались посередине, а фланги, сбившись в две беспорядочные кучи, стали поспешно отходить в тыл, к линии основных прусских войск.

Кмициц глянул вперед, на открывшееся перед ним пространство, и вдруг увидел, что на помощь тесным рейтарам во весь опор несется полк красных драгун.

«Не беда! — подумал он, — сейчас Володыёвский перейдет реку и поддержит меня...»

Внезапно земля содрогнулась от оглушительного пушечного залпа; от самых валов и до передовой линии все вражеское войско разом стало палить из мушкетов. Поле битвы заволочлось дымом, и в этом дыму волонтеры и татары Кмицица схватились с драгунами.

А от реки никто не спешил на помощь.

Стало ясно, что неприятель намеренно пропустил дружину Кмицица через брод, чтобы затем обрушить на него орудийный и мушкетный огонь; теперь там не могла проскользнуть ни одна живая душа.

Первыми приблизились к броду бойцы Корсака и тут же в беспорядке вернулись; вторая хоругвь под командой Войнилловича проявила большую выдержку, — это был королевский полк, один из лучших во всей армии, — но и она, дойдя до середины реки, вынуждена была отступить, потеряв два десятка именитых рыцарей и девятью простыми ратников.

Вода в единственном мелком месте, где можно было перейти реку, бурлила и кипела под ударами пуль, как

под проливным дождем. Пушечные ядра перелетали на другой берег, вздымая тучи песка.

Сам пан подскарбий подскакал к броду, поглядел, что творится, и понял, что живым на тот берег не проскочить никому.

Меж тем это могло решить исход сражения. Чело гетмана омрачилось. С минуту он наблюдал в подзорную трубу линию неприятельских войск, затем приказал адъютанту:

— Скачи к Гассун-бею, пусть орда как-нибудь переправится в глубоком месте и нападет на обоз. Что найдут на возах — все их! Пушек там нет, только бы переплыть реку!

Офицер поскакал во весь опор, а гетман подъехал к лауданской хоругви, стоявшей на лугу в ивняке.

Его встретил Володыёвский. Он был мрачен, но молчал, лишь смотрел гетману в глаза да шевелил усами.

— Как ты думаешь, пан Володыёвский,— спросил гетман,— переправятся ли татары?

— Татары-то переправятся, но Кмициц погибнет,— ответил Володыёвский.

— Черт возьми! — воскликнул вдруг гетман. — Будь у этого Кмицица голова на плечах, он не только бы не погиб, а всю битву мог бы выиграть!

Володыёвский ничего не ответил, но про себя подумал:

«Надо было либо ни одного полка не пускать за реку, либо сразу пять...»

Гетман снова направил подзорную трубу за реку, на кипевшую вокруг Кмицица свалку; тут маленький рыцарь, не в силах больше устоять на месте, приблизился к нему и, держа саблю острием вверх, проговорил:

— Ваше превосходительство! Только прикажите, и я еще раз попытаюсь перейти вброд.

— Не смей! — резко ответил гетман.— Довольно того, что те погибнут.

— Уже погибают! — воскликнул Володыёвский.

Действительно, гул битвы стал слышней и возрастал с каждой минутой. Видимо, Кмициц отходил обратно к реке.

— Слава богу! Этого-то я и хотел! — воскликнул вдруг гетман и стрелой помчался к хоругви Войнилловича.

А Кмициц и впрямь отступал. Его люди рубились что было мочи, отражая натиск красных драгун, но силы их иссякали, немели уставшие руки, они падали один за другим, и только надежда на помощь, которая вот-вот должна была подоспеть из-за реки, еще поддерживала в них бодрость.

Между тем прошло уже полчаса, а желанного возгласа «бей!» все не было слышно; зато на подмогу красным драгунам подскочил полк тяжело вооруженной конницы Богуслава.

«Смерть идет!» — подумал Кмициц, увидев, что они заходят с фланга.

Но он был из тех бойцов, которые до последней минуты уверены, что не только сами останутся в живых, но и победят. Долгий опыт солдата, привыкшего к риску, научил его мгновенно оценивать обстановку; быстрее вечерней зарницы сверкнула в его мозгу мысль:

«Должно быть, нашим не перейти через брод, ну так я сам подведу неприятеля к ним!»

И, видя, что полк Богуслава уже в ста шагах от него и готов на всем скаку разметать его татар в клочья, пан Анджей поднес к губам дудку и свистнул так пронзительно, что драгунские кони в передних рядах со страху присели на зады.

Тотчас раздался ответный свист татарских старшин, и, подобно смерчу, взнесенному порывом ветра, весь чамбул поворотил коней и ударился в бегство.

Недобитые рейтары, красные драгуны и полк Богуслава пустились за ними вскачь.

Загремели возгласы офицеров: «Вперед!» и «Gott mit uns!»¹ Зрелище было несравненное. По обширному лугу, напрямик к осыпаемому пулями броду беспорядочной гурьбой улепетывал отряд Кмицица и несся так, словно у коней выросли крылья. Татары почти слились с лошадьми, припали к их шеям, спрятались в гривах, и если б не тучи стрел, летевших в преследователей, могло бы показаться, что кони скачут без седоков; за ними с топотом, грохотом и воплями неслись великаны-рейтары, сверкая поднятыми мечами.

Брод был все ближе; еще сотня шагов, еще... но, видно, татарские кони бежали уже из последних сил, расстояние между ними и рейтарами быстро сокращалось.

¹ С нами бог! (нем.)

Вот уже передовые рейтары достигают мечами отстающих татар. Брод совсем рядом. Кажется, еще несколько скачков — и кони очутятся в воде.

И тут произошло нечто удивительное.

Как только татары доскакали до брода, с флангов вновь раздался пронзительный свист дудок, и весь чамбул, вместо того чтобы ринуться в воду и искать спасения на другом берегу, разделился надвое, и две его половины, словно две молнии, понеслись вниз и вверх по течению реки.

А тяжелые рейтарские полки, которые мчались за чамбулом по пятам, со всего разгона врезались в реку, и лишь в воде всадники стали сдерживать разгоряченных коней.

Артиллерия, осыпавшая брод градом железа, сразу прекратила огонь, чтобы не бить по своим.

Этой-то минуты и ждал, как избавления, гетман Готсевский.

Едва рейтарские кони коснулись копытами воды, навстречу им ураганом понеслась грозная королевская хоругвь Войнилловича, за ней лауданская, за ней хоругвь Корсака, за ними две гетманские, да еще полк волонтеров и латники князя кравчего Михала Радзивилла.

Воздух огласился страшным воплем: «Бей, коли!» — и не успели пруссаки осадить коней и прикрыться мечами, конница Войнилловича разметала их, как буря сухие листья, смяла красных драгун, сшиблась с конным полком Богуслава, прорвалась сквозь него и поскакала вперед, к основным силам прусской армии.

Река мгновенно окрасилась кровью, вновь заговорили пушки, но поздно — восемь хоругвей литовской конницы уже мчались с громом и ревом по лугу, и вся битва перенеслась на ту сторону реки.

Сам гетман летел перед одной из своих хоругвей, лицо его сияло от счастья, глаза горели, — выведя свою конницу за реку, он уже не сомневался в победе.

Литовское войско, рубя и коля напропалую, гнало перед собой остатки драгун и рейтар, устилало свой путь трупами врагов, чьи тяжеловесные кони двигались слишком медленно да вдобавок мешали убегающим как следует целиться в преследователей.

Чтобы сдержать натиск, Вальдек, Богуслав Радзивилл и Израель бросили вперед всю свою кавалерию,

а сами тем временем с величайшей поспешностью готовили пехоту. Полк за полком выбегал из лагеря и строился на лугу. Копейщики втыкали в землю свои тяжелые копья, которые образовали наклоненный в сторону неприятеля частокол.

В ту же сторону направили дула своих мушкетов мушкетники, стоявшие во втором ряду. Между квадратами пехоты торопливо расставляли пушки. И Богуслав, и Вальдек, и Израель прекрасно понимали, что их конница не сумеет долго сдерживать польскую, и все надежды возлагали на пушки и пехоту. Меж тем конные полки уже сошлись вплотную. И произошло то, чего опасались прусские военачальники.

Натиск литовских хоругвей был настолько силен, что прусская кавалерия не смогла задержать их ни на мгновение, первая же гусарская хоругвь врезалась в нее клином и шла, не опуская пик, сквозь гущу людей и коней, как идет сквозь волны корабль, подгоняемый мощным ветром. Все ближе, ближе к пехоте польские знамена, и вот уже из гущи пруссаков вынырнули головы гусарских коней.

— Смирно! — гаркнули пехотные офицеры.

Прусские пехотинцы крепче уперлись ногами в землю и судорожно сжали в руках копья. И сердца у всех отчаянно забились — страшная польская конница была уже вся на виду и неслась прямо на них.

— Огонь! — вновь раздалась команда.

Во второй и третьей шеренге квадрата грянули мушкеты. Шеренги утонули в дыму. Еще мгновение... Все ближе, ближе конский топот... Сейчас налетят! И вот над первой шеренгой взметнулись тысячи конских копыт; в дыму мелькают раздутые ноздри, горящие глаза; с треском валяются копья; страшный вопль потрясает воздух; поляки орут: «Бей!», а немцы: «Gott, erbarme Dich meiner!»¹

Полк смят, опрокинут, однако заговорили пушки, расставленные между квадратами. Уже и другие хоругви близко; сейчас они одна за другой налетят на лес выставленных копий, да не каждой, быть может, удастся сломить его, ибо ни одна из них не обладает такой сокрушительной силой, как хоругвь Войнилловича. Теперь уже

¹ Боже, смилуйся надо мной! (нем.)

крик стоит надо всем полем битвы. Ничего не видно. Но вот от тесной толпы сражающихся отбегают кучки желтых пехотинцев,— видно, разбит еще один полк.

Их догоняют конники в сером, рубят и топчут копытами, восклицая:

— Лауда! Лауда!

Это Володыёвский приканчивает второй квадрат.

Однако другие еще держатся; победа еще может склониться на сторону пруссаков. Тем более что в лагере у них — а лагерью как будто ничто не угрожает — стоят два свежих полка шведской кавалерии, которые можно в любую минуту бросить в бой.

Правда, Вальдек уже совсем потерял голову, а Израель ушел в бой вместе с кавалерией, но Богуслав начеку, он всем распоряжается, один командует всем боем и, видя растущую опасность, посылает Беса за запасными полками.

Пан Бес пришпоривает коня, а через полчаса возвращается без шапки и перепуганный до смерти.

— В лагере орда! — отчаянно кричит он, подскакав к Богуславу.

И тотчас с правого фланга доносится нечеловеческий вой, нарастая с каждой минутой.

Внезапно из-за валов показываются толпы шведских конников, скачущих в страшном беспорядке; за ними сломя голову, без шапок и без оружия, бегут пехотинцы, а следом обезумевшие от страха кони волокут повозки. И все это, не разбирая дороги, мчится с тыла на собственную пехоту. Вот-вот налетят, сомнут ее, затопчут — а меж тем с фронта на нее насаждает литовская кавалерия.

— Гассун-бей в лагере! — восторженно кричит Госевский и бросает в бой последние свои две хоругви, словно двух соколов спускает с жезла.

В ту же самую минуту, когда эти хоругви ударили на пехоту спереди, собственный шведский обоз навалился на нее сбоку. Последние квадраты строя ломаются, как под ударами молота. Вся великолепная шведско-прусская армия превратилась в одну огромную кучу, конница смешалась с пехотой. Люди топчут друг друга, валят с ног, душат, срывают с себя одежду, бросают оружие. А литвины теснят их, рубят, давят, крушат. Это уже не просто

поражение, это побоище, одно из самых ужасных за всю войну.

Видя, что все погибло, князь Богуслав решает спасти собственную шкуру и увести от разгрома хоть какую-то часть своей конницы.

С невероятным трудом собрал он сотни три всадников и пытается ускользнуть вдоль левого фланга вниз по течению реки.

Он уже было выбрался из самой гущи боя, но тут сбоку на него налетает другой Радзивилл, князь Михал Казимеж со своими гусарами, и одним махом рассеивает весь отряд.

Теперь всадники улепетывают врассыпную, по одному, по двое, по трое. Вся их надежда на резвых коней.

Но гусары не преследуют беглецов, им важнее рубить пехоту, которую громят остальные хоругви,— и беглецы скачут по полю, словно стадо вспугнутых серн.

Богуслав несется вихрем на вороном скакуне Кмицица. Тщетно кричит он, пытаясь собрать вокруг себя хоть горстку людей,— никто его не слушает. Каждый заботится лишь о собственном спасении, радуясь, что ушел из сечи и что неприятель остался позади.

Но рано они обрадовались. Едва проскакали они тысячу шагов, как впереди раздался вой, и от реки двинулась на них темная туча татар, таившихся до сих пор в камышах.

Это был Кмициц со своей дружиной. Заманив в начале боя противника к броду, он вышел на время из сражения, а теперь вернулся, чтобы отрезать беглецам путь к отступлению.

Видя скачущих врассыпную всадников, татары мгновенно и сами рассыпались, чтобы удобнее было их ловить; началась кровавая погоня. По двое, по трое бросались они на одного рейтара, а тот редко оборонялся, чаще поворачивал меч рукояткой вперед и протягивал его преследователям, моля о пощаде. Но ордынцы, зная, что с собой они этих пленных не уведут, брали живьем только офицеров, за которых можно было потребовать выкуп; простым солдатам перерезали глотку, и они умирали, не успев воскликнуть: «Gott!» Тому, кто бежал, не оглядываясь, всаживали нож в спину или в затылок, под кем не падал конь — ловили арканами.

Кмициц метался по полю, опрокидывая всадников на-земь, и искал глазами Богуслава; наконец он его увидел, узнав по коню, по голубой княжеской перевязи и шляпе с черными страусовыми перьями.

Облачко белого дыма окружало князя; отбиваясь от двух ногайцев, он только что одного свалил выстрелом из пистолета, другого проткнул рапирой и теперь, видя, что справа на него гурьбой несутся татары, а слева — Кмициц, пришпорил коня и помчался прочь, словно олень, преследуемый сворой гончих.

За ним ринулось не меньше полусотни всадников, а поскольку не все кони скакали одинаково быстро, погоня вскоре растянулась длинной змеей, голову которой представлял собой Богуслав, а шею — Кмициц.

Князь припал к седлу; вороной его конь, едва касаясь копытами земли, мелькал среди травы, как ласточка, реющая над самой землей; саврасый по-журавлиному вытянул шею, прижал уши и, казалось, готов был выско-чить из собственной шкуры. Мимо проносились одино-кие вербы, кусты, ольховые перелески; татары отставали все больше, больше, а они все мчались и мчались. Кмициц выкинул из седельных сумок пистолеты, чтоб легче было коню, и, вперив взгляд в Богуслава, стиснув зубы и почти лежа на шее скакуна, вонзал шпоры во взмылен-ные конские бока, пока не порозовела пена, клочьями па-давшая на землю.

Однако расстояние между ним и князем не только ни-чуть не сокращалось, но стало расти. «Беда! — подумал пан Анджей.— Моего вороного ни один бахмат не дого-нит!»

А когда он увидел, что разрыв между ними стал еще больше, он выпрямился в седле, пустил саблю на темляк и, приставив ко рту руки, закричал громовым голосом:

— Удирай, удирай от Кмицица, предатель! Не сегодня, так завтра, но я до тебя доберусь!

Еще не отзвучало эхо его слов, как князь, который их услышал, быстро оглянулся и, увидев, что за ним го-нится один лишь Кмициц, круто завернул назад; с рапи-рой в руке он бросился врагу навстречу.

Пан Анджей испустил дикий торжествующий вопль и на всем скаку высоко занес над головой саблю.

— Сгинь! Сгинь! — крикнул князь.

И, чтоб верней ударить, стал сдерживать коня.

Подскакав, Кмициц тоже осадил своего, так что тот зарылся копытами в землю, и его сабля скрестилась с рапирой князя.

Их кони сплелись в один клубок. Раздался страшный грохот ударов, быстрых, как мысль; ни один глаз не мог бы уловить молниеносных взмахов сабли и рапиры, различить, где Кмициц, где князь. Только мелькнет порой черная шляпа Богуслава или блеснет мисюрка Кмицица. Кони колесом крутились друг около друга. Все страшнее гремели мечи.

Богуслав скоро почувствовал силу соперника. Тот легко отражал все смертоносные выпады, которым выучился князь у французских фехтовальщиков. Уже пот струился по его лицу, смешиваясь с белилами и румянами, уже немела правая рука... Изумление, которое сначала охватило князя, сменилось нетерпением, потом злобой, и тут, решив, что пора кончать, он с такой яростью послал свою рапиру вперед, что шляпа слетела у него с головы.

Но Кмициц отбил и этот удар, да так, что рапира князя отлетела назад, стукнув коня по боку, и, прежде чем Богуслав успел вновь заслониться ею, конец Кмицицевой сабли рассек ему лоб.

— Christ! — крикнул князь по-немецки.

И свалился в траву. Упал навзничь

С минуту пан Анджей был в каком-то ошолоблении. Но это быстро прошло; он опустил саблю, перекрестился, затем соскочил с коня и, снова схватившись за рукоять, приблизился к князю.

Рыцарь был страшен: лицо от изнеможения бело, как платок, губы сжаты, а в глазах — неумолимая ненависть.

Заключенный враг его, могучий Радзивилл, весь в крови лежал у его ног, еще живой, еще в памяти, но поверженный, и не чужой рукой, не с чужой помощью, а им самим — Кмицицем.

Богуслав смотрел на своего победителя широко открытыми глазами, зорко следя за каждым его движением; когда Кмициц подошел к нему вплотную, он поспешно крикнул:

— Не убивай меня! Выкуплюсь!

Вместо ответа Кмициц наступил ему ногой на грудь и придавил к земле, затем приставил конец сабли к его

горлу так, что чуть не рассек кожу; теперь достаточно было лишь шевельнуть рукой или чуть сильнее надавить — но Кмициц медлил. Ему хотелось вдоволь насладиться этим зрелищем и продлить предсмертные муки врага. Он глядел прямо в глаза Богуславу и стоял над ним, как лев над поверженным буйволом.

Вдруг князь — по лбу его струилась кровь, и голова уже лежала в кровавой луже — снова заговорил, чуть слышно, так как нога пана Анджея по-прежнему давила ему на грудь:

— Слушай... та девушка...

Едва Кмициц услышал эти слова, он снял ногу с княжеской груди и поднял саблю.

— Говори! — сказал он.

Некоторое время Богуслав старался вздохнуть поглубже, наконец он произнес уже более внятным голосом:

— Убьешь меня — девка погибнет... Я оставил приказ!

— Что ты с ней сделал? — спросил Кмициц.

— Оставишь меня в живых — отдам ее тебе... клянусь Евангелием...

Пан Анджей ударил себя кулаком по лбу, видно было, что он борется с собой и своими мыслями. Потом он сказал:

— Слушай, предатель! За единый ее волосок я отдал бы сто таких выродков, как ты... Но я тебе не верю, клятв-вопреступник!

— Клянусь Евангелием! — повторил князь. — Я дам тебе охранную грамоту и письменный приказ.

— Быть по сему, дарю тебе жизнь, но из рук тебя не выпущу. Напишешь приказ своей рукой... А пока отдам тебя татарам, будешь их пленником.

— Согласен, — ответил князь.

— Но помни! — воскликнул пан Анджей. — Не спасли тебя от моего клинка ни твой титул княжеский, ни твои войска, ни твоя рапира... И знай, если ты опять станешь на моем пути либо слова своего не сдержишь, ничто тебя не спасет, будь ты хоть цесарем немецким... Можешь мне поверить! Один раз ты уже побывал в моих руках, а теперь вон в ногах у меня валяешься!

— В глазах темнеет... — сказал князь. — Пан Кмициц, тут вода где-то неподалеку... Дай испить и рану обмой.

— Подыхай, отщепенец! — ответил Кмициц.

Но к князю, не опасавшемуся более за свою жизнь, вернулась, несмотря на раны, обычная самоуверенность, и он проговорил:

— И глуп же ты, пан Кмициц! Умру — так и она...

Тут губы его побелели.

Кмициц бросился искать какой-нибудь ров или лужу.

Князь потерял сознание, но скоро очнулся, на свое счастье, ибо как раз в это время подскакал к нему первый татарин, Селим, сын Газы-аги, хорунжий чамбула Кмицица. Увидев истекающего кровью врага, он хотел было пригвоздить его к земле заостренным концом своей хоругви. Но князь в эту страшную минуту нашел в себе еще достаточно сил, чтобы схватиться за древко, и непрочно державшийся наконечник отломился.

Отзвуки этой краткой борьбы заставили пана Анджея вернуться.

— Стой, собачий сын! — крикнул он на бегу.

Татарин, услышав знакомый голос, от страха припал к коню. Кмициц послал его за водой, а сам остался караулить князя. Вдали уже скакали Кемличи, Сорока и весь чамбул; они успели переловить беглецов и теперь искали своего вождя.

Завидев пана Анджея, верные ногойцы с громким воплем подкинули в воздух шапки.

Акба-Улан спрыгнул с коня и, прикладывая руку ко лбу, губам и груди, несколько раз низко поклонился Кмицицу. Остальные, цокая по-татарски языками, свирепо смотрели на поверженного рыцаря и восхищенно — на его победителя. Некоторые кинулись ловить коней, саврасого и вороного, которые бегали поодаль с развевающимися гривами.

— Акба-Улан, — сказал Кмициц, — вот перед вами вождь того войска, которое мы разбили нынче утром, — князь Богуслав Радзивилл. Отдаю его вам, а вы держите его крепко, за живого ли, за мертвого ли, вам за него щедро заплатят. А теперь перевяжите ему рану, берите на аркан и ведите в обоз!

— Алла! Алла! Благодарствуем, вождь! Благодарствуем, победитель! — хором откликнулись ордынцы.

И снова раздалось одобрительное цоканье.

Кмициц велел подать себе коня, вскочил в седло и с частью татар отправился к полю битвы.

Уже издали он увидел знаменосцев, стоявших при своих знаменах, но ратников вокруг них было немного, большинство ускакало вдогонку бежавшему неприятелю. По полю толпами бродили челядинцы и обирали трупы, то и дело вступая в перепалку из-за добычи с татарами. Выглядели они ужасно, особенно татары с ножами в руках, по локти измазанные кровью; казалось, это стая стервятников слетелась на пир. Их дикие вопли и смех разносились по всему полю.

Некоторые, с еще дымящимися ножами в зубах, тащили трупы за ноги, другие, забавы ради, перекидывались отрезанными головами, третьи запихивали добычу в переметные сумы, а иные, развернув, как на базаре, одежды врагов, расхваливали их добротность или осматривали добытое оружие.

Кмициц проехал сперва то поле, где утром первый схватился с рейтарами. Изрубленные мечами трупы людей и лошадей лежали здесь вразброс, но там, где литовские хоругви громили пехоту, тела громоздились целыми кучами, а лужи крови, успевшей уже загустеть, чавкали под конскими копытами, как болотная грязь.

Проехать тут было трудно,— путь преграждали обломки пик и мушкетов, трупы, опрокинутые обозные фуры и полчища юрких татар.

Еще дальше, на одном из редутов вражеского лагеря, стоял Госевский, а с ним князь кравчий Радзивилл, Войниллович, Володыёвский, Корсак и несколько десятков подчиненных офицеров. С возвышения взгляд их охватывал все поле битвы из конца в конец, и они могли вполне оценить размеры своей победы и поражения, которое потерпел противник.

Заметив их, Кмициц прибавил шагу, а пан Госевский, будучи не только удачливым воином, но и благородным, чуждым всяческой зависти человеком, при виде его воскликнул:

— Вот он, подлинный victor! Это ему мы обязаны счастливым исходом битвы, я первый заявляю это перед лицом всего рыцарства. Благодарите пана Бабинича! Если б не он, не перейти бы нам реку!

— Vivat Бабинич! — крикнули десятки голосов.— Vivat! Vivat!

— Где же ты, дружище, воинскому делу учился? —

спросил востороженно гетман.— Как это ты сразу сообразил, что надо делать?

Кмициц был так утомлен, что не мог отвечать, только кланялся на все стороны да утирал рукой покрытое потом и пороховой гарью лицо. Глаза его сияли необычайным огнем. А кругом все гремели приветственные клики. Сдин за другим возвращались с поля отряды кавалеристов на взмыленных конях, и каждый, подходя, от всей души присоединялся к хору, восхваляющему пана Бабиница. Шапки взлетали над головами, у кого были заряжены мушкеты — те палили в воздух.

Внезапно пан Анджей привстал в стременах и, воздев к небу руки, воскликнул громовым голосом:

— *Vivat Ян Казимир! Vivat наш король и отец!*

В ответ ему войско разразилось такими криками, словно битва началась сначала. Всех охватил неописуемый восторг.

Князь Михал отстегнул от пояса саблю в усаженных алмазами ножнах и поднес ее Кмицицу, гетман накинул ему на плечи свой великолепный плащ. Тут Кмициц снова поднял руки кверху:

— *Vivat наш гетман, наш непобедимый вождь!*

— *Crescat! Floreat!*¹ — ответил хор.

Вслед за тем ратники стали сносить захваченные вражеские хоругви и втыкать их в землю у ног командиров. Ни одного не уберег противник, были тут прусские знамена регулярной армии, ополоченские и дворянские, были шведские, были полков Богуслава — все цвета радуги переливались у подножья вала.

— Мы одержали одну из величайших побед в этой войне! — воскликнул гетман.— Израель и Вальдек в плену, полковники, кто не погиб, тоже в плену, армия истреблена без остатка...

Тут он обратился к Кмицицу:

— Пан Бабиниц, а не повстречался ли тебе Богуслав по дороге? Не знаешь ли, что с ним?

Володыёвский тоже устремил на Кмицица нетерпеливый взгляд, и тот поспешно ответил:

— Князя Богуслава покарал господь вот этой рукой!

И Кмициц вытянул вперед правую руку. В тот же миг маленький рыцарь бросился ему на шею.

¹ Да здравствует и процветает! (лат.).

— Ендрек! — крикнул он. — Слов нет! Благослови тебя господь!

— Я твой ученик! — с признательностью ответил пан Анджей.

Но дальнейшие излияния дружеских чувств были прерваны князем кравчим.

— Мой брат убит? — порывисто спросил он.

— Не убит, — ответил Кмициц, — ибо я даровал ему жизнь, но ранен и взят мною в плен. Да вон он, вон его ведут мои ногайцы!

При этих словах на лице Володыёвского отразилось недоумение, а взгляды рыцарей обратились к полю, по которому медленно двигался небольшой отряд татар; наконец, миновав опрокинутые и переломанные телеги, отряд приблизился к валу на расстояние полусотни шагов.

Тогда все увидели, что едущий впереди татарин тащит за собой пленного, и узнали в нем Богуслава. Как ужасно обернулась против него судьба!

Он, один из могущественнейших владык Речи Посполитой, он, еще вчера мечтавший об удельном княжестве, он, князь Римской империи, шел теперь за татарским коном с арканом на шее, пешком, без шляпы, с окровавленной головой, обмотанной грязными тряпками. Но так велика была всеобщая ненависть к гнусному отступнику, что вид его унижения ни в ком не вызвал сочувствия; напротив, в тот же миг все закричали:

— Смерть предателю! Зарубить его! Смерть! Смерть!

Один князь Михал закрыл глаза рукой, не мог смотреть на унижение Радзивилла. Внезапно он побагровел и воскликнул:

— Ваши милости! Это мой брат, моя кровь! Не жалел я для отчизны ни жизни своей, ни имущества! Но кто подымет руку на этого несчастного, тот мне враг!

Рыцари тотчас умолкли.

Все любили князя Михала за отвагу, за щедрость и искреннюю преданность родине. Когда вся Литва подпала под власть гиперборейцев, он один отбивался от врагов в Несвиже; когда началась война со шведами, он не последовал наущениям князя Януша и один из первых примкнул к Тышовецкой конфедерации. Поэтому и теперь все прислушались к его словам. Возможно также, что никому не хотелось навлечь на себя гнев столь могу-

щественного вельможи. Так или иначе, сабли немедленно вернулись в ножны, а кое-кто из офицеров, радзивилловские вассалы, крикнул даже:

— Отнять князя Богуслава у татар! Пусть его Речь Посполитая судит, не отдадим благородную кровь язычникам на поругание!

— Отнять его у татар! — подхватил князь Михал. — Найдем вместо него заложника, а выкуп он сам заплатит! Пан Войниллович, веди своих людей, берите его силой, коли добром не отдадут!

— Я готов идти в заложники! — воскликнул пан Гноинский.

Володыёвский придвинулся к Кмицицу и сказал:

— Ендрек! Что же ты натворил? Да ведь так он спасет свою шкуру!

Кмициц рванулся, как раненый барс.

— Постой, князь! — крикнул он. — Это мой пленник! Я даровал ему жизнь, но с уговором, — он мне своим еретическим Евангелием поклялся его соблюсти, и я умру, а не позволю отнять его у татар, прежде чем он не исполнит клятву!

С этими словами Кмициц вскинул коня на дыбы и загородил дорогу. Лицо его исказилось, ноздри раздулись, глаза метали молнии — в нем уже заговорила его горячая кровь.

Тут Войниллович стал теснить его конем.

— С дороги, пан Бабинич! — крикнул он.

— С дороги, пан Войниллович! — рывкнул пан Анджей и с такой силой ударил рукоятью сабли Войнилловичева жеребца, что тот зашатался, как подстреленный, и ткнулся мордой в землю.

Среди рыцарей поднялся громкий ропот, но тут выступил вперед Госевский.

— Тише, ваши милости, — сказал он. — Князь! Объявляю своей гетманской властью, что пан Бабинич имеет все права на пленника, и тот, кто хочет отнять Богуслава у татар, должен поручиться за него победителю.

Князь Михал подавил гнев, овладел собой и обратился к пану Анджею:

— Говори, рыцарь, чего ты хочешь?

— Чтоб он исполнил уговор, прежде чем получит свободу.

— Он его, и получив свободу, исполнит.

— Нет! Не верю!

— Тогда я клянусь тебе пресвятой девой, которую почитаю, и своим рыцарским словом, что он исполнит обещанное. А нет — взыскивай с меня, готов ответить честью и имуществом.

— На это я согласен! — ответил Кмициц. — Пусть Гноинский идет заложником, иначе татары не отдадут. А я довольствуюсь твоим словом.

— Спасибо тебе, рыцарь! — сказал князь кравчий. — И не бойся, Богуслав так просто свободы не получит, я, как и надлежит, передам его пану гетману, и он останется пленником до тех пор, пока король не вынесет ему приговора.

— Быть по сему! — заключил гетман.

И, велев Войнилловичу сесть на свежего коня, так как прежний еле дышал, гетман отправил его вместе с паном Гноинским за князем.

Однако это был еще не конец делу. Пришлось брать пленника силой, сам Гассун-бей жестоко сопротивлялся и успокоился лишь тогда, когда к нему подвели Гноинского и посулили сто тысяч талеров выкупа.

Вечером князь Богуслав уже лежал в одном из гетманских шатров. Раненого тщательно перевязали, два медика не отходили от него ни на минуту, и оба ручались за его жизнь, поскольку рана, нанесенная самым концом сабли, была не так уж опасна.

Володыёвский не мог простить Кмицицу, что тот оставил князя в живых, и с досады целый день избегал его. Вечером пан Анджей сам пришел к нему в палатку.

— Бога ты не боишься! — вскричал, увидев его, маленький рыцарь. — От кого другого, но от тебя я этого не ожидал. Отпустить предателя живьем!..

— Выслушай меня, Михал, а после суди, — мрачно ответил Кмициц. — Ведь я уже на грудь ему наступил и саблю к глотке приставил — и знаешь, что тогда сказал мне этот мерзавец? Сказал, что если он погибнет, то по его приказу казнят в Таурогах Оленьку... Что мне было делать, несчастному? За его жизнь я купил ее жизнь... О господи, ну что я мог сделать? Сам скажи, что?

Тут пан Анджей принялся рвать на себе волосы и топтать в неистовстве ногами, а Володыёвский задумался.

— Я понимаю твое отчаяние,— сказал он наконец,— и все же... Ведь ты отпустил предателя, который в будущем может навлечь на нашу отчизну страшные беды. Что и говорить, Ендрек, славно ты нынче послужил Речи Посполитой, а все же под конец забыл о ее благе ради своего собственного.

— А ты, ты сам, что бы ты сделал, если б услышал, что к горлу Ануси Борзобогатой приставлен нож?

Володыёвский яростно зашевелил усами.

— Я себя в пример не ставлю. Гм! Что бы я сделал?.. Но вот Скшетуский — у него душа римлянина, он бы его не помиловал, а все же, я уверен, господь не дал бы из-за этого погибнуть невинной душе.

— За вину мою отвечу перед богом... Покарай меня, господи, не по грехам моим, но по милосердию твоему... не мог я подписать смертный приговор моей голубке...— Кмициц закрыл глаза руками.— Силы небесные, сми-луйтесь! Никогда! Никогда!

— Что сделано, то сделано! — сказал Володыёвский.

В ответ пан Анджей вытащил из-за пазухи бумаги.

— Смотри, Михал! Вот что я получил. Это приказ Саковичу, это — всем офицерам Радзивилла и всем шведским комендантам... Заставили его подписать, хоть он еле рукой шевелил. Князь кравчий сам настоял... Здесь ее свобода, ее безопасность! Господи, да я год буду каждый день перед распятием лежать, плетью себя хлестать ве-лю, новый костел выстрою, а не пожертвую Оленькиной жизнью! Не римлянин я душою... что ж! Не Катон я, не пан Скшетуский... что ж! А жизнью ее не пожертвую, нст, убей меня гром! И пусть меня хоть в пекле на вертел...

Володыёвский не дал Кмицицу кончить, подскочил и зажал ему рот рукой, вскричав страшным голосом:

— Не кощунствуй! Не то навлечешь на нее гнев господень! Бей себя в грудь! Бей скорей!

И Кмициц принялся колотить себя в грудь: «Mea culpa! Mea maxima culpa!» А под конец разрыдался, бедняга, как малое дитя, потому что и сам уже не знал, что делать.

Володыёвский дал Кмицицу выплакаться, а когда тот успокоился, спросил:

— Что ты думаешь теперь предпринять?

— Пойду с дружиной, куда посылают. Далеко, к самым Биржам! Вот только люди и кони отдохнут. А по дороге буду бить еретиков; сколько смогу пролить вражьей крови, столько и пролью во славу божию.

— И тебе это зачтется. Не падай духом, Эндрек. Бог милостив.

— Пойду кратчайшей дорогой, напролом. Вся Пруссия сейчас обезлюдела, разве на какой-нибудь гарнизо-нишко наскочу.

Пан Михал вздохнул.

— Эх, пошел бы и я туда же с радостью, как в рай идут! Да служба не пускает. Счастливый ты, у тебя волонтеры... Эндрек! Слушай, брат... А если ты найдешь их обеих.. ты уж и за той присмотри, чтоб с ней чего не случилось... Как знать, может, она суждена мне богом...

Тут маленький рыцарь и Кмициц крепко обнялись.

ГЛАВА XXVI

Оленька и Ануся, убежав с помощью Брауна из Тауругов, благополучно добрались до Ольши, где стоял в то время мечник со своим отрядом; от Тауругов это было сравнительно недалеко.

Увидев их обеих целыми и невредимыми, старый шляхтич сперва не поверил глазам, потом заплакал от радости, а под конец пришел в необычайно воинственное настроение,— теперь его ничто не страшило! Не то что Богуслав, сам король шведский со всей своей армией пусть попробует на них напасть — пан мечник готов был защищать своих девушек от любого врага.

— Костью лягу,— говорил он,— а у вас волосы с головы упасть не дам. Я уже не тот, каким вы меня знали в Тауругах. Долго будут помнить шведы, как я задал им жару в Гирляколях, в Ясвойне и у себя под Россиенами! Правда, Сакович-предатель напал на нас внезапно и разогнал, но теперь у меня снова полтыщи с лишним сабель под рукой.

Мечник не слишком преувеличивал, в нем действительно трудно было узнать павшего духом таурожского пленника. Он словно живой водой умылся, в нем проснулась вся его энергия; в поле, на коне, он вновь почувствовал себя в своей стихии и, будучи опытным солдатом,

и впрямь не раз уже крепко потрепал шведов. Во всей округе он пользовался большим уважением, и под его начало охотно собирались и шляхта, и простой народ, даже из дальних поветов то и дело приводили к нему Биллеви-чи десяток-другой всадников.

Дружина мечника насчитывала триста крестьян-пехотинцев и около пяти сотен кавалерии. Мало кто из пехотинцев имел огнестрельное оружие, большинство вооружено было вилами да косами; в коннице перемешалась шляхта разных состояний — от зажиточных землевладельцев, пришедших в лес с собственной челядью, до самых захудалых. Вооружение у них было получше, чем у пехоты, но на редкость пестрое. Многим вместо копий служили шесты для подвязывания хмеля; другие носили богатое, но устарелое фамильное оружие; кони всяких мастей и статей нелепо выглядели в одном строю.

С таким войском мечник мог нападать на шведские разъезды и даже на довольно крупные отряды кавалерии, мог очищать леса и села от многочисленных разбойничьих шаек, состоявших из шведских и прусских дезертиров и местного сброда, но напасть на какой-нибудь город было ему не под силу.

Швед стал теперь ученый. Как только вспыхнуло восстание, по всей Жмуди и Литве народ перебил вражеских солдат, стоявших в селах, поэтому те, что уцелели, укрылись в наскоро укрепленных городах и старались далеко от них не отходить. Таким образом, теперь все поля, леса, деревни и маленькие городки были в руках поляков, но зато во всех больших городах засели шведы, и выкурить их оттуда не было никакой возможности.

Отряд мечника был один из самых сильных; другие, послабее, могли сделать еще меньше. Правда, на границе с Лифляндией повстанцы до того осмелели, что дважды осаждали Биржи и во второй раз захватили их, однако этот временный успех объяснялся просто: де ла Гарди вывел из пограничных поветов все войска и бросил их на защиту Риги от царской армии.

Зная о его блестящих и редких в истории войн победах, можно было ожидать, что бои под Ригой вскоре закончатся, и на Жмудь снова нагрянут упоенные победами шведские войска. Но пока многочисленные повстанческие отряды чувствовали себя в относительной без-

опасности и, хотя на особые победы рассчитывать не приходилось, можно было, по крайней мере, не опасаться, что противник станет искать их по лесам и борам.

Поэтому мечник раздумал идти в Беловежскую пушу — и далеко, да и больших городов со шведскими гарнизонами много по дороге.

— Господь послал сухую осень,— говорил он девушкам,— вот и полегче нам будет жить *sub Jove*¹. Велю шатерчик вам хорошенький разбить, дам бабу в услуженье, и живите себе в лагере. Нынче в лесу самое безопасное место. Биллевици мои сожжены дотла, по усадьбам везде разбойники рыщут, да и шведские разъезды. Где вам будет спокойнее, чем при мне и моем отряде, под защитой моих сабель? А позже, когда настанет ненастье, я вам хатенку найду где-нибудь в глухомани.

Это предложение очень понравилось панне Борзобогатой, так как в отряде было несколько молодых Биллевичей, весьма любезных кавалеров. Кроме того, все без усталости твердили, что в эти края идет Бабинич.

И Ануся надеялась, что Бабинич, как только явится, вмиг выгонит шведов, а потом... потом что бог даст. Оленька тоже считала, что им лучше всего остаться при отряде, она лишь хотела отойти подальше от Таурогов, опасаясь, что Сакович бросится в погоню.

— Пойдемте к Водоктам,— предложила она,— там все свои. Даже если Водокты сгорели, остались Митрупы и другие окрестные деревни. Я не думаю, чтобы вся тамошняя округа обезлюдела. В случае опасности Лауда нас защитит.

— Э, все лауданцы ушли с Володыёвским,— возразил молодой Юр Биллевиц.

— Старики и подростки остались, да там и женщины, когда надо, умеют биться. Там и леса обширнее, чем здесь; Домашевичи Охотники либо Гостевичи Дымные проводят нас в Роговскую пушу, а туда уж никакому врагу не добратся.

— А я стану лагерем в укромном местечке, так, чтоб было спокойно и мне и вам, и буду выходить на край леса да подкарауливать неосторожных шведов,— подхватил мечник.— Отличная мысль! Нечего нам тут делать, там для нас получше занятие найдется.

¹ Под открытым небом (лат.).

Кто знает, не оттого ли мечник охотно принял совет панны Александры, что и сам в глубине души побаивался страшного Саковича; доведенный до отчаяния, этот человек был вдвойне опасен.

Впрочем, совет был разумен во всех отношениях, поэтому он сразу пришелся всем по душе; в тот же день мечник выслал Юра Биллевица с пехотой глухими лесными тропами в сторону Кракинова, а сам с конницей тронулся двумя днями позже, предварительно убедившись, что ни около Кейдан, ни около Россиен, между которыми им предстояло пробираться, нет крупных шведских отрядов.

Шли не торопясь, осторожно. Девушки ехали в крестьянских возках, а порой и верхом на смирных меринах, которых раздобыл для них мечник.

Ануся, подвесив на шелковой портупее легкую сабельку, которую подарил ей Юр Биллевиц, и лихо заломив набекрень меховую гусарскую шапку, гарцевала перед отрядом, как настоящий ротмистр. Она была в восторге и от похода, и от сабель, сверкающих на солнце, и от ночных костров. Молодые офицеры и солдаты любили ее, а Ануся стреляла глазками направо и налево и по три раза на дню расплетала и заплетала свои косы, глядясь, как в зеркало, в светлые воды лесных ручьев. Она частенько говорила, что хочет увидеть сражение и испытать свое мужество, но на самом деле вовсе к этому не стремилась; ей хотелось одного — завоевать все молодые сердца, и это ей удалось вполне.

Оленька тоже словно бы воскресла, покинув Тауроги. Там ее угнетала неизвестность и вечный страх перед будущим, здесь же, в лесной глуши, она чувствовала себя в полной безопасности. Свежий воздух возвращал ей силы. Вид ратников и оружия, походный гомон и суэта действовали на ее измученную душу как целительный бальзам. Так же как и Ануся, ее радовал поход, а мысль об опасности ничуть не страшила, недаром в жилах этой девушки текла рыцарская кровь. В отличие от подруги, она не красовалась перед воинами, не позволяла себе гарцевать перед строем, а потому и меньше бросалась в глаза. Зато ее окружало всеобщее уважение.

При виде Ануся на усатых солдатских лицах появлялись улыбки, когда же к кострам подходила Оленька, все обнажали головы. Со временем эта почтительность пре-

вратилась в настоящее преклонение. Быть может, чье-то сердце в молодой груди билось и иным к ней чувством, но никто не решался смотреть на нее так смело, как на смугляночку-украинку.

Так они шли сквозь леса и рощи, часто высылая вперед лазутчиков, и только на седьмые сутки поздней ночью добрались до Любича, который лежал на границе Лауданского края, образуя как бы ворота в него. Их кони в тот день были страшно измучены, и хотя Оленька умоляла ехать дальше, мечник, велев ей оставить причуды, разместил отряд на ночлег. Сам он с девушками остановился в господском доме, так как погода была холодная и сырая. По счастливой случайности дом уцелел от пожара. В свое время, видимо, князь Януш Радзивилл велел охранять его как собственность Кмицица, а позже, узнав об отступничестве пана Анджея, не успел или попросту забыл отдать новые распоряжения. Повстанцы считали имение собственностью Биллевичей, а мародеры не осмеливались хозяйничать по соседству с Лаудой, поэтому в усадьбе все оставалось на своих местах. Оленька вступала под этот кров со страшной горечью и болью в сердце. Ей был знаком тут каждый уголок, и почти с каждым было связано воспоминание о бесчинствах Кмицица. Вот перед ней трапезная, украшенная портретами Биллевичей и охотничьими трофеями. Пробитые пулями кабаньи и оленьи головы по-прежнему висят на гвоздях, а со стен сурово взирают изрубленные саблями портреты, как бы говоря: «Смотри, девушка, смотри, внучка, это его кощунственная рука иссекла запечатленный на холсте земной облик тех, чьи кости давно покоятся в могиле!»

Оленька чувствовала, что глаз не сомкнет в этом оскверненном доме. В темных углах комнат, чудилось ей, еще роились, извергая из ноздрей дым и пламя, тени ужасных соратников Кмицица. Как же быстро этот человек, которого она так любила, от озорства перешел к кощунству, от кощунства докатился до еще более страшных преступлений! Изрубил портреты и бросился в дикий разгул, сжег Упиту с Волмонтовичами и похитил ее, Оленьку, из Водоктов, затем поступил на службу к Радзивиллам, изменил родине и, наконец,— наконец, задумал поднять руку на короля, отца всей Речи Посполитой...

Ночь уходила, а несчастная Оленька тщетно призывала сон. Все ее бывшие душевные раны открылись и жестоко терзали ее. Снова горели от стыда ее щеки; глаза не роняли слез, но сердце переполняла такая нестерпимая мука, что оно, бедное, готово было разорваться...

О чем скорбело ее сердце? О том, что могло быть, если б он был иным, если б он, при всей своей дикости и своенравии, обладал хоть каплей душевного благородства; если б он, наконец, знал хоть какую-то меру, если б существовала для него граница, которую нельзя переступить. Ведь она простила бы ему многое...

Ануся заметила, что подруга страдает, и угадала причину, так как мечник давно уже все рассказал ей. Добрая девушка подошла к панне Биллевич и, обняв ее за шею, промолвила:

— Оленька! Тяжело тебе, бедной, в этом доме...

Оленька ничего не ответила, только дрожала всем телом, как осиновый лист, наконец из груди ее вырвались страшные, отчаянные рыдания. Судорожно схватив Ануся за руку, она уронила ей на плечо свою светловолосую головку и вся сотрясалась от плача, как тростинка на ветру.

Долго пришлось ждать Анусе, пока Оленька немного успокоилась. Тогда Ануся тихо сказала:

— Оленька, давай помолимся за него...

Та обеими руками закрыла глаза.

— Не... могу! — с усилием ответила она.

А затем, лихорадочно отбрасывая назад волосы, падавшие ей на лоб, заговорила прерывающимся голосом:

— Не могу... сама видишь... Ты счастливая! Твой Бабинич благороден и чист... перед богом и отечеством. Счастливая! А мне даже помолиться за него нельзя... Тут всюду кровь людская... пепелища... Хоть бы он предателем не был! Хоть бы на короля не посягнул! Все другое я ему давно простила, еще в Кейданах, потому что думала... потому что любила всем сердцем! Но теперь не могу... О боже милосердный, не могу! Я уж и сама жить не хочу... и ему лучше не жить!

— Молиться можно за каждого, — отвечала ей Ануся, — господь милосерднее людей, и ему ведомо то, что порой от людей сокрыто.

С этими словами она стала на колени и принялась молиться, а Оленька упала наземь и так лежала крестом до самого утра.

Утром весть о том, что пан мечник Биллевич прибыл в Лауду, разнеслась по всей округе. Народ повалил взглянуть на него. Из окрестных лесов выходили древние старцы и женщины с малыми детьми. Вот уже два года, как в здешних краях никто не пахал и не сеял. Деревни были по большей части сожжены и безлюдны, народ жил в лесу. Молодые, здоровые мужчины ушли с паном Володыёвским или подались к партизанам, одни лишь ребята-подпаски стерегли уцелевший домашний скот, и стерегли его хорошо, но никогда не выходили из чащи.

Мечника здесь встретили как избавителя, люди плакали от радости; в простоте душевной они полагали, что раз пришел пан мечник и панна Александра возвращается в родное гнездо, значит, конец войне и всем бедам. Народ тут же стал возвращаться в деревни и выгонять одичавшую скотину из лесных дебрей.

Шведы, правда, стояли неподалеку, за валами в Поневеже, но теперь, когда тут был мечник со своей дружиной, да и другие партизанские отряды можно было в случае нужды позвать на помощь, их уже почти не боялись.

Пан Томаш даже имел намерение напасть на Поневеж и полностью очистить округу от шведов; он медлил, потому что хотел пополнить дружину людьми, а главное,— ждал для своей пехоты оружия, которого много было спрятано в лесу у Домашевичей Охотников. Тем временем он ездил по окрестным деревням, осматривался.

Невеселая это была поездка. В Водоктах была сожжена усадьба и половина деревни; Митруны тоже сгорели; бутрымовские Волмонтовичи, которые в свое время поджег Кминиц, отстроились после пожара и случайно уцелели, зато Дрожейканы и Мозги, владения Домашевичей, сгорели дотла; Пацунели — наполовину; Морозы — целиком; ужаснее всего была участь, постигшая Гошуну,— здесь перебили полдеревни, а оставшимся мужчинам, от стариков до подростков, по приказу полковника Росса отрубили руки.

Так страшно топтала война здешний край, таковы были плоды предательства князя Януша Радзивилла.

Но не успел мечник закончить свой объезд и вооружить пехоту, снова пришли грозные и радостные вести, которые эхом покатались от хаты к хате.

Юрко Билевич, который с полусотней всадников совершил вылазку под Поневеж и захватил в плен нескольких шведов, первый узнал о сражении под Простками. А дальше все пошло как в сказке, — что ни день, то новые чудеса.

— Госевский побил графа Вальдека, Израеля и князя Богуслава,— повторяли люди.— Войско все разбито, военачальники в плену! Вся Пруссия горит огнем!

А спустя несколько недель еще одно грозное имя появилось у всех на устах — имя Бабинича.

— Это Бабинич победил шведа под Простками,— твердила вся Жмудь. — Бабинич собственными руками порубил и поймал князя Богуслава.

Потом:

— Бабинич жжет Княжескую Пруссию! Бабинич идет на Жмудь, бьет, режет, разоряет!

И наконец:

— Бабинич спалил Тауроги. Сакович убежал от него и прячется в лесах...

Последнее событие произошло так близко, что достоверность его легко было установить. Слухи полностью подтвердились.

Все это время Ануся Борзобогатая была как в чаду, попеременно то смеялась, то плакала, топала ногами, если кто не верил слухам, и неустанно повторяла всем и каждому:

— Я пана Бабинича знаю! Он меня из Замостья к пану Сапеге привез. Это самый великий воин на свете! Не знаю, сравнится ли с ним сам Чарнецкий. Это он, когда служил у пана Сапеге, разгромил в первом походе князя Богуслава. И он же, я в этом уверена, сразил его под Простками... А уж Саковича — да он с десятком таких, как Сакович, справится! И шведов он в месяц со всей Жмуди выгонит!

Ее предсказания скоро начали сбываться. Не осталось ни малейших сомнений, что грозный воин, именуемый Бабиничем, двинулся от Таурогов на север, в глубь страны.

Под Колтынями он разбил отряд полковника Баль-

дона; под Ворнями вырубил шведскую пехоту, поспешно уходящую от него в Тельши; под Тельшами победил двух полковников, Нормана и Худеншильда, Худеншильд в этой битве погиб, а Норман со своим недобитым войском бежал до самой жмудской границы и остановился лишь в Загурах.

Из Тельш Бабинич двинулся к Куршанам, гоня перед собой шведские отряды помельче, которые во всю прыть удирали от него под защиту более сильных гарнизонов.

Имя победителя гремело от Таурогов и Паланги до Бирж и Вилькомира. Много ходило рассказов о том, как жестоко разделяется он со шведами, говорили, что отряд его, состоявший вначале из небольшого чамбула татар и горсточки волонтеров, растет не по дням, а по часам,— со всех сторон собираются к нему ратники, присоединяются партизанские отряды, а он держит их в страхе и повиновении и ведет на врага.

Все умы так заняты были его победами, что весть о поражении, которое потерпел Госевский от Стенбока под Филиповом, почти не произвела впечатления. Бабинич был ближе, и о Бабиниче толковали больше всего.

Ануся каждый день умоляла мечника, чтобы тот присоединился к знаменитому воину. Ее поддерживала и Оленька, и все офицеры, и шляхта, которой не терпелось взглянуть на Бабинича.

Однако это было не так-то просто. Во-первых, Бабинич был еще довольно далеко; во-вторых, он часто исчезал, целыми неделями не подавал признаков жизни, и вновь объявлялся, одновременно с вестью о новой победе; в-третьих, дороги были забиты шведскими отрядами и гарнизонами, бежавшими из городов и селений в страхе перед Бабиничем; и, наконец, стало известно, что за Россиенами свирепствует отряд Саковича, который уничтожает все на своем пути и под страшными пытками заставляет жителей давать сведения об отряде мечника.

Мечник не только не мог идти на соединение с Бабиничем, но опасался, как бы не пришлось совсем убираться из лауданских краев.

Не зная, на что решиться, он открыл Юру Биллевичу свое намерение отступить в Роговские леса, на восток.

Юрко немедленно проговорился об этом Анусе, а та побежала прямо к мечнику.

— Дядюшка, миленький, — сказала она (так она всегда называла его, когда хотела подольститься), — я слышала, мы собираемся бежать. Не стыдно ли такому славному воину удирать при одной вести о приближении неприятеля?

— Всюду ты суешь свой нос, — ответил смущенный мечник. — Не твоего, голубушка, ума дело.

— Ну и ладно, вы себе отступайте, а я здесь остаюсь.

— Чтоб тебя Сакович изловил? Хорошенькое дело!

— Сакович меня не изловит, потому что пан Бабинич защитит.

— Почем он знает, что ты здесь? Я ведь уже сказал, мы не сможем к нему пробиться.

— Но он может прийти к нам. Я его знакомая; мне бы только послать ему письмо, и ручаюсь, что он пришел бы сюда, разгромив по дороге Саковича. Все-таки я ему немножко нравилась, и он не откажет мне в помощи.

— А кто передаст письмо?

— Да любого мужика можно послать...

— А ведь не помешало бы, ей-богу, не помешало бы! На что уж моя Оленька разумница, а и ты не глупей. Даже если нам, отступив перед превосходящими силами врага, придется тем временем уйти в леса, пусть все же Бабинич поторопится, тогда мы скорее соединимся. Попытайся, голубушка. А надежных гонцов мы подыщем...

Обрадованная Ануся взялась за дело, да так успешно, что в тот же день нашла себе сразу двух гонцов, и не кого-нибудь, а Юра Биллевица и Брауна. Каждый из них должен был взять по одинаковому письму с тем, чтоб хоть одно из них дошло до Бабинича. С самим письмом у Ануси было больше хлопот, но в конце концов она написала так:

«Милостивый государь, пишу тебе в крайнем отчаянии, ты моя последняя надежда: если только ты меня еще помнишь (в чем сомневаюсь, до того ли твоей милости), молю, поспеши на помощь. И если я смею надеяться, что ты не оставишь меня в несчастье, то лишь памятуя всю доброту твою, какую ты мне оказывал по

пути из Замостья. Сейчас я нахожусь в отряде пана Билевича, мечника россиенского, который меня приютил, когда я вывела из таурожской неволи его племянницу, панну Билевич. И его, и нас обеих со всех сторон осаждают враги — шведы и некий пан Сакович, от нечистых посягательств которого я вынуждена была спастись и искать убежища в военном лагере. Я знаю, сударь, любви ты ко мне не питал, хоть, видит бог, ничего плохого я тебе не сделала, а всегда желала и желаю добра. Но и не любя, спаси бедную сироту от жестоких врагов. Бог тебя наградит за это сторицей, а я буду молиться за доброго моего покровителя, которого потом и спасителем буду называть до самой смерти».

Когда посланцы уже покидали лагерь, Ануся вдруг испугалась, поняв, какие ждут их опасности, и хотела непременно их задержать. Со слезами на глазах она просила мечника, чтоб он не велел им ехать, — ведь письма могли отвезти и мужики, им это было бы даже легче.

Но Браун и Юрко Билевич заупрямились и не поддавались ни на какие уговоры. Каждый стремился превзойти другого, выслуживаясь перед Анусей. Если б знали они, что их ожидает!

Брауна неделю спустя изловил Сакович и велел содрать с него кожу, а бедного Юрка застрелил под Поневежем шведский конный разъезд.

Оба письма попали в руки врагов.

ГЛАВА XXVII

Захватив в плен Брауна и содрав с него кожу, Сакович немедленно снесся с комендантом Поневежа полковником Гамильтоном, англичанином, состоявшим на службе у шведов, и договорился совместно атаковать отряд мечника Билевича.

Бабинич к тому времени снова ушел в леса, и уже более недели о нем не было ни слуху ни духу. Впрочем, близость его уже не могла остановить Саковича. Несмотря на почти суеверный ужас, который он, при всей своей отваге, испытывал перед Бабиничем, Сакович готов был теперь на все, даже на смерть, такая владела им жажда мести. Со времени бегства Ануси бессильная

ярость непрерывно разъедала его душу. Неоправдавшиеся расчеты и уязвленное самолюбие доводили его до безумия; к этому присоединялись и сердечные муки. Поначалу он стремился взять Анусю в жены только ради наследства, оставленного ей первым женихом, паном Подбиpentой, но потом влюбился, влюбился без памяти, как это бывает с такими людьми. Он, Сакович, который, кроме Богуслава, не боялся никого на свете, он, единым взглядом заставлявший людей бледнеть от страха, дошел до того, что заглядывал этой девушке в глаза, как пес, покорялся ей, сносил все ее причуды, исполнял все прихоти, угадывал малейшие желания.

А она пользовалась своим влиянием как хотела, награждая его лишь обманчивыми словами да взглядами, помыкала им, как невольником, и в конце концов предала.

Сакович был из породы людей, которые за благо и добродетель почитают лишь то, что самим им на пользу, а все, что во вред,— за грех и зло. По его понятиям Ануся совершила чудовищное преступление, и не было кары, которой бы она не заслуживала. Случись все это с другим, староста лишь смеялся бы да пошучивал, но дело касалось его самого, и он рычал, словно раненый зверь, не в силах помышлять ни о чем, кроме мести. Он жаждал заполучить преступницу — живую или мертвую. Живую, конечно, лучше, тогда можно было бы сначала рассчитаться с ней по-свойски, но даже если девушке суждено было погибнуть во время сражения, Саковича это не смущало — лишь бы она не досталась другому.

Желая действовать наверняка, он послал к мечнику гонца с подложным письмом, якобы от Бабинича, в котором говорилось, что тот прибудет в Волмонтовичи не позже чем через неделю. Мечник легко попался на удочку; безгранично веря в могущество Бабинича, он не только оставил мысль об уходе из Волмонтовичей, но не стал и держать новость в тайне от окрестного населения. Те лауданцы, что еще хоронились в лесу, тоже вернулись, так как осень шла к концу, холода усиливались, а кроме того, очень уж было им любопытно взглянуть на прославленного воителя.

А меж тем от Поневежа двигались к Волмонтовичам шведы Гамильтона, а от Кейдан по-волчьи подкрадывался Сакович.

Последний, однако, не подозревал, что по его следам, точно так же по-волчьи, идет некто третий, тот, кто хоть никаких писем и не получал, имел обыкновение появляться именно там, где его меньше всего ждали.

Кмициц не знал, что Оленька находится в отряде пана Биллевича. В Таурогах, которые он разорил и сжег, ему сказали, что девушка сбежала отсюда вместе с панной Борзобогатой, и пан Анджей предположил, что они обе отправились в Беловежскую пушу, где скрывалась также пани Скшетуская и многие другие шляхтянки. Он предположил это с полным основанием, так как знал, что старый мечник давно хотел отвезти племянницу в те глухие края.

Трудно передать, как огорчен был пан Анджей, не найдя Оленьки в Таурогах, и лишь тем утешал он себя, что Оленька вырвалась из рук Саковича и теперь будет в безопасности до самого конца войны.

Поскольку немедленно лететь за ней в пушу он не мог, Кмициц решился преследовать и бить недругов на Жмуди до тех пор, пока не изничтожит всех. И удача его не покидала. Вот уже полтора месяца он одерживал победу за победой, ратники стекались к нему толпами, так что вскоре татары составляли едва четвертую часть его отряда. В конце концов он очистил от неприятеля всю западную Жмудь и тут, прослышав о Саковиче, постановил свести с ним давние счеты. С этой целью он вернулся в родные края и теперь шел за Саковичем по пятам.

Так подошли они оба вплотную к Волмонтовичам.

Мечник, прежде стоявший поодаль, с неделю назад расположился в самих Волмонтовичах, ему и в голову не приходило, какие страшные гости к нему вскоре нагрянут.

И вот однажды, под вечер, юные Бутрымы, которые пасли за Волмонтовичами коней, прибежали с известием, что с южной стороны вышло из лесу какое-то войско.

Мечник, старый, бывалый солдат, принял все же некоторые меры предосторожности. Пехоту свою, которую Домашевичи уже снабдили изрядным количеством мушкетов, он частью разместил в недавно отстроенных домах, часть ее поставил у въезда в село, за рогаткой, а сам с кавалерией стал за околицей с тыла, на обшир-

ном выгоне, примыкавшем одной стороной к речке. Сделал он это главным образом для того, чтобы заслужить похвалу Бабинича, который наверняка должен был оценить его распорядительность; однако позиция мечника и в самом деле была весьма выгодна.

Волмонтовичи, некогда сожженные Кмицицем в отместку за убитых дружков, отстраивались медленно; потом работу прервала война со шведами, и теперь главная улица завалена была тесом, бревнами и досками. Целые кучи леса громоздились подле рогатки, и под их прикрытием даже необученная пехота могла долго отстреливаться.

Во всяком случае, она способна была принять на себя первый удар. Мечнику так хотелось блеснуть перед Бабиничем своими познаниями в военном деле, что он даже выслал несколько человек в разведку.

Каково же было его изумление, а в первую минуту и ужас, когда издали, из-за леса, до него донеслось эхо выстрелов, а затем на дорогу выскочили его разведчики и во весь мах понеслись назад, преследуемые целой своей врагов.

Мечник кинулся к пехоте отдавать последние распоряжения, а тем временем из леса валом повалила вражеская конница и, словно саранча, ринулась на Волмонтовичи, сверкая оружием в свете заходящего солнца.

Лесок был недалеко, и неприятель почти сразу пустил коней вскачь, стремясь с налету прорваться за рогатку, но внезапный огонь пехоты приковал его к месту. Первые ряды, ломая строй, обратились в бегство, и лишь десяток-полтора лошадей донесли своих всадников до наваленных перед рогаткой бревен.

Мечник меж тем пришел в себя и, подскакав к своим конникам, велел всем, у кого были пистолеты либо ружья, идти на подмогу пехоте.

У противника, видимо, тоже были мушкеты, так как вслед за первым неудачным приступом он открыл частый, хотя и беспорядочный огонь.

Пальба с обеих сторон то учащалась, то слабела; пули, свистя, долетали даже до конницы, барабанили по домам, по грудам бревен; над Волмонтовичами стлался дым, запахло пороховой гарью.

Желание Ануси исполнилось — она увидела битву.

Обе девушки по приказу мечника в первую же минуту сели на своих лошадок, на случай, если неприятель окажется слишком силен и отряду придется уходить. Их поставили в задних рядах конницы.

Но у Ануси, хоть у нее и сабелька была на боку, и рысья шапка на голове, едва начался бой, душа мигом юркнула в пятки. Она, так бойко командовавшая офицерами у себя в горнице, сразу сникла, когда пришлось встретиться с сынами Беллоны в ратном поле. Свист и шелканье пуль пугали ее смертельно; суматоха, беготня вестовых, мушкетная пальба и стоны раненых ошеломляли до потери сознания, а пороховой дым не давал вздохнуть полной грудью. Ее начало тошнить, к горлу подступила дурнота, она страшно побледнела и стала дрожать как в лихорадке, заливаясь плачем, словно малое дитя, пока один из офицеров, молодой пан Олеша из Кемнар, не подхватил ее на руки. А уж держал он ее крепко, даже крепче, чем надо, и готов был держать так хоть до скончания века.

Солдаты вокруг стали посмеиваться:

— Вот так рыцарь в юбке! — слышались голоса. — Ей бы курочек кормить да пух щипать!

Другие кричали:

— Эй, пан Олеша! Хорош у тебя щит, но защитит ли он тебя от стрел Купидона?..

И стало ратникам веселей на душе.

Многие, однако, предпочитали смотреть на Оленьку, которая держалась совсем по-иному. Вначале, когда поодаль просвистели первые пули, она тоже слегка побледнела и, не удержавшись, закрыла глаза и нагнула голову; но вскоре в ней заговорила рыцарская кровь, лицо ее вспыхнуло жарким румянцем, она гордо выпрямилась и устремила вперед бесстрашный взор. Ее раздувающиеся ноздри с наслаждением впивали запах пороха. Между тем дым на окраине деревни становился все гуще, заслоняя перспективу, и тут, видя, что офицеры двинулись вперед, чтоб наблюдать ход боя вблизи, отважная девушка, не задумываясь, поскакала с ними.

— Вот это по-рыцарски! — одобрительно зашумели кавалеристы. — Вот такая жена любому воину впору! Солдатик хоть куда!

— Vivat панна Биллевич!

— Стоит постараться, други, когда на нас смотрят такие глаза!

— Держится под пулями отважней всякой амазонки! — воскликнул какой-то молоденький шляхтич, забыв в порыве восторга, что во времена амазонок и пороха-то не было.

— Пора кончать! Пехота славно отличилась, поубавила прыти нашим *hostes*¹.

Вражеские гусары и впрямь не могли совладать с пехотой. Раз за разом пускали они коней вскачь, атаковали рогатку, но после дружного залпа в замешательстве отступали. И как морской отлив оставляет на прибрежном песке раковины, гальку и мертвую рыбешку, так после каждой атаки на дороге оставались тела всадников и лошадей.

Наконец атаки прекратились. Подъезжали лишь одиночные всадники и палили в сторону села из пистолетов и мушкетов, явно с тем, чтобы отвлечь внимание неприятеля. Но мечник, взобравшись по венцам господского дома под самую крышу, успел заметить, что задние ряды неприятельского отряда поворачивают к полям и кустарникам, тянувшимся с левой стороны Волмонтовичей.

— Вон откуда они хотят напасть! — воскликнул мечник и немедленно приказал части конницы рассыпаться между домами, чтобы она встретила противника огнем из садов.

Через полчаса на левом фланге отряда вновь завязалась ожесточенная перестрелка.

Схватиться врукопашную обеим сторонам одинаково мешали огороженные заборами сады. Но от огня противник страдал меньше, так как рассыпался длинной цепью.

Постепенно бой разгорался все жарче и упорнее, возобновились и атаки на рогатку.

Мечник начал беспокоиться.

Справа у него оставался еще свободный проход через выгон к неширокой, но глубокой и илистой речке, переправа через которую, тем более в спешке, могла оказаться делом нелегким. Лишь в одном месте, где берег был ниже, виднелся брод, по которому перегоняли в лес скотину.

¹ Гостям (*лат.*).

Пан Томаш все чаще стал поглядывать в ту сторону. И вдруг сквозь черные, уже облетевшие ветки ивняка он увидел в свете вечерней зари блеск оружия и темную тучу солдат.

«Бабинич подходит!» — подумал мечник.

Но в ту же минуту к нему подскакал Хшонстовский, командир кавалерийского эскадрона.

— От реки идет шведская пехота! — крикнул он в ужасе.

— Нас предали! — вскричал пан Томаш. — Ради бога, скачи со своим эскадронам навстречу, а то они ударят на нас с фланга!

— Сила несметная! — ответил Хшонстовский.

— Задержите пехоту хоть на час, пока мы будем отходить в тыл, к лесам.

Хшонстовский повиновался и с двумястами всадниками двинулся по выгону. Увидев это, шведы стали поспешно выстраиваться среди зарослей, готовясь встретить противника. Через минуту эскадрон пустился вскачь, а из зарослей ивняка грянул первый мушкетный залп.

Теперь мечник не только не надеялся одержать победу, но и сомневался, сохранит ли собственную пехоту.

Сам он мог еще отступить с частью конницы и с девушками и искать укрытия в лесах, но это значило обречь на ужасную гибель большую часть своей дружины и всех тех лауданских жителей, которые стеклись в Волмонтовичи встречать Бабинича. Что до самих Волмонтовичей, их неприятель, разумеется, сровняет с землей.

Оставалась единственная надежда, — может, Хшонстовскому удастся оттеснить вражескую пехоту.

Стемнело, но в деревне становилось все светлее, — загорелась куча стружек, щепок и опилок около одного из домов на окраине. От них занялся и сам дом, и над Волмонтовичами запылало кровавое зарево.

В свете пожара мечник увидел, что конница Хшонстовского беспорядочно скачет назад, а из ивняка валит шведская пехота и стремительно идет в атаку.

Ему стало ясно, что надо уходить, пока еще свободна хоть одна дорога.

Он уже добежал до остатков своей конницы, уже взмахнул саблей и крикнул: «Выровнять строй! Отхо-

дим!» — как вдруг сзади тоже грянули выстрелы, сопровождаемые воинственными криками.

И понял мечник, что они окружены и нет им из этой западни ни выхода, ни спасения.

Оставалось лишь погибнуть с честью. Мечник встал перед строем и воскликнул:

— Умрем же все, как один! Не пожалеем своей крови за веру и отечество!

Меж тем огонь пехоты, защищавшей рогатку и левую сторону деревни, ослабел, а крики противника раздавались все громче, возвещая его близкое торжество.

Но что это? Почему вдруг хрипло взревели рога в дружине Саковича, почему в шведских рядах тревожно зарокотали литавры?

Вопли усиливаются, и странно — не торжество звучит в них, но смятение и ужас.

Пальба у рогатки внезапно стихает. С левой стороны деревни к большаку сломя голову несется нестройная толпа конников Саковича. Шведская пехота, подступавшая справа, вдруг останавливается и поворачивает назад, к ивняку.

— Что это? Господи Иисусе, что это? — восклицает мечник.

Ответ приходит из того же леса, откуда вышел Сакович. Снова повалили из него люди, кони; всадники с хоругвями, бунчуками, саблями, и идут — нет, мчатся, как ветер, нет, не как ветер, как ураган! В кровавых отблесках пожара они видны словно на ладони. Их тысячи! Едва касаясь земли, они несутся слитным потоком, и кажется, это огромный дракон вырвался из лесной дубравы и мчится к деревне, готовый ее пожрать. Впереди, подгоняемая движением людского потока, летит волна воздуха, летят ужас и смерть... Они уже здесь! Вот они! Сметут Саковича, как вихрь пылинку!

— Боже! Великий боже! — словно обезумев, кричит мечник. — Это наши! Это, должно быть, Бабинич!

— Бабинич! — вырывается из всех глоток.

— Бабинич! — раздаются испуганные возгласы в отряде Саковича.

И вся вражеская конница поворачивает вправо, стремясь соединиться со своей пехотой.

Под напором лошадей со страшным треском ломаются заборы; беглецы затопят выгон, но те уже настиг-

ли их и рубят, секут, колют, рубят без усталости, рубят без жалости. Слышны крики, стоны, свист сабель. И те и другие врезаются в шведскую пехоту, опрокидывают ее, давят, топчут. Гром стоит, будто тысячи работников молотят на току цепями. Наконец вся эта масса скатывается сквозь ивняк к реке и переваливает на другой берег. Их еще видно, все бегут и бегут и рубят, рубят! Отдалились. В последний раз сверкнули сабли, и вот они уже исчезли в кустах, в бескрайней ночной темноте.

Пехота мечника оставляет свою позицию у рогатки и у домов, которые уже не от кого защищать; ошеломленные кавалеристы некоторое время стоят в глубоком молчании, и лишь когда с треском валится горящий дом, кто-то вдруг восклицает:

— Во имя отца, и сына, и святого духа! Да это просто буря пронеслась!

— Вот это погоня! Живым никто не уйдет! — отзывается другой голос.

— Друзья! — восклицает внезапно мечник. — А не махнуть ли нам вслед за теми, что с тыла заходили? Теперь они удирают, но мы их догоним!

— Бей! Убивай! — отвечает ему хор голосов.

И всадники, поворотив коней, пустились в погоню за последним вражеским отрядом. В Волмонтовичах остались лишь старики, женщины, дети да Оленька с подругой.

В мгновение ока погасили пожар, после чего началось всеобщее ликование. Женщины, плача и причитая, воздевали к небу руки и, обращаясь в ту сторону, где скрылся Бабинич, восклицали:

— Господь тебя благослови, непобедимый воин! Ты наш избавитель, ты нас, наших детей и наши дома от гибели спас!

И Бутрымы, дряхлые старцы, повторяли хором:

— Господи, благослови его! Господи, помоги ему! Без него от Волмонтовичей и следа не осталось бы!

Ах! Если б знали в толпе, что их деревня и сами они спасены от огня и меча тою же рукой, которая двумя годами ранее сама предала их огню и мечу!

Погасив пожар, все бросились подбирать раненых, а воинственные подростки, бегая с кольями по полю битвы, приканчивали недобитых шведов и Саковичевых грабителей.

Присмотр за ранеными сразу взяла в свои руки Оленька. Ни на минуту не теряя присутствия духа, она хлопотала без устали и не успокоилась до тех пор, пока все они не были ее стараниями перевязаны и размещены по домам.

Потом все жители вслед за ней пошли к распятию помолиться за убитых. В эту ночь в Волмонтовичах не спал ни один человек; все ждали возвращения мечника с Бабиницем и не покладая рук готовили победителям достойную встречу. Шли под нож откормленные на лесных пастбищах волы и бараны, костры полыхали до самого утра.

Одна Ануся ни в чем не принимала участия; сперва она обессилела от страха, а потом от радости, которая была так велика, что походила на безумие. Оленьке пришлось заботиться и о ней, а она то смеялась, то плакала, то бросалась подруге на шею и все твердила без ладу, без складу:

— Ну что? Кто нас спас, и мечника, и дружину, и все Волмонтовичи? От кого удрал Сакович? Кто его побил, а вместе с ним и шведов? Пан Бабиниц! Ну что? Я знала, что он придет. Я же ему писала! А он меня не забыл! Я знала, знала, что он придет! Это я его сюда привела. Оленька, Оленька! Как я счастлива! Ну, не говорила я? Его никому не одолеть! Сам пан Чарнецкий с ним не сравнится... О боже, боже! Он ведь вернется, правда? Сегодня же? Зачем ему было и приходить, если б он не хотел вернуться, правда? Оленька, слышишь? Будто бы кони ржут вдали...

Но нет, кони вдали не ржали. Только под утро слышался топот, крики, пенье — это вернулся мечник. Всадники на взмыленных конях рассыпались по всей деревне. Все загомонило, засуетилось, песням и рассказам не было конца.

Мечник, забрызганный кровью, измученный, но счастливый, до самого восхода солнца рассказывал, как он разгромил эскадрон вражеских рейтар, как две мили гнался за ними и перебил почти всех до единого. Вместе со всем своим войском и всеми лауданцами мечник был уверен, что Бабиниц вернется с минуты на минуту.

Однако настал полдень, потом солнце проделало другую половину своего пути и начало садиться, а Бабиница все не было.

К вечеру у Ануси выступили на щеках красные пятна.

«Неужто ему только шведы были нужны, а не я? — раздумывала она. — Но ведь пришел же он сюда, значит, получил мое письмо...»

Бедняжка, она не знала, что души Брауна и Юрка Биллевича давно уже на том свете и что Бабинич никакого письма не получал.

А если б он его получил, быстрее молнии вернулся бы он в Волмонтовичи... да только не к тебе, Ануся!

Еще один день миновал; мечник все не терял надежды и не трогался с места.

Ануся замкнулась в ожесточенном молчании.

«Он меня смертельно оскорбил! Что ж, так мне и надо за мою слабость, за грехи!» — повторяла она про себя.

На третий день пан Томаш выслал разведчиков.

День спустя они вернулись с донесением, что пан Бабинич взял Поневеж и вырезал там всех шведов. Потом ушел оттуда, а куда и где он теперь — неизвестно.

— Теперь уж нам его не сыскать, пока сам не объявится! — сказал на это мечник.

К Анусе нельзя было подступиться; молодые шляхтичи и офицеры отскакивали от нее, как ошпаренные.

А на пятый день она сказала Оленьке:

— Пан Володьевский — воин ничуть не хуже Бабинича, и притом несравненно любезней.

— Как знать, — задумчиво возразила Оленька, — может, пан Бабинич хранит верность той, о ком говорил тебе по пути из Замостья.

Ануся в ответ:

— Пусть! Мне все равно...

Но она сказала неправду, ей было еще далеко не все равно.

ГЛАВА XXVIII

Отряд Саковича был разгромлен, а он сам с четырьмя товарищами едва сумел уйти в поневежские леса. Много месяцев скитался он, переодетый в крестьянское платье, не решаясь выглянуть из чащобы на белый свет.

А Бабинич нагрянул на Поневеж, перебил стоявшую там шведскую пехоту и погнался за Гамильтоном, кото-

рый, опасаясь идти в Лифляндию мимо Шавлей и Бирж, где собраны были значительные польские силы, повернул на восток в надежде, что ему удастся прорваться к Вилькомиру. Свой полк он уже не надеялся сохранить, хотел лишь не попасться живым в руки Бабиничу, ибо, как гласила всеобщая молва, этот жестокий военачальник не любил обременять себя лишними заботами и казнил всех пленных.

Вот и бежал несчастный англичанин, словно олень перед волчьей стаей; но чем скорей убегал он, тем упорней гнался за ним Бабинич; потому-то пап Анджей и в Волмонтовичи не вернулся, не успел даже спросить, чей это отряд довелось ему вырчить.

По утрам начал ложиться первый иней, и еще труднее пришлось беглецам, так как их выдавали следы копыт. Коня не находили в полях травы и жестоко страдали от бескормицы.

Рейтары не смели отдыхать в селах, боясь, что неотступный враг вот-вот настигнет их.

Под конец их бедствия превзошли всякую меру; они питались одними лишь листьями, корой да мясом собственных лошадей, павших от истощения.

Через неделю они сами стали просить своего полковника, чтоб он поворотил навстречу Бабиничу и принял бой, ибо предпочитали погибнуть от меча, чем умереть голодной смертью.

Гамильтон согласился и под Андришкатами выстроил отряд к бою. Англичанин и мечтать не мог о победе над противником, настолько превосходившим его и в численном и во всех прочих отношениях. Но он и сам уже был жестоко измучен и искал смерти.

Битва, начатая под Андришкатами, закончилась неподалеку от Троупей, где полегли последние шведы.

Гамильтон пал геройской смертью, отбиваясь под придорожным распятьем от десятка ногайцев, которые сперва хотели взять его живьем, но, разъяренные упорным сопротивлением, в конце концов зарубили саблями.

Однако и люди Бабинича были так утомлены, что у них не хватило ни сил, ни желания дойти даже до соседних Троупей; где какая хоругвь стояла во время боя, там и располагалась на ночлег, разводя костры среди вражеских трупов.

Подкрепившись, все уснули каменным сном.

Даже татары не стали обыскивать трупы, отложили на утро.

Кмищиц, заботясь главным образом о лошадях, не препятствовал этому привалу.

Наутро, однако, он поднялся пораньше, чтобы подсчитать потери, понесенные в яростной схватке, и справедливо разделить добычу. Наскоро перекусив, он стал на возвышении под тем самым распятым, где погиб Гамильтон, а польские и татарские старшины подходили к нему, держа в руках палки со сделанными на них зарубками, и докладывали о потерях и трофеях. Он слушал их, как слушает летом помещик доклады своих управляющих, и радовался обильному урожаю.

К нему подошел Акба-Улан, более похожий на пугало, нежели на человека, так как в бою под Волмонтовичами ему разбили нос рукоятью сабли, поклонился и подал Кмищицу окровавленный пакет:

— Эффенди, вот бумаги, найденные при шведском начальнике, отдаю их тебе, как ты велел.

Кмищиц действительно строго-настрого приказал все бумаги, найденные на трупах, сразу после битвы приносить к нему, ибо из них нередко можно было извлечь сведения о неприятеле и предвосхитить его планы.

Сейчас, однако, ему было не до того, он лишь кивнул Акбе и спрятал бумаги за пазуху. А Акбу отослал к татарам и велел без проволочки трогаться в Троупи, где отряду предстояло расположиться на длительный отдых.

И вот мимо Кмищица одна за другой потянулись его хоругви. Впереди шел чамбул, который теперь едва ли насчитывал пятьсот человек, так потрепали его непрерывные бои, но зато у каждого ногайца в седле, в тулупе и в шапке столько было зашито шведских риксдалеров, прусских талеров и дукатов, что его можно было ценить на вес серебра. Притом эти люди совершенно не походили на обычных ордынцев, — кто послабее, не вынес ратных трудов, остались богатыри один к одному, плечистые, железной выносливости и кровожадные, словно оводы. Непрерывные бои так закалили их, что в рукопашной схватке они могли бы соперничать даже с польской регулярной кавалерией, а на прусских рейтар и драгунов, если силы были равны, кидались, как волки на овец. Когда кто-нибудь из них погибал в бою, осталь-

ные с остервенением защищали его тело, чтобы потом разделить меж собой его добычу.

Теперь они лихо проходили перед Кмицицем, колотя в барабаны, свистя в дудки, сделанные из полых конских костей, и размахивая своими бунчуками, но шли стройно, впору хоть и регулярному войску. За ними выступал драгунский полк, с превеликими трудами сколоченный паном Анджеем из всякого рода добровольцев, вооруженный рапирами и мушкетами. Командовал драгунами Сорока, бывший вахмистр, ныне возведенный в офицерский и даже капитанский чин. Этот полк, одетый в одинаковые трофейные мундиры, содранные с прусских драгун, состоял преимущественно из людей простого звания, но Кмициц как раз с ними и любил иметь дело, так как они слепо повиновались и безропотно сносили любые тяготы.

В двух хоругвях, идущих следом, служили исключительно волонтеры из мелкой шляхты и крупной. То были отчаянные головы, и с иным вождем они наверняка превратились бы в стаю хищников, но в железных руках Кмицица они составляли настоящие регулярные хоругви и сами охотно называли себя «пятигорцами». Менее стойкие под огнем, чем драгуны, они зато больше годились для яростного первого броска, а уж рубились лучше всех в отряде, ибо все, как один, были обучены фехтовальному искусству.

И, наконец, за ними прошло около тысячи свеженабранных добровольцев, всё крепкий народ, над которым, однако, предстояло основательно потрудиться, чтобы сделать из него настоящее войско.

Каждая хоругвь, проходя мимо распятия, приветствовала пана Анджея криками и взмахами сабель. А у него становилось все радостнее на душе. Сколь велико и сильно его войско! Многого уже он достиг с ним, много пролил вражеской крови, и одному богу ведомо, что еще он сумеет свершить!

Велики его прежние вины, но и недавние заслуги не малы. Низко пал он, но все же поднялся, тяжело согрешил, но искупать грехи пошел не в молельню, а в ратное поле, не ладаном очистился, но кровью. Он защищал пресвятую деву, родину, короля, и теперь душа его облегчилась и повеселела. Гордостью полнится сердце молодецкое,— не всякий бы так сумел!

Мало разве пылких шляхтичей, мало рыцарей в Речи Посполитой? А у кого из них есть такая сила, как у него? Нету, даже у Володыёвского, даже у Скшетуского! Кто осажденную Ченстохову оборонял, кто короля защитил в ущелье? Кто одолел Богуслава? Кто первый пришел с огнем и мечом в Королевскую Пруссию? А теперь вон и Жмудь почти вся очищена от врага.

Тут пан Анджей почувствовал себя, словно сокол, который, раскинув крылья, взлетает все выше и выше! Хоругви одна за другой приветствовали его громким криком, а он гордо поднял голову и спрашивал сам себя: «Куда-то залечу?» И лицо его вспыхнуло, ибо в эту минуту ему почудилась гетманская булава. Что ж, если и достанется она ему — то за ратные заслуги, за раны, за подвиги, за славу. Не какой-нибудь предатель поманит ею Кмицица, как манил некогда Радзивилл, но благодарное отечество вложит ее в его руки по воле короля. А будет ли это и когда — не его забота, его дело — драться и драться, бить врагов завтра, как побил вчера.

Тут разыгравшееся воображение Кмицица вернулось к действительности. Куда двинуться из Троупей, в каком месте снова досадить шведу?

Кмициц вспомнил о бумагах, найденных на трупе Гамильтона; он вынул их из-за пазухи, взглянул — и изумился.

На пакете явственно видна была надпись, начертанная женской рукой:

«Его высокопревосходительству пану Бабиничу, полковнику татарских и волонтерских войск».

— Мне?.. — проговорил пан Анджей.

Печать была сломана, он быстро вскрыл письмо, ударом ладони расправил бумаги и стал читать.

Но не успел он кончить, как у него задрожали руки, он изменился в лице и вскричал:

— Хвала тебе, господи! Боже милосердный! Вот ты и вознаградил меня!

Он обнял руками подножие распятия и начал биться об него светловолосой головой. Иначе выразить свою благодарность Кмициц в эту минуту не мог, иной молитвы не находил, ибо радость охватила его, словно порыв ветра, и вознесла под самые небеса.

Это было письмо Ануси Борзобогатой. Шведы сняли его с Юрка Биллевича, а теперь, через другого мертвеца, оно дошло до Кмицица. Тысячи мыслей с быстротой татарских стрел пролетали в голове пана Анджея.

Значит, Оленька не в Беловежской пуще, а в отряде мечника Биллевича? И он, именно он, Кмициц, спас ее, а вместе с нею те самые Волмонтовичи, которые некогда, мстя за товарищей, предал огню! Видно, само небо направляло его шаги, чтобы он смог разом искупить вину и перед Оленькой, и перед всей Лаудой! Вот и стер он с себя пятно! Неужто и теперь не простит ему ни она, ни вся эта лауданская братия? Неужто не благословят они своего избавителя? И что скажет она, его возлюбленная Оленька, считающая его изменником, когда узнает, что тот самый Бабинич, который победил Радзивилла, который по пояс искупался в шведской и немецкой крови, который вытеснил врага со всей Жмуди, истребил, прогнал в Пруссию и Лифляндию,— это он, Кмициц, но уже не прежний забияка, не отступник, не предатель, а защитник веры, короля и отечества!

А ведь хотел пан Анджей, хотел сразу же после перехода жмудской границы возвестить всему свету, кто таков знаменитый Бабинич, да не сделал этого — потому лишь, что побоялся, как бы от него не отвернулись при одном звуке его настоящего имени, как бы не стали подозревать в дурном и не отказали в помощи и доверии. Ведь прошло всего два года с тех пор, как он, одураченный Радзивиллом, расправлялся с лауданскими хоругвями, не желавшими идти с князем Янушем против короля и отчизны. Да, всего два года назад он был правой рукой презренного предателя!

Но теперь все переменялось! Теперь, после стольких побед, покрытый заслуженной славой, он вправе прийти к девушке и сказать ей: «Я — Кмициц, и я твой спаситель!» Всей Жмуди вправе он крикнуть: «Я — Кмициц, и я твой спаситель!»

А коли так — Волмонтовичи близко! Неделю гнался Бабинич за Гамильтоном, но Кмицицу не понадобится недели, чтобы оказаться у Оленькиных ног.

Тут пан Анджей вскочил, бледный от волнения, с горящим от счастья взором, и крикнул оруженосцу:

— Коня мне! Живо, живо!

Оруженосец подскакал к нему с вороным жеребцом, сам прыгнул наземь и, придерживая Кмицицу стремя, сказал:

— Ваша милость! Там двое чужих едут к нам от Труппей, рысью шпарят, и пан Сорока с ними.

— Что мне до них! — ответил пан Анджей.

Между тем всадники были уже в двадцати шагах. Один из них вместе с Сорокой выдвинулся вперед, подскакал к пану Анджею и скинул рысью шапку, обнажив огненно-рыжий чуб.

— Сам пан Бабинич, я вижу, — сказал он. — Счастлив, что разыскал тебя, ваша милость.

— С кем имею честь? — нетерпеливо спросил Кмициц.

— Я Вершулл, бывший ротмистр татарской хоругви князя Иеремии Вишневецкого; теперь набираю в родных краях людей для новой войны, и вот привез твоей милости письмо от пана Сапеги, великого гетмана.

— Для новой войны? — переспросил Кмициц, хмуря брови. — О чем это ты толкуешь, сударь?

— В письме все сказано, — ответил Вершулл, протягивая Кмицицу гетманское послание.

Пан Анджей с лихорадочной поспешностью сломал печать. И вот что он прочел:

«Любезный моему сердцу пан Бабинич! Новый потоп угрожает отчизне! Шведы вошли в соглашение с Ракоци, хотят разделить Речь Посполитую. Восемьдесят тысяч венгерцев, семиградцев, валахов и казаков вот-вот вторгнутся к нам с юга. В сей страшный час, имея одно лишь помышление — хоть честное имя народа нашего оставить грядущим векам, приказываю тебе: не теряя ни минуты, повороти коней и кратчайшим путем спеши к нам. Ты найдешь нас в Бресте, откуда мы не мешкая пошлем тебя дальше. Помни же, *regiculum in toga!*¹ Князь Богуслав из плена выкупился, но Пруссия и Жмудь остаются под надзором пана Госевского. Еще раз предписываю твоей милости всячески торопиться и уповаю, что любовь к погибающей отчизне будет самым надежным твоим кормчим».

Кончив читать, Кмициц уронил письмо наземь и несколько раз провел рукой по вспотевшему лицу, потом

¹ Промедление опасно! (лат.)

поглядел на Вершулла безумными глазами и тихо, сдавленным голосом спросил:

— Почему же это Госевский остается на Жмуди, а я должен идти на юг?

Вершулл пожал плечами.

— Будешь в Бресте, спроси об этом пана гетмана. Что я могу тебе сказать?

Дикий гнев вскипел в душе пана Анджея, глаза его сверкнули, лицо посинело, и он крикнул страшным голосом:

— А я не пойду отсюда! Понимаешь, пан Вершулл, не пойду!

— Вот как? — сказал Вершулл. — Мое дело было передать приказ, а ты, пан Бабинич, поступай как знаешь. Прощай! Хотел я на час-другой просить вашего гостеприимства, но после того, что услышал, поищу его в другом месте.

С этими словами он поворотил коня и ускакал.

Пан Анджей снова сел под распрятием и тупо уставился в небо, словно гадая, какая будет погода. Оруженосец с лошадьми отъехал в сторонку, и кругом настала тишина.

Утро было свежее, с легким туманом, то ли осеннее, то ли уже зимнее. Ветра не было, но с берез, стоявших вокруг распрятия, беззвучно спадали наземь последние пожелтевшие и сморщенные от холода листья. Несметные стаи воронья летали над лесом, иные с громким карканьем садились на непогребенные шведские трупы, которые устилали всю дорогу и поле вокруг креста. Пан Анджей, часто мигая, смотрел на полчища черных птиц, как будто хотел их пересчитать. Потом он закрыл глаза и долго сидел неподвижно. Наконец встряхнулся, сдвинул брови, лицо его оживилось, и он заговорил сам с собой:

— Нет, не могу! Пойду через две недели, а сейчас не могу. Пусть делают, что хотят. Не я же накликал Ракоци. Не могу! Что слишком, то слишком... Неужто мало я скитался по свету, мало потрудился, мало бессонных ночей провел в седле, мало пролил своей и вражьей крови? И вот награда! Если б я хоть того письма не получил — пошел бы; так нет же, оба, словно назло, пришли в одно время, чтоб мне было еще горше, еще обиднее. Да пропади оно все пропадом, не пойду! Не погибнет за эти две недели отчизна... хотя над ней, видно, тяготеет гнев

божий, и не во власти человеческой ее спасти. Боже, боже! Гиперборейцы, шведы, пруссаки, венгерцы, семиградцы, валахи, казаки — все разом! Кто в силах с этим совладать? Чем же, о господи, провинилась перед тобой несчастная наша родина, король наш набожный, что ты от них отвратился, не хочешь ниспослать им ни помощи, ни милосердия, одни лишь новые бедствия? Неужто мало крови пролито? Мало слез? Ведь люди забыли, что такое радость, ведь тут даже ветры стонут... Само небо рыдает, а ты все бичуешь и бичуешь... Смилуйся! Спаси! Много мы согрешили... но ведь уже и раскаялись! Всем пожертвовали, сели на коней и бьемся без роздыха! Смирились, отреклись от личного блага... Что ж ты не отпустишь нам, почему не утетишь?

Но тут восстала его совесть, невидимой рукой схватила его за волосы и так потрянула, что он чуть не вскрикнул, — некий неведомый голос, почудилось ему, загремел под небесным сводом:

«Это вы забыли о личном благе? А ты, несчастный, что делаешь в эту минуту? Заслуги свои превозносишь, но едва настал час испытания, становишься на дыбы, как норовистый конь, и кричишь: «Не пойду!» Твоя мать погибает, мечи вновь пронзают ее грудь, а ты отворачиваешься, не желаешь ее поддержать, за собственным счастьем гонишься и кричишь: «Не пойду!» Она простирает окровавленные руки, она шатается, вот-вот упадет, и на краю гибели молит слабеющим голосом: «Дети! Спасите!» А ты ей в ответ: «Не пойду!» Горе вам! Горе такому народу! Горе всей Речи Посполитой!»

Кмициц оцепенел от страха, потом затрясся как в лихорадке... И вдруг грохнулся наземь ничком и уже не взмолился, а возопил в ужасе:

— Иисусе, не карай! Иисусе, смилуйся! Да будет воля твоя! Пойду я, пойду!

Долго потом лежал он молча и лишь тихо плакал. А когда наконец поднялся, лицо его просветлело и выражало глубокое смирение. Он снова стал молиться.

— Господи, ты уж не гневайся, что я возроптал. Это потому, что мое счастье было так близко! Но ты судил иначе — да будет воля твоя! Теперь я понимаю, ты хотел меня испытать и для того поставил на распутье. Не устану повторять — да будет воля твоя. Пойду, не оглядываясь. Тебе, господи, приношу и горькую мою печаль, и со-

жаления, и сердечную тоску. Да зачтутся они мне во искупление того, что, заботясь о личном благе, я пощадил Богуслава и тем огорчил отчизну. Ныне ты видишь, господи, что то был последний раз. Больше не буду, отче! Дай только поцелую еще раз эту милую землю, дай припаду к твоим окровавленным стопам... и пойду, Иисусе! Пойду!

И пошел.

А в небесных свитках, куда заносятся все дурные и добрые дела людские, в тот же час зачеркнуты были все его прегрешения, ибо этот человек исправился вполне.

ГЛАВА ХХІХ

Сколько было еще боев, сколько бились еще с врагом войска, шляхта и весь народ Речи Посполитой — про то молчат старые книги. Бились в лесах и полях, в селах, городах и местечках, бились в Королевской Пруссии и Княжеской Пруссии, бились на Мазовии, в Великой Польше и в Малой Польше, на Руси, в Литве, и на Жмуди, бились без усталости, днем и ночью.

Каждый комок земли пропитался кровью. Позабыты имена героев, славные подвиги, великие жертвы, ибо не описал их летописец и не воспела лютня. Но под всеобщим могучим напором сломилась в конце концов вражья сила.

И подобно тому, как пронзенный пулями могучий лев, который только что лежал словно мертвый, вдруг встает и, тряхнувши царственной гривой, издает столь ужасающий рык, что охотники, леденев от страха, разбегаются кто куда, — так вставала Речь Посполитая, грозная, полная священного гнева, готовая противостоять хоть всему миру; и захватчиков ее поразили бессилие и страх. Уже не о завоеваниях мечтали они, лишь бы вырваться им из львиной пасти да вернуться подобру-поздорову домой.

Не помогли им новые военные союзы, не помогли новые полчища венгерцев, семиградцев, казаков и валахов. Правда, пронеслась еще раз буря между Краковом, Варшавой и Брестом, но поляки встали стеной на ее пути, и вскоре она развеялась без следа, как туман.

Шведский король первый изверился в успехе и поехал воевать с датчанами; изменник-курфюрст, лишь

против овец молодец, перекинулся на сторону Речи Посполитой и стал бить шведов; шайки головорезов Ракоци со всех ног улепетывали к своим семиградским логовам, не зная еще, что их выжег и опустошил Любомирский.

Легко им было вторгнуться в пределы Речи Посполитой, да трудно выйти из них безнаказанно. И когда Потоцкий, Любомирский и Чарнецкий настигли врагов у переправы, валялись семиградские графы в ногах у польских военачальников, молили о пощаде.

— Все отдадим, оружие, миллионы! — кричали они. — Только отпустите!

И гетманы, приняв выкуп, сжалились над презренными; но уже на самом подходе к дому все они полегли под копытами татарской орды.

Мир начал возвращаться на польские равнины. Король еще отбивал последние прусские крепости, а Чарнецкий намерен был следовать за шведами за границы страны, в Данию, ибо Речь Посполитая уже не довольствовалась одним лишь изгнанием врага.

Города и села восставали из пепелищ; жители покидали леса, первые плуги бороздили поля.

Осенью 1657 года, по окончании венгерской войны, уже было спокойно на большей части польских земель, а на Жмуди и подавно.

Лауданцы, ушедшие в свое время с Володыёвским, все еще скитались бог знает где, но дома их уже поджидали.

А тем временем в Морозах, Волмонтовичах, Дрожейканах, в Мозгах, Гощунах и Пацунелях женщины, дети, подростки и старики пахали землю, сеяли озимые, общими силами отстраивали погоревшие хаты, чтобы бойцы, вернувшись в родные края, нашли хоть крышу над головой и голодными не сидели.

Оленька вместе с Анусей Борзобогатой и мечником жила с некоторых пор в Водоктах. Пан Томаш не торопился к себе в Биллевици, так как они сгорели, да и веселей ему было с девушками. Пока что он с помощью Оленьки налаживал в Водоктах хозяйство.

А Оленьке хотелось сделать это хозяйство образцовым. Водокты вместе с Митрунами должны были стать ее вкладом в монастырь, иными словами, перейти в собственность Ордена бенедиктинок, куда бедная Оленька

собиралась вступить послушницей в самый первый день нового года.

Долго размышляла она перед тем о своей жизни, об изменчивой судьбе своей, о всех своих горестях и разочарованиях, и пришла к убеждению, что такой поступок будет угоден господу. Ей казалось, будто чья-то всесильная рука толкает ее в монашескую келью и чей-то голос говорит ей:

«Там мир и успокоение, там очищение от скверны мирской».

И Оленька решила внять этому голосу; однако душа ее еще не вполне отвратилась от всего земного, и, сознавая это, девушка хотела сперва подготовить себя горячими молитвами, трудом и добрыми делами. К тому же вести, доходившие из широкого мира, часто сводили на нет ее усилия.

Вот, к примеру, люди стали поговаривать, будто прославленный Бабинич — это Кмициц. Одни горячо отрицали слух, другие упорно его повторяли.

Оленька не поверила. Слишком свежи были в ее памяти все преступления Кмицица, его служба у Радзивиллов, чтобы она могла хоть на минуту представить себе его победителем Богуслава и таким верным слугой короля, таким горячим патриотом. Однако покой ее был нарушен, горечь и сожаления вновь пробудились в ее душе.

Надо было, видно, скорей уходить в монастырь, но монастыри были разорены; те из монахинь, что не стали жертвой солдатского разгула во время войны, только еще начинали собираться.

Притом в стране свирепствовал голод, и тот, кто хотел укрыться за монастырской оградой, не только должен был прийти с собственным хлебом, но и кормить весь монастырь.

Вот Оленька и хотела прийти к монахиням со своим хлебом — стать им не только сестрой, но и кормилицей.

Мечник, зная, что труд его пойдет во умножение славы господней, старался изо всех сил. Вместе с Оленькой они объезжали поля и фольварки, надзирая за осенними полевыми работами, от которых зависел будущий урожай. Иногда их сопровождала Ануся Борзобогатая, которая все не могла забыть обиду, нанесенную ей Бабини-

чем, и грозились, что тоже пойдет в монастырь; пусть вот только вернется Володыёвский со своими лауданцами, ей, мол, хочется попрощаться со старым другом. Однако чаще всего с мечником ездила одна Оленька, Анусе скучны были хозяйственные хлопоты.

И вот однажды мечник с Оленькой поехали верхами в Митруны посмотреть, как отстраиваются сгоревшие хлевы и амбары.

По дороге они собирались завернуть в костел — как раз была годовщина битвы под Волмонтовичами, когда Бабинич спас их всех от неминуемой гибели. Дел в Митрунах было много, и они собрались в обратный путь лишь под вечер.

Туда они ехали дорогой на костел, но возвращаться приходилось через Любич и Волмонтовичи. Оленька, едва показались первые дымы над любичскими домами, тотчас опустила глаза и поспешно зашептала молитву, чтобы отогнать тягостные мысли. Мечник ехал молча и только озирался по сторонам.

Наконец, когда они уже миновали рогатку, он сказал:

— Земля тут прямо княжеская! Один Любич двух Митрун стоит.

Оленька продолжала молиться.

Но в мечнике, видно, разыграла старая хозяйственная жилка, а может, сказалось и некоторое пристрастие шляхтича к тяжбам; так или иначе, минуту спустя он молвил как бы про себя:

— А ведь по чести сказать, все это наше... Старая вотчина Биллевичей, наш пот, наш труд. Тот несчастный давно, знать, погиб, раз о нем не слышно, а хоть бы и объявился, право за нами.— Тут он обратился прямо к Оленьке: — Как ты думаешь, а?

— Это место проклято, — ответила девушка. — Пусть владеет им, кто хочет.

— Да ведь право-то за нами! Место проклято, пока было в дурных руках, а в добрых станет благословенным. Право за нами.

— Нет, никогда! И слышать не хочу. Дедушка подарил ему без оговорок, пусть его родственники и берут.

С этими словами она хлестнула жеребчика, мечник пришпорил своего, и они поскакали, не замедляя бега, пока не оказались в чистом поле. Тем временем наступила ночь, но было совсем светло, огромная красная луна

выплыла из-за волмонтовичского леса и залила все вокруг золотым сиянием.

— Славную ночку послал господь! — промолвил мечник, глядя на лунное колесо.

— Смотрите, как Волмонтовичи светятся вдали, — откликнулась Оленька.

— Это свежий тес на крышах еще не успел почернеть.

Тут разговор их был прерван скрипом телеги, которую они увидели не сразу, так как дорога была холмистая; но вот показалась первая пара лошадей, за ней цугом вторая, а затем высокий крестьянский воз, сопровождаемый несколькими верховыми.

— Кто бы это мог быть? — проговорил мечник и придержал коня. Оленька тоже остановилась.

А те все приближались, и вот они уже рядом.

— Стой! — крикнул мечник. — Кого это вы там везете?

Один из всадников повернулся к ним:

— Везем пана Кмицица, что под Магеровом венгерцами ранен.

— Легок на помине! — вскричал мечник.

У Оленьки вдруг все закружилось перед глазами; сердце ее замерло, в груди стеснилось дыхание. Что-то крикнуло в ее душе: «Иисус, Мария, это он!» Потом она впала в какое-то бесчувствие, не сознавала, где она, что с ней.

Однако она усидела в седле, судорожно ухватившись за высокую грядку телеги. И когда очнулась, взгляд ее упал на неподвижное тело, лежащее на подводе. Да, это был он, Анджей Кмициц, оршанский хорунжий. Он лежал навзничь, голова его была обмотана платками, но в красноватом свете луны отчетливо виднелось его лицо, белое и спокойное, словно высеченное из мрамора или замороженное дыханием смерти. Глаза были закрыты и глубоко западали, он не подавал ни малейших признаков жизни.

— С богом!.. — сказал мечник, снимая шапку.

— Стой! — крикнула Оленька.

И тихо, но быстро, словно в лихорадке, спросила:

— Жив или умер?

— Жив, но вот-вот кончится.

Тут мечник, заглянув Кмицицу в лицо, снова сказал:

— До Любича не довезете.

— Велел непременно туда везти, там хочет умереть.

— С богом! Да поспешите!

— Будьте здоровы!

И подвода двинулась дальше, а Оленька с мечником во весь опор поскакали в противную сторону. Словно два призрака, промчались они через Волмонтовичи и прискакали в Водокты, не обменявшись по дороге ни словом; лишь слезая с коня, Оленька обратилась к дяде.

— Ксендза ему надо послать, — проговорила она, задыхаясь, — пусть кто-нибудь поскорей скачет в Упиту!

Мечник побежал отдавать распоряжения, а девушка кинулась к себе в светелку и упала на колени перед образом пресвятой девы.

Спустя несколько часов, уже поздней ночью, за воротами Водоктов прозвенел колокольчик. Это проехал в Любич ксендз, везя с собой святые дары.

Панна Александра не встала с колен. Губы ее непрерывно шептали отходную. А потом она принялась троекратно класть земные поклоны и, ударяя лбом о пол, повторяла неустанно:

— Да зачтется ему, господи, что он умирает от вражеских рук... Да зачтется ему, господи, что он умирает от вражеских рук... Отпусти ему, господи, помилуй его...

Так провела она всю ночь. Ксендз пробыл в Любиче до утра, а на обратном пути заехал в Водокты. Оленька выбежала ему навстречу.

— Уже? — спросила она.

И больше не могла вымолвить ни слова, не хватило дыхания.

— Еще жив, — ответил ксендз.

В последующие две недели из Водоктов в Любич ежедневно скакали гонцы и каждый раз возвращались с ответом, что пан хорунжий «еще жив». Наконец один привез известие, которое услышал от цирюльника, доставленного в Любич из Кейдан: не только жив, но и выздоравливает, раны благополучно затягиваются, и к рыцарю возвращаются силы.

Панна Александра щедро пожертвовала на благодарственную мессу в Упите, но гонцов с того дня посылать перестала; и странное дело, едва исчезла тревога за жизнь пана Анджея, в сердце девушки вспыхнуло прежнее возмущение. Снова вспомнились ей все его вины, и столь тяжелы они были, что нельзя было их простить. Лишь с его смертью могли они кануть в забвение... Но

поскольку он выздоравливал, они снова тяготели на нем... И все же бедная Оленька неустанно повторяла себе самой все, что только могла придумать в его защиту.

И так исстрадалась она за эти дни, в таком смятении была ее душа, что девушка сама занемогла.

Это сильно встревожило пана Томаша, и вот как-то вечером, оставшись с племянницей наедине, он спросил ее:

— Оленька, скажи-ка мне правду, что ты думаешь об оршанском хорунжем?

— Видит бог, я вовсе не хочу о нем думать! — ответила она.

— А меж тем... Ты вон даже похудела!.. Гм! Может, ты еще... Я ведь тебя не неволю, мне бы только знать, что с тобой творится... Как ты думаешь, а не следует ли исполнить волю твоего покойного деда?

— Никогда! — воскликнула Оленька. — Дедушка оставил мне еще одну дверь открытой... в нее я и постучусь... на Новый год. Так исполнится его воля.

— Что ж, — сказал мечник, — не верил и я болтовне насчет того, будто Бабинич и Кмициц — один человек, однако под Магеровом он дрался с нашим врагом, кровь свою пролил за отчизну. Хоть и поздно, но все же исправился.

— Ах, теперь вон и князь Богуслав служит королю и Речи Посполитой, — с горечью возразила девушка. — Пусть бог простит им обоим, в особенности тому, кто кровь свою пролил... Но люди всегда будут вправе сказать, что в самую тяжкую годину, в годину горя и бедствий, они оба ополчились на несчастную нашу отчизну, а вернулись в ее лоно тогда лишь, когда враг начал слабеть и им выгодно было принять сторону победителя. Вот в чем их вина! Теперь нет более изменников, потому что измена невыгодна! Но разве это заслуга? Ведь это доказывает лишь, что такие люди всегда готовы служить сильнейшему. Дай бог, дай бог, чтоб я была неправа, но только такие преступления Магеровом не искупишь...

— Все правда! Не стану спорить! — ответил мечник. — Горькая правда, но правда! Все прежние изменники перешли в стан короля.

— А над оршанским хорунжим, — продолжала девушка, — тяготеет еще более страшное обвинение, чем над князем Богуславом! Ведь пан Кмициц хотел поднять руку на короля, чего сам князь убоялся. Неужто случай-

ная рана может это искупить? Я с радостью дала бы отрубить себе руку, лишь бы этого не было... но это было, есть и останется навсегда! Видно, бог затем и даровал ему жизнь, чтоб он мог каяться... Ах, дядюшка, дядюшка! Внушать себе, что он чист,— значит обманывать самих себя! К чему? Разве совесть обманешь? Нет, пусть будет так, как бог судил. Разбитого не склеишь, да и незачем. Я счастлива, что пан хорунжий не умер, это правда... значит, господь в милосердии своем не совсем еще от него отворотился... Но и только! Я буду счастлива, если услышу, что он искупил свои преступления, но ничего более не ищу и не желаю! Может, сердце мое еще и поболит — ну что ж! А ему да поможет бог...

Больше Оленька не могла говорить, слезы, горькие, неудержимые, душили ее. Но то были последние слезы. Она высказала все, что ее мучило, и с этого дня спокойствие начало к ней возвращаться.

ГЛАВА XXX

Не хотела непокорная душа молодецкая расставаться со своей телесной оболочкой — и не рассталась. Через месяц после приезда в Любич раны пана Анджея стали заживать; еще раньше вернулось к нему сознание, и он, оглядев горницу, сразу понял, что находится уже в Любиче.

Тогда он призвал своего верного Сороку и сказал ему:

— Сорока! Господь смилостивился надо мной! Я чувствую, что не умру!

— Так точно! — ответил старый вояка, смахивая кулаком слезу.

А Кмициц продолжал, словно бы про себя.

— Окончено мое покаяние... ясно вижу. Господь смилостивился надо мной!

Потом он замолчал, и только губы его шевелились, повторяя молитву.

— Сорока! — заговорил он снова.

— Что прикажете, ваша милость?

— А кто там в Водоктах?

— Панна Александра и пан мечник россиенский.

— Слава тебе, господи! А приходил ли кто, спрашивал про меня?

— Все время присылали из Водоктов, пока мы не сказали, что ваша милость выздоравливает.

— И тогда перестали присылать?

— Тогда перестали.

— Они еще ничего не знают,— сказал Кмициц,— ну, да я сам им все расскажу. Ты никому не говорил, что это я тут дрался под именем Бабинича?

— Приказа не было,— ответил Сорока.

— А лауданские с Володыёвским еще не вернулись?

— Нет еще, но вот-вот должны.

Тем и кончился в тот день их разговор. Через две недели пан Кмициц уже вставал и ходил на костылях, а в следующее воскресенье пожелал во что бы то ни стало съездить в костел.

— Поедем в Упиту,— сказал он Сороке,— заручимся благословением господним, а после мессы — в Водокты.

Сорока, не смея возражать, велел выстелить сеном возок; пан Анджей приделся, и они поехали.

Приехали они рано, когда в костеле было еще мало народу. Пан Анджей, опираясь на плечо Сороки, подошел прямо к главному алтарю и упал на колени в дарительском приделе; никто его не узнал, так сильно он изменился,— был страшно худ и бледен, изможденное лицо заросло за время войны и болезни длинной бородой. Если кто и обращал на него внимание, то думал, что это какой-нибудь путник, проезжая мимо, зашел послушать обедню; в ту пору везде полно было проезжей шляхты, которая возвращалась из похода в свои именья.

Постепенно костел заполнялся крестьянами и окрестной шляхтой; позже стали подъезжать и из дальних деревень: во многих местах храмы были сожжены, и люди ездили к мессе в Упиту.

Кмициц, погруженный в молитву, никого не замечал; из набожной задумчивости вырвал его лишь скрип половиц — кто-то вошел в придел.

Тогда он поднял голову, взглянул — и прямо над собой увидел нежное и печальное лицо Оленьки.

Она тоже увидела его, мгновенно узнала и отшатнулась, словно в испуге; лицо ее сперва вспыхнуло, потом смертельно побледнело, но она величайшим усилием воли превозмогла волнение и опустилась на колени рядом с Кмицицем; третье место занял пан мечник.

И Кмициц и Оленька, склонив головы и спрятав лица в ладонях, молча стояли рядом, а сердца их колотились с такой силой, что оба отчетливо слышали этот стук. Первым заговорил пан Анджей:

— Хвала господу нашему, Иисусу Христу!

— Во веки веков... — вполголоса отозвалась Оленька. И больше они не вымолвили ни слова.

Тем временем священник начал проповедь; Кмициц слушал его, но, как ни старался, ничего не слышал и не понимал. Она, его желанная, по ком тосковал он столько лет, та, что всегда жила в его мыслях и сердце, была теперь здесь, рядом с ним. Он ощущал ее так близко — и не смел обратиться к ней взгляд, потому что был в костеле, и лишь ловил, прикрыв глаза, легкий звук ее дыхания.

«Оленька, Оленька рядом со мной! — твердил он про себя. — Сам бог привел после долгой разлуки свидеться в костеле...»

И в мыслях и в сердце его пело неустанно: «Оленька, Оленька, Оленька!»

И горло его сжималось от радостных рыданий, и благодарственная молитва переполняла душу таким восторгом, что он едва не терял сознание.

Она же по-прежнему стояла на коленях, закрыв лицо руками.

Ксендз кончил проповедь и сошел с амвона.

Внезапно перед костелом раздался лязг оружия и топот конских копыт. Кто-то крикнул с порога: «Лауданцы вернулись!» — и тотчас по всему храму прошел шум, гул голосов, наконец зазвучали громкие крики:

— Лауда! Лауда!

Толпа заволновалась, все головы обратились к дверям.

И вот в костел повалили вооруженные ратники. Впереди, звеня шпорами, шли пан Володыёвский и пан Заглоба. Толпа расступалась перед ними, а они прошли через весь храм, преклонили колена перед алтарем, сотворили краткую молитву, затем оба вошли в ризницу.

Лауданцы остановились посреди костела, ни с кем не здороваясь из почтения к святому месту.

Ах, что это была за картина! Грозные, обветренные лица, изможденные ратными трудами, иссеченные шведскими, немецкими, венгерскими, валашскими саблями.

Вся история войны и подвигов богобоязненной Лауды была мечами написана на этих лицах. Вот угрюмые Бутрымы, вот Стакьяны, Домашевичи, Гостевичи — всех понемногу. Едва лишь четвертая часть их, что некогда ушли с Володыёвским, воротилась из похода.

Иные жены напрасно ищут своих мужей, старики напрасно высматривают сыновей, и все громче звучит плач, ибо те, что нашли своих, тоже плачут от радости. Весь костел раздражается рыданиями; то тут, то там чей-то голос выкрикнет дорогое имя и смолкнет — а они стоят, покрытые славой, опираясь на свои мечи, но и у них по суровым шрамам одна за другой катятся слезы в густые усы.

Но вот в дверях ризницы прозвенел колокольчик, рыдания и говор утихли. Все пали на колени, вышел ксендз со святыми дарами, за ним Володыёвский и Заглоба в белых облачениях, и началась служба.

Ксендз также был взволнован, и когда в первый раз обратился к прихожанам со словами: «Dominus vobiscum!»¹ — голос его дрогнул; когда же он принялся читать святое Евангелие и все сабли разом обнажились в знак того, что Лауда всегда готова сражаться за веру, и в храме посветлело от блеска стали, — тут уж ксендз едва мог дочитать до конца.

Затем все с жаром пропели «Святой боже», и месса закончилась, но ксендз, уже спрятав святые дары в дарохранительницу и прочтя последнюю молитву, вновь повернулся лицом к прихожанам в знак того, что хочет еще что-то сказать.

Стало тихо; ксендз сначала сердечно поздравил воинов с возвращением, а затем возвестил, что сейчас будет прочитано письмо короля, привезенное полковником лауданской хоругви.

Еще тише стало в костеле, и вот на весь храм зазвучал голос с амвона:

— «Мы, Ян Казимир, король Польский, Великий князь Литовский, Мазовецкий, Прусский и прочая и прочая, во имя отца, и сына, и святого духа, аминь.

Яко мерзостные злодеяния дурных людей противу королевской власти и отечества подлежат наказанию земным судом еще прежде, нежели предстанут перед судом

¹ Господь с вами! (лат.)

небесным, точно так же и добродетели человеческой не должно оставаться без достойной награды, каковая награда самое добродетель облетит сиянием славы, потомков же побудит с охотою следовать похвальным примерам.

А посему объявляем всему рыцарскому сословию, в особенности же людям всех военных и гражданских званий и чинов, исправляющим должности *cuiusvis dignitatis et grae eminentiae*¹, а также всем гражданам Великого княжества Литовского и нашего Жмудского староства следующее: каковы бы ни были *gravamina*², тяготеющие на имени хорунжего оршанского, любезного сердцу нашему пана Анджея Кмицица, все они да исчезнут из памяти людской, *comat*³ его последующих подвигов и заслуг, и да не омрачат они впредь чести и славного имени вышепоименованного хорунжего оршанского».

Тут ксендз прервал чтение и взглянул на скамью, на которой сидел пан Анджей, а тот привстал на минуту, потом опять сел, откинул голову на спинку скамьи и закрыл глаза, словно в беспомощности.

Все взгляды обратились к нему, все уста зашептали:

— Пан Кмициц! Кмициц! Кмициц!.. Вон он, рядом с Билевичами!

Но ксендз поднял руку и среди мертвой тишины продолжал читать:

— «Хотя упомянутый хорунжий оршанский и прикнуд к князю воеводе в начале злосчастного шведского нашествия, однако сделал он это отнюдь не ради приватной выгоды, но из самой искренней привязанности к отечеству, введенный князем воеводой в заблуждение, якобы единственный путь к *salutis Reipublicae*⁴ есть тот, коим шел сам князь!

Когда же прибыл он к князю Богуславу, каковой, считая его предателем, открыл перед ним, не таясь, все свои противу отчизны злоумышления, вышепоименованный хорунжий оршанский не только не согласился покушаться на нашу особу, но захватил с оружием в руках самого

¹ Любого ранга и достоинства (лат.).

² Вины (лат.).

³ Ввиду (лат.).

⁴ Спасению отечества (лат.).

князя, дабы отомстить за нас и за поруганное отечество...»

— Боже, помилуй меня, грешную! — воскликнул женский голос подле пана Анджея, а по костелу снова пронесся гул изумления.

Священник читал дальше:

— «Будучи оным князем тяжело ранен и едва успев оправиться, он прибыл в Ченстохову и там собственной грудью защищал пресвятой храм, подавая всем пример мужества и твердости; там же он, пренебрегая смертельной опасностью, подорвал порохом главное неприятельское орудие, а свершив сие, был пойман и приговорен жестокими врагами к смерти, сперва же подвергнут был пытке огнем...»

Тут уж в разных концах костела послышался женский плач. Оленька дрожала как в лихорадке.

— «Однако, избавленный царицей небесною и от сей ужасной опасности, он отправился к нам в Силезию, и здесь, на обратном пути нашем к любезной отчизне, когда коварный враг уготовал нам западню, оршанский хорунжий с тремя лишь товарищами бросился на всю неприятельскую рать, защищая нашу особу. Изрубленный и исколотый саблями, утопающий в собственной крови, едва не бездыханный, вынесен был рыцарь с поля битвы...»

Оленька прижала руки к вискам и, откинув голову, ловила воздух запекшимися губами. Из груди ее вырвался стон:

— Боже! Боже! Боже!

И вновь зазвучал голос ксендза, проникнутый глубоким волнением:

— «Когда же нашими заботами вернулось к нему здоровье, он, не дав себе отдыха, продолжал сражаться, в каждой битве покрывая себя неслыханной славой, так что военачальники обоих станов видели в нем пример всему рыцарству; а после славного взятия Варшавы он, по нашему повелению, отправился в Пруссию под вымышленным именем Бабинича...»

Едва в костеле прозвучало это имя, людской говор уподобился рокоту волн. Так, значит, Бабинич — это он?! Значит, спаситель Волмонтовичей, гроза шведов, полководец, побеждавший в стольких сражениях, — это Кмициц?! Шум в костеле нарастал, толпа стала тесниться к алтарю, чтобы лучше видеть его.

— Господи, благослови его! Господи, благослови! — раздавались сотни голосов.

Ксендз повернулся к скамье, где сидел пан Анджей, и перекрестил его, а тот, по-прежнему откинувшись на изголовье, походил скорее на мертвеца, чем на живого человека, ибо душа его от счастья вырвалась из груди и воспарила к небесам.

Священник читал дальше.

— «...и опустошил вражеский край огнем и мечом; ему же по преимуществу обязаны мы победой под Простками, где он собственными руками одолел и поймал князя Богуслава, а затем послан был нами на Жмудь, и каковы были там его подвиги, сколько весей, сколько городов вызволил он из вражеских рук — про то тамошние incolae¹ должны знать лучше всех».

— Знаем! Знаем! Знаем! — гремело по всему костелу.

— Успокойтесь, — молвил ксендз, подняв кверху королевское послание.

— «Ввиду чего, — читал он далее, — взвесив все его перед престолом и отечеством заслуги, кои столь велики, что большего и отец с матерью от сына не могли бы потребовать, всенародно повелеваем сим письмом нашим, дабы не тяготела долее над паном Анджеем Кмицицем, великим рыцарем, защитником веры, короля и Речи Посполитой, людская вражда, и да увенчает его пристойная доблести слава и всеобщая любовь. Мы же, прежде нежели предстоящий сейм согласно нашему желанию восстановит вполне его доброе имя и позволит нам наградить его местом, ныне vacat упитского старосты, нижайше просим милых нашему сердцу граждан Жмудского староства, дабы они запечатлели в умах и душах своих эти наши слова, кои, к вящей их памяти, подсказала нам сама iustitia, fundamentum regnorum»².

Ксендз кончил читать и, повернувшись к алтарю, стал молиться. Пан Анджей вдруг почувствовал, как чья-то нежная ладонь коснулась его руки. Глянул — а это Оленька, и не успел он спохватиться, отнять руку, как девушка у всех на глазах, перед людьми и божьим алтарем, поднесла ее к губам и поцеловала.

¹ Жители (лат.).

² Справедливость, основа государственной власти (лат.).

— Оленька! — крикнул потрясенный Кмициц.

Но она поднялась и, прикрыв лицо платком, попросила мечника:

— Дядя! Уйдем, уйдем скорее!

И оба вышли через дверь ризницы.

Пан Анджей хотел было встать, пойти за ней, и не мог...

Силы оставили его совершенно.

А четверть часа спустя он стоял перед костелом, поддерживаемый Володыёвским и Заглобой.

Толпы жителей, мелкой шляхты и простолюдинов, теснились вокруг них. Женщины, едва успев обнять вернувшихся из похода мужей, уже спешили, подгоняемые свойственным их полу любопытством, взглянуть на этого столь страшного некогда Кмицица, ныне освободителя Лауды и будущего упитского старосту. Кольцо вокруг него смыкалось все теснее, так что лауданцам в конце концов пришлось окружить рыцаря и защищать его от напора любопытных.

— Что, пан Анджей! — восклицал Заглоба. — Славный мы тебе привезли подарочек, а? Ты небось и не ждал такого! А теперь — в Водокты, в Водокты! Сговорим тебя, а там и свадебку!

Дальнейшие его слова потонули в оглушительном крике, который подняли лауданцы под предводительством Юзвы Безногого:

— Да здравствует пан Кмициц!

— Да здравствует! — подхватила толпа. — Да здравствует наш упитский староста! Да здравствует!

— Айда все в Водокты! — рявкнул снова Заглоба.

— В Водокты! В Водокты! — отозвалось стоустое эхо. — В Водокты, пана Кмицица сватать, нашего освободителя! К невесте! В Водокты!

И все засуетились. Лауда села на коней; остальные гурьбой кинулись к возам, бричкам, телегам и лошадям. Пешие пустились напрямик через леса и поля. Клич «в Водокты!» гремел по всей Упите. Дороги запестрели толпами людей.

Кмициц ехал в небольшом возке между Володыёвским и Заглобой и поминутно обнимал то одного, то другого. От сильного волнения он все еще не мог говорить, к тому же друзья так гнали лошадей, словно на Упиту

напали татары. Рядом и за ними во весь дух мчались остальные брички и телеги.

Они уже были далеко за городом, как вдруг Володыёвский наклонился к Кмицицу.

— Ендрек,— спросил он шепотом,— а где сейчас та, другая, не знаешь?

— В Водоктах! — ответил рыцарь.

Тут усики пана Володыёвского зашевелились — от ветра ли или от волнения, трудно сказать, но только всю дорогу они то и дело вставали торчком, словно два шильца или рожки жука-рогача.

Заглоба на радостях распевал таким страшным басом, что даже кони шарахались:

Двое было, Касенька, двое нас на свете,
Да теперь сдается мне, что в дороге третий.

Ануся в этот день не поехала в костел,— она оставалась при больной панне Кульвец, за которой они с Оленькой ухаживали поочередно.

Все утро хлопотала она вокруг больной и на молитву стала поздно.

Едва успела она произнести последнее «аминь», как за воротами послышалось тарахтенье возка, и в комнату вихрем ворвалась Оленька.

— Иисус, Мария! Что случилось? — крикнула, взглянув на нее, панна Борзобогатая.

— Ануся! Знаешь, кто такой Бабиниц? Это Кмициц!

Ануся вскочила с колен.

— Кто тебе сказал?

— Читали королевское письмо... Володыёвский привез... лауданцы...

— Так пан Володыёвский вернулся? — воскликнула Ануся и неожиданно кинулась Оленьке на шею.

Оленька приняла этот взрыв нежности за довод Анусяного участия; впрочем, она сама была возбуждена чуть ли не до потери чувств. Лицо ее горело, грудь волновалась, как будто от крайнего изнеможения.

Несвязно, прерывающимся голосом начала она рассказывать обо всем, что слышала в костеле, и при этом бегала, как безумная, по комнате, поминутно повторяя: «Это я его не стою!» — горько пеняя себе, что нанесла ему такую тяжкую обиду, оскорбила его хуже всех, даже

молиться за него не хотела в то время, когда он проливал кровь за пресвятую деву, за отчизну и короля!

Тщетно Ануся, бегая вслед за нею, пыталась ее успокоить. Оленька все твердила, что недостойна его, что не посмела бы и в глаза ему взглянуть; потом вдруг начала говорить о подвигах Бабиница, о похищении Богуслава и о его мести, о спасении короля, о Простках, и Волмонтовичах, о Ченстохове, а потом снова вспоминала о своей вине и о своей жестокости, которую должна теперь непременно идти замаливать в монастырь.

Тут ее сетования были прерваны паном Томашем. Словно бомба влетел он в горницу и крикнул:

— Господи! Вся Упита к нам валит! Уже въехали в деревню, и Бабиниц, верно, с ними!

Через минуту отдаленный гул возвестил приближение толпы. Мечник подхватил Оленьку и вывел ее на крыльцо; Ануся выскочила следом.

И вот вдали зачернелись толпы конных и пеших, и нет им конца, запружена вся дорога. Вот уже подбегают к усадьбе. Пешие штурмом берут ров и ограду; повозки сталкиваются в воротах, и все кричат и кидают в воздух шапки.

Наконец показался отряд лауданцев, окружавших возок, в котором сидели трое: пан Кмициц, пан Володыёвский и пан Заглоба.

Возок пришлось остановить поодаль, так как перед крыльцом набилось столько народу, что нельзя было подъехать. Заглоба и Володыёвский выскочили первые, помогли сойти Кмицицу и сразу подхватили его под руки.

— Расступитесь! — крикнул Заглоба.

— Расступись! — повторили лауданцы.

Люди тотчас раздались на две стороны, посредине образовался широкий проход, и два рыцаря повели по нему Кмицица к крыльцу. Он пошатывался и был очень бледен, но шел с высоко поднятой головой, растерянный и счастливый.

Оленька оперлась спиной о дверной косяк и бессильно опустила руки; но когда он приблизился, когда она глянула на бедного своего возлюбленного, который после стольких лет разлуки шел к ней, точно Лазарь, без кровинки в лице,— рыдания снова потрясли ее грудь. А он от слабости, от счастья, от смущения не знал, что гово-

рять, и, всходя на крыльцо, все только повторял, задыхаясь:

— Ну, что, Оленька, ну, что?

Она вдруг припала к его коленям.

— Ендрусь! Я раны твои целовать недостойна!

Но в это мгновение к рыцарю вернулись силы, он подхватил ее с земли, словно перышко, и прижал к сердцу.

Единый оглушительный вопль, от которого задрожали стены домов и последние листья свалились с деревьев, загредел над Водоктами. Лауданцы стали палить из ружей, в воздух полетели шапки, куда ни глянь, все лица сияли восторгом, все глаза горели, все уста кричали хором:

— *Vivat* Кмициц! *Vivat* панна Биллевиц! *Vivat* молодая чета!

— *Vivat* две молодые четы! — гаркнул Заглоба.

Но голос его утонул во всеобщем гуле.

Водокты преобразились в походный бивак. Целый день по приказу мечника резали волов и баранов, выкапывали из земли бочки с медом и пивом. И вечером все принялись пировать, кто постарше и поименнее — в покоех, кто помоложе — в людской, а во дворе у костров поселился простой народ.

За почетным столом в честь двух счастливых пар неустанно кружили задравные кубки, когда же общее веселье достигло зенита, Заглоба произнес еще один тост:

— Любезный пан Анджей и ты, старый мой товарищ пан Михал, я обращаюсь к вам. Вы рисковали головой, проливали кровь, били врага — но этого мало. Труд ваш не завершен. Ныне, когда в жестокой войне погибло столько народу, долг ваш — дать нашей милой родине, нашей Речи Посполитой новых граждан, новых защитников, и, надеюсь, ни мужества, ни охоты вам здесь не занимать стать. Друзья! За здоровье будущих поколений! Да благословит их бог и да поможет им сберечь то наследие, которое мы, потом и кровью нашей завоеванное, им оставляем. Пусть они вспомнят нас в трудную минуту и никогда не отчаиваются, памятуя, что нет той беды, которую *viribus unitis*¹ и с божьей помощью нельзя было бы одолеть.

¹ Соединенными усилиями (лат.).

Вскоре после свадьбы пан Анджей снова отправился на войну, которая разгорелась у восточных границ. Но блистательные победы, одержанные Чарпецким и Сапегой над Хованским и Долгоруким, а коронными гетманами над Шереметевым, скоро положили ей конец. Покрыв себя новой славой, Кмициц вернулся в Водокты и поселился там навсегда. Звание оршанского хорунжего перешло к его двоюродному брату Якубу, который впоследствии участвовал в печальной памяти военной конфедерации, а пан Анджей, душой и сердцем преданный королю, награжден был упитским староством и жил долго, в примерном согласии со всей Лаудой, окруженный всеобщей любовью и уважением. Правда, недоброжелатели (у кого их нет!) поговаривали, будто он слишком уж слушается жены, но он этого не стыдился, напротив, сам признавал, что во всех важных делах всегда спрашивает ее совета.



ПРИМЕЧАНИЯ

ТОМ ВТОРОЙ

Стр. 75. *Нет протекторов, как у англичев...*— В результате победы Великой английской революции Англия стала республикой. Король Карл I был казнен. В 1653 году Оливер Кромвель объявил себя протектором Англии, Шотландии и Ирландии.

Стр. 79. *Спижское старство.*— Спиж (словацкое Спиш) — территория на южном (словацком) склоне Карпат, заложенная в 1412 году венгерским королем Сигизмундом Люксембургским Владиславу Ягелло. До 1769 года Спиж входил в состав Польши. Центром Спижского старства был город Любовля.

Стр. 80. *Под Жванцем* (близ Каменец-Подольского) в декабре 1653 года польские войска были окружены украинской освободительной армией. Здесь вновь, как под Берестечком (см. прим. к I тому), решающую роль сыграла позиция крымского хана, принудившая Хмельницкого пойти на подписание мира на условиях Зборовского договора 1649 года.

Под Зборовом.— 5—6 августа 1649 года под Зборовом украинская освободительная армия под командованием Богдана Хмельницкого нанесла поражение польским войскам, руководимым королем Яном Казимиром. От полного разгрома короля спас крымский хан, настоявший на заключении мирного договора.

Стр. 116. *Довели его до того, что для Речи Посполитой он стал опаснее даже страшного Януша Радзивилла.*— В 1665 году Любомирский возглавил рокош против Яна Казимира. Победа рокошан в битве под Монтвами 13 июля 1666 года вынудила короля отказаться от задуманных им реформ государственного строя (речь шла, в частности, о выборе наследника при жизни короля).

Стр. 119. *...заменяв только шведов французами...*— Антифранцузская направленность рокоша Любомирского связана с тем, что Ян Казимир, инспирируемый Марией Людвигой, хотел убедить шляхту избрать наследником польского престола французского принца Энгийенского (принц Анри-Жюль Конде).

Стр. 126. *...перещеголял я самого пана Лаща...*— Самуэль Лащ, коронный стражник, был известен тем, что, несмотря на то, что за свои бесчинства он более двухсот раз был приговорен судами к утрате чести и изгнанию, оставался, благодаря заступничеству великого коронного гетмана Конецпольского, недосыгаем для правосудия.

Стр. 133. *Константина Любомирского, маршала рыцарского круга...*— Маршал рыцарского круга избирался шляхтой в качестве уполномоченного во время конфедераций, при отсутствии воеводы и т. п.

Стр. 153. *Как разбойник Костка Наперский был некогда осажден в Чорштыне...*— Александр Леон Костка Наперский (настоящее имя Станислав Войцех Бзовский) — руководитель крестьянского восстания в Краковском Подгалье. В июне 1651 года завладел замком Чорштын, но был осажден и взят в плен войсками, посланными краковским епископом Петром Гембицким. Казнен в Кракове.

Стр. 171. *...исполнить сей обет...*— Обеты, торжественно данные Яном Казимиром во Львове 1 апреля 1656 года, получили реализацию в той части, где король поклялся способствовать утверждению католицизма в Польше. В 1658 году по решению сейма ариане — наиболее радикальная ветвь протестантизма в Польше — были изгнаны из страны. Туманно сформулированное королем обещание облегчить положение крестьянства было вскоре забыто.

Стр. 202. *...владелец майората.*— Майорат — нераздельный комплекс земельных владений, переходящий по наследству старшему сыну. Майораты (иначе называемые ординациями) учреждались некоторыми магнатами с санкции короля с целью не допустить уменьшения экономического и политического могущества семьи. Среди владельцев майоратов в Речи Посполитой были ЗамоЙские, Радзивиллы (ольцко-несвижская ветвь), Острожские.

...молодую французженку...— Речь идет о придворной даме королевы Марии Людвики — Марии Казимире д'Аркен, которая в 1658 году вышла замуж за Яна ЗамоЙского, а после его смерти

стала в 1665 году женой великого коронного маршала Яна Собеского, назначенного затем великим коронным гетманом, а в 1671 году избранного польским королем.

Стр. 203. *Сын великого Иереми...*— Михал Вишневецкий, сын Иереми, в 1669 году был избран польским королем.

ТОМ ТРЕТИЙ

Стр. 270. *Принц Бипонтинский...*— Княжество Бипонтинское (Цвейбрюккен) в прирейнской Германии — наследственное владение Карла X Густава, перешедшее после его вступления в 1654 году на шведский престол младшему брату Адольфу Иоганну.

Стр. 281. *...я узнал от Лупула, господаря...*— Молдавский господарь Василий Лупу (Лупул) был свергнут в 1653 году, но умер он (вопреки словам Заглоты) только в 1661 году.

Стр. 283. *...а Максимилиан был австрийский...*— Ян Замойский намекает на то, что его дед (тоже Ян), коронный канцлер и великий коронный гетман, разбил и взял в плен под Бычиной в 1588 году претендента на польский престол австрийского эрцгерцога Максимилиана.

Стр. 388. *Картоуны* — самые тяжелые осадные орудия.

Стр. 394. *...через... Минск.*— Имеется в виду Минск Мазовецкий, находящийся в сорока пяти километрах к востоку от Варшавы.

Стр. 396. *...маршалу приходилось на это закрывать глаза...*— В столице или месте пребывания короля поединки были запрещены, нарушители этого правила подлежали суду маршала.

Стр. 410. *Венгерская пехота.*— Так в XVII веке назывались части, не обязательно состоящие из венгров, но обмундированные и вооруженные по венгерскому образцу.

Стр. 413. *Уяздов* — королевский замок близ Варшавы; сейчас место, где стоял Уяздовский замок, находится в центре города.

Стр. 433. *Часовню царей Шуйских...*— Василий Иванович Шуйский после его низложения был вместе с братом Димитрием отправ-

лен в Варшаву, где они оба умерли — Василий в 1612 году, а Дмитрий в 1613 году.

Стр. 447. *Revera — поистине* — любимая поговорка гетмана Станислава Потоцкого, превратившаяся в его прозвище.

Стр. 483. *Pacta conventa* — обязательства, гарантировавшие неизблемость шляхетских прав и привилегий и государственного строя Речи Посполитой, подписывались избранными на польский престол.

Стр. 493. *...и наш коронованный экс-кардинал...* — Богуслав напоминает о том, что Ян Казимир до избрания его на престол носил церковный титул кардинала.

Стр. 561. *Равной победам под Грюнвальдом...* — Битва под Грюнвальдом 15 июля 1410 года, величайшая победа польского оружия, предопределившая падение Тевтонского ордена, опаснейшего врага Польского государства.

Стр. 618. *Ведь прошло всего два года...* — Сенкевич нарушает хронологию событий: со времени перехода Януша Радзивилла на сторону шведов прошло немногим более года.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОТОП

ТОМ ВТОРОЙ (гл. XVIII—XL). Перевод <i>Е. Егоровой</i>	5
ТОМ ТРЕТИЙ Перевод <i>И. Матецкой</i> (гл. I—XV). Перевод <i>Ю. Винер</i> (гл. XVI—XXX)	265
Примечания	641

Генрик Сенкевич

ПОТОП

Редактор Ю. Ж и в о в а

Художественный редактор

Ю. Б о я р с к и й

Технический редактор

Л. П л а т о н о в а

Корректор Л. Э т к и н а

Сдано в набор 20/V 1969 г. Подписано к печати
4/XII 1969 г. Бумага № 2. Форм. 84×108³/₃₂—20,25.
печ. л. 34,02 усл. печ. л. 34,49. уч.-изд. л. Заказ
№ 1763. Тираж 75 000 экз. Цена 1 р. 15 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа. Минск,
Красная. 23.

Scan Kreyder - 25.08.2018 - STERLITAMAK

1911